This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Google

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

49666

LELAND STANFORD JUNIOR UNIVERSITY
ORGANIZED 1891

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES

Ovsianiko-Kulikovskii

Проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

Л. Н. ТОЛСТОЙ

КАКЪ ХУДОЖНИКЪ.

ИЗДАНІЕ 2-е, ИСПРАВЛЕННОЕ и ДОПОЛНЕННОЕ.

Книгоиздательство „ОРІОНЪ“.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
1905.

PG 3410
O78
1905

Типо-литографія „Энергія“, Загородный, 17.

ОГЛАВЛЕНІЕ.

Предисловіе.

ГЛАВА I. Постановка задачи 1

ГЛАВА II. Художественная автобіографія въ произведеніяхъ Толстого: Ник. Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ 7

ГЛАВА III. Художественныя *открытія* Толстого. Народные типы въ „Казакахъ" 38

ГЛАВА IV. Типы національные. Каратаевъ 55

ГЛАВА V. Типы національные. Кутузовъ. 79

ГЛАВА VI. Великосвѣтскіе типы. Кн. Андрей Болконскій . . . 97

ГЛАВА VII. Великосвѣтскіе типы. Пьеръ Безуховъ 135

ГЛАВА VIII. Романъ „Анна Каренина". Великосвѣтская психологическая форма. Графъ Вронскій. 165

ГЛАВА IX. Разложеніе аристократической психологической формы. Стива Облонскій 190

ГЛАВА X. А. А. Каренинъ. Бюрократъ въ изображеніи Толстого 212

ГЛАВА XI. Душевная драма Левина и переходъ Толстого отъ „наблюдательнаго" творчества къ „экспериментальному" 242

ГЛАВА XII. Краткій обзоръ важнѣйшихъ художественныхъ экспериментовъ Толстого 255

ГЛАВА I.

Постановка задачи.

Въ обширной литературѣ мемуаровъ, какъ извѣстно, не претендующей на титулъ художественной, не трудно однако найти такіе мемуары, которые производятъ впечатлѣніе художественное, и даже такіе, которые по праву могутъ быть разсматриваемы не какъ простая копія дѣйствительности, а какъ ея художественное обобщеніе и истолкованіе. Къ числу таковыхъ въ нашей русской литературѣ относятся «Семейная хроника» С. Т. Аксакова и «Былое и Думы» Герцена.

На вопросъ: гдѣ таится и къ чему сводится та характерная черта, въ силу которой художественные мемуары должны быть отличаемы отъ произведеній настоящаго искусства? нужно отвѣтить такъ: эту черту слѣдуетъ искать не въ самихъ мемуарахъ, не въ самихъ образахъ, въ нихъ воспроизведенныхъ, которые зачастую равно ничѣмъ не отличаются отъ образовъ искусства, а въ личныхъ намѣреніяхъ авторовъ. Мемуаристъ не задается цѣлью творить, обобщать дѣйствительность, создавать типичные образы: его задача—разсказать свою жизнь, передать свои впечатлѣнія, сфотографировать тотъ уголокъ дѣйствительности, который ему знакомъ. Но если у него есть даръ художественнаго обобщенія, то образы, которые онъ рисуетъ, легко могутъ выйти художественными, даже безъ всякой съ его стороны преднамѣренности. Такъ и вышло у Аксакова и Герцена. Въ «Былое и Думы» (помимо другихъ сторонъ этого поистинѣ великаго произведенія) найдутся образы несомнѣнно художественные (какъ напр. фигура отца автора).

Мемуаристъ съ художественнымъ даромъ—это тотъ-же художникъ, но только ограниченный въ своемъ творчествѣ рамками дѣйствительности, которыя онъ самъ себѣ поставилъ.

Рисуя, напр., себя, своихъ родителей, братьевъ, сестеръ, знакомыхъ, друзей, враговъ и т. д., онъ не имѣетъ въ виду создавать новые образы, кромѣ данныхъ ему самой дѣйствительностью, а потому и не позволитъ себѣ устранить изъ фигуры отца извѣстныя черты, несущественныя для художественности образа, и замѣнить ихъ чертами, взятыми изъ характера дяди, чтобы путемъ такой амальгамы создать новую—типичную индив идуальность. Но, въ то-же время, ничто не мѣшаетъ ему въ изображеніи даннаго лица, дѣйствительно существовавшаго, выдвинуть на первый планъ, искусно сгруппировать и ярко освѣтить его типичныя черты и такимъ образомъ написать портретъ художественный.

Мемуаристъ-художникъ ставитъ себѣ цѣлью одну только Wahrheit—въ смыслѣ фактической правды, но у него эта Wahrheit возводится на высшую ступень—правды художественной, не переставая быть и фактической. Художникъ въ собственномъ смыслѣ ставитъ себѣ цѣлью Dichtung, но онъ воленъ въ основу этой Dichtung положить «истинное происшествіе» и «вывести» лицъ, въ самомъ дѣлѣ существовавшихъ,—только онъ не вмѣняетъ и не можетъ вмѣнять себѣ въ обязанность оставаться вѣрнымъ фактической правдѣ.

Со стороны психологіи творчества, художественные мемуары, какъ и произведенія настоящаго, свободнаго искусства, совмѣщаютъ въ себѣ процессы и субъективные, и объективные: мемуаристъ изображаетъ себя и то, что онъ самъ пережилъ, переиспыталъ, перечувствовалъ, но рядомъ воспроизводитъ и другихъ людей и вообще то, что онъ только наблюдалъ.

И такъ, различіе между художникомъ-мемуаристомъ и «настоящимъ» художникомъ заключается въ намѣреніяхъ, въ поставленной себѣ задачѣ, говоря психологическимъ терминомъ,—въ волевомъ актѣ. Но самый-то волевой актъ чѣмъ-нибудь вѣдь обусловленъ: художественный волевой актъ обусловливается всею совокупностью художественныхъ силъ писателя. Художникъ-мемуаристъ не покидаетъ почвы лично ему извѣстной дѣйствительности, потому что только въ этомъ родѣ творчества, который можно назвать «связаннымъ» или эмпирическимъ, онъ и можетъ быть мастеромъ — по самому свойству своего таланта. Въ искусствахъ «изобразительныхъ» этому роду отвѣчаетъ портретная живопись и таковая-же скульптура.

Это, стало быть,—особая спеціальность въ искусствѣ и особый даръ. Какъ не всякій живописецъ одаренъ талантомъ пор-

третной живописи, такъ не всякій поэтъ-художникъ обладаетъ даромъ мемуариста. Тургеневъ, повидимому, если и обладалъ имъ, то лишь въ слабой степени. Его отнюдь нельзя было-бы назвать эмпирикомъ въ искусствѣ: факты дѣйствительности всегда служили ему только отправными точками для свободнаго творчества. Тургенева (такъ можно думать) и не влекло въ сторону искусства связаннаго, несмотря на богатство впечатлѣній, на обиліе интереснѣйшаго матеріала, который былъ въ его распоряженіи. Его «воспоминанія» (Бѣлинскій, художникъ Ивановъ, Загоскинъ, Литературный вечеръ у Плетнева) отрывочны, написаны «между дѣломъ» и, представляя интересъ въ другихъ отношеніяхъ, художественнаго значенія не имѣютъ.

Но возможна и иная разновидность художественнаго генія, въ которой совмѣщаются оба творчества, и свободное, и связанное. Обладая огромнымъ даромъ художественной комбинаціи, т. е. способностью создавать новые образы, художникъ однакоже не отрывается отъ почвы дѣйствительности, въ особенности отъ той части ея, которая входитъ въ сферу его субъективнаго опыта. Будучи настоящимъ художникомъ-творцомъ, онъ въ то-же время не перестаетъ быть въ извѣстныхъ предѣлахъ эмпирикомъ, въ извѣстномъ смыслѣ—мемуаристомъ.

Таковъ Л. Н. Толстой.

Наша задача и будетъ состоять въ томъ, чтобы, по мѣрѣ возможности и умѣнія, выдѣлить совмѣщающіеся въ громадномъ талантѣ Толстого элементы эмпиризма и свободнаго творчества и дать посильную оцѣнку ихъ. Намъ предстоитъ разсмотрѣть: 1) ту сторону въ произведеніяхъ Толстого, которая можетъ быть названа художественными «мемуарами» и «семейной хроникой»; 2) ту, которая, хотя и не подводится подъ первую рубрику, но роднится съ нею въ томъ отношеніи, что основана на данныхъ субъективнаго опыта: сюда относятся всѣ тѣ образы, для созданія которыхъ Толстой черпалъ матеріалъ изъ богатой сокровищницы своей собственной натуры; 3) образы, основанные на наблюденіи и представляющіе продуктъ свободнаго творчества.

Не трудно показать, что первая и вторая рубрики занимаютъ въ творчествѣ Толстого весьма видное мѣсто,—можно сказать, добрая половина его художественныхъ силъ была направлена именно въ эту сторону. То, что мы называемъ «семейной хроникой», составляетъ содержаніе знаменитыхъ повѣстей «Дѣтство»

(1852), «Отрочество» (1854) и «Юность» (1855—1857), красною нитью проходитъ черезъ всю великую эпопею «Войны и Мира» (исторія семьи Ростовыхъ и отчасти Болконскихъ) и завершается въ другой великой эпопеѣ, романѣ «Анна Каренина», изображеніемъ семейной жизни Левина. Это—первая рубрика. Вторая, вмѣщающая въ себѣ образы, построенные на основѣ самоанализа, представлена фигурой разсказчика въ повѣстяхъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», княземъ Нехлюдовымъ въ «Отрочествѣ», «Юности» и «Утрѣ помѣщика», Оленинымъ въ великолѣпной «кавказской» повѣсти «Казаки», въ извѣстной мѣрѣ Пьеромъ Безуховымъ (и также, если не ошибаюсь, кн. Андреемъ Болконскимъ) въ «Войнѣ и Мирѣ» и, наконецъ, Левинымъ въ «Аннѣ Карениной». Какъ видитъ читатель, все это фигуры первостепенныя; съ художественной стороны, большинство ихъ (Безуховъ, А. Болконскій, Левинъ, Оленинъ) принадлежатъ къ числу лучшихъ созданій Толстого, а съ точки зрѣнія ихъ значенія для фабулы и, что важнѣе, для идеи соотвѣтственныхъ повѣстей и романовъ всѣ они могутъ быть названы фигурами основными или центральными, т. е. такими, которыхъ нельзя устранить или замѣнить другими.

Изъ этого краткаго обзора уже видно, какую капитальную роль въ художественной дѣятельности Толстого играютъ разные виды творчества субъективнаго: здѣсь мы находимъ и воспроизведеніе «себя самого», и натуръ, родственныхъ натурѣ художника, разработанныхъ при дѣятельномъ участіи самоанализа, и изображеніе лицъ своей семьи, своего круга.

Обращаясь къ рубрикѣ 3-й, я сперва позволю себѣ своей одну психологическую догадку. Я предполагаю, что въ теченіе долгой художественной дѣятельности Толстой неоднократно ощущалъ внутреннюю потребность раздвинуть рамки творчества, выйти изъ сравнительно тѣснаго круга «семейной хроники» и самоанализа, какъ-бы отдѣлаться отъ самого себя, своего круга, привычныхъ впечатлѣній и окунуться въ широкую сферу иныхъ явленій жизни. Будь Толстой, по призванію, по самой природѣ своего генія, такимъ художникомъ-созерцателемъ, какъ Тургеневъ, эта потребность перемѣны впечатлѣній была-бы дѣломъ весьма простымъ: разработавъ одинъ кругъ явленій, поэтъ переходитъ къ другому, повинуясь только влеченіямъ своей художнической пытливости. У Толстого-же эти переходы всегда принимали характеръ какъ бы реакціи, являлись въ видѣ умствен-

наго или вообще душевнаго кризиса и сводились не къ простой перемѣнѣ сюжета, а къ исканію чего-то въ родѣ стихіи, населенной своеобразными явленіями духа, принципіально-противуположными тѣмъ, съ которыми художникъ до сихъ поръ имѣлъ дѣло—у себя, въ своемъ кругу. Разъ такой кризисъ наступилъ,—Толстой уже не удовлетворится простымъ, спокойнымъ наблюденіемъ людей другой сферы: ему нуженъ народъ, какъ стихія, какъ часть природы, стихійное движеніе массъ, война съ ея ужасами, съ ея своеобразной психологіей, историческіе процессы, въ которыхъ безсильна воля человѣка,—вообще все грандіозное, могучее, величавое въ своей простотѣ, безыскусственное, наивное въ своей грубой правдѣ, прямо противуположное той искусственности, условности, утонченности, которыя свойственны высшимъ слоямъ общества и вошли въ плоть и кровь его представителей, въ томъ числѣ—и самого художника. Тургеневъ, рисуя народные типы (въ «Запискахъ охотника»), показалъ намъ, что «мужики» такіе-же люди, какъ и мы, что и у нихъ наблюдается такое-же разнообразіе натуръ и умовъ, какъ и у насъ, что и тамъ есть умы практическіе, дѣловые и умы поэтическіе, созерцательные и т. д. Онъ приблизилъ народъ къ верхнимъ слоямъ и показалъ возможность взаимнаго пониманія. Толстой обращается къ народу, напротивъ, съ мыслью найти въ немъ нѣчто такое, чего нѣтъ и быть не можетъ въ культурномъ классѣ, рисуетъ народные типы (въ «Казакахъ»)—какъ совсѣмъ особую породу людей, между которой и «нами» не можетъ установиться ни пониманіе, ни сочувствіе.

Я попрошу читателя вызвать въ памяти тѣ образы, созданные Толстымъ, которые выходятъ за предѣлы субъективной (въ обширномъ смыслѣ) сферы его творчества и явились воплощеніемъ его наблюденій надъ чуждой ему жизнью. Вотъ дядя Ерошка, казакъ Лукашка, Марьянка («Казаки»), вотъ Платонъ Каратаевъ, вотъ самъ Кутузовъ,—не правда-ли, какія яркія, какія своеобразныя, какія мощныя созданія искусства! Это—не только художественныя обобщенія, полученныя обычнымъ путемъ объективныхъ наблюденій,—это вмѣстѣ съ тѣмъ рядъ настоящихъ художественныхъ открытій. Въ наукѣ имъ отвѣчаютъ тѣ геніальныя гипотезы, которыя хотя и строятся обычными пріемами индукціи и основаны на объективныхъ наблюденіяхъ, но на которыхъ прежде всего лежитъ печать глубокой, смѣлой, оригинальной интуиціи. И тамъ, и здѣсь это—плоды вдохнове-

ній мысли, это—откровенія творчества,—тамъ ученаго, здѣсь художественнаго. Въ другихъ областяхъ своего творчества (въ сферѣ субъективной въ обширномъ смыслѣ) Толстой является образцовымъ художникомъ, глубокимъ психологомъ, тонкимъ бытописателемъ,—здѣсь, въ этихъ «художественныхъ гипотезахъ», онъ, прежде всего,—творческій геній.

И я думаю, есть какая-то внутренняя связь между этими вдохновеніями, этимъ пробужденіемъ генія и тѣми душевными кризисами, о которыхъ я говорилъ выше... Въ противуположность Тургеневу, Толстой никогда не былъ спокойнымъ созерцателемъ жизни, безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей—это былъ всегда умъ ищущій и мятущійся. Тѣ образы, на которые я только-что указалъ, и были блестящимъ результатомъ этихъ страстныхъ исканій, счастливыми находками взволнованной мысли, рвущейся изъ оковъ привычныхъ впечатлѣній къ новымъ чарамъ невѣдомой жизни. Примелькавшіеся типы, до послѣднихъ мелочей изученная психологія людей своего общества дѣйствуютъ теперь на нее гнетущимъ образомъ и, охваченная стихійнымъ порывомъ, она стремится въ манящую даль новыхъ грандіозныхъ замысловъ, подобно пушкинскому поэту, который, «дикій и суровый», «и звуковъ, и смятенья полнъ», бѣжитъ

На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Во всякомъ художественномъ созданіи есть элементъ, который можно назвать «открытіемъ». Но онъ можетъ быть больше и меньше. Онъ будетъ очень значителенъ въ томъ художественномъ образѣ, въ которомъ воплощено то, что въ конкретныхъ явленіяхъ жизни, положенныхъ въ основу образа, существуетъ только какъ намекъ, какъ психологическая возможность, или, пожалуй, даже какъ нѣчто психологически-необходимое, но только въ дѣйствительности неосуществленное, непроявившееся. Проявляя его въ своемъ созданіи, художникъ его открываетъ. Во всемъ, что создалъ Толстой на почвѣ «семейной хроники», бытописанія великосвѣтской жизни и анализа собственной личности, этотъ элементъ — художественнаго открытія—былъ, для него самого, сравнительно невеликъ, порою онъ могъ считаться — психологически—равнымъ нулю. Толстой воспроизводилъ здѣсь то, что вошло у него въ плоть и кровь, что онъ хорошо зналъ и понималъ въ деталяхъ, съ чѣмъ сроднился; это было

только художественное разслѣдованіе себя самого и своихъ близкихъ, вообще представителей великосвѣтскаго круга—и соотвѣтственные образы весьма мало заключаютъ въ себѣ такого, чего нѣтъ или что дано лишь въ видѣ намека въ самой дѣйствительности. Они только отлично обобщаютъ и исчерпываютъ эту дѣйствительность. Эту часть въ творчествѣ Толстого можно назвать «интенсивной» художественной культурою, которая на данной почвѣ взращиваетъ изысканные плоды художественнаго самоанализа. Она, конечно, вносила въ душу художника свѣтъ самосознанія, но въ то-же время вызывала въ немъ родъ пресыщенія собою и своимъ и приводила къ душевной реакціи, въ силу которой возгорался въ душѣ могучій и страстный порывъ—къ поискамъ дикой природы, некультурной почвы, къ художественному труду надъ величинами неизвѣстными, сулящему обильную жатву настоящихъ открытій.

Для генія Толстого въ высокой степени характерно и то, и другое: и замкнутость въ своемъ субъективномъ мірѣ, въ своемъ кругу, и тѣ исканія и открытія, о которыхъ мы говоримъ. Поэтому великое произведеніе, въ которомъ совмѣщены и гармонически слиты оба начала, «Война и Миръ», и есть главное, капитальнѣйшее созданіе Толстого: онъ весь, во всей сложности своей художнической натуры, проявился въ этой эпопеѣ, далъ въ ней свои глубочайшія художественныя изысканія въ направленіи субъективномъ и сдѣлалъ свои величайшія открытія на почвѣ творчества объективнаго.

ГЛАВА II.

Художественая автобіографія въ произведеніяхъ Толстого (Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ [1]), Оленинъ, Левинъ).

I.

Въ предыдущей главѣ я намѣтилъ общій планъ, котораго буду держаться въ дальнѣйшемъ изложеніи: сперва наше вниманіе должно быть обращено на тѣ части въ произведеніяхъ Толстого, которыя въ извѣстномъ смыслѣ могутъ быть названы «мемуарами» и гдѣ на авансцену выступаетъ личность самого художника, въ большей или меньшей степени замаскированная вымы-

[1]) Конечно, Нехлюдовъ раннихъ повѣстей, но не—„Воскресенія".

сломъ. Сюда, какъ это уже было указано, прежде всего относятся цѣликомъ повѣсти «Дѣтство», «Отрочество», «Юность», «Утро помѣщика», а затѣмъ отдѣльныя фигуры въ другихъ произведеніяхъ, въ особенности—Оленинъ въ «Казакахъ» и Левинъ въ «Аннѣ Карениной».

Что повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность» не были плодомъ настоящей Dichtung и представляютъ собою родъ художественной автобіографіи и семейной хроники,—это давно уже было болѣе или менѣе извѣстно. Но такой характеръ раннихъ произведеній Толстого окончательно выяснился тогда, когда были обнародованы біографическія свѣдѣнія о Толстомъ—въ статьѣ проф. Н. П. Загоскина «Студенческіе годы Л. Н. Толстого» («Истор. Вѣстн.» 1894, январь) и въ книгѣ Р. Левенфельда «Графъ Толстой. Его жизнь произведенія и міросозерцаніе» (русск. перев. С. Петерб· 1896).

Левенфельдъ, черпавшій изъ непосредственнаго источника, отъ самого Л. Н. Толстого и членовъ его семьи и пользовавшійся также неизданнымъ дневникомъ Толстого, сообщаетъ намъ слѣдующія, не лишенныя интереса указанія, касающіяся его первыхъ произведеній. «У Толстого»— говоритъ онъ—«былъ планъ большого романа: Исторія 4-хъ эпохъ. Онъ имѣлъ въ виду изобразить въ формѣ личныхъ воспоминаній духовное или, точнѣе говоря, душевное развитіе ребенка, мальчика, юноши и взрослаго человѣка» (Левенф., стр. 42). Отсюда мы заключаемъ, что въ раннюю пору творчества, къ которой относится это извѣстіе, художественная пытливость Толстого была обращена внутрь, что, когда впервые его духовныя очи раскрылись и внутренній голосъ призванія сказалъ ему «виждь и внемли», то онъ прежде всего увидѣлъ самого себя. Какъ извѣстно, однако, планъ большого романа «Исторія 4-хъ эпохъ» не былъ осуществленъ, но плодомъ этого чисто-субъективнаго замысла явились повѣсти «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», такъ что «три эпохи» все-таки были воспроизведены. Четвертая-же («взрослый человѣкъ») была лишь намѣчена въ отрывкѣ «Утро помѣщика». Но, въ концѣ концовъ—въ другомъ только видѣ, по другой программѣ—этотъ циклъ 4-хъ эпохъ былъ все-таки завершенъ, потому что фигура Левина есть несомнѣнно плодъ стремленія Толстого—изобразить самого себя уже сложившимся и достигшимъ полноты самосознанія человѣкомъ. Не трудно понять, почему именно послѣдняя, 4-я, эпоха явилась въ художественномъ

изображеніи такъ поздно: въ 50-хъ годахъ Толстой могъ, опираясь на свои воспоминанія и путемъ самоанализа, изобразить себя ребенкомъ, отрокомъ и юношей, но для воспроизведенія себя, какъ взрослаго человѣка, у него, при сложности и своеобразіи его натуры, въ ту эпоху еще не было достаточно данныхъ, не было еще запаса отошедшихъ въ даль прошлаго воспоминаній; онъ могъ тогда только кое-что намѣтить и понять въ себѣ и это немногое, свидѣтельствующее о все еще продолжавшемся броженіи его духа, онъ и далъ въ «Утрѣ помѣщика» и въ образѣ Оленина. Но ему еще было далеко до полноты самосознанія, до окончательнаго выясненія своихъ путей въ жизни, своихъ цѣлей, идеаловъ,—все это опредѣлилось, осѣло и кристаллизовалось гораздо позже, послѣ долгаго опыта жизни и большихъ подвиговъ творчества. Великій художникъ не пойметъ себя, не подведетъ себѣ итога, прежде чѣмъ создастъ свое главнѣйшее произведеніе. Для Толстого 4-я эпоха, эпоха окончательнаго самоопредѣленія, могла наступить только послѣ созданія «Войны и Мира»,—когда онъ и принялся за послѣднюю часть автобіографіи и въ Левинѣ подвелъ итогъ самому себѣ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію, съ этой автобіографической точки зрѣнія, первыхъ произведеній Толстого, приведу сперва слѣдующую цитату изъ книги Левенфельда: «Въ дневникѣ Толстого мы находимъ нѣкоторыя хронологическія указанія относительно его произведеній. 9 іюня 1852 г., онъ уже можетъ отослать въ Петербургъ свою первую повѣсть «Дѣтство». Одно за другимъ пишетъ онъ «Утро помѣщика», «Набѣгъ» и «Отрочество»... 18 октября Левъ Н—чъ составилъ планъ «Кавказскаго разсказа» (вышедшаго впослѣдствіи въ свѣтъ подъ заглавіемъ «Казаки»). 9 ноября онъ уже думаетъ о 3-й части «Дѣтства» и «Отрочества»,—«Юности»... Всѣ эти произведенія, представляя собою описаніе лично пережитого,—результатъ собственнаго внутренняго опыта и наблюденія въ гораздо большей степени, чѣмъ плодъ свободной фантазіи творческаго духа, тѣмъ не менѣе, поражаютъ рѣдкою самостоятельностью» (стр. 37) [1]).

Здѣсь для насъ любопытны и хронологическія указанія, почерпнутыя изъ «Дневника», и самый отзывъ Левенфельда о первыхъ произведеніяхъ Толстого,—отзывъ, указывающій на субъ-

---

[1]) Курсивъ мой.

ективное и автобіографическое ихъ происхожденіе. 1852 годъ составилъ эпоху въ жизни Толстого: въ этомъ году пробудился его творческій геній, и свидѣтельство Левенфельда показываетъ намъ, какія задачи прежде всего представились уму и фантазіи молодого художника. Это были задачи самосознанія, художественнаго самоопредѣленія. Въ этомъ отношеніи начало дѣятельности Толстого рѣзко отличается отъ первыхъ серьезныхъ (юношескія, незрѣлыя произведенія въ счетъ не идутъ) опытовъ другихъ нашихъ поэтовъ, кромѣ Лермонтова. Когда Пушкинъ писалъ «Кавказскаго плѣнника» и «Бахчисарайскій фонтанъ», Гоголь—«Вчера на хуторѣ», Тургеневъ—«Записки охотника», ими двигала потребность отлить въ художественные образы извѣстную сумму впечатлѣній и идей, не имѣющихъ прямого отношенія къ личности самого автора, и задача самосознанія не вставала передъ ними. У Толстого пробужденіе потребности творить было вмѣстѣ съ тѣмъ и стремленіемъ проникнуть въ свою душу, изучить и изобразить свою собственную личность въ ея развитіи и ея состояніи въ данный моментъ. Вотъ и посмотримъ, какъ была выполнена эта задача.

Изображеніе себя самого, исторія своего душевнаго развитія у Толстого неразрывно связаны съ «семейной хроникой» и воспроизведеніемъ бытовой психологіи той среды, къ которой онъ принадлежитъ. Какъ увидимъ ниже, это не просто «художественный пріемъ», это—необходимая постановка вопроса, обусловленная основными свойствами таланта и самой натуры Толстого.

Разработка «семейной хроники» въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ представляетъ нѣкоторыя особенности, на которыя слѣдуетъ обратить вниманіе.

Изъ книги Левенфельда и статьи проф. Загоскина мы узнаемъ, что отецъ нашего писателя, Николай Ильичъ Толстой (Николай Ильичъ Ростовъ «Войны и Мира»), овдовѣлъ въ 1830 г., «когда Льву Н-чу истекалъ всего лишь второй годъ» (Загоск., стр. 84). Семь лѣтъ спустя (1837) умеръ и графъ Николай Ильичъ. Тогда Л. Н. было 9 лѣтъ. Осиротѣвшая семья (опекуншей которой была графиня Остенъ-Сакенъ) переселилась въ Москву, гдѣ воспитаніемъ дѣтей завѣдовали нѣмецъ Ѳ. И. Россель и французъ S.-Thomas.

Вотъ именно изображеніемъ нѣмца-учителя и начинается повѣсть «Дѣтство», гдѣ онъ названъ Карломъ Ивановичемъ. Только здѣсь дѣйствіе перенесено въ деревню. Конечно, отъ этой пере-

становки глава о «Карлѣ Ивановичѣ» и вся фигура добраго нѣмца не перестаютъ быть Wahrheit. Но уже со второй главы («Maman») несомнѣнно начинается Dichtung. Въ этой главѣ изображена мать разсказчика, которую, какъ мы только-что видѣли, Толстой помнить не могъ. Я предполагаю, что онъ, по воспоминаніямъ другихъ лицъ, по семейнымъ преданіямъ, хотѣлъ силою воображенія возстановить невѣдомый образъ своей матери. Вѣроятно, молодой художникъ долго всматривался въ ея портретъ, страстно желая представить себѣ ее живою и вообразить себя ребенкомъ, согрѣтымъ ничѣмъ незамѣнимой материнской любовью, которую извѣдать ему не было дано. Перечитайте со вниманіемъ тѣ страницы «Дѣтства», гдѣ идетъ рѣчь о «Maman», и вы легко замѣтите, что этотъ образъ какъ-бы подернутъ туманомъ, онъ—не портретъ живого человѣка, онъ—почти видѣніе, блѣдный призракъ, вызванный изъ загробнаго міра. Молодой писатель «смутно видѣлъ» этотъ призракъ «сквозь слезы воображенія» (гл. II). Онъ, конечно, могъ бы отряхнуть эти слезы и, давъ волю фантазіи, создать совершенно-новый образъ, поставить на вакантное мѣсто другую женщину, назвавъ ее своей «maman». Но въ данномъ случаѣ молодой писатель не чувствовалъ внутренняго влеченія къ этого рода «Dichtung» [1]). Здѣсь наглядно подтверждается истина, гласящая, что художникъ, въ своемъ творчествѣ, прежде всего стремится удовлетворить извѣстнымъ, строго опредѣленнымъ, въ данное время заявляющимъ о себѣ потребностямъ своего ума и чувства. Изъ такихъ потребностей вытекаетъ постановка художественной задачи. Создаваемый образъ является ея рѣшеніемъ. Въ повѣсти «Дѣтство» Толстымъ руководила именно потребность узнать свою мать, постигнуть ея душу, почувствовать ея неосуществившуюся материнскую ласку и любовь. Художественная задача, обусловленная этимъ живымъ душевнымъ стремленіемъ, приводила къ необходимости перейти отъ Wahrheit мемуаровъ къ тому роду творчества, который такъ свойственъ генію Толстого и состоитъ въ созданіи образовъ повидимому объективныхъ, на самомъ-же дѣлѣ основанныхъ на анализѣ собственныхъ ощущеній автора. Но въ данномъ случаѣ эти ощущенія были, такъ сказать, отрицательными психологическими величинами: это было ощуще-

---

[1]) За то, такъ поступилъ онъ съ образомъ отца, списавъ его съ другого лица, какъ увидимъ ниже.

ніе какого-то пробѣла въ душѣ, сознаніе пустоты въ томъ мѣстѣ душевнаго обихода, гдѣ должны были-бы сохраняться живые слѣды материнской любви. Стремясь заполнить этотъ пробѣлъ, молодой художникъ углубляется въ анализъ своего внутренняго міра и старается заставить трепетать ту струну, которая у него, не помнившаго матери, никогда не трепетала.

Насколько это удалось Толстому въ повѣсти «Дѣтство»?

Самое выдающееся мѣсто, сюда относящееся, это глава XV-я: «Счастливая, счастливая, невозвратимая пора дѣтства! Какъ не любить, не лелѣять воспоминаній о ней?..»—такъ начинается эта глава, въ которой Толстой видимо хотѣлъ растолковать самому себѣ всю непосредственную глубину и красоту любви ребенка къ матери и матери—къ своему дитяти. «Чувствуешь, бывало, въ просонкахъ, что чья-то нѣжная рука трогаетъ тебя; по одному прикосновенію узнаешь ее, и еще во снѣ невольно схватишь эту руку и крѣпко, крѣпко прижмешь ее къ губамъ. Всѣ уже разошлись; одна свѣча горитъ въ гостинной; maman сказала, что она сама разбудитъ меня; это она присѣла на кресло, на которомъ я сплю, своею чудесною нѣжною ручкою провела по моимъ волосамъ, и надъ ухомъ моимъ звучитъ милый, знакомый голосъ:—вставай, моя душечка, пора идти спать.—Ничьи равнодушные взоры не стѣсняютъ ее; она не боится излить на меня всю свою нѣжность и любовь. Я не шевелюсь, но еще крѣпче цѣлую ея руку.—Вставай-же, мой ангелъ!—Она другою рукою беретъ меня за шею, и пальчики ея быстро шевелятся и щекотятъ меня. Въ комнатѣ тихо, полутемно; нервы мои возбуждены щекоткой и пробужденіемъ; мамаша сидитъ подлѣ самаго меня; она трогаетъ меня; я слышу ея запахъ и голосъ. Все это заставляетъ меня вскочить, обвить руками ея шею, прижать голову къ ея груди и, задыхаясь, сказать:—Ахъ, милая, милая мамаша, какъ я тебя люблю!—Она улыбается своею грустной, очаровательной улыбкой, беретъ обѣими руками мою голову, цѣлуетъ меня въ лобъ и кладетъ къ себѣ на колѣни.—Такъ ты меня очень любишь?—Она молчитъ съ минуту, потомъ говоритъ:—Смотри, люби меня, никогда не забывай. Если не будетъ твоей мамаши, ты не забудешь ее?.. Не забудешь, Николенька?—Она еще нѣжнѣе цѣлуетъ меня.—Полно! и не говори этого, голубчикъ мой, душечка моя!—вскрикиваю я, цѣлуя ея колѣни; и слезы ручьями льются изъ моихъ глазъ —слезы любви и восторга».

Я нарочно привелъ все это мѣсто цѣликомъ: оно представляется мнѣ своего рода пробнымъ камнемъ для нѣкоторыхъ сторонъ художественнаго дарованія Толстого. Приведенная страница едвали можетъ считаться удавшейся въ художественномъ отношеніи: на этотъ разъ Толстому не удалось «схватить» здѣсь то, что онъ хотѣлъ «схватить», и поймать его тамъ, гдѣ оно—по выраженію Гете—«интересно» [1]). Много разъ—въ видѣ опыта—перечитывалъ я эту страницу и всегда оставался холоднымъ. А между тѣмъ, она, повидимому, и разсчитана на то, чтобы тронуть читателя, чтобы вызвать живое чувство поэзіи дѣтства, любви дѣтской и материнской. Очевидность такого намѣренія и отсутствіе соотвѣтственнаго эффекта производятъ впечатлѣніе антихудожественное. Иная неудачная въ художественномъ отношеніи страница можетъ, такъ сказать, сойти съ рукъ и не выдать себя, если останется незамѣченнымъ тотъ фактъ, что авторъ «старался», подбиралъ краски, напрягалъ свое воображеніе. Въ данномъ же случаѣ это-то и замѣтно: ясно видѣнъ сочиняющій авторъ, сознательно подбирающій подходящія черты для изображенія душевныхъ состояній, которыхъ онъ не испыталъ. Чтобы это стало очевиднѣе, достаточно вспомнить ту сцену въ «Аннѣ Карениной», гдѣ изображено свиданіе Анны съ сыномъ. Вотъ страница, которую нельзя читать безъ глубокаго душевнаго потрясенія,—вотъ тѣ «рѣчи» на тему о материнской и дѣтской любви, которымъ «безъ волненья внимать невозможно». И притомъ—полное отсутствіе какихъ-бы то ни было слѣдовъ преднамѣренности:—потрясающій эффектъ подкрадывается незамѣтно и застаетъ читателя врасплохъ.

Этотъ поразительный контрастъ между изображеніемъ материнскаго и дѣтскаго чувства въ «Дѣтствѣ» и его изображеніемъ въ «Аннѣ Карениной» былъ обусловленъ не тѣмъ, что талантъ Толстого окрѣпъ и развился, а тѣмъ, что художнику стало доступно чувство, котораго онъ не вѣдалъ раньше, въ то время, когда писалъ «Дѣтство». Материнскую любовь мужчина постигаетъ двумя путями: по воспоминаніямъ дѣтства и черезъ посредство отцовскаго чувства. Второй путь гораздо важнѣе перваго: преданія дѣтства съ лѣтами забываются, и гаснутъ тѣ чувства, которыми нѣкогда была переполнена душа ребенка. Образъ матери все дальше и дальше отодвигается въ глубь прошлаго,

---

[1]) Und wo Ihr's packt,—da ist's interessant.

все гуще и гуще заволакиваетъ его туманомъ забвенія. Но великій художникъ, какъ Толстой, все-таки, сумѣлъ-бы, силою творческаго воображенія, разсѣять этотъ туманъ, оживить угасшія чувства и воскресить полузабытый образъ, если-бы только онъ когда-либо зналъ ихъ. Но этого-то условія, какъ извѣстно, и не было, и вотъ почему въ повѣсти «Дѣтство» такъ блѣдны, такъ художественно-безсильны страницы, посвященныя «maman», вотъ почему онѣ отмѣчены всѣми признаками сочиненности, искусственнаго, головного построенія. Авторъ, нанизывая черты за чертами и повторяя до утомительности одно и то-же въ различныхъ комбинаціяхъ (она сидитъ возлѣ меня, я слышу ея запахъ и голосъ, она улыбается мнѣ, я цѣлую ея руку и т. д.) видимо самъ ищетъ живого художественнаго представленія и не находитъ его. За-то, впослѣдствіи, когда Толстой, ставъ семьяниномъ, извѣдалъ чувства мужа и отца и черезъ ихъ посредство постигъ материнскую любовь и душевный міръ ребенка, цѣликомъ построенный на органической привязанности къ матери, тогда ему уже не нужно было искать и «расписывать», достаточно было только разсказать, какъ вошла Анна Каренина въ комнату сына, какъ ребенокъ проснулся и, потягиваясь, полусонный, прильнулъ къ матери,—заставить Анну сказать: «милый Кутикъ!» да поставить въ дверяхъ фигуру растроганнаго и растерявшагося гувернера, и художественное «слово» было «найдено», была написана одна изъ самыхъ изумительныхъ, одна изъ самыхъ безсмертныхъ страницъ во всемірной литературѣ.

II.

За исключеніемъ «maman», всѣ прочіе, важнѣйшіе образы въ трехъ автобіографическихъ повѣстяхъ являются какъ-бы первыми эскизами или набросками той кисти, которая впослѣдствіи напишетъ великолѣпныя, во весь ростъ, фигуры бытовыхъ типовъ «Войны и мира» и «Анны Карениной». Сюда принадлежатъ: отецъ разсказчика, его бабушка, братъ Володя, знакомые изъ общества, а также и лица другихъ состояній, входящія въ обиходъ домашней помѣщичьей жизни, какъ учитель Карлъ Ивановичъ, Мими, Наталья Савишна. Эти фигуры, хотя и не достигаютъ той высоты художественности, на которой стоятъ бытовые типы «Войны и мира» и «Анны Карениной», тѣмъ не менѣе, являются образами съ опредѣленной, ярко очерченной физіоно-

міей и значительной типичностью. Для изображенія этихъ лицъ Толстой имѣлъ въ своемъ распоряженіи «натуру» и всѣ они входили такъ или иначе въ сферу его внутренняго опыта. Въ этомъ отношеніи любопытно слѣдующее свидѣтельство Левенфельда: «Теперь, когда мы знаемъ, что онъ лишился отца и матери въ... нѣжномъ возрастѣ... мы должны признать въ родителяхъ и бабушкѣ Иртеньева произведенія художественнаго творчества, въ созданіи которыхъ свободная фантазія и наблюденія надъ широкимъ кругомъ лицъ принимали одинаковое участіе... Такъ-какъ Толстой не зналъ своего отца, то онъ избралъ до извѣстной степени, въ качествѣ образца, другого пожилого человѣка изъ круга своихъ знакомыхъ: дядя его будущей супруги со стороны матери послужилъ ему образцомъ для отца Иртеньева, а Мими въ «Дѣтствѣ» Толстой срисовалъ съ дамы, бывшей гувернанткой въ домѣ этого самаго дяди, съ воспитательницы тещи Толстого» (48—49).

Здѣсь представляютъ интересъ фактическія свѣдѣнія, но мысль, что образы родителей Иртеньева были созданы путемъ свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, требуетъ, на мой взглядъ, нѣкоторыхъ оговорокъ. Фигура отца Иртеньева была списана съ опредѣленной личности, которая тутъ-же и указана. Что касается матери, то вышеочерченный характеръ этого образа не позволяетъ думать, чтобы онъ могъ быть полученъ путемъ наблюденія. Въ его созданіи участвовала одна только «свободная фантазія», дѣйствовавшая на этотъ разъ почти апріорно,—оттого-то образъ и вышелъ такимъ блѣднымъ. Вообще, роль этихъ двухъ элементовъ, свободной фантазіи и наблюденій надъ широкимъ кругомъ лицъ, едвали была значительна въ началѣ дѣятельности Толстого, въ особенности когда онъ писалъ «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность». Кругъ его наблюденій былъ по необходимости ограниченъ тогда сравнительно узкими предѣлами его родни и той части великосвѣтской среды, въ которой онъ вращался. Правда, къ той-же эпохѣ относятся и нѣкоторыя наблюденія надъ извѣстными типами изъ другихъ классовъ (напр., студенты изъ разночинцевъ въ «Юности»), а также надъ народной жизнью («Утро помѣщика» и «Казаки»). Но эти наблюденія были только первыми попытками выйти изъ заколдованнаго круга узкихъ, семейно-кружковыхъ впечатлѣній. Нѣкоторыя изъ этихъ попытокъ привели къ блистательнымъ результатамъ; сюда прежде всего нужно отнести великолѣпные

типы «Казаковъ» (дядя Ерошка, Лукашка, Маріанка и др.), которыми мы займемся ниже. Но всѣ образы, сюда относящіеся, начиная со студентовъ-разночинцевъ въ «Юности», носятъ на себѣ ясные слѣды того, что художникъ, ихъ писавшій, принадлежитъ къ другому, именно великосвѣтскому кругу, что онъ смотритъ на Божій міръ глазами аристократа, и самъ, чувствуя узкость и негуманность этой точки зрѣнія, борется съ нею, старается сбросить съ себя эти очки и взглянуть на людей и вещи съ иной, высшей и болѣе человѣчной точки зрѣнія. Не всегда это ему удается, и тамъ, гдѣ наименѣе удается, этотъ протестъ, эта борьба съ самимъ собою сказываются ярче и сами по себѣ являются предметомъ художественнаго воспроизведенія. Въ этомъ отношеніи очень характерна глава XXXI «Юности», озаглавленная «Comme il faut». Этимъ терминомъ Толстой обозначилъ одно «изъ самыхъ пагубныхъ, ложныхъ понятій, привитыхъ ему воспитаніемъ и обществомъ», въ силу котораго онъ дѣлилъ всѣхъ людей «на comme il faut и на comme il ne faut pas»; «второй родъ подраздѣлялся на людей собственно не comme il faut и простой народъ. Людей comme il faut я уважалъ и считалъ достойными имѣть со мной равныя отношенія; вторыхъ—притворялся, что презираю, но въ сущности ненавидѣлъ ихъ, питая къ нимъ какое-то оскорбленное чувство личности; третьи для меня не существовали,—я ихъ презиралъ совершенно». «Главное зло,—читаемъ далѣе,—состояло въ убѣжденіи, что comme il faut есть самостоятельное положеніе въ обществѣ, что человѣку не нужно стараться быть ни чиновникомъ, ни каретникомъ, ни солдатомъ, ни ученымъ, когда онъ comme il faut, что достигнувъ этого положенія, онъ уже исполняетъ свое назначеніе и даже становится выше большей части людей». Сознать, что это—зло, и стараться освободиться отъ него—это, конечно, первый шагъ къ той элементарной, по крайней мѣрѣ, внутренней свободѣ, которая безусловно необходима художнику. Но не такъ-то легко въ самомъ дѣлѣ ее завоевать. Протестуя противъ точки зрѣнія comme il faut, Толстой въ «Юности» фактически рисуетъ разночинцевъ именно съ этой точки зрѣнія: она сквозитъ въ самомъ способѣ изображенія, всѣ эти Оперовы, Семеновы и прочіе появляются въ полѣ зрѣнія читателя какъ-разъ въ той-же постановкѣ и такомъ-же освѣщеніи, какъ и въ глазахъ самого героя comme il faut: герой, а за нимъ и читатель смотритъ на нихъ, какъ на курьезные обращики изъ какого-то

особаго міра, какъ на экземпляры, выхваченые изъ массы на показъ, которые скоро сливаются опять въ безразличную кучу, утрачивая свои индивидуальные признаки,—Семеновъ смѣшивается съ Оперовымъ, Оперовъ съ Иконинымъ, и отъ нихъ остается только общее впечатлѣніе, родъ запаха, что они не comme il faut.

Есть, конечно, разные пути, ведущіе къ освобожденію отъ этой узкой и негуманной точки зрѣнія на людей, столь вредной вообще, а для художника—въ частности,—напримѣръ, путь внутренней переработки своего духовнаго содержанія черезъ усвоеніе широкихъ идей и человѣчныхъ стремленій, путь фактическаго ознакомленія съ жизнью и психологіей людей другихъ слоевъ. Этими путями и шелъ Толстой въ началѣ своей дѣятельности и достигъ значительной степени внутренней свободы, давшей ему возможность изобразить въ «Казакахъ» народные типы съ глубокою художественною правдою и такъ, что читатель уже не забудетъ этихъ образовъ и не смѣшаетъ дядю Ерошку съ Лукашкой и Лукашку съ Назаркой. Но, какъ увидимъ ниже, и тутъ Толстому—въ лицѣ Оленина—не удалось вполнѣ отвлечься отъ «ветхаго человѣка» и вытравить въ себѣ спеціально-аристократическую основу въ отношеніяхъ къ людямъ и жизни вообще. Другой путь къ дальнѣйшимъ завоеваніямъ въ области внутренней свободы открывался передъ нимъ. Это былъ путь болѣе широкихъ наблюденій и болѣе глубокаго изученія той самой среды, которая ограничивала его свободу, развивъ въ немъ исключительную точку зрѣнія на людей, привычку ко злу «comme il faut». Нужно было взять быка за рога. Дѣло въ томъ, что и въ великосвѣтской средѣ, какъ и во всякой другой, есть свой «міръ» и свой «мірокъ». Отличительныя черты, привычки, точки зрѣнія и пр., принадлежащія средѣ, сильнѣе выражаются и получаютъ особливо-уродливое развитіе въ ея «міркѣ» и—наоборотъ—въ значительной степени стушевываются и парализуются перекрещиваясь другими бытовыми продуктами той-же сословной психологіи,—въ ея «мірѣ». Это различіе проявляется съ наибольшею силою въ тѣхъ классахъ, которые играютъ или играли извѣстную историческую роль и были ареною различныхъ умственныхъ движеній. Возьмите, напримѣръ, какой-нибудь уголокъ западно-европейской буржуазной жизни: обыватели этого уголка, хотя-бы они и не были проникнуты крайними буржуазными стремленіями и мѣщанскими идеалами,

непремѣнно будутъ отражать въ себѣ черты сословной узкости, мѣщанскихъ предразсудковъ въ гораздо большей мѣрѣ и въ болѣе уродливой формѣ, чѣмъ тотъ «буржуа», который живетъ болѣе широкой жизнью своего класса и, соприкасаясь съ различными теченіями этой жизни, находитъ въ массѣ психическихъ продуктовъ, приносимыхъ и уносимыхъ этими теченіями, и такіе, которые могутъ ему послужить противоядіемъ противъ узкости его-же сословной психологіи. Явленіе это гораздо сложнѣе, чѣмъ это кажется на первый взглядъ. Помимо различныхъ вліяній умственнаго и нравственнаго порядка, дѣйствующихъ на личность въ широкомъ «мірѣ» его класса и отсутствующихъ въ «міркѣ», здѣсь дѣйствуютъ еще особые, пока мало изученные, психическіе процессы, именно тѣ, которые развиваются въ общеніи личности съ ея средою и опредѣляютъ собою то, что можно назвать общественнымъ самочувствіемъ человѣка. Въ «міркѣ» сословныя черты этого самочувствія выступаютъ ярче и уродливѣе, чѣмъ въ мірѣ,—и въ уѣздѣ дѣйствительный статскій совѣтникъ чувствуетъ себя гораздо «дѣйствительнѣе», чѣмъ въ столицѣ. Въ широкой классовой средѣ, населенной массою представителей того-же классоваго типа, спеціальныя черты сословной психологіи отвлекаются отъ индивидуумовъ къ массѣ, и личность, въ извѣстной мѣрѣ освобождаясь отъ нихъ, въ той-же мѣрѣ становится человѣчнѣе; напротивъ, въ узкой средѣ, наполненной сравнительно-небольшимъ числомъ представителей класса, эти черты, не отвлекаемыя притяженіемъ сословной массы, тѣмъ рѣзче проявляются въ отдѣльныхъ личностяхъ. Въ этомъ отношеніи явленія сословной психологіи должны быть отличаемы отъ другихъ коллективныхъ психическихъ процессовъ, которыхъ сила или интенсивность возрастаетъ вмѣстѣ съ увеличеніемъ массы индивидуумовъ, являющихся носителями этихъ процессовъ. Паника или, наоборотъ, отвага тѣмъ сильнѣе, чѣмъ больше толпа. То-же самое, думаю, относится къ умственнымъ явленіямъ: большая толпа дураковъ глупѣе небольшой кучки тѣхъ-же дураковъ. Но другое дѣло черты сословной психологіи, а также, нужно прибавить, и національной. Психологически онѣ — форма, а не содержаніе. Это какъ-бы та рамка, въ которую вкладывается индивидуальное содержаніе личности. Въ общеніи личности съ массою, въ живомъ взаимодѣйствіи большого числа лицъ той-же психологической формы, сословной или національной, затрогивается преимущественно содержаніе, а не форма:

люди обмѣниваются мыслями, чувствами, сталкиваются характерами, темпераментами, сходятся и расходятся во взглядахъ, вѣрованіяхъ, убѣжденіяхъ,—а своихъ формальныхъ, сословныхъ или національныхъ, чертъ даже не чувствуютъ, какъ не чувствуемъ мы воздуха или собственнаго тѣла, пока оно здорово. Поэтому, эти формальные элементы не выступаютъ наружу съ той назойливостью, какъ это бываетъ въ тѣсныхъ сословныхъ кругахъ, гдѣ обмѣнъ содержаніемъ скуднѣе, или въ національныхъ группахъ, замкнутыхъ въ узкой обособленной жизни и характеризующихся тѣмъ, что у нихъ содержаніе сливается съ формою, что онѣ неспособны вложить въ свою національную форму новое содержаніе идей, стремленій, нравовъ, вѣрованій, вкусовъ. Тогда формально-психологическіе элементы выступаютъ вмѣстѣ съ содержаніемъ наружу, проникаютъ въ сознаніе и даютъ въ результатѣ въ одномъ случаѣ сословную обособленность и узкость, въ другомъ—національную исключительность, въ обоихъ—негуманный, чуждый человѣчности и широты укладъ духа.

Послѣ этихъ соображеній мы поймемъ, насколько необходимо было Толстому, какъ художнику, и, добавимъ, какъ человѣку, перейти отъ узкой сферы великосвѣтскаго кружка къ наблюденіямъ надъ цѣлымъ «міромъ» великосвѣтской жизни въ ея различныхъ теченіяхъ и проявленіяхъ, во всемъ разнообразіи вырабатываемыхъ ею характеровъ и умовъ,—какъ изображена она въ «Войнѣ и Мирѣ» и «Аннѣ Карениной».

Съ этой точки зрѣнія мы и разсмотримъ въ свое время великосвѣтскіе типы этихъ двухъ большихъ эпопей. Здѣсь-же у насъ на очереди анализъ тѣхъ образовъ, въ которыхъ Толстой воплотилъ свою художественную автобіографію. Этотъ анализъ прежде всего раскроетъ то броженіе душевныхъ силъ, ту внутреннюю ломку, чрезъ которыя прошелъ геній Толстого—въ своемъ стремленіи сбросить съ себя гнетъ сословной психологіи и завоевать ту долю внутренней свободы, какая была безусловно необходима для того, чтобы художникъ могъ выступить на только-что указанный путь широкихъ наблюденіи и объективнаго творчества.

Эта внутренняя борьба и ломка были тѣсно связаны у Толстого съ процессомъ самоанализа и вопросомъ самосознанія, къ разсмотрѣнію которыхъ и перейдемъ теперь.

III.

Въ связи съ субъективизмомъ и эмпиризмомъ, которыми такъ ярко отличается геній Толстого, находится, какъ отпрыскъ этого основного уклада, то, что можно назвать «эгоцентризмомъ» въ искусствѣ: художественная пытливость прежде всего обращается къ личности самого художника, какъ объекту ближайшему и наиболѣе доступному для эмпирическаго изученія.

Эгоцентрическое направленіе творчества и тѣсно связанный съ нимъ самоанализъ занимаютъ первенствующее мѣсто въ раннихъ произведеніяхъ Толстого. Сюда прежде всего относятся въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ» и «Юности» фигуры разсказчика Николая Иртеньева и его друга, князя Нехлюдова. Что эти два образа представляютъ собою художественное воспроизведеніе собственной личности автора, въ этомъ не можетъ быть сомнѣнія для всякаго, кто сколько-нибудь вдумчиво читалъ Толстого. Только ради полноты приведу относящіяся сюда указанія Левенфельда. «Безъ опасенія смѣшать правду съ вымысломъ»—говоритъ онъ—«можно въ Николаѣ Иртеньевѣ... видѣть самого Толстого въ годы юности» (стр. 28). На стр. 41-й, замѣчая, что «источникъ перваго произведенія Толстого—стремленіе къ признаніямъ», Левенфельдъ указываетъ и на то, что князь Нехлюдовъ есть alter ego Николая Иртеньева. «Иртеньева и Нехлюдова»—поясняетъ онъ далѣе, стр. 57—«можно разсматривать, какъ двѣ части болѣе высокаго единства, воплощеннаго въ самомъ Толстомъ».

Нѣтъ надобности приводить здѣсь образчики превосходнаго художественнаго анализа, впервые произведеннаго Толстымъ въ этихъ первыхъ его повѣстяхъ и направленнаго преимущественно на психику самого автора въ разныя эпохи его развитія. Пусть читатель припомнитъ или перечитаетъ тѣ страницы, гдѣ такъ мѣтко и тонко разбираются различныя душевныя состоянія разсказчика, гдѣ такъ правдиво раскрывается его внутренній міръ. Укажу здѣсь только на слѣдующія двѣ важныя и характерныя черты.

Первая состоитъ въ томъ, что психологія ребенка, отрока и юноши, изображенная въ трехъ автобіографическихъ опытахъ Толстого, не есть психологія обобщеннаго, общечеловѣческаго ребенка, отрока и юноши, а самымъ тѣснымъ образомъ пріуро-

чена къ средѣ, національной почвѣ и эпохѣ: это спеціально психологія русской, великосвѣтской, помѣщичьей среды, прослѣженная въ трехъ возрастахъ. Бытовой колоритъ данъ не только въ обстановкѣ, во внѣшнихъ проявленіяхъ и въ способѣ выраженія душевныхъ состояній, которыя въ существѣ своемъ остаются, конечно, человѣческими вообще, но онъ внесенъ, если можно такъ выразиться, въ самый механизмъ этихъ душевныхъ состояній,—и въ силу такой окраски эти послѣднія, не переставая быть общечеловѣческими, вызываютъ въ читателѣ особливый интересъ не къ своей общечеловѣческой основѣ, а къ своей бытовой окраскѣ. Въ «Дѣтствѣ» и «Отрочествѣ» наше заинтересованное вниманіе сосредоточивается спеціально на психологіи «барчука», въ «Юности» — на психологіи молодого человѣка comme il faut. Въ этомъ отношеніи три автобіографическія повѣсти приближаются къ типу настоящихъ мемуаровъ и бытовыхъ картинъ: это въ тѣсномъ смыслѣ великосвѣтскіе очерки. Тутъ, въ самомъ началѣ дѣятельности Толстого, ярко обнаружился его субъективизмъ и эмпиризмъ. Художники объективнаго склада, художники-наблюдатели, какъ Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ, могутъ, сколько угодно, наряжать своихъ героевъ въ національный костюмъ и пріурочивать ихъ къ опредѣленной, строго-ограниченной въ пространствѣ и времени, почвѣ, но изъ-подъ національнаго, сословнаго, историческаго и всякаго иного обличья душевныя движенія этихъ героевъ, ихъ характеры и натуры выступаютъ въ той широкой и мощной обобщенности, которая ихъ дѣлаетъ типичными для человѣка вообще, для человѣчества. У Толстого, въ его раннихъ произведеніяхъ преимущественно, а въ послѣдующихъ въ большей или меньшей мѣрѣ, сословное обличье и великосвѣтская психологія героевъ не только служатъ средствомъ придать образамъ необходимую для осуществленія художественнаго эффекта конкретность, но вмѣстѣ съ тѣмъ входятъ въ составъ того содержанія, которое ими апперцепируется. Поэтому на читателя изъ другой среды его первыя произведенія и многое въ послѣдующихъ производятъ впечатлѣніе чего-то чуждаго, не своего, чего-то сословнаго, спеціально великосвѣтскаго. Для всякаго читателя изъ какой-бы то ни было среды, если только онъ человѣкъ образованный и имѣетъ достаточный опытъ жизни, Шекспиръ, Пушкинъ, Тургеневъ— «свой братъ» и сразу кажутся чѣмъ-то близкимъ, роднымъ; Толстой сперва кажется чуждымъ, не своимъ—и только вчитав-

шись и вникнувъ въ него, только подчинившись обаянію его генія, читатель принимаетъ его въ число «своихъ», въ число художниковъ-учителей и друзей человѣчества.

Вторая, очень важная и уже чисто-личная, а не бытовая, черта, которую мы должны отмѣтить въ трехъ разсматриваемыхъ повѣстяхъ, состоитъ въ слѣдующемъ: здѣсь уже обнаруживается та сторона въ натурѣ Толстого, которая впослѣдствіи займетъ видное мѣсто въ его художественномъ творчествѣ и, наконецъ, обособившись отъ него, выразится въ его дѣятельности, какъ мыслителя и моралиста. Это именно его неудержимое, какъ-бы органическое влеченіе, съ одной стороны, къ такъ называемымъ «проклятымъ» вопросамъ, съ другой—и въ особенности—къ выработкѣ нравственнаго міровоззрѣнія, даже нравственной догмы. «Въ продолженіе года, во время котораго я велъ уединенную, сосредоточенную въ самомъ себѣ, моральную жизнь»—читаемъ въ XIX гл. «Отрочества»—«всѣ отвлеченные вопросы о назначеніи человѣка, о будущей жизни, о безсмертіи души уже представлялись мнѣ; и дѣтскій слабый умъ мой со всѣмъ жаромъ неопытности старался уяснить тѣ вопросы, предложеніе которыхъ составляетъ высшую ступень, до которой можетъ достигнуть умъ человѣка, но разрѣшеніе которыхъ не дано ему».

Въ 50-хъ и даже 60-хъ годахъ эти строки и слѣдующее за ними описаніе головоломныхъ метафизическихъ упражненій героя могли казаться читателямъ продуктомъ чисто-объективныхъ замысловъ художника. Непосредственно вслѣдъ за приведеннымъ мѣстомъ читаемъ: «мнѣ кажется, что умъ человѣка въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ проходитъ въ своемъ развитіи по тому-же пути, по которому онъ развивается и въ цѣлыхъ поколѣніяхъ, что мысли, служившія основаніемъ различныхъ философскихъ теорій, составляютъ нераздѣльныя части ума, но что каждый человѣкъ болѣе или менѣе ясно сознавалъ ихъ еще прежде, чѣмъ зналъ о существованіи философскихъ теорій». Несмотря на нѣкоторую неясность выраженія въ послѣдней фразѣ, мы все-таки улавливаемъ мысль автора, которая будетъ совершенно вѣрна, если вмѣсто словъ «въ каждомъ отдѣльномъ лицѣ» поставимъ «въ мыслящемъ человѣкѣ»: не всѣ способны задаваться и мучиться отвлеченными вопросами—большинство живетъ не мудрствуя лукаво; взять хотя-бы брата разсказчика, Володю: для него вовсе не существуетъ этого «пути развитія». Какъ бы то ни было, но, прочитавъ эти строки, читатель 50-хъ или 60-хъ

годовъ склоненъ былъ думать, что авторъ просто задался цѣлью— «показать» это, «провести эту мысль» на примѣрѣ своего героя, который вслѣдствіе этого получаетъ гораздо больше интереса, чѣмъ напр. Володя, но зато теряетъ въ смыслѣ бытовой типичности: взятъ любопытный, но рѣдкій случай,—описанъ «казусъ» неожиданнаго пробужденія философскихъ стремленій въ молодомъ баричѣ, поставленномъ совершенно въ сторонѣ отъ тѣхъ круговъ, гдѣ эти стремленія такъ или иначе обнаруживались. Случай—всегда возможный въ дѣйствительности, эпизодъ—вполнѣ умѣстный въ мемуарахъ, фотографирующихъ дѣйствительность, но не подходящій для цѣлей художественности.—Философскія упражненія Николая Иртеньева, какъ представлены они въ XIX-ой гл. «Отрочества», и его моральныя стремленія, изображенныя въ «Юности», рисуютъ намъ любопытную картину пробужденія и первыхъ шаговъ мощнаго, но въ высокой степени своеобразнаго ума, отмѣченнаго большой склонностью къ рефлексіи и необыкновеннымъ даромъ анализа. Эта картина нисколько не характерна для мыслящей части того круга, къ которому принадлежитъ Ник. Иртеньевъ; она не можетъ быть также названа типичною для философствующей части человѣчества вообще. Она характерна только для Л. Н. Толстого. Теперь, послѣ всего, что написалъ Толстой съ тѣхъ поръ, въ особенности послѣ статей IV-го тома, послѣ «Исповѣди» и сочиненій религіозно-философскихъ и этическихъ, мы уже не можемъ сомнѣваться въ томъ, что XIX-ая глава «Отрочества» и аналогичныя ей мѣста другихъ раннихъ повѣстей Толстого представляютъ собою не Dichtung, а самую подлинную Wahrheit. Эти страницы не принадлежатъ къ области искусства, это просто—глава изъ автобіографіи необыкновеннаго человѣка, который уже въ ранней молодости не удовлетворялся ходячими понятіями и силился собственнымъ умомъ рѣшить такъ называемые проклятые вопросы и выработать себѣ нормы высшей морали.

Для Толстого здѣсь характерна каждая мелочь. Напр. хотя-бы слѣдующее мѣсто: «Отвлеченныя мысли образуются вслѣдствіе способности человѣка уловить сознаніемъ въ извѣстный моментъ состояніе души и перенести его въ воспоминаніе. Склонность моя къ отвлеченнымъ размышленіямъ до такой степени неестественно развила во мнѣ сознаніе, что часто, начиная думать о самой простой вещи, я впадалъ въ безвыходный кругъ анализа своихъ мыслей, я не думалъ уже о вопросѣ, занимавшемъ меня,

а думалъ о томъ, о чемъ я думалъ. Спрашивая себя: о чемъ я думаю?—я отвѣчалъ: я думаю, о чемъ я думаю. А теперь о чемъ я думаю?—я думаю, что я думаю, о чемъ я думаю и т. д. Умъ за разумъ заходилъ...» («Отроч.», гл. XIX). Это были первыя пробы, это была ребяческая игра той мощной мысли, которая впослѣдствіи дастъ несравненные образцы психологическаго анализа. Подобно тому, какъ будущій великій изобрѣтатель уже въ дѣтствѣ начинаетъ упражнять свой даръ на игрушкахъ и другихъ вещахъ, разбирая и портя часы и т. д., какъ будущій великій полководецъ играетъ въ солдатики и выдумываетъ небывалые планы кампаній, мечтая о сраженіяхъ и побѣдахъ и т. п., такъ и будущій великій художникъ-психологъ въ отрочествѣ предавался головоломной—«игрушечной»—работѣ рефлексіи, анализа собственныхъ мыслей и чувствъ. Это были первые—инстинктивные—взмахи крыльевъ орленка.

Въ другихъ разсужденіяхъ, напр. по вопросу о «симметріи», о «пустотѣ», въ упражненіяхъ ума въ скептическомъ направленіи мы узнаемъ (конечно, не съ точки зрѣнія самого содержанія мыслей, а по общему пошибу, по характеру мышленія) будущаго оригинальнаго философа, который построитъ моральную систему, основанную на чисто субъективныхъ точкахъ зрѣнія и таковыхъ-же пріемахъ.

Для будущаго реформатора морали, истолкователя Евангелія и провозвѣстника всеобщей реформы основъ жизни путемъ личнаго нравственнаго возрожденія весьма характерны и знаменательны тѣ мѣста въ «Юности», гдѣ выставлены на видъ юношескія стремленія и опыты въ направленіи нравственнаго усовершенствованія. Сюда относится исторія дружбы Николая Иртеньева съ Нехлюдовымъ, ихъ разговоры на тему откровенности и морали, тѣ «добродѣтельныя мысли», которыя связывали друзей («Юность», гл. I), далѣе «правила жизни», которыя задумалъ начертать самому себѣ Николай Иртеньевъ («Юность», гл. V), наконецъ вліяніе церковной исповѣди (гл. VI, VII, VIII).

Какъ извѣстно, «Юность» оканчивается указаніемъ на новый «моральный порывъ», возникшій послѣ разныхъ ошибокъ, уклоненій отъ «правилъ жизни», провала на экзаменахъ и т. д. «Оправившись, я рѣшился снова писать правила жизни и твердо былъ убѣжденъ, что я уже никогда не буду дѣлать ничего дурного, ни одной минуты не проведу праздно и никогда не измѣню своимъ правиламъ. Долго-ли продолжался этотъ моральный по-

рывъ, въ чемъ онъ заключался и какія новыя начала положилъ онъ моему моральному развитію, я разскажу въ слѣдующей, болѣе счастливой половинѣ юности».

IV.

Эта «болѣе счастливая половина юности» не была написана по первоначальному плану, но сюда, очевидно, относится отрывокъ «Утро помѣщика», автобіографическій характеръ котораго стоитъ внѣ сомнѣнія. Въ этомъ очеркѣ, какъ извѣстно, изображены филантропическія затѣи молодого помѣщика Нехлюдова, поставившаго себѣ цѣлью устроить благополучіе своихъ крѣпостныхъ и содѣйствовать ихъ нравственному развитію. Вотъ что говоритъ Левенфельдъ о соотвѣтственныхъ стремленіяхъ самого Толстого: «Какимъ восторгомъ наполняло его душу сознаніе, что ему принадлежитъ такъ много людей, и что онъ можетъ стать для нихъ отцомъ и совѣтникомъ... Онъ, рѣшивъ выйти изъ университета, поставилъ себѣ цѣлью—осуществить въ своемъ маленькомъ царствѣ свои идеалы» (стр. 28—30). Неудачи Нехлюдова совпадаютъ съ слѣдующимъ свидѣтельствомъ Левенфельда о Толстомъ: «Толстой долженъ былъ самому себѣ сознаться, что его тетка Ергольская, предостерегавшая его отъ черезчуръ блестящихъ надеждъ, была права, когда утверждала, что легче устроить свое личное счастье, чѣмъ доставить его другимъ» (стр. 32). Такимъ образомъ, въ «Утрѣ помѣщика» слѣдуетъ видѣть продолженіе автобіографіи, Wahrheit, а не Dichtung: этотъ разсказъ, по словамъ Левенфельда, «почти цѣликомъ представляетъ собою самоописаніе: Нехлюдовъ—это Толстой». (Стр. 62).

Выше мы привели нѣкоторыя соображенія, объясняющія, почему вторая часть юности или зрѣлый возрастъ не былъ написанъ цѣликомъ. Къ сказанному нужно прибавить еще расширеніе кругозора, жажду новыхъ впечатлѣній, возникновеніе новыхъ художественныхъ замысловъ. На одинъ изъ таковыхъ, впрочемъ совпадающій съ автобіографическимъ направленіемъ творчества, указываетъ Левенфельдъ на стр. 58—59: «... въ немъ зародился планъ... дать типъ русскаго помѣщика. Планъ этотъ опирался на надежду Толстого провести всю свою жизнь въ имѣніи и изъ своего собственнаго опыта почерпнуть матеріалъ для большого

романа «Русскихъ помѣщиковъ». Здѣсь-же указано, что «Утро помѣщика» можетъ быть разсматриваемо, какъ отрывокъ, сюда именно относящійся. Но этимъ замысламъ не суждено было осуществиться. Толстому теперь нужны были новыя впечатлѣнія, изъ которыхъ его самоанализъ могъ-бы почерпнуть новые стимулы, новыя точки опоры—въ сравненіи себя съ другими натурами, въ провѣркѣ своего внутренняго міра данными новаго внутренняго опыта. Эти новыя впечатлѣнія и стимулы далъ Толстому Кавказъ,—и результатомъ было созданіе великолѣпной «кавказской повѣсти» Казаки, въ которой впервые геній Толстого проявился во всемъ своемъ блескѣ. Здѣсь насъ интересуетъ собственно герой этой повѣсти—Оленинъ, поскольку онъ является продуктомъ все того-же автобіографическаго субъективизма. Сперва приведемъ относящіяся сюда свѣдѣнія изъ книги Левенфельда. «Онъ (Толстой) проигралъ больше, чѣмъ позволяли ему его средства, и рѣшилъ—чего-бы не сдѣлалъ безъ внѣшняго давленія—послѣдовать за братомъ на Кавказъ». (Стр. 35). «И здѣсь (на Кавказѣ) Толстой сближался съ народомъ съ такимъ-же удовольствіемъ, съ какимъ онъ раньше заботился о своихъ яснополянскихъ крестьянахъ... Онъ подружился съ казакомъ Епишкой, хорошо знавшимъ мѣстность и народъ, ходилъ съ нимъ въ горы и на охоту, никогда не упуская случая срисовывать характерные типы населенія или мѣстности, обращавшіе на себя его особое вниманіе, и заносить эти рисунки въ свою книжечку». (Стр. 35). Нѣсколько позже, при содѣйствіи своего дяди, адъютанта кн. Барятинскаго, онъ зачисляется въ 4-ю баттарею 20-й бригады. «Бригада эта помѣщалась въ казацкой деревнѣ Старогладовѣ, на лѣвомъ берегу Терека». (Стр. 36). «Кавказская повѣсть 1852 г.—озаглавилъ Толстой свой разсказъ, какъ-бы указывая этимъ названіемъ, что въ его повѣсти нашли себѣ мѣсто событія изъ жизни самого автора. Правда, и безъ этого указанія не трудно было-бы въ Оленинѣ узнать нашего писателя съ его пытливымъ и неутомимо ищущимъ истины духомъ. Впрочемъ, въ основу самой фабулы разсказа легло событіе не изъ жизни Толстого, а изъ жизни одного офицера, который разсказалъ о немъ Льву Николаевичу ночью во время совмѣстнаго путешествія» (Стр. 72). Любопытно, что запасъ кавказскихъ наблюденій, собранный еще въ 1852 г., былъ обработанъ гораздо позже. «Казаки» были закончены только въ 1861 г. (Левенфельдъ, стр. 66).

Запасшись этими свѣдѣніями, обратимся къ анализу фигуры Оленина.

Молодой аристократъ, неудовлетворенный жизнью въ свѣтѣ, бѣгущій отъ пустоты, искусственности и фальши этой жизни, исполненный горечью сознанія собственныхъ ошибокъ и уклоненій отъ намѣченнаго идеала,—это образъ, безспорно построенный на данныхъ самонаблюденія. Это—самъ Л. Н. Толстой въ началѣ 50-хъ годовъ, и повѣсть «Казаки», по праву, можетъ быть разсматриваема, какъ глава изъ художественной автобіографіи Толстого. Характеристика Оленина, въ первыхъ трехъ главахъ, въ общемъ и въ нѣкоторыхъ частностяхъ вполнѣ согласуется съ тѣмъ, что мы знаемъ о Толстомъ въ соотвѣтственную эпоху его жизни. И это сходство представляется не только внѣшнимъ, но и внутреннимъ, идущимъ въ глубь интимныхъ движеній души, захватывающимъ индивидуальныя особенности ума и натуры Толстого: фигуру Оленина нужно признать списанною авторомъ съ самого себя—не потому только, что Оленинъ—аристократъ, богатъ, молодъ, скучаетъ въ свѣтѣ, проигрался и жаждетъ новыхъ, освѣжающихъ впечатлѣній, но главнымъ образомъ—потому, что въ Оленинѣ выведена натура незаурядная, можно сказать даже—исключительная. Здѣсь, сталобыть, повторилось то, что выше мы отмѣтили въ трехъ первыхъ автобіографическихъ повѣстяхъ: герой—не типъ, а совершенно своеобразная индивидуальность, только съ весьма ярко выраженной сословной (великосвѣтской) психологіей.

Прочтемъ сперва слѣдующее любопытное въ автобіографическомъ отношеніи мѣсто: «онъ раздумывалъ надъ тѣмъ, куда положить всю эту силу молодости, только разъ въ жизни бывающую въ человѣкѣ: на искусство-ли, на науку-ли, на любовь-ли къ женщинѣ,—или на практическую дѣятельность, на силу ума, сердца, образованія,—тотъ не повторяющійся порывъ, ту на одинъ разъ данную человѣку власть сдѣлать изъ себя все, что онъ хочетъ и какъ ему кажется, и изъ всего міра—все, что ему хочется. Правда, бываютъ люди, лишенные этого порыва, которые, сразу входя въ жизнь, надѣваютъ на себя первый попавшійся хомутъ и честно работаютъ въ немъ до конца жизни. Но Оленинъ слишкомъ сильно сознавалъ въ себѣ присутствіе этого всемогущаго бога молодости, эту способность превратиться въ одно желаніе, въ одну мысль, способность захотѣть и сдѣлать, броситься головой внизъ въ бездонную пропасть, не зная за что,

не зная зачѣмъ. Онъ носилъ въ себѣ это сознаніе, былъ гордъ имъ и, самъ не зная этого, былъ счастливъ имъ». («Казаки», гл. II).

Эти сильныя, безпорядочно-выброшенныя изъ души слова рисуютъ намъ Оленина, какъ человѣка незауряднаго, и въ то-же время не оставляютъ сомнѣнія въ томъ, что они сказаны авторомъ о самомъ себѣ; въ нихъ чуется та могучая сила, которая бродила въ Толстомъ, ища себѣ выхода и приложенія,—сила, которая могла ему самому казаться лишь даромъ «бога молодости», но въ дѣйствительности была независима отъ послѣдняго: она никогда не переставала бродить и искать, творить и опять искать, проявляясь и въ великихъ созданіяхъ искусства, и въ смѣлыхъ попыткахъ своеобразной общественной дѣятельности. И до сихъ поръ еще эта сила не исчерпана.

Оленинъ—натура оригинальная, самобытная, съ умомъ пытливымъ, вѣчно ищущимъ; эти исканія всегда направлены внутрь, на выработку нравственнаго идеала, который-бы доставилъ ему полное внутреннее удовлетвореніе, полный миръ его душѣ. Все это въ высокой степени характеризуетъ самого Л. Н. Толстого, о которомъ съ полнымъ правомъ можно сказать то, что говорится въ XXIII-ей главѣ объ Оленинѣ: онъ «жилъ всегда своеобразно и имѣлъ безсознательное отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ». Какъ и Л. Н. Толстой, Оленинъ дѣлаетъ неожиданныя открытія въ сферѣ нравственныхъ истинъ. Въ XIX-й главѣ онъ вдругъ открылъ, путемъ созерцательнаго самоуглубленія, слѣдующую истину: «и вдругъ ему какъ будто открылся новый свѣтъ.—Счастье вотъ что,—сказалъ онъ самому себѣ:—счастье въ томъ, чтобы жить для другихъ. И это ясно. Въ человѣка вложена потребность счастья,—стало быть, она законна. Удовлетворяя ее эгоистически, т. е. отыскивая для себя богатства, славы, удобствъ жизни, любви, можетъ случиться, что обстоятельства такъ сложатся, что невозможно будетъ удовлетворить этимъ желаніямъ. Слѣдовательно, эти желанія незаконны, а не потребность счастья незаконна. Какія-же желанія всегда могутъ быть удовлетворены, несмотря на внѣшнія условія, какія? — Любовь, самоотверженіе! — Онъ такъ обрадовался и взволновался, открывъ эту, какъ ему казалось, новую истину, что вскочилъ и въ нетерпѣніи сталъ искать, для кого-бы ему поскорѣе пожертвовать собой, кому-бы сдѣлать добро, кого-бы любить».

Эти мысли о самоотверженіи весьма причудливымъ образомъ переплетались въ душѣ Оленина съ его протестомъ противъ прежней жизни и стремленіемъ отречься отъ своего круга и «опроститься». Въ главѣ XXVI-ой мы узнаемъ, что его оскорбляли письма отъ родныхъ и друзей, сокрушавшихся о немъ, какъ о погибшемъ человѣкѣ: «онъ самъ считалъ погибшими всѣхъ тѣхъ, кто не велъ такую жизнь, какъ онъ» (въ станицѣ).—«Онъ былъ убѣжденъ, что никогда не будетъ раскаиваться въ томъ, что оторвался отъ прежней жизни и такъ уединенно и своеобразно устроился въ станицѣ».—«Развѣ—думалъ онъ—желаніе быть простымъ казакомъ, жить близко къ природѣ, никому не дѣлать вреда, а еще дѣлать добро людямъ, развѣ мечтать объ этомъ глупѣе, чѣмъ мечтать о томъ, о чемъ я мечталъ прежде,—быть, напр., министромъ, быть полковымъ командиромъ?»—Это стремленіе къ «опрощенію» было только крайнимъ выраженіемъ или послѣднимъ звеномъ въ развитіи тѣхъ чувствъ, съ которыми Оленинъ покинулъ Москву и поселился въ станицѣ. Можно прослѣдить это душевное движеніе шагъ за шагомъ. Сперва это была просто потребность душевнаго освѣженія, которое и было имъ достигнуто силою новыхъ впечатлѣній, усталостью дороги, рѣзкимъ контрастомъ между утонченностью и искусственностью жизни въ свѣтѣ и простотою и грубостью той, которая теперь открывалась ему и манила къ себѣ. Еще дорогою, по мѣрѣ того, какъ исчезали послѣдніе слѣды «цивилизаціи»,—«Оленину становилось веселѣе и веселѣе. Всѣ казаки, ямщики, смотрителя—казались ему простыми существами, съ которыми ему можно было просто шутить, бесѣдовать, не соображая, кто къ какому разряду принадлежитъ. Всѣ принадлежали къ роду человѣческому, который былъ весь безсознательно милъ Оленину...» (гл. III).—Устроившись въ станицѣ, онъ «испытывалъ молодое чувство безпричинной радости жизни...»—«старая жизнь была стерта, и начиналась новая...—На душѣ у него было свѣжо и ясно...»—«Величавое чувство природы» также вносило сюда свою долю вліянія. (Гл. XI).—Все вмѣстѣ взятое, и это освѣженіе души, и наблюденіе новыхъ для него типовъ, и рѣзкій контрастъ между новой жизнью и прежней, и вліяніе величавой природы, горъ, дикихъ мѣстъ, опасностей и т. д. вызвало въ Оленинѣ то особое и очень для него характерное состояніе духа, которое такъ мѣтко схвачено въ описаніи думъ Оленина на охотѣ, въ

слѣдующемъ мѣстѣ главы XIX-ой: «И вдругъ на него нашло странное чувство безпричиннаго счастья и любви ко всему... Ему вдругъ съ особенною ясностью пришло въ голову, что вотъ я, Дмитрій Оленинъ, такое особенное отъ всѣхъ существо, лежу теперь одинъ, Богъ знаетъ гдѣ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ жилъ олень... И ему стало ясно, что онъ нисколько не русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, другъ и родня того-то и того-то, а просто такой-же комаръ, или такой-же фазанъ, или олень, какъ и тѣ, которые живутъ теперь вокругъ него...» Оттуда уже одинъ шагъ къ мечтамъ объ «опрощеніи». Но оттуда также и переходъ къ новой теоріи «не эгоистическаго счастья»: «такъ-же, какъ они (олени, фазаны, комары и т. д.), какъ дядя Ерошка, поживу, умру»—продолжаетъ размышлять Оленинъ—«только трава вырастетъ...» А все-таки «надо жить, быть счастливымъ, потому что я только одного желаю—счастья... Какъ-же надо жить, чтобы быть счастливымъ, и отчего я не былъ счастливъ прежде?»—Засимъ слѣдуетъ вышеприведенное разсужденіе о неэгоистическомъ счастьѣ,—открытіе «новаго» нравственнаго закона.

Вся эта сложная работа чувствъ и думъ, возникшая въ душѣ Оленина, была неизбѣжнымъ слѣдствіемъ двухъ основныхъ условій: во-первыхъ, того факта, что Оленинъ принадлежалъ къ русскому великосвѣтскому кругу, а не былъ «простымъ смертнымъ», и во-вторыхъ, того обстоятельства, что онъ обладалъ исключительной натурой, такой самой, какою обладаетъ Л. Н. Толстой. Огромная важность обоихъ условій наглядно представлена введеніемъ въ разсказъ типичной великосвѣтской фигуры Бѣлецкаго, являющагося въ ту-же станицу, гдѣ живетъ Оленинъ. Бѣлецкій—такой самый аристократъ, членъ московскаго общества, русскій дворянинъ и пр., какъ и Оленинъ. Это тотъ-же Оленинъ, но только—минусъ его пытливый умъ, его неугомонное нравственное чувство, его отвращеніе къ избитымъ дорожкамъ. Если когда-либо въ Оленинѣ эти его индивидуальныя черты на время стушуются, если онъ перестанетъ—до поры до времени—стремиться къ нравственному самосовершенствованію, мечтать о настоящемъ, непризрачномъ счастьѣ и т. д., то онъ будетъ тотъ-же Бѣлецкій. Разница между этими двумя величинами та, что Оленинъ временно можетъ превратиться въ Бѣлецкаго, Бѣлецкій-же въ Оленина никогда, ни при какихъ условіяхъ превратиться не можетъ. Черты внутренняго, сословно-

психологическаго сродства Оленина съ Бѣлецкимъ ясно отмѣчены напр. въ слѣдующемъ мѣстѣ: «Такъ и пахнуло на него (съ пріѣздомъ Бѣлецкаго) всею тою гадостью, отъ которой онъ отрекся. Досаднѣе-же всего ему было то, что онъ не могъ, рѣшительно не былъ въ силахъ оттолкнуть отъ себя этого человѣка изъ того міра, какъ будто этотъ старый, бывшій его міръ имѣлъ на него неотразимыя права» (гл. XXIII). Характерно здѣсь-же то, что Оленинъ сразу впадаетъ, противъ воли и съ чувствомъ досады на себя, въ тонъ Бѣлецкаго, такъ-же, какъ и онъ, съ презрѣніемъ и аристократической брезгливостью отзывается, пересыпая рѣчь французскими словами, о товарищахъ-офицерахъ (конечно, не «своего», великосвѣтскаго круга), о казакахъ и т. д. Очевидно, Оленину, все-таки, легко съ Бѣлецкимъ, въ лицѣ послѣняго явилась какъ-бы часть его собственнаго «я», которую онъ считалъ оставленною въ Москвѣ, та сословно-психологическая «форма», въ силу которой онъ, не по убѣжденію, а именно вопреки убѣжденіямъ, вопреки голосу нравственнаго чувства, безсознательно, инстинктивно дѣлилъ людей на разряды и смотрѣлъ на себя, какъ на существо особенное, потому что онъ—«русскій дворянинъ, членъ московскаго общества, родня того-то и того-то».

Когда впервые Оленинъ вышелъ на трудный и неблагодарный подвигъ борьбы съ гнетомъ сословной психологіи, ему казалось, что стоитъ только усвоить новые взгляды на людей и вещи, выработать сознательный идеалъ, и дѣло будетъ сдѣлано: онъ переродится и станетъ совсѣмъ другимъ человѣкомъ. Ему казалось также, что онъ выступаетъ противъ чего-то внѣшняго, противъ взглядовъ, привычекъ, наклонностей, лишь механически усвоенныхъ. Стоитъ только уйти отъ «общества» подальше, и оно потеряетъ свои права, свою власть надъ нимъ, и всѣ усвоенныя имъ привычки, предразсудки и пр. разлетятся въ прахъ. Съ пріѣздомъ Бѣлецкаго онъ начинаетъ догадываться, что это была иллюзія. Въ немъ постепенно зрѣетъ мысль, что противникъ находится въ немъ самомъ, что тутъ дѣло идетъ о борьбѣ гораздо болѣе сложной и трудной, борьбѣ одной половины его «я» съ другою, и передвиженіе въ пространствѣ, перемѣна всѣхъ условій жизни тутъ ни при чемъ. Но эта мысль могла созрѣть и стать вполнѣ очевидною только послѣ долгаго искуса внутренней борьбы, послѣ всѣхъ разочарованій, которыя пришлось испы-

тать Оленину. А пока она только исподволь заявляла о себѣ въ формѣ того «голоса», который въ самый разгаръ его пылкихъ стремленій «бросить все, приписаться въ казаки, купить избу, скотину, жениться на казачкѣ» и т. д. «говорилъ ему, чтобъ онъ подождалъ и не рѣшался». Характерно то, что тутъ-же этотъ «голосъ» отожествляется съ «смутнымъ сознаніемъ, что онъ не можетъ жить вполнѣ жизнью Ерошки и Лукашки, потому это у него есть другое счастье: его удерживала (отъ рѣшительнаго шага къ «опрощенію») мысль о томъ, что счастье состоитъ въ самоотверженіи» (гл. XXVI). Изъ-подъ этихъ мыслей, колебаній, стремленій и сомнѣній совершенно ясно сквозитъ основной психологическій процессъ: борьба выдающейся личности, ищущей своихъ путей въ жизни и широкаго человѣческаго идеала, съ гнетомъ узкой сословной психологіи, въ немъ-же заложенной, стало-быть, борьба съ самимъ собою, приводитъ психологически-послѣдовательно къ двумъ параллельнымъ стремленіямъ, къ опрощенію и исканію нравственнаго идеала. Но эти два стремленія, по мѣрѣ своего развитія, расходятся въ противоположныя стороны и оказываются далеко не согласуемыми; въ близкомъ будущемъ уже предвидится неизбѣжный конфликтъ между ними. «Опрощеніе», послѣдовательно до конца проведенное, какъ того и хотѣлъ Оленинъ, привело-бы его къ необходимости жить, чувствовать, думать такъ, какъ живутъ, чувствуютъ, думаютъ Лукашка и Ерошка. Помимо того, что это было для Оленина психологически невозможно, это не согласовалось съ стремленіями къ нравственному подвигу: вѣдь жизнь Лукашки и Ерошки, при всей ея простотѣ, не есть нравственный подвигъ. Кажущійся выходъ изъ этого противорѣчія представлялся въ слѣдующемъ компромиссѣ; «опроститься» не вполнѣ, а только внѣшнимъ образомъ, не передѣлывать своего нравственнигo и умственнаго содержанія по образцу Лукашки и Ерошки, оставаться самимъ собою, но только жить среди этихъ простыхъ людей и дѣлать имъ добро, поступаясь своими эгоистическими влеченіями. Такая «программа« была, конечно, не изъ легкихъ. Трудности заключались и въ самомъ Оленинѣ, и внѣ его, въ окружающей средѣ. «Онъ постоянно искалъ случая жертвовать собою для другихъ, но случаи эти не представлялись. Иногда онъ забывалъ этотъ вновь открытый имъ рецептъ счастья и считалъ себя способнымъ слиться съ жизнью дяди Ерошки; но потомъ вдругъ опоминался, тотчасъ-же хватался за мысль со-

знательнаго самоотверженія и, на основаніи ея, спокойно и гордо смотрѣлъ на всѣхъ людей и на чужое счастье» (гл. XXVI).

Чѣмъ дальше, однако, тѣмъ труднѣе оказывалось осуществить «программу». Новая среда не поняла и не полюбила Оленина. На него смотрѣли съ недовѣріемъ, и разныя его попытки самоотвергаться и дѣлать добро перетолковывались въ превратномъ смыслѣ. Онъ жилъ среди казаковъ чужимъ и одинокимъ. Одинъ только дядя Ерошка его полюбилъ; но онъ считалъ Оленина чѣмъ-то въ родѣ порченнаго и жалѣлъ его. Вскорѣ Оленину пришлось убѣдиться, что откажись онъ отъ своей мечты—опроститься и отъ исканія нравственныхъ подвиговъ и превратись въ обыкновеннаго барина, по-барски относящагося къ народу,—его скорѣе-бы поняли и полюбили: это стало очевидно ему на примѣрѣ Бѣлецкаго, передъ которымъ даже Маріанка не дичилась.—Наконецъ, разгорѣвшаяся любовь въ Маріанкѣ окончательно спутала эти сложныя душевныя движенія, и въ душѣ Оленина водворился настоящій хаосъ. Въ любопытномъ письмѣ (гл. XXIII), въ которомъ Оленинъ подводитъ итоги этому хаосу, сильными и мѣткими чертами изображенъ контрастъ между искусственной и лживой жизнью въ «свѣтѣ», гдѣ «вѣчная скука въ крови, переходящая изъ поколѣнія въ поколѣніе», и жизнью въ станицѣ, гдѣ онъ «созерцаетъ» «вѣчные непреступные снѣга горъ и величавую женщину въ первобытной красотѣ...» Оленинъ сознается здѣсь, что онъ оказался непригоднымъ для этой безыскусственной жизни,—однимъ-же «созерцаніемъ» удовлетвориться не могъ. «Я пробовалъ,—пишетъ онъ,—отдаваться этой жизни и еще сильнѣе чувствовалъ свою слабость, свою изломанность. Я не могъ забыть себя и своего сложнаго, негармоническаго, уродливаго прошедшаго. И мое будущее представляется мнѣ еще безнадежнѣе...» Далѣе онъ описываетъ свою любовь къ Марьянкѣ; оказывается, что эта какая-то совсѣмъ особенная любовь, не платоническая и не плотская,—любовь, о которой онъ выражается такъ: «...черезъ меня любитъ ее какая-то стихійная сила, весь міръ Божій, вся природа вдавливаетъ любовь эту въ мою душу и говоритъ: люби». И вотъ огонь этой пантеистической любви испепелилъ всѣ благородныя мечты Оленина о самоотверженіи. «Я писалъ прежде»—продолжаетъ онъ,—«о своихъ новыхъ убѣжденіяхъ... Никто не можетъ знать, какимъ трудомъ выработались они во мнѣ, съ какою радостью созналъ я ихъ и увидѣлъ новый, открытый путь въ жизни... Дороже этихъ убѣж-

деній ничего во мнѣ не было... Ну... пришла любовь, и ихъ нѣтъ теперь, нѣтъ и сожалѣнія о нихъ!.. Самоотверженіе — все это вздоръ, дичь. Это все гордость, убѣжище отъ заслуженнаго несчастья, спасеніе отъ зависти къ чужому счастью...»

Такимъ образомъ, онъ рѣшительно отказывается—на этотъ разъ—отъ того нравственнаго идеала, который онъ себѣ поставилъ, отъ исканія неэгоистическаго счастья. Ослѣпленный любовью, онъ жаждетъ теперъ счастья обыкновеннаго, эгоистическаго, но только не въ «свѣтѣ», который ему противенъ, а среди новой для него, простой жизни, къ которой онъ, однако, не приспособленъ,—въ общеніи съ некультурнымъ народомъ и дикой природой. Но этотъ народъ его не понялъ и не принялъ, Марьянка его отвергла, и онъ уѣзжаетъ, съ горечью и обидой въ душѣ, напутствуемый общимъ равнодушіемъ. Одинъ только дядя Ерошка выказываетъ доброе къ нему отношеніе. «Вѣдь я тебя люблю, я тебя какъ жалѣю! Такой ты горькій, все одинъ, все одинъ. Нелюдимый ты какой-то!..» говоритъ онъ ему на прощаніе и тутъ-же выпрашиваетъ у него «флинту».

V.

Оленинъ уѣзжаетъ, потерпѣвъ полное крушеніе въ своихъ стремленіяхъ къ опрощенію и проведенію въ жизнь нравственнаго идеала. Опытъ не удался. Но отсюда еще не слѣдуетъ, что Оленинъ долженъ успокоиться и навсегда отказаться отъ другихъ попытокъ. Нѣтъ, онъ не перестанетъ избѣгать шаблонныхъ дорогъ въ жизни и, умудренный опытомъ, обогащенный знаніемъ людей и жизни, воспринявъ и по своему переработавъ массу идей, онъ снова выйдетъ на путь исканій. Попрежнему онъ будетъ жаждать душевнаго обновленія въ общеніи съ народомъ. Онъ уйдетъ отъ свѣта въ деревню, гдѣ устроитъ оригинальную школу для народа, совсѣмъ не похожую на другія школы, когда-либо существовавшія, онъ напишетъ рядъ блестящихъ, мѣстами глубокихъ, мѣстами парадоксальныхъ статей по вопросамъ элементарнаго образованія. Въ этой области онъ пойдетъ дѣйствительно по своей дорогѣ, по которой никто никогда не ходилъ. Потомъ, неудовлетворенный и этой, хотя и плодотворной, но какъ-бы внѣшней дѣятельностью, онъ снова примется за внутреннюю переработку себя самого и своихъ отношеній къ окружающему міру. Свой протестъ противъ «свѣта» онъ выразитъ

теперь иначе, не въ видѣ горячихъ тирадъ, какъ въ томъ достопамятномъ письмѣ изъ станицы, а въ видѣ художественнаго изображенія людей великосвѣтскаго круга, взятаго на этотъ разъ не въ его маленькомъ «міркѣ», а въ его обширномъ «мірѣ», въ его исторической роли. Здѣсь онъ найдетъ то противоядіе противъ отравы крайностями сословной психологіи, о которомъ мы говорили выше. На этомъ пути вдумчивыхъ наблюденій и глубокозахватывающаго историческаго изученія онъ встрѣтитъ много человѣчески-важнаго и сдѣлаетъ великія художественныя открытія. Онъ станетъ «великимъ писателемъ земли русской».

И съ высоты этихъ новыхъ художественныхъ откровеній онъ снова увидитъ себя самого и закончитъ этотъ періодъ своей жизни и дѣятельности изображеніемъ себя, со своимъ протестомъ исканіями и стремленіями, въ образѣ Левина.

Левинъ, аристократъ по рожденію и воспитанію, не можетъ, однако, примириться съ жизнью въ свѣтѣ. Онъ ушелъ отъ свѣта въ деревню; свою дѣятельность, какъ помѣщика и сельскаго хозяина, онъ очень цѣнитъ, какъ настоящее, разумное дѣло, какъ здоровую жизнь въ непосредственной связи съ народомъ и землею; городскую жизнь вообще, великосвѣтскую и чиновную въ частности, онъ отрицаетъ всѣмъ своимъ существомъ, считая ее пустою, бездѣльною, лживою, искусственною. Жизнь помѣщика въ деревнѣ для него теперь психологически то самое, что для Оленина жизнь въ станицѣ. Только теперь ужъ нѣтъ мечты на тему объ «опрощеніи». И само счастье, котораго ищетъ Левинъ, далеко не то самоотверженное, неэгоистическое счастье, о которомъ когда-то мечталъ Оленинъ. Левинъ хочетъ счастья личнаго, разумно-эгоистическаго и находитъ его въ бракѣ съ Кити, въ своей семейной жизни. Задача, казалось, рѣшена, цѣль достигнута: счастливая семейная жизнь, разумный трудъ надъ землею, постоянное общеніе съ народомъ, отсутствіе тягостныхъ свѣтскихъ обязательствъ, всего этого Левинъ достигъ. И, разумѣется, онъ на этомъ-бы и успокоился, будь онъ просто «Левинъ», одинъ изъ многихъ и многихъ. Но, какъ извѣстно, онъ не просто «Левинъ», онъ самъ Л. Н. Толстой,—и, какъ таковой, онъ, конечно, успокоиться не можетъ. Никакое личное счастье не способно убаюкать его души, вѣчно стремящейся въ даль идеала, его ума, всегда надъ собою бодрствующаго, его нравственнаго чувства, всегда неудовлетвореннаго. Левинъ не успокоится. Онъ пойдетъ дальше. Въ послѣднихъ главахъ «Анны

Карениной» онъ уже тронулся въ новый, можетъ быть, труднѣйшій путь изъ всѣхъ путей, какими, подъ разными именами: Иртеньева, Нехлюдова, Оленина, онъ шелъ доселѣ. Важные и вѣковѣчные вопросы о нравственномъ началѣ, о религіозной стихіи, объ идеальныхъ цѣляхъ встаютъ въ его сознаніи. Онъ размышляетъ на тему о томъ, составляетъ-ли борьба за существованіе и эгоизмъ верховный законъ всего сущаго, подчиненъ-ли человѣкъ этому «желѣзному» закону. Онъ «открываетъ» что есть иной законъ, которому подвѣдомственъ человѣкъ, какъ существо нравственное. Это логически приведетъ Левина къ изученію вопросовъ религіозныхъ и этическихъ, къ критикѣ различныхъ религіозныхъ системъ и моральныхъ доктринъ. Дѣло трудное, оно потребуетъ усидчиваго труда многихъ лѣтъ надъ предметами, для которыхъ Левинъ не имѣлъ столь необходимой спеціальной подготовки, напримѣръ, надъ греческимъ текстомъ Евангелія, надъ еврейскимъ—Библіи. Всѣ внѣшнія трудности преодолѣетъ онъ (преодолѣетъ-ли внутреннія, вытекающія изъ требованій научнаго метода и широкихъ идей современной исторической и филологической науки,—это другой вопросъ), все выучитъ, что нужно, и въ свое время выступитъ въ новой роли, столь неподходящей къ русскому дворянину и помѣщику, въ роли религіознаго проповѣдника и реформатора морали.

VI.

Весь этотъ рядъ образовъ,—Николай Иртеньевъ, Нехлюдовъ, Оленинъ, Левинъ,—рисуетъ намъ самаго Л. Н. Толстого въ различныя эпохи его жизни и въ различныхъ фазисахъ его нравственнаго развитія. Это, такъ сказать, 4 главы изъ его психологической автобіографіи. И то, что выше мы сказали о Николаѣ Иртеньевѣ, въ общемъ примѣнимо и къ остальнымъ тремъ фигурамъ: онѣ изображаютъ личность исключительную, онѣ—слишкомъ портреты, чтобы быть общечеловѣческими художественными обобщеніями. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ нихъ слишкомъ ярки и свѣжи тѣ краски, которыми изображена ихъ національная и сословная сторона.

Чтобы художественный образъ, представляющій и истолковывающій какую-нибудь вѣковѣчную сторону человѣческаго духа, былъ общечеловѣчески-типиченъ, какъ напр. Лиръ, Отелло, Гамлетъ, Донъ-Кихотъ, необходимо, помимо всего прочаго, соблюденіе слѣдующаго важнаго условія: такой образъ не

долженъ быть ужъ очень типиченъ и ярокъ въ смыслѣ національномъ, сословномъ, бытовомъ,—эта сторона въ немъ должна быть поставлена и оттѣнена такъ, чтобы не мѣшать общечеловѣческому содержанію и интересу его выступать властно и мощно въ воспріятіи читающихъ поколѣній. Имѣя дѣло съ Антигоной, съ Гамлетомъ, Отелло, Донъ-Кихотомъ, мы весьма мало вниманія удѣляемъ совокупности тѣхъ чертъ, которыми первая изображена какъ гречанка своего времени, второй—какъ датскій принцъ, третій—какъ мавръ, четвертый—какъ испанецъ извѣстной эпохи. Но когда передъ нами Оленинъ или Левинъ, то, какъ ни подчеркнуты, какъ ни ярко выставлены на видъ извѣстныя стороны человѣческаго духа, въ нихъ вложенныя, какой-бы живой общечеловѣческій интересъ ни представляли ихъ стремленія къ нравственному идеалу, ихъ протестъ противъ искусственнаго и несправедливаго уклада общественныхъ отношеній,—мы никакъ не можемъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что это прежде всего и въ особенности русскіе баричи, русскіе дворяне, помѣщики, представители нашего великосвѣтскаго круга. Слишкомъ тутъ «Русью пахнетъ»—да притомъ не всей, а только великосвѣтско-помѣщичьей,—и этотъ запахъ мѣшаетъ намъ сосредоточиться на ихъ общечеловѣческой сторонѣ,—такъ, чтобы сквозь призму нравственной личности Оленина или Левина мы могли-бы созерцать безчисленное множество аналогичныхъ явленій всѣхъ временъ и народовъ, какъ это созерцаемъ мы сквозь призму напр. Гамлета.

На ряду съ русской сословной типичностью мѣшаетъ этому и чрезмѣрная портретность этихъ образовъ.

Но эта самая портретность препятствуетъ и другому художественному эффекту: она отнимаетъ у этихъ образовъ значеніе и интересъ бытовыхъ. Исключительная, одна на всю Россію, личность графа Толстого такъ ясно сквозитъ въ нихъ и такъ импонируетъ намъ, что мы рѣшительно не можемъ воспринимать ихъ въ качествѣ бытовыхъ типовъ.

Итакъ, общечеловѣческое въ нихъ органичено и какъ-бы парализовано (въ художественномъ смыслѣ) бытовымъ, а бытовое—личнымъ.

Требованія высшей эстетической критики, которой подлежитъ Толстой на ряду съ величайшими художниками всѣхъ эпохъ, этими образами не удовлетворяются. Ихъ нельзя причислить къ великимъ и безсмертнымъ созданіямъ искусства. Но въ нихъ

есть нѣчто, имѣющее свои особыя права на безсмертіе: это именно то, что они портреты великаго человѣка, которымъ не перестанутъ интересоваться отдаленныя поколѣнія во всемъ цивилизованномъ мірѣ, и притомъ портреты, написанные не посторонней рукой, а самимъ Л. Н. Толстымъ и исполненные съ тѣмъ мастерствомъ рисунка и глубиною и тонкостью психологическаго анализа, которыя такъ свойственны ему, какъ художнику.

Здѣсь мы пріостановимъ обзоръ автобіографическихъ и въ тѣсномъ смыслѣ субъективныхъ образовъ въ произведеніяхъ Толстого. На очереди у насъ теперь тѣ образы, въ созданіи которыхъ его геній проявился во всей своей мощи, и которые представляютъ наиболѣе трудностей для анализа, имѣющаго цѣлью проникнуть въ самый процессъ творчества. Сюда прежде всего относятся народные типы.

ГЛАВА III.

Художественныя открытія Толстого (народные типы въ „Казакахъ").

I.

Какъ въ жизни Оленина былъ періодъ, когда онъ бѣжалъ отъ «свѣта» и жаждалъ «опрощенія», такъ и въ творчествѣ Толстого была эпоха, когда онъ искалъ новыхъ впечатлѣній и объектовъ для творчества, діаметрально-противуположныхъ тѣмъ, въ кругу которыхъ до тѣхъ поръ оно вращалось. Какъ художникъ, Толстой искалъ и нашелъ на Кавказѣ, въ казацкой станицѣ, то самое, чего искалъ тамъ и нашелъ Оленинъ, какъ человѣкъ и питомецъ великосвѣтской среды. Разница только въ томъ, что послѣдній въ своихъ стремленіяхъ и мечтахъ потерпѣлъ фіаско, между тѣмъ какъ первый вышелъ изъ коллизіи съ полнымъ тріумфомъ—создавъ высокохудожественные, граничащіе съ геніальностью образы казацкихъ типовъ и картины станичной жизни.

Здѣсь все, начиная съ простого, не претендующаго на художественность и поэтичность описанія станицы въ главахъ IV-й и V-й, отмѣчено необыкновенной свѣжестью впечатлѣній, поразительной яркостью красокъ, цѣльностью, живой характерностью образовъ. По всему видно, что художникъ воспринималъ новыя для него впечатлѣнія не однимъ холоднымъ умомъ любознатель-

наго туриста, а всею душою, которая жадно ихъ поглощала и гдѣ заранѣе была готова психологическая форма для ихъ воспріятія.

Какъ-бы ни были своеобразны, значительны и ярки новыя, представляющіяся человѣку, впечатлѣнія,—онъ ими заинтересуется, переработаетъ и объяснитъ себѣ ихъ только въ томъ случаѣ, если они ему психологически нужны и если у него уже есть другой запасъ воспріятій, могущій служить для новыхъ орудіемъ и формою апперцепціи. Нужно, чтобы новыя явленія не были случайнымъ и безразличнымъ зрѣлищемъ для наблюдателя, и чтобы послѣдній не былъ для нихъ равнодушнымъ зрителемъ,— нужно, чтобы было нѣкоторое психологическое сродство, извѣстная Wahlverwandtschaft между прежнимъ содержаніемъ души наблюдателя и новымъ, впервые ему открывающимся матеріаломъ воспріятій. Въ такихъ именно условіяхъ и находился Толстой, когда наблюдалъ станичную жизнь и народные типы, воспроизведенные въ «Казакахъ». Прежнее содержаніе его души дано въ психологіи Оленина, съ которою мы познакомились выше. На вопросъ, какими движеніями мысли и чувства, какимъ душевнымъ запросомъ и какою мечтою апперцепировалъ Толстой новыя для него впечатлѣнія, изображенныя въ «Казакахъ?»—мы отвѣтимъ такъ: всѣмъ, что дано въ Оленинѣ,—стремленіями его мысли, ищущей новыхъ впечатлѣній, прямо противуположныхъ тѣмъ, которыми она до тѣхъ поръ питалась, исканіями его души, утомленной жизнью въ свѣтѣ, его мечтою объ опрощеніи и нравственномъ идеалѣ. Такая «форма апперцепціи» не была исключительно головною,—она охватывала всю душу, она основывалась на психологическихъ потребностяхъ, на своего рода духовномъ голодѣ и духовной жаждѣ. Оттуда это непроизвольное, не нарочитое, какъ-бы само собою, точно здоровый органическій процессъ, осуществившееся поглощеніе новыхъ воспріятій, которыя неудержимо проникаютъ въ душу, тотчасъ-же находятъ тамъ ожидающую ихъ психологическую форму и, сливаясь съ нею, быстро перерабатываются въ живые и яркіе образы. Не виденъ «сочиняющій авторъ», который-бы старался получше изобразить эти фигуры, — но видна живая и живьемъ воспринимающая душа художника въ которой эти образы сами проявились, потому что нельзя было имъ не проявиться. Писателю оставалось только снять съ нихъ копію помощью литературныхъ средствъ, чтобы они могли стать достояніемъ читателя. Послѣдній воленъ, конечно, понимать и оцѣнивать ихъ посвоему; но

если онъ хочетъ понять и прочувствовать ихъ такъ, какъ они были апперцепированы душою художника, то онъ долженъ живо представить себѣ тотъ фонъ, на которомъ они проявились у Толстого,—онъ долженъ постоянно имѣть въ виду психологію Оленина и сквозь ея призму смотрѣть на типы казаковъ и картины станичной жизни. Въ этомъ условіи сказался субъективизмъ Толстого, проявившійся даже здѣсь, въ созданіи этихъ, столь противуположныхъ самому автору, образовъ. Не то—у Тургенева, въ «Запискахъ охотника»: выведенные тамъ народные типы не требуютъ отъ читателя, чтобы онъ, для полнаго ихъ пониманія, считался съ психологіей автора и становился на его точку зрѣнія. Поэтому эти образы мы и называемъ объективными въ собственномъ смыслѣ, между тѣмъ, какъ народные типы Толстого должны быть признаны лишь относительно объективными — по сравненію съ тѣми, которые были построены исключительно на данныхъ самонаблюденія или воспроизводятъ психологію среды, воспитавшей Толстого.

Постараемся нагляднѣе показать необходимость при чтеніи «Казаковъ» держаться субъективной точки зрѣнія автора.

Вотъ маленькая сценка изъ станичной жизни въ концѣ главы V-ой (разговоръ двухъ старыхъ казачекъ, изъ котораго мы узнаемъ кое-что о Маріанкѣ и Лукашкѣ), вотъ—въ главѣ VI-ой и VII-ой—сцены на Нижне-Протоцкомъ посту, Лукашка «урванъ», старый дядя Ерошка, Назарка и другіе. Всѣ эти лица, впервые являющіяся передъ читателемъ, ничего пока не дѣлаютъ, только посвоему разговариваютъ о своихъ дѣлахъ и заботахъ, обмѣниваются случайными замѣчаніями и т. д. Но этого достаточно, чтобы читатель сразу получилъ живое, хотя пока еще отрывочное представленіе о нихъ, о ихъ бытѣ и нравахъ. Прочитанныя отдѣльно, эти сцены оставляютъ впечатлѣніе этнографическаго наброска въ художественной формѣ и вызываютъ въ читателѣ нѣчто вродѣ того заинтересованнаго любопытства, какое возникаетъ напр. при чтеніи путешествій, гдѣ описываются бытъ и нравы некультурныхъ племенъ. Чтобы изъ такого любопытства получился искомый эффектъ, нужно читателю стать сперва на точку зрѣнія Оленина: ему нужно подойти къ этимъ людямъ съ нетерпѣливымъ ожиданіемъ найти въ нихъ нѣчто такое, что отложилось-бы въ сознаніи въ видѣ живого душевнаго интереса. Если вамъ до тошноты прискучили тѣ формы жизни и тѣ типы людей изъ общества, среди которыхъ вы живете, и вами овла-

дѣло страстное желаніе перенестись въ другую жизнь, діаметрально-противуположную,—то вы уже иначе, не съ однимъ лишь этнографическимъ интересомъ или любопытствомъ туриста, отнесетесь къ этимъ народнымъ типамъ. Вы начнете искать въ нихъ чего-то болѣе чѣмъ любопытнаго, вы будете чего-то ожидать отъ нихъ для себя, для переработки вашего внутренняго міра. Эти ваши исканія и ожиданія могутъ и не совпадать съ тѣми, которыя двигали Оленинымъ,—но все-таки вы уже стали на аналогичную точку зрѣнія, вы заняли соотвѣтственную психологическую позицію. Для наибольшаго приближенія къ позиціи Оленина, нужно представить себѣ ту жизнь въ «свѣтѣ», отъ которой онъ бѣжалъ, да еще не мѣшаетъ перенестись мысленно въ 50-е годы, когда — передъ великою реформою — «открывали» и изучали народъ, когда ознакомленіе съ типами той части русскаго народа, которая никогда въ рабствѣ не была и вѣками воспиталась въ традиціяхъ воинственной свободы, представляло особливый и общественный, и психологическій интересъ. Представимъ себѣ въ самомъ дѣлѣ князя Нехлюдова*)—онъ-же и Оленинъ—вдругъ, послѣ горькаго опыта въ деревнѣ, перенесшагося въ казацкую станицу: какъ отдохнула-бы его тоскующая душа въ общеніи съ полудикимъ, вольнолюбивымъ, посвоему гордымъ народомъ, столь непохожимъ на захудалый крѣпостной народъ!

Читатель легко пойметъ, что, при такихъ условіяхъ, радикально измѣнилось-бы его отношеніе къ казакамъ,—и этнографическая картинка получила бы въ его глазахъ совсѣмъ иное освѣщеніе и иной, болѣе глубокій, смыслъ.

Художественныя произведенія нужно умѣть читать, какъ нужно умѣть слушать музыку или смотрѣть на произведенія живописи. Читателю «Казаковъ» я рекомендовалъ-бы при чтеніи главъ V—VII стать по возможности на только-что указанную точку зрѣнія, чему, конечно, помогаетъ и авторъ, давъ въ предшествующемъ психологію Оленина. Но я-бы посовѣтовалъ помнить и Нехлюдова *). При такой подготовкѣ и соотвѣтственномъ настроеніи читателя, слѣдующія главы, VIII и IX-я (выслѣживаніе абрековъ и «подвигъ» Лукашки) прочтутся уже не какъ простое продолженіе этнографическаго очерка, а какъ художественно-психологическое изслѣдованіе, немногими ловкими и смѣлыми пріемами раскрывающее грубый, но здоровый духъ этихъ «дѣтей

*) „Утро помѣщика".

природы»,—наивный и простой, чуждый рефлексіи и всему, что вноситъ высшая культура, но далеко не лишенный своеобразнаго развитія, содержанія и индивидуальности. Это не безразличная масса, гдѣ всякій Иванъ похожъ на всякаго Петра; въ ней есть личности, натуры, характеры. И дочитавъ до главы X-ой, вы уже будете подготовлены встрѣтить и понять тотъ контрастъ и конфликтъ, которые неизбѣжны между психикой этихъ народныхъ типовъ и сложной, утонченной, склонной къ рефлексіи психикой Оленина. Вмѣстѣ съ тѣми вы сейчасъ-же поймете, что этотъ конфликтъ ничего общаго не имѣетъ съ тѣмъ, который изображенъ въ «Утрѣ помѣщика».

Въ главѣ X-ой (водвореніе Оленина въ станицѣ) вы съ чисто-русскимъ специфическимъ чувствомъ, не поддающимся опредѣленію и едва-ли понятнымъ иностранцу, услышите, какъ славно ругается баба Улита—въ отвѣтъ на привѣтствіе Оленина:—«Здравствуй, матушка! Вотъ я о квартирѣ пришелъ...»—«Что пришелъ? (кричитъ Улита). Насмѣяться хочешь, а? Я-те насмѣюсь, черная на тебя немочь!..»--Оленинъ озадаченъ, но не обижается. Его лакей, Ванюша,—тотъ обиженъ и возмущенъ и находитъ, что эти люди—«не русскіе какіе-то». И въ самомъ дѣлѣ: не знаютъ, что такое баринъ, шапку не ломятъ, не говорятъ «ваше сіятельство». Не только не оробѣли, не засуетились, въ ручку не поцѣловали,—а прямо-таки ругательски ругаются и гонятъ вонъ.

Непосредственно передъ этимъ «объясненіемъ» съ воинственной бабой, Оленинъ, входя въ домъ, мелькомъ увидѣлъ ея дочь, Марьянку. Высокая, стройная фигура молодой казачки невольно привлекла его вниманіе. «Съ быстрымъ и жаднымъ любопытствомъ молодости онъ невольно замѣтилъ сильныя и дѣвственныя формы, обозначавшіяся подъ тонкою ситцевою рубахой, и прекрасные черные глаза, съ дѣтскимъ ужасомъ и дикимъ любопытствомъ устремленные на него...» Послѣ отповѣди старухи, когда онъ выходилъ изъ дому, «Марьяна, какъ была въ одной розовой рубахѣ, но уже до самыхъ глазъ повязанная бѣлымъ платкомъ, неожиданно шмыгнула мимо него изъ сѣней. Быстро постукивая по сходцамъ босыми ногами, она сбѣжала съ крыльца, пріостановилась, порывисто оглянулась смѣющимися глазами на молодого человѣка и скрылась за угломъ хаты...»

Таковы были первые впечатлѣнія Оленина въ станицѣ: строптивая, ругающаяся баба, столь не похожая на крѣпостныхъ бабъ и эта молодая дикарка, промелькнувшая какъ видѣніе. И конечно,

Оленинъ сразу почувствовалъ, что онъ въ самомъ дѣлѣ перенесся куда-то за тридевятъ земель отъ «цивилизаціи», «свѣта» и крѣпостного права и попалъ въ своеобразную и неподатливую среду, живущую самобытной жизнью, — среду людей, которые имѣютъ то, чего вообще такъ мало въ Россіи,—свою гордость и свой особый, нешаблонный складъ духа, представляющійся загадочнымъ и по своему значительнымъ. Это чувствуется въ самомъ способѣ изображенія, прежде всего—въ той по истинѣ гомеровской пластикѣ, полной выразительности и движенія, съ которою описано первое появленіе Марьянки. Ниже увидимъ, что такъ именно рисуются она и ея суженный, Лукашка, и въ дальнѣйшемъ теченіи разсказа, это фигуры «скульптурныя», — и мы, если можно такъ выразиться, не читаемъ о нихъ, а созерцаемъ ихъ и, любуясь ими, какъ изваяніями, догадываемся объ особенностяхъ скрытаго въ этихъ «мраморахъ» духа.

Но о нихъ рѣчь впереди; на очереди у насъ другая фигура, во многихъ отношеніяхъ представляющая еще бо̀льшій интересъ. На другой-же день, послѣ водворенія своего въ домѣ хорунжаго, Оленинъ знакомится съ дядей Ерошкой, который съ первыхъ-же словъ долженъ былъ произвести на молодого офицера сильное и своеобразное впечатлѣніе. — «Кошкильды!» сказалъ старый казакъ входя въ комнату.—«Кошкильды!» отвѣтилъ Оленинъ и подалъ ему руку.—«Дуракъ!» отвѣчаетъ ему Ерошка: «порядковъ не знаешь: коли тебѣ кошкильды говорятъ, ты скажи: алла рази бо сунъ, спаси Богъ. Я тебя всему научу, продолжалъ старикъ. — Такъ-то былъ у насъ Илья Мосеичъ, вашъ, русскій, такъ мы съ нимъ кунаки были. Молодецъ, былъ, пьяница, воръ, охотникъ... Я его всему научилъ...»

Своеобразная фигура стараго дяди Ерошки (оригиналомъ для которой послужилъ Толстому казакъ Епишка, пріятель и чичероне Льва Н. на Кавказѣ) ярко обрисована въ главѣ XI-ой, въ разговорѣ съ нимъ Оленина, завязавшемся послѣ только-что приведеннаго вступительнаго привѣтствія. Все, что узнаетъ Оленинъ отъ Ерошки, и то, что открывается ему въ самомъ старикѣ, должно было казаться молодому офицеру страннымъ, необычайнымъ, превосходящимъ всѣ его ожиданія. Онъ узнаетъ, что попалъ въ среду замкнутую, старовѣрческую, съ презрѣніемъ и недоброжелательствомъ относящуюся къ пришлымъ людямъ, къ мірскимъ, русскимъ, къ солдатамъ и офицерамъ въ особенности. Ему становятся понятными мотивы, побудившіе старую

Улиту гнать его вонъ, и даже отдѣльныя выраженія расходившейся бабы, въ родѣ: «не нужно мнѣ твоихъ денегъ поганыхъ... табачищемъ домъ загадитъ» и пр. Но съ тѣмъ вмѣстѣ онъ узнаетъ, что эти замкнутые въ своемъ быту люди далеко не представляютъ собою типичныхъ фанатиковъ-сектантовъ, и что въ ихъ средѣ возможно возникновеніе болѣе широкихъ взглядовъ на вещи. Живымъ доказательствомъ этому является самъ дядя Ерошка. Бывалый, умудренный опытомъ старикъ обнаруживаетъ всѣ признаки природнаго ума и способности къ сужденіямъ здравымъ, человѣчнымъ, независимымъ. Онъ говоритъ Оленину: «нашъ народъ анафемскій, глупый народъ,—они васъ не за людей считаютъ. Ты для нихъ хуже татарина. Мірскіе, молъ, русскіе. А помоему хоть ты и солдатъ, а все человѣкъ, тоже душу въ себѣ имѣешь...» Своеобразны и въ высокой степени любопытны философія и этика этого человѣка, добытыя собственнымъ его некультурнымъ умомъ, безъ помощи какихъ-бы то ни было книгъ и вліяній со стороны. Когда въ отвѣтъ на его предложеніе «достать» Оленину «красавицу», послѣдній замѣчаетъ, что это «грѣхъ», — старикъ говоритъ: «Грѣхъ? Гдѣ грѣхъ? На хорошую дѣвку глядѣть грѣхъ? Погулять съ ней грѣхъ? Али любить ее грѣхъ? Это у васъ такъ?.. Нѣтъ, отецъ мой, это не грѣхъ, а спасеніе! Богъ тебя сдѣлалъ, Богъ и дѣвку сдѣлалъ. Все онъ, батюшка, сдѣлалъ. Такъ на хорошую дѣвку смотрѣть не грѣхъ. На то она и сдѣлана, чтобы ее любить, да на нее радоваться. Такъ-то я сужу, добрый человѣкъ!» (Глава XII-я).

Чѣмъ дальше, тѣмъ яснѣе открывается Оленину оригинальный внутренній міръ этого человѣка, не чуждый самоуглубленія и нѣкоторыхъ высшаго порядка мыслей и чувствъ. Такъ, когда Лукашка, убивъ чеченца, гуляетъ и поетъ, старикъ замѣчаетъ: «Это знаешь, кто поетъ? Это Лукашка-джигитъ. Онъ чеченца убилъ; то-то и радуется. И чему радуется?.. Дуракъ, дуракъ!.. — А ты убивалъ людей?—спросилъ Оленинъ. Старикъ вдругъ поднялся на оба локтя и близко придвинулъ свое лицо къ лицу Оленина.— Чортъ!—закричалъ онъ на него:—что спрашиваешь? Говорить не надо. Душу загубить мудрено,охъ мудрено!—Что за люди, что за жизнь!—подумалъ Оленинъ» (гл. XIV-я). А вотъ религіозная философія этого человѣка, родившагося и выросшаго въ старообрядческой средѣ: «...Я бывало со всѣми кунакъ,—разсказываетъ онъ Оленину,— татаринъ — татаринъ, армянинъ—армянинъ, солдатъ — солдатъ, офицеръ—офицеръ, мнѣ все равно, только-бы пьяница былъ. Ты,

говоритъ, очиститься долженъ отъ міра сообщенія: съ солдатомъ не пей, съ татариномъ не ѣшь...—Кто это говоритъ?—спросилъ Оленинъ.—А уставщики наши... А муллу и кадія татарскаго послушай. Онъ говоритъ: вы невѣрные гяуры, зачѣмъ свинью ѣдите? Значитъ, всякій свой законъ держитъ. А помоему все одно. Все Богъ сдѣлалъ на радость человѣку. Ни въ чемъ грѣха нѣтъ. Хоть съ звѣря примѣръ бери. Онъ и въ татарскомъ камышѣ, и въ нашемъ живетъ. Куда придетъ, тамъ и домъ. Что Богъ далъ, то и лопаетъ. А намъ говорятъ, что за это будемъ сковороды лизать. Я такъ думаю, что все одна фальшь...—Что̀ фальшь?—спросилъ Оленинъ.—Да что уставщики говорятъ. У насъ, отецъ мой, былъ старшина—кунакъ мнѣ былъ... Такъ онъ говорилъ' что это все уставщики изъ своей головы выдумываютъ. Сдохнешь, говоритъ, трава выростетъ на могилкѣ—вотъ и все...» (гл. XIV-я). Любопытны также нелишенныя поэтичности разсказы старика о его охотничьихъ впечатлѣніяхъ, о тѣхъ чувствахъ и мысляхъ, которыя бывало возникали въ немъ, когда онъ «караулилъ» ночью, подстерегая звѣря. Подстерегъ онъ, напр., стадо дикихъ свиней и только-что хотѣлъ «стрѣлить», какъ свинья вдругъ фыркнетъ на своихъ поросятъ: «бѣда, молъ, дѣтки, человѣкъ сидитъ»,—и, къ великому огорченію охотника, «затрещали всѣ прочь по камышамъ». Это даетъ поводъ къ слѣдующему разсужденію: «Ты думалъ, онъ дуракъ, звѣрь-то? Нѣтъ, онъ онъ умнѣй человѣка, даромъ-что свинья называется. Онъ все знаетъ. Хоть то въ примѣръ возьми: человѣкъ по слѣду пройдетъ, не замѣтитъ, а свинья, какъ наткнется на твой слѣдъ, такъ сейчасъ отдуетъ и прочь; значитъ, умъ въ ней есть, что ты свою вонь не чувствуешь, а она слышитъ. Да и то сказать: ты ее убить хочешь, а она по лѣсу живая гулять хочетъ. У тебя такой законъ, а у нея такой законъ. Она — свинья, а все она не хуже тебя,—такая-же тварь Божья. Эхъ-ма! Глупъ человѣкъ, глупъ, глупъ человѣкъ!—повторилъ нѣсколько разъ старикъ и, опустивъ голову, задумался». Въ несомнѣнной связи съ этими воззрѣніями, посвоему широкими и свободными, развилось въ душевномъ обиходѣ этого человѣка, всю жизнь проведшаго среди грубыхъ и кровавыхъ впечатлѣній, рѣдкое по своей утонченности чувство жалости, состраданія. «А то разъ,—повѣствуетъ онъ, — сидѣлъ на водѣ, смотрю, зыбка сверху плыветъ. Вовсе цѣлая, только край отломанъ. То-то мысли пришли! Чья такая зыбка? Должно, думаю, ваши черти солдаты въ аулъ приш-

ли, чеченокъ побрали, ребеночка убилъ какой чортъ: взялъ за ножки, да объ уголъ. Развѣ не дѣлаютъ такъ-то? Эхъ, души нѣтъ въ людяхъ!.. И такія мысли пришли, жалко стало. Думаю: зыбку бросили и бабу угнали, домъ сожгли, а джигитъ взялъ ружье, на вашу сторону пошелъ грабить...» И, подъ вліяніемъ этихъ мыслей и воспоминаній, глубоко задумался старикъ. Задумался и Оленинъ и, «спустившись съ крыльца, заложивъ руки за спину, сталъ молча ходить по двору. А старикъ, очнувшись, поднялъ голову и началъ пристально всматриваться въ ночныхъ бабочекъ, которыя вились надъ колыхавшимся огнемъ свѣчи и попадали на него.—Дура, дура!—говорилъ онъ.—Куда летишь?.. Сгоришь, дурочка! Вотъ сюда лети, мѣста много,—приговаривалъ онъ нѣжнымъ голосомъ, стараясь своими толстыми пальцами поймать ея крылышки и выпустить.—Сама себя губишь, а я тебя жалѣю» (гл. XV-я).

Эти цитаты говорятъ сами за себя и длинныхъ комментаріевъ не требуютъ. Имъ нужно только подвести итогъ. Что такое дядя Ерошка, какъ художественный образъ, съ точки зрѣнія субъективнаго творчества Толстого? Что такое художественный образъ дяди Ерошки самъ по себѣ, какъ созданіе творчества объективнаго,—каковъ интересъ, представляемый имъ для насъ?

Прежде всего это—одна изъ великолѣпнѣйшихъ фигуръ, созданныхъ Толстымъ, одно изъ блистательныхъ его открытій—въ сферѣ тѣхъ психологическихъ и бытовыхъ явленій, которыя для него были чуждыми, посторонними, къ изученію и воспроизведенію которыхъ онъ обращался, влекомый живымъ стремленіемъ выйти изъ тѣсныхъ границъ субъективной сферы.

Оленинъ встрѣтилъ въ дядѣ Ерошкѣ, Толстой открылъ въ немъ цѣлую залежь душевныхъ формацій, къ общенію съ которыми первый стремился, какъ человѣкъ извѣстнаго круга, а второй—и какъ человѣкъ, и какъ художникъ.

Оленинъ-Толстой бѣжалъ отъ «цивилизаціи», отъ великосвѣтской, столичной жизни: ему нужна была дикая природа и человѣкъ, живущій въ постоянномъ и живомъ общеніи съ нею. Въ этомъ отношеніи дядя Ерошка, этотъ, по выраженію хорунжаго, Нимвродъ египетскій, ловецъ предъ господиномъ, удовлетворялъ Оленина-Толстого въ большей мѣрѣ, чѣмъ другіе представители станичной жизни. Хорунжій, начетчикъ претендующій на образованность, скопидомъ и хозяинъ, Лукашка-джигитъ, натура непосредственная, типичный предста-

витель казацкихъ нравовъ и станичнаго быта, Назарка и всѣ прочіе—все это люди, выросшіе и сложившіеся среди данныхъ формъ быта и традицій и столь-же крѣпко сидящіе въ ихъ тискахъ, какъ представитель великосвѣтскаго круга сидитъ въ своихъ культурныхъ тискахъ. Традиціонные взгляды на вещи, исторически-сложившіяся формы отношеній сковываютъ ихъ внутренній міръ и подавляютъ свободное развитіе чувства и мысли не меньше, если не больше, чѣмъ въ любомъ цивилизованномъ обществѣ. Здѣсь свои «избитыя дорожки», которыхъ такъ не любитъ Оленинъ, здѣсь свой «хомутъ», который такъ противенъ ему. Здѣсь, какъ и вездѣ, бытовая, сословная, профессіональная формація личности подавляетъ и ограничиваетъ ея общечеловѣческое и индивидуальное развитіе. Но дядя Ерошка является блестящимъ исключеніемъ. Онъ, въ извѣстномъ смыслѣ, такой-же отщепенецъ отъ своего общества, какъ Оленинъ—отъ своего. Онъ выше своей среды и умомъ, и чувствомъ,—какъ и Оленинъ въ тѣхъ-же отношеніяхъ выше своей. И потому они оба одиноки, оба не поняты. Рѣчи Ерошки на тему о томъ, что всѣ люди равны, и звѣрь не хуже человѣка,—остаются его личными свободными мнѣніями, которыхъ не поймутъ и не раздѣлятъ ни Лукашка, ни хорунжій, ни Назарка. Онъ между ними—человѣкъ особенный, какъ Оленинъ—между своими. Эта аналогія и сближаетъ ихъ, и между ними устанавливается родъ душевнаго тяготѣнія другъ къ другу, которое еще усуглубляется въ силу того, что указанная аналогія сопряжена съ яркимъ и притягательно-дѣйствующимъ психическимъ контрастомъ: Оленинъ—человѣкъ неустановившійся, ищущій и мятущійся, дядя Ерошка—человѣкъ сложившійся, спокойный, внутренно-уравновѣшенный; Оленинъ, при всѣхъ своихъ протестахъ и смѣлыхъ стремленіяхъ,—личность внутренно-связанная «неотразимостью» правъ на нее той среды, отъ которой онъ тщетно хочетъ уйти, и сложной, запутанной дѣятельностью его духа, дядя Ерошка—человѣкъ внутренно-свободный, непосредственный, самобытный философъ, рѣшившій для себя всѣ вопросы, какіе только возникали въ его умѣ, и нашедшій въ этихъ рѣшеніяхъ успокоеніе и миръ душевный; Оленинъ, уѣхавъ за тысячи верстъ отъ «свѣта», не можетъ избавиться отъ путъ его, Ерошка, оставаясь въ своей средѣ, сумѣлъ освободиться отъ ея оковъ; Оленинъ въ самыхъ своихъ отрицаніяхъ остается аристократомъ и думаетъ и чувствуетъ по-великосвѣтски—не со стороны содержанія мыслей и

чувствъ, а, что иногда важнѣе,—со стороны ихъ психологической, сословной формы, между тѣмъ какъ дядя Ерошка чувствуетъ и думаетъ посвоему: у него нетолько свое содержаніе мыслей и чувствъ, но своя особая психологическая ихъ форма, въ которой доведены до минимума черты сословно-бытовыя и остались только національно-этнографическія, правда, очень ярко выраженныя.

Эти указанія на черты сходства и контраста между душевнымъ укладомъ стараго казака и натурою Оленина-Толстого, даютъ намъ въ руки ту аріаднину нить, которая приводитъ насъ къ открытію субъективной стороны въ созданіи образа дяди Ерошки. Напомню, во избѣжаніе недоразумѣній, что субъективизмомъ въ творчествѣ я называю не приписываніе выводимому лицу собственныхъ мнѣній и взглядовъ автора, а внесеніе въ образъ результатовъ своего внутренняго опыта или-же какой-нибудь основной черты своей собственной натуры.

Въ натурѣ Толстого и въ многолѣтней исторіи его внутренняго опыта весьма видное, можно сказать, первенствующее положеніе занимаетъ слѣдующій душевный процессъ: въ своихъ постоянныхъ исканіяхъ высшей нравственной правды Толстой всегда руководился не то сознаніемъ, не то предчувствіемъ, что эта искомая правда погребена гдѣ-то глубоко въ нѣдрахъ его собственнаго духа, засыпанная и придавленная наносными пластами другихъ психическихъ наслоеній, отложенныхъ «цивилизаціей» вообще и культурою высшаго, аристократическаго класса въ частности. Чтобы увидѣть свѣтъ истины, нужно какъ-нибудь пробиться сквозь эту толщу, нужно приподнять и сдвинуть эти наслоенія. Слѣдующее простое соображеніе является на помощь этому трудному предпріятію: въ мужикѣ, который такъ мало причастенъ «цивилизаціи», въ душѣ котораго такъ незначительны ея наслоенія, всечеловѣческая правда должна лежать не такъ глубоко, а гораздо ближе къ поверхности, и мужику, ищущему этой правды, стоитъ только немножко порасчистить верхній слой, чтобы найти ее или по крайней мѣрѣ близко къ ней подойти. Отсюда обращеніе къ народу съ цѣлью подслушать это прозябаніе высшей правды сквозь исторически-отложившіеся, вѣковые, но a priori предполагаемые слабыми, непрочными наносы культуры и быта. Пожалуй, удастся даже подмѣтить коегдѣ, какъ этотъ свѣтъ пробивается самъ собою, независимо отъ

не хорошо, то не ладно. Наше счастье, дружокъ, какъ вода въ бреднѣ: тянешь—надулась, а вытащишь—ничего нѣту» (гл. XII). Этою сентенціею онъ подводитъ итогъ уже извѣстному намъ разсказу о томъ, какъ его взяли въ солдаты и какъ все вышло къ лучшему. Та-же фаталистическая и вмѣстѣ оптимистическая точка зрѣнія сквозитъ въ другомъ разсказѣ Каратаева—о купцѣ, который по судебной ошибкѣ былъ сосланъ на каторгу (IV, ч. III, гл. XIII). Но яснѣе и художественнѣе всего эта сторона Каратаева представлена изображеніемъ всей его повадки, его натуры, непосредственно-сказывающейся въ каждомъ движеніи его,—неизмѣнно-благодушнаго, неунывающаго настроенія духа, его душевной (и физической: психика у него въ полной гармоніи съ физической организаціей) нестомчивости, исключительной способности примиряться со всѣми обстоятельствами, въ убѣжденіи, что такъ суждено («рокъ головы ищетъ») и что все, въ концѣ концовъ, обернется къ лучшему. Перечитайте въ гл. XIII-ой (т. IV, ч. I) описаніе его физической и душевной бодрости,—какъ онъ, «казалось, не понималъ, что такое усталось и болѣзнь», какъ, ложась спать, онъ говорилъ: «положи, Господи, камушкомъ подними калачикомъ», а просыпаясь повторялъ: «легъ—свернулся, всталъ—встряхнулся»,—перечитайте въ началѣ той же главы описаніе его внѣшности, его повадки, его «спорыхъ круглыхъ движеній», его голоса, глазъ, выраженія «невинности и юности» (несмотря на возрастъ за 50 лѣтъ) и т. д.,—и вы убѣдитесь, что передъ вами—олицетвореніе того особаго душевнаго уклада, который лучше всего охарактеризовать терминомъ фаталистическій оптимизмъ и для котораго терминъ «смиреніе» хотя и возможенъ, но во многихъ отношеніяхъ неудобенъ. И не трудно видѣть, почему именно онъ неудобенъ. Еслибы Каратаевъ былъ сознательная личность, съ извѣстнымъ положительнымъ содержаніемъ, съ лично-выработаннымъ міровоззрѣніемъ, съ рефлексіей,—тогда дѣло другое: тогда въ немъ несомнѣнно было бы смиреніе, потому что была бы и гордость. Это—коррелятивныя психическія черты, принадлежащія не къ формальнымъ элементамъ духа, а къ содержанію личности,—котораго-то, какъ мы знаемъ, у Каратаева, собственно говоря, и нѣтъ.

Здѣсь необходимо, прежде чѣмъ пойдемъ дальше, устранить одно возможное недоразумѣніе. Могутъ возразить мнѣ, что, вѣдь, есть-же національная, есть сословная гордость, и что, стало быть, возможна, по крайней мѣрѣ, гордость (если

не смиреніе) въ сферѣ формальныхъ элементовъ духа. Я отвѣчу, что не только гордость, но и смиреніе имѣетъ несомнѣнное отношеніе къ этой сферѣ, но при всемъ томъ я рѣшительно не могу признать эти національныя или сословныя чувства элементами самой національной или сословной психологіи. Я думаю, что черты формальныя (сословныя, національныя) являются только предметомъ или содержаніемъ этихъ чувствъ—смиренія, гордости, но само-то смиреніе и сама гордость принадлежитъ къ другой сферѣ духа. Англичанинъ гордъ тѣмъ, что онъ англичанинъ, не потому что онъ—англичанинъ, а потому, что онъ давнымъ давно—рѣзко выраженная индивидуальность, сознательная личность. И чтобы гордиться своею національностью, для этого не нужно быть непремѣнно англичаниномъ, для этого достаточно быть, напр., нѣмцемъ или французомъ. Но что для этого безусловно необходимо—это быть личностью, выдѣлять себя изъ массы, не тонуть въ массѣ, сознавать свое человѣческое достоинство, имѣть свою индивидуальную гордость, которая естественно и захватываетъ въ раіонъ своего проявленія, въ числѣ всего прочаго, и черты національныя. Такая личность будетъ гордиться и своимъ языкомъ, и складомъ національнаго духа, и національной литературой, и самымъ фактомъ своей принадлежности къ данной націи. Вотъ почему текущій фазисъ цивилизаціи, характеризующійся развитіемъ крайняго индивидуализма, въ то-же время отмѣченъ и крайнимъ развитіемъ чувствъ національной чести и гордости, переходящихъ даже въ шовинизмъ. Можно вѣрить (и пишущій эти строки принадлежитъ къ числу такихъ вѣрующихъ), что въ грядущемъ, съ прекращеніемъ индивидуалистическаго фазиса, національныя особенности изъ предмета гордости превратятся въ предметъ смиренія [1]). Но то, что представляется только возможнымъ въ сферѣ національной психологіи,—въ сферѣ психологіи сословной частью уже осуществилось, частью осуществляется на нашихъ глазахъ. Встрѣтить человѣка, для котораго его сословныя черты являются предметомъ не гордости, а смиренія,—теперь не рѣдкость,—и у насъ самъ Л. Н. Толстой—яркій образецъ этой эволюціи. Мы, русскіе, для которыхъ Каратаевъ такъ типиченъ, только вступаемъ въ

---

[1]) Въ будущемъ безъ-классовомъ обществѣ личность впервые получитъ возможность правильнаго, здороваго, истинно-человѣчнаго развитія и будетъ гордиться только тѣмъ, что она—человѣкъ и ничто человѣческое ей не чуждо.

періодъ развитія національной гордости и отъ грядущаго смиренія отстоимъ гораздо дальше англичанъ, которые такъ давно и такъ по праву горды и, вѣроятно, приближаются къ концу «гордаго» фазиса въ развитіи національнаго самочувствія и самосознанія. Эти замѣчанія могутъ быть кратко выражены въ такой формулѣ: чувства гордости и смиренія, предметомъ которыхъ могутъ быть черты или явленія національныя, какъ и многое другое, сами принадлежатъ не къ формальной психологіи національности, а къ психологіи личности, индивидуальнаго «я», вырабатывающагося и получающаго ту или другую постановку, тотъ или иной укладъ духа на почвѣ процессовъ соціальныхъ (въ обширномъ смыслѣ,— государственныхъ, общественныхъ, экономческихъ и др.).

И такъ, Каратаевъ не есть олицетвореніе національнаго смиренія, потому что онъ не личность съ положительнымъ содержаніемъ, съ рефлексіей, съ собственнымъ міровоззрѣніемъ, а только частица массы, еще недоразвившейся до національной гордости.

Вотъ почему, говоря о Каратаевѣ, я, по примѣру Толстого, отказываюсь отъ термина смиреніе и предпочитаю говорить о фатализмѣ и оптимизмѣ.

У Каратаева опять-таки эти черты—не личное его достояніе: онѣ принадлежатъ народу, изъ котораго онъ вышелъ. Мало того: онѣ—не исключительно сословныя черты крестьянства. Кутузовъ, принадлежащій къ высшему классу и лицо историческое, раздѣляетъ съ Каратаевымъ эту особенность душевнаго склада и у самаго Л. Н. Толстого она является характерною окраскою, даже основою тѣхъ его философско-историческихъ воззрѣній, подъ вдохновеніемъ которыхъ онъ и писалъ «Войну и Миръ». Всѣ мы, къ какому-бы сословію, къ какой-бы партіи не принадлежали, какихъ-бы взглядовъ на вещи ни придерживались,—мы всѣ, русскіе, въ большей или меньшей мѣрѣ фаталисты и оптимисты. Это у насъ черта національная. Различія усматриваются въ подробностяхъ, въ способѣ отраженія этой національной особенности въ сознаніи отдѣльныхъ лицъ. Одинъ говоритъ «рокъ» и «все къ лучшему», другой скажетъ, какъ Облонскій (въ «Аннѣ Карениной») «все образуется», третій—«авось, кривая вывезетъ!» И всѣ мы, сознательно или безсознательно, вѣруемъ въ «фатальный ходъ вещей», но это — не мрачный и абсолютный фатализмъ народовъ Востока, это — умѣренный и, въ основѣ, правильный фаталистическій взглядъ, соединенный съ оптимистическимъ упованіемъ на лучшее буду-

щее. По отношенію къ настоящему русскій человѣкъ можетъ быть, съ той или иной точки зрѣнія, большимъ пессимистомъ, все осуждать, быть недовольнымъ, но относительно будущаго онъ всегда оптимистъ: онъ всегда доволенъ этимъ будущимъ. Я называю этотъ оптимизмъ неумѣреннымъ, потому что взоръ, упорно и мечтательно устремленный въ невѣдомое грядущее, не достаточно воспріимчивъ къ настоящему и, скользя по его верхамъ, не оцѣниваетъ въ должной мѣрѣ всѣхъ его изъяновъ, даже вопіющихъ.

Постараемся ближе опредѣлить эту національную черту, попытаемся уловить подлинное психическое явленіе, скрывающееся за понятіями, съ которыми мы имѣемъ дѣло.

Прежде всего, что такое вообще фатализмъ, взятый отдѣльно отъ національнаго склада того или другого народа? Это — извѣстная форма мысли, способъ пониманія явленій, точка зрѣнія на вещи. На вопросъ—«какая это форма и съ чѣмъ классифицируется»—мы отвѣтимъ такъ: она, въ сферѣ мышленія до-научнаго, то-же самое, что, въ области научной мысли, идея законосообразности всего сущаго. Источники обѣихъ — въ «законѣ» причинности. Уже изъ этого опредѣленія ясно, что фатализмъ есть явленіе общечеловѣческое, и всѣ націи въ своемъ умственномъ развитіи проходятъ черезъ этотъ фазисъ мышленія. Отсюда—выводъ, что фатализмъ, понимаемый только какъ форма чистой мысли, не можетъ быть характерной и постоянной принадлежностью какой нибудь опредѣленной націи. И дѣйствительно, во всѣхъ миѳологіяхъ, религіяхъ и міровоззрѣніяхъ всѣхъ культурныхъ народовъ мы находимъ выработанную систему фатализма, и у некультурныхъ — его зачатки. Древніе римляне со своимъ Fatum, древніе греки съ ихъ Μοῖρα и Ἀνάγκη были умственно—фаталистичны не менѣе Каратаева съ его «Рокомъ».

И при всемъ томъ, полагаю, всякій согласится, что едва-ли греки и римляне, а еще болѣе новыя, германскія и романскія, націи могутъ быть названы фаталистичными въ томъ смыслѣ, въ какомъ по праву называются такъ народы Востока и русская національность.

Диллема разрѣшается просто: есть фатализмъ и фатализмъ, т. е. этотъ терминъ употребляется для обозначенія двухъ психическихъ явленій, можетъ быть, и состоящихъ въ нѣкоторомъ сродствѣ, но принадлежащихъ къ двумъ различнымъ сферамъ

духа. Есть фатализмъ, какъ форма мысли, какъ стадія въ умственномъ развитіи, и есть фатализмъ, какъ черта національнаго характера. Первый, принадлежа къ сферѣ чистой мысли, конечно, можетъ вліять (если не помѣшаютъ другія воздѣйствія) на сферу воли. Второй принадлежитъ именно къ сферѣ воли,— онъ характерный признакъ національнаго склада волевыхъ процессовъ, и уже оттуда онъ воздѣйствуетъ на мысль, ища въ ней родственныхъ себѣ формъ и находя таковую въ томъ чисто-умственномъ фатализмѣ, о которомъ мы говорили, какъ объ извѣстной стадіи въ умственномъ развитіи. Когда эта стадія будетъ пройдена и миѳологическая форма фатализма уступитъ свое мѣсто другой, высшей формѣ, напр. идеѣ законосообразности, тогда фатализмъ волевой не преминетъ вступить въ сочетаніе и съ этою послѣднею,—и не только не исчезнетъ, а даже можетъ еще укрѣпиться. Живой примѣръ — фатализмъ Л. Н. Толстого, соотвѣтственная теорія котораго, отнюдь не миѳологическая, а въ своемъ родѣ раціональная и не чуждая нѣкоторыхъ вполнѣ научныхъ точекъ зрѣнія, изложена имъ въ заключительномъ трактатѣ, составляющемъ вторую часть эпилога «Войны и Мира».

Чтобы выразиться точнѣе, мы скажемъ не «волевой фатализмъ», а такой укладъ воли, который въ сферѣ мысли проявляется въ созданіи фаталистическихъ воззрѣній, при чемъ все равно, отливаются-ли эти воззрѣнія въ форму миѳологическаго Рока, или же въ форму научно-философскихъ понятій о законосообразности вещей, о ничтожной роли личности въ ходѣ событій, объ историческихъ событіяхъ, какъ о результатѣ, произведенномъ совокупнымъ дѣйствіемъ милліоновъ волевыхъ актовъ и т. д.

Этотъ укладъ воли, представляющійся нашей національной чертой, въ свою очередь можетъ быть ближе опредѣленъ или «описанъ» такими понятіями, какъ слабость личной и общественной иниціативы, нѣсколько-угнетенное самочувствіе личности, преобладаніе въ ней пассивности надъ активностью,— однимъ словомъ, это—совокупность тѣхъ психическихъ чертъ, имѣющихъ ближайшее отношеніе къ волевой сферѣ, которыя, въ значительно утрированномъ и явно патологическомъ видѣ, даютъ «картину»—Обломовщины.

У Гончарова этотъ русскій національный укладъ воли представленъ не въ нормальномъ, здоровомъ состояніи, а какъ-бы въ формѣ переходной къ патологической парализаціи воли,—

формѣ, мотивированной картиною помѣщичьей жизни при крѣпостномъ правѣ. У Толстого въ лицѣ Каратаева тотъ-же укладъ взятъ въ его нормальной постановкѣ. Обломовъ—лѣнтяй, Каратаевъ человѣкъ труда и работаетъ не покладая рукъ; Обломовъ не способенъ ни къ какимъ проявленіямъ воли, кромѣ лежанія на диванѣ, Каратаевъ, напротивъ, дѣятельно проявляетъ свою волю,—но только не какъ личность, идущая къ сознательно-поставленнымъ цѣлямъ, а какъ атомъ участвующій въ общемъ стихійномъ движеніи массъ. Каратаевъ—участникъ въ жизни цѣлаго, Обломовъ—отщепенецъ ото всякой общей жизни.

Такую-же параллель можно провести между Кутузовымъ и Обломовымъ. Фельдмаршалъ, облеченный неограниченной властью, самъ не вѣритъ въ силу своихъ повелѣній, въ могущество своей личной иниціативы; онъ сознательно «воздерживается» отъ вмѣшательства въ естественный и фатальный ходъ вещей; его лозунгъ—«терпѣніе и время». Въ глазахъ иностранца, которому чуждъ и непонятенъ такой укладъ или типъ воли, это—тотъ-же лѣнтяй Обломовъ, и напр. Вогюэ (въ статьяхъ о Толстомъ) рѣшительно не можетъ понять, что хорошаго нашелъ Толстой въ этомъ генералѣ, который «ничего не дѣлаетъ» и «спитъ въ военномъ свѣтѣ». Но то, что непонятно иностранцу, для насъ ясно, какъ Божій день, и мы отлично видимъ различіе между этими двумя разновидностями одного и того-же волевого уклада,—Кутузовскимъ и Обломовскимъ. Волевой аппаратъ Кутузова есть нормальный русскій волевой аппаратъ, взятый въ его лучшемъ выраженіи и въ наиболѣе цѣлесообразномъ приложеніи къ дѣлу, въ данномъ случаѣ историческому и народно-національному. Въ Обломовѣ тотъ-же аппаратъ опустился ниже нормы: онъ парализованъ крѣпостнымъ правомъ. «Недѣланіе» Кутузова есть нашъ русскій способъ «дѣланія»: этого типа волевыми актами мы всю нашу исторію вѣками «дѣлали» или, лучше сказать, она сама такъ дѣлалась нашими волевыми актами. «Недѣланіе» Обломова есть оборотная сторона этой медали, показывающая, какъ легко портится такой укладъ воли, и въ какой безвыходный «тупикъ» можетъ завести насъ эта порча [1]).

---

[1]) Мнѣ пришлось недавно вернуться къ вопросу о психологіи нашего національнаго уклада и о его «болѣзни», именуемой «обломовщиной», въ X-ой и XI-ой главахъ «Итоговъ русск. худож. литературы», печатающихся въ «Вѣстникѣ воспитанія».

Разсмотрѣнными чертами еще не исчерпывается психика Каратаева. Намъ предстоитъ еще отдать себѣ отчетъ въ слѣдующемъ: куда отнесемъ мы тотъ «духъ простоты и правды», который присущъ Каратаеву; къ личному-ли содержанію его души, или къ его народно-крестьянской психологической формѣ, или, наконецъ, къ его національной личности?

Для правильной постановки вопроса, вспомнимъ, что ту-же черту, почти въ тѣхъ-же выраженіяхъ, Толстой приписываетъ и Кутузову. Не мѣшаетъ имѣть въ виду, что и Обломовъ изображенъ также, какъ воплощеніе своего рода «простоты и правды». Не случайны, конечно, эти совпаденія. У всѣхъ трехъ эта черта оказывается на-лицо потому, что всѣ три—русскіе національные типы. Ея присутствіе въ нашемъ національномъ складѣ отмѣчалось много разъ, въ особенности наглядно она проявляется въ тѣхъ случаяхъ, когда русскій національный пошибъ сталкивается съ національнымъ типомъ романскихъ народовъ, какъ это и было въ эпоху войны 1812 г. Присущая романскимъ націямъ аффектація, реторичность и позированіе еще рѣзче оттѣняетъ нашу простоту, которая въ такихъ случаяхъ еще настойчивѣе вызываетъ представленіе правды, при чемъ наблюдатель легко поддается иллюзіи, заставляющей его думать, что противуположныя черты, аффектація и пр., непремѣнно будто-бы сочетаются съ какой-то неправдою, съ нѣкоторой внутренней фальшью. На этомъ-то пунктѣ и начинается настоящая неправда въ нашихъ сужденіяхъ о національномъ характерѣ другихъ народовъ.

Чтобы въ этого рода вопросахъ не впасть въ заблужденіе и несправедливость, нужно разъ навсегда отрѣшиться отъ соблазна—квалифицировать національные признаки, какъ достоинства и недостатки, какъ добродѣтели и пороки. Національныя черты суть свойства, а не качества, и къ нимъ нужно относиться какъ напр. къ цвѣту волосъ, глазъ, темпераменту и т. д. Въ числѣ русскихъ національныхъ свойствъ есть специфическая простота и правда, но ни та, ни другая—не добродѣтель. Аффектація—одна изъ національныхъ чертъ романскихъ народовъ, но она не порокъ.

Если «простота», какъ черта національная, не добродѣтель и не должна быть смѣшиваема напр. съ искренностью, то что-же она такое? Какъ все національное, она форма, а не содержаніе, она именно та форма душевнаго склада, которая въ

сферѣ мысли можетъ быть опредѣлена, какъ минимумъ реторичности и искусственности въ самомъ процессѣ мышленія, въ сферѣ чувствъ, какъ минимумъ приподнятыхъ, аффектированныхъ настроеній, въ сферѣ воли, какъ минимумъ утрировки въ волевыхъ выраженіяхъ (напр. въ жестахъ, поступкахъ) сравнительно съ волевымъ импульсомъ. Не трудно видѣть, что эта формальная простота въ этическомъ смыслѣ безразлична, и въ нее, какъ въ форму, можетъ быть вложено что угодно, истина и ложь, справедливость и несправедливость, искренность и коварство и т. д. Можно совершенно просто, безъ тѣни реторики, безъ всякой аффектаціи настроенія и безъ утрировки волевыхъ проявленій подумать, сказать вопіющую ложь, неправду, сдѣлать какое угодно безобразіе. И наоборотъ: противоположная форма, реторика мысли и рѣчи, аффектированность чувства, утрировка волевыхъ выраженій, можетъ имѣть своимъ содержаніемъ святую истину, справедливое отношеніе къ вещамъ и людямъ, добродѣтельный поступокъ.

Таково понятіе формальной простоты. Но при чемъ тутъ еще правда? Есть два основанія, почему мы говоримъ «простота и правда», не ограничиваясь одной «простотой». Во-первыхъ, простота, понимаемая въ томъ смыслѣ, какъ я ее только-что опредѣлилъ, несмотря на свою формальность, невольно вызываетъ въ умѣ представленіе о какой-то не то правдивости, не то искренности, не то адэкватности между рѣчью и мыслью, чувствомъ и поступкомъ, жестомъ и настроеніемъ и т. д. Оттуда— невольное стремленіе идеализировать, — скажемъ, повысить чиномъ эту «простоту» и величать ее «правдой». Это повышеніе, какъ увидимъ ниже (спеціально въ отношеніи Каратаева и Кутузова), имѣетъ свои оправданія и можетъ привести къ хорошимъ результатамъ. Но, вообще говоря, нужно остерегаться переносить эти понятія изъ области формы въ сферу содержанія: И. А. Хлестаковъ, какъ истинно-русскій человѣкъ, лжетъ совершенно просто и даже правдиво, ибо стульевъ онъ не ломаетъ и «30,000 курьеровъ» и пр. являются адэкватнымъ, «правдивымъ» выраженіемъ его «мысли», его душевнаго подъема въ данную минуту, да и всего склада его души. «Правда», о которой мы говоримъ, столь-же въ сущности формальна, какъ и логическая истина, которая, какъ извѣстно, можетъ и не совпадать съ истиной объективной. Указанное мною основаніе, почему мы къ «простотѣ» присоединяемъ еще и «правду», мо-

жетъ быть названо психологическимъ въ тѣсномъ смыслѣ: это ассоціація двухъ понятій, изъ которыхъ второе есть лишь усиленное и идеализированное первое. Но есть еще и другое основаніе, чисто лингвистическое, которое въ данномъ случаѣ имѣетъ большое значеніе, потому что дѣло идетъ о явленіи національной психологіи, а послѣдняя какъ извѣстно, находится въ тѣснѣйшей связи съ языкомъ. Выраженіе «простота и правда» принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ въ разныхъ языкахъ оборотовъ, состоящихъ въ томъ, что одно понятіе выражается двумя терминами. Таковы наши народныя выраженія: «свѣтъ-заря», «путь-дорога» и т. д. Въ высокой степени характерно, что именно въ русскомъ языкѣ такая «пара» составлена изъ представленій «простоты» и «правды». При этомъ, какъ извѣстно, кругъ представленій или понятій, входящихъ въ составъ каждаго изъ этихъ терминовъ, довольно великъ. «Простота» отъ того чисто-формальнаго значенія, о которомъ идетъ у насъ рѣчь, переносится въ сферу содержанія и употребляется, какъ синонимъ терминовъ простодушіе, добродушіе, искренность, наивность, даже глупость. «Правда» является, съ одной стороны синонимомъ формальной «простоты» (въ разсматриваемомъ выраженіи «простота и правда»), съ другой-же—такихъ понятій, какъ объективная истина, какъ субъективная правдивость, какъ нравственная правда, напр. справедливость отношеній. Ясное дѣло, что всѣ эти понятія не могутъ такъ или иначе не ассоціироваться съ разсматриваемымъ парнымъ терминомъ (простота и правда) въ его формальномъ значеніи и должны въ большей или меньшей степени отвлекать его отъ чисто-формальнаго примѣненія—въ область психологическаго содержанія. Однимъ изъ крайнихъ выраженій этой тенденціи является въ народной поэзіи образъ Иванушки-дурачка, въ которомъ «простота» доведена до глупости, хотя только кажущейся, а «правда»—до высшей нравственной правды. Другимъ представителемъ того-же типа, только въ иной постановкѣ, служитъ нашъ эпическій богатырь Илья Муромецъ, въ которомъ «простота» развита до прямодушія, искренности, безхитростности, а «правда» до извѣстныхъ понятій о долгѣ, призваніи, чести и т. д. Какъ самъ терминъ «простота и правда» есть явленіе лингвистически-національное и непереводимъ на другіе языки (подобно греческому καλοκαγαθία), такъ и художественные образы, ему отвѣчающіе, суть образы

спеціально-русскіе, національные и часто, цѣликомъ или въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, остаются непонятными для иностранца. И подобно тому, какъ самый терминъ «простота и правда» въ его живомъ употребленіи въ рѣчи невольно выбивается изъ формальной сферы и переносится въ область психологическаго содержанія, повинуясь не произволу говорящаго, а законосообразному воздѣйствію ассоціаціи, составляющей національное достояніе, такъ и соотвѣтственные образы искусства, по праву художника, могутъ быть построены въ томъ-же духѣ— претворенія формальной простоты и формальной правды въ различнаго рода положительныя качества психики. Такое претвореніе есть законная идеализація національной формы. Художникъ въ этомъ случаѣ продолжаетъ традицію народнаго творчества и вноситъ свою лепту въ дѣло національнаго самосознанія и, пожалуй, также содѣйствуетъ облагороженію національной психики- Это его право и обязанность. Объяснить-же происхожденіе этихъ образовъ, раскрыть ихъ генезисъ изъ національной формы и разложить эту форму на ея составные психическіе элементы, это уже дѣло, право и обязанность критика.

Представленный здѣсь анализъ Каратаева будетъ дополненъ еще нѣкоторыми указаніями въ слѣдующей главѣ, гдѣ мы займемся Кутузовымъ: дополнительныя черты обнаружатся изъ сопоставленія Каратаева съ Кутузовымъ, а также изъ разъясненія того значенія, которое принадлежитъ Каратаеву въ дѣлѣ духовнаго возрожденія Пьера. Эту главу я закончу только указаніемъ на необходимость перейти отъ анализа къ синтезу.

Анализъ безспорно разрушаетъ непосредственное цѣльное и живое впечатлѣніе, производимое художественнымъ созданіемъ. Но не одно лишь непосредственное впечатлѣніе, которое можно назвать также наивнымъ, способно быть цѣльнымъ и живымъ. Путемъ синтеза можетъ быть возсоздано новое, столь-же сильное, и еще болѣе глубокое живое воспріятіе образа, но оно уже не будетъ наивнымъ и непосредственнымъ. Я хочу именно указать здѣсь на то, какъ анализъ расчищаетъ дорогу синтезу, какъ изъ отдѣльныхъ чертъ, полученныхъ въ результатѣ нашего анализа, можетъ возсоздаться живая личность Каратаева. Для этого одно механическое соединеніе извѣстныхъ намъ чертъ еще недостаточно. Нужно уловить то особенное соотношеніе и взаимодѣйствіе этихъ чертъ, ту ихъ организацію, въ силу которыхъ Каратаевъ и является во-

площеніемъ живой, цѣльной и своеобразной психики, а не просто суммою извѣстныхъ психологическихъ слагаемыхъ. Еще Шубинъ (въ «Наканунѣ») сказалъ: «душа—не яблоко: ее не разрѣжешь». Эта истина можетъ быть оставляема втунѣ—пока производится анализъ. Мы разлагаемъ мысленно душу на рядъ процессовъ, рядъ чертъ и свойствъ и стараемся вникнуть въ ихъ природу и происхожденіе. Но разъ отъ анализа мы переходимъ къ синтезу,—истина, изреченная Шубинымъ, вступаетъ въ свои права.

Въ результатѣ нашего анализа мы получили: 1) черты народной, крестьянской психологіи патріархальнаго склада, въ основѣ которой положены «мірская» общежительность, наивный альтрюизмъ, специфическое «благообразіе»; 2) національныя черты фатализма и оптимизма, въ корнѣ которыхъ мы указали своеобразный укладъ воли и особый родъ самочувствія личности; 3) національныя черты формальной простоты и правды—въ той ихъ постановкѣ и идеализаціи, о которыхъ была рѣчь выше. Всѣ эти черты соединены въ Каратаевѣ не механически, а какъ бы органически и образуютъ цѣльную и живую психику, которую можно анализировать, но отъ которой нельзя отнять ни одной черты—безъ нарушенія цѣлаго.

Въ нашей аналитической работѣ мы представляли себѣ всѣ эти черты какъ-бы на одной плоскости. Мы ихъ разложили по порядку и присматривались къ каждой изъ нихъ. Не такъ «лежатъ» онѣ въ душѣ Каратаева. Если ужъ прибѣгать къ пространственнымъ понятіямъ и метафорически переносить ихъ на психику, то мы скажемъ, что въ «разрѣзѣ» послѣдней эти черты представились-бы намъ на подобіе концентрическихъ круговъ или пластовъ, такъ что одинъ служитъ оболочкой для другого, другой—для третьяго и т. д., пока не дойдемъ до центральной точки, которая и есть индивидуальное положительное содержаніе личности, его подлинное «я»; для него всѣ эти оболочки служатъ формами (сословной, національной и т. д.). У Каратаева, какъ мы видѣли, центральный пунктъ такъ неявственъ, такъ глубоко погребенъ подъ толстыми наслоеніями формъ, что можетъ считаться равнымъ нулю, и вся душа Каратаева представляется составленной изъ однихъ формальныхъ элементовъ. Это упрощаетъ нашу задачу, которая была-бы гораздо труднѣе, если-бы дѣло шло о личности съ богатымъ и сложнымъ индивидуальнымъ содержаніемъ. Въ данномъ случаѣ, въ отношеніи Кара-

таева, мы оставляемъ индивидуальное содержаніе въ сторонѣ и сосредоточиваемся на формѣ. Задача упрощается—сводясь къ тому, чтобы найти то спеціальное и интимное соотношеніе, въ какомъ находятся другъ къ другу формальныя черты психики Каратаева, указать способъ ихъ сочетанія и взаимодѣйствія. Для этого прежде всего станемъ въ положеніе непосредственнаго наблюдателя и постараемся уловить то общее и цѣльное впечатлѣніе, которое производитъ Каратаевъ, какъ онъ есть, со всѣми его чертами, еще не разложенными предварительнымъ анализомъ, еще не отторгнутыми одна отъ другой. Такое впечатлѣніе (Anschauung) будетъ синтетическимъ,—оно еще не тотъ синтезъ, котораго мы ищемъ, но уже первый шагъ къ нему.

Предположимъ, что, наблюдая Каратаева, мы видимъ его психику во всей совокупности слагающихъ ее элементовъ,—наше впечатлѣніе, Auschauung,—полное. По необходимости, все, что мы видимъ, представляется намъ въ извѣстной перспективѣ, а не на одной плоскости, какъ при анализѣ. Однѣ черты выступаютъ на первый планъ, другія отодвигаются дальше, въ глубь. Однѣ кажутся намъ болѣе, если можно такъ выразиться, внѣшними, другія—болѣе внутренними. И вотъ наблюдатель, созерцая эту психологическую перспективу, по необходимости дѣлаетъ рядъ своихъ сужденій о томъ, что онъ видитъ,—эти сужденія входятъ, какъ неотъемлемая часть, въ составъ искомаго общаго впечатлѣнія. То, что представляется ему на первомъ планѣ, на периферіи психики, онъ невольно принимаетъ за форму того, что лежитъ глубже. Послѣднее, въ его глазахъ, есть содержаніе перваго. При встрѣчѣ съ Каратаевымъ, наблюдатель прежде всего видитъ, что это мужичекъ, крестьянинъ, сразу замѣчаетъ, что это не типичный солдатъ, и тутъ-же открываетъ въ немъ характерныя черты патріархальнаго крестьянскаго «благообразія». Для наблюдателя все это и составляетъ психологическую форму Каратаева. Все, что онъ откроетъ глубже, подъ этой оболочкой, представится ему содержаніемъ формы, но такимъ, которое не вложено туда случайно, извнѣ, а находится въ тѣснѣйшей, выражаясь фигурально, «кровной» связи съ формою. Въ такомъ освѣщеніи предстанутъ ему фаталистическія и оптимистическія—не взгляды, не мысли, а «проявленія» Каратаева. Иной мужичекъ того-же типа и склада, пожалуй, и не проявится съ этой стороны,—

подумаетъ наблюдатель,—но Каратаевъ проявляется, и это его проявленіе, это обнаруженіе своеобразнаго оптимистическаго фатализма не механически связано съ его мужицкою формою, съ его крестьянскимъ благообразіемъ, а есть то зерно, оболочкой котораго служитъ этотъ крестьянскій складъ; при другомъ складѣ, и зерно, думается наблюдателю, было-бы другое. Наблюдатель не вдается въ анализъ, не прибѣгаетъ къ своего рода «реактивамъ», не вспомнитъ, имѣя дѣло съ Каратаевымъ, о Кутузовѣ, объ Обломовѣ. Всякаго рода сопоставленія, сравненія (кромѣ развѣ съ самимъ собою) только нарушатъ цѣльность впечатлѣнія и неизбѣжно перетасуютъ элементы: то, что наблюдатель принялъ за «зерно», окажется «оболочкой». Еще глубже оптимистическаго фатализма наблюдатель открываетъ «простоту и правду». И здѣсь, не смущаемый сравненіями и анализомъ, преслѣдуя одно лишь живое и цѣльное впечатлѣніе, онъ квалифицируетъ эту черту—какъ нѣчто положительное, а не исключительно формальное, но такъ тѣсно связанное съ формою, что безъ нея оно, пожалуй, и не существовало-бы. Наблюдатель имѣетъ дѣло только съ Каратаевымъ и не знаетъ, что, напр., и въ Кутузовѣ есть аналогичная простота и правда, а если и знаетъ, то не пользуется этими свѣдѣніями для составленія своего синтетическаго сужденія о Каратаевѣ. Поэтому для наблюдателя Каратаевъ—не національный типъ, а народный. Все, что онъ видитъ въ Каратаевѣ, открывается ему сквозь призму крестьянской формы. Онъ подведетъ итогъ своимъ впечатлѣніямъ—опредѣливъ Каратаева, какъ идеалъ простоты и правды, воплощенный въ народно-крестьянской психологической формѣ.

Таковъ синтетическій взглядъ на Каратаева наблюдателя, который не имѣетъ въ своемъ распоряженіи предварительнаго анализа. Но мы его имѣемъ, и синтезъ, котораго мы ищемъ, долженъ основываться на результатахъ анализа, не будучи механическимъ ихъ суммированіемъ. Непосредственное, живое и цѣльное впечатлѣніе наблюдателя поможетъ намъ сдѣлать правильный синтезъ, не прибѣгая къ ариѳметикѣ.

Анализъ обнаружилъ, что «простота и правда»—это черта національной психологической формы. Наблюдатель говоритъ намъ, что онъ видитъ эту «простоту и правду» въ глубинѣ, а не на периферіи. Будемъ и мы видѣть ее тамъ, но только зная, что она—форма, а не содержаніе и не составляетъ исключи-

тельной особенности Каратаева или его сословія, но принадлежитъ всей русской націи. Въ силу этого сознанія, добытаго анализомъ, наше синтетическое впечатлѣніе окажется качественно-отличнымъ отъ того, которое составилось у предполагаемаго наблюдателя, не опиравшагося на предварительный анализъ. Наблюдателю казалось, что между идеаломъ «простоты и правды», воплощеннымъ въ Каратаевѣ, и его крестьянскимъ «благообразіемъ» установлены столь тѣсныя связи психологическаго сродства, что одно безъ другого немыслимо. Для насъ—это иллюзія; мы знаемъ, что тотъ-же идеалъ можетъ быть воплощенъ и въ другой, не крестьянской формѣ. И мы видимъ въ Каратаевѣ уже не исключительно народный идеалъ крестьянскаго благообразія, простоты и правды, а идеализированную русскую національную психику, взятую въ ея крестьянской разновидности, въ ея непосредственномъ, нетронутомъ цивилизаціей и рефлексіей проявленіи. Одно сознаніе, что возможны и другія ея проявленія, въ корнѣ измѣняетъ характеръ синтетическаго впечатлѣнія. Фатализмъ и оптимизмъ Каратаева для насъ только народное выраженіе національнаго уклада волии, созерцая Каратаева, мы сосредоточиваемъ наше вниманіе не столько на этомъ выраженіи, сколько на самомъ «укладѣ», и видимъ или вспоминаемъ многое, чего наблюдатель не видѣлъ и не вспоминалъ.

И по необходимости, наши сужденія, входящія въ составъ синтетическаго впечатлѣнія, будутъ иныя, чѣмъ у наблюдателя, при сохраненіи той-же перспективы. Мы видимъ наблюдаемыя явленія въ томъ-же порядкѣ, но понимаемъ ихъ иначе. Это пониманіе и есть искомый синтезъ. Если онъ выйдетъ неправильнымъ или неполнымъ,—это будетъ прямымъ слѣдствіемъ неправильности или неполноты анализа.

Каковъ-бы онъ ни былъ, но онъ необходимъ. Только такимъ путемъ—преобразованія непосредственнаго впечатлѣнія въ синтетическое пониманіе образа, опирающееся на анализъ, и возможно придти къ выясненію художественной идеи, воплощенной въ образѣ.

Дойти до указаннаго синтетическаго пониманія—дѣло не трудное, разъ сдѣланъ анализъ, эта труднѣйшая, «черновая» часть работы. Но для изложенія, для передачи процесса своей мысли другимъ, анализъ оказывается дѣломъ гораздо болѣе легкимъ, чѣмъ синтезъ. Какъ передать, какъ описать свое синтетическое, цѣльное, живое впечатлѣніе и пониманіе?

Быть можетъ, мнѣ удастся сдѣлать это въ слѣдующей главѣ, въ связи съ раскрытіемъ идеи, воплощенной въ Каратаевѣ и Кутузовѣ, и того значенія, которое принадлежитъ спеціально образу Каратаева въ эпопеѣ «Войны и Мира».

ГЛАВА V.

Типы національные. Кутузовъ

Обращаясь къ анализу фигуры Кутузова, прежде всего возстановимъ въ памяти тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ.

Впервые Кутузовъ появляется во II-й части I-го тома. Это — превосходная сцена изъ кампаніи 1805-го г. въ Австріи. Кутузовъ на смотру. Минуя мастерски написанныя эпизодическія фигуры офицеровъ и солдатъ и детали полковой жизни, отмѣтимъ только то, что относится къ Кутузову. Здѣсь, какъ-бы вскользь, указаны двѣ черты, которыя читатель, конечно, не пропуститъ. Капитанъ Тимохинъ, когда Кутузовъ подошелъ къ нему, «вытянулся такъ, что, казалось, посмотри на него главнокомандующій еще нѣсколько времени, онъ (Тимохинъ) не выдержалъ-бы; и потому Кутузовъ, видимо понявъ его положеніе и желая, напротивъ, всякаго добра капитану, поспѣшно отвернулся. По пухлому, изуродованному раной лицу Кутузова пробѣжала чуть замѣтная улыбка».—Далѣе, когда Долоховъ, желая обратить на себя его вниманіе, сказалъ ему: «прошу дать мнѣ случай загладить мою вину и доказать мою преданность государю императору и Россіи»,—«Кутузовъ отвернулся. На лицѣ его промелькнула та же улыбка глазъ, какъ и въ то время, когда онъ отвернулся отъ капитана Тимохина. Онъ отвернулся и поморщился, какъ будто хотѣлъ выразить этимъ, что все, что ему сказалъ Долоховъ, и все, что онъ могъ сказать ему, онъ давно, давно знаетъ, что все это уже прискучило ему, и что это совсѣмъ не то, что нужно».

Въ этихъ эпизодическихъ сценкахъ Кутузовъ обрисовывается во-первыхъ, какъ простой и добрый человѣкъ, а во-вторыхъ, какъ историческій дѣятель, умудренный давнимъ опытомъ, знающій людей и жизнь, преслѣдующій только тѣ историческія задачи, которыя стоятъ предъ нимъ, и остающійся равнодушнымъ къ личнымъ мотивамъ, движущимъ людьми, къ страстямъ человѣческимъ и т. д. Эти двѣ черты повторяются и въ дальнѣйшемъ. Толстой не упускаетъ случая указать на нихъ въ разныхъ сценахъ, гдѣ выведенъ Кутузовъ, и, наконецъ, прямо отъ

себя даетъ характеристику его въ этомъ смыслѣ. Одно изъ наиболѣе яркихъ мѣстъ этого рода — сцена изъ эпохи 1812 года, гдѣ Кутузовъ, уже назначенный главнокомандующимъ, выслушиваетъ очередные доклады и рѣшаетъ текущія дѣла. Между прочимъ, ему представляется здѣсь будущій знаменитый партизанъ Василій Денисовъ (Денисъ Давыдовъ), который, «назвавъ себя, объявилъ, что имѣетъ сообщить его свѣтлости дѣло большой важности для блага отечества. Кутузовъ усталымъ взглядомъ сталъ смотрѣть на Денисова... «Для блага отечества? Ну, что такое? Говори».—И разсѣянно и съ нѣкоторымъ нетерпѣніемъ слушая рѣчь Денисова, проэктамъ котораго онъ, очевидно, не придавалъ большого значенія, но считалъ неделикатнымъ—не выслушать, Кутузовъ «смотрѣлъ себѣ въ ноги и изрѣдка оглядывался на дверь сосѣдней избы, какъ будто онъ ждалъ чего-то непріятнаго оттуда». Непріятное явилось въ лицѣ дежурнаго генерала съ портфелемъ подъ мышкой. Генералъ пришелъ съ очередными дѣлами. Тѣмъ временемъ Денисовъ продолжаетъ излагать свой проектъ: «даю честное, благородное слово русскаго офицера», — горячится онъ — «что я разорву сообщенія Наполеона!» — «Тебѣ Кириллъ Андреевичъ Денисовъ, оберъ-интендантъ, какъ приходится?»—перебиваетъ его Кутузовъ. «Дядя родной, ваша свѣтлость».—О, пріятели были!—весело сказалъ Кутузовъ.—Хорошо, хорошо, голубчикъ, оставайся тутъ при штабѣ, завтра поговоримъ».—Тѣмъ и кончилось «обсужденіе» проэкта важнаго для блага отечества. И конечно, завтра «не поговорили». А между тѣмъ Денисовъ предлагалъ вовсе не какой-нибудь нелѣпый планъ. Вотъ какъ поясняетъ Толстой это благодушно-халатное отношеніе Кутузова къ текущимъ дѣламъ и разнымъ предлагавшимся ему планамъ и проэктамъ: «Все, что говорилъ Денисовъ, было дѣльно и умно. То, что говорилъ дежурный генералъ, было еще дѣльнѣе и умнѣе, но очевидно было, что Кутузовъ презиралъ и знаніе и умъ, и зналъ что-то другое, что должно было рѣшить дѣло, что-то другое, независимое отъ ума и знанія... Очевидно было, что Кутузовъ презиралъ умъ и знаніе, которое выказывалъ Денисовъ, но презиралъ не умомъ, не знаніемъ (потому что онъ и не старался выказывать ихъ), а онъ презиралъ ихъ чѣмъ-то другимъ. Онъ презиралъ ихъ своею старостью, своею опытностью жизни». (Томъ III, часть II, глава XV). — Въ слѣдующей главѣ XVI-й эта коренная черта Кутузова, на которой, можно сказать, и построенъ весь образъ его, еще ярче выступаетъ—въ бесѣдѣ

сознательныхъ усилій человѣка. Поскольку Толстой подходилъ къ народу съ этой стороны, руководимый этой точкой зрѣнія, постольку онъ шелъ путемъ субъективнаго творчества. Субъективность была въ самомъ замыслѣ. Въ процессѣ-же творчества она частью ограничивалась, частью совсѣмъ устранялась объективными наблюденіями и вновь появлялась тамъ, гдѣ дѣйствительность въ самомъ дѣлѣ оправдывала въ извѣстной мѣрѣ надежды Толстого и давала ему въ руки хотя-бы намеки, которые какъ-бы уполномочивали его воплощать въ народныхъ образахъ столь знакомый ему, по собственному внутреннему опыту, процессъ исканія высшей правды внутри себя,—добыванія истины собственнымъ умомъ, освобожденія духа отъ ограничивающихъ и искажающихъ его воздѣйствій культуры.

Чтобы этимъ путемъ, при дѣятельномъ участіи указаннаго субъективнаго момента, создать изъ объективныхъ наблюденій надъ народной жизнью превосходный образъ дяди Ерошки и, какъ увидимъ въ слѣдующей главѣ, грандіозную фигуру Платона Каратаева, нужно было обладать геніальной художественной интуиціей Толстого, тою, ему одному свойственною, силою художественнаго зрѣнія, которая позволяетъ ему созерцать объективный міръ въ его настоящемъ свѣтѣ—несмотря на то, что между этимъ міромъ и его взоромъ находится среда, казалось-бы, долженствовавшая неминуемо заслонить этотъ міръ или, по крайней мѣрѣ, преломить идущіе отъ него лучи,—собственная душа Толстого, столь сложная, столь богатая содержаніемъ, вѣчно движущаяся и волнующаяся и потому именно непрозрачная.

Не будь у Толстого этого дара геніальной прозорливости, вмѣсто типичной, истинно-народной фигуры дяди Ерошки вышла-бы фигура искусственная, псевдо-народная,—это была-бы часть того-же Оленина, переодѣтаго въ народный костюмъ. И какъ-бы хорошо ни былъ нарисованъ такой образъ съ внѣшней стороны, какъ-бы искусно ни были поддѣланы манеры, языкъ и т. д.,—образъ все-таки вышелъ-бы фальшивымъ и, разумѣется, не представлялъ-бы для насъ того живого интереса, какой присущъ великолѣпной фигурѣ дяди Ерошки. Говоря такъ, я съ тѣмъ вмѣстѣ даю отвѣтъ на второй, поставленный мною, вопросъ: какое значеніе имѣетъ для насъ этотъ образъ, какъ созданіе творчества объективнаго?

Дядя Ерошка—народный великорусскій типъ, обобщающій нѣкоторыя очень любопытныя стороны народнаго духа. Это обобщеніе говоритъ намъ, что не мы одни, люди, причастные европейской цивилизаціи, наукѣ, искусству, литературѣ,—всему, что облагораживаетъ человѣка и дѣлаетъ его гуманнымъ,—способны шевелить мозгами, критически относиться къ вѣками установившимся и господствующимъ въ окружающей средѣ нравственнымъ и инымъ понятіямъ, питать высшія чувства, напримѣръ, жалости, состраданія. Критическая мысль и глубина и чуткость душевной организаціи, для которыхъ общечеловѣческое просвѣщеніе является могущественнымъ и незамѣнимымъ орудіемъ и прочной основой, не составляютъ однако монополіи и привиллегіи образованныхъ классовъ. Дядя Ерошка цѣлой головой выше интелигентной толпы и, какъ личность, гораздо интереснѣе и богаче содержаніемъ тѣхъ адептовъ цивилизаніи, у которыхъ образованіе, нерѣдко обширное и разностороннее, отлично уживается съ вялостью мысли и деревянностью чувства. Въ народѣ, невзирая на всѣ неблагопріятныя условія, сохраняется природная энергія мысли и свѣжесть чувства, которыя какъ-бы ждутъ-не-дождутся живительныхъ лучей просвѣщенія—чтобы расцвѣсть и дать сочный плодъ. Горе тому народу, въ которомъ почему-бы то ни было изсякнетъ природный родникъ мысли и чувства,—тогда никакое просвѣщеніе ужъ не поможетъ ему! Этотъ родникъ засаривается и грозитъ изсякнуть тамъ, гдѣ общее душевное самочувствіе людей ненормально, нездраво, гдѣ человѣкъ теряетъ сознаніе своего человѣческаго достоинства, гдѣ его духъ угнетенъ такими разлагающими душевными процессами, какъ напр. страхъ, чувство безпомощности, сознаніе своего безсилія, своего ничтожества. Не такова среда, изображенная Толстымъ въ «Казакахъ»: это общество людей смѣлыхъ, сильныхъ духомъ, съ ярко-выраженнымъ чувствомъ человѣческаго достоинства, съ здравымъ общимъ душевнымъ самочувствіемъ,—а потому, какъ-бы ни была проста и некультурна ихъ жизнь, какъ-бы ни были грубы ихъ нравы, родникъ живой мысли и человѣчныхъ чувствъ у нихъ не засоренъ и не изсякнетъ. Въ образѣ дяди Ерошки мы видимъ его олицетвореніе.

Дядя Ерошка—типъ народный, но не мужицкій, не крестьянскій. Это не человѣкъ сохи и страды, это — вольный казакъ, охотникъ, бобыль. Даже отъ своихъ одностаничниковъ онъ отличается въ этомъ отношеніи: тѣ все-таки земледѣльцы и хозяева.

У дяди Ерошки хозяйства нѣтъ; онъ промышляетъ охотой и подачками добрыхъ людей, онъ — почти пролетарій, но только совсѣмъ особаго сорта,—такой, котораго душа не угнетена страхомъ нищеты и чувствомъ безпомощности; въ немъ нѣтъ и тѣни той душевной растерянности, которая образуетъ характерную черту сельскаго или городского пролетарія. Человѣкъ бѣдный, но все-таки обезпеченный и независимый, дядя Ерошка въ одно и то-же время свободенъ и отъ гнета нищеты, и отъ того, что Глѣбъ Успенскій назвалъ «властью земли»: въ самомъ дѣлѣ, характерный душевный складъ русскаго мужика, обусловленный «властью земли», у дяди Ерошки не виденъ. Если ко всему этому прибавимъ еще принадлежность къ той части народа, которая крѣпостного права не знала, да къ тому-же проникнута духомъ старообрядческой независимости, а также — жизнь на окраинѣ въ постоянномъ общеніи съ разными инородцами,—то мы будемъ имѣть въ своемъ распоряженіи всю совокупность бытовыхъ условій, благопріятствующихъ образованію той разновидности народнаго духа, которая воплощена въ лицѣ стараго казака-охотника. Эти условія не составляютъ исключительной принадлежности казацкихъ станицъ на Кавказѣ и, съ разными варіяціями, повторяются и на другихъ окраинахъ. Дядю Ерошку мы, конечно, найдемъ — mutatis mutandis — и на сѣверѣ Россіи, и на востокѣ, въ Сибири. Передъ нами люди здоровые и сильные духомъ, здоровые и сильные какъ раса, сохранившіе чувство человѣческаго достоинства и — въ силу всѣхъ этихъ свойствъ, вмѣстѣ взятыхъ,—способные къ своеобразному развитію, умственному и нравственному. И непремѣнно среди нихъ окажется хоть одинъ независимый философъ, который, подобно дядѣ Ерошкѣ, сумѣетъ стряхнуть съ себя вѣковыя понятія и традиціонные взгляды на Божій міръ, на жизнь, на людскія дѣла—и взглянетъ на все это съ такой свободной и возвышенной точки зрѣнія, какъ дай Богъ иному заправскому мыслителю. Навѣрно въ какомъ-нибудь Тарбагатаѣ, кромѣ зажиточности, крѣпкихъ избъ и тучнаго скота, есть еще и свой дядя Ерошка, который говоритъ: «гдѣ грѣхъ? въ чемъ грѣхъ? любить грѣхъ?» и проповѣдуетъ, что татаринъ-ли, русскій-ли — все едино, всѣ въ себѣ душу имѣютъ и что всѣхъ нужно жалѣть, не исключая и звѣрей. За освобожденіемъ духа человѣческаго въ его цѣломъ ото всего, что угнетаетъ и искажаетъ его, идетъ послѣдовательно освобожденіе въ немъ самомъ его лучшихъ и высшихъ сторонъ,

человѣчной мысли и человѣчныхъ чувствъ, отъ подавляющихъ ихъ низшихъ и эгоистическихъ влеченій. Энергія и независимость мысли и гуманность чувства—это положительная душевная сила, и она можетъ проявиться только тамъ, гдѣ вообще развитіе духа человѣческаго идетъ въ направленіи силы, а не безсилія, гдѣ—помимо мысли и чувства — вырабатываются характеры, хотя-бы и грубые, но въ которыхъ нѣтъ и тѣни дряблости, гдѣ слагаются нравы, хотя-бы и жестокіе, но не приниженные. Пусть дядя Ерошка въ своемъ родѣ отщепенецъ и, по своему душевному складу, личность оригинальная, а не вѣрный представитель своей среды, но онъ психологически возможенъ и даже необходимъ въ этой средѣ,—ибо это среда не дряблая, не оскудѣлая духомъ, и въ ней есть такіе молодцы, какъ Лукашка-джигитъ, и такія сильныя и гордыя женскія натуры, какъ Маріанка.

Эти два образа представляютъ собою художественное выраженіе тѣхъ наблюденій надъ бытомъ и нравами казаковъ, которыя кратко и не въ художественной формѣ резюмированы въ гл. IV-ой. Тамъ между прочимъ читаемъ: «Живя между чеченцами, казаки переродились съ ними и усвоили себѣ обычаи, образъ жизни и нравы горцевъ; но удержали и тамъ, во всей прежней чистотѣ, русскій языкъ и старую вѣру... Еще до сихъ поръ казацкіе роды считаются родствомъ съ чеченскими, и любовь къ свободѣ, праздности, грабежу и войнѣ составляетъ главныя черты ихъ характера... Казакъ, по влеченію, менѣе ненавидитъ джигита-горца, который убилъ его брата, чѣмъ солдата, который стоитъ у него, чтобы защищать его станицу, но который закурилъ табакомъ его хату. Онъ уважаетъ врага-горца, но презираетъ чужого для него и угнетателя солдата. Собственно русскій мужикъ для казака есть какое-то чуждое, дикое и презрѣнное существо, котораго обращикъ онъ видалъ въ заходящихъ торгашахъ и переселенцахъ малороссіянахъ, которыхъ казаки презрительно называютъ шаповалами. Щегольство въ одеждѣ состоитъ въ подражаніи черкесу... Молодецъ казакъ щеголяетъ знаніемъ татарскаго языка и, разгулявшись, даже съ своимъ братомъ говоритъ по-татарски. Несмотря на то, этотъ христіанскій народецъ, закинутый въ уголокъ земли, окруженный полудикими магометанскими племенами и солдатами, считаетъ себя на высокой степени развитія и признаетъ человѣкомъ только одного казака, на все-же остальное смотритъ съ презрѣніемъ». Вотъ эти-то наблюденія и повторены въ художественной формѣ—въ

образѣ Лукашки, который поэтому и долженъ быть признанъ созданіемъ чисто объективнаго творчества. Этотъ образъ, по способу исполненія, отличается такою-же пластичностью и скульптурностью, какъ и фигура Маріанки. «Лукашка—читаемъ въ гл. VI-ой—былъ высокій, красивый малый, лѣтъ двадцати... Лицо и все сложеніе его, несмотря на угловатость молодости, выражали большую физическую и нравственную силу... По широкому выраженію его лица и спокойной увѣренности позы, видно было, что онъ уже успѣлъ принять свойственную казакамъ воинственную и нѣсколько гордую осанку, что онъ казакъ и знаетъ себѣ цѣну не ниже настоящей.—Порознь черты лица его были не хороши, но, взглянувъ сразу на его статное сложеніе, чернобровое, умное лицо, всякій невольно сказалъ-бы: «молодецъ малый!» Во всѣхъ сценахъ, гдѣ онъ появляется, онъ представленъ такъ, что мы въ одно и то же время и любуемся его молодецкой типично-казацкой фигурой, и ясно видимъ его несложный, но посвоему значительный внутренній міръ. Этотъ эффектъ достигается строгимъ выборомъ и экономіей художественныхъ пріемовъ: Лукашка появляется только тогда, когда это необходимо, говоритъ только то, что въ самомъ дѣлѣ нужно сказать, и самъ авторъ, занятый преимущественно Оленинымъ, говоритъ намъ очень мало о молодомъ казакѣ; онъ вообще мало о немъ заботится и предоставляетъ ему самому показать себя въ настоящемъ свѣтѣ. И Лукашка себя въ самомъ дѣлѣ показываетъ: въ выслѣживаніи абрековъ, дома—въ станицѣ, когда онъ кутитъ, балагуритъ съ дѣвками, на свиданіи съ Маріанкой, въ разговорахъ съ Оленинымъ—вездѣ онъ все тотъ-же молодецъ-джигитъ, натура непосредственная, типичный казакъ. Повидимому, онъ очень любитъ Маріанку, но эта любовь не играетъ большой роли въ его душевномъ обиходѣ и совершенно лишена всякой романтической окраски. Онъ любитъ сдержанно и сурово. Такъ-же точно сурова и сдержана любовь Маріанки къ нему. Въ своихъ отношеніяхъ другъ къ другу оба они обнаруживаютъ незаурядный закалъ душевный. Они ревнуютъ другъ друга, но это ревность самолюбивая, гордая и угрюмая,—у него она обходится безъ той массы мелкихъ мужскихъ чувствъ, съ которыми она неразлучна такъ часто,—у нея — безъ той слезливой и злой нервности, какая такъ характерна для многихъ женщинъ.

Въ основѣ превосходнаго образа Марьянки были положены тѣ наблюденія надъ гребенскими женщинами, которыя кратко

намѣчены въ гл. IV-ой. «Казакъ (читаемъ тамъ), который при постороннихъ считаетъ неприличнымъ ласково или праздно говорить съ своей бабой, невольно чувствуетъ ея превосходство, оставаясь съ ней съ глазу на глазъ. Весь домъ, все хозяйство пріобрѣтено ею и держится только ея трудами и заботами... Постоянный мужской, тяжелый трудъ и заботы, переданныя ей на руки, дали особенно самостоятельный, мужественный характеръ гребенской женщинѣ и поразительно развили въ ней физическую силу, здравый смыслъ, рѣшительность и стойкость характера. Женщины большею частью и сильнѣе, и умнѣе, и развитѣе, и красивѣе казаковъ. Красота гребенской женщины особенно поразительна соединеніемъ самаго чистаго типа черкесскаго лица съ широкимъ и могучимъ сложеніемъ сѣверной женщины».

Эти наблюденія повторены въ художественномъ образѣ Марьянки, написанномъ совершенно такъ, какъ написанъ Лукашка,— съ тою-же экономіей художественныхъ пріемовъ и тою-же авторскою сдержанностью.

Прослѣдите всѣ важнѣйшія сцены, гдѣ она является,—и вы увидите и поймете ее какъ разъ такъ, какъ вы видите и понимаете Лукашку. Вы любуетесь ея величавой, породистой красотою, какъ любуетесь молодецкою фигурой ея возлюбленнаго. Вы чувствуете, что подъ этой внѣшностью скрывается душевный закалъ, пожалуй, посильнѣе того, который вы видѣли въ молодомъ казакѣ. Вскорѣ вамъ становится ясно, что, при всей своей непосредственности, Марьяна—натура посвоему глубокая, сильная, безусловно-цѣломудренная. И въ галлереѣ женскихъ типовъ Толстого вы отведете ей одно изъ первыхъ мѣстъ—не только по мастерству исполненія, какъ художественному образу, но и по существу, какъ женскому характеру, какъ личности.

Созерцая эти типичныя фигуры и черезъ нихъ ту среду, лучшія и характерныя стороны которой онѣ воспроизводятъ, вы новольно скажите себѣ: да, это крѣпкая, славная раса, это— народъ, здоровый тѣломъ и духомъ, — и онъ не выродится, не пропадетъ. Пусть эти люди невѣжественны и не пріобщены къ высшей цивилизаціи, пусть мысль ихъ дремлетъ, и высшимъ гуманнымъ чувствамъ нѣтъ у нихъ развитія, если не считать отдѣльныхъ и, конечно, рѣдкихъ явленій въ родѣ дяди Ерошки,— пусть это такъ, но у нихъ есть то, безъ чего сама цивилизація не имѣетъ ни цѣны, ни смысла, а мысль и гуманность не-

возможны: у нихъ есть своя гордость и сознаніе своего человѣческаго достоинства.

Смѣлая, глубокая мысль и широкое гуманное чувство всегда и вездѣ—удѣлъ избранныхъ. Сознаніе своего человѣческаго достоинства должно быть принадлежностью всѣхъ и каждаго. Народъ, у котораго оно есть, не выродится, не захирѣетъ,—все прочее, чего недостаетъ ему,—въ свое время приложится.

Народные типы въ «Казакахъ» не принадлежатъ къ числу очень широкихъ художественныхъ обобщеній: это типы мѣстные, этнографическіе. Въ этомъ отношеніи ихъ нужно поставить на одну доску съ типами великорусскихъ крестьянъ у Тургенева (въ «Запискахъ охотника»), у Писемскаго, у Глѣба Успенскаго: все это художественные образы, имѣющіе цѣнность почти ученаго этнографическаго и бытового изслѣдованія. Но Толстой, въ своихъ стремленіяхъ проникнуть въ самую глубь народнаго духа, пошелъ дальше и—создалъ геніальный образъ мужичка и солдатика Платона Каратаева, воплотивъ въ немъ уже не мѣстно-этнографическія, а общенародныя, великорусскія національныя черты,—въ общемъ или, лучше, въ своей сущности, тѣ самыя, которыя въ иномъ обличьѣ воспроизведены имъ въ исторической фигурѣ Кутузова.

ГЛАВА IV.

Типы національные. Каратаевъ.

Въ ряду типовъ, созданныхъ Толстымъ, Платону Каратаеву и Кутузову принадлежитъ совсѣмъ особое мѣсто. Можно сказать даже, что вообще въ русской художественной литературѣ это образы исключительные, единственные въ своемъ родѣ. Не только по необычайному мастерству исполненія, но, что гораздо важнѣе, по оригинальности замысла и своеобразной значительности воплощенной въ нихъ идеи, эти двѣ фигуры рѣзко выдѣляются изъ массы образовъ, ихъ окружающихъ, и, невзирая на то, что въ самой фабулѣ эпопеи ихъ роль не велика, выступаютъ въ сознаніи читателя на первый планъ. Безъ Каратаева и Кутузова великая эпопея «Войны и Мира» не была бы тѣмъ, чѣмъ она по праву является,—великимъ законченнымъ національнымъ памятникомъ,—она-бы не была нашей Иліадой и Одиссеей.

Предстоящая намъ задача сводится къ тому чтобы разсмотрѣть эти два образа со стороны вложеннаго въ нихъ психологическаго содержанія и раскрыть ту идею, представленіемъ которой служитъ это содержаніе.

Начнемъ съ Каратаева.

Перечитаемъ тѣ мѣста, гдѣ онъ выведенъ (томъ IV, часть I, главы XII и XIII; ч. II, гл. XI; ч. III, гл. XIII и XIV), и постараемся отдать себѣ отчетъ въ нашихъ впечатлѣніяхъ.

Изъ ряда этихъ впечатлѣній совершенно отчетливо выдѣляется то, что принято называть «эстетической эмоціей»: мы ясно ощущаемъ своеобразное возбужденіе мысли и чувства, вызванное самимъ художественнымъ образомъ, какъ онъ есть, независимо отъ сюжета, отъ исторіи и судьбы выведеннаго лица. Каратаевъ дѣйствуетъ на насъ такъ «эмоціонально» потому только, что онъ—Каратаевъ, а не оттого, что онъ въ плѣну, страдаетъ, что его убиваютъ. Въ ряду художественныхъ образовъ есть не мало такихъ, при воспріятіи которыхъ не легко сразу раздѣлить эти два источника эмоціи. Каратаевъ принадлежитъ къ числу тѣхъ, по отношенію къ которымъ, напротивъ, очень легко это сдѣлать. Читая напр., описаніе смерти Каратаева (томъ IV, часть III, гл. XIV), мы не испытываемъ большого чувства жалости: оно подавлено, какъ-бы нейтрализовано сильной эстетической эмоціей, производимой самой фигурой Каратаева.

Это эстетическое чувство незамѣтно подкралось къ намъ въ тотъ моментъ, когда мы читали въ главѣ XII-ой I-ой части IV-го тома сцену знакомства Пьера Безухова съ Каратаевымъ. Фигура маленькаго солдатика, который пожалѣлъ и утѣшилъ Пьера, тронула насъ какимъ-то особеннымъ, необычнымъ образомъ. Сперва намъ почудилось, что это было то-же самое чувство, которое испыталъ Пьеръ: «такое выраженіе ласки и простоты было въ пѣвучемъ голосѣ человѣка, что Пьеръ хотѣлъ отвѣчать, но у него задрожала челюсть, и онъ почувствовалъ слезы». Но уже слѣдующая страница заставила насъ отвлечься отъ этой мысли, забыть эту трогательность состраданія и участія, проявленнаго Каратаевымъ, и сосредоточить вниманіе на другихъ чертахъ образа. Во-первыхъ, мы сейчасъ-же узнали, что Каратаевъ жалѣетъ Пьера такъ-же, какъ жалѣетъ онъ собаку: «Ишь шельма, пришла!—услыхалъ Пьеръ въ концѣ балагана тотъ-же ласковый голосъ...»—Во-вторыхъ, тутъ-же, на

той-же и слѣдующихъ страницахъ, мы убѣдились въ томъ, что передъ нами натура совершенно непосредственная, въ которой доброта, состраданіе и т. д.—не добродѣтели, не сознательныя проявленія души, а какъ-бы родъ врожденнаго психическаго темперамента,—черты, аналогичныя такимъ физіологическимъ признакамъ личности, какъ, напр., ростъ, цвѣтъ глазъ, тембръ голоса и т. д. Это—не заслуги, не преимущества, а свойства. Доброта Каратаева, если можно такъ выразиться, не въ «сердцѣ» его, а въ его пѣвучемъ голосѣ, «круглыхъ» и «спорыхъ» движеніяхъ, во всей повадкѣ его. Это открытіе устранило то трогательное чувство, которое минутой раньше мы испытали вмѣстѣ съ Пьеромъ, но ничуть не ослабило силы художественной эмоціи, вызванной въ насъ фигурой Каратаева. Напротивъ, эта эмоція еще увеличивается, нашъ художественный интересъ къ образу еще возростаетъ, когда ниже, въ главѣ XIII-ой, мы узнаемъ, что «привязанностей, дружбы, любви, какъ понималъ ихъ Пьеръ, Каратаевъ не имѣлъ никакихъ, но онъ любилъ и любовью жилъ со всѣмъ, съ чѣмъ его сводила жизнь, и въ особенности съ человѣкомъ,—не съ извѣстнымъ какимъ-нибудь человѣкомъ, а съ тѣми людьми, которые были передъ его глазами». Это какъ-бы природная экспансивность и общительность человѣка, нетронутаго индивидуализмомъ и рефлексіей, человѣка, взятаго не какъ личность, характеризующаяся своеобразнымъ содержаніемъ души, а только какъ «существо общественное». «Онъ любилъ (читаемъ мы тутъ-же) свою шавку, любилъ товарищей, французовъ, любилъ Пьера, который былъ его сосѣдомъ; но Пьеръ чувствовалъ, что Каратаевъ, несмотря на всю свою ласковую нѣжность къ нему (которою онъ невольно отдавалъ должное духовной жизни Пьера), ни на минуту не огорчился-бы разлукой съ нимъ. И Пьеръ то же чувство начиналъ испытывать къ Каратаеву».

Каратаевъ инстинктивно отдаетъ дань духовной жизни Пьера, потому что у него самого духовной жизни нѣтъ въ смыслѣ положительнаго содержанія его «я» и вся она безъ остатка сливается у него съ формою личности.

Здѣсь нелишними будутъ нѣсколько словъ—въ поясненіе этихъ понятій психологической формы и психологическаго содержанія.

Анализируя нашъ внутренній міръ, мы легко отмѣтимъ тѣ психическія явленія, которыя въ теченіе всей нашей жизни пред-

ставляются, въ своихъ основныхъ чертахъ, стойкими, относительно неизмѣнными, между тѣмъ какъ другія постоянно измѣняются, чередуются, появляются, исчезаютъ. Первыя могутъ быть названы постоянной психической величиной, а вторыя—перемѣнной. Эти термины не должны быть понимаемы буквально, и нельзя признавать ихъ вполнѣ точными, потому что, строго говоря, въ душѣ человѣческой нѣтъ ничего неизмѣннаго, въ ней все—въ вѣчномъ движеніи. Но извѣстныя психическія явленія измѣняются чрезвычайно медленно, по каплямъ, и эти измѣненія едва доступны сознанію самого субъекта или наблюденію извнѣ. Есть и такія измѣненія, которыя совсѣмъ не сознаются и не подлежатъ никакому наблюденію въ то время, когда они происходятъ, и только ученое изслѣдованіе результатовъ, ими произведенныхъ, удостовѣряетъ ихъ наличность. Къ числу чертъ, измѣненіе которыхъ замѣчается только по прошествіи многихъ лѣтъ, принадлежатъ напр., черты индивидуальнаго характера человѣка. Рѣзкая, быстрая перемѣна характера возможна только при извѣстныхъ душевныхъ заболѣваніяхъ (при такъ назыв. раздвоеніи личности). При душевномъ здоровьѣ характеръ остается, въ своихъ основныхъ чертахъ, относительно-неизмѣннымъ, т. е. тѣ перемѣны, которымъ онъ подвергается съ теченіемъ времени, или незамѣтны, или такъ не существенны, что мы считаемъ ихъ равными нулю. Признаки національные, также сословные, входящіе въ составъ личности, измѣняются въ индивидуумахъ совершенно незамѣтно и нечувствительно, какъ для сознанія самого субъекта, такъ и для наблюденія со стороны, и только черезъ нѣсколько поколѣній могутъ проявиться такія перемѣны въ этихъ областяхъ психики, которыя убѣждаютъ насъ въ томъ, что движеніе въ данномъ направленіи непрерывно шло въ скрытомъ видѣ.—Вотъ именно всѣ такія психическія черты, условно и неточно называемыя величинами постоянными или представляющіяся намъ таковыми, и образуютъ психологическую форму личности. Въ эту форму жизнь личности вкладываетъ постоянно, какъ-бы калейдоскопически измѣняющееся содержаніе мыслей, чувствъ, страстей, волевыхъ актовъ.

Съ возрастомъ, образованіемъ, развитіемъ ума, опытомъ жизни, подъ воздѣйствіемъ среды, профессіи и т. д., это содержаніе измѣняется количественно и качественно, и вся совокупность процессовъ, изъ которыхъ оно слагается, образуетъ духовную жизнь личности, ея индивидуальную психическую

исторію. Эта жизнь можетъ быть болѣе или менѣе интенсивна, эта исторія можетъ быть болѣе или менѣе богата внутренними, психическими событіями. Сущность процесса сводится здѣсь къ видимой или ощущаемой, сознаваемой перемѣнѣ содержанія при неощущаемомъ, невидимомъ, несознаваемомъ измѣненіи формы. Такъ Пьеръ Безуховъ въ эпоху кутежей и буйствъ, по своему душевному содержанію, былъ не тотъ, какимъ онъ сталъ напр. въ періодъ увлеченія масонствомъ, но, съ точки зрѣнія формы, это былъ и тогда, и потомъ все тотъже Пьеръ, потому что, если и произошли какія-нибудь измѣненія въ его характерѣ, то они были совершенно незамѣтны. Во всѣ эпохи своей жизни Пьеръ является все тѣмъ-же чудаковатымъ и благодушнымъ Пьеромъ, съ умомъ, склоннымъ къ рефлексіи, съ тѣмъ же характеромъ и темпераментомъ. Теперь представимъ себѣ такой случай: человѣкъ переживаетъ довольно разнообразную внѣшнюю исторію, а между тѣмъ его внутренній міръ представляется вамъ почти неизмѣннымъ; самое содержаніе его души въ 50 лѣтъ осталось тѣмъ-же, какимъ было оно въ 20 лѣтъ. Въ такомъ человѣкѣ вы не усмотрите величинъ перемѣнныхъ, вамъ будетъ казаться, что вся его психика состоитъ изъ однѣхъ постоянныхъ величинъ,—и вы скажете, что онъ—одна психологическая форма—безъ содержанія. Оставляя въ сторонѣ исключительные случаи этого рода и имѣя въ виду только средняго нормальнаго человѣка, мы скажемъ, что въ дѣйствительности такихъ людей безъ содержанія и съ одной формою—нѣтъ, но возможны различныя степени приближенія къ подобному укладу духа. И, конечно, мы въ правѣ, для тѣхъ или другихъ цѣлей, напр. научныхъ или художественныхъ, представить себѣ идеальный случай этого рода. Вообразимъ себѣ внутреннюю, душевную исторію человѣка какъ-бы пріостановленною; допустимъ, что если въ положительномъ содержаніи его мыслей, чувствъ, волевыхъ актовъ и совершаются нѣкоторыя перемѣны, то онѣ совершенно ничтожны; примемъ ихъ равными нулю; согласимся признать его душевное содержаніе величиной постоянной. Тогда мы уже не будемъ въ состояніи отличать его отъ формы,—въ нашихъ глазахъ оно сольется съ формою. Такой опытъ и сдѣлалъ Толстой, создавъ образъ Каратаева.

Вотъ и постараемся разсмотрѣть тѣ психическія черты, изъ которыхъ слагается формальная личность Каратаева. Для удобства анализа и большей ясности изложенія мы будемъ выдѣлять

эти черты одну за другою, чтобы, уяснивъ себѣ ихъ природу, впослѣдствіи перейти отъ ихъ анализа къ ихъ синтезу.

Сперва бросается въ глаза та черта, которую можно назвать формальною общежительностью (sociabilité), натуральнымъ альтруизмомъ, естественнымъ чувствомъ (пожалуй, инстинктомъ) общественности. Въ слѣдующемъ мѣстѣ главы XIII-ой (I-ой части IV-го тома) эта черта воспроизведена въ такихъ выраженіяхъ, что мы невольно вспоминаемъ общественныхъ животныхъ, напр. муравья, или пчелу: «...каждое дѣйствіе его было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее, не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь: она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». Эти слова можно было-бы отнести напр. къ муравью, еслибы ими исчерпывалось опредѣленіе общежительности Каратаева, еслибы мы не знали, какъ далеко простирается она, переходя за предѣлы сословія, національности, религіи, государства, — вообще всего, что дробитъ людей. Жизнь муравья имѣетъ смыслъ только какъ частица жизни того муравейника, къ которому принадлежитъ данная особь. Жизнь пчелы имѣетъ смыслъ только какъ часть общей жизни ея улья. Еслибы Каратаевъ чувствовалъ, что его жизнь имѣетъ смыслъ только какъ частица общей жизни его семьи или деревни,—въ такомъ случаѣ онъ уподобился-бы муравью, пчелѣ и т. д. Но этого-то ограниченія и нѣтъ,—и его отсутствіе и придаетъ такую значительность и такой интересъ фигурѣ Каратаева. Представимъ себѣ муравья, который вдругъ почувствовалъ-бы, что его жизнь есть частица жизни всей совокупности муравьевъ, живущихъ на всемъ земномъ шарѣ: такой муравей былъ-бы муравьинымъ Каратаевымъ.

Имѣя въ виду пока только эту сторону натуры Каратаева, мы опредѣлимъ его такъ: это прежде всего — такой русскій мужичекъ, въ которомъ вѣковѣчные «мірскіе», общежительные инстинкты расширены до послѣднихъ предѣловъ и объемлютъ все человѣчество, безъ различія сословія, національности, вѣры и т. д.

Существуютъ-ли такіе русскіе мужики въ дѣйствительности,—это ужъ другой вопросъ, на который не берусь дать отвѣта. Но для меня не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію, что въ искусствѣ такой образъ не только возможенъ, но и глубоко-правдивъ. Каратаева въ дѣйствительности можетъ и не быть, но каратаевскія черты несомнѣнно существуютъ въ рус-

ской народно-національной психологіи. Обращаясь къ народно-національной сторонѣ Каратаева, мы, для удобства, разсмотримъ сперва то, что есть въ Каратаевѣ специфически народнаго, крестьянскаго, а потомъ обратимся къ опредѣленію національнаго элемента въ немъ.

Въ основѣ психики Каратаева лежатъ типичныя черты народной, крестьянской психологіи. Долгая служба въ солдатахъ не исказила этихъ чертъ, не нарушила ни на іоту того душевнаго строя, который слагается изъ ихъ совокупности. Солдатъ по службѣ, Каратаевъ психологически совсѣмъ не солдатъ. Онъ— русскій мужикъ, крестьянинъ. «Онъ неохотно говорилъ про свое солдатское время... Когда онъ разсказывалъ, то преимущественно изъ своихъ старыхъ и дорогихъ ему воспоминаній «христіанскаго», какъ онъ выговаривалъ, крестьянскаго быта. Поговорки, которыя наполняли его рѣчь, не были тѣ, большею частью неприличныя и бойкія поговорки, которыя говорятъ солдаты, но это были тѣ народныя изреченія, которыя кажутся столь незначительными, взятыя отдѣльно, и которыя получаютъ вдругъ значеніе глубокой мудрости, когда они сказаны кстати».—«Попавъ въ плѣнъ, обросши бородою, онъ видимо отбросилъ отъ себя все напущенное на него, солдатское, и невольно возвратился къ прежнему крестьянскому, народному складу». (Тотъ IV, ч. I, гл. XIII). Эта крестьянско-народная основа прекрасно иллюстрирована въ предыдущей главѣ, XII-ой, разсказомъ Каратаева о его прошломъ, о родителяхъ, братьяхъ, о томъ, какъ хорошо они жили, какъ потомъ его взяли въ солдаты и т. д. Выдѣляя эту сторону, мы прежде всего отмѣтимъ въ ней то, что Толстой называетъ «благообразіемъ» душевнаго склада Каратаева. Въ той-же главѣ XIII-ой читаемъ: «...главная прелесть его разсказовъ состояла въ томъ, что въ его рѣчи событія самыя простыя получали характеръ торжественнаго благообразія. Онъ любилъ слушать сказки... но больше всего любилъ слушать разсказы о настоящей жизни. Онъ радостно улыбался, слушая такіе разсказы, вставляя слова и дѣлая вопросы, клонившіеся къ тому, чтобы уяснить себѣ благообразіе того, что ему разсказывали».—Только-что упомянутый разсказъ самого Каратаева (въ гл. XII-ой) является обращикомъ этой душевной черты. Онъ между прочимъ вспоминаетъ, какъ за порубку въ чужой рощѣ его били, судили и отдали въ солдаты. Оказалось, что все это — къ лучшему («думали,—горе,—анъ радость!»): дѣло въ томъ, что иначе приш-

лось-бы идти въ солдаты его брату, Михайлѣ, у котораго «самъ-пятъ ребятъ», между тѣмъ какъ у Платона только «солдатка осталась». И когда потомъ Платонъ пришелъ домой, «на побывку», онъ увидѣлъ, что семья живетъ лучше прежняго («животовъ полонъ дворъ»). И сказалъ отецъ: «мнѣ, говоритъ, всѣ дѣтки равны; какой палецъ ни укуси—все больно. А кабы не Платона тогда забрили, Михайлѣ-бы итти». И позвалъ всю семью, бабу, дѣтей, внучатъ,—и всѣмъ велѣлъ поклониться Платону въ ноги.— Это—цѣлая притча, въ которой есть что-то евангельское. И благообразіе отношеній, въ ней обнаруженное, роднится съ тѣмъ духомъ любви, простоты и правды, идеалъ котораго впослѣдствіи Толстой будетъ искать на почвѣ синтеза начала народно-крестьянскаго съ евангельскимъ. Предвареніемъ этого синтеза или намекомъ на него является между прочимъ смѣшеніе Каратаевымъ понятій «крестьянскаго» и «христіанскаго». То, что Каратаевъ безсознательно смѣшиваетъ, Толстой соединяетъ сознательно, и впослѣдствіи это послужитъ ему исходной точкою въ его исканіяхъ идеала высшей нравственной правды.

Теперь спрашивается: составляетъ ли душевное благообразіе, основанное на указанномъ сочетаніи крестьянскаго съ евангельскимъ, личную (индивидуальную) особенность Каратаева?

На этотъ вопросъ мы должны отвѣтить рѣшительнымъ «нѣтъ». Прежде всего очевидно, что у Каратаева это черта фамильная. Таковъ же его отецъ, братъ Михайло,—въ большей или меньшей мѣрѣ такова вся семья Каратаевыхъ. Это ясно изъ «притчи». Но можно пойти и дальше. Можно утверждать, что семья Каратаевыхъ представлена Толстымъ какъ идеально-типичный обращикъ крестьянской психологіи вообще, въ которой Толстой усматриваетъ черты того душевнаго благообразія, о которомъ идетъ рѣчь. Въ одной семьѣ онѣ выступаютъ ярче, въ другой слабѣе, но онѣ коренятся—по невыраженной, но ясно-сквозящей мысли Толстого—въ самыхъ основахъ стараго, патріархальнаго быта, въ устояхъ народной жизни, въ «мірскомъ» и трудовомъ началѣ, въ наивномъ міросозерцаніи народа, интуитивно овладѣвшаго высшей правдой, раньше и лучше мудрыхъ и ученыхъ, какъ въ свое время овладѣли ею простые галилейскіе рыбаки.

Платонъ Каратаевъ — только представитель этой стороны народнаго духа. Въ немъ эти черты, не его личныя, а крестьянскіе, собраны, сконцентрированы, увеличены, показаны подъ

микроскопомъ,—и Толстой, можно сказать, прилагаетъ особыя старанія, чтобы въ Платонѣ Каратаевѣ не оказалось ничего лично ему принадлежащаго, ничего индивидуально-оригинальнаго, чтобы все, до послѣднихъ мелочей, было въ немъ народнымъ и крестьянскимъ. Сюда относится, напр., намекъ на то, что порубку чужой рощи Каратаевъ признаетъ грѣхомъ, очевидно, чисто-формальнымъ, и что вмѣстѣ съ народомъ онъ по стародавнему смотритъ на лѣсъ какъ на общую, народную собственность, и сама по себѣ порубка въ его глазахъ не составляетъ пятна на общемъ фонѣ благообразія.

Черты народной психологіи, на которыя мы до сихъ поръ указали, въ общемъ, за вычетомъ подробностей, не представляютъ собою явленія спеціально-русскаго и могутъ быть найдены—mutatis mutandis—и у другихъ націй. Художники разныхъ національностей нерѣдко открывали въ своемъ народѣ черты, родственныя духу Евангелія. Я припоминаю у одного изъ самыхъ большихъ художниковъ XIX вѣка, у Мопассана, чудный разсказъ (Le papa à Simon), производящій впечатлѣніе настоящей евангельской притчи,—разсказъ, гдѣ простые, грубые на видъ кузнецы являются носителями глубокаго, тонкаго, христіански-гуманнаго чувства любви и правды. Не одинъ Толстой открывалъ въ своемъ народѣ евангельское. Великое историческое и общечеловѣческое значеніе Евангелія на томъ и основано, что въ каждомъ народѣ есть нѣчто ему сродни. Если бы въ Платонѣ Каратаевѣ не было, кромѣ этой черты (сочетанія мужицкаго съ евангельскимъ), еще и другихъ важныхъ чертъ, на которые укажемъ ниже, то онъ былъ бы очень широкимъ общечеловѣческимъ типомъ, объемлющимъ соотвѣтстенныя стороны духа у разныхъ народовъ. Онъ былъ бы во всемірной литературѣ тѣмъ, чѣмъ, по словамъ Толстого, онъ былъ и навсегда остался для Пьера Безухова, — «вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (гл. XIII). На самомъ дѣлѣ, однако, этого нѣтъ. Толстой, повинуясь какому-то категорическому императиву своего генія, и на этотъ разъ съузилъ образъ, сдѣлавъ Каратаева типомъ спеціально-русскимъ, національнымъ.

Каратаевъ не просто представитель народной, крестьянской психологіи, которая у разныхъ націй имѣетъ много общаго, не только типъ нищихъ духомъ и чистыхъ сердцемъ, — онъ въ то же время вѣрный и яркій выразитель русской національной психологіи, въ силу чего тотъ «духъ простоты и правды»,

котораго олицетвореніемъ онъ служитъ, получаетъ своеобразное значеніе и особую психологическую постановку.

Обращаясь къ этой сторонѣ Каратаева, я сперва укажу на двѣ черты, которыя, взятыя отдѣльно и внѣ связи съ другими признаками русской національной психологіи, найдутся и у другихъ народовъ, хотя бы и въ иномъ видѣ; только ихъ совмѣщеніе и своеобразное сочетаніе составляютъ черту специфически-русскую. Я имѣю въ виду нашъ умѣренный (сравнительно съ восточнымъ, азіятскимъ) фатализмъ и нашъ неумѣренный (сравнительно съ западо-европейскимъ) оптимизмъ.

Едвали найдется въ русской литературѣ другой образъ, къ которому было бы такъ примѣнимо извѣстное понятіе о русскомъ смиреніи, какъ повидимому примѣнимо оно, во всемъ его объемѣ, къ Каратаеву. Любопытно, что самъ Толстой этого термина не употребляетъ. Онъ выражается иначе, называя Каратаева «олицетвореніемъ всего русскаго добраго и круглаго» и «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (т. IV, ч. I, гл, XIII). Эти термины, конечно, не случайно подвернулись,—они явились точнымъ выраженіемъ мысли Толстого. Своими опредѣленіями и метафорами («непостижимый», «вѣчный», «круглый») Толстой даетъ намъ поэтическіе намеки на то, какъ самъ онъ понимаетъ Каратаева и какая идея воплощена имъ въ этомъ образѣ. Нельзя отрицать, конечно, что въ Каратаевѣ представленъ такой укладъ духа, который весьма возможно назвать «смиреніемъ», понимаемымъ, какъ русская національная и историческая черта. Но возникаетъ вопросъ: что же оно такое—это смиреніе? Какова его психологія, и нельзя-ли разложить его на другіе психическіе элементы? И почему, въ самомъ дѣлѣ, Толстой избѣгаетъ этого термина, повидимому, столь удобнаго, простого, напрашивающагося? [1]).

То, что въ Каратаевѣ можно было бы назвать смиреніемъ, легко разлагается на фатализмъ и своеобразный оптимизмъ. «Рокъ головы ищетъ», говоритъ Каратаевъ.—«А мы все судимъ: то

---

[1]) Покойный Н. Н. Страховъ, въ своихъ извѣстныхъ статьяхъ о «Войнѣ и Мирѣ», отправляясь отъ установленнаго Ап. Григорьевымъ понятія о простомъ и смирномъ типѣ въ противуположность блестящему и хищному, мимоходомъ разсматриваетъ и Каратаева съ этой точки зрѣнія, но не даетъ подробнаго анализа фигуры. То же самое нужно сказать о соотвѣтственныхъ замѣчаніяхъ о Каратаевѣ, покойнаго О. Ѳ. Миллера въ его лекціяхъ о Толстомъ.

Кутузова съ княземъ Андреемъ. Кутузовъ излагаетъ свою систему веденія войны, извѣстную издревле подъ именемъ кунктаторской: выжидать, оттягивать, отступать, брать изморомъ. «Взять крѣпость»—говоритъ онъ—«не трудно, трудно кампанію выиграть. А для этого не нужно штурмовать и аттаковать, а нужно терпѣніе и время... Вѣрь, голубчикъ: нѣтъ сильнѣе тѣхъ двухъ воиновъ, терпѣніе и время; тѣ все сдѣлаютъ, да совѣтчики этимъ ухомъ не слышатъ, вотъ что плохо! Одни хотятъ, другіе не хотятъ. Что-жъ дѣлать? — спросилъ онъ, видимо ожидая отвѣта.—Да, что ты велишь дѣлать? — повторилъ онъ, и глаза его блестѣли глубокимъ, умнымъ выраженіемъ. Я тебѣ скажу, что дѣлать, и что я дѣлаю. Въ нерѣшительности, мой милый»,—онъ помолчалъ,—«воздерживайся», — выговорилъ онъ съ разстановкой эту французскую пословицу».—И вотъ какое впечатлѣніе вынесъ умный и серьезный князь Андрей изъ этой бесѣды,—вотъ какую оцѣнку Кутузова даетъ онъ: «у него не будетъ ничего своего. Онъ ничего не придумаетъ, ничего не предприметъ,—но онъ все выслушаетъ, все запомнитъ, все поставитъ на свое мѣсто, ничему полезному не помѣшаетъ и ничего вреднаго не позволитъ. Онъ понимаетъ, что есть что-то сильнѣе и значительнѣе его воли, — это неизбѣжный ходъ событій,—и онъ умѣетъ видѣть ихъ, умѣетъ понимать ихъ значеніе, и въ виду этого значенія умѣетъ отрекаться отъ участья въ этихъ событіяхъ, отъ своей личной воли, направленной на другое...»

Здѣсь передъ нами рисуется идеалъ историческаго дѣятеля, подобнаго тому мудрому врачу, который безъ толку не пичкаетъ больного лѣкарствами и не дѣлаетъ ему ненужныхъ операцій, а только слѣдитъ за естественнымъ теченіемъ болѣзни, устраняя вредное и не мѣшая полезному,—вообще ограничивая свою дѣятельность врача посильнымъ содѣйствіемъ природной сопротивляемости организма, такъ называемой vis medicatrix naturae. Таково, какъ извѣстно, отношеніе Л. Н. Толстого къ медицинѣ,—таково-же его воззрѣніе на роль историческихъ дѣятелей. Его-же приписываетъ онъ и Кутузову. Вотъ именно въ этомъ-то воззрѣніи и нельзя не видѣть метаморфозу той національной черты, которую въ предыдущей главѣ мы отмѣтили въ Каратаевѣ, назвавъ ее «фаталистическимъ укладомъ воли», основаннымъ на преобладаніи пассивности надъ активностью, на слабомъ развитіи духа иниціативы.

Въ Кутузовѣ, какъ онъ изображенъ Толстымъ, мы видимъ наглядный примѣръ того, какъ извѣстныя національныя черты, сами по себѣ, при нормальной постановкѣ, при отсутствіи патологическаго развитія, ни хорошія, ни дурныя и образующія только форму, въ которую можетъ быть вложено что угодно,—превращаются въ личныя качества человѣка, подлежащія уже (съ той или другой точки зрѣнія, напр. съ точки зрѣнія интересовъ того дѣла, которому служитъ данный человѣкъ) извѣстной квалификаціи,—какъ полезныя или вредныя, какъ хорошія или дурныя. У Кутузова, въ силу долгаго опыта жизни и войны, можетъ быть также подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ личныхъ особенностей характера или ума, національная волевая форма, которую онъ раздѣляетъ съ Каратаевымъ, превратилась въ положительное воззрѣніе на вещи, въ военную теорію, въ программу дѣятельности. И это воззрѣніе, эта теорія и программа уже подлежатъ критической оцѣнкѣ, а ихъ представитель — тому, что можно назвать «исторической отвѣтственностью». Толстой совершенно правъ, когда говоритъ о воззрѣніяхъ и руководящей идеѣ Кутузова, какъ о продуктѣ его «старости», его 60-лѣтней опытности, стало быть какъ о чемъ-то, ему лично принадлежащемъ. Но онъ правъ и въ томъ, что связываетъ эти воззрѣнія и эту руководящую идею съ русскимъ національнымъ духомъ и складомъ и не упускаетъ случая лишній разъ отмѣтить, что Кутузовъ—типичный русскій человѣкъ [1]), съ тою формальной «простотой и правдою», о которыхъ мы говорили выше, анализируя Каратаева. — Толстой правъ и въ томъ, и въ другомъ случаѣ потому именно, что въ самомъ дѣлѣ отличительная черта историческихъ лицъ, имѣющихъ національное значеніе, и состоитъ въ такомъ совмѣщеніи личнаго съ національнымъ,—въ превращеніи у нихъ формальныхъ элементовъ національной психики въ положительное содержаніе ихъ духа, — въ систему движущихъ ими идей и чувствъ, въ рядъ сознательныхъ волевыхъ актовъ.

Въ XXXV-ой главѣ II-й части III-го тома (Бородинское сраженіе) Кутузовъ представленъ «не дѣлающимъ никакихъ распоряженій, а только соглашающимся или несоглашающимся на то,

---

[1]) Напр. въ концѣ той-же XIV-й главы, изъ которой я привелъ послѣднія выдержки. «А главное—думалъ князь Андрей—почему вѣришь ему, это—то, что онъ русскій, несмотря на романъ Жанлисъ и французскія поговорки...»

что предлагали ему».—«Да, да, сдѣлайте это»,—«да, да, съѣзди, голубчикъ, посмотри!»—«Нѣтъ, не надо, лучше подождемъ»,— таковы его «распоряженія». Онъ опять въ роли врача у постели больного. И вотъ какъ поясняетъ здѣсь эту роль Толстой: «Долголѣтнимъ военнымъ опытомъ онъ зналъ и старческимъ умомъ понималъ, что руководить сотнями тысячъ человѣкъ, борющихся со смертью, нельзя одному человѣку, и зналъ, что рѣшаютъ участь сраженія не распоряженія главнокомандующаго, не мѣсто, на которымъ стоятъ войска, не количество пушекъ и убитыхъ людей, а та неуловимая сила, называемая духомъ войска, и онъ слѣдилъ за этою силою и руководилъ ею, насколько это было въ его власти». Описанныя въ той-же главѣ дѣйствія Кутузова наглядно иллюстрируютъ эту мысль.

Въ III-ей части того-же III-го тома, въ главѣ III-ей, важно изображеніе душевнаго состоянія Кутузова передъ рѣшеніемъ— отступить и оставить Москву непріятелю. Какъ ни былъ неизбѣженъ этотъ шагъ,—Кутузовъ не могъ не чувствовать сомнѣній и тяжелаго гнета отвѣтственности за послѣдствія. «Неужели это я допустилъ до Москвы Наполеона и когда-же это я сдѣлалъ?»— думалъ онъ. Тѣмъ не менѣе, силою вещей, пришлось отдать приказъ къ отступленію и оставить Москву Наполеону. «Отдать это страшное приказаніе казалось ему одно и то-же, что отказаться отъ командованія арміей. А мало того, что онъ любилъ власть, привыкъ къ ней..., онъ былъ убѣжденъ, что ему было предназначено спасеніе Россіи, и потому только, противъ воли государя и по волѣ народа, онъ былъ избранъ главнокомандующимъ. Онъ былъ убѣжденъ, что онъ одинъ въ этихъ трудныхъ условіяхъ могъ держаться во главѣ арміи, что онъ одинъ во всемъ мірѣ былъ въ состояніи безъ ужаса знать своимъ противникомъ непобѣдимаго Наполеона, и онъ ужасался мысли о томъ приказаніи, которое онъ долженъ былъ отдать». — Слѣдуетъ, въ гл. IV-ой, знаменитое описаніе военнаго совѣта въ Филяхъ. Это точно консиліумъ врачей у постели опасно-больного. Не всѣ врачи мудры. Есть между ними просто выскочки и интриганы. Есть тутъ уязвленныя самолюбія и разгоряченныя честолюбія. Есть и фальшивый патріотизмъ Бенигсена, и громкія фразы его-же о «священной и древней столицѣ Россіи», которую преступно было-бы отдать безъ боя. Но мудрый престарѣлый врачъ уже покончилъ со своими сомнѣніями и колебаніями. Онъ видитъ вещи въ ихъ настоящемъ свѣтѣ, и національное чувство, живое

въ немъ, подсказываетъ ему простое и вѣрное рѣшеніе вопроса. Онъ приказываетъ отступленіе.

Превосходно вырисовывается натура Кутузова, какъ она задумана Толстымъ, въ главѣ XVII-ой II-ой части IV-го тома. Здѣсь воспроизведенъ тотъ историческій моментъ, когда Кутузову впервые принесли вѣсть о бѣгствѣ Наполеона изъ Москвы. Эта вѣсть положила конецъ мучительнымъ сомнѣніямъ и тревожнымъ думамъ главнокомандующаго. Отступленіе французовъ, предвозвѣщавшее гибель великой арміи и освобожденіе Россіи, и было тѣмъ радостнымъ событіемъ, которое Кутузовъ предвидѣлъ, но скорому осуществленію котораго онъ не смѣлъ вѣрить. Въ ту ночь, когда ему доложили объ этомъ событіи, онъ не спалъ и все думалъ о положеніи вещей. «Терпѣніе и время— вотъ мои воины-богатыри!—думалъ онъ. Онъ зналъ, что не надо срывать яблоко, пока оно зелено... Онъ, какъ опытный охотникъ, зналъ, что звѣрь раненъ (Бородинское сраженіе)... но смертельно или нѣтъ,—это былъ еще неразъясненный вопросъ».—Вотъ именно объ этомъ-то неразъясненномъ вопросѣ и размышлялъ Кутузовъ, придумывая возможныя комбинаціи и крайности. «Вопросъ этотъ занималъ всѣ его душевныя силы. Все остальное было для него только привычнымъ исполненіемъ жизни. Такимъ привычнымъ исполненіемъ и подчиненіемъ жизни были его разговоры со штабными, письма къ m-me Stahl, которыя онъ писалъ изъ Тарутина, чтеніе романовъ, раздача наградъ, переписка съ Петербургомъ и т. д. Но погибель французовъ, предвидѣнная имъ однимъ, было его душевное, единственное желаніе». И вотъ, въ ночь 11-го октября, когда онъ былъ погруженъ въ эти думы, въ главный штабъ прискакалъ Болховитиновъ съ извѣстіемъ объ оставленіи Москвы французами. Когда Толь, приведшій къ нему вѣстника, сообщилъ вкратцѣ сущность извѣстія,—Кутузовъ спросилъ; «кто привезъ?»—и лицо старика «поразило Толя своею холодною суровостью». Ввели Болховитинова.—«Скажи, дружокъ,—сказалъ онъ Болховитинову своимъ тихимъ, старческимъ голосомъ...—Подойди, подойди поближе. Какія ты привезъ мнѣ вѣсточки, а? Наполеонъ изъ Москвы ушелъ? Воистину такъ, а? Говори, говори скорѣе, не томи душу».—торопилъ онъ его. «Болховитиновъ разсказалъ все и замолчалъ, ожидая приказанія. Толь началъ было говорить что-то, но Кутузовъ перебилъ его. Онъ хотѣлъ сказать что-то, но вдругъ лицо его сощурилось, сморщилось: онъ, мах-

нувъ рукой на Толя, повернулся въ противную сторону, къ красному углу избы, чернѣвшему отъ образовъ. — Господи, Создатель мой! Внялъ Ты молитвѣ нашей... дрожащимъ голосомъ сказалъ онъ, сложивъ руки.—Спасена Россія. Благодарю Тебя, Господи!—И онъ заплакалъ».

Толстой въ «Войнѣ и Мирѣ» не только рисуетъ, но и комментируетъ то, что рисуетъ. Эти комментаріи даны, во-первыхъ, въ формѣ несравненнаго психологическаго анализа, который съ такимъ мастерствомъ вплетенъ въ самый рисунокъ, и въ формѣ извѣстныхъ разсужденій о событіяхъ, объ историческихъ дѣятеляхъ,—разсужденій, прерывающихъ нить фабулы и вызывавшихъ нерѣдко со стороны критики неодобрительные, но, мнѣ кажется, не совсѣмъ или не всегда справедливые отзывы. Къ числу такихъ отступленій принадлежитъ глава V-ая IV-ой части IV-го тома, гдѣ дана оцѣнка Кутузова, какъ историческаго дѣятеля. Здѣсь Толстой противупоставляетъ Кутузова Наполеону, котораго онъ называетъ «ничтожнѣйшимъ орудіемъ исторіи» и человѣкомъ, который «никогда, даже въ изгнаніи, не выказывалъ человѣческаго достоинства». Онъ упрекаетъ русскихъ историковъ въ томъ, что они преклонялись передъ этимъ лживымъ героемъ, назвали его великимъ человѣкомъ, между тѣмъ какъ Кутузовъ въ ихъ глазахъ «представляется чѣмъ-то неопредѣленнымъ и жалкимъ, и, говоря о Кутузовѣ и 12-мъ годѣ, имъ всегда какъ-будто немножко стыдно».

Если-бы я былъ историкомъ, я бы имѣлъ возможность критически отнестись къ этой рѣзкой оцѣнкѣ Наполеона и либо отвергнуть ее, либо принять. Но я не историкъ и, воздерживаясь отъ критики, охотно пріемлю общій приговоръ, что Наполеонъ—въ своемъ родѣ великій человѣкъ. Не нужно, однакоже, быть историкомъ, чтобы знать, что прежде всего это былъ великій надуватель. Онъ умѣлъ обманывать цѣлые народы, цѣлыя поколѣнія и, что можетъ быть еще печальнѣе, — такіе умы, такихъ друзей человѣчества, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, Гейне. Честь и слава Толстому, что онъ не поддался этой иллюзіи. Съ другой стороны, также нѣтъ надобности быть историкомъ, чтобы имѣть право признать сужденія Толстого о Кутузовѣ въ общемъ согласными съ исторической истиной, хотя бы въ нихъ и была доля преувеличенія. Простое чутье правды и здравый смыслъ, незатуманенный блескомъ легенды, невольно заставляютъ раздѣлять оцѣнку Кутузова, данную въ слѣдующихъ

словахъ: «Кутузовъ никогда не говорилъ о 40 вѣкахъ, которые смотрятъ съ пирамидъ, о жертвахъ, которыя онъ приноситъ отечеству, о томъ, что онъ намѣренъ совершить или совершилъ: онъ вообще ничего не говорилъ о себѣ, не игралъ никакой роли, казался всегда самымъ простымъ и обыкновеннымъ человѣкомъ и говорилъ самыя простыя, обыкновенныя вещи...»—Но этотъ простой человѣкъ глубоко и вѣрно понималъ ходъ вещей,—въ самомъ разгарѣ событій давалъ имъ правильную оцѣнку, подтвержденную лишь впослѣдствіи, post factum. Изъ вышеприведенной сцены, гдѣ показано, какъ принялъ Кутузовъ извѣстіе о выступленіи Наполеона изъ Москвы, ясно видно, что Кутузовъ сразу же вѣрно оцѣнилъ значеніе этого событія. Онъ понялъ, что это уже было бѣгство непріятеля, что съ этого момента Россія можетъ считаться спасенной. Оттуда та радость и то умиленіе, съ которыми онъ принялъ это извѣстіе.—Столь-же правильно оцѣнилъ онъ значеніе Бородинскаго сраженія. «Онъ одинъ говорилъ, что Бородинское сраженіе есть побѣда... Онъ одинъ сказалъ, что потеря Москвы не есть потеря Россіи... Въ отвѣтъ Лористону на предложенія о мирѣ, онъ отвѣчалъ, что мира не можетъ быть, потому что такова воля народа...»—Подводя итогъ этой оцѣнкѣ Кутузова, Толстой ставитъ вопросъ: «Какимъ образомъ этотъ старый человѣкъ, одинъ въ противность мнѣнію всѣхъ могъ угадать такъ вѣрно значеніе народнаго смысла событія, что ни разу во всю свою дѣятельность не измѣнилъ ему?»—На этотъ вопросъ Толстой отвѣчаетъ такъ: «Источникъ этой необычайной силы прозрѣнія въ смыслъ совершающихся явленій лежалъ въ томъ народномъ чувствѣ, которое онъ носилъ въ себѣ во всей чистотѣ и силѣ его. Только признаніе въ немъ этого чувства заставило народъ такими странными путями, въ немилости находящагося старика выбрать, противъ воли царя, въ представители народной войны... Простая, скромная и потому истинно-величественная фигура эта не могла улечься въ ту лживую форму европейскаго героя, мнимо управляющаго людьми, которую придумала исторія».

Таковъ художественный образъ Кутузова, созданный Толстымъ. Онъ цѣликомъ построенъ: 1) на идеализаціи національной формы и 2) на перенесеніи ея чертъ въ область психологическаго содержанія, на превращеніи ихъ въ идею, въ программу дѣятельности, въ личныя положительныя качества человѣка.

Для надлежащей оцѣнки этихъ пріемовъ, для отвѣта на вопросъ: не было-ли тутъ доли художническаго произвола?—необходимо обратить вниманіе на соотвѣтствующія этимъ пріемамъ черты самой дѣйствительности. Въ исторической жизни народовъ нерѣдко наблюдается и идеализація національной формы, осуществляемая самой жизнью, и претвореніе ея элементовъ въ нѣкоторый положительный идеалъ.

Національная личность человѣка (какъ и всѣ формально-психологическіе элементы) ярко выступаетъ въ сознаніи большею частью только тогда, когда ей угрожаетъ какая-нибудь внѣшняя опасность, когда какая-нибудь внѣшняя сила стремится ее стѣснить или ограничить. Такъ, когда воздвигается гоненіе на языкъ, эту главную опору національности, послѣдняя сейчасъ-же настораживается, становится крайне щепетильной, обидчивой и естественно переходитъ въ крайность самовозвеличенія, культа себя самой. Она занимаетъ тогда слишкомъ много мѣста въ сознаніи людей. Изъ формы, чѣмъ ей и быть надлежитъ, она переходитъ въ содержаніе, становясь чѣмъ-то вродѣ положительнаго идеала. Это—ненормально, но извинительно. Это—процессъ патологическій, не подлежащій осужденію.

Къ счастью, далеко не въ столь утрированномъ видѣ наблюдается пробужденіе національной формы въ сознаніи при другого рода обстоятельствахъ, благопріятствующихъ тому, напр. во время войнъ, въ особенности народныхъ,—если только непріятельское нашествіе не направлено на самую національность. Наполеонъ не угрожалъ стѣсненіемъ русской національности и запрещеніемъ русскаго языка. Онъ затрогивалъ національность, хотя и чувствительно но не прямо, а косвенно, угрожая тому, что составляло въ данное время часть содержанія, вложеннаго исторіей въ русскую національную форму: онъ напалъ на русское государство. Еще чувствительнѣе для національной формы было-бы нашествіе, если-бы завоеватель покусился и на остальное содержаніе, на религію, нравы, обычаи и т. д. Но и нападеніе на государство было достаточно, чтобы черезъ посредство части содержанія возбужденіе отразилось и на формѣ: національное чувство встрепенулось, и черты національной формы живо заговорили въ сознаніи, переходя въ сферу положительнаго содержанія духа.

Тогда наша формальная простота и правда приняла обличье настоящей, подлинной душевной простоты и внутренней

духовной правды, а нашъ «волевой фатализмъ» преобразился въ родъ національнаго лозунга, или какъ-бы въ программу національной дѣятельности.

Историческое лицо, въ которомъ эта русская форма была выражена наиболѣе ярко и у котораго ея переходъ въ сферу содержанія обосновывался также на индивидуальныхъ качествахъ и условіяхъ его личнаго опыта жизни,—силою вещей, стало «народнымъ избранникомъ» и вождемъ. Это и былъ Кутузовъ, національное историческое призваніе котораго было какъ-бы инстинктивно понято всѣми. У такихъ, какъ князь Андрей, это инстинктивное пониманіе превратилось въ сознательную оцѣнку.

Этотъ массовой психологическій процессъ, выдвигающій «народнаго избранника» (у насъ—Кутузова, во Франціи—Наполеона, въ Италіи—Гарибальди и т. д.), во многомъ напоминаетъ процессъ художественнаго творчества. Художникомъ является тутъ сама жизнь: она создаетъ и выдвигаетъ типичную индивидуальность, которую она въ большей или меньшей мѣрѣ идеализируетъ, да еще дѣлаетъ представительницею извѣстной идеи. Иначе говоря, историческое лицо этого рода есть художественный образъ въ натурѣ, чѣмъ, между прочимъ, въ значительной мѣрѣ объясняется обаяніе, имъ производимое [1]).

Толстой совершенно правильно понялъ Кутузова, какъ такое художественное созданіе самой жизни, и построилъ своего Кутузова по образу и подобію этого подлинника.

Подлинникъ могъ имѣть, конечно, разныя несовершенства, разныя черты, неподходящія къ цѣлямъ законченной художественности. Ему, какъ всему живому, были присущи внутреннія противорѣчія. Разобрать все это и дать точную оцѣнку и критику личности—это дѣло историка. Но художникъ имѣетъ свои права. Онъ проводитъ дальше и послѣдовательнѣе дѣло, начатое самой

---

[1]) Если вникнемъ въ составъ этого обаянія и устранимъ такіе его элементы, какъ напр. патріотическое чувство, преданность дѣлу, во главѣ котораго стоитъ данное историческое лицо, увлеченіе представляемою имъ идеею или его подвигами, изумленіе передъ его геніемъ или силою характера, передъ его нравственными качествами и т. д., то получится еще остатокъ, который и есть эстетическое чувство; оно можетъ быть даже тогда, когда дѣятель намъ въ общемъ не симпатиченъ, когда онъ—не нашъ «герой».

жизнью и всегда проводимое ею криво, съ уклоненіями въ сторону. Жизнь, по существу процессъ ирраціональный, въ огромномъ большинствѣ случаевъ, надѣляетъ свои типичныя индивидуальности доброй долею ирраціональныхъ признаковъ,—лишь рѣдко-рѣдко удается ей создать такую строго-послѣдовательную, aus einem Guss, истинно-художественную фигуру, какъ напр. Гарибальди. Дорисовывая, исправляя образъ, данный жизнью, художникъ доводитъ его до той законченности и идеализаціи, при которыхъ онъ становится раціональнымъ созданіемъ искусства.

Въ художественномъ образѣ Кутузова Толстой воспроизвелъ нашу національную форму, понятую не только какъ чистая форма, но и какъ часть содержанія духа,—въ томъ ея проявленіи, которое принято называть національнымъ геніемъ.

Если совокупность процессовъ, образующихъ національную личность, въ ихъ будничной, чисто-формальной постановкѣ, въ ихъ какъ-бы дремлющемъ состояніи, можетъ быть уподоблена связанной энергіи, то въ ихъ пробужденномъ и дѣйствующемъ проявленіи она уподобляется энергіи свободной; она становится силою, которая при благопріятныхъ условіяхъ можетъ стать творческою, если не въ сферѣ жизни, то, по крайней мѣрѣ, въ области мысли, при неблагопріятныхъ же, такъ сказать, разсѣивается въ пространствѣ. Изучая нашу національную «энергію», какъ «освобождалась» она въ эпоху отечественной войны, Толстой не могъ ограничиться воспроизведеніемъ нашего національнаго пошиба въ лицѣ Кутузова и указаніями на пробужденіе народнаго чувства въ обществѣ. Толстой—художникъ, идущій въ глубь вещей. И въ данномъ случаѣ онъ счелъ необходимымъ добраться до глубочайшихъ, искони отложившихся залежей той національной формаціи, пробужденіе которой онъ наблюдалъ теперь. Ему нужна была чистая, безпримѣсная стихія русскаго національнаго генія. Для нея онъ не имѣлъ въ своемъ распоряженіи никакого «подлинника», никакого образца. Въ его распоряженіи была только геніальная интуиція, и съ ея помощью онъ и нашелъ то, чего искалъ: онъ открылъ Каратаева.

Это смѣлое художественное предпріятіе было сопряжено съ большими трудностями и соблазнами: такъ легко было впасть въ искусственность, создать не живую личность, а мертвую схему, образъ сочиненный. Чутьемъ великаго художника Толстой понялъ,

«крылатыми» и вылетающими изъ-за «ограды (или преграды) зубовъ». Слово всегда тутъ, къ услугамъ мысли, потому что разстояніе между ними сравнительно не велико; мысль, еще не изощренная въ отвлеченіяхъ, не высоко еще поднялась надъ языкомъ, т. е. надъ тѣми процессами мысли, которые заключены въ самихъ категоріяхъ рѣчи, въ грамматическихъ формахъ. Эти формы еще составляютъ часть положительнаго содержанія мысли. Человѣкъ этой стадіи не можетъ мыслить, не держа въ сознаніи, хотя бы въ извѣстной мѣрѣ, формальныхъ значеній словъ; послѣднія необходимы ему, чтобы привести въ движеніе его мысль, низко парящую надъ міромъ конкретнаго и не способную витать въ сферѣ отвлеченій, гдѣ сознаваемыя грамматическія формы являются только лишнею обузою, балластомъ мысли. Для отвлеченнаго мышленія слово—только знакъ, символъ. Для мышленія гомеровскихъ героевъ и Каратаева оно—часть содержанія мысли. На этой ступени развитія еще нѣтъ отчетливаго сознанія раздѣльности между содержаніемъ, смысломъ рѣчи и самою рѣчью, какъ орудіемъ созданія этого смысла, и потому сама рѣчь не поддается выдѣленію и анализу. Человѣкъ этого фазиса не можетъ анализировать процессъ своей мысли и разложить его сперва на содержаніе и на форму, а потомъ эту форму на отдѣльные акты рѣчи, на категоріи языка, на слова. Онъ даже не всегда ясно различаетъ, гдѣ въ фразѣ, которую онъ сказалъ или подумалъ, кончается одно слово и начинается другое. «Онъ не понималъ—говоритъ Толстой о Каратаевѣ—и не могъ понять значенія словъ, отдѣльно взятыхъ изъ рѣчи...» Компактной, еще не расчлененной массой движется рѣчь, живьемъ сросшаяся со своимъ непосредственнымъ содержаніемъ и съ тѣми продуктами первоначальнаго творчества, которые называются пословицей, сказкой, пѣснью, примѣтой. Человѣкъ самъ не замѣчаетъ, какъ онъ отъ обыденной рѣчи переходитъ къ этому творчеству. Какъ тамъ, такъ и тутъ отличительная черта, которою отмѣченъ процессъ мысли, это—непосредственность, наивность, отсутствіе рефлексіи. Каратаевъ «пѣлъ пѣсни не такъ, какъ поютъ пѣсни пѣсельники, знающіе, что ихъ слушаютъ, но пѣлъ, какъ поютъ птицы, очевидно потому, что звуки эти ему было такъ-же необходимо издавать, какъ необходимо бываетъ потянуться или расходиться» (т. IV, ч. I, гл. XIII).

Такой укладъ языка, мысли и творчества сопряженъ съ особымъ самочувствіемъ человѣка: ему представляется, что

эти процессы какъ будто сами собою въ немъ совершаются, безъ его личной иниціативы, независимо отъ его воли. Это словно общая, національная умственная атмосфера, которою онъ дышитъ непроизвольно и вмѣстѣ съ другими. Онъ чувствуетъ себя частицею этой стихіи, которую понять и осмыслить онъ, конечно, не въ состояніи. Онъ только ощущаетъ въ себѣ проявленіе общаго, коллективнаго ума—въ рѣчи, въ мысли, въ пѣснѣ, поговоркѣ, наконецъ, въ сферѣ волевой, въ дѣйствіяхъ, стремленіяхъ, образѣ жизни. Общая рѣчь и мысль, общее творчество, общая жизнь, проявляясь въ немъ, становятся его личнымъ достояніемъ, но такимъ, на которое онъ самъ не можетъ смотрѣть, какъ на свое добро, въ родѣ того, какъ напр. воздухъ, которымъ дышитъ человѣкъ, есть его достояніе, но не его добро. Вотъ именно такой укладъ духа и связанный съ нимъ родъ самочувствія превосходно характеризуется слѣдующими словами Толстого о Каратаевѣ: «Каждое слово его и каждое дѣйствіе было проявленіемъ неизвѣстной ему дѣятельности, которая была его жизнь. Но жизнь его, какъ онъ самъ смотрѣлъ на нее [1]), не имѣла смысла, какъ отдѣльная жизнь. Она имѣла смыслъ только какъ частица цѣлаго, которое онъ постоянно чувствовалъ». (Т. I, ч. I. гл. XIII).

Вотъ именно эта сторона Каратаева, т. е Каратаевъ въ его языкѣ, мысли, умственномъ проявленіи и соотвѣтственномъ самочувствіи, и является для меня тою закваскою, силою которой всѣ прочія черты его, разсмотрѣнныя въ предыдущей главѣ и въ этой, слагаются въ одинъ цѣльный синтетическій образъ.

Есть три способа—видѣть художественный образъ. Во-первыхъ можно видѣть его непосредственно, какъ онъ данъ въ произведеніи художника, получить отъ него извѣстное впечатлѣніе. Это то, что можно назвать импрессіонизмомъ въ эстетическомъ воспріятіи. Во-вторыхъ, можно видѣть, какъ и на какіе элементы образъ разлагается. Это аналитическое воспріятіе, въ извѣстной мѣрѣ, но необходимости, нарушающее живость непосредственнаго воспріятія и парализующее силу того, что называется «эстетическимъ наслажденіемъ» или «художественной эмоціей». Наконецъ, въ-третьихъ, можно видѣть, какъ и изъ чего образъ слагается. Это—синтетическое воспріятіе, основанное на предварительномъ аналитическомъ. Оно

---

[1]) Я бы сказалъ: какъ онъ чувствовалъ ее.

вновь возстановляетъ цѣльность впечатлѣнія и оживляетъ эмоцію—въ новомъ видѣ, въ формѣ пониманія смысла и значенія образа и оцѣнки силы художественной мысли, его создавшей.

Съ необыкновеннымъ мастерствомъ Толстой группируетъ ряды чертъ, сливающихся въ цѣльный, живой образъ. Для критика или, лучше сказать, истолкователя образа каждый рядъ этихъ чертъ является конкретнымъ представленіемъ для соотвѣтствующаго ряда понятій, въ свою очередь группирующихся въ опредѣленный аггломератъ мыслей.

Этотъ аггломератъ мыслей оказывается въ своемъ родѣ органически-связнымъ цѣлымъ, — ряды понятій, входящихъ въ его составъ, такъ-же гармонически сочетаются, какъ и черты, данныя художникомъ.

Цементомъ, ихъ скрѣпляющимъ, служитъ только-что разобранная сторона Каратаева. Слѣдя мысленно за постановкой и развитіемъ ея чертъ, мы видимъ, какъ незамѣтно она, разростаясь, переходитъ въ другія его стороны. Каратаевъ, какъ воплощеніе наивной рѣчи и мысли, какъ представитель безсознательнаго коллективнаго творчества и носитель соотвѣтственнаго самочувствія, необходимо долженъ быть крестьянинъ и притомъ стараго, патріархальнаго склада съ ясно выраженными чертами идеализированнаго крестьянскаго благообразія. Излишне пояснять, что напр. его нельзя было-бы пріурочить къ другому сословію, хотя-бы столь-же нерушимо сохраняющему національный складъ. Каратаевъ-мѣщанинъ или купецъ немыслимъ. И самое крестьянство олицетворено въ немъ не только какъ сословіе, а еще болѣе какъ народъ, какъ масса, стихійно слагающаяся въ націю, стихійно движущаяся, безсознательно творящая свою исторію.

Такъ нечувствительно, какъ-бы сами собою, эти два порядка идей, отвѣчающіе двумъ указаннымъ сторонамъ Каратаева, приводятъ насъ къ третьему, связанному съ представленіемъ о Каратаевѣ, какъ о русскомъ національномъ типѣ съ тѣмъ фатализмомъ и оптимизмомъ, съ тѣмъ характернымъ укладомъ воли, о которыхъ мы говорили въ аналитической части нашего очерка. Уже въ основномъ самочувствіи Каратаева и самихъ формахъ его умственной и нравственной жизни скрывается зерно національнаго склада нашей психики. И слѣдя за прозябаніемъ этого зерна, протягивая мысленно нити, идущія отъ рѣчи, мысли, пѣсни и самочувствія Каратаева, все дальше и дальше, мы при-

ходимъ къ цѣлому ряду понятій, относящихся къ нашей національной психологіи и открывающихъ намъ умственныя перспективы въ глубь народнаго духа, въ историческую даль прошлаго, въ невѣдомую даль грядущаго.

Мы уже указывали на то, что въ Кутузовѣ и Каратаевѣ наша національная форма въ извѣстной мѣрѣ идеализирована, и что такая художественная идеализація должна быть признана вполнѣ законной. Она была внушена Толстому тѣмъ живымъ чувствомъ національности, во власти котораго онъ былъ, когда писалъ «Войну и Миръ». Надо отдать ему полную справедливость въ томъ, что онъ въ этомъ отношеніи сумѣлъ воздержаться отъ соблазна впасть въ національную исключительность, въ національное самомнѣніе и шаблонный патріотизмъ. Этихъ отрицательныхъ сторонъ возбужденнаго національнаго чувства и слагающагося національнаго самосознанія совсѣмъ нѣтъ въ «Войнѣ и Мирѣ», какъ и вообще онѣ чужды Толстому. Достаточно для подтвержденія указать на фигуру Растопчина и на его дѣятельность, какъ онѣ представлены въ «Войнѣ Мирѣ», на описаніе пожара Москвы, на далеко не шаблонно-патріотическое отношеніе ко многимъ дѣятелямъ эпохи. Единственнымъ исключеніемъ, да и то скорѣе кажущимся, чѣмъ дѣйствительнымъ, представляется отношеніе Толстого къ Наполеону, изображенному съ явнымъ пристрастіемъ и нескрываемымъ озлобленіемъ. Но если это изображеніе и вытекало изъ возбужденнаго національнаго чувства, то во всякомъ случаѣ—не прямо, а косвенно. Наполеонъ антипатиченъ Толстому не потому, что онъ—врагъ, иностранный завоеватель, а потому, что онъ, въ глазахъ Толстого,—живое олицетвореніе того «фальшиваго героя», котораго, по мнѣнію нашего художника-мыслителя, «выдумала» исторія. Настоящій, нелегендарный Наполеонъ казался Толстому жалкимъ, ничтожнымъ орудіемъ фатальнаго хода вещей, щепкою, вознесенною наверхъ исторической волной и воображающей, что она-то, щепка, эту волну и подняла. Весьма возможно (судить не берусь), что этотъ взглядъ невѣренъ, но онъ не былъ прямо внушенъ Толстому возбужденнымъ національнымъ чувствомъ, а вытекалъ вполнѣ логически изъ всей системы историко-философскихъ воззрѣній Толстого, изложенныхъ о второй части «Эпилога». Правда, сама эта система, какъ-бы мы о ней ни судили, прежде всего была прямымъ порожденіемъ тѣхъ сторонъ ума и натуры Толстого, которыя по праву могутъ быть разсма-

триваемы, какъ типично-русскія, національныя. Она не что иное, какъ переводъ «Кутузовщины» и «Каратаевщины» на философскій языкъ. Въ этомъ смыслѣ я вижу нѣкоторую связь, довольно отдаленную, впрочемъ, между отрицательнымъ отношеніемъ къ Наполеону и возбужденнымъ національнымъ чувствомъ. Волна этого чувства докатилась до Наполеона не прямикомъ, а окольнымъ путемъ, вызвавъ въ Толстомъ творческую работу національныхъ силъ его генія, завершившуюся философіей «Эпилога». Съ высоты этой философіи и былъ осужденъ Наполеонъ.

Историко-философская теорія Толстого неоднократно подвергалась суровой критикѣ. Въ ней дѣйствительно есть парадоксы и натяжки, есть «уязвимыя мѣста». Но при всемъ томъ я не могу считать ее, какъ это дѣлали многіе критики, ненужнымъ придаткомъ къ эпопеѣ, безплодными умствованіями, которыя будто бы только портятъ ее. Я думаю, напротивъ, что теорія не только ничего не портитъ, но является необходимымъ завершеніемъ «Войны и Мира». Великая національная эпопея, наша Иліада и Одиссея, была бы не полна, не закончена безъ этой добавочной волны идей, вызванныхъ въ умѣ художника дѣйствіемъ того процесса творчества, который далъ бытіе самой эпопеѣ. И я увѣренъ, что если Толстой въ разныхъ изданіяхъ «Войны и Мира» не опускаетъ этихъ «разсужденій», то имъ въ этомъ случаѣ руководитъ не только самолюбіе мыслителя, но и чутье художника. Вообще всякаго рода размышленія и теоріи, возникающія въ умѣ художника, если только онѣ искренни и органически связаны съ самымъ процессомъ творчества (а не насильственно къ нему притянуты) никогда не могутъ вредить дѣлу. Требовать отъ художника, чтобы онъ только «рисовалъ» и не смѣлъ разсуждать и комментировать свой рисунокъ было бы педантизмомъ. И такое требованіе менѣе всего было бы умѣстно въ примѣненіи къ Толстому, который, по самой природѣ своего генія, въ противуположность Тургеневу, есть художникъ философствующій. Иначе говоря, Толстой, созидая свои образы, не только созерцаетъ представляемую ими идею, но стремится привести ее въ органическую связь съ собственнымъ своимъ міросозерцаніемъ и проникнуть по возможности глубже, какъ въ эту идею, такъ и въ тѣ явленія жизни, которыя такъ или иначе съ нею связаны. Что касается спеціально «Войны и Мира», то тѣсная, органическая связь историко-философской теоріи

Толстого съ содержаніемъ и духомъ эпопеи представляется мнѣ несомнѣнною. Эту связь можно резюмировать такъ: 1) эпопея, въ своей Иліадѣ—«Войнѣ» и въ своей Одиссеѣ—«Мирѣ», равно изображаетъ фатальный ходъ вещей, ирраціональную природу процессовъ жизни человѣческой, независимость ихъ отъ воли ея участниковъ и дѣятелей; 2) въ Каратаевѣ и Кутузовѣ соотвѣтствующій этой идеѣ умственный и волевой укладъ представленъ какъ одна изъ чертъ русской національной психики; 3) въ разсужденіяхъ (въ текстѣ) и въ историко-философскомъ трактатѣ «Эпилога» та-же идея развита въ систематической формѣ, отъ лица автора и, являясь продуктомъ чисто-національнаго русскаго пошиба мысли (я готовъ былъ сказать: русскихъ умственныхъ вкусовъ), естественно увѣнчиваетъ все зданіе національной эпопеи. Отсюда слѣдуетъ и обратное: вторая часть «Эпилога», взятая отдѣльно отъ «Войны и Мира», разсматриваемая просто какъ историко-философскій трактатъ, большого значенія не имѣетъ. Несмотря на нѣкоторыя вѣрныя и глубокія мысли, она не заняла и не займетъ виднаго мѣста въ литературѣ по философіи исторіи, ибо она—не плодъ методическаго изслѣдованія сущности историческаго процесса, а только попытка дать философское выраженіе той точкѣ зрѣнія на историческій процессъ, на роль и призваніе историческихъ дѣятелей и «героевъ», на «причинную связь» въ исторіи и т. д., которая логически можетъ быть выведена изъ «Каратаевщины» и «Кутузовщины» и которая не переставала вдохновлять художника, когда онъ создавалъ величайшее изъ своихъ произведеній.

ГЛАВА VI.

Великосвѣтскіе типы. Князь Андрей Болконскій.

I.

Во многихъ отношеніяхъ (и между прочимъ въ количественномъ) типы и картины великосвѣтской жизни занимаютъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ художественной дѣятельности Толстого.

Чтобы дать посильную оцѣнку и выяснить значеніе этого—аристократическаго—элемента въ творчествѣ Толстого, необходимо сперва разсмотрѣть важнѣйшіе образы, сюда относящіеся. Прежде всего обратимся къ положительнымъ типамъ

«Войны и Мира» и начнемъ съ князя Андрея Болконскаго.

Здѣсь необходимо вспомнить, что передъ тѣмъ, какъ Толстой приступилъ къ созданію «Войны и Мира» (1864), онъ останавливался на другомъ художественномъ замыслѣ и даже набросалъ одинъ отрывокъ. Романъ былъ задуманъ на тему «Декабристы». О немъ находимъ слѣдующія свѣдѣнія въ примѣчаніи, предпосланномъ упомянутому отрывку [1]): «печатаемыя здѣсь три главы романа подъ заглавіемъ «Декабристы» были написаны еще прежде, чѣмъ авторъ принялся за «Войну и Миръ». Въ то время онъ задумывалъ романъ, котораго главными дѣйствующими лицами должны быть декабристы, но не написалъ его, потому что, стараясь возсоздать время декабристовъ, онъ невольно переходилъ мыслью къ предыдущему времени, къ прошлому своихъ героевъ. Постепенно передъ авторомъ раскрывались все глубже и глубже источники тѣхъ явленій, которыя онъ задумывалъ описать, — семья, воспитаніе, общественныя условія и проч. избранныхъ имъ лицъ; наконецъ онъ остановился на времени войнъ съ Наполеономъ, которое и изобразилъ въ «Войнѣ и Мирѣ». Въ концѣ этого романа видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825 года».—(Сочиненія, ч. XII-я, стр. 229).

Не трудно догадаться, что, если-бы романъ «Декабристы» былъ написанъ, то въ немъ въ числѣ лицъ, причастныхъ движенію, закончившемуся событіемъ 14-го декабря, оказался-бы Пьеръ Безуховъ, а Наташа попала-бы въ число тѣхъ «русскихъ женщинъ», которыхъ воспѣлъ Некрасовъ. Такъ-же точно представляется очевиднымъ, что, если-бы рана, полученная кн. Андреемъ Болконскимъ въ Бородинскомъ сраженіи, не оказалась смертельною,—онъ явился-бы въ свое время однимъ изъ организаторовъ и вожаковъ движенія.

Я предполагаю, что сюжетъ «Декабристовъ» привлекалъ къ себѣ художническую пытливость Толстого не только своимъ историческимъ значеніемъ, своимъ драматизмомъ и выдающимися качествами дѣйствующихъ лицъ, какъ характеровъ, но

---

[1]) Онъ написанъ былъ въ 1863 г. Какъ извѣстно, существуетъ и другой отрывокъ, написанный въ 70-хъ годахъ. Насъ интересуетъ здѣсь только первый.

также (а, быть можетъ, и въ особенности) тѣмъ, что это столь яркое и единственное въ своемъ родѣ явленіе въ нашей исторіи было въ значительной мѣрѣ продуктомъ великосвѣтской психологической формы, что въ немъ аристократія происхожденія, воспитанія, карьеры, общественнаго положенія проявилась въ то же время какъ аристократія ума, характера и нравственныхъ качествъ. Первенствующая роль въ движеніи принадлежала молодежи высшаго круга; тутъ были и представители старинныхъ аристократическихъ фамилій, и представители той искусственно-созданной, чиновной, «разночинной» (если можно такъ выразиться) знати, которая такъ быстро сформировалась у насъ съ легкой руки Петра Великаго; всѣ они путемъ своеобразнаго воспитанія и образованія объединялись въ одну сословно-психологическую группу, гдѣ развѣ только очень опытный наблюдатель могъ уловить нѣкоторыя черты различія, которыми всетаки отличались другъ отъ друга съ одной стороны люди «крови и породы», а съ другой дѣти или внуки «случайныхъ» людей временъ Елисаветы и Екатерины,—тѣхъ, что «прыгали въ князья изъ хохловъ» или «пѣли на клиросѣ съ дьячками».—Андрей Болконскій—представитель первыхъ, Пьеръ Безуховъ—вторыхъ. Но эти различія не только не нарушали единства сословной психологіи,—они не вліяли также на составъ, характеръ и послѣдовательныя измѣненія того, что въ разное время составляло содержаніе этой психологической формы. И аристократы «крови», и аристократы разночиннаго происхожденія одинаково воспринимали вольтерьянство и другія освободительныя идеи «вѣка просвѣщенія», одинаково проникались патріотическими стремленіями и героическимъ духомъ эпохи 1812 года, одинаково жертвовали собою въ эпоху 1825 года,—воодушевленные идеями, ничего общаго не имѣющими съ сословными тенденціями и направленными въ сторону общегосударственныхъ и общенародныхъ интересовъ.

Есть два способа изучать и изображать движеніе умовъ въ обществѣ, возникновеніе, ходъ и итоги извѣстныхъ общественныхъ стремленій, дѣятельность партій и т. д. Во-первыхъ, можно интересоваться исключительно содержаніемъ руководящихъ идей, цѣлями, къ которымъ стремятся лица, принимающія участіе въ движеніи, событіями и результатами, къ которымъ оно привело; при этомъ вопросъ объ интимномъ внутреннемъ мірѣ дѣятелей и о ихъ психологической формѣ остается

въ сторонѣ; къ нему обращаются только въ томъ случаѣ, когда это представляется необходимымъ для объясненія самихъ идей, событій и т. д.—Другой способъ состоитъ въ томъ, что именно эта—психологическая—сторона и выдвигается на первый планъ. Изслѣдователь прежде всего хочетъ уяснить себѣ, что это за люди, которыхъ стремленія, подвиги, судьбу онъ будетъ изучать,—каковъ ихъ внутренній міръ, взятый въ его будничномъ обиходѣ, независимо отъ воодушевляющихъ ихъ идей,—наконецъ, къ какой психологической формѣ (сословной и иной) принадлежатъ они,—вѣдь эта форма и составляетъ ихъ характерную «физіономію», ихъ душевную «складку». Толстой, какъ извѣстно, такъ именно и ставитъ вопросъ, и для него идеи, волновавшія умы, общественныя движенія, стремленія передовыхъ партій получаютъ весь свой интересъ только тогда, когда онѣ берутся не отвлеченно, а воплощаются въ живыхъ людей, которыхъ онъ и анализируетъ со свойственнымъ ему даромъ психологическаго прозрѣнія. Такъ, «Война и Миръ», можно сказать, изображаетъ намъ не событія, не идеи или руководящія стремленія эпохи, а живьемъ взятыхъ людей того времени; событія-же, идеи и пр.,—это только часть ихъ жизни или часть обстановки, среди которой она протекала. Если-бы Толстой написалъ «Декабристовъ», то—я увѣренъ—при первомъ чтеніи мы были-бы шокированы этимъ художественнымъ пріемомъ, который можно-бы назвать своего рода размѣномъ большихъ душевныхъ цѣнностей на мелкую, ходячую монету, на пятаки и гривенники повседневнаго душевнаго прихода и расхода. Въ отрывкѣ 1863 года, изображающемъ возвращеніе амнистированнаго престарѣлаго декабриста въ 1856 году, мы видимъ уже первый опытъ такого «размѣна»: замѣчательный человѣкъ, герой, сильный характеръ — представленъ здѣсь со стороны разныхъ душевныхъ мелочей, пустяковъ, слабостей, иногда смѣшныхъ. Но вы чувствуете, что это не есть развѣнчаніе героя, что тутъ не было желанія его унизить, умалить, опошлить: это только — размѣнъ душевныхъ цѣнностей, при чемъ, въ конечномъ итогѣ, эти цѣнности все-таки остаются цѣнностями,—онѣ отнюдь не обезцѣниваются. Размѣнъ же нуженъ для того, чтобы шаблонная фигура героя, которую всегда можно, зная его дѣянія, построить апріорно, какъ-бы вывести дедуктивнымъ путемъ, преобразилась въ живую человѣческую личность съ ясно-выраженной психологической формой (напр. сословной), со всею массою мелкихъ

душевныхъ проявленій, со всѣми характерными чертами воспитанія, среды, эпохи. Въ данномъ случаѣ среди многихъ чертъ, сгруппированныхъ въ отрывкѣ, мы ясно различаемъ признаки великосвѣтской психологической формы, своеобразнаго барскаго воспитанія, той особой (нынѣ, кажется, ужъ не существующей) утонченности или, если можно такъ выразиться, душевной шлифовки, которая психологически была сродни гуманности и незамѣтно въ нее переходила [1]). Вотъ именно въ области этого рода художественныхъ изысканій Толстой даетъ намъ возможность уловить эти нити, которыми положительное содержаніе людей эпохи 1825 года (ихъ идеи, идеалы, стремленія) связывалось съ аристократическою формою ихъ психики. Въ «Войнѣ и Мирѣ» онъ и покажетъ намъ дѣйствіе этихъ связующихъ нитей, и мы убѣдимся въ томъ, что въ самомъ дѣлѣ аристократическая форма психики заключаетъ въ себѣ элементы, силою которыхъ она гармонируетъ съ общегуманнымъ пошибомъ содержанія, съ воспріимчивостью мысли къ прогрессивнымъ и освободительнымъ идеямъ, съ аристократизмомъ ума и характера, съ развитіемъ чести. Семья Болконскихъ (Волконскихъ) является лучшей представительницею этого высшаго аристократизма, разными своими сторонами, какъ-бы по частямъ, типично-выраженнаго въ старомъ князѣ, у котораго онъ смѣшанъ съ деспотизмомъ и крѣпостничествомъ вельможи XVIII-го вѣка, въ княжнѣ Марьѣ, гдѣ онъ претворенъ въ утонченную гуманность теплично воспитанной женской натуры, и—въ особенности—въ князѣ Андреѣ, психику котораго, очень сложную и очень любопытную, намъ предстоитъ теперь разобрать по возможности обстоятельно. Онъ этого заслуживаетъ, хотя-бы въ виду того, что, вмѣстѣ съ Пьеромъ Безуховымъ, онъ является центральною фигурою «Войны и Мира».

II.

Нѣкоторыя, очень ярко выраженныя, черты сословной аристократической психологіи князя Андрея служили иногда для читателей и критиковъ камнемъ преткновенія, мѣшавшимъ имъ отнестись къ нему съ должнымъ безпристрастіемъ и понять его

---

[1]) Сюда относится указаніе на то, что «Петръ Ивановичъ (декабристъ) имѣлъ привычку говорить вы всѣмъ безъ исключенія, кромѣ членовъ своего семейства». Раздавая на чай ямщикамъ, онъ говоритъ: «вотъ вамъ, а вотъ вамъ».

такъ, какъ этого хотѣлъ-бы авторъ. Въ нѣкоторыхъ сценахъ кн. Андрей производитъ невыгодное впечатлѣніе—самомнящаго фата, надменнаго и ломающагося великосвѣтскаго льва. Если судить о немъ по этому впечатлѣнію, не принимая въ соображеніе многихъ другихъ чертъ, его парализующихъ, то получится характеристика князя Андрея, столь-же невѣрная и пристрастная, какъ та, которую сдѣлалъ въ своемъ родѣ остроумный военный критикъ «Войны и Мира»—генералъ Драгомировъ. «Кн. Андрей»—говоритъ онъ,—«принадлежитъ къ числу тѣхъ, нерѣдко встрѣчаемыхъ характеровъ, которые, по странному капризу природы, представляютъ соединеніе громадныхъ претензій съ недостаткомъ силъ для ихъ удовлетворенія... Просимъ припомнить появленіе кн. Андрея на сцену: въ свѣтѣ онъ щурится, едва отвѣчаетъ, всѣхъ и вся третируетъ съ высоты своего величія; предъ вами человѣкъ, который изо всѣхъ силъ бьется, чтобы не быть, а казаться, который играетъ роль, который не есть сила, а только претензія на силу...» (Разборъ романа «Война и Миръ». Кіевъ, 1895, стр. 38). На этомъ отзывѣ стоитъ остановиться: онъ принадлежитъ писателю, который умѣетъ не только зло и остроумно критиковать, но и хорошо понимать то, что критикуетъ (способности, не всегда, къ сожалѣнію, совмѣщающіяся),—тѣмъ любопытнѣе, стало быть, выяснить происхожденіе столь явно несправедливаго приговора.

Если не ошибаюсь, немилость знаменитаго стратега къ князю Андрею была порождена двумя причинами: во-первыхъ, аристократическая форма психики кн. Андрея, должно быть, глубоко-антипатична генералу Драгомирову, какъ носителю совсѣмъ другой психологической формы; во-вторыхъ, кн. Андрей—диллетантъ войны и слишкомъ самоувѣренно и развязно судитъ о военныхъ вопросахъ, не имѣя на это тѣхъ правъ «мастера», которыя пріобрѣтаются, по выраженію ген. Драгомирова, лишь «тяжелымъ и долгимъ пребываніемъ въ подмастерьяхъ»; не пройдя этой суровой школы, не видавъ «ни разу войны лицомъ къ лицу», онъ «является на нее съ готовыми и законченными военными взглядами» (стр. 39),—вотъ чего ген. Драгомировъ, мастеръ и авторитетъ въ практикѣ и теоріи войны, не можетъ простить князю Андрею. Въ довершеніе всего, послѣдній со свойственною ему, по мнѣнію ген. Драгомирова, опрометчивостью, совершилъ поступокъ, который долженъ былъ окончательно уронить его въ глазахъ генерала: онъ, «пользуясь привиллегіями той среды, кото-

рую повидимому такъ презираетъ» (стр. 38—39), поступилъ адъютантомъ къ Кутузову,—отнынѣ онъ штабный аристократикъ, и ген. Драгомировъ, кажется, въ самомъ дѣлѣ думаетъ, что кн. Андрей въ этой должности «усвоилъ себѣ нравы передней главнокомандующихъ, примѣняя къ дѣлу «неписанную» субординацію не хуже любого Жеркова» (стр. 39).—Нижеслѣдующій анализъ натуры молодого Болконскаго, надѣюсь, покажетъ, какъ далека отъ правды эта характеристика [1]).

На всемъ протяженіи романа кн. Андрей Болконскій неизмѣнно проявляется какъ человѣкъ очень умный, рѣдко серьезный и съ большими запросами живой общественной и даже государственной дѣятельности, при чемъ эти запросы — не пустыя претензіи, а основываются на соотвѣтствующихъ имъ способностяхъ. Это одна изъ тѣхъ натуръ, которыя смотрятъ на жизнь какъ на серьезное и отвѣтственное дѣло, а не время-препровожденіе, и понимаютъ это дѣло въ смыслѣ служенія общему благу, руководясь правиломъ «noblesse oblige». Въ связи съ этимъ у кн. Андрея мы видимъ проявленіе большого честолюбія и стремленіе къ власти, къ авторитарности. Но рядомъ съ этими мотивами у него въ душѣ властно, «категорически» заправляетъ «императивъ» долга, самоотверженія, безкорыстнаго подвига.

Таковъ нашъ взглядъ на кн. Андрея, являющійся конечнымъ итогомъ, въ которомъ реализируется большая душевная цѣнность, представляемая этимъ человѣкомъ. Разсмотримъ же теперь слагаемыя, мелкія монеты—результаты произведеннаго Толстымъ психологическаго размѣна.

Впервые личность кн. Андрея начинаетъ выясняться въ главахъ V-й и VI-й I-й части I-го тома, гдѣ въ бесѣдѣ съ Пьеромъ Безуховымъ онъ рѣзко высказываетъ свою неудовлетворенность жизнью и обнаруживаетъ крайне пессимистическое настроеніе, очевидно, вызванное недовольствомъ семейной жизнью (или точ-

---

[1]) Укажу здѣсь лишь мелькомъ, что она фактически не вѣрна: кн. Андрей третируетъ не всѣхъ и вся, а только очень многихъ—кого не уважаетъ. Пьера Безухова, кап. Тушина, Тимохина—онъ не третируетъ, а относится къ нимъ сердечно и просто. Въ штабѣ онъ не остается служить и карьеры тамъ не дѣлаетъ, а всегда стремится участвовать въ «дѣлѣ», переходитъ въ полкъ, отъ опасностей не уклоняется, даже ищетъ ихъ. Усваивать нравы передней главнокомандующихъ не можетъ—по самой своей натурѣ и т. д. и т. д.

нѣе—женою, какъ существомъ пустымъ, не подъ пару ему, неспособнымъ его понять), а также—средою, свѣтскимъ обществомъ. Мы слышимъ изъ его устъ рѣзкую критику этого общества, въ особенности его «прекрасной» половины [1]). Въ минуту такихъ припадковъ пессимизма кн. Андрей не щадитъ и себя самого. «Я теперь отправлюсь на войну»—говоритъ онъ—«на величайшую войну, какая только бывала, а я ничего не знаю и никуда не гожусь». (Гл. VI).—Эти слова, хотя и сказанныя въ минуту раздраженія, и плодъ явнаго преувеличенія, все-таки могутъ служить отчасти свидѣтельствомъ противъ ген. Драгомирова, такъ настойчиво выставляющаго на видъ необычайное якобы самомнѣніе кн. Андрея и въ то же время замалчивающаго его несомнѣнныя положительныя качества.

А между тѣмъ эти качества намѣчаются уже тутъ, въ этихъ первыхъ сценахъ, гдѣ выведенъ кн. Андрей. Правда, они именно только намѣчаются, а не проявляются въ дѣйствіяхъ, въ поступкахъ героя, но и этого пока достаточно, — подтвержденіе фактами явится въ свой чередъ. Пока мы, такъ сказать, со стороны (отъ автора) узнаемъ, что молодой Болконскій обладаетъ недюжинной силой воли, большой способностью работать и учиться, начитанностью (т. е. широкимъ образованіемъ: «онъ все читалъ, все зналъ») и, наконецъ, въ противуположность Пьеру, характеризуется отсутствіемъ способности къ «мечтательному философствованію». Толстой именно хочетъ внушить намъ взглядъ на князя Андрея, какъ на человѣка съ призваніемъ къ практической живой дѣятельности, съ которою такъ гармонируютъ только-что перечисленныя качества. И ужъ, конечно, не зря приписываетъ Толстой своему герою эти качества: такимъ онъ его задумалъ, — такимъ и является князь Андрей на различныхъ поприщахъ. Если-же, какъ указываетъ на это генералъ Драгомировъ, онъ оказывается въ концѣ-концовъ неудачникомъ, то это происходитъ не отъ пустоты [2]), не отъ недостатка выдержки и не отъ отсутствія настоящей силы (одну лишь претезію на силу усматриваетъ

[1]) «Ежели бы ты только могъ знать, что это такое всѣ эти свѣтскія женщины! Отецъ мой правъ. Эгоизмъ, тщеславіе, тупоуміе, ничтожество во всемъ—вотъ женщины...» (Гл. VI-я).

[2]) Ген. Драгомировъ между прочимъ говоритъ о немъ: «жаль его, человѣкъ до извѣстной степени (?) пожалуй даже способный и съ характеромъ, но практически пустой» (!) (стр. 40).

въ немъ критикъ), а совсѣмъ отъ другихъ причинъ, которыя выяснятся ниже.

Имѣя въ виду впослѣдствіи провести параллель между натурою кн. Андрея и натурою Пьера, запомнимъ здѣсь-же то, что говоритъ въ этой главѣ (VI) Толстой о различіи между ними. «Пьеръ считалъ князя Андрея образцомъ всѣхъ совершенствъ именно оттого, что кн. Андрей въ высшей степени соединялъ всѣ тѣ качества, которыхъ не было у Пьера и которыя ближе всего можно выразить понятіемъ силы воли... Ежели часто Пьера поражало въ Андреѣ отсутствіе способности мечтательнаго философствованія (къ чему особенно былъ склоненъ Пьеръ), то и въ этомъ онъ видѣлъ не недостатокъ, а силу».

Такимъ образомъ, коренное различіе между этими двумя натурами и съ тѣмъ вмѣстѣ сильныя стороны натуры Болконскаго указаны здѣсь въ достаточной опредѣленностью, и вся дальнѣйшая внутренняя и также мастерски согласованная съ нею внѣшняя исторія обоихъ главныхъ героевъ «Войны и Мира» является строго послѣдовательнымъ развитіемъ и фактическимъ подтвержденіемъ этой характеристики.

Встрѣчая вновь кн. Андрея въ концѣ I-й части I-го тома (главы XXIII—XXV), мы имѣемъ возможность наблюдать его дома, въ семьѣ, въ общеніи съ близкими и самыми дорогими для него лицами (отцомъ и сестрою). Здѣсь прежде всего привлекаетъ наше вниманіе слѣдующая, не даромъ отмѣченная черта: кн. Андрей (пріѣхавшій къ отцу въ его имѣніе Лысыя горы) входитъ въ комнату старика «не съ тѣмъ брезгливымъ выраженіемъ лица и манерами, которыя онъ напускалъ на себя въ гостинныхъ (и которыми, добавимъ отъ себя, онъ и ввелъ въ заблужденіе ген. Драгомирова), а съ тѣмъ оживленнымъ лицомъ, которое у него было, когда онъ разговаривалъ съ Пьеромъ» (гл. XXIII). Это—мелкая, но мѣткая черта, важная для пониманія натуры князя Андрея. Въ «гостинныхъ», въ «салонахъ» онъ «щурится», онъ преувеличенно вялъ и апатиченъ, вообще держится манерно и съ брезгливостью, которая кажется фатовствомъ, и все это потому, что тамъ онъ чувствуетъ себя, хотя и въ своей средѣ, но скверно, что тамъ все или многое ему претитъ, даже возмущаетъ его. Онъ не Чацкій, чтобы тутъже разразиться филиппиками. Взамѣнъ этого, онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи ту способность или ту слабость утрированнаго, манернаго демонстрированія своего превосходства, которая

есть одно изъ слагаемыхъ психологической сословной формы аристократизма. Ею-то онъ и пользуется, пожалуй даже — злоупотребляетъ. Почти также, только, конечно, уже безъ примѣси манерничанья и напускного фатовства, держится онъ съ женою: онъ почти не переноситъ ея женской пустоты, въ то-же время цѣня ея качества, какъ вѣрной жены и хорошаго человѣка (все это ясно показано въ сценѣ съ женою въ главѣ VI-й). Но съ людьми, которыхъ онъ цѣнитъ и уважаетъ, онъ совсѣмъ другой: съ ними онъ простъ, искрененъ откровененъ. Таковъ онъ съ отцомъ, сестрой, Пьеромъ. Ниже увидимъ, что таковъ-же онъ, напримѣръ, съ капитаномъ Тушинымъ, Тимохинымъ и друг. Князь Андрей уважаетъ и цѣнитъ тѣхъ, въ комъ онъ видитъ серьезное душевное содержаніе. Это человѣкъ, который менѣе всего руководится въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ мотивомъ, схваченнымъ въ поговоркѣ: «не похорошу милъ, а помилу хорошъ». Для него «милъ» тотъ, кто, по его понятію, «хорошъ», а хорошъ тотъ, кто уменъ, содержателенъ, незауряденъ, честенъ, правдивъ, или, при небольшихъ умственныхъ силахъ, обладаетъ извѣстнымъ запасомъ убѣжденій, хорошо направленныхъ мыслей и серьезныхъ чувствъ, хотя-бы нѣкоторыя черты ума или характера человѣка и вызывали въ немъ критическое или ироническое отношеніе. «Мечтательное философствованіе» Пьера и соотвѣтственныя мысли его (напримѣръ, о войнѣ съ Наполеономъ) кажутся Андрею вздоромъ,—деспотизмъ, родовая спесь и разныя причуды отца вызываютъ въ немъ иронію и даже болѣе серьезный протестъ, сентиментальная набожность княжны Марьи служитъ предметомъ его благодушныхъ, впрочемъ, насмѣшекъ, но все это не мѣшаетъ ему цѣнить этихъ лицъ, какъ они того заслуживаютъ, не потому, что они его родные, близкіе, а потому, что они имѣютъ положительное душевное содержаніе, чего нѣтъ у его жены, у князя Василія, у многихъ лицъ «изъ общества». Для иллюстраціи сказаннаго укажу, напримѣръ, на сцены съ отцомъ, сестрой, отзывъ кн. Андрея объ отцѣ по поводу «генеалогическаго древа» и на превосходную сцену прощанія съ отцомъ (тѣ-же главы); здѣсь въ мелочахъ, тонѣ, манерѣ, разговорахъ ясно очерчивается то простое, задушевное и умное отношеніе князя Андрея къ отцу и сестрѣ, которое психологически-послѣдовательно вытекаетъ изъ только-что указанной мною основной черты его натуры.

Переходимъ ко II-й части I-го тома. Здѣсь, въ главѣ III-й, мы встрѣчаемъ кн. Андрея въ штабѣ Кутузова (кампанія 1805 г.). Какимъ онъ является здѣсь, какъ себя ведетъ и держитъ, объ этомъ сперва узнаемъ изъ прямого свидѣтельства Толстого. «Въ штабѣ Кутузова (читаемъ здѣсь), между товарищами сослуживцами и вообще въ арміи кн. Андрей, также какъ и въ петербургскомъ обществѣ, имѣлъ двѣ совершенно противуположныя репутаціи. Одни, меньшая часть, признавали кн. Андрея чѣмъ-то особеннымъ отъ себя и отъ всѣхъ другихъ людей, ожидали отъ него большихъ успѣховъ, слушали его, восхищались имъ и подражали ему; и съ этими людьми князь Андрей былъ простъ и пріятенъ. Другіе, большинство, не любили князя Андрея, считали его надутымъ, холоднымъ и непріятнымъ человѣкомъ. Но съ этими людьми кн. Андрей умѣлъ поставить себя такъ, что его уважали и даже боялись». (Глава III).

Все это показано на дѣлѣ въ рядѣ штабныхъ, лагерныхъ, военныхъ сценъ (столкновеніе кн. Андрея съ Жарковымъ [1]), гл. III, съ Николаемъ Ростовымъ, часть III, гл. VII и др.). Изъ этихъ сценъ особенно важны для характеристики кн. Андрея тѣ, гдѣ онъ встрѣчается съ капитаномъ Тушинымъ, котораго онъ сразу понялъ и полюбилъ. Въ гл. XX-ой (II-ой части) онъ выступаетъ энергичнымъ защитникомъ храбраго на войнѣ и робкаго среди штабныхъ офицеровъ капитана передъ Багратіономъ, которому представили дѣйствія Тушина въ неблагопріятномъ видѣ. Здѣсь князь Андрей является въ очень симпатичномъ свѣтѣ,—какъ и вообще все время его пребыванія въ отрядѣ Багратіона. Своимъ серьезнымъ отношеніемъ къ дѣлу, стараніемъ во все вникнуть, исполнить свою обязанность какъ можно лучше, наконецъ, храбростью, онъ рѣзко выдѣляется изъ ряда другихъ штабныхъ офицеровъ, — и только въ силу явно предвзятаго и пристрастнаго къ нему отношенія ген. Драгомировъ могъ поставить его на одну доску съ этими послѣдними.

Къ этому же періоду въ жизни Болконскаго, когда онъ участвовалъ въ компаніи 1805 года, относится крайнее развитіе въ немъ одной изъ основныхъ чертъ его сложной натуры—

---

[1]) Толстой, гдѣ нужно, не щадитъ своего героя, и въ этой сценѣ съ Жарковымъ заставляетъ его ужъ очень «ломаться» и даже нарочно коверкать русскій языкъ, какъ это дѣлали зачастую въ ту эпоху наши аристократы, притворявшіеся плохо говорящими по-русски. Это была особая мода и особый «тонъ» и «шикъ».

честолюбія. Князь Андрей лелѣялъ честолюбивыя мечты— отличиться такъ, чтобы обрѣсти свой «Тулонъ», т.-е., иронически замѣчаетъ ген. Драгомировъ, «попасть въ Наполеоны». Когда онъ узналъ отъ дипломата Билибина (въ Брюннѣ, куда былъ посланъ съ рапортомъ къ австрійскому императору), «что русская армія находится въ безнадежномъ положеніи, ему пришло въ голову, что ему-то именно и предназначено вывести русскую армію изъ этого положенія, что вотъ онъ тотъ Тулонъ, который выведетъ его изъ рядовъ неизвѣстныхъ офицеровъ и откроетъ ему первый путь къ славѣ! Слушая Билибина, онъ соображалъ уже, какъ, пріѣхавъ къ арміи, онъ на военномъ совѣтѣ подастъ мнѣніе, которое одно спасетъ армію, и какъ ему одному будетъ поручено исполненіе этого плана» (Ч. II, гл. XII). Сурово осуждая кн. Андрея за эти честолюбивыя мечты не по заслугамъ, ген. Драгомировъ упускаетъ изъ виду, что эти пылкія мечты, однако, отнюдь не побуждаютъ кн. Андрея оберегать себя отъ опасностей, держаться при штабѣ на безопасныхъ пунктахъ, вращаться исключительно среди сильныхъ міра сего, гдѣ при его связяхъ и положеніи въ свѣтѣ онъ всегда имѣлъ возможность выдвинуться. Напротивъ, кн. Андрей хочетъ быть при дѣлѣ, для чего и отпрашивается у Кутузова въ отрядъ Багратіона, и, наконецъ, въ Аустерлицкомъ сраженіи, описанномъ въ гл. XVI-ой и XVII-ой, III-ей части, бросается впередъ со знаменемъ въ рукѣ, увлекая за собою разстроенный баталіонъ, и падаетъ раненый. Такъ не ведутъ себя пустые штабные карьеристы, какимъ выставляетъ князя Андрея ген. Драгомировъ.

Во второмъ томѣ мы впервые встрѣчаемъ кн. Андрея въ VIII-ой гл. I-ой части, гдѣ съ потрясающей простотою и удивительной пластикою изображенія разсказаны важныя событія изъ личной жизни героя. Это именно его внезапный пріѣздъ къ отцу, который считалъ его убитымъ, рожденіе ребенка и смерть жены. Здѣсь натура кн. Андрея ярко выступаетъ какъ бы сама собою изъ краткаго, почти лаконическаго изображенія того, какъ онъ себя держалъ въ это время. Все это воспроизведено безъ помощи психологическаго анализа, на который такъ щедръ Толстой и въ которомъ онъ такой мастеръ. Въ замѣнъ психологическаго анализа Толстой съ огромнымъ эффектомъ примѣняетъ здѣсь другой пріемъ,—такъ сказать, скульптурный, пластическій— тотъ самый, которымъ изображенъ (не только въ этихъ сценахъ, но и вообще) старый князь Болконскій. Фамильныя черты и

родство натуръ у отца и у сына выступаютъ здѣсь, благодаря этому единству манеры письма, тѣмъ ярче и нагляднѣе.

Подъ вліяніемъ всего, что испыталъ кн. Андрей на войнѣ и дома, онъ впалъ въ мрачное, угнетенное настроеніе, въ которомъ и засталъ его Пьеръ Безуховъ, пріѣхавшій навѣстить своего друга въ его богучаровскомъ уединеніи. Это свиданіе разсказано въ главѣ XI-ой II-ой части II-го тома. Здѣсь мы видимъ князя Андрея въ новомъ свѣтѣ и, между прочимъ, не можемъ не отмѣтить лишній разъ сходства его натуры съ натурою его отца, сходства, выступающаго въ данномъ мѣстѣ съ особливой наглядностью. Это обусловливалось отчасти тѣмъ, что теперь кн. Андрей, въ силу сложившихся обстоятельствъ, сталъ въ положеніе, отчасти аналогичное тому, въ какомъ находился по необходимости старикъ Болконскій,—положеніе не у дѣлъ, при полномъ разочарованіи какъ въ общемъ ходѣ событій и въ лицахъ, имъ заправлявшихъ, такъ и въ возможности осуществленія собственныхъ честолюбивыхъ плановъ. Князь Андрей переживалъ тяжелый душевный кризисъ, одно изъ тѣхъ состояній подавленности и раздраженія, которыя характеризуются рѣзкою перемѣною въ соотносительномъ расположеніи душевныхъ элементовъ и въ обостреніи нѣкоторыхъ чертъ натуры, въ обыкновенное время затушеванныхъ воздѣйствіемъ разныхъ внутреннихъ мотивовъ и внѣшнихъ вліяній, теперь отсутствующихъ. При такомъ кризисѣ человѣкъ ищетъ уединенія и замыкается въ себѣ. Онъ охладѣваетъ къ людямъ, даже близкимъ, устраняется отъ жизни, отъ общества и углубляется въ упорную внутреннюю работу надъ извѣстными мыслями, его осаждающими, и чувствами, большею частью горькими, во власти которыхъ онъ находится теперь. Тогда происходитъ нѣчто въ родѣ самоотравы ядомъ собственныхъ мыслей и чувствъ. И этотъ ядъ выдѣляется изъ разныхъ областей духа, какъ изъ положительнаго содержанія души, такъ и изъ ея формы. Извѣстные элементы перваго, являющіеся при нормальномъ состояніи качествами положительными (напр., сознаніе своего достоинства, гордость), становятся въ этомъ отравленномъ состояніи недостатками; мотивы (напр. честолюбіе), которые прежде направляли стремленія человѣка въ хорошую сторону и обѣщали сдѣлать изъ него величину съ большою общественною стоимостью, теперь даютъ или грозятъ дать результаты отрицательные. Съ тѣмъ вмѣстѣ черты, принадлежащія психологической формѣ (напр. сословной), прежде не

вторгавшіяся въ положительное содержаніе души, а потому и не квалифицировавшіяся съ точки зрѣнія нравственной, теперь оживаютъ въ сознаніи, проникаютъ въ сферу чувства и воли и, окрашивая собою внутренній міръ человѣка, проявляются такъ, что даютъ поводъ къ нравственной оцѣнкѣ, зачастую по необходимости приводящей къ болѣе или менѣе неблагопріятному вердикту. Въ такомъ именно состояніи душевнаго упадка и самоотравы и находился кн. Андрей въ разсматриваемый моментъ. Пьера «поразила происшедшая въ немъ перемѣна. Слова были ласковы, улыбка была на губахъ и лицѣ князя Андрея, но взглядъ былъ потухшій, мертвый... взглядъ этотъ и морщинка на лбу, выражавшіе долгое сосредоточеніе на чемъ-то одномъ, поражали и отчуждали Пьера...» (гл. XI).—Съ Пьеромъ, котораго онъ всегда такъ любилъ, съ которымъ всегда былъ такъ откровененъ, «онъ не чувствовалъ теперь ничего общаго» и они бесѣдуютъ—«какъ люди мало близкіе другъ къ другу» (ib).—Таковы внѣшніе симптомы перемѣны, происшедшей въ кн. Андреѣ,—сущность же ея ярко выражается въ слѣдующемъ.

Князь Андрей всегда былъ аристократъ, большой баринъ. Это прежде всего—сословная форма его психики. Раньше она, оставаясь формою, не приводила къ соотвѣтственнымъ чисто-сословнымъ идеямъ, къ аристократическимъ стремленіямъ. Согласно свойствамъ своей натуры, Болконскій стремился къ широкой дѣятельности и мечталъ о славѣ, но въ этихъ стремленіяхъ и мечтахъ онъ отнюдь не руководился чисто-сословными идеалами. Теперь же, въ моментъ постигшаго его душевнаго кризиса, въ состояніи замкнутости и отчужденности, классовая форма психики проявляется у него такъ, какъ будто она не только—форма, но и часть душевнаго содержанія. Презрѣніе къ обществу и къ мужику выступаетъ рѣзкими, рѣжущими ухо звуками и производитъ впечатлѣніе диссонанса.—«Я бы радъ ничего не дѣлать»—говоритъ онъ Пьеру,—«а вотъ съ одной стороны дворянство здѣшнее удостоило меня чести избранія въ предводители: я насилу отдѣлался. Они не могли понять, что во мнѣ нѣтъ того, что нужно, нѣтъ этой извѣстной добродушной и озабоченной пошлости, которая нужна для этого».—Для мужика, по его словамъ, единственное возможное счастье есть счастье животное. «... Ежели ихъ бьютъ, сѣкутъ, посылаютъ въ Сибирь, то я думаю (говоритъ онъ), что имъ отъ этого нисколько не хуже. Въ Сибири ведетъ онъ ту-же скотскую жизнь, а рубцы на тѣлѣ

заживаютъ, и онъ также счастливъ, какъ и былъ прежде» (гл. XI).—«Князь Андрей (говоритъ Толстой) высказывалъ свои мысли такъ ясно и отчетливо, что видно было:—онъ не разъ думалъ объ этомъ, и онъ говорилъ охотно и быстро, какъ человѣкъ, долго не говорившій. Взглядъ его оживлялся тѣмъ больше, чѣмъ безнадежнѣе были его сужденія».—Замѣчаніе это намекаетъ на то, что парадоксы и рѣзкія сужденія кн. Андрея не были случайными lapsus linguae, обмолвкою, желчной выходкой, что онъ много и упорно думалъ на эти темы въ своемъ одиночествѣ и какъ-бы нарочито и злорадно растравлялъ въ себѣ душевную рану, пока накопившійся ядъ и вся боль души не вылились въ формѣ этихъ безотрадныхъ и недобрыхъ мыслей. Онъ доказываетъ Пьеру, что мужикъ счастливъ въ своемъ убожествѣ, въ своей темнотѣ, умственной и нравственной, и другого счастья онъ не хочетъ и не достоинъ, что даже нелѣпо лѣчить крестьянъ, заводить больницу. «Гораздо покойнѣй и проще ему умереть. Другіе родятся, и такъ ихъ много»,—продолжаетъ растравлять свою рану кн. Андрей.—«Ежели бы ты жалѣлъ, что у тебя лишній работникъ пропалъ, какъ я смотрю на него», уже явно клевещетъ онъ на себя,—«а то ты изъ любви же къ нему его хочешь лѣчить...» Наконецъ, онъ договаривается до вывода, что освобожденіе крестьянъ нужно не для нихъ самихъ, а для успокоенія совѣсти рабовладѣльцовъ: «оно (говоритъ онъ) нужно для тѣхъ людей, которые гибнутъ нравственно, наживаютъ себѣ раскаяніе, подавляютъ это раскаяніе и грубѣютъ отъ того, что у нихъ есть возможность казнить право и неправо. Вотъ кого мнѣ жалко и для кого бы я желалъ освободить крестьянъ...»

Эти жестокія слова, представляющіяся плодомъ изощреннаго сословнаго эгоизма, который хуже наивнаго, производятъ въ устахъ кн. Андрея впечатлѣніе какого-то крика отъ боли, какой-то клеветы на себя или жестокаго самобичеванія. Такъ, повидимому, чувствовалъ Пьеръ,—и не вѣрилъ, чтобы это были настоящія, подлинныя мысли кн. Андрея. Такъ чувствуемъ и мы и думаемъ, что князь Андрей только въ припадкѣ душевнаго угнетенія могъ ихъ высказывать, что они были выраженіемъ не подлинныхъ его убѣжденій, а только того самоотравленнаго, пессимистическаго состоянія, въ которомъ онъ находился въ данное время. Что даетъ намъ право такъ думать? Во-первыхъ, то общее представленіе о князѣ Андреѣ, которое возникаетъ изъ

совокупности всего, что мы о немъ знаемъ, во-вторыхъ, его поступки во время самаго «кризиса»,—хронологически совпадающіе съ только-что приведенными взглядами, но явно имъ противорѣчащіе (о нихъ ниже); это противорѣчіе недобрыхъ мыслей и добрыхъ дѣлъ показываетъ, что «взгляды» не шли далеко вглубь, не имѣли значенія императива, заправляющаго волею, что они были не болѣе какъ внѣшнею и болѣзненною накипью. Наконецъ, во третьихъ, мы имѣемъ въ своемъ распоряженіи слѣдующаго рода діагнозъ: если спорное душевное состояніе (*а*) связано узами тѣсной психической ассоціаціи съ другимъ проявленіемъ (*б*), а это послѣднее очевидно и безспорно оказывается ненормальнымъ, не вытекающимъ изъ натуры человѣка, а лишь временнымъ и преходящимъ, то и первое—*а*—должно быть таковымъ же, хотя бы по нѣкоторымъ пунктамъ оно могло казаться согласнымъ съ натурою субъекта, напр. съ его сословной психикой или наслѣдственными чертами. У кн. Андрея роль второго проявленія, — *б* — играетъ слѣдующее: «я живу и въ этомъ не виноватъ, стало быть, надо какъ-нибудь получше, никому не мѣшая, дожить до смерти», говорить онъ Пьеру въ отвѣтъ на восклицаніе послѣдняго: «Ахъ это ужасно, ужасно. Я не понимаю, какъ можно жить съ такими мыслями!» — Нѣсколько выше онъ говоритъ: «я жилъ для славы (вѣдь что же слава? — та-же любовь къ другимъ, желаніе сдѣлать для нихъ что-нибудь, желаніе ихъ похвалы). Такъ я жилъ для другихъ, и не почти, а совсѣмъ погубилъ свою жизнь. И съ тѣхъ поръ сталъ спокойнѣе, какъ живу для одного себя». И еще (выше): «я знаю въ жизни только два дѣйствительныя несчастья: угрызеніе совѣсти и болѣзнь. И единственное благо есть отсутствіе этихъ двухъ золъ. Жить для себя, избѣгая только этихъ двухъ золъ,—вотъ вся моя мудрость теперь».

Вотъ этой-то «мудрости» ни Пьеръ, ни мы ужъ рѣшительно повѣрить не можемъ, т.-е. не можемъ смотрѣть на нее, какъ на органическое стремленіе, вытекающее изъ самой натуры кн. Андрея въ ея нормальномъ состояніи. Это стремленіе замкнуться въ эгоистическомъ существованіи для себя и своей семьи, имѣя цѣлью только спокойствіе совѣсти, этотъ родъ воздержанія отъ жизни, родъ недѣланія—стоитъ въ явномъ противорѣчіи съ натурою кн. Андрея, съ основными чертами его характера, темперамента, склада ума. Оно не вяжется прежде всего съ особенностями его волевого уклада. Человѣкъ съ сильной волею, съ

жаждой власти, съ даромъ авторитарности, человѣкъ, такъ импонирующій другимъ, такъ умѣющій подчинять себѣ людей, какъ Болконскій, могъ питать и высказывать этотъ эгостическій, лично-нравственный идеалъ «жизни для себя» только въ состояніи ненормальномъ. Ненормальность для него подобныхъ стремленій обнаруживается имъ самимъ путемъ своего рода reductio ad absurdum, путемъ предъявленія крайняго вывода изъ развиваемыхъ имъ взглядовъ,—вывода, который оказывается очевидно-невозможнымъ: это именно то, что говоритъ кн. Андрей о своемъ будто-бы безповоротномъ рѣшеніи не принимать участія въ войнѣ,—а это рѣшеніе, очевидно, невозможно для Болконскаго уже потому, что непремѣнно привело-бы къ «угрызеніямъ совѣсти», т.-е. тому «единственному» злу, о которомъ онъ только что говорилъ. На вопросъ Пьера «отчего вы не служите въ арміи?»—кн. Андрей отвѣчаетъ: «Послѣ Аустерлица? Нѣтъ, покорно благодарю, я далъ себѣ слово, что служить въ дѣйствующей русской арміи не буду. И не буду, ежели-бы Бонапарте стоялъ тутъ, у Смоленска, угрожая Лысымъ Горамъ,—и тогда бы я не сталъ служить въ русской арміи...»—Вотъ это и есть очевидное reductio ad absurdum второго душевнаго проявленія (*б*), которое, впрочемъ, и само по себѣ представляется наноснымъ и временнымъ. Если же это такъ, то и первое проявленіе (*а*—презрѣніе и жестокое—на словахъ—отношеніе къ народу, утрированное барство, уже не какъ форма, а какъ содержаніе) должно быть признано таковымъ-же, ибо оба тѣсно связаны психологически, обнаруживаются и дѣйствуютъ вмѣстѣ, помогая другъ другу.

И въ самомъ дѣлѣ, мы видимъ, что дѣйствительное (фактическое) отношеніе кн. Андрея къ народу совсѣмъ не таково, какъ можно было-бы ожидать по высказаннымъ имъ взглядамъ. Оказывается, что къ мужикамъ кн. Андрей относится такъ-же гуманно, просвѣщенно и филантропически, какъ и Пьеръ, только безъ его «мечтательности» и съ большимъ умѣніемъ провести на дѣлѣ задуманныя въ пользу народа новшества. Въ теченіе своего двухлѣтняго угрюмаго затворничества въ деревнѣ, кн. Андрей осуществилъ цѣлый рядъ важныхъ и смѣлыхъ по тому времени мѣропріятій. «Всѣ тѣ предпріятія по имѣніямъ, которыя затѣялъ у себя Пьеръ и не довелъ ни до какого результата, безпрестанно переходя отъ одного дѣда къ другому, всѣ эти предпріятія, безъ высказыванія ихъ кому бы то ни

было и безъ замѣтнаго труда, были исполнены княземъ Андреемъ. Онъ имѣлъ въ высшей степени ту недостававшую Пьеру практическую цѣпкость, которая, безъ размаховъ и усилій съ его стороны, давала движеніе дѣлу. Одно имѣніе его въ триста душъ крестьянъ было перечислено въ вольные хлѣбопашцы (это былъ одинъ изъ первыхъ примѣровъ въ Россіи), въ другихъ барщина замѣнена оброкомъ. Въ Богучарово была выписана на его счетъ ученая бабка для помощи родильницамъ, и священникъ за жалованіе обучалъ дѣтей крестьянскихъ и дворовыхъ грамотѣ». (Ч. III-я, гл. I).

III.

Въ первыхъ трехъ главахъ III-й части этого (II-го) тома Толстой изображаетъ намъ съ обычнымъ мастерствомъ и на этотъ разъ съ примѣненіемъ психологическаго анализа процессъ постепеннаго возстановленія душевныхъ силъ князя Андрея. Рѣшительный поворотъ произошелъ во время поѣздки князя въ рязанскія имѣнія и оттуда къ Ростовымъ. Скорѣйшему возстановленію душевнаго равновѣсія содѣйствовали впечатлѣнія весны, картина пробуждающейся къ новой жизни природы и обаяніе женской натуры Наташи, этой жизнерадостной и страстной дѣвушки, полной заразительной жажды любви и счастья. Толстой слѣдитъ шагъ за шагомъ за всѣми моментами душевнаго возрожденія своего героя,—и эти страницы стоятъ того, чтобы на нихъ остановиться. Дорогою, видъ стараго дуба, казалось, не возрождающагося къ новой жизни, словно ее отрицающаго, навѣялъ—по ассоціаціи представленій—на кн. Андрея рядъ все еще «безнадежныхъ», но уже не озлобленныхъ, не мрачныхъ, а «грустно-пріятныхъ» мыслей,—«Да, онъ правъ, тысячу разъ правъ этотъ дубъ—думалъ кн. Андрей:—пускай другіе, молодые, вновь поддаются на этотъ обманъ, а мы знаемъ жизнь, наша жизнь кончена!» (гл. I). Онъ повидимому укрѣпляется въ прежней душевной позиціи, но въ глубинѣ души ледъ ужъ растаялъ, и нуженъ былъ только какой-нибудь толчекъ извнѣ, чтобы процессъ возстановленія душевныхъ силъ быстро пошелъ впередъ.

Подъѣзжая къ Отрадненскому дому Ростовыхъ, Болконскій увидалъ бѣгущую наперерѣзъ его коляски толпу дѣвушекъ. «Впереди другихъ ближе подбѣгала къ коляскѣ черноволосая, очень тоненькая, странно-тоненькая, черноглазая дѣвушка...»—

Рѣзкій контрастъ между этой эмблемой самодовлѣющей радости жизни и тѣмъ грустно-тихимъ состояніемъ духа, въ которомъ находился кн. Андрей, и которое уже не было летаргіею души, а было симптомомъ ея пробужденія,—этотъ контрастъ сразу отозвался въ душѣ князя Андрея: «ему вдругъ стало отчего-то больно». Эта боль была не что иное, какъ—уже не тихая,—а живая скорбь о томъ, что онъ ушелъ отъ жизни, отрекся отъ ея радостей, отъ все-завлекающихъ ея интересовъ и миражей, какъ-бы заживо похоронилъ себя,—а между тѣмъ эта жизнь, съ ея интересами, ея миражами, всетаки существуетъ и вѣчно будетъ существовать, дразня и маня куда-то вдаль, въ погоню за тѣмъ, что еще такъ недавно обезцѣнилось въ глазахъ кн. Андрея, а теперь вотъ опять назойливо мелькаетъ передъ его умственнымъ взоромъ и шепчетъ неясныя рѣчи о счастьѣ, о любви, о стремленіяхъ, о трудѣ, о славѣ. Вотъ и сейчасъ оно яркимъ метеоромъ промелькнуло передъ нимъ въ образѣ этой черноволосой, «странно-тоненькой», точно молоденькое деревцо, дѣвушки, которая «такъ счастлива какою-то своею, отдѣльною, вѣрно глупою, но веселою и счастливою жизнью». «Чему она такъ рада, о чемъ она думаетъ?.. И чѣмъ она счастлива?—невольно съ любопытствомъ спрашивалъ себя князь Андрей».

Въ теченіе скучнаго дня, проведеннаго у Ростовыхъ, кн Андрей, «нѣсколько разъ взглядывая на Наташу, чему-то смѣявшуюся, веселившуюся между другою, молодою половиною общества, все спрашивалъ себя: О чемъ она думаетъ? Чему она такъ рада?»

Эти мысли и вся ихъ боль съ новою силою овладѣли душою кн. Андрея, когда ночью онъ открылъ ставни, и «лунный свѣтъ, какъ будто онъ насторожѣ, у окна давно ждалъ этого, ворвался въ комнату. Онъ отворилъ окно». Наверху, надъ его окномъ, слышны были женскіе голоса. Наташа и Соня изъ окна своей комнаты любовались ночью и луной. Эти дѣвичьи голоса, восторги Наташи, споръ съ Соней, которая тащила ее спать, возня и борьба, пропѣтая музыкальная фраза—все это взволновало и разбудило дремлющую душу кн. Андрея наплывомъ тѣхъ-же мыслей, тѣхъ-же вопросовъ,— неясной формулой неясныхъ чувствъ. «И дѣла нѣтъ до моего существованія! думалъ онъ, и въ душѣ его вновь поднялась неожиданная путаница молодыхъ мыслей и надеждъ, противорѣчащихъ всей его жизни...» (гл. II).

На обратномъ пути кн. Андрей опять увидѣлъ тотъ дубъ, который тогда своимъ угрюмымъ видомъ такъ гармонировалъ съ

его пессимистическимъ настроеніемъ. Теперь онъ, «весь преображенный, раскинувшись шатромъ сочной, темной зелени, млѣлъ, чуть колыхаясь въ лучахъ вечерняго солнца». При видѣ возрожденія стараго дуба, на кн. Андрея «нашло безпричинное, весеннее чувство радости и обновленія.—Нѣтъ, жизнь не кончена въ 31 годъ, — вдругъ окончательно, безперемѣнно рѣшилъ кн. Андрей».

И какъ человѣкъ мыслящій, съ большой склонностью къ рефлексіи, съ потребностью разобраться въ томъ, что происходитъ въ его душѣ, кн. Андрей вникаетъ и на этотъ разъ въ броженіе души своей и, анализируя его, подводитъ ему такой итогъ: «Мало того, что я знаю все то, что есть во мнѣ, надо, чтобъ и всѣ знали это: и Пьеръ, и эта дѣвочка... надо, чтобы всѣ знали меня, чтобы не для меня одного шла моя жизнь, чтобы не жили они такъ независимо отъ моей жизни, чтобы на всѣхъ она отражалась и чтобы всѣ они жили со мной вмѣстѣ!»

Такъ темное, стихійное, нелогическое броженіе возрождающейся души кн. Андрея отразилось въ его сознаніи—тамъ, гдѣ верхній слой психики, называемый мыслью, организуется въ логическую, раціональную дѣятельность ума. Здѣсь, въ этой «свѣтлой» точкѣ, темныя движенія души переработались въ ясную формулу, которая, какъ вообще многія операціи сознательной мысли, приняла обличье извѣстной постановки и рѣшенія вопроса и вмѣстѣ съ тѣмъ должна была стать основаніемъ и движущимъ мотивомъ дальнѣйшаго движенія душевныхъ силъ. Но пока броженіе въ глубинѣ души все еще такъ смутно, такъ неопредѣлимо, такъ расплывчато,—и формула, ему отвѣчающая въ сознаніи, по необходимости остается общей, неопредѣленной, непріуроченной и не приспособленной къ практическому рѣшенію задачи. Она гласитъ: хочу жить! Жить—вообще, вмѣстѣ съ другими, такъ чтобы другіе раздѣляли мою жизнь, а я—ихъ жизнь. Но какъ именно жить, что дѣлать, къ чему стремиться, въ какихъ отношеніяхъ другіе должны раздѣлять жизнь кн. Андрея и т. д.—всѣ эти вопросы остаются пока невыясненными и нерѣшенными. Но толчокъ данъ, мысль уже движется въ извѣстномъ направленіи и въ свое время придетъ къ постановкѣ и рѣшенію этихъ практическихъ задачъ.

Въ видахъ объясненія сложной натуры кн. Андрея, мы—въ связи съ разбираемымъ здѣсь его душевнымъ состояніемъ—по-

ставимъ вопросъ, который можно формулировать такъ: будутъ-ли тѣ рѣшенія, тѣ практическіе выводы, къ которымъ онъ придетъ, прямымъ продуктомъ начавшейся сознательной работы мысли—безъ видимаго или сколько-нибудь значительнаго участія нелогическихъ душевныхъ состояній, или-же этимъ-то послѣднимъ и впредь, когда уже уляжется броженіе его души, будетъ принадлежать львинная доля въ постановкѣ, въ направленіи, въ рѣшеніи его жизненныхъ задачъ? Если судить по симптомамъ, которые обнаруживались во время вышеописаннаго кризиса, то придется сказать, что у князя Андрея сфера сознательной, логической мысли находится въ тѣсной зависимости отъ той, которую я называю нелогической, ирраціональной—отъ сферы чувствъ, настроеній, темныхъ броженій души; онъ развивалъ и высказывалъ тогда мысли—какъ-бы не свои, не своего ума, а внушенныя переживавшимся имъ настроеніемъ. Правда, онъ находился тогда въ состояніи ненормальномъ. Посмотримъ-же, каково соотношеніе у него этихъ двухъ сферъ, раціональной и ирраціональной, во-первыхъ, въ періодъ возстановленія его душевнаго равновѣсія, и во-вторыхъ, въ нормальномъ состояніи. Что касается перваго, то Толстой въ гл. III-й даетъ намъ ясныя указанія, намѣчаетъ симптомы, по которымъ мы можемъ заключить, что въ этотъ періодъ, какъ и во время „кризиса", умъ кн. Андрея, работая съ лихорадочной напряженностью, находился подъ давленіемъ и внушеніемъ того, что происходило въ нелогической сферѣ. Тамъ броженіе идетъ crescendo, и все сильнѣе разгорается пламя неясныхъ чувствъ, непонятныхъ смущеній, тайной тревоги; это броженіе, не поддающееся логическому учету, скорѣе моглобы (будь кн. Андрей натура художественная) найти себѣ исходъ въ поэтическихъ образахъ, примѣрно—на мотивъ Огарева:

Чего хочу, чего? О, такъ желаній много,
Такъ къ выходу ихъ силѣ нуженъ путь,
Что кажется порой, ихъ внутренней тревогой
Сожжется мозгъ, и разорвется грудь!..

Но князь Андрей—не поэтъ. Онъ человѣкъ анализа, логическихъ привычекъ и вкусовъ мысли. Онъ также человѣкъ практическаго дѣла. Оттого это броженіе разрѣшается у него напряженной работой самоанализа, попытками уяснить себѣ практическій вопросъ: „что дѣлать?" и соотвѣтственными волевыми актами. Въ результатѣ получается практическое рѣшеніе ѣхать въ Петербургъ и искать тамъ дѣятельности, подходящей къ его

гл. VI-ой) главная черта ума Сперанскаго, поразившая кн. Андрея, была несомнѣнная, непоколебимая вѣра въ силу и законность ума. Видно было, что никогда Сперанскому не могла прійти въ голову та обыкновенная для князя Андрея мысль, что нельзя всетаки выразить всего того, что думаешь, и никогда не приходило сомнѣніе въ томъ, что не вздоръ ли все то, что я думаю, и все то, во что я вѣрю?"—Въ этихъ словахъ уже данъ намекъ на коренное различіе между натурою Сперанскаго и натурою кн. Андрея. Оба—люди сильной воли, практическаго склада, оба призваны къ общественной роли. Оба—люди мыслящіе, съ большимъ умомъ, развитымъ широкимъ образованіемъ и воспитаннымъ въ духѣ раціоналистической философіи XVII-го вѣка. Но на этомъ и прекращается сходство. Огромное различіе между ними сводится къ тому, что у Сперанскаго (опять-таки—въ изображеніи Толстого) ирраціональная сфера души какъ-бы отдѣлена китайской стѣной отъ его ума, дѣйствующаго независимо отъ этой сферы, между тѣмъ какъ у Болконскаго именно въ послѣдней и сосредоточены могущественные импульсы, всегда вліяющіе на его умъ и опредѣляющіе то или другое направленіе его мысли. При этомъ наблюдается слѣдующее любопытное психологическое явленіе. Казалось бы, при независимости ума отъ ирраціональной сферы, отъ чувствъ, страстей, разныхъ стихійныхъ влеченій и броженій духа, у Сперанскаго, какъ онъ понятъ и нарисованъ Толстымъ, мы должны были бы встрѣтить большую свободу мысли, широту воззрѣнія, глубину пониманія вещей (хоть бы только въ сферѣ его дѣятельности, въ вопросахъ государственныхъ, въ вопросахъ реформъ, внутренней политики). Но этого-то мы и не видимъ, т. е. Толстой нарочито представляетъ намъ Сперанскаго человѣкомъ узкимъ, доктринеромъ. Мало того, эту узкость и доктринерство Толстой видимо приводитъ въ связь съ указанной независимостью ума Сперанскаго отъ его ирраціональной сферы. А эта независимость въ свою очередь обусловлена—по мысли Толстого—тѣмъ, что натура Сперанскаго неглубока и несложна, что въ его ирраціональной

или неправъ Толстой въ оцѣнкѣ этого выдающагося государственнаго человѣка. Для нашей задачи важенъ не подлинный Сперанскій, а то, какъ понялъ его Толстой. Въ пониманіи Сперанскаго Толстой сходится съ Н. И. Тургеневымъ, взглядъ котораго однако признается одностороннимъ. Ср. „La Russie et les russes", т. I. и мнѣніе А. Н. Пыпина („Общ. движ. при Ал. I").

сферѣ нѣтъ тѣхъ живыхъ силъ, дѣйствіе которыхъ порою можетъ нарушать безоблачность мысли, но зато даетъ широкую основу для ея творческой дѣятельности, или—лучше сказать—доставляетъ уму своего рода питаніе въ формѣ живыхъ чувствъ, отзывчивости на разнообразные импульсы извнѣ, воспріимчивости къ тонкимъ оттѣнкамъ духовной жизни, чутья дѣйствительности. Такой человѣкъ, въ сферѣ науки или философіи становится отрѣшеннымъ отъ жизни схоластикомъ, въ сферѣ практической дѣятельности—доктринеромъ и „бюрократомъ". Весьма возможно, что въ дѣйствительности Сперанскій (если не ошибаюсь,—лицо, не вполнѣ еще выясненное историками) не принадлежалъ къ этому типу, и Толстой въ данномъ случаѣ прегрѣшилъ передъ фактической истиной. Какъ бы то ни было, но въ фигурѣ Сперанскаго Толстой изобразилъ намъ россійскую бюрократическую разновидность того общеевропейскаго типа государственнаго дѣятеля—раціоналиста и доктринера, который былъ весьма распространенъ въ XVIII-мъ вѣкѣ. Этотъ типъ глубоко антипатиченъ Толстому, твердо стоящему, какъ извѣстно, на той точкѣ зрѣнія, что жизнь людей, обществъ, государствъ и народовъ слагается и течетъ по своимъ таинственнымъ законамъ, столь-же ирраціональнымъ и столь-же независимымъ отъ воли человѣка, какъ и законы природы. Смѣшонъ и жалокъ былъ бы тотъ естествоиспытатель—схоластикъ, который возымѣлъ бы дерзновенную мысль предписывать природѣ законы, выводя ихъ изъ собственнаго разума, изъ апріорныхъ и произвольныхъ общихъ положеній. Въ такомъ именно свѣтѣ и являются дѣятели-доктринеры XVIII-го вѣка, полагавшіе возможнымъ искусственно урегулировать и исправить жизнь народовъ, подгоняя ее подъ общія нормы, выведенныя разсудочнымъ путемъ изъ общихъ теоретическихъ посылокъ, даже изъ „общихъ мѣстъ" [1].— Эта точка зрѣнія и соотвѣтственная ей концепція Сперанскаго наглядно проявляются во всемъ, что говоритъ Толстой объ умѣ, о натурѣ, даже внѣшности и манерахъ знаменитаго государ-

1) Я лично склоненъ думать, что этотъ взглядъ на дѣятелей вѣка просвѣщенія и революціи, развитый такъ блистательно Тэномъ, не чуждъ преувеличенія. Допуская даже, что въ теоріи они всегда оставались доктринерами, мы однако видимъ, что на практикѣ они зачастую противорѣчили своимъ теоріямъ и дѣйствовали руководясь чутьемъ дѣйствительности, повинуясь давленію этой самой дѣйствительности, наконецъ—подъ импульсомъ страстей.

ственнаго человѣка, о томъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на кн. Андрея, и въ особенности—въ изображеніи того, какъ и почему послѣдній въ концѣ концовъ разочаровался въ Сперанскомъ и пересталъ вѣрить въ плодотворность его дѣятельности.— Изъ сопоставленія натуры кн. Андрея съ натурою Сперанскаго съ особливой очевидностью обнаруживается, что, въ противоположность Сперанскому, у кн. Андрея діапазонъ ирраціональной сферы весьма значителенъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ всегда на лицо давленіе этой сферы на мысль, и что, сообразно этому, изъ князя Андрея никогда не могъ бы выйти дѣятель-доктринеръ, реформаторъ-бюрократъ.

Прослѣдимъ съ нѣкоторыми подробностями отношенія кн. Андрея къ Сперанскому.

На первыхъ порахъ онъ былъ прямо очарованъ Сперанскимъ. И вотъ здѣсь-то, между прочимъ, мы и находимъ одно изъ бьющихъ въ глаза доказательствъ того, что кн. Андрей вовсе не пустой «аристократикъ», только умѣющій щуриться въ салонахъ и диллетантски ко всему относящійся. Его несомнѣнный аристократизмъ и родовая гордость отнюдь не внушаютъ ему, какъ внушали многимъ, презрительнаго и недоброжелательнаго чувства къ «parvenu» Сперанскому, «кутейнику» и «поповичу». Напротивъ, кн. Андрей, нисколько не смущаясь происхожденіемъ Сперанскаго и безконечно далекій отъ мелкихъ чувствъ по отношенію къ нему, обнаруживаетъ то восторженное обожаніе и поклоненіе, которыя такъ свойственны натурамъ высшаго порядка, ищущимъ своего «идеала». «Кн. Андрей (читаемъ въ гл. VI-ой) такое огромное количество людей считалъ презрѣнными и ничтожными существами, такъ ему хотѣлось найти въ другомъ живой идеалъ того совершенства, къ которому онъ стремился, что онъ легко повѣрилъ, что въ Сперанскомъ онъ нашелъ этотъ идеалъ разумнаго и добродѣтельнаго человѣка». Здѣсь-же Толстой мимоходомъ указываетъ другую любопытную черту изъ психологіи отношеній кн. Андрея къ Сперанскому: «ежели-бы Сперанскій былъ изъ того-же общества, изъ котораго былъ князь Андрей, того-же воспитанія и нравственныхъ привычекъ, то Болконскій скоро-бы нашелъ его слабыя человѣческія, не геройскія стороны, но теперь этотъ странный для него логическій складъ ума тѣмъ болѣе внушалъ ему уваженія, что онъ не вполнѣ понималъ его». Отсюда, между прочимъ, мы видимъ, что

кн. Андрей далеко не рабъ своей сословной формы; что принадлежность къ аристократіи крови и великосвѣтское воспитаніе ничуть не мѣшаютъ ему быть человѣкомъ внутренно-свободнымъ.—Отношеніе въ этотъ періодъ молодого аристократа къ полновластному «поповичу» и «семинаристу» кратко опредѣляются словами: «онъ видѣлъ въ немъ разумнаго, строгомыслящаго, огромнаго ума человѣка, энергіей и упорствомъ достигшаго власти и употребляющаго ее только для блага Россіи» [1]) (гл. VI).

Князь Андрей вошелъ въ лабиринтъ дѣловой петербургской жизни,—онъ сталъ въ ряды передовой (либеральной) партіи, предводимой Сперанскимъ, и былъ, казалось, на пути къ своимъ завѣтнымъ цѣлямъ, къ осуществленію своихъ честолюбивыхъ мечтаній. Но уже заблаговременно Толстой даетъ намъ понять, что лихорадочная дѣятельность, которая захватила его героя, была въ сущности призрачной, и что вскорѣ онъ неминуемо долженъ былъ въ ней разочароваться. «Механизмъ жизни (читаемъ въ гл. VI), распоряженіе дня такое, чтобы вездѣ поспѣть вовремя, отнимали большую долю самой энергіи жизни. Онъ (князь Андрей) ничего не дѣлалъ, ни о чемъ даже не думалъ и не успѣвалъ думать, а только говорилъ, и съ успѣхомъ говорилъ то, что онъ успѣлъ прежде обдумать въ деревнѣ». И кн. Андрей все глубже входилъ въ этотъ «механизмъ» петербургской жизни, и не успѣлъ онъ, какъ говорится, оглянуться, какъ уже, благодаря Сперанскому, очутился во главѣ какой-то «коммиссіи» и уже составляетъ «Права людей» по кодексамъ Наполеона и Юстиніана, воображая, что отъ этой бумажной работы русскіе люди въ самомъ дѣлѣ станутъ обладателями «правъ». Но червь сомнѣнія вскорѣ зашевелился въ немъ. Въ гл. XVIII-ой (той-же II-ой части II-го тома) разсказано, какъ нѣкій Бицкій, «служившій въ различныхъ коммиссіяхъ», «одинъ изъ тѣхъ людей, которые выбираютъ направленіе, какъ платье—по модѣ, но которые поэтому-то кажутся самыми горячими партизанами направленій»,—захлебываясь отъ дѣланнаго восторга, сообщилъ князю Андрею важную

---

[1]) Любопытно отмѣтить, что кн. Андрей, этотъ гордый, независимый, чуждый всякой робости, самоувѣренный человѣкъ, «смутился при первой встрѣчѣ со Сперанскимъ: «... въ душѣ его что-то дрогнуло, какъ это бываетъ въ важныя минуты жизни. Было-ли это уваженіе, зависть, ожиданіе—онъ не зналъ». (Гл. V).

редовой партіи, въ сотрудничествѣ съ Сперанскимъ, въ блестящее время царствованія Александра I, столь богатое многообѣщавшими начинаніями, князь Андрей рѣшительно не пригоденъ. Онъ съ жаромъ принялся за работу въ этой сферѣ, но скоро охладѣлъ, разочаровался и бросилъ ее. Мы знаемъ, что кн. Андрей даровитъ, трудолюбивъ, упоренъ въ преслѣдованіи поставленныхъ цѣлей, обладаетъ большой силой воли. Неужели-же не могъ онъ найти—въ эту эпоху—приложенія своимъ силамъ и дарованіямъ? Онъ разочаровался въ Сперанскомъ, но вѣдь онъ могъ пойти своей дорогой, могъ даже создать свою партію.

Вся натура кн. Андрея, какъ задумана она Толстымъ, такова, что для такой дѣятельности онъ не годится. И въ особенности, двѣ черты, органически-тѣсно связанныя съ его натурою, являются рѣшительнымъ, непреодолимымъ препятствіемъ, дѣлающимъ невозможнымъ приспособленіе кн. Андрея къ той сферѣ, гдѣ онъ долженъ былъ дѣйствовать. Это, во-первыхъ, его органическая потребность вѣрить въ то дѣло, которому онъ служитъ, и въ плодотворность своей работы для него. Князь Андрей—изъ числа тѣхъ, которые безъ этой вѣры не могутъ работать. Мы видѣли, что эту вѣру онъ потерялъ.—Другая черта, это—его прямолинейность и неспособность къ компромиссамъ. Князь Андрей менѣе всего оппортюнистъ. Да и могъ-ли онъ, при его нескрываемомъ презрѣніи къ людямъ душевно-мелкимъ и пошлымъ, дѣйствовать объ руку съ Бицкими и Магницкими?

Само собой разумѣется, встрѣча въ Петербургѣ съ Наташей Ростовой, быстро-развившееся чувство къ ней, обаяніе перспективы возможнаго личнаго счастья и наконецъ жажда жизни, богатой новыми захватывающими впечатлѣніями—ускорили и безъ того неизбѣжный разрывъ Андрея съ бюрократической сферою и партіей реформъ.—«Изъ чего я бьюсь, изъ чего хлопочу въ этой узкой, замкнутой рамкѣ, когда жизнь, вся жизнь со всѣми ея радостями открыта мнѣ?»—говорилъ онъ себѣ, думая о Наташѣ,—и сталъ строить «счастливые планы на будущее».—«Мнѣ надо пользоваться своею свободой, пока такъ много въ себѣ чувствую силы и молодости...» (гл. XIX).

V.

Переходимъ къ III-му тому. Здѣсь кн. Андрей показанъ намъ въ иномъ освѣщеніи, въ новой роли. Послѣ постигшаго его удара

(измѣна невѣсты) онъ ожесточился и снова замкнулся въ себѣ, но этотъ второй душевный кризисъ далеко не походилъ на первый. Теперь онъ не ищетъ забвенія въ одиночествѣ,—онъ его ищетъ въ кипучей дѣятельности; не безотрадно-горькія думы наполняютъ его душу,—онъ теперь во власти иного настроенія, въ которомъ видную роль играетъ злое чувство мести. Ему страстно хотѣлось встрѣтить, наконецъ, Курагина и дать волю накопившемуся запасу злобы. Всюду и постоянно отравляло его «сознаніе, что оскорбленіе еще не вымещено, что злоба не излита, а лежитъ на сердцѣ» (т. III, ч. I, гл. VIII). Онъ легко и по малѣйшему поводу раздражался, и однимъ изъ послѣдствій такого желчнаго состоянія была ссора съ отцомъ, разсказанная въ гл. VIII-ой. Не трудно видѣть, что въ другое время онъ былъ-бы сдержаннѣе со старикомъ, котораго онъ любилъ и чтилъ (это и была первая ссора съ нимъ), и съумѣлъ-бы своимъ тактичнымъ вмѣшательствомъ уладить возникшія недоразумѣнія въ домѣ стараго князя.

Та дѣятельность, которой съ удвоенной энергіей онъ предается теперь, ища въ ней забвенія, съ психологической стороны рѣзко, можно сказать—принципіально отличается отъ его прежней дѣятельности, какъ на войнѣ, такъ и въ бюрократіи. Тогда онъ мечталъ о широкихъ планахъ, о подвигахъ, о славѣ,—теперь этой перспективы уже нѣтъ у него; его дѣло скромнѣе и проще,—онъ взялся за черную работу усерднаго и добросовѣстнаго исполнителя, да еще—за дѣло умнаго и проницательнаго наблюдателя людей и вещей.—«Его интересовали теперь только самые ближайшіе (читаемъ въ гл. VIII-ой), не связанные съ прежними практическіе интересы, за которые онъ ухватывался съ тѣмъ большею жадностью, чѣмъ закрытѣе были отъ него прежніе. Какъ будто тотъ безконечный, удаляющійся сводъ неба, стоявшій прежде надъ нимъ, вдругъ превратился въ низкій, опредѣленный, давившій, его сводъ, въ которомъ все было ясно, но ничего не было вѣчнаго и таинственнаго».—При такомъ направленіи лучшихъ силъ его ума и чувства, при такомъ дѣловомъ умонастроеніи, кн. Андрей и явился тѣмъ лицомъ въ эпопеѣ, которому Толстой могъ, съ увѣренностью въ точномъ и удачномъ исполненіи, ввѣрить роль наблюдателя и критика того, что происходитъ вокругъ,—событій, лицъ, характеровъ, партій. Въ этой именно роли и выступаетъ кн. Андрей въ главахъ

IX—XI первой части этого (III-го) тома [1]). Все, что мы читаемъ здѣсь, сказано въ одно и то же время и отъ лица автора, и отъ лица кн. Андрея. Оцѣнка лицъ и партій ведется здѣсь собственно отъ имени автора, но тутъ же указывается, что все это такъ наблюдалъ кн. Андрей. Наконецъ, излюбленныя мысли Л. Н. Толстого о войнѣ, о томъ, что не можетъ быть военной науки и военнаго генія, прямо приписаны кн. Андрею (за что послѣднему заодно съ Л. Н. Толстымъ такъ досталось отъ ген. Драгомирова).

И, конечно, Толстой могъ смѣло поручить это дѣло Болконскому: и по уму, и по образованію и по серьезности своего отношенія къ жизни, и по высотѣ своихъ требованій отъ людей и партій,—это былъ отличный наблюдатель-критикъ,—въ особенности въ этотъ періодъ, когда честолюбивыя стремленія перебродили въ немъ, и онъ былъ внѣ искушенія вмѣшаться въ борьбу партій, стать членомъ одной изъ нихъ и въ силу этого потерять вѣрность взгляда и независимость сужденія. Мѣткія характеристики людей и партій, данныя здѣсь Толстымъ, легко могли быть сдѣланы въ свое время кн. Андреемъ.

Глава XI-ая оканчивается указаніемъ, важнымъ для характеристики нашего героя. Когда государь, милостиво отнесшійся къ Болконскому, спросилъ его: «гдѣ онъ желаетъ служить»,—кн. Андрей «не попросилъ остаться при особѣ государя, а попросилъ позволенія служить въ арміи», чѣмъ «навѣки потерялъ себя въ придворномъ мірѣ».

Чѣмъ дальше, тѣмъ все больше кн. Андрей входитъ въ только-что указанную роль выразителя мыслей самого Толстого. Въ уже цитированномъ (въ предыдущей главѣ—о Кутузовѣ) мѣстѣ (т. III, ч. II гл. XVI) онъ, съ точки зрѣнія автора, даетъ оцѣнку Кутузова. Здѣсь-же на предложеніе Кутузова остаться при немъ въ штабѣ, Болконскій отвѣчаетъ такъ: «Благодарю вашу свѣтлость, но я боюсь, что не гожусь больше для штабовъ...»—говоритъ онъ и остается въ полку, въ строю, напутствуемый словами стараго фельдмаршала: «Иди съ Богомъ своею дорогою. Я знаю, твоя дорога—это дорога чести».

Этими словами отлично опредѣляется одна изъ самыхъ важныхъ сторонъ душевнаго склада кн. Андрея. Ей принадлежитъ

---

[1]) Дѣйствіе происходитъ въ главной квартирѣ на берегу Дриссы, гдѣ находится и государь. Болконскій, прикомандированный къ главнокомандующему Барклаю-Де-Толли, пріѣзжаетъ сюда послѣ ссоры съ отцомъ, руководимый между прочимъ стремленіемъ встрѣтить здѣсь Курагина.

исключительное значеніе въ томъ смыслѣ, что она замѣтно и постоянно вліяетъ на другія стороны и даже является тѣмъ душевнымъ цементомъ, которымъ онѣ связываются въ одно компактное и согласное цѣлое.

Въ самомъ дѣлѣ, разсматривая эти другія стороны, мы убѣждаемся, что, безъ «категорическаго императива» чести, онѣ, въ силу своихъ естественныхъ тенденцій, могли-бы привести психику кн. Андрея къ извѣстной дезорганизаціи и къ упадку. Дѣло въ томъ, что, Болконскій будучи по призванію человѣкомъ практическаго дѣла, въ то-же время въ высокой степени надѣленъ истинно-гамлетовскими чертами, способными парализовать его энергію. Онъ легко поддается рефлексіи. Человѣкъ съ выдающимся умомъ, съ обширнымъ образованіемъ, съ вѣчноработающей головой кн. Андрей не принадлежитъ къ числу тѣхъ представителей наивной мысли, которые, не мудрствуя лукаво, берутъ вещи такъ, какъ онѣ есть, и кругозоръ которыхъ ограниченъ видимымъ горизонтомъ, обрамляющимъ ту жизнь, ту среду, тѣ условія, тѣ ближайшія цѣли борьбы и дѣятельности, въ предѣлахъ и въ виду которыхъ эти люди живутъ, трудятся, стремятся, борются, хлопочутъ. Для кн. Андрея всегда на-сторожѣ минуты, когда горизонтъ вдругъ широко раздвигается, уходитъ вдаль, когда взвивается завѣса, за которою таится возможность, а иногда и неминуемость иной точки зрѣнія на вещи, иной постановки вопросовъ. Его умъ осаждаютъ все чаще мысли, отрѣшенныя отъ текущихъ интересовъ, созерцанія, почти всегда принимающія у него форму ѣдкой критики явленій окружающей дѣйствительности и нескрываемаго презрѣнія къ ней. Это—не спокойныя созерцанія мыслителя, это то, характерное для Гамлета, вторженіе нѣкоторыхъ высшихъ точекъ зрѣнія въ самую практику жизни, вторженіе, которое неизбѣжно превращаетъ каждый болѣе значительный волевой актъ въ психологическій вопросъ, преимущественно нравственнаго порядка. Не трудно видѣть, что, если, несмотря на эти гамлетовскія черты, кн. Андрей не теряетъ душевной энергіи, не обнаруживаетъ колебаній и сомнѣній, остается на своемъ посту, идетъ своей дорогой,—то этимъ онъ обязанъ прежде всего столь сильно-выраженному у него категорическому императиву чести.

Своеобразное сочетаніе различныхъ, иногда взаимно-противорѣчивыхъ душевныхъ тенденцій въ психикѣ Болконскаго и фактъ ихъ скрѣпленія въ одно цѣлое силою императива чести ярко

обнаружены въ гл. XXIV-й и XXV-й той-же III-й части III-го тома.

Кн. Андрей размышляетъ о предстоящемъ рѣшительномъ сраженіи, о возможности смерти. Это предстоящее сраженіе было не какое нибудь иное, а Бородинское, и минута была историческая,—въ ней былъ завязанъ узелъ цѣлой эпохи европейской исторіи. Въ такую минуту для людей даже меньшаго душевнаго калибра, чѣмъ Болконскій, все личное отодвигается на второй планъ. Но мысль о смерти не такъ-то легко отогнать, а смерть—дѣло личное и человѣкъ, о ней думающій, невольно обращается мыслью—даже въ такую историческую минуту—къ самому себѣ. Князь Андрей въ первый разъ съ необыкновенной живостью представилъ себѣ свою смерть [1])—«И съ высоты этого представленія все, что прежде мучило и занимало его, вдругъ освѣтилось холоднымъ бѣлымъ свѣтомъ, безъ перспективы, безъ различія очертаній. И вся жизнь представилась ему волшебнымъ фонаремъ, въ который онъ долго смотрѣлъ сквозь стекло и при искусственномъ освѣщеніи. Теперь онъ увидѣлъ вдругъ безъ стекла, при яркомъ дневномъ свѣтѣ, эти дурно намалеванныя картины» (гл. XXIV).—Какое душевное состояніе воспроизведено здѣсь? Мы только-что видѣли, что мысль о смерти ужаснула князя Андрея, что у него «морозъ пробѣжалъ по спинѣ» (см. примѣчаніе), когда онъ представилъ себѣ свое «отсутствіе въ этой жизни». Отсюда ясно, что онъ, несмотря на мрачное и ожесточенное состояніе духа, переживавшееся имъ въ это время, далеко не потерялъ вкуса къ жизни, желанія жить, дѣйствовать, стремиться. Да иначе онъ и не могъ-бы сохранить ни той ясности мысли, какую онъ проявляетъ, ни способности руководиться велѣніями чести,—одного изъ наиболѣе яркихъ и характерныхъ проявленій жизни. И жизнь далеко еще не утратила своей власти надъ нимъ,—онъ еще очень доступенъ, если можно такъ выразиться, гипнозу ея внушеній. Если все это такъ, то превращеніе въ его сознаніи этой жизни въ «дурно намалеванныя картины» указываетъ намъ не на преждевременную душевную смерть, а на что-то другое. Оно указываетъ на слѣдующее.

[1]) «Онъ живо представилъ себѣ отсутствіе себя въ этой жизни. И эти березы съ ихъ свѣтомъ и тѣнью, и эти курчавые облака, и этотъ дымъ костровъ—все это вокругъ преобразилось для него и показалось чѣмъ-то страшнымъ и угрожающимъ. Морозъ пробѣжалъ по его спинѣ» (гл. XXIV).

Князь Андрей шелъ по пути критики и отрицанія. Для натуръ, живущихъ не однимъ умомъ, для людей жизни, а не отвлеченной, теоретической мысли, это путь трудный, сопряженный съ постепенной переработкой различныхъ сторонъ души сообразно требованіямъ и отрицаніямъ критической мысли. Этотъ путь ведетъ въ гору. Это подъемъ духа надъ дѣйствительностью, которая представляется критическому уму въ различномъ видѣ, смотря потому, какъ высоко этотъ умъ успѣлъ подняться. Есть и такая точка, съ высоты которой даже наиболѣе значительныя и внутренне-содержательныя проявленія дѣйствительности покажутся дурно-размалеванными картинами. Вотъ этой-то точки и достигъ кн. Андрей въ данную минуту, когда мысль о смерти какъ-бы окрылила его умъ и чувство. И результатомъ подъема были новые успѣхи отрицанія, выразившіеся въ слѣдующемъ размышленіи кн. Андрея: «слава, общественное благо, любовь къ женщинѣ, само отечество... какъ велики казались мнѣ всѣ эти картины, какого глубокаго смысла казались онѣ исполненными! И все это такъ просто, блѣдно и грубо при холодномъ, бѣломъ свѣтѣ того утра, которое, я чувствую, подымается для меня!»

Таково душевное состояніе кн. Андрея въ данный моментъ. Разсматриваемое, какъ симптомъ или выраженіе самой натуры его, оно свидѣтельствуетъ о томъ, что князь Андрей принадлежитъ къ числу тѣхъ, кому присуща способность отвлечься отъ привычнаго—житейскаго—воззрѣнія на жизнь и всѣ блага ея и подняться на ту высоту—не только мысли, но и чувства, съ которой все это—тлѣнъ и прахъ и кажется такимъ мелкимъ, жалкимъ, пошлымъ. Но здѣсь важно отмѣтить принципіальное отличіе этого уклада духа отъ повидимому столь сходнаго съ нимъ порядка мыслей и чувствъ, развитыхъ Тургеневымъ въ «Довольно» и «Призракахъ» [1]).

У Тургенева преобладающими мотивами являются: сознаніе человѣческаго ничтожества передъ стихіею природы, передъ всепожирающимъ Молохомъ смерти, унылое и безотрадное чувство, отвѣчающее этому сознанію, философскій пессимизмъ, способный подкосить всякую энергію жизни и дѣятельности. У кн. Андрея мы находимъ ясные признаки настроенія, ничего общаго не имѣющаго съ такимъ упадкомъ душевныхъ силъ. Напротивъ,

[1]) Объ этомъ см. мои «Этюды о творчествѣ Тургенева», глава II.

мы видимъ, что всѣ силы его души встрепенулись, и съ психологической стороны—онъ вооруженъ для дѣйствія, для подвига такъ, какъ будто-бы въ тѣхъ мысляхъ о смерти, въ томъ «холодномъ бѣломъ свѣтѣ подымающагося для него утра» нѣтъ ровно ничего, способнаго порализовать энергію и сдѣлать всѣ дѣйствія, всѣ подвиги—ненужными. Это ясно обнаруживается въ бесѣдѣ съ Пьеромъ, пришедшимъ навѣстить его. Здѣсь опять выдѣляется рѣзкій, озлобленный тонъ его рѣчей, иногда напоминающій тотъ, въ которомъ онъ говорилъ съ Пьеромъ въ Богучаровѣ. Онъ утверждаетъ, напр., что «война должна быть война, а не забава», и что плѣнныхъ нужно убивать. Эта выходка, явно противорѣчащая гуманнымъ убѣжденіямъ кн. Андрея, есть одна изъ тѣхъ утрировокъ, къ которымъ такъ склоненъ кн. Андрей въ минуты приподнятаго и напряженнаго состоянія духа. Въ такія минуты ярко обнаруживается его прирожденный радикализмъ, его склонность къ рѣзкой постановкѣ вопросовъ, къ послѣдовательному отрицанію. И Толстой могъ, не рискуя нарушить художественную правду, приписать здѣсь князю Андрею свой отрицательный взглядъ на войну. Радикальная постановка вопроса, гласящая, что война должна быть война, а не игрушка, что, если ужъ нужно воевать, то слѣдуетъ «принимать строго и серіозно эту страшную необходимость»,—такая постановка является лишь предисловіемъ къ рѣзкой, безпощадной филиппикѣ—въ духѣ идей Л. Н. Толстого—противъ войны и военнаго сословія («цѣль войны—убійство, орудія войны—шпіонство, измѣна и т. д...»).—Филиппика оканчивается невольно вырвавшимся признаніемъ, проливающимъ свѣтъ на то, что происходитъ въ душѣ кн. Андрея: «какъ Богъ только смотритъ и слушаетъ ихъ! Ахъ, душа моя, послѣднее время мнѣ стало тяжело жить. Я вижу, что сталъ понимать слишкомъ много. А негодится человѣку вкушать отъ древа познанія добра и зла...»

Человѣку, «вкусившему» отъ этого «древа», человѣку по-гамлетовски много понимающему и далеко видящему черезъ головы современниковъ,—смотря по его натурѣ, открыты три пути въ жизни: или уединеніе мыслителя, путь умственной активности и нравственной обломовщины, или проповѣдь чисто-нравственной реформы на почвѣ самосовершенствованія (какъ напр. извѣстное ученіе Толстого), или наконецъ путь дѣйствія quand-même, рѣшительно чуждаго всему, что пахнетъ компромиссомъ и оппортюнизмомъ. Князь Андрей, прежде всего, человѣкъ чести и

сильной дѣйствующей воли, натура столь склонная къ радикальной постановкѣ вопросовъ и къ душевному ожесточенію въ борьбѣ,—пойдетъ, конечно, по третьему пути и—погибнетъ на своемъ посту.

VI.

Мы видѣли кн Анрея въ различномъ освѣщеніи, въ разные моменты его жизни—и такимъ образомъ имѣли возможность всесторонне изучить его сложную натуру. Въ одномъ только душевномъ состояніи мы еще не наблюдали его, въ состояніи душевнаго размягченія, умиленія, всепрощенія, и даже не знаемъ, способенъ-ли онъ питать эти чувства. Оказывается однако, что способенъ.

Тяжело раненаго въ Бородинскомъ сраженіи, князя Андрея перенесли на перевязочный пунктъ, и здѣсь, послѣ операціи, онъ узналъ въ молодомъ офицерѣ, которому только-что отняли ногу, ненавистнаго ему Анатоля Курагина. Еще наканунѣ, вспомнивъ о немъ и объ измѣнѣ Наташи, онъ испыталъ приливъ злобныхъ чувствъ и жажду мести. Но теперь, передъ лицомъ смерти, всѣ злобныя чувства угасли въ немъ, и, потрясенный физически и нравственно, онъ «заплакалъ нѣжными, любовными слезами надъ людьми, надъ собой и надъ ихъ и своими заблужденіями» (гл. XXXVII-ая III-го тома). И совсѣмъ новый порядокъ чувствъ и мыслей овладѣваетъ его душой. «Состраданіе, любовь къ людямъ, къ любящимъ, любовь къ ненавидящимъ насъ, любовь къ врагамъ,—да, та любовь, которую проповѣдывалъ Богъ на землѣ, которой меня учила княжна Марья и которой я не понималъ,—вотъ отчего мнѣ жалко было жизни, вотъ оно то, что еще оставалось мнѣ, ежели-бы я былъ живъ...» (тамъ-же).

Такъ думалъ кн. Андрей въ эту минуту, когда онъ уже уходилъ отъ жизни и когда въ немъ произошло какъ-бы перемѣщеніе душевныхъ элементовъ: въ его душѣ вскрылся родникъ христіанскихъ, альтруистическихъ чувствъ, существованія котораго раньше мы и не подозрѣвали у него. Оказывается, что натура князя Андрея еще сложнѣе и богаче, чѣмъ мы думали. Теперь его лозунгъ—состраданіе, христіанское всепрощеніе, и онъ думаетъ, что только это и оставалось-бы ему въ жизни. Это была, конечно, иллюзія. Останься онъ въ живыхъ, этотъ порядокъ чувствъ опять скрылся-бы гдѣ-то въ глубинѣ души, и заправляющимъ мотивомъ его жизни и дѣятельности явились-бы

совсѣмъ иныя чувства и мысли, тѣ земныя, страстныя состоянія, которыя управляли имъ раньше и въ которыхъ найдется все, что угодно, только не всепрощеніе. Къ этому послѣднему онъ могъ-бы обратиться развѣ только послѣ какого-нибудь потрясающаго событія въ его жизни, которое-бы такъ или иначе отняло у него всякую возможность живой дѣятельности. Едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что, останься кн. Андрей въ живыхъ,— онъ явился бы однимъ изъ вождей движенія, окончившагося событіемъ 1825 года. И вотъ развѣ только послѣ катастрофы, гдѣ нибудь въ казематѣ или «въ глубинѣ сибирскихъ рудъ», заживо-похороненный, онъ могъ-бы, «храня гордое молчаніе», найти послѣднее прибѣжище въ христіанскомъ всепрощеніи, въ евангельской любви.

Изображеніе того, какъ умиралъ кн. Андрей (главы XXXII-ая III-ей части III-го тома и XVI-ая I-ой части IV-го тома), принадлежитъ къ значительнѣйшимъ созданіямъ художественнаго генія Толстого. Но для выясненія натуры кн. Андрея, послѣ всего, что мы уже знаемъ о немъ, существеннаго значенія оно не имѣетъ.

Въ эпилогѣ, дѣйствіе котораго относится къ 1820-му году, и гдѣ, какъ сказано въ примѣчаніи къ «Декабристамъ», видны уже признаки того возбужденія, которое отразилось въ событіяхъ 14-го декабря 1825-го года»,—тѣнь князя Андрея промелькнетъ передъ нами, когда мы прочтемъ о томъ, какъ «радостно- восторженно» слушалъ его сынъ Николенька горячія рѣчи Пьера, какъ «всякое слово Пьера жгло его сердце», и онъ наконецъ спросилъ: «Ежели-бы папа былъ живъ... онъ-бы согласенъ былъ съ вами»? (гл. XIV). И еще разъ эта тѣнь промелькнетъ передъ нами—на послѣдней страницѣ великой эпопеи, въ описаніи сна Николеньки и въ заключительныхъ словахъ восторженнаго мальчика: «А дядя Пьеръ? О, какой чудный человѣкъ! А отецъ? Отецъ, отецъ! Да, я сдѣлаю то, чѣмъ-бы даже онъ былъ доволенъ...»

Въ психологіи движенія 20-хъ годовъ весьма видное мѣсто, можетъ быть даже первенствующая роль принадлежала тому укладу натуръ и умовъ, который изображенъ въ Андреѣ Болконскомъ. Но рядомъ съ натурами и умами этого типа выдвигались и дѣйствовали другіе, между прочимъ— тѣ, которые находятъ свое обобщеніе въ образѣ Пьера Безухова. Въ

слѣдующей главѣ, анализируя этотъ типъ, мы вмѣстѣ съ тѣмъ будемъ вспоминать и князя Андрея, чтобы, путемъ сравненія обѣихъ натуръ, подвести имъ итогъ—съ точекъ зрѣнія психологической, исторической и художественной.

ГЛАВА VII.

Великосвѣтскіе типы. Пьеръ Безуховъ.

I.

Пьеръ Безуховъ, въ противуположность князю Андрею, не представляется намъ натурою, о которой возможны были бы діаметрально-противоположныя сужденія. Поэтому намъ не придется въ данномъ случаѣ прибѣгать къ подробному анализу душевнаго склада Безухова съ цѣлью установить правильное понятіе о немъ, какъ о человѣкѣ. Наша задача будетъ состоять только въ томъ, чтобы выяснить смыслъ и значеніе этого образа—какъ типа. Преслѣдуя эту задачу, мы пойдемъ по тому же пути, по которому шелъ Толстой: онъ создалъ типъ Безухова параллельно типу князя Андрея, онъ далъ намъ въ этихъ двухъ образахъ двѣ соотносительныя, одна другую дополняющія и объясняющія психологическія величины. Слѣдовательно, наше посильное истолкованіе типа Безухова должно быть основано на сравненіи съ типомъ князя Андрея.

Мы знаемъ, что, по складу ума, по основнымъ чертамъ натуры, въ особенности по характеру волевого уклада, кн. Андрей принадлежитъ къ числу людей «дѣла», къ призваннымъ дѣятелямъ практической жизни на почвѣ общественной или государственной. Пьеръ Безуховъ, напротивъ,—натура непригодная для практической дѣятельности. Основная черта его ума—склонность (и способность) къ «мечтательному философствованію», его натуры—слабость дѣйствующей воли, отсутствіе иниціативы, неспособность воздѣйствовать на окружающую среду и подчинять себѣ волю другихъ людей [1]).

Какъ ни важна эта характеристика занимающихъ насъ образовъ, но она сама по себѣ въ отдѣльности отъ другихъ чертъ, не можетъ служить основаніемъ для ихъ критическаго истолкова-

---

[1]) Мѣста. гдѣ натура Пьера въ этомъ смыслѣ противупоставляется натурѣ князя Андрея, уже были приведены нами («В. и М», томъ I ч. 1, гл. VI и т. II, ч. III, гл. I).

нія, какъ художественныхъ типовъ. Если-бы мы, отправляясь отъ этой характеристики, захотѣли взглянуть на образы кн. Андрея и Пьера Безухова, какъ на широкіе общечеловѣческіе типы, то сейчасъ-же увидѣли бы, какъ эти яркія, полныя жизни фигуры тускнѣютъ, блѣднѣютъ и теряютъ свою художественную силу. Но въ этомъ отношеніи есть нѣкоторая разница между ними; кн. Андрей всетаки въ извѣстной мѣрѣ доступенъ отвлеченію отъ условій и красокъ мѣста, времени, націи и перенесенію на другую почву, между тѣмъ какъ Пьеръ Безуховъ рѣшительно этому сопротивляется,—нѣтъ возможности перенести его куда-нибудь въ Германію, Францію, Англію,—онъ мыслимъ и художественно-интересенъ только въ Россіи и при томъ въ извѣстную эпоху,—ту, которую можно назвать переходною отъ XVIII-го вѣка къ XIX-му. Это различіе въ значительной мѣрѣ обусловлено тѣмъ, что кн. Андрей—аристократъ pur sang, человѣкъ породы и рѣзко-типично выраженной сословной психологической формы, между тѣмъ какъ Пьеръ, сынъ «случайнаго» человѣка, «плебей» по происхожденію, является представителемъ той условно-аристократической формы, которая была явленіемъ специфически-русскимъ [1]). Въ старой Европѣ типичныя черты кн. Андрея, какъ аристократа, какъ человѣка чести и долга и съ призваніемъ къ широкой государственной дѣятельности, наконецъ какъ дѣятеля оппозиціи, найдутся еще въ болѣе яркомъ и цѣльномъ выраженіи. Поэтому кн. Андрей, со стороны сословно-психологической, можетъ отчасти служить однимъ изъ представителей этого общеевропейскаго—уже почти исчезнувшаго—типа. Но не трудно видѣть, что при всемъ томъ онъ отнюдь не могъ бы претендовать на роль широкаго художественнаго обобщенія, ибо странно было бы ходить за такимъ обобщеніемъ въ страну, гдѣ аристократическая форма осталась чѣмъ-то недоразвитымъ, лишь слабымъ намекомъ на то, что въ этомъ отношеніи представляетъ Зап. Европа.

---

1) Въ этой психологической формѣ, которую удобнѣе было бы называть не аристократическою, а только великосвѣтскою, мы не усматриваемъ той стойкости и законченности, какія мы видимъ въ настоящемъ аристократизмѣ князя Андрея. Въ Пьерѣ даетъ себя чувствовать „плебей“, homo novus, въ своемъ родѣ „разночинецъ“. Онъ аристократъ только потому, что получилъ великосвѣтское и заграничное воспитаніе и образованіе, что, enfant naturel „графа“ Безухова, онъ былъ имъ усыновленъ и получилъ титулъ „графа“ вмѣстѣ съ огромнымъ состояніемъ.

Итакъ, кн. Андрей въ извѣстной только мѣрѣ доступенъ превращенію изъ типа русскаго въ общечеловѣческій. Зато Пьеръ Безуховъ этой операціи рѣшительно противится. Конечно, натуры, съ преобладающей склонностью къ «мечтательному философствованію» и съ слабымъ развитіемъ дѣйствующей воли найдутся вездѣ. Но дѣло въ томъ, что Пьеръ, понятый только какъ воплощеніе извѣстныхъ чертъ натуры безъ дальнѣйшихъ опредѣленій, безъ пріуроченія къ русской почвѣ, совсѣмъ исчезаетъ, какъ художественный образъ, превращаясь въ блѣдную схему, которая ничего не говоритъ, никакого психологическаго интереса не представляетъ. Когда мы говоримъ о широкой общечеловѣчности типа, то при этомъ предполагается, что типъ обособляясь, сохраняетъ свою художественность, остается живымъ конкретнымъ образомъ. Если же онъ не можетъ обобщаться иначе, какъ теряя свою художественную конкретность, то это значитъ, что это типъ—не общечеловѣческій, и навязывать ему такую роль нельзя. Таковъ именно нашъ Пьеръ Безуховъ.

Если мы вникнемъ въ психологическую сущность той черты, которую Толстой называетъ «мечтательнымъ философствованіемъ» Пьера, то убѣдимся, что она представляетъ собою явленіе специфически-русское. Прежде всего это «мечтательное философствованіе» не есть игра празднаго ума, въ которомъ пробудились нѣкоторые теоретическіе интересы и который сегодня философствуетъ о войнѣ, о грядущемъ вѣчномъ мирѣ, завтра о Богѣ и истинной вѣрѣ и т. д. и находитъ удовлетвореніе въ самомъ процессѣ этого теоретизированія. Для Пьера характерно то, что всѣ его умствованія вытекаютъ изъ глубокой потребности его натуры, что они не исключительно «головного» происхожденія. По самому складу своего ума, Пьеръ менѣе всего теоретикъ и кабинетный мыслитель. Вопросы, надъ которыми онъ бьется, при всей отвлеченности нѣкоторыхъ изъ нихъ, суть въ сущности вопросы жизни, и сама постановка ихъ вытекаетъ изъ стремленія выработать себѣ такое міросозерцаніе и устроить свою жизнь такъ, чтобы въ результатѣ получить возможно полный покой совѣсти, возможное нравственное удовлетвореніе, основанное на сознаніи, что мысля и живя такъ, онъ «дѣлаетъ благое дѣло среди царюющаго зла». Пьеръ—типичный представитель или, лучше, провозвѣстникъ, предтеча русскаго идеализма.

Если съ этой точки зрѣнія проведемъ параллель между нашими двумя героями, то князя Андрея придется назвать

реалистомъ, Пьера Безухова — идеалистомъ. Понятіе идеализма я беру здѣсь не въ томъ смыслѣ, въ какомъ оно противупоставляется эгоизму и житейской практичности; я противуполагаю его реализму, который отнюдь не означаетъ отсутствія идеальныхъ стремленій. Оба, Болконскій и Безуховъ, руководятся въ жизни нѣкоторыми высшими стремленіями, имѣютъ или ищутъ извѣстный идеалъ; они отнюдь не могутъ быть причислены къ людямъ, живущимъ въ свое удовольствіе, поглощеннымъ заботами о карьерѣ, каковы напр. кн. Василій, Курагинъ, Бергъ и др.; равнымъ образомъ они не принадлежатъ и къ числу тѣхъ наивно-хорошихъ людей, которые неспособны подняться выше уровня идей и нравственныхъ понятій времени. Типичнымъ представителемъ такихъ хорошихъ людей является Николай Ростовъ. Безуховъ и Болконскій рѣзко выдѣляются изъ массы заурядныхъ людей того и другого сорта сложностью и высотою своихъ душевныхъ запросовъ, серьезностью своихъ требованій отъ жизни и неспособностью наивно жить, «не мудрствуя». Въ этомъ смыслѣ оба они являются идеалистами. Но называя одного изъ нихъ реалистомъ, я уже беру терминъ идеализмъ въ другомъ смыслѣ, именно въ томъ, въ какомъ онъ противупоставляется реализму. Критеріемъ является здѣсь уже не присутствіе или отсутствіе идеальныхъ стремленій, а извѣстный способъ отношенія мыслящаго человѣка къ дѣйствительности. Я называю князя Андрея реалистомъ потому, что для него исходною точкою стремленій служитъ сама дѣйствительность, и онъ въ построеніи своихъ идей, въ исканіи идеала, въ программѣ жизни и дѣятельности всегда ищетъ точки опоры въ окружающей его жизни и въ ея исторически-данныхъ условіяхъ. Я называю Пьера идеалистомъ потому, что у него отправнымъ пунктомъ мысли и стремленій является всегда система тѣхъ идей или вѣрованій, которыми онъ въ данное время увлекается, а дѣйствительность, среди которой онъ живетъ и дѣйствуетъ, представляется какъ бы выводомъ изъ этихъ идей: она окрашивается и мѣняетъ свой обликъ сообразно измѣненіямъ въ характерѣ и составѣ идей, занимающихъ мысль Пьера.

Вспомнимъ, съ какою сознательностью и, можно сказать, добросовѣстностью наблюдателя относится князь Андрей къ окружающей дѣйствительности. Онъ прямо ее изучаетъ, стара-

ясь прежде всего составить себѣ ясное и точное представленіе о совершающихся событіяхъ, о группировкѣ партій, о ихъ вожакахъ, о достоинствахъ и недостаткахъ дѣйствующихъ лицъ и т. д. Послѣ назначенія Кутузова, князю Андрею необходимо было лично удостовѣриться въ томъ, въ самомъ-ли дѣлѣ этотъ выборъ удаченъ. И вотъ онъ, поступивъ въ штабъ Кутузова, присматривается къ этому человѣку, наблюдаетъ его и выноситъ извѣстную намъ оцѣнку главнокомандующаго. Такъ же точно наблюдаетъ онъ и старается понять Багратіона. Всѣ его отношенія къ Сперанскому въ основѣ своей сводятся къ старанію понять этого государственнаго человѣка, вникнуть въ смыслъ и значеніе его дѣятельности. Съ неменьшимъ вниманіемъ присматривается онъ и къ второстепеннымъ лицамъ, входя въ подробности ихъ дѣйствій (вспомнимъ его отношенія къ кап. Тушину). Во всемъ этомъ видна не только «жилка» человѣка съ практическимъ смысломъ, но также виденъ реалистъ по складу ума,—человѣкъ, который прежде всего стремится изслѣдовать и понять окружающую дѣйствительность, какъ она есть, чтобы потомъ уже, на основаніи этого изученія, установить свои отношенія къ ней.

Совсѣмъ иное видимъ мы у Пьера. Онъ живетъ своимъ собственнымъ міромъ и только присутствуетъ среди окружающей его дѣйствительности. Настоящее положеніе вещей, группировка и борьба партій, дѣятельность историческихъ лицъ,—все это не вызываетъ въ немъ того живого интереса, который заставилъ бы его хоть на время отвлечься отъ занимающихъ его идей. Углубленный въ свои размышленія, занятый поразившей его мыслью, онъ въ состояніи совсѣмъ забыть о томъ, что происходитъ вокругъ. Его извѣстная разсѣянность находится въ несомнѣнной связи съ этой способностью самоуглубленія.

Во время занятія Москвы французами Пьеръ поглощенъ массонствомъ и реагируетъ на событія мистикою чиселъ и фантастическимъ планомъ убіенія Наполеона. Въ плѣну, въ самой ужасной обстановкѣ, въ виду постоянной возможности или даже вѣроятности быть разстрѣлянымъ, Пьеръ по прежнему занятъ внутренней работой духа, которая, въ виду исключительности положенія, получаетъ только новое направленіе, да еще протекаетъ съ большею, чѣмъ прежде интенсивностью. Прежній порядокъ идей разрушается, и на его развалинахъ созидается новый. Въ этомъ созиданіи огромное значеніе имѣла встрѣча съ Кара-

таевымъ. Смыслъ этихъ внутреннихъ преобразованій—тотъ, что плѣнъ, лишенія, смерть—все это пустяки. Свобода—внутри человѣка, и отнять ее нельзя. Безсмертную душу нельзя держать въ плѣну или казнить и т. д. Главы XII—XIV второй части IV-го тома, описывающія эту «эволюцію» во внутреннемъ мірѣ Пьера, прекрасно воспроизводятъ идеалистическій складъ ума этого человѣка.

Очень характерно также то, что, въ то время какъ князю Андрею нужно было знать, что такое Кутузовъ, Пьеру необходимъ былъ Каратаевъ. Русскій національный складъ или «духъ» въ формѣ «Кутузовщины» выступилъ на историческую авансцену и явился однимъ изъ важныхъ факторовъ въ цѣпи событій, въ текущемъ обиходѣ дѣйствительности, въ данный моментъ исторической жизни Россіи,—и вотъ именно съ этой стороны онъ и представлялъ интересъ и важность для князя Андрея. Для Пьера, живущаго своимъ внутреннимъ міромъ и озабоченнаго исканіемъ вѣры или идеала, важно не это историческое проявленіе національнаго духа, а—его корни въ народной психологіи, его наивное выраженіе въ народномъ міросозерцаніи. Чтобы Пьеръ могъ пріобщитьси къ нему, онъ долженъ былъ открыться Пьеру въ идеализированномъ образѣ Каратаева.

II.

Идеалистическая (въ вышеуказанномъ смыслѣ) натура Пьера прекрасно поясняется тѣмъ, что говоритъ о немъ Толстой въ началѣ главы XII-ой II-ой части IV-го тома: «Онъ долго въ своей жизни искалъ съ разныхъ сторонъ... успокоенія—согласія съ самимъ собою... онъ искалъ этого въ филантропіи, массонствѣ, въ разсѣянности свѣтской жизни, въ винѣ, въ геройскомъ подвигѣ самопожертвованія, въ романтической любви къ Наташѣ; онъ искалъ этого путемъ мысли, и всѣ эти исканія и попытки—всѣ обманули его». Въ этихъ словахъ Толстой подвелъ итогъ всей предшествующей исторіи Пьера — вплоть до плѣна и встрѣчи съ Каратаевымъ. Главный внутренній мотивъ, двигавшій Пьеромъ, сводился къ исканію душевнаго успокоенія, согласія съ самимъ собою; иначе говоря, его задача была личная, субъективная въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. Говорю «въ тѣсномъ смыслѣ», потому что въ обширномъ смыслѣ и у князя Андрея, да и у всякаго человѣка задача, вытекающая изъ

потребностей ума, сердца, изъ характернаго уклада воли, всегда остается личною, субъективною, да и не можетъ быть иною. Но огромное различіе между людьми въ этомъ отношеніи сводится къ самому способу постановки задачи и къ характеру вытекающихъ оттуда отношеній человѣка къ дѣйствительности. Одни ставятъ свою личную проблему такъ, что большая часть умственныхъ, нравственныхъ и другихъ интересовъ высшаго порядка, какіе есть у человѣка, влекутъ его мысль, чувство и волю къ окружающей жизни, къ дѣйствительности, къ тому, что совершается во внѣшнемъ мірѣ; въ силу этого, личная задача сводится къ установленію или урегулированію отношеній человѣка къ дѣйствительности; это приводитъ къ изученію дѣйствительности, къ исканію въ ней точекъ опоры, къ критикѣ явленій окружающей жизни,—критикѣ, которая можетъ дать важныя указанія для рѣшенія личной задачи. Таковъ князь Андрей. Вотъ именно людей этого типа я и называю реалистами, какъ бы ни были высоки и отдаленны ихъ идеалы. Другіе, напротивъ, ищутъ рѣшенія личной задачи путемъ самоуглубленія, стремясь преобразовать свой внутреній міръ силою той или иной идеи, того или другого чувства, вѣрованія, догмата—религіознаго или нравственнаго. Обращаясь къ дѣйствительности, они сейчасъ же превращаютъ любой изъ ея вопросовъ, которыхъ всегда много, въ личный вопросъ своей совѣсти, вѣры, убѣжденія. И на этомъ пути вопросы жизни незамѣтно превращаются у людей этого типа въ средство къ достиженію «согласія съ самимъ собою». Возникаетъ такимъ образомъ та постановка личной задачи, въ силу которой эта послѣдняя превращается въ личную или субъективную по преимуществу. Люди, какъ кн. Андрей, будутъ тяготѣть къ дѣйствительности, будутъ искать въ ней точекъ опоры, если нельзя для дѣятельности, то хотя для мысли, даже и въ томъ случаѣ, когда они убѣждаются въ невозможности окончательно рѣшить личную задачу. Задачу этихъ людей скорѣе можно бы опредѣлить, не какъ исканіе внутренняго успокоенія и согласія съ самимъ собою, а какъ стремленіе осуществить свою общественную стоимость. Для нихъ поэтому важнѣе всего—критика дѣйствительности и сознательный выборъ тѣхъ ея сторонъ, которыя, по свойству ума, по способностямъ, по общественному положенію человѣка, по «рессурсамъ», находящимся въ его распоряженіи, могли бы явиться для него искомыми точками опоры, точками приложенія душевныхъ силъ.

Напротивъ, для натуръ, какъ Пьеръ, дѣйствительность представляется только обстановкой или ареною, на которой они ищутъ «успокоенія»,—и безпорядочно, суетливо стучится жизнь въ ихъ внутренній міръ различными сторонами своими, важными и ничтожными,—и на эти призывы жизни такія натуры реагируютъ сегодня филантропіей, завтра самоотверженнымъ подвигомъ, потомъ романтической любовью и т. д. Идеалистическое отношеніе къ дѣйствительности въ такой натурѣ сводится къ тому, что представленіе о ней и пониманіе ея вопросовъ находится всецѣло въ зависимости отъ характера тѣхъ идей, вѣрованій, настроеній, въ которыхъ личность въ данное время думаетъ найти «успокоеніе».

Вотъ и посмотримъ, какъ Пьеръ искалъ этого успокоенія, и каковы были его отношенія къ дѣйствительности.

Сперва обратимся къ тому, очень важному въ жизни Пьера, моменту, когда онъ встрѣтился съ массономъ Баздѣевымъ (томъ II, часть II, гл. II). Это отправной пунктъ «исканій» Пьера, начало его душевной исторіи. Душевный мотивъ, который тутъ впервые намѣчался и вскорѣ долженъ былъ проявиться съ нѣкоторой отчетливостью, опредѣляется формулою: «личное нравственное совершенствованіе на почвѣ служенія ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству)». Формула эта у Пьера и у всѣхъ, для кого онъ типиченъ, отличается способностью къ перестановкѣ своихъ терминовъ, къ превращенію въ формулу: «служеніе ближнимъ (обществу, отечеству, человѣчеству) на почвѣ личнаго нравственнаго совершенствованія». Эта перестановка далеко не сознается, совершаясь нерѣдко «въ глубинѣ души». Еслибы во время бесѣды съ Баздѣевымъ Пьеръ могъ подвергнуть самого себя психологическому діагнозу, то онъ очень затруднился бы отвѣтить на вопросъ: какая именно внутренняя потребность влекла его къ массонству,—была ли это жажда нравственнаго возрожденія по преимуществу, или же жажда общественной дѣятельности? Несомнѣнно одно: онъ уже тогда искалъ «примиренія съ самимъ собою» и хотѣлъ стать лучше, чище, добродѣтельнѣе, но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что личная добродѣтель не могла быть конечною цѣлью его стремленій. И вскорѣ разрывъ Пьера съ петербургскими массонами покажетъ намъ, что Пьеръ не могъ успокоиться на одной личной добродѣтели, что потребность благотворной общественной дѣятельности была въ немъ жива и сильна, но только онъ не могъ, ни тогда, ни послѣ, освободить эту потребность отъ вопросовъ лич-

ной нравственности и субъективной задачи. Не оттого-ли общественная дѣятельность никогда и не удавалась Пьеру? Вотъ именно этотъ вопросъ мы и постараемся выяснить.

Не только у Пьера, тогда еще неофита въ этихъ идеальныхъ стремленіяхъ, но и у наставника его, Баздѣева, вопросы личные и вопросы общественные переплетаются самымъ причудливымъ образомъ. Баздѣевъ прежде всего открываетъ Пьеру заманчивую перспективу постиженія «высшей мудрости», абсолютной истины, составляющей будто бы монополію масонства. Онъ говоритъ: «высшая мудрость основана не на одномъ разумѣ, не на тѣхъ свѣтскихъ наукахъ—физикѣ, исторіи, химіи и т. д., на которыя распадается знаніе умственное. Высшая мудрость одна. Высшая мудрость имѣетъ одну науку—науку всего, науку, объясняющую все мірозданіе и занимаемое въ немъ мѣсто человѣка. Для того чтобы вмѣстить въ себѣ эту науку, необходимо очистить и обновить своего внутренняго человѣка, и потому прежде, чѣмъ знать, нужно вѣрить и совершенствоваться. И для достиженія этихъ цѣлей въ душу нашу вложенъ свѣтъ Божій, называемый совѣстью». Уже тутъ личное совершенствованіе, чистота души, добродѣтель представлены какъ средство для достиженія чего-то другого, точно онѣ—не цѣль сами по себѣ. На это Пьеръ могъ бы возразить, что разъ дѣло идетъ не о ходячей, элементарной морали, а о выработкѣ высшихъ нормъ и идеала нравственности, необходимо уже имѣть въ своемъ распоряженіи хотя бы основанія этой «мудрости», этого познанія «всего» и мѣста, занимаемаго человѣкомъ, т. е. нужно имѣть понятіе о призваніи, назначеніи человѣка и т. д. Но такъ какъ въ душѣ Пьера, въ данное время, господствуетъ стихійное броженіе, весьма аналогичное той путаницѣ понятій, какая имѣетъ мѣсто въ головѣ Баздѣева, то онъ и не находитъ никакихъ возраженій, а только поддакиваетъ,—и ему кажется, что въ самомъ дѣлѣ истинный путь открывается ему. Еще рѣзче обнаруживается хаотичность душевнаго броженія Пьера и путаница понятій Баздѣева въ томъ, что чувствуетъ первый, и что говоритъ второй—въ слѣдующей краснорѣчивой тирадѣ, затрогивающей самыя больныя мѣста Пьера: «Посмотрите на свою жизнь, государь мой. Какъ вы проводили ее? Въ буйныхъ оргіяхъ и развратѣ, все получая отъ общества и ничего не давая ему. Вы получили богатство? Какъ вы употребили его? Что вы сдѣлали для ближняго своего? Подумали-ли вы о десяткахъ

тысячъ вашихъ рабовъ, помогли-ли вы имъ физически и нравственно? Нѣтъ. Вы пользовались ихъ трудами, чтобы вести распутную жизнь...»—Казалось бы, вотъ наконецъ, Баздѣевъ подошелъ къ самой сути дѣла, къ тому пункту, съ высоты котораго лично-нравственная задача съ одной стороны и соціальная проблема съ другой очертятся въ своей раздѣльности и въ то же время въ тѣхъ раціональныхъ психологическихъ соотношеніяхъ своихъ, при соблюденіи которыхъ онѣ не будутъ путаться и мѣшать одна другой. Казалось, Баздѣевъ поднималъ животрепещущій вопросъ времени, вопросъ жизни, разумная постановка котораго могла подсказать и рѣшеніе личной задачи, напр. хотя-бы—на первыхъ порахъ—въ такомъ элементарномъ видѣ: ты ищешь спокойствія совѣсти, примиренія съ собою, нравственнаго удовлетворенія; вотъ предъ тобою великая задача,—служи ей: у тебя десятки тысячъ рабовъ, у тебя огромное состояніе,—употреби же хоть часть его на улучшеніе жизни и просвѣщеніе твоихъ рабовъ, не говоря уже о томъ, что, какъ человѣкъ гуманный, просвѣщенный и независимый, ты могъ бы кое-что сдѣлать въ интересахъ подготовки освобожденія народа отъ крѣпостной зависимости въ будущемъ, о чемъ уже начинаютъ подумывать лучшіе люди въ обществѣ и даже въ самомъ правительствѣ. И если ты пойдешь по этому пути, то несомнѣнно твоя жизнь будетъ полна, разумна и ты eo ipso сдѣлаешь огромный шагъ впередъ въ преслѣдованіи своего лично-нравственнаго идеала.—При такой постановкѣ вопроса вниманіе Пьера было бы отвлечено отъ субъективной сферы, гдѣ центромъ, вокругъ котораго все вращается, служитъ личное «я», къ объективной,—къ окружающей дѣйствительности, гдѣ это «я», при благопріятныхъ условіяхъ, можетъ найти, въ подчиненіи цѣлому, какъ-разъ то самое, что нужно для гармоническаго развитія душевныхъ силъ личности и для удовлетворенія различнымъ ея запросамъ, въ томъ числѣ и нравственнымъ.

Но, какъ видимъ изъ дальнѣйшаго, Баздѣевъ и не думаетъ, да и не можетъ стать на эту точку зрѣнія. Дѣло представляется такъ, что онъ лищь случайно подошелъ къ ней, чтобы сейчасъ же удалиться въ другую сторону,—что онъ заговорилъ о «рабахъ» и о служеніи ближнимъ только потому, что его слушатель былъ богатъ и имѣлъ рабовъ. Ну, а еслибы онъ ихъ не имѣлъ? Тогда самъ собою падалъ бы и вопросъ о рабахъ, о крѣпостномъ правѣ, о служеніи народу.

Очевидно, у Баздѣева, весь вопросъ сводится къ личной нравственности Пьера. Оттуда и та черта, что на одной линіи съ вопросомъ о «рабахъ» и въ томъ-же, тонѣ, въ той-же перспективѣ трактуются Баздѣевымъ и отношенія Пьера къ его женѣ и къ Долохову.—«Вы женились, государь мой, взяли на себя отвѣтственность въ руководствѣ молодой женщины, и что-же вы сдѣлали? Вы не помогли ей, государь мой, найти путь истины, а ввергли ее въ пучину лжи и несчастья. Человѣкъ оскорбилъ васъ, и вы убили его...»—На это Пьеръ могъ-бы резонно возразить, что не онъ ввергъ жену свою въ пучину лжи и несчастья, а скорѣе она его ввергла туда, во-вторыхъ, что относительно такой женщины, какъ Hélène, дочь кн. Василія, нелѣпо и подымать вопросъ о какомъ-либо «руководствѣ» и «пути истины».—А вотъ насчетъ десятковъ тысячъ рабовъ Пьеру дѣйствительно слѣдовало признаться, что онъ виноватъ, очень и непростительно виноватъ,—въ особенности въ томъ, что, послѣ исторіи съ Долоховымъ, онъ «выдалъ женѣ довѣренность на управленіе всѣми великорусскими имѣніями, что составляло большую часть его состоянія» (т. II, ч. I гл. VI). Ни откуда не видно, чтобы Пьеръ не только тогда, въ то первое время своихъ нравственныхъ и общественныхъ стремленій, но и впослѣдствіи сознавалъ всю безнравственность этого преданія крестьянъ на произволъ такой душевладѣлицы, какъ Hélène, этой расплаты съ развратной женщиной за учиненный ей скандалъ душами и трудомъ рабовъ. И въ дальнѣйшемъ, надѣюсь, мы убѣдимся въ томъ, что это несознаваніе, этотъ родъ нравственной слѣпоты у Пьера въ значительной мѣрѣ объясняется именно тѣмъ, что у него отдѣленіе общественной задачи отъ лично-нравственной никогда не было доведено до конца.

III.

Черезъ Баздѣева Пьеръ вступилъ въ общество массоновъ. Въ главѣ III (II части II тома) описывается обрядъ посвященія въ массоны. Цѣль ордена такова: «очищая и исправляя нашихъ членовъ, мы стараемся (наставляетъ Пьера «риторъ» при обрядѣ пріема) исправлять и весь родъ человѣческій, предлагая ему въ членахъ нашихъ примѣръ благочестія и добродѣтели, и тѣмъ стараемся всѣми силами противоборствовать злу, царствующему въ мірѣ». Центръ тяжести здѣсь передвинутъ въ сторону личной морали, причемъ

нормы этой послѣдней носятъ рѣзкій отпечатокъ сектантскаго духа и также—аскетическихъ стремленій. То и другое должно было въ значительной мѣрѣ тормозить или искажать значеніе массонства, какъ движенія прогрессивнаго [1]). Пьеру, какъ мы знаемъ, вскорѣ пришлось разочароваться въ массонствѣ, поскольку оно сводилось къ пустой формалистикѣ, упускало изъ виду практическія задачи филантропіи, какъ дѣла общественнаго, и наконецъ, принимало въ ряды своихъ членовъ лицъ, преслѣдующихъ исключительно цѣли личныя, эгоистическія (томъ II, часть III, гл. VII). Тѣмъ не менѣе на первыхъ порахъ Пьеру казалось, что онъ, наконецъ, вступаетъ на правильный путь; передъ нимъ дѣйствительно открывалась перспектива какихъ-то положительныхъ цѣлей жизни,—его прежнее безцѣльное, безидейное существованіе навсегда прекратилось. Послѣ неудачной попытки привести орденъ къ сознанію необходимости дѣятельнаго добра и энергической борьбы съ «порокомъ и глупостью», Пьеръ въ теченіе нѣкотораго времени занялся личнымъ упражненіемъ въ разныхъ, предписываемыхъ массонствомъ, добродѣтеляхъ (ib., гл. VIII и X, дневникъ Пьера). Эти упражненія и сопутствующія имъ размышленія могли имѣть нѣкоторое нравственное значеніе лично для Пьера,—они составляли извѣстный «моментъ» въ его духовномъ развитіи, не оставшійся совсѣмъ безплоднымъ. Но для насъ гораздо важнѣе познакомиться съ другой стороною дѣла, именно съ попытками Пьера выйти на путь «дѣятельнаго добра»,—путь, который долженъ былъ его привести къ постановкѣ, въ той или иной формѣ, хотя-бы въ чисто-филантропической, вопросовъ общественныхъ, и прежде всего—вопроса о крестьянахъ и крѣпостномъ правѣ. Любопытно, что увлеченіе Пьера этой стороною дѣла имѣло характеръ, такъ сказать, эпизодическій и хронологически предшествовало его упражненіямъ въ личныхъ добродѣтеляхъ и душеспасительныхъ размышленіяхъ на массонскія темы.

Интересующій насъ эпизодъ изложенъ въ гл. X, II части, II тома. Мы находимъ Пьера въ Кіевѣ и узнаемъ, во-первыхъ, что онъ пріѣхалъ сюда для введенія реформъ въ своихъ имѣніяхъ,

[1]) Я говорю здѣсь о массонствѣ въ томъ представленіи о немъ, какое вытекаетъ изъ его изображенія въ „Войнѣ и Мирѣ". Въ дѣйствительности наше массонство XVIII-го вѣка и начала XIX-го имѣло гораздо больше значенія и вліянія, чѣмъ сколько склоненъ, повидимому, приписывать ему Толстой.

согласно «написанному имъ для себя» (конечно, въ духѣ масонскихъ идей о любви къ человѣчеству и щедрости) «руководству», и, во-вторыхъ, что въ это время переслѣдованіе идеала личной «чистоты» и «благонравія» никакъ не давалось ему. Ведя разсѣянную свѣтскую жизнь, среди соблазновъ которой пальма первенства принадлежала попрежнему женской прелести, Пьеръ «сознавалъ, что изъ трехъ назначеній массонства онъ не исполнялъ того, которое предписывало каждому массону быть образцомъ нравственной жизни, а изъ семи добродѣтелей совершенно не имѣлъ двухъ: добронравія и любви къ смерти. Онъ утѣшалъ себя тѣмъ, что за то онъ исполнялъ другое назначеніе— исправленіе рода человѣческаго и имѣлъ другіе добродѣтели—любовь къ ближнему и въ особенности щедрость».

Стремясь приложить къ дѣлу эти свои добродѣтели и начать «исправленіе рода человѣческаго», Пьеръ не могъ, конечно, не вспомнить прежде всего о тѣхъ десяткахъ тысячъ рабовъ своихъ, на которыхъ указывалъ ему Баздѣевъ. И вотъ онъ останавливается мыслью на необходимости освобожденія своихъ крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, а пока—въ ожиданіи исполненія этой мечты предпринимаетъ въ своихъ имѣніяхъ рядъ реформъ и нововведеній, клонящихся къ улучшенію быта и къ нравственному и умственному просвѣщенію мужиковъ. Онъ вызвалъ всѣхъ управляющихъ въ Кіевъ и «сказалъ имъ, что немедленно будутъ приняты мѣры для совершеннаго освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, что до тѣхъ поръ крестьяне не должны быть отягчаемы работой, что женщины съ дѣтьми не должны посылаться на работы, что крестьянамъ должна быть оказываема помощь, что наказанія должны быть употребляемы увѣщательныя, а не тѣлесныя, что въ каждомъ имѣніи должны быть учреждены больницы, пріюты и школы».—Таковы были прекрасныя начинанія Пьера. Но, какъ извѣстно, всѣ они такъ и остались начинаніями: крестьяне не были освобождены, больницы и школы остались только на бумагѣ или недостроенными, и фактически положеніе крѣпостныхъ графа Безухова отъ этихъ затѣй только ухудшилось. Толстой обстоятельно поясняетъ намъ, почему это такъ вышло—въ противоположность удачному выполненію тѣхъ-же плановъ князя Андрея.—Когда Пьеръ объѣзжалъ свои имѣнія, чтобы лично убѣдиться въ исполненіи своихъ предначертаній,—«народъ вездѣ представлялся ему благоденствующимъ

и трогательно-благодарнымъ за сдѣланныя ему благодѣнія». Въ дѣйствительности-же было совсѣмъ не то: «Пьеръ не зналъ того, что тамъ, гдѣ ему подносили хлѣбъ-соль..., $^{9}/_{10}$ мужиковъ были въ величайшемъ разореніи. Онъ не зналъ, что вслѣдствіе того, что перестали по его приказу посылать ребятницъ, женщинъ съ грудными дѣтьми, на барщину, эти самыя ребятницы тѣмъ труднѣйшую работу несли на своей половинѣ. Онъ не зналъ, что священникъ, встрѣтившій его съ крестомъ, отягощалъ мужиковъ своими поборами, и что собранные къ нему ученики со слезами были отдаваемы ему и за большія деньги были откупаемы родителями. Онъ не зналъ, что каменныя, по плану, зданія (больницъ и школъ) воздвигались своими рабочими и увеличили барщину крестьянъ, уменьшенную только на бумагѣ. Онъ не зналъ, что тамъ, гдѣ управляющій указывалъ ему по книгѣ на уменьшеніе по его волѣ оброка на одну треть, была на половину прибавлена барщинская повинность» (ibid.).

Онъ ничего не зналъ... А потому и «былъ восхищенъ своимъ путешествіемъ по имѣніямъ» и думалъ: «какъ легко, какъ мало усилія нужно, чтобы сдѣлать такъ много добра!»

Главную причину неудачъ Пьера Толстой видитъ въ отсутствіи у него практическаго смысла, «той практической цѣпкости, которая бы дала ему возможность непосредственно взяться за дѣло». Мы уже знаемъ, какъ Толстой оттѣняетъ этотъ недостатокъ Пьера противуположной чертою кн. Андрея.

Но—думается намъ—если бы все дѣло ограничивалось этимъ, то это было бы полъ-бѣды. Человѣкъ, лишенный дѣловитости и практической цѣпкости, можетъ однако для проведенія въ жизнь своихъ благихъ намѣреній найти исполнителей и помощниковъ, обладающихъ этими качествами. Пьеръ могъ бы, напр., обратиться за указаніями, какъ взяться за дѣло, къ князю Андрею, поучиться у него, найти черезъ его посредство надежныхъ и умѣлыхъ людей, вмѣсто того, чтобы съ поражающей для умнаго человѣка наивностью полагаться на плута управляющаго.

Итакъ, главная бѣда Пьера не въ этомъ. Она — въ томъ, что для него устройство быта крестьянъ и вопросъ ихъ освобожденія довлѣютъ не сами себѣ, а являются только частью общей задачи исправленія рода человѣческаго, и что, даже и помимо этой массонской точки зрѣнія, для Пьера это великое и столь трудное, столь отвѣтственное дѣло было только средствомъ личнаго нравственнаго

удовлетворенія, успокоенія своей совѣсти и путемъ къ самоусовершенствованію. Съ этой стороны освобожденіе и улучшеніе быта крѣпостныхъ являлось для Пьера не цѣлью, а средствомъ. Вотъ это-то подкапывало въ самой основѣ общественную дѣятельность Пьера и съ тѣмъ вмѣстѣ наносило ущербъ и нравственнымъ стремленіямъ его. Это станетъ намъ вполнѣ ясно, если мы для опредѣленія понятія о нравственномъ элементѣ въ отношеніяхъ между людьми примемъ кантовскую формулу, которую я считаю единственно-раціональной: смотри на ближняго своего, кто бы онъ ни былъ, какъ на цѣль, а не какъ на средство. Изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы всякое трактованіе ближняго, какъ средства, было непремѣнно безнравственнымъ. Нѣтъ, оно только — не нравственно, не относится къ категоріи нравственнаго. Въ попыткахъ Пьера—улучшить жизнь крестьянъ и освободить ихъ— чисто нравственный элементъ сводился къ стремленію (хотя бы безсознательному) стать къ мужику въ такія отношенія, при которыхъ онъ являлся бы для помѣщика цѣлью, а не средствомъ достиженія другихъ, постороннихъ цѣлей. Напротивъ, все, что — въ попыткахъ Пьера — вытекало не изъ этого источника, а изъ желанія успокоить свою совѣсть и самому стать лучше черезъ стремленіе (все равно, въ этомъ случаѣ, приведшее, или нѣтъ, къ положительнымъ результатамъ) облагодѣтельствовать мужика, — все это, говорю я, не было элементомъ чисто-нравственнымъ: это было только благородно-эгоистическое стремленіе къ личному моральному благополучію, при чемъ ближній (мужикъ) трактовался какъ средство для достиженія этой цѣли, и послѣдняя достигалась даже въ томъ случаѣ, если фактически положеніе мужика отъ этихъ стремленій только ухудшалось. Возьмемъ другой примѣръ: если помѣщикъ былъ добръ, нежаденъ, не злоупотреблялъ своей властью, и крестьянамъ жилось у него хорошо; если онъ ихъ не сѣкъ, не ссылалъ; если онъ не вторгался въ ихъ семейныя отношенія, не устраивалъ или разстраивалъ, по своему произволу, браки и т. д.; то, конечно, отношенія на практикѣ переставали быть безнравственными, но и не превращались въ нравственныя: не слѣдуетъ смѣшивать идиллію съ этикою. Истинно-нравственный элементъ появится въ этихъ отношеніяхъ съ того

момента, когда эта гуманность, эта идиллія, будетъ одухотворена сознаніемъ, что низведеніе цѣлаго сословія на степень средства для матеріальнаго (да и всякаго иного) благополучія другого сословія есть нѣчто въ принципѣ безнравственное, и что нужно стремиться къ упраздненію этого порядка вещей. Сама по себѣ доброта, доброжелательность или жалость къ людямъ, гуманность и филантропія — все это только благопріятныя для установленія нравственныхъ отношеній условія и далеко не всегда на дѣлѣ совпадаютъ съ этими отношеніями. Истинное основаніе для послѣднихъ—свобода. Свобода личная—первый шагъ къ ихъ установленію, свобода экономическая—ихъ завершеніе. Только на почвѣ свободы возможны нравственныя отношенія между людьми, т.-е. такія, при которыхъ человѣкъ человѣку — цѣль. Оттуда—извѣстное ощущеніе какой-то нравственной лжи, сопутствующее наилучшимъ филантропическимъ стремленіямъ при сохраненіи statu quo несвободы. Оттуда также — ингредіентъ нравственнаго элемента во всѣхъ стремленіяхъ къ свободѣ, усиливающійся вмѣстѣ съ углубленіемъ и расширеніемъ самого понятія свободы. Въ проектахъ освобожденія крестьянъ съ землею было больше нравственнаго элемента, чѣмъ въ проектахъ освобожденія безъ земли, и въ первыхъ онъ былъ прямо-пропорціоналенъ количеству и качеству предполагавшагося надѣла.

Изъ такой постановки вопроса вытекаетъ нашъ взглядъ на задачу, предстоявшую Пьеру и всѣмъ, ему подобнымъ, кто только сознавалъ въ ту эпоху ненормальность крѣпостного права и стремился успокоить свою совѣсть помѣщика. Заморить червяка совѣсти было нетрудно—идилліей и филантропіей. Установить (или начать устанавливать) истинно-нравственныя отношенія къ народу можно было только—работая въ видахъ его освобожденія и экономическаго обезпеченія. Теперь спрашивается: что прежде всего было нужно для успѣшности этой работы? Прежде всего— не путать сюда задачъ своего совершенствованія и съ самаго начала поставить вопросъ на единственно-раціональную, съ этической и съ соціальной точки зрѣнія, почву, а именно ту, которая выражается формулою: свобода и благосостояніе народа нужны для него самого, а не для успокоенія совѣсти помѣщиковъ. Вотъ если бы Пьеръ съумѣлъ стать на эту точку зрѣнія, то, вмѣсто того, чтобы подвергать анализу свои душевныя движенія, онъ приложилъ бы

свой умъ, свои силы къ изученію быта и нуждъ крестьянъ и самого вопроса о ихъ освобожденіи или о подготовкѣ ихъ будущаго освобожденія и, конечно, несмотря на всю свою непрактичность, что-нибудь все-таки сдѣлалъ бы полезнаго и цѣннаго въ этомъ направленіи. Итакъ, дѣло сводилось къ перенесенію центра тяжести вопроса на почву соціальную и къ послѣдовательному разграниченію двухъ заинтересованныхъ въ вопросѣ «сторонъ»: стороны лично-нравственной и стороны общественной. Отъ такого разграниченія обѣ стороны только выигрываютъ.

У Пьера онѣ не были разграничены и потому обѣ оказались въ проигрышѣ. Сторона соціальная, фактическія отношенія помѣщика къ крестьянамъ и дѣло улучшенія быта послѣднихъ и подготовки ихъ освобожденія, не подвинулась ни на шагъ впередъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ и нравственный міръ Пьера, можно сказать, ничего не пріобрѣлъ, ибо успокоеніе совѣсти или удовлетвореніе нравственнаго чувства, достигаемое столь фиктивными добрыми дѣлами, основанное на иллюзіи, не можетъ считаться пріобрѣтеніемъ, плюсомъ въ нравственномъ обиходѣ личности, а равно и не говоритъ въ пользу большихъ запросовъ совѣсти, не свидѣтельствуетъ о тонкости, чуткости и серьезности моральнаго чувства. Съ этой стороны вышеприведенное указаніе Толстого на то, что Пьеръ былъ въ восхищеніи отъ своего путешествія по имѣніямъ, представляется намъ весьма характернымъ для Пьера, какъ нравственной величины въ данный моментъ его развитія. Еще характернѣе другое указаніе. «Главноуправляющій, весьма глупый и хитрый человѣкъ, совершенно понимая умнаго и наивнаго графа и играя имъ, какъ игрушкой, увидавъ дѣйствіе, произведенное на Пьера приготовленными пріемами, рѣшительнѣе обратился къ нему съ доводами о невозможности и, главное, ненужности освобожденія крестьянъ, которые и безъ того были совершенно счастливы». И Пьеръ поддался этимъ «доводамъ» глупаго и хитраго человѣка. Но почему-же, однако? И какъ это могло случиться? А вотъ— почему и какъ: «Пьеръ въ тайнѣ своей души соглашался съ управляющимъ въ томъ, что трудно было представить себѣ людей болѣе счастливыхъ, и что Богъ знаетъ, что ожидало ихъ на волѣ». Отсюда видно, что, во-первыхъ, Пьеру и въ голову не приходило простое соображеніе о томъ, что плохо то «счастье», которое зависитъ отъ доброй воли и прихоти рабовладѣльца, и, во-вторыхъ,

что задача-то должна была состоять вовсе не въ томъ, чтобы сдѣлать раба счастливымъ, а въ томъ, чтобы сдѣлать его не рабомъ, предоставляя ему, какъ человѣку свободному, самому устраивать свое благополучіе.—«Но Пьеръ»—читаемъ дальше—«хотя и не охотно, настаивалъ на томъ, что онъ считалъ справедливымъ», т. е. на освобожденіи. Это «хотя и неохотно» чрезвычайно характерно: оно показываетъ, что у Пьера въ то время еще не было живого чувства нравственнаго отвращенія къ крѣпостному праву, къ роли рабовладѣльца, а также—что онъ далеко не усвоилъ себѣ ни общественнаго, ни нравственнаго значенія реформы (отмѣны крѣпостного права), къ которой лучшіе люди того времени стремились съ большей или меньшей сознательностью. Пьеръ не умѣлъ взглянуть на дѣло съ подобающей серьезностью, какъ на великую общественную проблему, которая должна быть изучаема, разрабатываема и—пока—рѣшаема, въ видѣ опытовъ, усиліями частныхъ лицъ, въ маломъ масштабѣ,—независимо отъ лично-нравственной задачи, отъ того, успокоилась-ли уже, или еще нѣтъ, совѣсть того или другого помѣщика. Смѣшивая или не научившись еще раздѣлять эти двѣ задачи, Пьеръ принялъ успокоеніе своей совѣсти за рѣшеніе крестьянскаго вопроса.

Теперь опять вспомнимъ князя Андрея. Онъ, какъ мы знаемъ, также говоритъ, что крестьянъ слѣдуетъ освободить прежде всего для блага самихъ помѣщиковъ, чтобы они не портились нравственно. Но мы знаемъ также, что онъ высказываетъ это въ минуту душевнаго упадка, въ томъ состояніи ожесточенія, въ которомъ онъ находился, когда переживалъ душевный кризисъ. Пусть даже этотъ рѣзкій и крайній выводъ будетъ все-таки выраженіемъ барскаго отношенія къ народу и дворянскаго эгоизма кн. Андрея. Но это нисколько не мѣшаетъ ему на дѣлѣ заботиться о своихъ крестьянахъ—ради нихъ самихъ и работать для подготовки великой реформы: часть своихъ крестьянъ онъ освободилъ, другихъ перевелъ на оброкъ и (что для насъ весьма важно)—не былъ, какъ Пьеръ, въ восхищеніи отъ своего великодушія. Ни откуда не видно, чтобы онъ считалъ свою совѣсть успокоенною. Очевидно, онъ смотрѣлъ на свою дѣятельность въ этомъ направленіи, какъ на одну изъ первыхъ попытокъ, какъ на посильное стараніе начать дѣло въ маломъ размѣрѣ. Задача лично-нравственная у князя Андрея уже отдѣлена отъ общественной, и съ тѣмъ вмѣстѣ онъ уже

близокъ къ тому, чтобы стать въ отношеніи къ народу на ту точку зрѣнія, съ которой свобода и благо народа являются сами по себѣ цѣлью. Съ этой стороны мы отдадимъ рѣшительное преимущество Болконскому передъ Безуховомъ.

IV.

Но пойдемъ дальше и взглянемъ на другую сторону медали.

Реалистъ Болконскій былъ одаренъ всѣми качествами, необходимыми для плодотворной и въ свое время передовой дѣятельности въ сферѣ крестьянскаго вопроса. По существу дѣла, это была работа практическая. Но на ряду съ нею наступилъ чередъ поднятія общихъ вопросовъ о народѣ, какъ основѣ исторической жизни Россіи, о національномъ складѣ, о національномъ развитіи, объ отношеніяхъ образованнаго общества къ народной массѣ. Руководящимъ идеямъ и стремленіямъ передовой части общества предстояло постепенно демократизироваться. Мысль о народѣ должна была занять видное мѣсто въ ряду другихъ мыслей, какія только волновали умы мыслящихъ людей. Однимъ изъ піонеровъ этого движенія, этого поворота отъ зап. Европы къ русскому мужику является идеалистъ Пьеръ Безуховъ, въ высокой степени приспособленный къ этой роли по основнымъ качествамъ своего ума и сердца.

Прежде чѣмъ идейно подойти къ реальному народу, нужно было освоиться съ идеей народа, народнаго «духа»; необходимо было сперва заинтересоваться самой мыслью о томъ, что есть какая-то своеобразная народная психика, есть невѣдомая намъ жизнь народныхъ массъ, съ ея вѣковыми устоями, съ ея своеобразными проявленіями обычаевъ, нравовъ, нравственныхъ понятій, вѣрованій, можетъ быть—идеаловъ. На все это надо было съумѣть взглянуть не сверху внизъ, не пренебрежительно, не брезгливо, не съ празднымъ любопытствомъ, а такъ, чтобы сказывалась внутренняя потребность приблизиться къ народу, понять и полюбить его. Мало того: въ противовѣсъ прежнему презрѣнію къ нему, нужно было начать идеализировать его. Все это не дѣлается по щучьему велѣнію. У насъ оно постепенно какъ-бы надвигалось тѣми же путями, какими аналогичныя теченія народолюбія и демократизаціи мысли пробивались и въ зап. Европѣ: пути къ народу шли черезъ пробужденіе національнаго чувства, черезъ романтизмъ, черезъ ин-

тересы къ своей исторіи и старинѣ, наконецъ черезъ созданіе національной художественной литературы. Особливо важное значеніе въ этомъ движеніи принадлежало Пушкину, ученику Арины Родіоновны, Пушкину—съ его искренней симпатіей къ народу, съ его уваженіемъ къ народной рѣчи, съ его глубокимъ и тонкимъ пониманіемъ русской народности.

Обращаясь къ нашимъ героямъ, мы скажемъ, что, насколько князь Андрей превосходилъ Пьера на поприщѣ практическаго служенія народному дѣлу, настолько Пьеръ имѣетъ на своей сторонѣ всѣ преимущества въ роли провозвѣстника или піонера грядущаго народолюбія. Въ лицѣ Пьера представитель высшаго круга, высшей интеллигенціи времени и европейской образованности снялъ шапку передъ мужикомъ, передъ представителемъ народно-національнаго склада и вѣковыхъ устоевъ бытовой и нравственной жизни народа. Встрѣча Пьера съ Каратаевымъ и его возрожденіе подъ воздѣйствіемъ «духа каратаевщины» означаетъ первые всходы того тяготѣнія къ народу, которое позже скажется въ передовомъ славянофильствѣ съ одной стороны, въ передовомъ западничествѣ съ другой, еще позже—въ идеяхъ и дѣятельности людей радикально-прогрессивнаго лагеря.

Для князя Андрея мысль о народѣ исчерпывается вопросомъ объ устройствѣ быта крѣпостныхъ и о подготовкѣ реформы. Для Пьера, послѣ встрѣчи съ Каратаевымъ, эта мысль возвысилась до идеи народа и стала вопросомъ цѣлаго міросозерцанія, начавшаго слагаться. Постараемся-же уяснить себѣ, какъ выразилась у Пьера идея народа, какое мѣсто заняла она въ обиходѣ его высшихъ понятій и его стремленій, и—наконецъ—какое воздѣйствіе могла она оказать на характеръ и направленіе его практической дѣятельности.

Съ этой цѣлью обратимся сперва къ главамъ XII-й и XIII-й четвертой части IV-го тома, гдѣ описывается та перемѣна, которая произошла въ Пьерѣ послѣ его освобожденія изъ плѣна, подъ вліяніемъ всего, что онъ видѣлъ и испыталъ во время занятія Москвы французами и въ плѣну. Здѣсь мы знакомимся съ рядомъ душевныхъ состояній, испытанныхъ Пьеромъ. Перебирая ихъ, мы прежде всего приходимъ къ мысли о необходимости устранить тѣ изъ нихъ, которыя пережилъ-бы всякій другой на мѣстѣ Пьера. Этотъ вычетъ даетъ въ результатѣ то, что характеризуетъ спеціально Пьера и что, собственно, намъ и нужно. Такъ, тотъ фактъ, что послѣ освобожденія на Пьера нашло какое-то

безчувстіе и равнодушіе, и онъ съ полнымъ безучастьемъ отнесся къ извѣстіямъ о смерти кн. Андрея и своей жены, Эленъ,— легко объясняется физическимъ и душевнымъ переутомленіемъ,— и всякій другой на мѣстѣ Пьера такъ-же вяло, какъ и онъ реагировалъ-бы на новыя впечатлѣнія.—Далѣе, очнувшись послѣ болѣзни (онъ заболѣлъ въ Орлѣ по пути въ Кіевъ), первое, что ощутилъ онъ, было «радостное чувство свободы,—той полной, неотъемлемой, присущей человѣку свободы, сознаніе которой онъ въ первый разъ испыталъ на первомъ привалѣ, при выходѣ изъ Москвы...»—«Онъ удивлялся тому, что эта внутренняя свобода, независимая отъ внѣшнихъ обстоятельствъ, теперь какъ будто съ излишкомъ, съ роскошью обставлялась и внѣшнею свободою». Теперь онъ былъ счастливъ однимъ сознаніемъ этой внѣшней свободы и, какъ ребенокъ, наслаждался самымъ процессомъ существованія. Все это психологически элементарно и ничуть не характеризуетъ Пьера, какъ таковаго.

Зато въ высокой степени характернымъ для него является то, что вышло изъ этого настроенія. Человѣкъ другого душевнаго склада пережилъ-бы это состояніе наивной радости свободы и жизни безъ всякихъ послѣдствій. Привычка жить и пользоваться свободой скоро отняла-бы у него эту жизнерадостность. Иначе вышло у Пьера. Дѣло въ томъ, что раньше жизнь и свобода казались ему цѣнными не сами по себѣ, а въ виду тѣхъ цѣлей, которыя онъ преслѣдовалъ. Теперь, въ силу необыкновеннаго подъема психологической цѣнности самой жизни и свободы, тѣ цѣли обезцѣнивались. Всѣ прежнія высшія стремленія, массонство, любовь къ человѣчеству, филантропическія предпріятія и пр., теперь теряли въ его внутреннемъ мірѣ ту значительность, какую они имѣли прежде. Толстой прямо говоритъ намъ, что «то самое, чѣмъ онъ прежде мучился, чего искалъ постоянно, цѣли жизни, теперь для него не существовало» (гл. XII). Но этого мало: Толстой говоритъ намъ также, что это было не временное настроеніе, которое пройдетъ, когда Пьеръ оправится и войдетъ къ колею жизни,—нѣтъ: «эта искомая цѣль жизни теперь не случайно не существовала для него, только въ настоящую минуту, но онъ чувствовалъ, что ее нѣтъ и не можетъ быть» (гл. XII). Иными словами: для Пьера обезцѣненіе прежнихъ цѣлей и новое для него ощущеніе самоцѣнности жизни были только перемѣщеніемъ идеальнаго извнѣ внутрь, изъ макрокосма идей въ микрокосмъ личной повседневной жизни. Тол-

стой разъясняетъ намъ это перемѣщеніе такъ: прежде Пьеръ «искалъ Бога въ цѣляхъ, которыя онъ ставилъ себѣ»,—теперь-же, главнымъ образомъ благодаря Каратаеву, онъ убѣдился, что искомый Богъ не только въ тѣхъ цѣляхъ, въ тѣхъ идеальныхъ стремленіяхъ, что онъ вездѣ, во всемъ. Пьеръ увидѣлъ Его въ Каратаевѣ, и «Богъ въ Каратаевѣ, казалось ему, болѣе великъ, безконеченъ и непостижимъ, чѣмъ въ признаваемомъ массонами Архитектонѣ вселенной». И Пьеръ, говоритъ Толстой, «испытывалъ чувство человѣка, нашедшаго искомое у себя подъ ногами, тогда какъ онъ напрягалъ зрѣніе, глядя далеко отъ себя»... (гл. XII).—Ближайшимъ результатомъ этой перемѣны было состояніе внутренняго довольства, спокойствія духа, которое теперь испытывалъ Пьеръ: «И чѣмъ ближе онъ смотрѣлъ (на жизнь въ ея ежедневныхъ проявленіяхъ), тѣмъ больше онъ былъ спокоенъ и счастливъ» (ib.). Въ числѣ проявленій этой жизни были, конечно, и уродливыя, и (такъ надо думать) Пьеръ, «созерцая» ихъ, оставался «спокоенъ и счастливъ». Толстой не говоритъ, какъ, въ этотъ періодъ, Пьеръ относился напр. къ крѣпостному праву. Но, судя по всему, онъ теперь примирялся съ нимъ, не въ принципѣ, конечно, но все-таки—съ фактомъ его существованія, и ни откуда не видно, чтобы протестъ противъ этого учрежденія, который Пьеръ раздѣлялъ раньше со всѣми передовыми людьми эпохи, сколько-нибудь подвинулся впередъ, сталъ бы сознательнѣе, осмысленнѣе.—Очевидно, Пьеръ выступалъ на какой-то новый «путь развитія»,—и пока неизвѣстно, куда этотъ путь приведетъ его.

Онъ могъ-бы привести его, напр., къ тому безнадежному оптимизму и примиренію съ дѣйствительностью, на которые, повидимому, намекаетъ Толстой, рисуя въ гл. XIII блаженное настроеніе Пьера. Здѣсь между прочимъ указана слѣдующая «новая черта» въ немъ: «это—признаніе возможности каждаго человѣка думать, чувствовать и смотрѣть на вещи по своему, признаніе невозможности словами разубѣдить человѣка».—Если это только—терпимость и слѣдствіе уваженія къ человѣку, то эта «новая черта» несомнѣнно—пріобрѣтеніе, и Пьеръ—въ выигрышѣ.. И мы склонны такъ смотрѣть на это, когда тутъ-же читаемъ: «эта законная особенность каждаго человѣка, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составляла основу участья и интереса, которые онъ принималъ въ людяхъ». Но непосредственно слѣдующее за этимъ указаніе уже возбуждаетъ въ насъ

сомнѣніе, не ошибаемся-ли мы, не должны-ли мы скорѣе считать Пьера въ проигрышѣ отъ «новой черты»: «различіе, иногда совершенное противорѣчіе взглядовъ людей съ жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало въ немъ насмѣшливую и кроткую улыбку». Вотъ именно эта радость и кроткая улыбка, на которыя въ этой главѣ неоднократно указываетъ Толстой, и смущаютъ насъ. Что-бы ни видѣлъ и ни слышалъ Пьеръ, хорошее, дурное, умное, глупое, онъ одинаково все только радуется и кротко улыбается. Такъ, «замѣчанія Вилларскаго (съ которымъ Пьеръ встрѣтился въ Орлѣ и вмѣстѣ выѣхалъ оттуда), постоянно жаловавшагося на бѣдность, отсталось отъ Европы, невѣжество Россіи, только возвышали радость Пьера». Почему? А потому, что «тамъ, гдѣ Вилларскій видѣлъ мертвенность, Пьеръ видѣлъ необычайную могучую силу жизненности, ту силу, которая въ снѣгу, на этомъ пространствѣ, поддерживала жизнь этого цѣлаго, особеннаго и единаго народа...»—И опять радостно улыбался...

Не трудно видѣть, что отъ этихъ радостныхъ улыбокъ одинъ шагъ до квіетизма. Но, какъ мы знаемъ изъ дальнѣйшаго, въ особенности изъ эпилога, Пьеръ до квіетизма не дошелъ. Настроеніе радостныхъ улыбокъ было у него столь-же преходящимъ, временнымъ, какъ раньше увлеченіе массонствомъ и филантропіей. Это все еще былъ только «моментъ» въ его развитіи. Этотъ «моментъ» представляется намъ не лишеннымъ интереса съ двухъ точекъ зрѣнія. Во-первыхъ, со стороны его значенія въ личной душевной исторіи самого Пьера. Толстой указываетъ на то, что только съ этого момента Пьеръ и сталъ замѣчать окружающую дѣйствительность и интересоваться ею, между тѣмъ какъ прежде она была для него покрыта туманомъ. Прежде онъ весь былъ поглощенъ своими мыслями, своими исканіями, теперь онъ присматривается къ людямъ, прислушивается къ чужимъ мыслямъ,—онъ очнулся и отвлекся отъ исключительнаго самоуглубленія и сталъ видѣть людей и вещи, какъ они есть. Съ тѣмъ вмѣстѣ въ немъ проявилось и нѣчто въ родѣ практическаго смысла и такта, которыхъ ему недоставало раньше, нѣчто въ родѣ чутья дѣйствительности. Онъ теперь умѣетъ отличить плута отъ порядочнаго человѣка, не раздаетъ деньги зря и старается быть щедрымъ со смысломъ. Въ гл. XIII-ой это иллюстрируется примѣрами. И невольно мы сожалѣемъ, что та-

кая полоса не нашла на Пьера раньше, котда онъ устраивалъ благополучіе своихъ крестьянъ.

Во-вторыхъ «моментъ» въ развитіи Пьера, насъ теперь занимающій, представляется намъ имѣющимъ свое значеніе для Пьера Безухова—какъ художественнаго образа, совмѣщающаго въ себѣ зачатки будущихъ направленій и идеаловъ мыслящей части русскаго общества.

Если, отправляясь напр. отъ сороковыхъ годовъ назадъ, будемъ слѣдить за нитью направленій, которыя въ 40-е годы уже стояли другъ противъ друга, какъ враждующіе лагери, то увидимъ, что эти нити все сближаются и, наконецъ, соединяясь или переплетаясь, теряются въ настроеніяхъ однѣхъ и тѣхъ-же личностей. Въ 20-хъ годахъ мыслящіе и передовые люди бывали въ въ одно и то-же время или въ разные періоды своей жизни «западниками» и «славянофилами», при чемъ не было принципіальнаго, неустранимаго противорѣчія между этими — еще не «направленіями», а только настроеніями. Это были еще только зачатки будущихъ системъ и школъ, зачатки, которые психологически роднились и легко могли уживаться вмѣстѣ. Кто такой Чацкій? Славянофилъ или западникъ? И то и другое. Самъ Евгеній Онѣгинъ, не переставая быть все тѣмъже «скитальцемъ» и «отщепенцемъ», пережилъ настроеніе, напоминающее будущее славянофильство [1]). Вотъ именно перемѣна, происшедшая въ Пьерѣ, и можетъ быть разсматриваема, какъ одно изъ раннихъ всходовъ этого зачаточнаго славянофильства: Пьеръ уже лелѣетъ мысль о томъ, что русскій народъ есть какой-то особенный, «единственный» народъ, что подъ рубищемъ его бѣдности и отсталости скрывается великій національный духъ. Оттуда уже недалеко до націоналистическаго мессіанизма,

---

[1]) Россія!... Русь!.. мгновенно
Ему поправилась отмѣнно.
И рѣшено—ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической душой.
Съ ея разумной суетой!..

Въ послѣднихъ двухъ строкахъ какъ-бы пророчески резюмированы цѣлые томы Аксаковыхъ, Хомякова и др.—Съ другой стороны, тонъ отрывка (и выраженіе: «проснулся разъ онъ патріотомъ въ Hôtel de Londres, что̀ на Морской») указываетъ на легкость и несерьезность этого настроенія.

который былъ характерной чертой стараго славянофильства.— Но, кромѣ этого эмбріона славянофильскихъ (а отчасти также и народническихъ идей), въ перемѣнѣ, постигшей Пьера, мы видимъ еще зерно того своеобразнаго религіозно-этическаго настроенія, которое при послѣдовательномъ развитіи можетъ выразиться въ отрицаніи разныхъ «направленій» и всякой «политики», въ равнодушіи къ реформамъ, въ антипатіи къ активному протесту, въ перенесеніи всѣхъ вопросовъ изъ сферы общественности въ сферу личности. Эта «нить» у насъ за все время нашего развитія отъ 20-хъ годовъ до 80-хъ не выдѣлялась въ особую «школу», но она проявлялась по временамъ какъ нота, болѣе или менѣе явственно звучавшая въ настроеніяхъ раличныхъ умовъ, даже выдающихся, среди сутолоки и полемики направленій, школъ, идей. Въ жизни общества, какъ и въ жизни отдѣльныхъ лицъ, бывали моменты, когда русскіе умы, словно утомившись въ безплодной или казавшейся таковою работѣ надъ разными «вопросами», находили неожиданный выходъ въ перенесеніи ихъ во внутренній міръ личности, въ проповѣди лично-нравственнаго совершенствованія, которая вольно или невольно сочеталась (не всегда, но весьма нерѣдко) съ примиреніемъ съ дѣйствительностью и идеализаціей, если не ея существующихъ формъ, то ея основъ. Это—явленіе органическое, психологическіе корни котораго глубоко лежатъ въ своеобразныхъ, исторически-сложившихся отношеніяхъ между русскимъ образованнымъ обществомъ и русскимъ народомъ. Глубокая пропасть между ними, неизбѣжное «отщепенство» образованнаго общества («интеллигенціи»), родъ чувства національной сиротливости въ сознаніи этого общества, оторваннаго отъ народа и къ «общественному дѣлу» не пристроеннаго, само огромное численное превосходство народа, навѣвающее мысль о его «мощи», его историческомъ призваніи, психологія тяготѣнія небольшой группы къ народной массѣ—таковы главныя пружины, вызывающія у насъ отъ времени до времени душевную потребность найти успокоеніе въ философіи «народнаго духа», историческаго призванія націи и въ относительномъ, а иногда и абсолютномъ примиреніи съ основами и формами жизни, созданіе которыхъ приписывается тому-же «духу» или «генію» много-милліоннаго народа. Это еще хорошо, если за всѣмъ тѣмъ всетаки—при такомъ настроеніи—ставятся и преслѣдуются вопросы хотя-бы нравственнаго порядка,

если идея движенія и прогресса не совсѣмъ упраздняется, а только искажается перенесеніемъ во внутренній міръ личности.

Теперь мы можемъ вернуться къ вопросу, который мы поставили выше: какое значеніе имѣла идея народа въ душевномъ обиходѣ Пьера, въ общей экономіи его воззрѣній, въ характерѣ и направленіи его дѣятельности?

V.

Мы знаемъ, что впечатлѣніе, произведенное на Пьера Каратаевымъ, было не только очень сильно, но и прочно: оно осталось на всю жизнь. Для Пьера Каратаевъ «остался навсегда» «непостижимымъ, круглымъ и вѣчнымъ олицетвореніемъ духа простоты и правды» (томъ IV, часть I, гл. XIII). Въ только-что разсмотрѣнномъ нами «блаженномъ» настроеніи Пьера, въ періодѣ «кроткихъ улыбокъ», ясно чувствуется своеобразное отраженіе духа «каратаевщины»—съ его смиреніемъ, съ его фаталистическимъ оптимизмомъ, съ его благодушно-кроткимъ отношеніемъ ко всему, что происходитъ вокругъ,—отношеніемъ, въ которомъ нѣтъ ни тѣни протеста. Для каратаевщины въ ея подлинномъ, натуральномъ и безсознательномъ видѣ, въ какомъ является она въ самомъ Каратаевѣ, характерно именно это отсутствіе протеста. Но вѣдь отсутствіе протеста не есть еще его отрицаніе, и, очевидно, Каратаевъ, который ничего не отрицаетъ, а все пріемлетъ, не будетъ отрицать и протеста, разъ онъ такъ или иначе проявится въ окружающей дѣйствительности. И въ самомъ дѣлѣ: изъ отсутствія духа протеста, изъ каратаевскаго оптимистическаго фатализма, изъ отвѣчающаго ему уклада воли съ психологической необходимостью вытекаетъ тенденція — не протестовать противъ самого протеста, не отрицать его возможности, его законности, его наличности. Это заключеніе вполнѣ подтверждается тѣмъ, что мы наблюдаемъ у Пьера въ разсматриваемомъ періодѣ его душевной исторіи, т.-е. въ той же каратаевщинѣ, но только въ ея сознательномъ, осмысленномъ, теоретически обоснованномъ выраженіи, которое она получила у Пьера. Примирившійся съ дѣйствительностью Пьеръ примиряется и съ тѣми проявленіями протеста, какія онъ находитъ въ ней. Такъ напр., Вилларскій протестуетъ, отрицаетъ, осуждаетъ,—и Пьеръ, кротко улыбаясь и не раздѣляя этихъ протестовъ и отрицаній, мирится, однако, съ фактомъ ихъ существованія, онъ допускаетъ ихъ возможность и законность.

Это ясно изъ того, что говоритъ Толстой о вновь пріобрѣтенной чертѣ Пьера—признавать возможность и законность различныхъ мнѣній и точекъ зрѣнія.

Итакъ, мы заключаемъ, что въ каратаевщинѣ, какъ натуральной, народной, такъ и сознательной, «интеллигентной», нѣтъ принципіальнаго отрицанія духа протеста, какъ бы сама по себѣ она ни была чужда этому духу.

Имѣя въ своемъ распоряженіи этотъ выводъ, который представляется мнѣ существенно важнымъ, обратимъ теперь вниманіе на тотъ фактъ, что вѣдь Пьеръ, по складу своего ума, да и по всей своей натурѣ, несомнѣнно, принадлежитъ къ числу тѣхъ людей, для которыхъ невозможна разумная и нравственная жизнь безъ протеста въ той или иной формѣ противъ золъ, безобразій, недостатковъ и бѣдствій окружающей дѣйствительности. Массонство было въ свое время одною изъ формъ общественнаго протеста; многіе изъ лучшихъ людей эпохи присоединялись къ этому движенію, ища въ немъ не только пути къ абсолютной истинѣ и къ личному усовершенствованію, но и средствъ для просвѣтительной и филантропической дѣятельности, а, стало быть, и для тѣсно связаннаго съ этой дѣятельностью «протеста». Въ самомъ массонствѣ Пьеръ, какъ мы знаемъ, явился лицомъ протестующимъ: онъ возставалъ противъ формалистики и бездѣятельности и требовалъ дѣятельнаго, а не пассивнаго, добра; онъ мечталъ въ особенности о томъ, чтобы превратить масонство въ родъ союза «твердыхъ, добродѣтельныхъ и связанныхъ единствомъ убѣжденія» дѣятелей, которые вели бы энергическую пропаганду, вербовали бы достойныхъ лицъ и въ концѣ концовъ достигли бы того, что «орденъ» сталъ бы чѣмъ-то въ родѣ государства въ государствѣ, имѣя «власть нечувствительно вязать руки покровителямъ безпорядка» и т. д. (томъ II, ч. III, гл. VII). Однимъ словомъ, Пьеръ мечталъ тогда объ организованномъ и дѣятельномъ протестѣ.

Какъ извѣстно, Пьеру пришлось отказаться отъ этой затѣи. Вскорѣ онъ совсѣмъ отсталъ отъ массонства, разочаровавшись въ немъ. Событія 12-го года и въ особенности вліяніе Каратаева открыли его уму и чувству другіе горизонты. Его органическая склонность къ активному протесту, его потребность дѣятельнаго добра на время какъ бы заглохли. Но онѣ не исчезли изъ обихода его души. Пьеръ не сдѣлался квіетистомъ, онъ не при-

мирился съ дѣйствительностью. Въ эпилогѣ мы видимъ его одушевленнымъ болѣе, чѣмъ когда-либо, живымъ, сознательнымъ стремленіемъ къ дѣятельному добру и къ организованному протесту.

Онъ является однимъ изъ видныхъ дѣятелей, даже однимъ изъ вожаковъ движенія 20-хъ годовъ.

Въ XIV-й главѣ I-й части эпилога Пьеръ въ спорѣ съ Николаемъ Ростовымъ, развиваетъ свои мысла и свою «программу». Онъ говоритъ: «... Всѣ видятъ, что дѣла идутъ такъ скверно, что этого нельзя такъ оставить, и что обязанность всѣхъ честныхъ людей противодѣйствовать по мѣрѣ силъ»... «Въ судахъ воровство, въ арміи одна палка: шагистика; поселеніе,—мучатъ народъ; просвѣщеніе душатъ. Что молодо, честно, то губятъ!..» «...Когда вы стоите и ждете, что вотъ-вотъ лопнетъ эта натянутая струна, когда всѣ ждутъ неминуемаго переворота, надо какъ можно тѣснѣе и больше народа взяться рука съ рукой, чтобы противостоять общей катастрофѣ. Все молодое, сильное притягивается туда и развращается. Одного соблазняютъ женщины, другого почести, третьяго тщеславіе, деньги, и они переходятъ въ тотъ лагерь. Независимыхъ, свободныхъ людей, какъ вы и я, совсѣмъ не остается. Я говорю: расширьте кругъ общества; mot d'ordre пусть будетъ не одна добродѣтель, но независимость и дѣятельность.»

Въ главѣ XVI-ой, въ интимной и задушевной бесѣдѣ съ женой, Наташей, Пьеръ (только что вернувшійся изъ Петербурга, куда онъ ѣздилъ по дѣламъ «общества», на сей разъ—не массонскаго) говоритъ, что безъ него все (въ этомъ «обществѣ») «распадалось, каждый тянулъ въ свою сторону». «Но мнѣ (продолжаетъ онъ) удалось всѣхъ соединить, и потомъ моя мысль такъ проста и ясна... Я говорю: возьмитесь рука съ рукой тѣ, которые любятъ добро, и пусть будетъ одно знамя—дѣятельная добродѣтель...»

Эти рѣчи Пьера даютъ намъ ясное указаніе на то, каковъ былъ бы его дальнѣйшій путь въ жизни и его судьба, если бы великая эпопея не заканчивалась на этомъ поворотномъ пунктѣ, на этомъ «наканунѣ» великихъ событій. Путь Пьера это—тотъ «путь чести», который привелъ бы его, какъ и князя Андрея, если бы послѣдній не погибъ раньше, «во глубину сибирскихъ рудъ».

Вотъ теперь-то какъ разъ въ-пору вспомнить Каратаева и каратаевщину,—вѣдь мы знаемъ, что въ Пьерѣ живъ культъ

перваго и въ извѣстномъ смыслѣ долженъ быть живучъ духъ второй.

Мы готовы спросить: при чемъ тутъ, въ виду этихъ стремленій и плановъ Пьера въ направленіи протеста и оппозиціи темнымъ силамъ времени, въ виду открывающейся перспективы новой дѣятельности Пьера—при чемъ тутъ культъ Каратаева и духъ каратаевщины?

Мы готовы уже поставить этотъ вопросъ, но насъ предупреждаетъ Наташа.

Слушая рѣчи Пьера, она говоритъ: «Ты знаешь, о чемъ я думаю? О Платонѣ Каратаевѣ... Какъ онъ: одобрилъ бы тебя теперь?»

То, что отвѣчаетъ на это Пьеръ, въ высокой степени знаменательно. Онъ даетъ не одинъ, а два отвѣта. Эти отвѣты—противуположны и, въ тоже время, сходны въ томъ смыслѣ, что оба гадательны и не ясны, и что оба одинаково не имѣютъ рѣшающаго вліянія на направленіе дѣятельности Пьера.

«Пьеръ нисколько не удивился этому вопросу. Онъ понялъ ходъ мыслей жены.—Платонъ Каратаевъ?—сказалъ онъ и задумался, видимо искренно стараясь представить себѣ сужденіе Каратаева объ этомъ предметѣ.—Онъ не понялъ бы, а впрочемъ, можетъ быть, что да».

Отвѣтъ—гипотетическій. Кромѣ того, онъ не прямо отвѣчаетъ на вопросъ: Наташа спрашивала объ «одобреніи», отвѣтъ Пьера говоритъ о «пониманіи».

Второй отвѣтъ: «Нѣтъ, не одобрилъ бы, сказалъ Пьеръ, подумавъ».

Этотъ отвѣтъ также въ извѣстной мѣрѣ гипотетиченъ, хотя и не такъ нерѣшителенъ, какъ первый. Но онъ не ясенъ въ тотъ смыслѣ, что оставляетъ насъ въ неизвѣстности, — почему собственно Каратаевъ «не одобрилъ бы», потому-ли, что «не понялъ-бы», или же и въ томъ случаѣ, еслибы «понялъ?»

Очевидно, «народная идея», живущая въ душѣ Пьера въ формѣ «каратаевщины», — въ данный моментъ—а это былъ моментъ многозначительный, это было «наканунѣ», — «безмолвствовала». Но это «безмолвствованіе»—не тенденціозно, и какъ бы оно ни было истолковано, какой бы отвѣтъ ни былъ проставленъ самимъ Пьеромъ въ этой «незаполненной графѣ»—Пьеръ пойдетъ своей дорогой, отнюдь не терзаясь сомнѣніями: не противорѣчитъ ли духу каратаев-

щины этотъ путь чести и скорби,—пойдетъ смѣло и бодро, сопутствуемый этимъ безмолвіемъ, которое онъ не перестаетъ сознавать и—такъ или иначе—истолковывать.

Князь Андрей—тотъ бы его не сознавалъ, и для него не существовало бы и самаго вопроса о возможномъ отношеніи каратаевщины къ его дѣятельности и судьбѣ.

Положеніе Пьера типично для всей дальнѣйшей исторіи нашей передовой «интеллигенціи» въ ея отношеніяхъ къ народу и идеѣ народа.

Она идетъ своимъ путемъ и дѣлаетъ свое дѣло—движимая условіями и духомъ времени, общечеловѣческими стремленіями, задачами, выдвигаемыми русской жизнью, своимъ посильнымъ пониманіемъ этихъ задачъ. Культъ народа и идея народа, являющаяся различными «редакціями» понятія каратаевщины, то болѣе, то менѣе и въ различныхъ направленіяхъ идеализируемой, продолжаютъ быть для всѣхъ насъ, «взыскующихъ града», тѣмъ, чѣмъ были они для Пьера: живой потребностью души, безсознательнымъ стремленіемъ «привязать свою утлую ладью къ кормѣ большого корабля» народной жизни, необходимостью—не довлѣть самимъ себѣ, а служить живому дѣлу. Но въ противуположность Пьеру, мы уже не такъ осторожны въ истолкованіи безмолвія каратаевщины. Мы даемъ болѣе опредѣленные, иногда слишкомъ категорическіе отвѣты на «Наташинъ вопросъ». Мы часто склонны думать, что это безмолвіе не только сопутствуетъ намъ на путяхъ нашихъ, но и напутствуетъ насъ.

Подлинная, реальная каратаевщина по прежнему безмолвствуетъ. И въ этомъ нѣтъ ничего ни удивительнаго, ни огорчительнаго. Ибо она, эта «каратаевщина», какъ я старался показать это въ главѣ о Каратаевѣ,—только форма, а не содержаніе, она—наша національная форма въ ея крестьянско-архаическомъ выраженіи. Отъ формы не слѣдуетъ ожидать никакихъ отвѣтовъ ни на какіе вопросы. Отъ нея можно и должно ожидать только одного: чтобы она оказалось жизнеспособной и могла, выдерживая на всемірно-историческомъ поприщѣ конкуренцію другихъ національныхъ формъ, наполняться новымъ историческимъ содержаніемъ.

Слѣдя дальше за историческою хроникою великосвѣтской Россіи, какъ эта хроника начертана Толстымъ, мы принуждены сдѣлать большой скачекъ,—отъ 20-хъ годовъ, этой героической

эпохи великосвѣтской Россіи, къ 60—70-мъ годамъ, минуя эпоху отъ 30-хъ до 50-хъ годовъ. Въ другой великой эпопеѣ, озаглавленной «Анна Каренина», мы находимъ новый рядъ великосвѣтскихъ типовъ,—и видимъ, какъ они и ихъ роль, ихъ значеніе, ихъ достоинство пошли на убыль. Вмѣсто Болконскихъ и Безуховыхъ мы находимъ здѣсь Вронскихъ и Облонскихъ.— Эта «регрессивная эволюція» станетъ яснѣе, когда мы ближе присмотримся къ тому, что такое представляютъ собою эти эпигоны русской «аристократіи».

ГЛАВА VIII.

Романъ „Анна Каренина". Великосвѣтская психологическая форма. Графъ Вронскій.

I.

Для изслѣдователя художественнаго творчества Толстого изученіе романа «Анна Каренина» представляетъ большой интересъ: этимъ капитальнымъ произведеніемъ завершилась цѣлая эпоха въ художественной дѣятельности Толстого, и если нельзя сказать, что имъ-же открылась и новая эпоха, то, безспорно, въ романѣ «Анна Каренина» уже намѣчены симптомы новаго пути творчества, на который выступалъ геній Толстого.

Какъ изображеніе аристократической среды и великосвѣтскихъ типовъ, романъ былъ порожденіемъ и вмѣстѣ «послѣднимъ сказаніемъ» того-же направленія, которое раньше выразилось въ созданіи великосвѣтскихъ фигуръ раннихъ повѣстей и «Войны и Мира». Внутренняя потребность художника дать исчерпывающее воспроизведеніе большого свѣта съ его характерной психологіей, во всемъ разнообразіи его типовъ, во всѣхъ существенныхъ чертахъ его быта, повидимому, не была вполнѣ удовлетворена тѣмъ, что до сихъ поръ (до конца 60-хъ годовъ) онъ создалъ въ этомъ направленіи; у него, очевидно, оставался еще большой запасъ наблюденій, который долженъ былъ найти себѣ художественное выраженіе, прежде чѣмъ вопросъ могъ быть признанъ художественно-рѣшеннымъ. Онъ и былъ рѣшенъ въ первой половинѣ 70-хъ годовъ-романомъ «Анна Каренина».

Дѣло шло тутъ не о томъ только, чтобы изобразить рядъ новыхъ типовъ изъ того-же круга, чтобы изслѣдовать бытъ,

нравы, психологію великосвѣтскаго общества въ эпоху послѣ освобожденія крестьянъ и дать подробную картину жизни этого общества—въ дополненіе къ той, которая дана въ «Войнѣ и Мирѣ». Вопросъ и задача, въ смыслѣ внутренней потребности художника, интимныхъ стимуловъ его творчества, были гораздо значительнѣе, глубже и—субъективнѣе. Вспомнимъ, что въ отношеніи къ великосвѣтской средѣ Толстой (приблизительно до 80-хъ годовъ) не былъ постороннимъ наблюдателемъ: онъ принадлежалъ къ ней по рожденію и воспитанію; онъ ее изучилъ не столько какъ наблюдатель, сколько какъ самонаблюдатель, и, начиная съ повѣстей «Дѣтство», «Отрочество» и «Юность», его изображенія этой среды были какъ бы родомъ исповѣди, попыткою вытравить изъ своей души извѣстныя черты великосвѣтской психологіи, отдѣлаться отъ нихъ помощью ихъ претворенія въ художественные образы, на подобіе того, какъ Лермонтовъ отъ своего «Демона» отдѣлался—стихами. Послѣ созданія «Войны и Мира» Толстой чувствовалъ или сознавалъ, что еще не вполнѣ «отдѣлался» отъ «великосвѣтскаго человѣка». Эта задача и была довершена—романомъ «Анна Каренина». Вотъ въ какомъ смыслѣ это произведеніе примыкаетъ ко всей предшествующей дѣятельности Толстого и завершаетъ цѣлую эпоху въ ней.

Съ этой-же точки зрѣнія мы поймемъ и необходимость Левина, его значеніе, его роль—какъ образа, который въ одно и то-же время завершилъ предшествующую эпоху творчества и является первымъ указаніемъ на новый путь. Если воспроизведеніе великосвѣтской среды въ «Аннѣ Карениной» является заключеніемъ или итогомъ послѣдовательнаго ряда картинъ, ее воспроизводящихъ въ раннихъ повѣстяхъ и въ «Войнѣ и Мирѣ», то фигура Левина такъ-же точно завершаетъ или суммируетъ рядъ аналогичныхъ фигуръ въ повѣстяхъ (герой-разсказчикъ «Дѣтства», «Отрочества» и «Юности», князь Нехлюдовъ въ «Юности» и «Утрѣ помѣщика», Оленинъ въ «Казакахъ»). Эти образы, какъ извѣстно, автобіографичны и построены на данныхъ личнаго, въ тѣсномъ смыслѣ субъективнаго опыта Толстого. Левинъ блистательно заканчиваетъ эту художественную автобіографію, эту исторію внутренняго развитія Толстого, исторію его стремленій выйти изъ тисковъ великосвѣтской психики и создать себѣ независимую отъ нея душевную жизнь на основахъ широкихъ общечеловѣческихъ идеаловъ.

Обращаясь къ разсмотрѣнію романа, какъ изображенія великосвѣтскаго общества, мы не имѣемъ въ виду входить во всѣ детали и не станемъ разбирать по порядку всѣ фигуры, выведенныя въ романѣ. Для нашей цѣли достаточно установить общій взглядъ на картину жизни, нарисованную художникомъ. Но тѣмъ важнѣе сосредоточиться на болѣе подробномъ анализѣ главной фигуры, въ которой воплощены важнѣйшія типичныя черты великосвѣтской психологіи. Это именно—графъ Алексѣй Кирилловичъ Вронскій.

II.

Картина великосвѣтской жизни, такъ мастерски воспроизведенная въ «Аннѣ Карениной», прежде всего должна быть сопоставлена съ соотвѣтственной картиной въ «Войнѣ и Мирѣ».

Вспомнимъ важнѣйшіе образы въ великой эпопеѣ, сюда относящіеся, положительные и отрицательные типы, Болконскихъ, Ростовыхъ, Безухова, Друбецкаго, князя Василія и другихъ, припомнимъ мастерской психологическій анализъ Толстого, направленный на раскрытіе самой аристократической формы личности героевъ и героинь,—и мы получимъ живое и цѣльное представленіе о цѣломъ классѣ, который въ ту эпоху стоялъ у дѣла или, по крайней мѣрѣ, около дѣла. Это дѣло было общегосударственное, національное и историческое. Въ этомъ нашемъ представленіи о русской аристократіи въ дореформенное время видное мѣсто занимаетъ мысль о крѣпостномъ правѣ, какъ объ основѣ экономической силы класса и вмѣстѣ какъ о той прерогативѣ его, которая идеально обязывала его лучшихъ людей къ служенію общегосударственнымъ и широко понятымъ народнымъ интересамъ. Далѣе, въ наше представленіе о классѣ входятъ черты, указывающія на его умственное превосходство надъ другими (въ ту эпоху), на его причастность къ европейскому просвѣщенію и къ передовымъ идеямъ вѣка. Наконецъ, наше представленіе о немъ оттѣняется еще чертами аристократизма, какъ родовитаго, кровнаго, съ генеалогіями, далеко уходящими въ глубь прошлаго, такъ и новоявленнаго, «случайнаго», возникшаго волею высшей власти въ теченіе XVIII-го вѣка.

Обращаясь къ психологіи класса, мы сразу ясно различаемъ рядъ чертъ, объединяющихъ различныхъ представителей его въ

одну группу, связывающихъ узами единой классовой психологической формы, напр., стараго князя Болконскаго и Пьера Безухова, князя Андрея и Николая Ростова и т. д. Этотъ рядъ чертъ, сводящихся въ концѣ концовъ къ особаго рода соціальному самочувствію, наглядно вырисовывается сопоставленіемъ ихъ съ другими формами групповой психики, сравненіемъ князя Андрея, Безухова, Ростова и другихъ, какъ аристократовъ, съ капитаномъ Тушинымъ, Денисовымъ, Долоховымъ и другими, какъ представителями иныхъ слоевъ общества. Такія очныя ставки показываютъ намъ, что Болконскіе, Ростовы, Друбецкіе, Безуховы и т. д., независимо отъ знатности рода и высокаго положенія, отъ унаслѣдованныхъ или пріобрѣтенныхъ титуловъ, отъ владѣнія крѣпостными, отъ богатства, отъ уровня умственнаго развитія и образованія, отъ нравственныхъ качествъ, обладаютъ еще какими-то особыми психическими чертами, проявляющимися у разныхъ натуръ различно, но по существу остающимися все тѣми же: у иныхъ эти черты возведены на степень сознанія, у другихъ скрываются за предѣлами послѣдняго; вообще онѣ могутъ получать весьма разнообразную постановку въ общей душевной экономіи личности. Ихъ совокупность и образуетъ то, что мы называемъ психологическою великосвѣтскою формою: тутъ мы найдемъ и чувство своего превосходства передъ прочими смертными въ силу одной только принадлежности къ господствующему классу, и родъ брезгливости, осложняющей это чувство, и особое понятіе чести и долга, его умѣряющее или уравновѣшивающее, и извѣстную—специфическую—душевную культуру, въ которой переплетались выправка манеръ, лоскъ, тепличность воспитанія, условная образованность [1]). Все это—черты общія, классовыя, т. е. онѣ индивидуальны только въ томъ смыслѣ, что принадлежатъ каждому представителю класса и въ каждомъ выражаются различно, съ тѣми или иными оттѣнками. Онѣ образуютъ общій основной фонъ душевной картины,—именно то, что удобнѣе всего подводится подъ понятіе классовой психологической формы — въ противоположность индивидуаль

---

[1]) Какъ на черту второстепенную и временную, нужно указать на извѣстное пристрастіе къ иностраннымъ языкамъ, въ особенности французскому, соединенное съ пренебреженіемъ къ русскому, и на вытекавшую оттуда относительную денаціонализацію.

ному психологическому содержанію личности. Носители этой общей классовой психики могутъ отличаться другъ отъ друга умомъ, характеромъ, темпераментомъ, образованіемъ и т. д., и т. д., и совокупность всего, чѣмъ они психологически отличаются другъ отъ друга, составляетъ личное душевное содержаніе каждаго—въ противоположность психологической формѣ, которая ихъ сближаетъ и объединяетъ въ одну группу.

Но индивидуальное содержаніе личности (напр., такой-то характеръ, умъ такого-то склада, степень образованности, качества, обусловленныя особымъ положеніемъ или дѣятельностью личности, таланты и мн. др.) всегда такъ или иначе воздѣйствуетъ на форму и преобразовываетъ ее въ душевные элементы весьма разнообразнаго качества и достоинства. Такъ, старый князь Болконскій—при большомъ умѣ и солидномъ образованіи—являетъ намъ примѣръ аристократической формы, въ которой чувство классового превосходства превратилось въ сознательную родовую гордость и своеобразное тщеславіе. Это зависитъ отъ личныхъ свойствъ, отъ чертъ характера и отъ самой карьеры стараго вельможи и вольтерьянца. Избалованный успѣхами, властью, высокимъ положеніемъ, человѣкъ, воспитавшійся на привычкахъ стараго барства и традиціяхъ «временъ очаковскихъ», живой памятникъ екатерининскаго вѣка, но вмѣстѣ съ тѣмъ человѣкъ, хорошо сознающій свое умственное превосходство и свои заслуги,—старый князь Болконскій невольно ассоціируетъ свою личную гордость съ классовымъ самочувствіемъ, — онъ гордъ и тщеславенъ не только своими личными качествами, успѣхами, заслугами, умомъ, независимостью и т. д., но и предками, которые всѣми этими преимуществами могли не блистать въ той мѣрѣ, какая даетъ право на родословную гордость. Князь гордится своимъ родомъ и свысока третируетъ Ростовыхъ, хотя родъ послѣднихъ не менѣе древенъ. Происхожденіе отъ удѣльныхъ князей составляетъ лишь незначущую прибавку къ «достоинству» рода Болконскихъ, который также, какъ и родъ Ростовыхъ, въ прошломъ теряется въ старомосковскомъ боярствѣ, какъ извѣстно, весьма мало походившемъ на настоящую—въ европейскомъ смыслѣ—аристократію. Князь Андрей не раздѣляетъ этой родовой спѣси отца и съ улыбкою разсматриваетъ висящее на стѣнѣ «родословное древо» своихъ предковъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ гордъ не менѣе отца, и, хотя эта гордость у него вытекаетъ преимущественно изъ сознанія своихъ личныхъ

качествъ—ума, характера, образованія, но всетаки подъ нею чувствуется несознанное родовое тщеславіе. Въ немъ ясно сказывается сынъ стараго князя, — онъ въ концѣ концовъ гордъ тѣмъ, что онъ—Болконскій, а не Безуховъ или Ростовъ. Онъ этого не высказываетъ, пожалуй, даже не отдаетъ самому себѣ отчета въ этомъ, но эта черта ясно сквозитъ во всемъ его существѣ, въ его отношеніяхъ къ другимъ, его манерѣ держаться въ обществѣ, его нескрываемомъ презрѣніи къ большинству представителей своего же круга. Сознательное тщеславіе отца стало какъ бы инстинктомъ у сына. Князь Андрей—аристократъ съ головы до ногъ, но его аристократизмъ является уже не столько дѣломъ убѣжденія, идеаломъ или программой стремленій, сколько совокупностью привычекъ, манерою держать себя, и обнаруживается непроизвольно въ мелочахъ внутренняго душевнаго обихода, въ чертахъ внѣшняго выраженія. Иначе говоря, аристократизмъ князя Андрея гораздо формальнѣе, чѣмъ у его отца. Въ этой постановкѣ, т. е. въ качествѣ чистой психологической формы, аристократизмъ въ большинствѣ случаевъ отнюдь не является душевнымъ укладомъ, подлежащимъ безусловному осужденію и отрицанію,—въ особенности же, если въ эту форму вложено значительное и цѣнное душевное содержаніе, какъ это мы видимъ у князя Андрея. Уже одна эта ея способность сочетаться съ такимъ содержаніемъ достаточно ее рекомендуетъ.

Вообще при оцѣнкѣ разныхъ классовыхъ, сословныхъ, профессіональныхъ и т. д. психологическихъ формъ слѣдуетъ прежде всего имѣть въ виду вопросъ, способна ли данная форма служить вмѣстилищемъ новаго—положительнаго—душевнаго содержанія, новыхъ идей и идеаловъ. Вопросъ гласитъ: не есть ли эта форма—старый мѣхъ, негодный для храненія новаго вина, или же это—мѣхъ, хотя и старый, но все еще добрый, могущій служить сосудомъ «вина новаго»? Свидѣтельство исторіи говоритъ въ пользу того, что аристократическая форма въ свое время болѣе, чѣмъ какая-либо другая, оказывалась пригодною для «храненія» новаго, далеко не аристократическаго по существу, содержанія идей, стремленій, идеаловъ. Мы знаемъ много примѣровъ сочетанія аристократизма формы съ демократизмомъ убѣжденій. Люди ярко-выраженной аристократической формы, въ передовыхъ странахъ Европы, въ XVIII-мъ и также отчасти въ XIX-мъ вѣкѣ, выступали въ качествѣ провозвѣстниковъ передовыхъ идей, въ

рядахъ дѣятелей, боровшихся со старыми порядками, стремившихся къ скорѣйшему упраздненію того самаго строя, котораго характернымъ признакомъ и было созданіе аристократіи, какъ правящаго класса. Вспомнимъ и нашихъ декабристовъ, изъ которыхъ многіе были типичные аристократы формы, весьма близко подходящіе въ этомъ отношеніи къ тому, что Толстой изобразилъ въ фигурѣ князя Андрея Болконскаго.

Явленіе, о которомъ мы говоримъ (сочетаніе формы, въ данномъ случаѣ аристократической, съ содержаніемъ, ей не отвѣчающимъ), менѣе всего можетъ быть названо случайнымъ или ненормальнымъ. Оно вполнѣ въ порядкѣ вещей и должно, какъ я думаю, найти раціональное истолкованіе въ данныхъ соціальной психологіи.

Психологическія классовыя формы обыкновенно переживаютъ фактическое существованіе и историческую роль своихъ классовъ и нерѣдко утилизируются историческимъ процессомъ для новыхъ цѣлей, если эти формы содержатъ въ себѣ подходящіе элементы. Но сослуживъ эту службу, форма доживаетъ до того момента, когда ей уже нечего дѣлать, когда новое историческое дѣло можетъ быть совершено другими психологическими классовыми формами лучше, чѣмъ ею,—тогда она сходитъ со сцены, чтобы просуществовать еще нѣкоторое время не у дѣлъ, прозябая и вымирая, пока наконецъ не растворится въ другихъ психологическихъ формахъ, выдвигаемыхъ на авансцену историческимъ ходомъ вещей. Современная аристократическая форма въ такомъ именно положеніи и находится: она еще существуетъ, но уже начинаетъ растворяться въ новыхъ формахъ—буржуазной и бюрократической. Такъ вездѣ въ Европѣ, такъ и у насъ, въ Россіи. У насъ аристократическая (великосвѣтская) форма еще существуетъ, но въ средѣ ея представителей нѣтъ и не можетъ быть князя Андрея Болконскаго, типичнаго аристократа формы, безъ малѣйшей примѣси буржуазныхъ чертъ, а равно и съ полной неспособностью къ бюрократическому приспособленію, какъ и ко всякому иному. Для князя Андрея (какъ я старался показать это въ главѣ VI-ой) чрезвычайно характерна эта его неприспособляемость, свидѣтельствующая о томъ, что его психологическая форма можетъ еще служить «сосудомъ вина новаго», не искажаясь, не измѣняясь, не утрачивая своихъ типичныхъ чертъ.

Напротивъ того, для современной аристократической формы именно наиболѣе характерна ея приспособляемость, въ

силу которой она теряетъ свою чистоту и цѣлостность и быстро идетъ къ исчезновенію.

Въ нашей литературѣ нѣтъ другого произведенія, по которому мы могли бы такъ хорошо ознакомиться съ этимъ процессомъ и вообще съ психологіей русской аристократической формы въ ея «послѣднемъ изданіи», какъ знаменитый романъ изъ великосвѣтской жизни—«Анна Каренина».

III.

На первомъ планѣ роскошной картины великосвѣтской жизни, изображенной въ романѣ «Анна Каренина», выступаетъ великолѣпная фигура графа Вронскаго. Для ознакомленія съ аристократическою формою въ ея новой постановкѣ Вронскій представляетъ особую важность съ той точки зрѣнія, что въ немъ эта психологическая форма еще сохраняется въ наибольшей чистотѣ: онъ—подлинный, кровный аристократъ, и приспособленіе къ новымъ условіямъ, вліяющимъ на измѣненіе изучаемой классовой психики, выразилось у него далеко не такъ значительно, какъ у другихъ представителей той же формы. Несмотря на цѣлую пропасть, отдѣляющую его отъ князя Андрея Болконскаго, между ними есть нѣкоторыя черты сходства, и, разбирая Вронскаго, намъ прійдется иногда вспоминать князя Андрея. Это поможетъ намъ лучше оттѣнить все различіе между ними, какъ представителями той же классовой психики, и покажетъ намъ, насколько измѣнилась послѣдняя за время, отдѣляющее эпоху «Анны Карениной» отъ эпохи, изображенной въ «Войнѣ и Мирѣ».

«Что такое Вронскій?»—спросимъ мы вслѣдъ за Левинымъ (т. I, ч. I, гл. XI) и отвѣтимъ—пока словами Облонскаго (тамъ же): «Вронскій—это одинъ изъ сыновей графа Кирилла Ивановича Вронскаго и одинъ изъ самыхъ лучшихъ образцовъ золоченой молодежи петербургской... Страшно богатъ, красивъ, большія связи, флигель-адъютантъ и вмѣстѣ съ тѣмъ—очень милый, добрый малый... Но болѣе, чѣмъ просто добрый малый... Онъ и образованъ и очень уменъ; это человѣкъ, который далеко пойдетъ».

Впервые мы его встрѣчаемъ въ гл. XIV-ой (т. I, ч. I), и здѣсь онъ невольно располагаетъ насъ въ свою пользу. Можно сказать, что впечатлѣніе, имъ производимое, симпатичнѣе того, какое

вызываетъ въ насъ кн. Андрей, когда мы въ первый разъ встрѣчаемъ его въ салонѣ Анны Павловны. Насколько оправдается впослѣдствіи это первое впечатлѣніе, производимое Вронскимъ, и каково будетъ наше окончательное сужденіе о немъ, какъ о человѣкѣ, это выяснится въ дальнѣйшемъ, а теперь мы займемся анализомъ формальныхъ великосвѣтскихъ элементовъ его психики, т. е. тѣхъ, которые онъ раздѣляетъ съ другими представителями класса или среды.

Далеко не у всѣхъ изъ нихъ эти элементы выступаютъ съ тою отчетливостью, какая необходима для того, чтобы они могли быть легко и удобно наблюдаемы со стороны. Тутъ играетъ не послѣднюю роль отношеніе формы къ содержанію. Есть характеры, натуры, умы, оттѣсняющіе форму далеко вглубь, такъ что она слабо обнаруживается и мало доступна наблюденію. Или же душевное содержаніе личности такъ сложно и интересно, что почти все наше вниманіе сосредоточивается на немъ, не отвлекаясь въ сторону формы. Таковъ, напр., Пьеръ Безуховъ. Что онъ—человѣкъ великосвѣтскаго круга, и что формальные признаки великосвѣтской психики въ немъ существуютъ,—это не подлежитъ сомнѣнію. Но его личное, положительное душевное содержаніе такъ значительно и интересно, и такъ поглощаетъ его самого, что мы, наблюдая его со стороны, сосредоточиваемъ все наше вниманіе на его стремленіяхъ, сомнѣніяхъ, мысляхъ, идеалахъ и т. д. и едва замѣчаемъ въ немъ черты великосвѣтской психики, не придавая имъ никакого значенія. У Пьера Безухова рѣзкія черты классовой формы не только заслонены содержаніемъ, но также и обезврежены имъ. Подобное же обезвреженіе, могущее разсматриваться какъ переходная ступень къ коренному измѣненію формы, къ ея превращенію въ другую, мы наблюдаемъ въ Облонскомъ. Стива Облонскій—слишкомъ «добрый малый», чтобы быть настоящимъ «аристократомъ». Это—натура настолько благодушная, экспансивная, веселая и легкомысленная, что всѣ черты формы, которыя такъ или иначе противорѣчатъ свободному проявленію этого характера, по необходимости смягчены, парализованы и—тѣмъ легче и скорѣе доступны коренному видоизмѣненію. Въ какомъ направленіи совершается это измѣненіе, мы постараемся выяснить на анализѣ Облонскаго въ слѣдующей главѣ.

Вообще для яркаго обнаруженія психологической формы нужны извѣстныя особенности личнаго содержанія человѣка, такія

именно, которыя бы прямо или косвенно выдвигали форму, упражняли бы ее, заставляя такъ или иначе проявляться и дѣйствовать. Подобными особенностями натуры надѣлены кн. Андрей въ «Войнѣ и Мирѣ» и графъ Вронскій въ «Аннѣ Карениной».

Въ числѣ личныхъ чертъ, общихъ этимъ двумъ натурамъ, мы находимъ то, что можно описать такими выраженіями, какъ «ощущеніе своей значительности», «знаніе цѣны себѣ», «гордость» и т. п. Въ связи съ этимъ находится у нихъ извѣстная замкнутость въ себѣ, отсутствіе экспансивности. Эти—чисто личныя—черты натуры, для обладанія которыми нѣтъ надобности быть аристократомъ и которыя встрѣчаются во всѣхъ слояхъ общества, являются однако очень сильнымъ реактивомъ по отношенію къ аристократической формѣ, оживляющимъ, заставляющимъ ярче проявляться извѣстные признаки ея.

Въ числѣ этихъ признаковъ есть одинъ, который прежде всего и оживляется при наличности указанныхъ особенностей натуры. Это именно—столь характерное для аристократіи отгораживаніе себя отъ остального человѣчества, невольное разумѣніе себя какъ особой, избранной породы людей, явное или замаскированное презрѣніе къ другимъ слоямъ общества, специфическое понятіе «хорошаго общества», «свѣта» и т. д.

Присмотримся ближе къ этой чертѣ въ томъ видѣ, какъ она выражена у Вронскаго.

Въ одномъ мѣстѣ Толстой говоритъ о Вронскомъ, что онъ «поражалъ и волновалъ людей своимъ видомъ непоколебимаго спокойствія», и что онъ «смотрѣлъ на людей какъ на вещи» (ч. I, гл. XXXI). Это одно изъ тѣхъ мѣткихъ опредѣленій, на которыя Толстой такой мастеръ. Почему «непоколебимое спокойствіе» Вронскаго поражаетъ и волнуетъ людей? Потому что эти люди ясно видятъ, что подъ выраженіемъ такого «спокойствія» скрывается привычка Вронскаго смотрѣть на нихъ какъ на вещи, не признавать ихъ такими же людьми, какъ онъ.

Въ этой манерѣ держать себя въ обществѣ, ему чуждомъ, сказывается своего рода «браминъ», застывшій въ сознаніи своего превосходства, своего происхожденія изъ головы Брахмы. Въ старину (и въ Зап. Европѣ болѣе, чѣмъ у насъ), когда аристократія была замкнутымъ классомъ и основывалась на фактическихъ прерогативахъ, такая манера никого не волновала и на

поражала: она была выраженіемъ дѣйствительныхъ отношеній. Въ этомъ смыслѣ—соотвѣтствія дѣйствительности, всему строю общества и общепризнаннымъ понятіямъ—она была «правдива» и практиковалась сознательно, съ убѣжденіемъ. Въ настоящее время она уже «неправдива», т. е. не соотвѣтствуетъ ни дѣйствительности, ни господствующимъ понятіямъ, а потому и «волнуетъ» всѣхъ тѣхъ, кто видитъ всю ея необоснованность, ея незаконность и кому вслѣдствіе этого она кажется ложью, смѣшной и досадной претензіей, пустымъ чванствомъ. Но, съ точки зрѣнія строго-психологической, ее нельзя назвать ложью: вѣдь Вронскій, когда онъ впадаетъ въ оцѣпенѣлое состояніе «непоколебимаго спокойствія» и смотритъ на людей какъ на вещи, отнюдь не лжетъ передъ самимъ собою и вовсе не сознаетъ противорѣчія этой манеры съ дѣйствительными отношеніями и господствующими понятіями. Поэтому манера, о которой мы говоримъ, должна быть понимаема не какъ ложь, а только какъ фикція: она является выраженіемъ несуществующихъ фактически отношеній и воспроизводитъ не то, что есть, а то, что когда-то было,—она—тѣнь прежней «правды». Какъ для всѣхъ тѣней прошлаго, для нея мѣсто—въ безсознательной сферѣ психики, гдѣ она должна пребывать, не выходя наружу, не проникая въ сознаніе, не становясь сознательнымъ убѣжденіемъ. Въ соціальной жизни едва ли найдется такое явленіе, которое, исчезнувъ фактически изъ обихода дѣйствительности, не оставило бы послѣ себя, въ соціальной психикѣ, своей тѣни, своей фикціи. Между ними есть и тѣ, которыя мы обыкновенно называемъ предразсудками, а соціологи ихъ подведутъ подъ понятіе «пережитка». Къ числу таковыхъ нужно отнести и фикцію аристократизма.

Послѣдняя, какъ всякій предразсудокъ, становится явленіемъ отрицательнымъ и подлежитъ справедливому осужденію тогда только, когда она, переходя изъ безсознательной сферы въ сознаніе, принимаетъ ложный видъ подлиннаго убѣжденія и вторгается въ область дѣйствительныхъ отношеній между людьми. Такому оживленію и вторженію ея въ жизнь можетъ способствовать весьма и весьма многое. Напримѣръ, въ данную минуту человѣкъ можетъ находиться въ такомъ настроеніи, которое оказывается благопріятнымъ для оживленія и обнаруженія классового предразсудка. Всѣхъ такихъ настроеній не перечесть, и для насъ достаточно, ради примѣра, указать на одно изъ нихъ,

отмѣченное Толстымъ. Въ сценѣ, которую мы имѣемъ въ виду (она же и дала поводъ Толстому упомянуть о «непоколебимомъ спокойствіи» Вронскаго, столь волнующемъ людей другого круга), мы находимъ Вронскаго въ вагонѣ на пути изъ Москвы въ Петербургъ. Онъ погруженъ въ пріятныя думы о возможности романа съ Карениной,—онъ чувствуетъ себя въ преддверьи близкой любви. Его самочувствіе усилилось, его гордость подогрѣта,— и вотъ именно это состояніе приподнятаго настроенія и является у него (у другой, менѣе замкнутой, болѣе экспансивной натуры этого могло и не случиться) тѣмъ реактивомъ, который еще энергичнѣе, чѣмъ обыкновенно, оживляетъ въ сознаніи и подчеркиваетъ въ наружномъ проявленіи извѣстныя черты аристократической формы. Это весьма удачно оттѣняется слѣдующимъ образомъ: «... Теперь онъ еще болѣе казался гордъ и самодовлѣющъ. Онъ смотрѣлъ на людей какъ на вещи. Молодой нервный человѣкъ, служащій въ окружномъ судѣ, сидѣвшій противъ него, возненавидѣлъ его за этотъ видъ. Молодой человѣкъ и закуривалъ у него, и заговаривалъ съ нимъ, и даже толкалъ его, чтобы дать ему почувствовать, что онъ не вещь, а человѣкъ, но Вронскій смотрѣлъ на него все такъ же, какъ на фонарь, и молодой человѣкъ гримасничалъ, чувствуя, что онъ теряетъ самообладаніе подъ давленіемъ этого непризнаванія его человѣкомъ». (Т. I, ч. I, гл. XXXI).

Не трудно видѣть, что—съ психологической точки зрѣнія— этого рода случаи обнаруженія аристократической фикціи представляютъ собою, такъ сказать, еще полъ-бѣды. Настоящая же психологическая «бѣда» является лишь тогда, когда—наоборотъ—фикція проникаетъ въ сознаніе не потому, что тамъ есть нѣчто, ее вызывающее, дѣйствующее на нее какъ реактивъ, но потому именно, что тамъ совсѣмъ нѣтъ ничего значительнаго, нѣтъ ни серьезныхъ мыслей, ни захватывающихъ чувствъ, и образуется родъ душевной пустоты, которая и заполняется тѣнями безсознательной сферы. Тогда классовая форма—фикція незаконно становится на мѣсто самаго содержанія личности. Вотъ именно это ненормальное и отталкивающее проявленіе аристократической фикціи мы и наблюдаемъ у Вронскаго въ первое время, въ двухъ первыхъ частяхъ романа. Потомъ, какъ увидимъ, эта черта все болѣе стушевывается, по мѣрѣ того, какъ личная жизнь Вронскаго наполняется новымъ содержаніемъ. Постепенно мы примиряемся съ нимъ.

Третированіе людей другого круга, какъ своего рода низшую расу, практикуемое Вронскимъ не только инстинктивно, по унаслѣдованной привычкѣ, но и потому, что готово стать у него (или уже стало) сознательнымъ убѣжденіемъ, принципомъ, изображено въ различныхъ мѣстахъ романа, но преимущественно въ первыхъ двухъ частяхъ. Напр., пусть припомнитъ читатель эпизодъ, гдѣ Вронскій разсказываетъ Бетси про столкновеніе двухъ офицеровъ съ титулярнымъ совѣтникомъ и свое посредничество (ч. II, гл. V) и гдѣ презрѣніе къ людямъ другого круга, обхожденіе съ ними, какъ съ низшей расой или смѣшными выходцами изъ какого-то другого міра, такъ и сквозитъ, и брыжжетъ въ каждомъ словѣ и во всемъ тонѣ, въ какомъ ведется разсказъ.

Но еще ярче оттѣнена эта черта въ гл. XIX-ой (II-ой части), гдѣ Вронскій, сидя за столомъ въ офицерскомъ собраніи, упорно не хочетъ замѣчать двухъ офицеровъ, которые въ этомъ случаѣ оказываются въ такомъ точно положеніи, въ какомъ мы видѣли выше молодого человѣка изъ окружного суда. «Вронскій, взглянувъ на нихъ (читаемъ здѣсь), нахмурился и, какъ будто не замѣтивъ ихъ, косясь на книгу, сталъ ѣсть и читать вмѣстѣ». Офицеры—того же полка, товарищи Вронскаго, и одинъ изъ нихъ даже на «ты» съ нимъ. Повидимому, онъ лично ничего противъ нихъ не имѣетъ, но они—«другой расы», другой соціально-психологической формы, не великосвѣтской,—и только потому и происходитъ слѣдующая сцена. «Что, подкрѣпляешься на работу (т. е. на предстаящія скачки?)»—сказалъ пухлый офицеръ, садясь подлѣ него.—Видишь,—отвѣчалъ Вронскій, хмурясь, отирая ротъ и не глядя на него. «А не боишься потолстѣть»—сказалъ тотъ, поворачивая стулъ для молоденькаго офицера.—Что?—сердито сказалъ Вронскій, дѣлая гримасу отвращенія и показывая свои сплошные зубы. «Не боишься потолстѣть?»—Человѣкъ, хересу!—сказалъ Вронскій, не отвѣчая, и, переложивъ книгу на другую сторону, продолжалъ читать».

Онъ хмурится, дѣлаетъ гримасы отвращенія, не отвѣчаетъ на вопросъ, ведетъ себя въ отношеніи товарища крайне невѣжливо, нарушая этимъ одинъ изъ важныхъ параграфовъ великосвѣтскаго кодекса, предписывающій быть джентльменомъ, и все это только для того, чтобы показать этимъ офицерамъ, что хотя онъ, графъ Вронскій, имъ и товарищъ по полку, но что тѣмъ не менѣе граница, ихъ отдѣляющая отъ него, остается нерушимою,—и чтобы они и не думали претендовать на какія

бы то ни было человѣческія отношенія къ нему, кромѣ служебныхъ и формальныхъ.

Для чего ему нужно показывать это? Почему бы ему не установить съ этими товарищами отношеній простыхъ и человѣчныхъ, какимъ полковая жизнь благопріятствуетъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ всякая другая? Приличествуетъ ли наконецъ умному и образованному человѣку, какимъ представленъ Вронскій, выказывать такую спѣсь и мелочность? Вотъ вопросы, которыхъ онъ себѣ не задаетъ, и если бы кто-нибудь ихъ задалъ ему, то онъ самъ затруднился бы отвѣтить на нихъ. Намъ со стороны виднѣе,—и мы скажемъ, что это частью само собою у него выходитъ, что это у него—родъ инстинкта, частью же получаетъ преднамѣренное и утрированное обнаруженіе потому только, что аристократическая форма съ ея привычками и манерами, не встрѣчая въ индивидуальномъ содержаніи его души противовѣса и отпора, сама становится на мѣсто содержанія. Въ дѣйствительности же Вронскій лучше, чѣмъ кажется въ приведенной и другихъ подобныхъ сценахъ: пусть только жизнь его повернется такъ, чтобы его душа заполнилась извѣстнымъ содержаніемъ, какими-нибудь захватывающими интересами, чувствами, мыслями,—и фикція аристократизма, если и не исчезнетъ изъ его душевнаго обихода, то по крайней мѣрѣ отодвинется за предѣлы сознанія, проявляясь лишь изрѣдка, при случаѣ, какъ невольное душевное движеніе, а не какъ правило, руководящее поведеніемъ человѣка.

Такъ потомъ и случится. И мы увидимъ, что напр., къ художнику Михайлову, человѣку совсѣмъ изъ другого круга, Вронскій относится безукоризненно, какъ истинный джентльменъ, гуманно и тактично. Онъ не третируетъ его, не выказываетъ (и, кажется, даже не чувствуетъ) презрѣнія къ нему, и только въ глубинѣ души, не выражая этого, соглашается съ Голенищевымъ, когда послѣдній утверждаетъ, будто Михайловъ завидуетъ Вронскому. «Вронскій защищалъ Михайлова (читаемъ здѣсь), но въ глубинѣ души онъ вѣрилъ этому, потому что по его понятіямъ человѣкъ другого, низшаго міра долженъ былъ завидовать» (т. II, ч. V, гл. XIII.).

Еще, пожалуй, невиннѣе, какъ чисто-инстинктивное, другое проявленіе великосвѣтскаго предразсудка, изображенное въ гл. XXXIII (V-ой части). Вронскій (уже въ отставкѣ и по возвращеніи изъ-за границы вмѣстѣ съ Анной) приходитъ въ театръ:

«Тѣ же, какъ и всегда, были по ложамъ какія-то дамы съ какими-то офицерами въ задахъ ложъ; тѣ же, Богъ знаетъ кто, разноцвѣтныя женщины, и мундиры, и сюртуки, та же грязная толпа въ райкѣ, и во всей этой толпѣ, въ ложахъ и въ первыхъ рядахъ, были человѣкъ 40 настоящихъ мужчинъ и женщинъ. И на эти оазисы Вронскій тотчасъ обратилъ вниманіе и съ ними тотчасъ же вошелъ въ сношеніе».

Любовь къ Аннѣ и всѣ осложненія и перипетіи этой любви наполнили жизнь и душу Вронскаго новымъ содержаніемъ, поставили передъ нимъ новыя задачи, заставили его напряженно думать о многомъ, о чемъ раньше онъ никогда не задумывался. Усвоенный имъ и, казалось, столь прочный кодексъ понятій и правилъ теперь уже не годился и вызывалъ критическое къ себѣ отношеніе. Все это заставляло усиленно работать мысль и чувство Вронскаго. Вотъ именно эта работа и заполнила прежнюю пустоту души и отбросила назадъ проникавшую въ сознаніе великосвѣтскую фикцію.

Чтобы довести до конца нашъ анализъ этой фикціи, необходимо разсмотрѣть вопросъ о томъ, какъ развилась и выразилась бы она у Вронскаго при другомъ оборотѣ дѣла, т. е. если бы не было романа съ Анной и вообще не случилось бы ничего такого, что привело бы къ тому же результату,—именно наполнило бы душу Вронскаго новымъ личнымъ содержаніемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ имѣло бы слѣдствіемъ его разрывъ съ великосвѣтскимъ обществомъ и выходъ въ отставку.

Какъ отвѣтъ на этотъ вопросъ, мы находимъ у Толстого указаніе на двѣ возможности,—и обѣ въ высокой степени любопытны, Одна изъ нихъ намѣчена въ сценѣ съ Серпуховскимъ (т. II, ч. III, гл. XXI), другая—въ эпизодѣ объ иностранномъ принцѣ, пріѣхавшемъ въ Россію.

Разсмотримъ и то, и другое.

IV.

Серпуховскій, товарищъ Вронскаго по корпусу, «одного круга, одного общества, одного съ нимъ выпуска, съ которымъ онъ соперничалъ въ классѣ, и въ гимнастикѣ, и въ шалостяхъ, и въ мечтахъ честолюбія, на дняхъ вернулся изъ Средней Азіи, получивъ тамъ два чина и отличіе, рѣдко даваемое столь молодымъ генераламъ» (ч. III, гл. XX). Это была восходящая «звѣзда

первой величины». Его появленіе уже готово было расшевелить честолюбивыя мечты Вронскаго и вызвать въ немъ чувство зависти: «Ровесникъ Вронскому и однокашникъ, онъ былъ генералъ и ожидалъ назначенія, которое могло имѣть вліяніе на ходъ государственныхъ дѣлъ, а Вронскій былъ хотя и независимый, и блестящій, и любимый прелестною женщиною человѣкъ, но былъ только ротмистромъ, которому предоставляли быть независимымъ, сколько ему угодно» (тамъ же). Серпуховскій, человѣкъ съ умомъ и способностями, съ большимъ честолюбіемъ, мечтаетъ о крупной роли въ государственной жизни Россіи. Но онъ отнюдь не заурядный карьеристъ или честолюбецъ, жаждущій почестей. Это человѣкъ въ выработанными убѣжденіями, которыя онъ стремится проводить въ жизнь. Онъ мечтаетъ о сплоченіи лучшихъ людей въ особую партію, которая, по его мнѣнію, призвана вывести Россію на настоящую дорогу. Эти лучшіе люди—по его убѣжденію—могутъ явиться только изъ высшаго круга, изъ аристократіи. Любя и цѣня Вронскаго, онъ хотѣлъ бы и его завербовать въ свою «партію». Съ этою цѣлью онъ старается расшевелить его честолюбіе и внушить ему мысль, что такіе, какъ онъ, Вронскій, нужны Россіи. «Такіе люди, какъ ты, нужны»,—говоритъ онъ Вронскому. На вопросъ послѣдняго: «Кому?»,—онъ отвѣчаетъ: «Обществу, Россіи. Россіи нужны люди, нужна партія, иначе все пойдетъ къ собакамъ». Вронскій, дѣлая видъ, будто не понимаетъ, о какой «партіи» говоритъ Серпуховскій, наивно спрашиваетъ: «Т. е., что же? Партія Бертенева противъ русскихъ коммунистовъ?» Тогда Серпуховскій высказывается болѣе опредѣленно. Онъ говоритъ: «Tout ça est une blague. Это всегда было и будетъ. Никакихъ коммунистовъ нѣтъ. Но всегда людямъ интриги надо выдумать вредную, опасную партію. Это старая штука. Нѣтъ, нужна партія власти людей независимыхъ, какъ ты да я». Опять дѣлая видъ, будто не понимаетъ, зачѣмъ нужна такая «партія», Вронскій «назвалъ нѣсколько имѣющихъ власть людей». «Но почему же они не независимы?»—спрашиваетъ онъ.—«Только потому»,—отвѣчаетъ Серпуховскій,—что у нихъ нѣтъ, или не было отъ рожденія независимости состоянія, не было имени, не было той близости къ солнцу, въ которой мы родились. Ихъ можно купить или деньгами, или лаской. И чтобъ имъ держаться, имъ нужно выдумывать направленіе. И они проводятъ какую-нибудь мысль, на-

правленіе, въ которое сами не вѣрятъ, которое дѣлаетъ зло; и все это направленіе есть только средство имѣть казенный домъ и столько-то жалованья... У меня и у тебя есть уже навѣрное одно важное преимущество, то, что насъ труднѣе купить. И такіе люди болѣе, чѣмъ когда-нибудь, нужны», (гл. XXI).

Такова «программа» Серпуховскаго. Она любопытна, и мы невольно сожалѣемъ, что Толстой не заставилъ Серпуховскаго развить ее подробнѣе и яснѣе. Но и въ томъ отрывочномъ видѣ, какъ она изложена, она позволяетъ утверждать, что Серпуховскій находится подъ властью нѣкоторой иллюзіи. Мы легко поймемъ сущность и характеръ этой иллюзіи, если уяснимъ себѣ ея психологическое происхожденіе. Но сперва нужно отмѣтить неясности или пробѣлы въ самой «программѣ» Серпуховскаго. Къ чему собственно сводится она? Къ тому ли, чтобы аристократія стала въ тѣсномъ смыслѣ «правящимъ классомъ», или только къ тому, чтобы высшіе чины правительства вербовались изъ великосвѣтской среды? Съ точностью нельзя отвѣтить на этотъ вопросъ, но послѣднее вѣроятнѣе,—а еще вѣроятнѣе то, что самъ Серпуховскій не уяснилъ себѣ этой стороны дѣла. Какъ бы то ни было, но ни то, ни другое (т. е. ни аристократія какъ правящій классъ, ни она же какъ высшее служилое сословіе) не отвѣчаетъ историческому ходу вещей, развитію государственной жизни Россіи, въ частности—усложняющимся отношеніямъ и потребностямъ ея внутренней жизни и политики. Въ «программѣ» ясно лишь одно: Серпуховскій непоколебимо убѣжденъ въ томъ, что указанныя имъ преимущества высшаго круга, именно: I, независимость состоянія (и непремѣнно отъ рожденія), 2, имя и 3, «близость къ солнцу»?, превращаютъ ихъ обладателей, такъ сказать, въ прирожденныхъ государственныхъ людей.

Это все тотъ же взглядъ на великосвѣтскую среду, какъ на особую породу людей, это все та же тѣнь прежней «правды», когда въ самомъ дѣлѣ это была особая «порода», фактически отгороженная отъ другихъ слоевъ (впрочемъ не столько у насъ, сколько въ Зап. Европѣ). Мы находимъ, слѣдовательно, у Серпуховскаго ту фикцію, о которой была рѣчь выше, оживленною, перешедшею въ сознаніе, занявшею мѣсто въ сферѣ личнаго содержанія человѣка и дѣйствующею въ формѣ извѣстныхъ стремленій, извѣстной «программы». Вмѣстѣ съ тѣмъ ясно, что это не тотъ случай, когда фикція аристократизма становится на мѣстѣ

отсутствующаго содержанія, заполняя пустоту души. У Серпуховскаго нѣтъ пустоты души,—напротивъ, это человѣкъ съ серьознымъ содержаніемъ. Но въ этомъ содержаніи есть такіе элементы, которые благопріятствуютъ оживленію формы, служа для нея реактивомъ. Это именно—характеръ дарованій, честолюбіе, успѣхи по службѣ, заслуги. Я представляю себѣ, что для потомка западно-европейской аристократіи все это было бы еще недостаточно въ смыслѣ указаннаго реактива. Но у насъ этого достаточно, потому что наша аристократія искони была служилымъ сословіемъ. Высокое положеніе на государственной службѣ у насъ и есть то, что заставляетъ «аристократа» чувствовать себя таковымъ,—внѣ ея, на другихъ поприщахъ, онъ легко теряетъ это самочувствіе. Иллюзія Серпуховскаго состоитъ въ томъ, что онъ изъ своего личнаго опыта вывелъ заключеніе, которое оттуда логически не вытекаетъ. Онъ безсознательно поставилъ такой силлогизмъ: я успѣваю на службѣ, я дѣлаю блестящую карьеру, я оказалъ уже услуги государству, и мнѣ предстоитъ занять постъ, на которомъ я могу вліять на ходъ государственныхъ дѣлъ; при этомъ я чувствую въ себѣ «аристократа», человѣка высшаго круга, съ именемъ, чувствую свою «близость къ солнцу». Ergo: всѣ мы, люди съ независимымъ состояніемъ, именемъ и «близостью къ солнцу», отъ рожденія призваны къ успѣхамъ по службѣ, къ блестящей карьерѣ, къ высокому положенію, къ вліянію на ходъ государственныхъ дѣлъ.

Что касается Вронскаго, то заманчивыя перспективы, которыя открываетъ ему Серпуховскій, въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, вѣроятно пробудили бы въ немъ честолюбивыя стремленія, и онъ примкнулъ бы къ «партіи» и усвоилъ бы «программу» Серпуховскаго. Онъ подпалъ бы подъ власть той же иллюзіи. Но въ данное время сила послѣдней была парализована для него начавшимся романомъ съ Анной Карениной,—и Вронскій предпочелъ остаться при своей «независимости». Романъ былъ еще въ своемъ начальномъ фазисѣ,—и тѣ преобразованія во внутреннемъ мірѣ Вронскаго, которыя были обусловлены этимъ романомъ съ его дальнѣйшими осложненіями, въ данное время едва-едва начинались,—и Вронскій все еще оставался тѣмъ же представителемъ «золоченой петербургской молодежи» съ незаполненной душой, съ фикціей аристократической формы, вторгающеюся въ сферу личнаго содержанія. Серпуховскій выгодно отличался отъ него тѣмъ, что у него, Серпуховскаго, соотвѣтственная фикція

была уравновѣшена той иллюзіей, о которой мы только что говорили. И вскорѣ Вронскому пришлось увидѣть воочію всѣ отрицательныя стороны аристократической формы—въ томъ ея видѣ, въ какомъ проявляется она, когда не заполнена соотвѣтственнымъ ей содержаніемъ или, по крайней мѣрѣ, не уравновѣшена иллюзіей содержанія. Я разумѣю одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ эпизодовъ романа, именно тотъ, гдѣ мы находимъ Вронского прикомандированнымъ къ особѣ иностраннаго принца. (т. II, ч. IV, гл. I).

Эпизодъ не изображенъ художественными средствами, а просто разсказанъ—кратко и вразумительно. То немногое, что здѣсь сказано, чрезвычайно мѣтко и имѣетъ большую цѣнность для раскрытія психологіи Вронскаго, въ особенности—классовой, аристократической.

«Принцъ желалъ ничего не упустить такого, про что дома у него спросятъ: видѣлъ ли онъ это въ Россіи? Да и самъ желалъ воспользоваться, сколько возможно, русскими удовольствіями. Вронскій обязанъ былъ руководить его въ томъ и другомъ». «...И принцъ съ чрезвычайной легкостью усвоилъ себѣ русскій духъ, билъ подносы съ посудой, сажалъ на колѣни цыганку и, казалось, спрашивалъ: что же еще, или только въ этомъ и состоитъ весь русскій духъ?» «Вронскій имѣлъ привычку къ принцамъ, но оттого ли, что онъ самъ въ послѣднее время перемѣнился, или отъ слишкомъ большой близости съ этимъ принцемъ — эта недѣля показалась ему страшно-тяжела. Онъ всю эту недѣлю, не переставая, испытывалъ чувство, подобное чувству человѣка, который былъ бы приставленъ къ опасному сумасшедшему, боялся бы сумасшедшаго и вмѣстѣ, по близости къ нему, боялся бы и за свой умъ. Вронскій постоянно чувствовалъ необходимость ни на секунду не ослаблять тона строгой оффиціальной почтительности, чтобы не быть оскорбленнымъ...» Манера обращенія принца была презрительна... «Главная же причина, почему принцъ былъ особенно тяжелъ Вронскому, была та, что онъ невольно видѣлъ въ немъ себя самого. И то, что онъ видѣлъ въ этомъ зеркалѣ не льстило его самолюбію...» «Глупая говядина! Неужели я такой?—думалъ онъ».

Эти слова въ высокой степени замѣчательны, но они требуютъ поясненій. Въ какомъ смыслѣ или съ какой стороны Вронскій узнаетъ себя въ принцѣ? Конечно, не въ смыслѣ опре-

дѣленной личности, не со стороны индивидуальнаго душевнаго содержанія: это люди разные. Равнымъ образомъ и не со стороны цинизма: Вронскій вовсе не циниченъ, и пошлыя сужденія принца о русскихъ женщинахъ возмущаютъ Вронскаго: они «не разъ заставляли его краснѣть отъ негодованія». Принцъ, какъ онъ изображенъ Толстымъ, несомнѣнно «глупая говядина» и, какъ человѣкъ, ничего общаго съ Вронскимъ не имѣетъ. Однако, нѣчто общее все-таки оказывается у нихъ. Что же это такое? Толстой въ слѣдующихъ словахъ довольно опредѣленно указываетъ на черту, ихъ сближающую: принцъ былъ джентльменъ, «онъ былъ равенъ и не искателенъ съ высшими, былъ свободенъ и простъ въ обращеніи съ равными, и былъ презрительно-добродушенъ съ низшими. Вронскій самъ былъ таковымъ и считалъ это большимъ достоинствомъ: но въ отношеніи принца онъ былъ низшій, и это презрительно-добродушное отношеніе возмущало его».

Вотъ именно такое «джентльменство», соединенное съ добродушно-презрительнымъ обращеніемъ съ «низшими» (съ людьми другихъ слоевъ), и составляетъ одну изъ видныхъ чертъ классовой аристократической формы. Какъ мы знаемъ, у Вронскаго она была выражена довольно ярко и проявлялась какъ инстинктъ. Такое отношеніе къ «низшимъ» онъ считалъ вполнѣ въ порядкѣ вещей, не видѣлъ въ этомъ ничего дурного; онъ даже позволялъ себѣ идти дальше въ этомъ направленіи, замѣняя добродушную презрительность явно-грубымъ, оскорбительнымъ обращеніемъ, какъ, напр., въ вышеприведенной сценѣ съ товарищами въ офицерскомъ собраніи. И вотъ теперь ему пришлось испытать на себѣ самомъ презрительно-добродушное отношеніе со стороны принца, и, чтобы оно не перешло въ явно-оскорбительное,—ему нужно было «ни на секунду не ослаблять тона строгой оффиціальной почтительности». Онъ живо почувствовалъ все неудобство, всю неразумность и негуманность такого отношенія между людьми. Но этого мало: узнавъ въ этой негуманной чертѣ принца такую же свою, онъ по одному этому признаку—и не безъ основанія—отождествилъ свою аристократическую психику съ таковой-же психикой принца. Вотъ именно въ этомъ-то смыслѣ онъ и узналъ себя въ принцѣ: онъ узналъ себя не какъ человѣка, а только какъ «аристократа», какъ носителя извѣстной классовой психологической формы. Онъ нашелъ у принца и почти понялъ тотъ

ненормальный процессъ, когда, при душевной пустотѣ, формальныя черты психики берутъ на себя роль отсутствующаго содержанія. У принца этотъ процессъ выраженъ въ крайней степени, доходящей до уродства: человѣкъ не живетъ, не чувствуетъ, не мыслитъ по-человѣчески, а только исполняетъ обрядъ обхожденія съ людьми по традиціонному кодексу. Вронскій еще очень далекъ отъ этой крайности и, при его серьезныхъ задаткахъ и умѣ, едва ли способенъ дойти до нея. Но все-таки аналогичный процессъ въ немъ уже намѣтился,—и въ психическомъ извращеніи принца онъ съ отвращеніемъ увидѣлъ участь, которая, при увеличивающемся опустошеніи души, можетъ угрожать и ему.

V.

Когда классовая форма психики, какова бы она ни была, вторгается въ область душевнаго содержанія личности, то въ этой области должны, конечно, произойти такія или иныя измѣненія. И, кажется, мы не ошибемся, если скажемъ, что лишь рѣдко эти измѣненія приводятъ къ хорошимъ результатамъ. Въ психологическомъ составѣ различныхъ классовыхъ формъ найдется, конечно, не мало чертъ высокаго достоинства (напр., чувство чести и долга въ аристократической формѣ), и вторженіе такой черты въ личный душевный обиходъ человѣка, въ текущій повседневный оборотъ его психики должно оказывать благотворное дѣйствіе на эту послѣднюю. Но въ составѣ классовыхъ формъ есть не мало и отрицательныхъ чертъ, которыя гораздо легче и чаще положительныхъ проникаютъ въ личную душевную жизнь человѣка. Обратимъ вниманіе и на то, что классовыя формы не остаются неподвижными, что онѣ, по мѣрѣ того какъ протекаетъ и близится къ концу историческая роль класса, весьма замѣтно измѣняются къ худшему. Такъ, къ концу XIX-го вѣка буржуазная классовая форма, представлявшая собою въ концѣ XVIII-го и началѣ XIX-го явленіе положительное и прогрессивное, опошлилась, «износилась» и становится явленіемъ отрицательнымъ повсюду, гдѣ она не обновляется притокомъ новыхъ — оздоровляющихъ—элементовъ. Къ счастію, буржуазная форма есть, быть можетъ, самая эластичная и подвижная изо всѣхъ доселѣ извѣстныхъ классовыхъ формъ и легко подвергается измѣненію въ различныхъ направленіяхъ, въ томъ числѣ и въ прогрессивномъ, о чемъ у насъ будетъ рѣчь въ слѣдующей главѣ.

Здѣсь же я имѣю въ виду указать только на то, что вообще сохраненіе классовыхъ формъ и переходъ ихъ элементовъ въ область личной психической жизни человѣка есть явленіе, не согласующееся съ общимъ теченіемъ историческаго прогресса, развивающагося въ направленіи къ упраздненію классовыхъ формъ и къ освобожденію человѣческой личности отъ нормъ классовой психологіи.

Самый обычный результатъ вторженія чертъ классовой психики въ личный душевный обиходъ и оборотъ человѣка состоитъ въ томъ, что человѣкъ перестаетъ чувствовать и думать, любить и ненавидѣть, относиться къ другимъ «по человѣчеству» и на основаніи императивовъ своей индивидуальной души, а начинаетъ дѣлать все это по внушеніямъ своей классовой формы. Тогда-то именно то чувство отчужденія отъ другихъ людей и превосходства передъ ними,—чувство, о которомъ мы говорили выше, какъ объ одной изъ чертъ аристократической классовой формы, въ самомъ дѣлѣ превращается въ сознательное презрѣніе къ людямъ, сопровождаемое желаніемъ дать имъ это почувствовать. Самъ по себѣ такой человѣкъ можетъ быть и добръ, и гуманенъ, онъ можетъ не питать лично никакихъ дурныхъ чувствъ къ прочимъ смертнымъ, но вторженіе указанной классовой черты въ сферу содержанія его души заставляетъ его даже помимо его воли и желанія—быть недобрымъ и невеликодушнымъ.

Но этотъ ненормальный процессъ легко можетъ быть пріостановленъ и его послѣдствія устранены усиленіемъ содержанія личности, обогащеніемъ элементовъ послѣдняго. Появленіе въ душѣ новыхъ чувствъ, новыхъ мыслей, новыхъ интересовъ, болѣе быстрый обмѣнъ душевныхъ элементовъ, ускореніе темпа психической жизни—все это ставитъ преграду вторженію чертъ формальныхъ, оттѣсняетъ ихъ за предѣлы положительнаго содержанія личности, оздоровляетъ душу человѣка, дѣлаетъ его гуманнѣе, доступнѣе всему человѣческому.

Мы видѣли Вронскаго на пути къ тому предѣлу, который представленъ психикой принца, на пути къ указанному выше душевному извращенію. Но, роковая въ другихъ отношеніяхъ, любовь къ Карениной оказалась въ этомъ случаѣ въ высокой степени благодѣтельной для Вронскаго: она наполнила его душу новымъ содержаніемъ, ускорила темпъ его личной—не формальной—душевной жизни, усилила ея напряженность, дала ему много новыхъ и сильныхъ чувствъ и невѣдомыхъ ему раньше

мыслей, пошатнула въ основаніяхъ залежавшійся кодексъ его нравственныхъ правилъ, нарушила всѣ его привычки.

По мѣрѣ того, какъ это совершалось, Вронскій становился лучше и человѣчнѣе,—и, начиная отъ знаменитыхъ сценъ у постели больной при-смерти Анны (гл. XVII-ая IV-ой части) и до конца романа, онъ привлекаетъ къ себѣ наше заинтересованное вниманіе уже не столько какъ типичный представитель великосвѣтской психологической формы, сколько—и преимущественно—какъ человѣкъ съ опредѣленнымъ характеромъ, умомъ, темпераментомъ, нравственнымъ складомъ и т. д., т. е. со стороны содержанія своей души.

Это не значитъ, конечно, что его формальная аристократическая психика потеряла способность обнаруживаться и вліять на содержаніе. Нѣтъ,—отъ времени до времени, при случаѣ, она даетъ себя знать, но эти проявленія становятся относительно рѣдкими и не имѣютъ уже рѣшающаго вліянія на ходъ его душевной жизни, какъ это было прежде. Въ былое время вся жизнь Вронскаго слагалась по кодексу и привычкамъ, добрая половина которыхъ вытекала изъ формальной (а также отчасти профессіональной—военной) психики. Теперь уже не то: «всѣ, казавшіеся столь твердыми, привычки и уставы его жизни вдругъ оказались ложными и неприложимыми» (ч. IV, гл. XVIII-ая).

Кризисъ этого душевнаго перелома изображенъ въ XVII-ой и XVIII-ой главахъ IV-ой части, которыя по праву должны разсматриваться какъ поворотный пунктъ въ душевной исторіи Вронскаго. Это именно уже упомянутыя сцены у постели присмерти больной Анны и объясненіе съ Карениным ъ (гл. XVII), затѣмъ описаніе нравственныхъ мученій Вронскаго и его попытки къ самоубійству (гл. XVIII).

Съ этого только момента мы и начинаемъ постепенно узнавать Вронскаго, какъ человѣка, и не можемъ отказать ему ни въ уваженіи, ни въ симпатіи. Онъ все болѣе выигрываетъ въ нашихъ глазахъ. И, подводя итогъ нашимъ впечатлѣніямъ, мы должны отнести его къ числу положительныхъ типовъ, между тѣмъ какъ въ началѣ онъ сбивался скорѣе на типъ отрицательный.

Мы уже указали на то, что Вронскій, хотя и отдаленно, но все-таки въ извѣстной мѣрѣ напоминаетъ князя Андрея Болконскаго. Въ немъ, конечно, нѣтъ той сложности натуры, тѣхъ выходящихъ изъ ряда качествъ ума и тѣхъ высокихъ стремленій,

какими характеризуется Андрей Болконскій, человѣкъ, которому, очевидно, было суждено, если бы онъ не умеръ раньше, явиться однимъ изъ главныхъ дѣятелей движенія, такъ трагически закончившагося въ 1825 году.

Перенося мысленно Вронскаго въ ту эпоху, мы не знаемъ, насколько онъ оказался бы отзывчивымъ въ отношеніи къ тогдашнему движенію умовъ. Весьма возможно, что онъ остался бы въ сторонѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ очевидно, что Вронскій тогда отнюдь не явился бы въ положеніи Николая Ростова. Онъ могъ бы остаться въ сторонѣ въ силу лойяльности и недостаточной воспріимчивости къ идеямъ, неспособности къ беззавѣтному увлеченію. Вообще, онъ очень положителенъ и трезвъ. Но его трезвость и положительность не вытекаютъ изъ ограниченности, какъ у Ростова. Съ Андреемъ Болконскимъ онъ отчасти сближается, кромѣ аристократической формы, складомъ характера—сильнаго, сосредоточеннаго, рѣшительнаго,—серьезностью натуры, способностью къ живому дѣлу и высоко-развитымъ чувствомъ чести и долга. Но онъ гораздо «проще»: въ немъ нѣтъ гамлетовскихъ чертъ Болконскаго, его кругозоръ гораздо уже, его стремленія легче могутъ быть удовлетворены,—ему не трудно войти въ колею служебной карьеры или въ роль земскаго дѣятеля и создать себѣ жизнь, въ которой не оставалось бы мѣста тому вѣчному недовольству, какое такъ присуще князю Андрею. Послѣдній—человѣкъ сильно выраженной, всегда бодрствующей рефлексіи,—у Вронскаго этого мучительнаго дара почти нѣтъ. Князь Андрей смотритъ на жизнь и людей съ большой высоты, которая недоступна Вронскому. Оттуда, между прочимъ, полная неприспособляемость перваго и противоположная черта второго, умѣющаго скоро и легко найти себѣ живое дѣло, создать себѣ программу жизни и дѣятельности и выполнять эту программу «не мудрствуя», съ умомъ и тактомъ, да еще съ сознаніемъ хорошо понятаго долга и призванія.

Такимъ представляется намъ Вронскій въ VI-ой части романа, именно въ главахъ (XX-ая и слѣд.), гдѣ мы видимъ его въ деревнѣ, какъ землевладѣльца-хозяина, и потомъ—въ главѣ XXXI-ой, гдѣ онъ изображенъ выступающимъ на поприще общественной дѣятельности. Излагая этотъ эпизодъ, Толстой тщательно оттѣняетъ мотивы, направлявшіе Вронскаго въ эту сторону. Сперва упомянуты мотивы чисто-личные и не имѣющіе отношенія къ самой общественной дѣятельности: «Вронскій пріѣхалъ на

выборы потому, что ему было скучно въ деревнѣ и нужно было заявить свои права на свободу предъ Анной»... Но тутъ же указанъ и выдвинутъ впередъ мотивъ совсѣмъ иного рода, рисующій Вронскаго, какъ человѣка съ задатками общественнаго дѣятеля: онъ явился на выборы... «болѣе всего для того, чтобы строго исполнять всѣ обязанности того положенія дворянина и землевладѣльца, которое онъ себѣ избралъ».

Но этого мало. Оказывается, что сама эта дѣятельность пришлась ему по душѣ, что онъ способенъ къ ней, чего онъ самъ до сихъ поръ не зналъ: «Но онъ никакъ не ожидалъ, чтобъ это дѣло выборовъ такъ заняло его, такъ забрало за живое, и чтобъ онъ могъ такъ хорошо дѣлать это дѣло». Онъ сразу оріентировался, вошелъ въ курсъ новыхъ отношеній и интересовъ, нашелъ свое мѣсто въ рядахъ «либеральной» партіи, пріобрѣлъ всеобщія симпатіи и замѣтное вліяніе. Перечисляя условія, содѣйствовавшія этому вліянію, Толстой сперва упоминаетъ о богатствѣ Вронскаго, о прекрасномъ помѣщеніи въ городѣ и отличномъ поварѣ, далѣе о дружбѣ съ губернаторомъ, товарищемъ Вронскаго по корпусу, но тутъ же прибавляетъ: „а болѣе всего (содѣйствовали вліянію Вронскаго) простыя, равныя ко всѣмъ отношенія, очень скоро заставившія большинство дворянъ измѣнить сужденіе о его мнимой гордости».

Если бы Вронскому удалось остаться на мѣстѣ и развернуть свою дѣятельность въ намѣченномъ направленіи, то, весьма вѣроятно, его аристократическая психика существенно измѣнилось бы съ теченіемъ времени и перешла бы въ общедворянскую. Въ пользу такого предположенія говорятъ только что приведенные факты, свидѣтельствующіе о приспособляемости Вронскаго къ дворянской помѣщичьей средѣ, объ его общительности, отсутствіи у него заносчивости, а равно и объ его способности къ живой дѣятельности.

Но этой дѣятельности не суждено было осуществиться. Мы знаемъ только ея начало или, точнѣе, первую попытку приступить къ ней. Поэтому мы лишены возможности вполнѣ узнать и оцѣнить Вронскаго, какъ величину общественную. Этотъ пробѣлъ отчасти вліяетъ неблагопріятно и на наше представленіе о Вронскомъ, какъ о человѣкѣ. Его качества—ума, характера и т. д., всѣ его задатки могли бы гораздо отчетливѣе выразиться на почвѣ общественной дѣятельности, чѣмъ въ интимной жизни,

въ перипетіяхъ романа съ Анной. По всему видно, что Вронскій—натура менѣе всего способная посвятить жизнь голубинымъ воркованіямъ любви. Ему необходима живая дѣятельность. Онъ рвется къ ней,—и чуть ли не главною причиною его охлажденія къ Аннѣ слѣдуетъ признать то, что въ любимой женщинѣ онъ встрѣчаетъ важнѣйшее препятствіе своимъ стремленіямъ къ живой дѣятельности.

Чтобы закончить характеристику Вронскаго, возстановимъ въ памяти то общее впечатлѣніе, какое онъ производитъ въ качествѣ героя любовной исторіи, составляющей главную фабулу романа. Полагаю, читатель согласится со мною, что въ общемъ это впечатлѣніе выходитъ хорошимъ, благопріятнымъ для Вронскаго. Въ романѣ нѣтъ ничего, что давало бы поводъ подозрѣвать Вронскаго въ легкости отношеній къ Карениной, въ фатовствѣ, въ ловеласничествѣ, въ безсердечіи. Если онъ и началъ интригу съ нѣкоторымъ легкомысліемъ, не заботясь о будущемъ, не считаясь съ интересами третьихъ лицъ (мужа, сына), то очень скоро, убѣдившись въ прочности чувства Анны и своего, онъ обнаружилъ далеко не заурядную сердечность и самоотверженность въ своихъ отношеніяхъ къ женщинѣ, которую полюбилъ. Излишне пояснять, что его охлажденіе къ Аннѣ, изображенное въ шестой и седьмой частяхъ романа, не было ни измѣною, ни отступленіемъ, ни исканіемъ новой любви. Онъ искалъ только дѣятельности, и его неспособность всецѣло отдаться любви говоритъ въ его пользу. Но онъ остается вѣренъ Аннѣ, хлопочетъ о разводѣ и хотѣлъ бы навсегда связать свою жизнь съ ея жизнью. Ограничиваясь сказаннымъ, закончу характеристику Вронскаго указаніемъ на то выгодное для него впечатлѣніе, которое онъ производитъ послѣ смерти Анны, въ послѣдней сценѣ, гдѣ мы встрѣчаемъ его, именно на дебаркадерѣ желѣзной дороги, на пути въ Сербію (ч. VIII-ая, гл. V-ая).

ГЛАВА IX.

Разложеніе аристократической психологической формы. Стива Облонскій.

I.

Фигура Стивы Облонскаго, нарисованная съ изумительной даже для Толстого рельефностью и живостью изображенія, представляетъ для насъ, съ точки зрѣнія, установленной въ преды-

дущей главѣ, далеко не маловажный интересъ. Разбирая Вронскаго, какъ типичнаго представителя аристократической психологической формы, мы отмѣтили въ немъ симптомы возможнаго разложенія или, по крайней мѣрѣ, видоизмѣненія этой формы въ направленіи къ тому соціально-психологическому укладу, который условно—можно назвать общедворянскимъ. Вотъ именно этотъ процессъ въ Облонскомъ выразился несравненно яснѣе и сильнѣе. То, что у Вронскаго дано лишь какъ симптомъ или же какъ возможность, у Облонскаго уже является совершившимся фактомъ. Классовая психика Облонскаго уже не можетъ быть названа аристократической или великосвѣтской въ тѣсномъ и точномъ смыслѣ этихъ терминовъ. Мы не находимъ у него ни отчужденности отъ прочихъ смертныхъ, ни родовой гордости, ни презрѣнія къ представителямъ другихъ слоевъ, ни даже безсознательныхъ, чисто инстинктивныхъ привычекъ и замашекъ, въ которыхъ невольно сказывается «аристократъ», человѣкъ высшаго свѣта.

Психологическая форма личности, выкованная изо всѣхъ такихъ чертъ, крупныхъ и мелкихъ, явныхъ и тайныхъ, для натуры Облонскаго оказалась бы слишкомъ тѣсной и неудобной. Въ эти узкія рамки, въ эти душевные тиски нельзя вогнать человѣка, который, между прочимъ, характеризуется такими чертами: «Степанъ Аркадьевичъ былъ на «ты» почти со всѣми своими знакомыми: со стариками шестидесяти лѣтъ, съ мальчиками двадцати лѣтъ, съ актерами, съ министрами, съ купцами и съ генералъ-адъютантами, такъ что очень многіе изъ бывшихъ съ нимъ на «ты» находились на двухъ крайнихъ пунктахъ общественной лѣстницы и очень бы удивились, узнавъ, что имѣютъ черезъ Облонскаго что-нибудь общее» (т. I, ч. I, гл. V). По происхожденію Облонскій несомнѣнный «аристократъ»,—князь и «потомокъ Рюрика» (т. III, ч. VII, гл. XVII),—онъ выросъ и воспитался въ великосвѣтской средѣ и, конечно, великосвѣтская форма личности—въ потенціальномъ видѣ—была его достояніемъ отъ рожденія; сила традиціи, привычки воспитанія, вліяніе среды должны были развить ее. «Онъ родился въ средѣ тѣхъ людей, которые были и стали сильными міра сего (читаемъ въ гл. V, ч. I). Одна треть государственныхъ людей, стариковъ, были пріятелями его отца и знали его въ рубашечкѣ; другая треть была съ нимъ на «ты», а третья—были хорошіе знакомые...» Но все это говорится не для того, чтобы оттѣнить психологическій

аристократизмъ Облонскаго, а для того только, чтобы пояснить, какъ легко Степану Аркадьевичу получить по протекціи мѣсто съ хорошимъ окладомъ. Въ отношеніи къ психологической классовой формѣ Облонскаго всѣ эти данныя—и предки, восходящіе къ Рюрику, и государственные люди, пріятели отца, и государственные люди, съ которыми онъ самъ пріятель, и вліяніе среды, и внушенія воспитанія—являются, такъ сказать, мертвымъ капиталомъ, недѣйствующей, нейтрализованной силою. Помыслы о предкахъ, о своемъ княжескомъ титулѣ, а также то, что можно назвать «чувствомъ породы»,—все это совершенно чуждо Облонскому, который не прочь пошутить на ту тему, «что если ужъ гордиться породой, то не слѣдуетъ останавливаться на Рюрикѣ и отрекаться отъ перваго родоначальника—обезьяны» (ч. I, гл. III). И не даромъ, выводя Облонскаго на сцену, Толстой почти никогда не называетъ его княземъ; мы чувствуемъ, что выраженіе «князь Облонскій» звучало бы диссонансомъ, чего нельзя сказать о выраженіи «графъ Вронскій». Титулъ «князь», какъ и всякій другой аристократическій ярлыкъ, совсѣмъ не ладитъ съ тѣмъ представленіемъ, которое мы привыкли соединять съ именемъ Степана Аркадьевича или просто Стивы Облонскаго. На всемъ протяженіи романа только одинъ разъ случилось, что въ душѣ Степана Аркадьевича заговорило-было, и то на минуту, чувство аристократической гордости: это именно на пріемѣ у вліятельнаго еврея Болгаринова, къ которому Облонскій обращается съ просьбой о содѣйствіи ему въ его хлопотахъ о мѣстѣ «члена отъ комиссіи соединеннаго агентства кредитно-взаимнаго баланса южно-желѣзныхъ дорогъ и банковыхъ учрежденій». Ему пришлось долго ждать въ пріемной,—вотъ тутъ-то онъ и почувствовалъ «голосъ крови», но и то не въ формѣ глубокой обиды, негодованія и т. п., а только въ формѣ «неловкости»: «то ли ему было неловко, что онъ, потомокъ Рюрика, князь Облонскій, ждалъ два часа въ пріемной у жида, или то, что въ первый разъ въ жизни онъ не слѣдовалъ примѣру предковъ, служа правительству, а выступалъ на новое поприще, — но ему было очень неловко» (т. III., ч. VII, гл. XVII). И, вспоминая въ разговорѣ съ Карениным объ этомъ пріемѣ, Степанъ Аркадьевичъ покраснѣлъ (ib.). Не трудно видѣть какъ въ сущности слабъ этотъ голосъ крови у Облонскаго: онъ заговорилъ не потому, что Болгариновъ—представитель денежной аристократіи и еврей, а потому только, что въ данное время Облонскій

оказался въ положеніи просителя, и что ему пришлось ждать два часа. При другихъ условіяхъ онъ въ обществѣ Болгаринова не ощутилъ бы никакой «неловкости», какъ не ощущалъ ея въ обществѣ желѣзнодорожнаго богача Мальтуса, о которомъ идетъ рѣчь въ гл. XI-ой VI-ой части. Облонскій разсказываетъ Левину «про прелесть охоты у Мальтуса, на которой онъ былъ прошлымъ лѣтомъ». Левинъ возмущенъ благодушнымъ отношеніемъ Облонскаго къ Мальтусу. «Не понимаю,—говоритъ онъ,—какъ тебѣ не противны эти люди?» Съ точки зрѣнія Левина, желѣзнодорожные и банковскіе тузы, какъ Мальтусъ, заслуживаютъ презрѣнія, потому что нажили деньги «безчестно», т. е. не трудомъ. Облонскій, проводя свою точку зрѣнія, возражаетъ такъ: «Я... не считаю его болѣе безчестнымъ, чѣмъ кого бы то ни было изъ богатыхъ купцовъ и дворянъ. И тѣ и эти нажили одинаково трудомъ и умомъ». И затѣмъ настаиваетъ на томъ, что «добыть концессію и перепродать»—это тоже «трудъ»: «трудъ въ томъ смыслѣ, что если бы не было его (Мальтуса), или другихъ ему подобныхъ, то не было бы и дорогъ». Тогда Левинъ возражаетъ указаніемъ на бьющее въ глаза несоотвѣтствіе наживаемыхъ такимъ путемъ капиталовъ съ количествомъ затраченнаго труда. «Это зло—пріобрѣтеніе громадныхъ состояній безъ труда, какъ это было при откупахъ,—только перемѣнило форму»,—говоритъ онъ и при этомъ, по мѣткому замѣчанію Толстого, самъ чувствуетъ, что «не умѣетъ ясно опредѣлить черту между честнымъ и безчестнымъ». И Облонскій, съ своей точки зрѣнія, безусловно правъ, когда говоритъ ему: «То, что ты получаешь за свой трудъ въ хозяйствѣ лишнихъ, положимъ, пять тысячъ, а нашъ хозяинъ-мужикъ, какъ бы онъ ни трудился, не получитъ больше пятидесяти рублей; точно такъ же безчестно, какъ то, что я получаю больше столоначальника, и что Мальтусъ получаетъ больше дорожнаго мастера. Напротивъ, я вижу какое-то враждебное, ни на чемъ не основанное отношеніе общества къ этимъ людямъ, и мнѣ кажется, что тутъ зависть»...

Такіе сцены и разговоры рисуютъ намъ Облонскаго, какъ человѣка, въ которомъ великосвѣтская психологическая форма уже разложилась и перешла въ другую, болѣе широкую и эластичную, которую я предлагаю называть «общедворянскою» Я беру въ данномъ случаѣ этотъ терминъ потому, что въ Облонскомъ еще ясно виденъ дворянинъ и баринъ, что напр. оттѣняется слѣдующей чертой: защищая противъ нападокъ Ле-

вина купца Рябинина, который обманулъ Степана Аркадьевича при покупкѣ лѣса, онъ говоритъ: «Ну, ужъ извини меня, но есть что-то мизерное въ этомъ считаньѣ (деревьевъ въ лѣсу, на необходимости чего настаиваетъ Левинъ, говоря: «... вотъ ты не считалъ, а Рябининъ считалъ. У дѣтей Рябинина будутъ средства къ жизни и образованію, а у твоихъ, пожалуй, не будетъ!»). У насъ свои занятія, у нихъ свои, и имъ надо барыши»... (т. I, ч. II, гл. XVII). Здѣсь сказался типичный баринъ-дворянинъ. Любопытно, что у насъ эта черта вовсе не характерна и не обязательна для высшей аристократической формы. Такъ, Вронскій, при всемъ своемъ аристократическомъ барствѣ, оказывается отличнымъ хозяиномъ, который во все входитъ и не дастъ себя обмануть (т, III, ч. VI, гл. XXV). Пусть это—личная черта Вронскаго, но она ничуть не нарушаетъ цѣльности и «чистоты» его аристократической формы, не является въ отношеніи къ ней диссонансомъ. Напротивъ, для общедворянской, барско-помѣщичьей психики, взлелѣянной крѣпостнымъ правомъ и долговременнымъ общеніемъ, на правахъ владѣльца или въ роли барина и патрона, съ мужикомъ, мѣщаниномъ, купцомъ и сельскимъ духовенствомъ, хозяйская дѣловитость, расчетливость, «свой глазъ» и т. д. являются чертами не только не классовыми (они чисто-индивидуальны), но еще и такими, которыя не гармонируютъ съ классовой формой. Оттуда и идетъ практическая неумѣлость и разореніе дворянъ-помѣщиковъ. Переходъ дворянскихъ имѣній въ другія руки есть слѣдствіе неприспособленности общедворянской психологической формы къ условіямъ и требованіямъ пореформеннаго хозяйства. Высшая аристократія, настоящая арена которой—на государственной службѣ, при дворѣ, и жизнь которой протекала въ столицахъ и за-границей, не имѣла возможности пріобрѣсти качествъ землевладѣльца-хозяина. Поэтому ни въ положительномъ, ни въ отрицательномъ смыслѣ представленіе объ этихъ качествахъ не входитъ въ понятіе аристократической классовой формы. Напротивъ, дворяне-помѣщики—исконные сельскіе хозяева, и долговременный историческій опытъ научилъ ихъ быть—плохими хозяевами. Оттуда въ ихъ психологическую форму входитъ отрицательное представленіе о качествахъ хозяина-помѣщика [1]).

---

[1]) Эта психологическая классовая форма дворянъ—помѣщиковъ въ настоящее время находится въ процессѣ быстраго разложенія и преобразованія въ зависимости отъ общихъ условій времени.

Возвращаясь къ Облонскому, мы скажемъ, что его нельзя разсматривать какъ типичнаго представителя специально дворянско-помѣщичьей психики. По рожденію, по наслѣдственности и по условіямъ воспитанія и жизни онъ былъ предназначенъ для великосвѣтской формы; но послѣдняя въ немъ не осуществилась или разложилась, и, только, какъ результатъ этого заторможенія или разложенія, на первый планъ выступили у него черты обще-дворянскія.

Не будь въ немъ этихъ чертъ, я бы назвалъ его психологическую форму «общебуржуазною».

II.

Не трудно указать на тѣ стороны личной натуры Облонскаго, которыя являются тормозомъ въ отношеніи къ великосвѣтской психологической формѣ. Это прежде всего необыкновенная живость, экспансивность и общительность Степана Аркадьевича, которыя рѣшительно не мирятся, при данныхъ усдовіяхъ, съ кастовымъ кодексомъ аристократической психики. И если бы въ его душевномъ обиходѣ этотъ кодексъ имѣлъ еще мѣсто и значеніе, то всѣ его параграфы были бы нарушаемы на каждомъ шагу. Всякое душевное проявленіе Облонскаго наталкивалось бы на ненужную преграду этихъ «параграфовъ», и слишкомъ много душевныхъ силъ затрачивалось бы на компромиссы, на борьбу съ «кодексомъ». Гораздо проще и экономнѣе—устранить самый кодексъ.

Этотъ исходъ является необходимымъ въ силу духа времени и условій жизни Степана Аркадьевича. Въ прежнее время, при большей замкнутости высшихъ слоевъ общества, Облонскому не приходилось бы въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ выходить такъ далеко за предѣлы великосвѣтскаго круга; онъ тогда не былъ бы на «ты» съ актерама и купцами, не заводилъ бы знакомства съ Мальтусомъ, не обращался бы за протекціей къ Болгаринову и т. д. На своемъ жизненномъ пути онъ встрѣчалъ бы, за немногими исключеніями, только лицъ своего круга или близкихъ къ этому кругу и могъ бы проявлять свою общительность, экспансивность, добродушіе и пр., не нарушая «кодекса». Но въ эпоху пореформенную, въ 70-хъ годахъ, къ которымъ пріурочена фабула романа, нарушеніе кодекса стало неизбѣжнымъ. Смѣшеніе «сословій» уже было тогда въ полномъ ходу,—

и соблюденіе «кодекса» создало бы для Степана Аркадьевича массу препятствій на его жизненномъ поприщѣ, вызывало бы ненужныя осложненія, вносило бы фальшивыя ноты и натянутость въ его жизнь. Все это—какъ разъ то, что органически противно натурѣ Степана Аркадьевича, который всего болѣе любитъ простыя и ясныя отношенія, не терпитъ недоразумѣній и стремится быть со всѣми въ добромъ согласіи. Это—натура, если можно такъ выразиться, до краевъ переполненная жизнерадостностью, добродушіемъ и веселостью, натура, которой для упражненія этихъ душевныхъ силъ, необходимо общеніе съ людьми, съ возможно-большимъ числомъ людей. Облонскому необходимо быть всегда налюдяхъ, чтобы отдавать имъ избытокъ жизни, избытокъ почти органической, «безпричинной» радости существованія, ключомъ бьющей въ его душѣ. «Степана Аркадьевича (читаемъ въ г. V-ой I-ой части) не только любили всѣ знавшіе его за его добрый, веселый нравъ и несомнѣнную честность, но въ немъ, въ его красивой, свѣтлой наружности, блестящихъ глазахъ, черныхъ бровяхъ, волосахъ, бѣлизнѣ и румянцѣ лица, было что-то физически дѣйствовавшее дружелюбно и весело на людей, встрѣчавшихся съ нимъ. «Ага! Стива! Облонскій! Вотъ и онъ!» почти всегда съ радостной улыбкой говорили, встрѣчаясь съ нимъ. Если и случалось иногда, что послѣ разговора съ нимъ оказывалось, что ничего особенно радостнаго не случилось,— на другой день, на третій опять точно такъ же всѣ радовались при встрѣчѣ съ нимъ».

Для такой натуры устраненіе великосвѣтскаго кодекса было дѣломъ первой необходимости, и оно совершилось само собою, непроизвольно, такъ что Степанъ Аркадьевичъ и не замѣтилъ, какъ и когда исчезъ у него этотъ кодексъ, и вмѣстѣ съ нимъ былъ выброшенъ весь баластъ ненужныхъ предразсудковъ и антипатій—сословныхъ, расовыхъ и всяческихъ.

Устраненіе этого вреднаго баласта совершилось у Облонскаго такъ легко и просто именно потому, что оно вытекало у него изъ настоятельныхъ требованій экономизаціи душевныхъ силъ.

Это понятіе «экономизаціи душевныхъ силъ» представляется мнѣ вообще весьма примѣнимымъ и удобнымъ въ дѣлѣ изученія различныхъ соціально-психологическихъ формъ (національныхъ, классовыхъ, профессіональныхъ и др.), ихъ развитія и разложенія, ихъ исторической роли и смѣны, ихъ перехода изъ одной въ другую.

Но чтобы имъ воспользоваться при анализѣ и объясненіи художественнаго образа Облонскаго, необходимо прежде всего установить правильный взглядъ на этотъ образъ. Какъ, повидимому, ни ясенъ Облонскій, но при бѣгломъ чтеніи у насъ легко возникаетъ не вполнѣ вѣрное сужденіе о немъ. Дѣло въ томъ, что въ изображеніе этого лица Толстой внесъ нѣкоторый сатирическій оттѣнокъ. Выводя на сцену Облонскаго, онъ рѣдко упускаетъ случай подчеркнуть его отрицательныя стороны, въ особенности его легкость, поверхностность его натуры. И въ представленіи читателя Степанъ Аркадьевичъ неизмѣнно отпечатлѣвается какъ добрый, но пустой малый, какъ натура, неспособная заинтересовать, наконецъ, даже какъ фигура забавная и отнюдь не предназначенная художникомъ служить воплощеніемъ или способомъ изображенія сколько-нибудь важныхъ явленій жизни или художественной идеи, заслуживающей раскрытія и анализа. «Легкость» Облонскаго невольно вызываетъ въ читателѣ соотвѣтственно-легкое отношеніе къ нему, и читателю начинаетъ даже казаться, будто эта фигура пригодна скорѣе для водевиля, чѣмъ для серьезнаго соціально-психологическаго романа.

Такое впечатлѣніе должно быть признано неправильнымъ, не соотвѣтствующимъ дѣйствительности. При внимательномъ чтеніи, при надлежащей группировкѣ и освѣщеніи всѣхъ чертъ этого образа мы убѣждаемся въ томъ, что, какъ человѣкъ, Облонскій не лишенъ извѣстнаго содержанія, а какъ художественный образъ представляетъ немаловажный интересъ, въ особенности въ отношеніи соціально-психологическомъ.

Какъ человѣкъ, Степанъ Аркадьевичъ далеко не такъ ограниченъ и пустъ, какъ склоненъ думать читатель на основаніи отдѣльныхъ, неправильно понятыхъ, чертъ. Во-первыхъ, онъ несомнѣнно уменъ и далеко не лишенъ сознательнаго, даже критическаго отношенія къ окружающему. По-своему онъ мыслитъ. Не имѣя выработанныхъ идеаловъ, онъ однако имѣетъ свою точку зрѣнія на вещи, нѣчто въ родѣ своей философіи. Можно даже сказать, что Облонскій и выведенъ какъ яркій представитель особой житейской философіи—оппортюнизма, съ лозунгомъ «жить, т. е. приспособляться, и, по возможности, другимъ давать жить».

Припомнимъ знаменитое мѣсто въ началѣ романа, гдѣ Толстой даетъ намъ предварительное понятіе о натурѣ, умѣ и воззрѣніяхъ Облонскаго. Здѣсь между прочимъ читаемъ: «Степанъ

Акадьевичъ получалъ и читалъ либеральную газету, не крайнюю, но того направленія, котораго держалось большинство. И несмотря на то, что ни наука, ни искусство, ни политика собственно не интересовали его, онъ твердо держался тѣхъ взглядовъ на всѣ эти предметы, какихъ держалось большинство и его газета, и измѣнялъ ихъ только тогда, когда большинство измѣняло ихъ, или лучше сказать, не измѣнялъ ихъ, а они сами въ немъ незамѣтно измѣнялись» (т. I, ч. I, гл. III).

Значитъ ли это, что Степанъ Акадьевичъ—человѣкъ пустой, немыслящій, безпринципный? Съ точки зрѣнія, напр., Левина, пожалуй, это такъ и есть, но для насъ точка зрѣнія Левина не обязательна, и мы скажемъ, что приведенная цитата рисуетъ намъ Облонскаго только какъ человѣка, лишеннаго оригинальсти ума, иниціативы мысли и принципіальной, послѣдовательной убѣжденности. Но вѣдь отсутствіе этихъ, вообще довольно рѣдкихъ, качествъ, еще не доказываетъ пустоты, полной безпринципности и неспособности мыслить. Приведенная характеристика говоритъ намъ только то, что Облонскій мыслитъ заодно съ большинствомъ (его круга), и что въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, онъ совсѣмъ не похожъ на Левина. Вообще, для правильнаго пониманія Облонскаго, слѣдуетъ не упускать изъ вида, что онъ нарисованъ совершенно параллельно и въ противоположность Левину. Обѣ фигуры одна другую поясняютъ и оттѣняютъ своими противоположностями. Левинъ—законченный образецъ исключительности, своеобразія, оригинальности. У него все—чувства, мысли, дѣла—не такое, какъ у всѣхъ, во всѣмъ онъ хочетъ быть существомъ особымъ, не подводимымъ ни подъ какой шаблонъ. Его лозунгъ—идти наперекоръ большинству и меньшинству, и онъ стремится проложить себѣ въ жизни и въ сферѣ мысли особую дорогу—гдѣ-то въ сторонѣ отъ торнаго пути, которымъ идетъ большинство, и отъ тѣхъ дорогъ, которыя прокладываетъ меньшинство. Въ противоположность этому, Облонскій представленъ какъ типичный и вѣрный представитель большинства, какъ человѣкъ, который въ жизни и сферѣ мысли способенъ идти только по торному пути, столь широкому, давно уже приспособленному къ движенію сплошныхъ массъ. Облонскій избираетъ эту дорогу, или, лучше сказать, инстинктивно сворачиваетъ на нее не потому, чтобы она была, по его разумѣнію, лучше другихъ, а потому, во-первыхъ, что она удобнѣе, легче, и что, во-вторыхъ, по ней идетъ сплошная масса большинства, дѣйствующая на Сте-

пана Аркадьевича съ неотразимою силою притяженія. Для Облонскаго не только невозможенъ особый путь въ жизни (не говоря ужъ о мысли), но ему не подъ силу и тотъ, уже проложенный, которымъ идетъ меньшинство. Ибо, хотя и здѣсь имѣются свои шаблоны (невыносимые для Левина), но они не общепризнаны и требуютъ извѣстной затраты душевныхъ силъ человѣка, чтобы онъ могъ къ нимъ приладиться: а Степанъ Аркадьевичъ, какъ и масса, безсознательно избираетъ въ своемъ жизненномъ движеніи сторону наименьшаго сопротивленія. Левинъ, напротивъ, въ своемъ въ жизненномъ пути движется въ сторону наибольшаго сопротивленія,—и онъ не можетъ пристать къ меньшинству потому именно, что и здѣсь нѣтъ (или ему кажется, что нѣтъ) достаточно простора для личной иниціативы, для полнаго проявленія своеобразія и, скажемъ, своенравія его личности.

Имѣя въ виду эту сторону натуры Облонскаго, эту его «стадность», оттѣняемую діаметрально-противоположнымъ укладомъ натуры Левина, мы лучше поймемъ то, что въ вышеприведенной цитатѣ говорится о «взглядахъ» Облонскаго. Для Степана Аркадьевича, какъ для человѣка жизни по преимуществу, всякія идеи и воззрѣнія—общественныя, политическія, религіозныя и иныя—составляютъ только «частный случай» общаго обихода и направленія его жизни и находятся въ непосредственной зависимости отъ склада его натуры, его вкусовъ, его житейскихъ отношеній и т. д., а не отъ высшихъ принциповъ или идеаловъ, а равно и не отъ требованій логики. Онъ придерживается взглядовъ большинства (которые въ данное время оказываются «либеральными») потому, что вообще его тянетъ къ большинству, къ массѣ, и что въ этой области, какъ и въ другихъ, онъ не можетъ идти ни по какому иному пути, кромѣ того, по которому идетъ большинство. Если послѣднее со временемъ перестанетъ придерживаться либеральныхъ взглядовъ, и въ немъ распространятся другіе, напр., консервативные, то и Степанъ Аркадьевичъ превратится въ «консерватора». Но это, съ его стороны, не будетъ «измѣною» прежнимъ воззрѣніямъ, потому что онъ не человѣкъ воззрѣній, а человѣкъ жизни въ узкомъ смыслѣ, человѣкъ большинства, и онъ не виноватъ, что большинство и онъ самъ вмѣстѣ съ нимъ на своей торной дорогѣ натолкнулись на другую атмосферу «взглядовъ». Все это лишній разъ возвращаетъ насъ къ той же основной чертѣ натуры Облонскаго — къ его общительности или стадности. Онъ не понимаетъ иного суще-

ствованія, какъ на—людяхъ, и ему органически недоступно все, что мѣшало бы широкому общенію съ людьми, что такъ или иначе уединяло бы его.

Но послѣдуемъ дальше за характеристикою Облонскаго. Толстой говоритъ, что Облонскій не могъ обойтись безъ «взглядовъ», и поясняетъ: «...имѣть взгляды ему, жившему въ извѣстномъ обществѣ, при потребности нѣкоторой дѣятельности мысли, развивающейся обыкновенно въ лѣта зрѣлости, было такъ же необходимо, какъ имѣть шляпу» (ч. I, гл. III). Не взирая на иронію, эти слова въ извѣстной мѣрѣ подымаютъ въ нашихъ глазахъ, какъ Облонскаго, такъ и самое общество, къ которому онъ принадлежитъ. И въ самомъ дѣлѣ: вѣдь это очень хорошо, это еще слава Богу, если въ обиходъ потребностей общества и его отдѣльныхъ представителей входитъ потребность «нѣкоторой дѣятельности мысли», если считается необходимымъ «имѣть взгляды». Приравниваніе же этой духовной потребности къ необходимости имѣть шляпу—обоюдоостро: съ одной стороны, оно, конечно, принижаетъ первую, но зато, съ другой, указываетъ на то, что она—не прихоть, не нѣчто напускное, а въ самомъ дѣлѣ является предметомъ необходимости, что безъ нея люди не могутъ обойтись. Нѣсколько выше (въ той же главѣ) сказано, что не самъ Степанъ Аркадьевичъ выбиралъ взгляды и направленіе, а они «сами приходили къ нему, точно такъ же какъ онъ не выбиралъ формы шляпы или сюртука, а бралъ тѣ, которыя носятъ». Съ точки зрѣнія Левина, это нѣчто ужасное. Это противно ему болѣе всего на свѣтѣ, но мы отнесемся къ этому столь распространенному явленію спокойнѣе и объективнѣе и скажемъ, что, въ существѣ дѣла, тутъ нѣтъ ничего дурного, ничего подлежащаго осужденію.—Если устранимъ сарказмъ, внесенный сюда Толстымъ, стоящимъ на точкѣ зрѣнія Левина, то получимъ простую мысль, что Облонскій, какъ представитель интеллигентной толпы своего круга, является однимъ изъ участниковъ въ коллективномъ умственномъ «творчествѣ» этого круга, и что онъ, Облонскій, не обладаетъ тою долею оригинальности и умственной иниціативы (а на нѣтъ и суда нѣтъ) ,какая необходима, чтобы претворить продукты «коллективнаго творчества» въ нѣчто свое, новое и особое. Облонскій — человѣкъ не мысли, а непосредственной жизни, и потому важнѣйшимъ стимуломъ для «нѣкоторой дѣятельности мысли» служатъ ему ближайшія потребности или импульсы самой жизни, преимущест-

венно личной, внушающей ему инстинктивное предпочтеніе тѣхъ или другихъ взглядовъ. На это Толстой указываетъ весьма опредѣленно говоря (въ той же главѣ), что Облонскій предпочиталъ либеральное направленіе консервативному не потому, что находилъ первое «болѣе разумнымъ, а потому, что оно подходило ближе къ его образу жизни». И за симъ слѣдуетъ явно саркастическое перечисленіе тѣхъ внушеній личной жизни, которыя направляли Облонскаго въ сторону либерализма: «либеральная партія говорила, что въ Россіи все дурно, и дѣйствительно, у Степана Аркадьевича долговъ было много, а денегъ рѣшительно не доставало. Либеральная партія говорила, что бракъ есть отжившее учрежденіе, и что необходимо перестроить его, и дѣйствительно, семейная жизнь доставляла мало удовольствія Степану Аркадьевичу»... и т. д. Устраняя и отсюда сарказмы Толстого, мы опять получимъ простую истину, что масса общества создаетъ свое общественное мнѣніе совсѣмъ не тѣмъ путемъ, какимъ приходятъ къ своимъ воззрѣніямъ публицисты, моралисты и философы. Эти мѣста, гдѣ Облонскій охарактеризованъ такъ, какъ будто это пишетъ не а Толстой, Левинъ, сразу настраиваютъ насъ (тѣмъ легче, что они находятся въ началѣ романа) противъ Степана Аркадьевича, располагая къ предвзятому мнѣнію о немъ.

Но не трудно устранить это предубѣжденіе. Самъ Толстой, какъ бы спохватившись, вноситъ въ дальнѣйшую характеристику Облонскаго соотвѣтственную поправку. Мы скоро убѣждаемся въ томъ, что либерализмъ Облонскаго вовсе не исключительно вытекаетъ изъ тѣхъ мотивовъ, какіе указаны въ только что приведенномъ мѣстѣ главы III-ей, а имѣетъ еще иной, болѣе глубокій источникъ.

Степанъ Аркадьевичъ либераленъ въ лучшемъ смыслѣ этого слова и притомъ—по самой натурѣ своей. Либерализмъ у него—не вычитанный, не навѣянный: онъ у него «въ крови», во всемъ складѣ его души, и обнаруживается невольно, непреднамѣренно, какъ родъ инстинкта. Объ этомъ прямо говорится въ слѣдующемъ мѣстѣ V-ой главы I-ой части: «Главныя качества Степана Аркадьевича, заслужившія ему... общее уваженіе по службѣ, состояли, во-первыхъ, въ чрезвычайной снисходительности къ людямъ, основанной въ немъ на сознаніи своихъ недостатковъ; во-вторыхъ, въ совершенной либеральности, не той, про которую онъ вычиталъ въ газетахъ, но той,

которая у него была въ крови, и съ которой онъ совершенно ровно и одинаково относился ко всѣмъ людямъ, какого бы состоянія и званія они не были»...

И соотвѣтственно этому, на всемъ протяженіи романа, гдѣ, гдѣ мы встрѣчаемъ Степана Аркадьевича, онъ неизмѣнно обнаруживается какъ человѣкъ истинно-гуманный, «либеральный» по натурѣ, простой, чуждый и тѣни того чванства, какое въ разныхъ степеняхъ и формахъ мы найдемъ у другихъ представителей великосвѣтской среды. Толстой не упускаетъ случая отмѣтить и такія мелкія, на первый взглядъ, но характерныя для Облонскаго черты, какъ то,—что онъ говоритъ купцу (Рябинину) «вы» и подаетъ ему руку (т. I, ч. II, гл. XVI), или пожимаетъ руку мужику (т. II, ч. IV, гл. VII). Это—мелочи, но онѣ имѣютъ свое значеніе, если вспомнимъ, напр., манеру Вронскаго и весь кодексъ барскаго обхожденія, строго регламентирующій всѣ оттѣнки внѣшнихъ отношеній къ людямъ. Характеренъ для Облонскаго и слѣдующій разговоръ съ Левинымъ, послѣ продажи лѣса купцу Рябинину: «Ну кончилъ?—сказалъ Левинъ, встрѣчая наверху Степана Аркадьевича:—хочешь ужинать? — Да, не откажусь... что жъ ты Рябинину не предложилъ поѣсть? — «А чортъ съ нимъ!» —Однако, какъ ты обходишься съ нимъ! — сказалъ Облонскій;—ты и руки ему не подалъ. Отчего же не подать ему руки?—«Оттого, что я лакею не подамъ руки, а лакей во сто разъ лучше». Какой ты, однако, ретроградъ! А сліяніе сословій? — сказалъ Облонскій. — Кому пріятно сливаться — на здоровье, а мнѣ противно». — Ты, я вижу, рѣшительно ретроградъ.—«Право, я никогда не думамъ, кто я. Я—Константинъ Левинъ, больше ничего» (ч. IV гл. XVII). — Разговоръ характеренъ для обоихъ, — Облонскаго и Левина. У послѣдняго тутъ сказалось прежде всего его своеобразіе и его отвращеніе къ партійности, но въ то же время сквозитъ и унаслѣдованное великосвѣтское презрѣніе къ прочимъ смертнымъ. Что же касается Облонскаго, то «сліяніе сословій», о которомъ онъ упоминаетъ, является въ его устахъ далеко не фразой, не только внушеніемъ либеральной газеты и отголоскомъ моднаго направленія,— сочувствіе этому «сліянію» вполнѣ гармонируетъ съ самой натурою Облонскаго, и въ ряду выведенныхъ Толстымъ типовъ изъ великосвѣтской среды нельзя найти другое лицо, которое

было бы такъ предуготовлено къ «сліянію сословій», какъ именно Облонскій [1]).

Говоря такъ, я имѣю, пока, въ виду не фактическое сліяніе, которое есть дѣло будущаго, хотя уже и начатое, а только устраненіе тѣхъ перегородокъ изъ всевозможныхъ предразсудковъ, изъ классовыхъ, сословныхъ, профессіональныхъ, національныхъ и расовыхъ антипатій, которыя раздѣляютъ людей и мѣшаютъ имъ понимать и оцѣнивать другъ друга «по человѣчеству».

Выше мы указали на то, что для Облонскаго устраненіе этихъ «перегородокъ» было прежде всего дѣломъ внутренней, психологической необходимости, вытекающей изъ требованій сбереженія душевныхъ силъ, и обусловливалось импульсами соціально-психологическаго приспособленія. Разсматриваемый исключительно съ этой точки зрѣнія, Облонскій является лишь характернымъ образчикомъ того, что можно назвать житейскимъ и душевнымъ оппортюнизмомъ. Но вотъ теперь, основываясь на только что приведенныхъ данныхъ, мы имѣемъ возможность отмѣтить въ Облонскомъ присутствіе другого фактора—этическаго, дѣйствующаго все въ томъ же направленіи—устраненія «перегородокъ» и замѣны междучеловѣческихъ предразсудковъ и антипатій болѣе гуманнымъ укладомъ духа.

Продолжительное дѣйствіе «перегородокъ» и ими обусловленныхъ негуманныхъ отношеній препятствуетъ развитію той въ высокой степени благодѣтельной умственной силы, которая называется симпатическимъ воображеніемъ. На этой силѣ основано сочувствіе и пониманіе человѣка человѣкомъ, и она по праву должна быть признана явленіемъ этическимъ по преимуществу. Умѣть мысленно поставить себя на мѣсто другого, войти въ его положеніе, живо представить себѣ его внутренній міръ и этимъ открыть себѣ дорогу къ сочувствію--вотъ то, что, при наличности соціальныхъ перегородокъ и ихъ дѣйствія изъ поколѣнія въ поколѣніе, въ сильной степени атрофируется у людей и становится доступнымъ имъ только въ узкихъ предѣлахъ класса, сословія, круга, а съ другой стороны,—искажается расовыми и національными предразсудками и антипатіями.

[1]) Братъ Левина, Николай, въ данномъ случаѣ въ счетъ не идетъ. Онъ представляетъ явленіе въ великосвѣтскомъ кругу исключительное, и, раньше своего „опрощенія", онъ вышелъ изъ своей среды по другимъ причинамъ.

У Облонскаго мы замѣчаемъ живое симпатическое воображеніе и вытекающую изъ него способность пониманія и сочувствія. Это одна изъ основныхъ и бросающихся въ глаза чертъ его натуры. Съ нею, между прочимъ, связана его извѣстная тактичность, умѣніе щадить самолюбіе другихъ, его несомнѣнная, почти изящная душевная деликатность. Оттуда же и его роль наперсника и повѣреннаго интимныхъ дѣлъ, горестей и радостей другихъ лицъ. Таковы, какъ извѣстно, его отношенія къ Левину, который, при всей своей замкнутости, охотно посвящаетъ Степана Аркадьевича въ свой внутренній міръ, куда онъ не допустилъ бы никого другого. Вспомнимъ также его отношенія къ Аннѣ, его посредничество между нею и Карениным. Здѣсь между прочимъ проглядываетъ какъ бы намекъ на то, что Облонскій принимаетъ такое участіе въ этомъ дѣлѣ не столько въ силу родственныхъ связей, сколько въ силу непосредственныхъ внушеній своей доброй натуры, которая не можетъ не сочувствовать другимъ въ ихъ горестяхъ. Вообще въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ онъ невольно становится какъ бы участникомъ ихъ интимной, душевной жизни. Онъ легко заражается настроеніями другихъ.

Припомнимъ нѣкоторыя мѣста, гдѣ эта черта Облонскаго наиболѣе ярко обрисована.

«Проводивъ княгиню Бетси... Степанъ Аркадьевичъ пошелъ къ сестрѣ. Онъ засталъ ее въ слезахъ. Несмотря на то брызжущее весельемъ расположеніе духа, въ которомъ онъ находился, Степанъ Аркадьевичъ тотчасъ естественно перешелъ въ тотъ сочувствующій, поэтически-возбужденный тонъ, который подходилъ къ ея настроенію». Анна говоритъ о мужѣ, который ей ненавистенъ, указываетъ на безвыходность своего положенія и т. д. «И мнѣ ничего не остается, кромѣ...» Она хотѣла сказать-смерти, но Степанъ Аркадьевичъ не далъ ей договорить. «Ты больна и раздражена,—сказалъ онъ,—повѣрь, что ты преувеличиваешь ужасно. Тутъ нѣтъ ничего такого страшнаго». И Степанъ Аркадьевичъ улыбнулся. Никто бы на мѣстѣ Степана Аркадьевича, имѣя дѣло съ такимъ отчаяніемъ, не позволилъ себѣ улыбнуться (улыбка показалась бы грубою), но въ его улыбкѣ было такъ много доброты и почти женской нѣжности, что улыбка его не оскорб-

ляла, но смягчала и успокаивала. Его тихія и успокоительныя рѣчи и улыбки дѣйствовали смягчающе — успокоительно, какъ миндальное масло. И Анна почувствовала это» (т. II, ч. IV, гл. XXI). О той же чудодѣйственной улыбкѣ Степана Аркадьевича говорится и ниже, въ слѣдующей главѣ, XXII-й, гдѣ Облонскій старается склонить Каренина къ разводу, мысль о которомъ онъ уже внушилъ Аннѣ. «Если ты хочешь знать мое мнѣніе,—сказалъ Степанъ Аркадьевичъ (на вопросъ Каренина: «какой же выходъ изъ нашего положенія?») съ тою же смягчающею, миндально-нѣжною улыбкой, съ которою онъ говорилъ съ Анной. Добрая улыбка была такъ убѣдительна, что невольно Алексѣй Александровичъ, чувствуя свою слабость и подчиняясь ей, готовъ былъ вѣрить тому, что скажетъ Степанъ Аркадьевичъ».

Умѣніе входить въ положеніе другихъ и вытекающая оттуда тонкая душевная деликатность и тактъ составляютъ одну изъ основныхъ чертъ натуры Облонскаго, и нѣтъ сомнѣнія, что проявленія этой черты у него не ограничены предѣлами того круга, въ которомъ онъ по преимуществу вращается, гдѣ онъ «свой человѣкъ». Перенесенный въ другую сферу, онъ и тамъ останется все тѣмъ же тактичнымъ, добрымъ, сочувствующимъ человѣкомъ. Выводя на сцену Облонскаго, Толстой зачастую обращаетъ наше вниманіе на эту столь характерную для него особенность, на этотъ душевный тактъ, проявляющійся въ массѣ мелочей повседневнаго обихода [1]).

III.

Представленіе объ Облонскомъ, составленное изъ чертъ, которыя мы выше сгруппировали и старались освѣтить, могло бы привести къ зачисленію этого типа въ разрядъ скорѣе положительныхъ, чѣмъ отрицательныхъ. Но есть и другая сторона медали. Въ натурѣ Облонскаго мы находимъ еще иныя черты, въ значительной степени ограничивающія благопріятное представленіе о немъ и не позволяющія намъ, въ послѣднемъ счетѣ, причислить Облонскаго къ тѣмъ типамъ, которые по праву и въ тѣсномъ смыслѣ могутъ быть названы «положительными».

---

[1]) Укажу, напр., на соотвѣтственныя мѣста въ главахъ: XIV-й II-й ч. и IX-й IV-й части.

На первый взглядъ, важнѣйшая особенность натуры Облонскаго, искажающая его хорошія стороны, не дающая имъ возможности развиться, это—столь извѣстная легкость, поверхностность Степана Аркадьевича. Мы только что оттѣнили тотъ даръ сочувствія, которымъ такъ выгодно отличается Облонскій, а теперь мы скажемъ, что этотъ цѣнный даръ остается у него какъ бы мертвымъ душевнымъ капиталомъ. Его душа открыта всѣмъ сочувствіямъ, всѣмъ состраданіямъ, но ни одно изъ этихъ движеній души не получаетъ у него достаточной силы, не овладѣваетъ его чувствомъ и его мыслью такъ, чтобы его общій и обычный тонъ души, хоть на время, измѣнился сколько-нибудь замѣтнымъ образомъ. Можно даже сказать, что у Облонскаго совсѣмъ и нѣтъ душевныхъ «движеній» въ собственномъ смыслѣ, а есть только мимолетныя настроенія, которыя быстро и легко стираются и уносятся первыми случайными впечатлѣніями, а главное—утопаютъ въ томъ неизсякаемомъ потокѣ безпричинной жизнерадостности, который образуетъ основной психическій фонъ натуры Облонскаго.

Наша задача не можетъ ограничиться, конечно, простымъ указаніемъ на фактъ, на то, что Облонскій—человѣкъ легкій, неглубокій. Нужно освѣтить фактъ, и—главное—нужно выяснить его значеніе въ составѣ художественнаго образа Облонскаго, какъ психологическаго и бытового типа.

Сперва припомнимъ, какъ изображена Толстымъ эта сторона натуры Облонскаго. Для нашей цѣли достаточно будетъ нѣсколько образчиковъ.

Въ главѣ XVIII-й I-й части, въ томъ мѣстѣ, гдѣ рѣчь идетъ о впечатлѣніи, произведенномъ на Анну и другихъ трагической смертью желѣзнодорожнаго сторожа, раздавленнаго поѣздомъ, мы видимъ, что Степанъ Аркадьевичъ болѣе другихъ потрясенъ этимъ ужаснымъ происшествіемъ. «Облонскій и Вронскій оба видѣли обезображенный трупъ. Облонскій видимо страдалъ. Онъ морщился и, казалось, готовъ былъ плакать. «Ахъ, какой ужасъ! Ахъ, Анна, если бы ты видѣла! Ахъ, какой ужасъ!»—приговаривалъ онъ. Совершенно иначе реагируетъ на эти впечатлѣнія Вронскій; онъ «молчалъ, и красивое лицо его было серьезно, но совершенно спокойно». Онъ уходитъ, чтобы передать 200 рублей вдовѣ убитаго. «Когда онъ возвратился черезъ нѣсколько минутъ, Степанъ Аркадьевичъ уже разговаривалъ съ графиней о новой пѣвицѣ...»

Сцена очень характерна для Облонскаго. Эту живость воспріятія тяжелаго впечатлѣнія и эту легкость перехода къ обычному душевному тону мы наблюдаемъ у Степана Аркадьевича во многихъ мѣстахъ романа. Такъ, послѣ разговора съ Карениным (на тему о необходимости развода—въ уже цитированномъ нами мѣстѣ, ч. IV, гл. XXII) Облонскій съ чрезвычайною быстротою и легкостью переходитъ отъ приподнятаго и взволнованнаго сочувствіемъ и состраданіемъ состоянія души къ своему обычному беззаботно-радостному настроенію: «Когда Степанъ Аркадьевичъ вышелъ изъ комнаты зятя, онъ былъ тронутъ, но это не мѣшало ему быть довольнымъ тѣмъ, что онъ успѣшно совершилъ это дѣло, такъ какъ онъ былъ увѣренъ, что Алексѣй Александровичъ не отречется отъ своихъ словъ. Къ этому удовольствію примѣшивалось еще и то, что ему пришла мысль, что когда это дѣло сдѣлается, онъ женѣ и близкимъ знакомымъ будетъ задавать вопросъ: какая разница между мною и фельдмаршаломъ?—Фельдмаршалъ дѣлаетъ разводъ—и никому оттого не лучше, а я сдѣлалъ разводъ—троимъ стало лучше... Или: какое сходство между мной и фельдмаршаломъ?—Когда... Впрочемъ, придумаю лучше,—сказалъ онъ себѣ съ улыбкой».

Личныя огорченія, какъ бы они ни были тягостны, не проникаютъ далеко въ глубь души Степана Аркадьевича и образуютъ только какъ бы верхній слой душевной атмосферы, сквозь который то и дѣло пробиваются брызги и искры обычнаго беззаботно-жизнерадостнаго тона, составляющаго основной и ничѣмъ непоколебимый пластъ психическаго уклада Облонскаго. Какъ ни огорченъ, какъ ни смущенъ и пристыженъ Степанъ Аркадьевичъ во время ссоры съ женою (расказанной въ первыхъ главахъ романа), онъ никакъ не можетъ всецѣло подчиниться гнету этихъ тягостныхъ душевныхъ состояній, и ему даже приходится прилагать нѣкоторое усиліе къ тому, чтобы не забыть своего огорченія, чтобы не перестать думать о непріятной исторіи. Выслушивая упреки жены, онъ умолялъ о прощеніи и плакалъ; скверно у него на душѣ, и онъ даже не видитъ выхода изъ этого тяжелаго положенія; Долли рѣшительно не хочетъ простить и помириться. «Пускай всѣ знаютъ, что вы подлецъ!—кричитъ она,—я уѣзжаю нынче, а вы живите здѣсь со своею любовницей!» И она вышла, хлопнувъ дверью. Степанъ Аркадьевичъ вздохнулъ, отеръ лицо и тихими шагами пошелъ изъ комнаты. «Матвѣй говоритъ: образуется, но какъ? Я не вижу даже возможности.

Ахъ, ахъ, какой ужасъ!..» Выйдя въ столовую, онъ увидѣлъ часовщика—нѣмца, который заводилъ часы. Степанъ Аркадьевичъ вспомнилъ свою шутку объ этомъ аккуратномъ плѣшивомъ часовщикѣ, что нѣмецъ «самъ былъ заведенъ на всю жизнь, чтобы заводить часы»,—и улыбнулся. Степанъ Аркадьевичъ любилъ хорошую шутку. «А можетъ быть, и образуется!» Хорошо словечко: «образуется»,—подумалъ онъ.—«Это надо разсказать» (ч. I, гл. IV). Нѣсколько выше, въ главѣ III-ей, мы видимъ Степана Аркадьевича виноватымъ, пристыженнымъ и смущеннымъ въ виду предстоящаго объясненія съ женою. Но все это не мѣшаетъ ему съ большимъ аппетитомъ выпить двѣ чашки кофе, съѣсть калачъ съ масломъ и, по заведенному порядку, прочитать газету. Продѣлавъ все это, онъ радостно улыбнулся, не оттого, чтобъ у него на душѣ было что-нибудь особенно пріятное,—радостную улыбку вызвало хорошее пищевареніе,—но эта радостная улыбка сейчасъ же напомнила ему все, и онъ задумался».

Улыбка составляетъ постоянный аттрибутъ Степана Аркадьевича. Онъ—«человѣкъ, который улыбается»—то сочувственно—сострадательно, то беззаботно-весело. Въ данномъ случаѣ, этотъ «аттрибутъ» сыгралъ съ нимъ плохую шутку, послуживъ главной причиной того, что разладъ съ женою затянулся такъ долго. Когда предательская записка открыла женѣ его измѣну, то произошло слѣдующее: «Вмѣсто того, чтобъ оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощенія, оставаться даже равнодушнымъ—все было бы лучше того, что онъ сдѣлалъ»,—его лицо совершенно невольно («—рефлексы головного мозга»,—подумалъ Степанъ Аркадьевичъ)... вдругъ улыбнулось привычною, доброю и потому глупою улыбкою. Эту глупую улыбку онъ не могъ простить себѣ. Увидавъ эту улыбку, Долли вздрогнула какъ отъ физической боли, разразилась, со свойственною ей горячностью, потокомъ жестокихъ словъ и выбѣжала изъ комнаты. Съ тѣхъ поръ она не хотѣла видѣть мужа, «Всему виной эта глупая улыбка»,—подумалъ Степанъ Аркадьевичъ (ч. I, гл. I).

Вспоминая эти сцены въ «Присутствіи», гдѣ Степанъ Аркадьевичъ состоитъ предсѣдателемъ, онъ опять не можетъ удержаться отъ юмористическаго настроенія, вызваннаго контрастомъ его служебнаго положенія съ положеніемъ провинившагося мужа. «Если бъ они (подчиненные) знали»—думалъ онъ, съ

значительнымъ видомъ склонивъ голову при слушаніи доклада,— какимъ виноватымъ мальчикомъ полчаса тому назадъ былъ ихъ предсѣдатель!—И глаза его смѣялись при чтеніи доклада“ (ч. I, гл. V).

Очевидно, въ душевной организаціи Степана Аркадьевича есть какой-то тормозъ, препятствующій распространенію душевной боли. Этимъ тормозомъ служитъ у него избытокъ жизнерадостности. Онъ слишкомъ жизнерадостенъ, чтобы глубоко и долго чувствовать душевную боль, отъ чего бы она ни происходила,—отъ личныхъ ли невзгодъ и огорченій или отъ столь доступнаго ему чувства состраданія. Обаяніе и власть жизни производятъ въ душѣ Облонскаго очень сильную анэстезію. Оттого ему недоступенъ цѣлый порядокъ чувствъ, преимущественно тѣхъ, которыя по существу противорѣчатъ принципу жизни, каковы: уныніе, отчаяніе, глубокая скорбь, пессимистическія настроенія и т. д. По той же причинѣ чужды Облонскому и чувства или стремленія религіознаго порядка, помыслы о смерти, о загробной жизни, все, что отвлекаетъ человѣка отъ земного существованія и переноситъ въ сферу сверхчувственнаго. Къ мистическому у Степана Аркадьевича—почти органическое отвращеніе. Мы знаемъ, что Степанъ Аркадьевичъ «не могъ вынести безъ боли въ ногахъ даже короткаго молебна и не могъ понять, къ чему всѣ эти страшныя и высокопарныя слова о томъ свѣтѣ, когда и на этомъ жить было бы очень весело» (ч. I, гл. III). Въ особенности ярко обрисована эта черта въ извѣстной сценѣ, гдѣ Степанъ Аркадьевичъ присутствуетъ на «сеансѣ» у графини Лидіи Ивановны, и гдѣ ясновидецъ Landau долженъ разрѣшить сомнѣнія Каренина по вопросу о разводѣ. «Степанъ Аркадьевичъ чувствовалъ, что у него въ головѣ становится все болѣе и болѣе нехорошо». На его счастье, ясновидецъ потребовалъ его удаленія,—и «Степанъ Аркадьевичъ, забывъ о томъ, что онъ хотѣлъ просить Лидію Ивановну, забывъ и о дѣлѣ сестры, съ однимъ желаніемъ поскорѣе выбраться отсюда, вышелъ на ципочкахъ и, какъ изъ зараженнаго дома, выбѣжалъ на улицу и долго разговаривалъ и шутилъ съ извозчикомъ, желая привести себя поскорѣе въ чувство» (т. III, ч. VII, гл. XXII).

Степану Аркадьевичу органически претитъ все, что такъ или иначе противорѣчитъ праздничному настроенію жизни. Поэтому, на-ряду со всѣмъ мистическимъ, загробнымъ, заунывнымъ и мрачнымъ, онъ не выноситъ всего того, что нарушаетъ ровное, пріят-

ное, свѣтлое теченіе жизни,—онъ не терпитъ дрязгъ, ссоръ, разлада, ему тягостны всякія противорѣчія, какихъ не мало въ жизни. Вспомнимъ здѣсь, какъ отнесся онъ къ факту семейнаго раздора Карениныхъ. «Алексѣй Александровичъ думалъ тотчасъ стать въ тѣ холодныя отношенія, въ которыхъ онъ долженъ былъ быть съ братомъ жены, противъ которой онъ начиналъ дѣло развода, но онъ не разсчитывалъ на то море добродушія, которое выливалось изъ береговъ въ душѣ Степана Аркадьевича». Каренинъ отказывается отъ обѣда у Облонскихъ и мотивируетъ отказъ тѣмъ, что онъ «начинаетъ дѣло о разводѣ». «Но Алексѣй Александровичъ еще не успѣлъ окончить своей рѣчи, какъ Степанъ Аркадьевичъ уже поступилъ совсѣмъ не такъ, какъ онъ ожидалъ: Степанъ Аркадьевичъ охнулъ и сѣлъ въ кресло. «Нѣтъ, Алексѣй Александровичъ, что ты говоришь!»—вскрикнулъ Облонскій, и страданіе выразилось на его лицѣ» (т. II, ч. IV, гл. VIII).

Ближайшей и главнѣйшей причиною его страданія въ данномъ случаѣ является самый фактъ разлада въ жизни близкихъ ему людей. Такъ же точно, въ той трагикомической исторіи, которая разыгралась въ его собственной семейной жизни, онъ испытываетъ душевную боль вовсе не отъ сознанія своей вины (въ глубинѣ души онъ и не считалъ себя виновнымъ), а оттого только, что произошла ссора, что Долли сердится слишкомъ долго, что въ его домѣ «все смѣшалось». И этотъ казусъ тѣмъ огорчительнѣе для него, что тутъ явственно обнаружилось внутреннее противорѣчіе его жизни, по необходимости превращающееся въ вопросъ, надъ которымъ приходится задумываться, который нужно такъ или иначе рѣшить. И вотъ какъ онъ въ интимной бесѣдѣ съ Левинымъ высказывается по этому «вопросу», проявляя столь для него характерную наивную непосредственность: «Что жъ дѣлать, ты мнѣ скажи, что дѣлать? Жена старѣется, а ты полонъ жизни. Ты не успѣешь оглянуться, какъ уже чувствуешь, что ты не можешь любить любовью жену, какъ бы ты ни уважалъ ее. А тутъ вдругъ подвернется любовь, — и пропалъ, пропалъ!»—съ унылымъ отчаяніемъ проговорилъ Степанъ Аркадьевичъ» (ч. I, гл. XI),

Группируя эти черты, мы вмѣстѣ съ тѣмъ замѣчаемъ, что онѣ легко объединяются и имъ можно подвести общій итогъ.

Этотъ итогъ не можетъ, конечно, быть только повтореніемъ того, что говоритъ каждое слагаемое. Онъ получается путемъ

сведенія всѣхъ этихъ слагаемыхъ къ особому душевному началу, въ которомъ всѣ они найдутъ достаточное психологическое обоснованіе. Таковымъ представляется мнѣ то самое, о чемъ мы говорили въ началѣ главы. Это именно — внутренняя потребность экономіи душевныхъ силъ. Тамъ мы указали на эту потребность, какъ на главную пружину, которая затормозила развитіе у Облонскаго великосвѣтской психологической формы: послѣдняя потребовала бы отъ него слишкомъ большой траты душевныхъ силъ. Вотъ именно къ той же необходимости психической экономіи сводятся и тѣ слагаемыя, о которыхъ мы теперь ведемъ рѣчь.

Облонскій—натура весьма доступная сочувствію и состраданію, но отдаться этимъ чувствамъ онъ не можетъ подъ опасеніемъ выйти изъ душевнаго бюджета. Это было бы ему не по средствамъ. И та легкость, съ которою онъ отъ искренняго и живого состраданія переходитъ къ своему обычному беззаботно-веселому настроенію, есть не что иное, какъ дѣйствіе безсознательнаго стремленія къ самосохраненію, къ соблюденію душевнаго баланса. Болѣе глубокое, болѣе серьезное и продолжительное состраданіе было бы для Степана Аркадьевича тратою душевныхъ силъ—не по средствамъ. Облонскій, далѣе, натура, неприспособленная къ жизни, взятой со стороны ея внутреннихъ противорѣчій, вопросовъ и всякаго разлада: противорѣчія требуютъ примиренія, вопросы — размышленія и рѣшенія, разладъ ведетъ къ усложненіямъ въ жизни,—и все это означаетъ все ту же трату и противорѣчитъ требованіямъ душевной экономіи. Наконецъ, заинтересоваться вопросами религіи, проявить нѣкоторое стремленіе къ мистическому, прислушиваться къ «страшнымъ словамъ» о загробной жизни и т. д., это было бы для Облонскаго совершенно-непростительной расточительностью. Такъ же точно было бы для него расточительностью, и при томъ ужъ совсѣмъ безплодною, если бы онъ вдругъ принялся ломать голову надъ тѣми вопросами, которые далеко выходятъ за предѣлы повседневнаго житейскаго обихода, напр., надъ вопросами политики, нравственности, науки, искусства. Въ этихъ областяхъ для Степана Аркадьевича нѣтъ другого пути, какъ принять безъ провѣрки готовыя рѣшенія и шаблонные, наиболѣе распространенные взгляды,—что онъ и дѣлаетъ.

Нашъ итогъ гласитъ: Степанъ Аркадьевичъ Облонскій, это законченный типъ средняго, нормальнаго человѣка, которому

не дано много душевныхъ силъ, и который поэтому инстинктивно воздерживается отъ излишней ихъ затраты.

Въ своей интимной жизни, которая, въ ея повседневномъ обиходѣ, есть по преимуществу трата силъ, люди этого типа безсознательно ведутъ отличную душевную бухгалтерію, словно изъ чувства самосохраненія избѣгая тратить больше того, что имъ дано. Но имъ дано весьма немного, и при всей экономіи они легко могли бы обанкротиться, если бы у нихъ не было соотвѣтственнаго «прихода», — притока душевныхъ силъ изъ общества, изъ соціальныхъ возбужденій, изъ общенія съ другими. Поболтать съ пріятелемъ, побывать въ обществѣ, въ клубѣ, обмѣняться новостями и т. д.—вотъ то, что ихъ освѣжаетъ, возстановляетъ ихъ душевныя силы. Это люди соціальной стихіи по преимуществу. Ни искусство, ни философія, ни наука, ни даже религія,—эти могущественные аккомуляторы и разсадники психической энергіи,—не могутъ для нихъ служить источникомъ душевнаго обновленія. Такимъ источникомъ служитъ имъ только то, что можно назвать «соціальнымъ треніемъ». Оттуда—необходимость для нихъ имѣть ту соціально-психологическую форму, которая наилучше приспособлена, при данныхъ условіяхъ, къ возможно-широкому общенію. Таковою для Облонскаго является форма общедворянская, какъ переходная ступень къ другой, еще болѣе удобной и эластичной—общебуржуазной.

ГЛАВА X.

Алексѣй Александровичъ Каренинъ.

(Бюрократъ въ изображеніи Толстого).

I.

Внимательный и вдумчивый читатель, который, перечитывая «Анну Каренину», не только слѣдитъ за фабулою, но вникаетъ въ самый способъ изображенія, въ психологію дѣйствующихъ лицъ, такой читатель, полагаю, согласится со мною въ томъ, что есть замѣтная разница между психологическимъ анализомъ натуры и душевныхъ состояній Каренина, съ одной стороны, и психологическимъ анализомъ другихъ лицъ, преимущественно представителей великосвѣтской формы разныхъ оттѣнковъ. Когда Толстой рисуетъ и анализируетъ Вронскаго, Левина, Облон-

скаго, Львова, женщинъ высшаго круга,—мы чувствуемъ, что онъ здѣсь—у себя дома, что эти натуры, при всѣхъ ихъ индивидуальныхъ особенностяхъ, при всемъ различіи въ отношеніяхъ къ нимъ автора, психологически сродни ему, какъ представители того класса, къ которому, по рожденію, по воспитанію, по укоренившимся и трудно-истребимымъ привычкамъ душевнаго обихода, принадлежитъ самъ авторъ. Толстой всегда мастерски изображалъ великосвѣтскіе типы и съ поражающей вѣрностью, съ изумительной глубиною раскрывалъ психологію разнообразныхъ натуръ, объединяющихся общностью «аристократической» классовой формы въ ея различныхъ оттѣнкахъ, ступеняхъ и переходахъ. Въ этой области Толстой достигалъ вершинъ художественнаго творчества, блистательно выполняя высшую задачу искусства—художественно искать человѣка и раскрывать его душу: великосвѣтскій человѣкъ найденъ, психологически раскрытъ и объясненъ Толстымъ во всѣхъ изгибахъ и оттѣнкахъ его психики. Это—та высота творчества, на которой художественный образъ, въ самомъ дѣлѣ, становится настоящимъ «человѣческимъ документомъ», которымъ мы можемъ пользоваться какъ своего рода научнымъ открытіемъ; на этихъ верхахъ творчества искусство и наука сходятся: художественный типъ равносиленъ, въ смыслѣ гомолога, научному обобщенію. Столь высокимъ художественнымъ достоинствомъ великосвѣтскіе типы Толстого обязаны не исключительно тому, что Толстой—великій художникъ, а въ значительной мѣрѣ именно вышеуказанному психологическому сродству художника съ міромъ его героевъ. Мы знаемъ, что художественный геній Толстого отмѣченъ явственнымъ отпечаткомъ субъективности творчества, понимаемой въ томъ смыслѣ, что художникъ для своихъ лучшихъ созданій находитъ матеріалъ, отправныя точки или уголъ художественнаго зрѣнія въ своемъ собственномъ внутреннемъ опытѣ, въ самонаблюденіи. Такой художникъ сильнѣе всего въ изображеніи натуръ, такъ или иначе близкихъ или сродственныхъ его собственной натурѣ. И вотъ у Толстого на первомъ планѣ и являются образы, въ которыхъ онъ воспроизводитъ либо прямо себя самого (Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ), либо лицъ своего круга и вообще представителей великосвѣтской среды (Болконскій, Безуховъ, Вронскій, Облонскій и мн. др.). Въ послѣднихъ субъективное основаніе творчества простирается только на психологію классовой формы;

психологія же личности выходитъ за его предѣлы и опирается уже не на внутреннемъ опытѣ, не на самонаблюденіи, а на объективныхъ наблюденіяхъ различныхъ натуръ. Въ этомъ послѣднемъ смыслѣ Толстой является здѣсь (напр., въ изображеніи натуръ и характеровъ Болконскаго-отца, князя Андрея, Безухова, Вронскаго и др.) художникомъ объективнымъ. Но, какъ извѣстно, въ произведеніяхъ Толстого мы находимъ и другой рядъ образовъ, взятыхъ совсѣмъ изъ иной среды: здѣсь онъ уже не могъ черпать изъ себя и долженъ былъ творить сплошь какъ художникъ-наблюдатель.

Эти образы можно раздѣлить на двѣ группы: 1) фигуры изъ низшихъ классовъ (мужики, солдаты, казаки) и 2) фигуры изъ тѣхъ слоевъ общества, которыхъ классовая психологія рѣзко расходится съ великосвѣтской (интеллигенты-разночинцы, чиновники). Въ изображеніи первыхъ Толстой является великимъ художникомъ не меньше, чѣмъ въ изображеніи великосвѣтскихъ типовъ (вспомнимъ народные типы въ «Казакахъ» и Каратаева); въ воспроизведеніи вторыхъ уже не виденъ великій художникъ, а виденъ только большой мастеръ рисунка и психологическаго анализа, причемъ среди этого мастерства нетрудно подслушать иной разъ не совсѣмъ вѣрныя и даже совсѣмъ невѣрныя ноты, замѣтить неправильныя обобщенія.

Вообще здѣсь нѣтъ того глубокаго проникновенія въ натуру человѣческую, той вѣрности взгляда и того художественнаго ясновидѣнія, какими отмѣчены субъективныя (въ тѣсномъ и въ обширномъ смыслѣ) созданія Толстого, и также образы изъ низшихъ слоевъ. Не помню, кто первый сказалъ, что Толстой, какъ художникъ, понимаетъ или цѣнитъ только «аристократовъ» и мужиковъ, а все, что посерединѣ, ему чуждо. Это замѣчаніе очень мѣтко и въ своей основѣ вѣрно, но оно слишкомъ рѣзко и категорично. Нельзя утверждать, что художественному пониманію Толстого вполнѣ чуждо все, что не вмѣщается въ психологію великосвѣтскую съ одной стороны и въ мужицкую съ другой: ему, напр., доступно, какъ немногимъ нашимъ художникамъ, пониманіе національной русской психологіи (вспомнимъ Кутузова и опять-таки Каратаева), укажемъ далѣе на галлерею женскихъ типовъ, интересъ которыхъ, конечно, не ограничивается классовой психологіей; вспомнимъ также превосходныя эпизодическія фигуры офицеровъ (не изъ «аристократовъ) въ «Войнѣ и мирѣ» (напр., кап. Тушина и др.). Но з.

такими ограниченіями и оговорками мы присоединяемся къ мнѣнію, что въ общемъ психологія среднихъ круговъ общества, въ особенности психологія «интеллигенціи» въ собственномъ смыслѣ, въ разработкѣ чего такимъ мастеромъ былъ Тургеневъ, мало доступна художественному воспріятію и сочувствію Толстого, и что въ этой области онъ не далъ человѣческихъ документовъ, равносильныхъ тѣмъ, какіе онъ далъ намъ въ сферахъ великосвѣтской и крестьянской.

Вотъ именно съ этой-то точки зрѣнія и любопытно проанализировать Каренина, котораго нельзя причислить къ типамъ великосвѣтскимъ. Онъ, конечно, стоитъ на высшихъ ступеняхъ общественной лѣстницы и связанъ съ великосвѣтскимъ кругомъ, но эти связи чисто внѣшнія: со стороны психологіи классовой формы мы не находимъ у него типичныхъ чертъ «аристократа». Взамѣнъ того онъ щедро (м. б. слишкомъ щедро) надѣленъ чертами (и едва ли строго типичными) высшаго чиновника, сановника, служебнаго дѣятеля. Если онъ и не представитель того средняго круга, который такъ мало цѣнится Толстымъ, то онъ зато человѣкъ того чиновнаго, бюрократическаго склада, который цѣнится Толстымъ еще меньше. Въ лицѣ Каренина Толстой впервые принялся за тщательное изученіе и художественное воспроизведеніе натуры этого рода. Единственнымъ прецедентомъ Каренина въ творчествѣ Толстого была фигура Сперанскаго въ «Войнѣ и мирѣ», но она эпизодична и психологически не разработана. Въ томъ, какъ изображенъ Сперанскій, мы прежде всего видимъ выраженіе скептическаго взгляда Толстого на дѣятелей этого рода и на самую ихъ дѣятельность. Сперанскій развѣнчанъ, но вѣдь онъ—историческое лицо, и очень крупное, а потому изображеніе Толстого ничуть не мѣшаетъ читателю отдѣлять образъ этого дѣятеля, нарисованный Толстымъ, отъ того представленія о немъ, какое могло сложиться у читателя на основаніи историческихъ источниковъ. Но и помимо того, даже въ изображеніи Толстого эта историческая личность выходитъ по-своему значительной. Она окружена ореоломъ обаянія, какое она производитъ въ первое время даже на умнаго и самостоятельнаго князя Андрея. Толстой старается разрушить этотъ ореолъ, но у читателя все-таки остается впечатлѣніе, что ореолъ былъ, а кромѣ того читателю предоставлена еще возможность думать, что Толстой этого ореола не разрушилъ.

Теперь передъ нами аналогичная фигура высшаго дѣятеля государственной службы, сановника, не меньше Сперанскаго увѣреннаго въ своемъ призваніи, въ важности и плодотворности своей дѣятельности. Но эта фигура уже не пріурочена къ историческому имени, не окружена ореоломъ и, если можно такъ выразиться, цѣликомъ отдана въ жертву отрицанія Толстого: она беззащитна передъ нимъ, и Толстому ничего не стоитъ съ его обычнымъ искусствомъ анализа развѣнчать этого человѣка и представить его натуру служебнаго дѣятеля и сановника какъ родъ извращенія человѣческой природы. Въ этомъ направленіи, несомнѣнно, и поведенъ анализъ Каренина, на этомъ отрицаніи и построенъ онъ. Но однако этимъ дѣло не ограничилось. Въ изображеніи или, лучше сказать, въ разслѣдованіи Каренина явственно сказывается желаніе Толстого быть справедливымъ, истинно художническое стремленіе понять данную натуру, открыть въ ней ея подлинную человѣчность. Вникая въ то, какъ изображенъ, какъ изслѣдованъ Каренинъ, мы замѣчаемъ усилія художника открыть въ этой «министерской машинѣ» настоящаго человѣка, а рядомъ намъ бросается въ глаза предвзятость отрицанія, на которомъ построенъ образъ Каренина,—и все вмѣстѣ даетъ въ результатѣ вышеупомянутую значительную разницу между изображеніемъ этого лица и изображеніемъ другихъ: Каренинъ, какъ образъ, производитъ на насъ впечатлѣніе не художественнаго созданія въ собственномъ смыслѣ, а только болѣе или менѣе искуснаго—и искусственнаго—беллетристическаго построенія.

Для обоснованія этого вывода необходимо разсмотрѣть въ послѣдовательномъ порядкѣ важнѣйшія, относящіяся къ Каренину, мѣста романа.

II.

Впервые выведенъ Каренинъ въ гл. XXXI-ой I-ой части. Онъ встрѣчаетъ на вокзалѣ жену, возвратившуюся изъ Москвы. Нѣсколько бѣглыхъ замѣчаній о наружности Каренина, его манерѣ держать себя и говорить, о впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на Вронскаго, пріѣхавшаго съ тѣмъ же поѣздомъ, уже предрасполагаютъ насъ къ ожиданію, что этого человѣка Толстой не пощадитъ. Мы узнаемъ здѣсь о походкѣ Алексѣя Александровича, «ворочавшаго всѣмъ тазомъ и тупыми ногами», о его «холодной самоувѣренности», о его манерѣ говорить, отчекани-

вая слова, «какъ рублемъ даря каждымъ словомъ». Ближе знакомимся мы съ нимъ въ гл. XXXIII-ей (той же части). Здѣсь даны нѣкоторыя черты, характеризующія дѣловитость и служебное честолюбіе Каренина. Мы узнаемъ, что «каждая минута жизни Алексѣя Александровича была занята и распредѣлена», и что его девизомъ было «безъ поспѣшности и безъ отдыха». Онъ весь ушелъ въ свою дѣятельность и поглощенъ интересами службы. Съ «самодовольною улыбкою» разсказываетъ онъ Аннѣ о своихъ успѣхахъ: онъ блестяще провелъ въ совѣтѣ новое положеніе, и ему сдѣлали по этому случаю овацію. Не лишенъ значенія для характеристики Каренина также его отзывъ о Стивѣ Облонскомъ. Выслушавъ разсказъ Анны, онъ говоритъ: «Я не полагаю, чтобы можно было извинить такого человѣка, хотя онъ и твой братъ». Эти слова и строгій тонъ, съ какимъ они сказаны, должны были,—говоритъ Толстой,—«показать, что соображенія родства не могутъ остановить его въ высказываніи своего искренняго мнѣнія». Черта, можетъ быть, мелкая, но мы ее отмѣчаемъ здѣсь потому, что она, вмѣстѣ съ другими подобными, является свидѣтельствомъ о стремленіи Толстого быть справедливымъ къ Каренину. Не лишено значенія и то, какъ отнеслась Анна къ приведенному отзыву мужа о ея братѣ. Ей понравилось это откровенное и нелицепріятное выраженіе Карениным его мнѣнія: «она знала эту черту въ своемъ мужѣ и любила ее». Далѣе, въ той же главѣ любопытны свѣдѣнія о многосторонней начитанности, о политическихъ, философскихъ, богословскихъ, литературныхъ интересахъ Каренина. Онъ за всѣмъ слѣдитъ, все читаетъ. Черта почтенная, но тутъ замѣшана и одна «слабость», къ которой Анна относится съ улыбкой снисхожденія. Дѣло въ томъ, что въ вопросахъ политики, философіи, богословія Алексѣй Александровичъ «сомнѣвался и отыскивалъ», «но въ вопросахъ искусства и поэзіи, въ особенности музыки, пониманія которой онъ былъ совершенно лишенъ, у него были самыя опредѣленныя, твердыя мнѣнія...» Подобная слабость (имѣть опредѣленныя, твердыя мнѣнія въ областяхъ, пониманіе которыхъ не доступно или мало доступно данному лицу) встрѣчается не рѣдко, но для Каренина, какъ художественнаго образа, какъ типа, я не считалъ бы эту черту существенною. Если она нужна для того только, чтобы Каренинъ вышелъ по возможности «сухимъ», исключительно дѣловымъ человѣкомъ, которому многое человѣ-

ческое чуждо, въ томъ числѣ и искусство, то это пріемъ слишкомъ рутинный, и не Толстому бы прибѣгать къ нему. Да и въ дальнѣйшемъ эта черта не утилизируется (кромѣ, можетъ быть, одного мѣста, о которомъ—ниже), и изо всего, что мы узнаемъ о Каренинѣ, изъ общаго представленія о немъ, складывающагося у насъ по прочтеніи романа, мы не можемъ вывести мнѣнія, чтобы непониманіе искусства и самоувѣренность сужденій его въ этой области были чертою, существенною для натуры Каренина, чтобы это довершало его характеристику. Ниже мы вернемся къ этому пункту.

Въ общемъ, на основаніи данныхъ главы XXXIII-ей, мы выносимъ представленіе о Каренинѣ, совпадающее съ отзывомъ о немъ Анны: «Все-таки (т. е. несмотря на дѣловую, служебную исключительность) онъ хорошій человѣкъ, правдивый, добрый и замѣчательный въ своей сферѣ...» Такъ говоритъ сама себѣ Анна, «какъ бы защищая его передъ кѣмъ-то, кто обвинялъ его и говорилъ, что его нельзя любить». Такъ скажемъ и мы, какъ бы защищая его передъ Толстымъ, который въ дальнѣйшемъ употребляетъ слишкомъ замѣтныя усилія, чтобы внушить намъ взглядъ на Каренина, какъ на человѣка, въ которомъ все человѣческое извращено призрачной жизнью бюрократа,

Переходимъ къ VIII-ой главѣ II части. Здѣсь воспроизведенъ тотъ моментъ, когда Каренинъ впервые обезпокоивается насчетъ отношеній Анны къ Вронскому, и когда въ немъ зарождается тревожная мысль о томъ, что вѣдь Анна можетъ влюбиться, и что изъ этого выйдетъ. Онъ рѣшилъ поговорить съ женой серьезно, предостеречь ее. И вотъ Толстой старается какъ можно обстоятельнѣе разъяснить намъ всю затруднительность положенія Каренина, обусловленную будто бы не только силою обстоятельствъ, которыя и для всякаго другого были бы не менѣе трудны, но также и особенностями душевной организаціи Алексѣя Александровича. Не трудно видѣть однако, что въ данномъ случаѣ никакая другая душевная организація не помогла бы дѣлу. Молодая, страстная, жаждущая любви женщина, красавица, еще не испытавшая настоящей любви, вышедшая замужъ за человѣка пожилого, котораго она только «уважала», начинаетъ увлекаться молодымъ, красивымъ, блестящимъ человѣкомъ, страстно въ нее влюбленнымъ. Таково положеніе, и нѣтъ никакой надобности быть завзятымъ бюрократомъ, «министерской машиною», чтобы не умѣть изъ него выйти.

Но Толстой все-таки настаиваетъ на томъ, что исключительная, отрѣшенная отъ жизни душевная организація Каренина увеличивала трудность положенія. Можетъ быть, и увеличивала, но это—увеличеніе, подобное тому, какое имѣетъ мѣсто, если, напр., въ море влить кувшинъ воды. Но послушаемъ, что говоритъ объ этомъ Толстой въ указанной главѣ: «Алексѣй Александровичъ стоялъ лицомъ къ лицу предъ жизнью, предъ возможностью въ его женѣ любви къ кому-нибудь, кромѣ него, и это казалось ему очень безтолковымъ и непонятнымъ, потому что это была сама жизнь. Всю жизнь свою Алексѣй Александровичъ прожилъ и проработалъ въ сферахъ, имѣющихъ дѣло съ отраженіями жизни, и каждый разъ, когда онъ сталкивался съ самой жизнью, онъ отстранялся отъ нея. Теперь онъ испытывалъ чувство, подобное тому, какое испыталъ бы человѣкъ, спокойно прошедшій надъ пропастью по мосту и вдругъ увидавшій, что этотъ мостъ разобранъ, и что тамъ пучина. Пучина эта была сама жизнь, мостъ—та искусственная жизнь, которую прожилъ Алексѣй Александровичъ. Ему въ первый разъ пришли вопросы о возможности для его жены полюбить кого-нибудь, и онъ ужаснулся предъ этимъ».— Въ этихъ словахъ видно стараніе во что бы то ни стало пріурочить къ дѣлу «бюрократическую натуру» Каренина, и вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ еще замѣшано одно недоразумѣніе. Это именно утвержденіе, будто тѣ сферы, къ которымъ принадлежитъ Каренинъ, имѣютъ дѣло не съ жизнью, а только съ «отраженіями жизни». Если бы рѣчь шла, напр., объ ученыхъ и философахъ, погруженныхъ въ научныя и философскія изысканія и чуждыхъ всякой иной дѣятельности, кромѣ работы мысли, то я бы согласился, что передъ нами люди, имѣющіе дѣло не съ жизнью, а только съ отраженіями жизни въ научно-философскихъ понятіяхъ. И, дѣйствительно, зачастую умы этого рода, при столкновеніи съ настоящею жизнью, оказываются наивными и безпомощными, какъ младенцы. Но вѣдь А. А. Каренинъ—не мыслитель, отдѣленный отъ дѣйствительности, онъ —практическій дѣятель, стоящій лицомъ къ лицу съ текущими вопросами государственной и общественной жизни. Можетъ быть, онъ понимаетъ ихъ и относится къ нимъ не такъ, какъ хотѣлъ бы Толстой... Это другое дѣло. Но какъ бы онъ ни относился къ подлежащимъ его вѣдѣнію вопросамъ жизни,—во всякомъ случаѣ это не имѣетъ никакого значенія въ данномъ вопросѣ личной и семейной жизни Каренина.

Въ разсматриваемой главѣ явственно сказывается апріорное построеніе слѣдующаго рода: Каренинъ—бюрократъ отъ головы до пятокъ, слѣдовательно, нужно въ данномъ случаѣ обнаружить его бюрократическую натуру и показать, какъ она безпомощна и ничтожна при столкновеніи съ «настоящею жизнью». Задавшись такой программой, Толстой заставляетъ Каренина проявлять свою бюрократическую натуру и таковой же складъ мышленія въ тѣхъ рѣшеніяхъ, къ которымъ онъ приходитъ, обдумывая свое положеніе. Первое, что приходитъ ему въ голову,—это необходимость «высказать» Аннѣ «свой взглядъ и свое рѣшеніе». Тутъ же мы узнаемъ, что Каренинъ не ревнивъ и держится убѣжденія, что «ревность оскорбляетъ жену и къ женѣ должно имѣть довѣріе». Эта черта высокой нравственной цѣнности, для обладанія которой нѣтъ надобности быть непремѣнно бюрократомъ, повидимому, приведена, однако, съ цѣлью оттѣнить натуру Каренина въ томъ смыслѣ, что всѣ силы души, всѣ интересы этого человѣка, всѣ страсти, какія въ немъ есть, ушли въ службу, въ карьеру. Только здѣсь, въ сферѣ служебныхъ отношеній, онъ можетъ быть и ревнивъ, и завистливъ, и гордъ, и самолюбивъ, семейныя же отношенія, интимный міръ жены, ея женская натура, сынъ и его дѣтскій мірокъ—все это мало интересуетъ его, не вызываетъ въ немъ страстнаго отношенія, не составляетъ какъ бы части его духовнаго существа и является только какъ «обстановка» его жизни. Теперь впервые пришлось ему заглянуть въ этотъ «департаментъ» и произвести, такъ сказать, «ревизію дѣлъ», которыя тамъ шли своимъ порядкомъ. Послѣ безплоднаго ломанія головы надъ тѣмъ, что нужно сдѣлать, что именно высказать и въ какой формѣ, Каренинъ невольно обращается мыслью къ запущенному департаменту, и вотъ тутъ-то «мысли его вдругъ измѣнились». Они соскочили съ рельсовъ бюрократическихъ формъ («обдумать», «высказать свой взглядъ и рѣшеніе», «отбросить») и попали въ колею столь недоступной Каренину психологической постановки. Здѣсь читаемъ слѣдующее: «Онъ сталъ думать о ней (Аннѣ), о томъ, что она думаетъ и чувствуетъ. Онъ впервые живо представилъ себѣ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія, и мысль, что у нея можетъ быть и должна быть своя особенная жизнь, показалась ему такъ страшна, что онъ поспѣшилъ отогнать ее. Это была та пучина, куда ему страшно было заглянуть. Переноситься мыслью и существомъ въ другое существо

было душевное дѣйствіе, чуждое Алексѣю Александровичу. Онъ считалъ это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фантазерствомъ». Подчеркнутыя нами слова, это—именно то самое мѣсто, которое представляется намъ имѣющимъ ближайшую связь съ вышеприведеннымъ указаніемъ на то, что натурѣ Каренина чужда поэзія и недоступно пониманіе искусства. Искусство и есть та творческая дѣятельность воображенія, въ силу которой мы «переносимся мыслью и чувствомъ въ другое существо». И тотъ, кто къ этому неспособенъ по самой натурѣ своей, не сумѣетъ дѣлать это и вслѣдъ за художникомъ: онъ не будетъ понимать искусства. Это совершенно вѣрно, но спрашивается, насколько эта черта типична для Каренина, и связывается ли она съ бюрократизмомъ? Въ представленіи Толстого (едва ли можно сомнѣваться въ этомъ) эта связь существуетъ и представляется ему психологически-необходимою или, по крайней мѣрѣ, характерною: Каренинъ—бюрократъ, человѣкъ, отрѣшенный отъ подлинной жизни и ея не понимающій, и съ этимъ, по мысли Толстого, вполнѣ гармонируетъ недоступность искусства Каренину и его неспособность входить во внутренній міръ другихъ. Но это идея ложная. Бюрократизмъ тутъ не при чемъ. Какъ пониманіе искусства, такъ и умѣніе входить въ интимный, душевный міръ другихъ основаны на дѣйствіи симпатическаго воображенія. Всѣ мы въ большей или меньшей мѣрѣ надѣлены имъ отъ природы, но у всѣхъ насъ оно такъ или иначе ограничивается различными воздѣйствіями, для него неблагопріятными. Болѣе всего ограничивается оно 1) черствостью, эгоистичностью натуры; 2) слабостью умственныхъ силъ (симпатическое воображеніе есть только разновидность воображенія вообще, а послѣднее—одна изъ важнѣйшихъ силъ или функцій ума: у идіота не можетъ быть симпатическаго воображенія); 3) расовыми, національными, классовыми, профессіональными перегородками, которыя ограничиваютъ дѣятельность симпатическаго воображенія, такъ сказать, въ пространствѣ [1]). Каренинъ, какъ мы узнаемъ изъ дальнѣйшаго, далеко не черствъ и не эгоистъ въ той исключительной мѣрѣ,

[1]) Сколько у насъ, къ сожалѣнію, есть людей, которые тонко и сочувственно понимаютъ душевный міръ ближняго, но только подъ условіемъ, чтобы «этотъ ближній не былъ (для однихъ) нѣмецъ, (для другихъ) полякъ, (для третьихъ) еврей, для иныхъ — человѣкъ другого класса и т. д.

какая нужна для парализаціи симпатическаго воображенія; мы увидимъ, что онъ даже очень чувствителенъ и отзывчивъ на страданія другихъ; въ умственномъ отношеніи онъ далеко не ограниченъ и скорѣе стоитъ выше средняго уровня, о его расовыхъ, національныхъ, классовыхъ антипатіяхъ или предразсудкахъ намъ ничего неизвѣстно, и мы, судя по общему впечатлѣнію, скорѣе склонны думать, что ихъ нѣтъ у него. Остается только профессіональная перегородка—бюрократическая, но она, какъ и большинство другихъ профессіональныхъ, ограничиваетъ дѣйствіе симпатическаго воображенія далеко не такъ сильно, какъ это дѣлаютъ перегородки расовыя, національныя и нѣкоторыя классовыя. На почвѣ всѣхъ такихъ психологическихъ формъ, разъединяющихъ людей, легко возникаютъ, какъ это слишкомъ хорошо извѣстно, трудно искоренимыя антипатіи, стихійная вражда, безсмысленная ненависть, а это и есть тотъ замокъ, которымъ наглухо замыкаются души человѣческія, даже такія, что иначе могли бы быть широко раскрыты для всякаго пониманія, для всякаго сочувствія.

Но пойдемъ дальше. Толстой отказываетъ Каренину въ способности «переноситься мыслью и чувствомъ въ другое существо» очевидно для того только, чтобы Каренинъ вышелъ законченнымъ типомъ чиновнаго дѣльца, сановника, формалиста, который весь ушелъ въ бумаги и за бумагами ничего не видитъ. Съ тою же цѣлью Толстой заставляетъ его «считать это душевное дѣйствіе вреднымъ и опаснымъ фантазерствомъ». Если бы это относилось только къ служебной практикѣ Каренина, къ его отношеніямъ къ подчиненнымъ, просителямъ и т. д., то никакихъ возраженій и недоумѣній это не вызывало бы у насъ. Но Толстой заставляетъ Каренина быть такимъ въ его частной жизни, въ отношеніи къ женѣ. Вотъ онъ только что, какъ мы видѣли, задумался надъ тѣмъ, что думаетъ и чувствуетъ Анна. Передъ нимъ задача со многими неизвѣстными, и онъ даже не пытается разрѣшить ее. Если душа жены для него—настоящія потемки, то, скажемъ мы, это легко объясняется разницей натуръ, лѣтъ, интересовъ. Но мы скажемъ еще, что гораздо правдоподобнѣе было бы дѣло, если бы художникъ представилъ намъ Каренина воображающимъ, что онъ отлично знаетъ душевный міръ Анны и читаетъ тамъ, какъ по писанному. Такое самообольщеніе было бы для Каренина гораздо типичнѣе.

«Я долженъ обдумать, рѣшить и отбросить»—вотъ все, къ чему послѣ всѣхъ попытокъ проникнуть въ душевный міръ жены приходитъ Каренинъ, точно онъ на своемъ министерскомъ креслѣ, и передъ нимъ дѣло за № такимъ-то. Прочтемъ еще слѣдующее: «Вопросы о ея чувствахъ, о томъ, что дѣлалось и можетъ дѣлаться въ ея душѣ,—это не мое дѣло, это дѣло ея совѣсти и подлежитъ религіи»,—сказалъ онъ себѣ, чувствуя облегченіе при сознаніи, что найденъ тотъ отдѣлъ узаконеній, которому подлежало возникшее обстоятельство».

Подчеркнутыя мною слова явно отзываются каррикатурою, но, повидимому, они сказаны серьезно и имѣютъ цѣлью отмѣтить психологическую черту, которая представляется Толстому въ высокой степени характерною для Каренина. Странное впечатлѣніе производитъ это внесеніе каррикатуры, хотя бы и ненамѣренной, въ серьезный психологическій анализъ,—тѣмъ болѣе странное, что въ данномъ мѣстѣ затронутъ мотивъ, имѣющій несомнѣнное значеніе. Ходъ мыслей Каренина дѣйствительно долженъ былъ привести его къ такой постановкѣ вопроса: то, что Анна переживаетъ въ данное время, это—дѣло ея совѣсти, а слѣдовательно, по существу, не подлежитъ вмѣшательству другого человѣка, хотя бы и самаго близкаго ей; вѣдь нельзя насильно заставить чужую совѣсть заговорить, если она молчитъ. Но для человѣка религіознаго, какимъ представленъ Каренинъ, въ подобныхъ случаяхъ сама собою напрашивается мысль обратиться къ авторитету религіи (предполагая, конечно, религіозность самой Анны). И если при такомъ оборотѣ мыслей Каренинъ могъ почувствовать нѣкоторое облегченіе, то оно явилось, конечно, вовсе не потому, что «найденъ» соотвѣтственный «отдѣлъ узаконеній», а скорѣе въ силу присущаго всѣмъ вѣрующимъ убѣжденія въ магической власти религіи надъ совѣстью человѣка; но помимо того для вѣрующаго всякое обращеніе къ религіи, въ трудныхъ, даже совсѣмъ непоправимыхъ обстоятельствахъ, всегда приноситъ нѣкоторое облегченіе. Толстой, однако, ограничивается упоминаніемъ этого мотива, не разрабатывая его; но зато онъ слишкомъ ужъ усердно разрабатываетъ другой мотивъ—то каррикатурное изображеніе натуры сухого, можно сказать, тупого, законника и формалиста, на которое мы только-что указали. Каренинъ приходитъ къ рѣшенію, что совѣсть—совѣстью, и религія пусть свое дѣло дѣлаетъ, а онъ, какъ глава

семьи, обязанъ «предостеречь», «указать опасность», «даже употребить власть». И вотъ въ его головѣ складывается рѣчь, которую онъ скажетъ Аннѣ, «складывается ясно и отчетливо, какъ докладъ». Опять каррикатурная черта, соотвѣтственно которой дается и программа самой рѣчи: «Я долженъ сказать и высказать слѣдующее: во-первыхъ, объясненіе значенія общественнаго мнѣнія и приличія; во-вторыхъ, религіозное объясненіе значенія брака; въ-третьихъ, если нужно, указаніе на могущее произойти несчастье для сына; въ-четвертыхъ, указаніе на ея собственное несчастье».

Весь этотъ анализъ или, лучше сказать, все построеніе Каренина въ разсматриваемой главѣ было бы рѣшительно недостойно Толстого, если бы дѣло не было въ значительной мѣрѣ исправлено въ слѣдующей главѣ, IX-ой, гдѣ прекрасно проведено самое объясненіе между супругами. Здѣсь Каренинъ обнаруживается вовсе не такимъ, какъ мы ожидали бы на основаніи выше изложеннаго: это уже не сухой законникъ, не чиновная мумія, это—добрый и искренній человѣкъ, который не читаетъ «доклада», не произноситъ заготовленной рѣчи, а говоритъ просто и задушевно то, что всякій другой сказалъ бы на его мѣстѣ, если только этотъ другой, подобно ему, не ревнивъ, какъ Отелло, не глупо-подозрителенъ и предпочитаетъ прежде всего дѣйствовать словомъ убѣжденія. Но любопытно здѣсь то, что съ внѣшней стороны «программа» рѣчи, изложенная въ предыдущей главѣ, все-таки выдержана: Каренинъ говоритъ Аннѣ и о «законахъ приличія», и о томъ, что ихъ жизнь связана не людьми, а Богомъ, и разорвать эту связь было бы преступленіемъ («религіозное объясненіе значенія брака»), и о несчастьѣ для семьи, для сына. Все, повидимому, есть, какъ было начертано въ программѣ,—одного только нѣтъ—утрированнаго духа сухой формалистики, представленнаго въ нарочито-каррикатурномъ видѣ. И, между прочимъ, вышеуказанный шаржъ главы VIII-ой, именно то мѣсто, гдѣ сказано, что Каренинъ почувствовалъ облегченіе, найдя въ религіи соотвѣтственный «отдѣлъ узаконеній», обезвреживается или исправляется здѣсь слѣдующими словами Каренина: «...Копаясь въ душѣ своей, мы часто выкапываемъ такое, что тамъ лежало бы незамѣтно. Твои чувства—это дѣло твоей совѣсти; но я обязанъ предъ тобою, предъ собою и предъ Богомъ указать тебѣ твои обязанности... Я люблю тебя. Но я говорю не о себѣ; главныя лица тутъ—нашъ сынъ и ты сама... Очень можетъ

быть, повторяю, тебѣ покажутся совершенно напрасными и неумѣстными мои слова: можетъ быть, они вызваны моимъ заблужденіемъ. Въ такомъ случаѣ, я прошу тебя извинить меня. Но если ты сама почувствуешь, что есть хоть малѣйшія основанія, то я тебя прошу подумать и, если сердце тебѣ говоритъ, высказать мнѣ...»

Во всемъ этомъ не видать того «бюрократа», котораго мы ожидали встрѣтить. Но мало того: въ главѣ IX-ой не только исправлены шаржи главы VIII-ой, но еще одно существенное показаніе этой послѣдней рѣшительно опровергнуто здѣсь. На основаніи главы VIII-ой мы должны думать, что душа Анны для ея мужа—terra incognita, что ему совершенно чуждо все, что́ тамъ происходитъ, и между супругами нѣтъ душевныхъ связей. Теперь мы узнаемъ нѣчто, прямо противорѣчащее этому. «Духъ лжи» такъ овладѣлъ Анной (въ сценѣ объясненія съ мужемъ), что въ ея репликахъ, въ ея стараніи уклониться отъ объясненія посторонній человѣкъ не замѣтилъ бы ничего неестественнаго; чтобы это замѣтить, нужно было знать ее такъ, «какъ зналъ мужъ»... «для него, знавшаго ее, знавшаго, что, когда онъ ложился пятью минутами позже, она замѣчала и спрашивала о причинѣ, для него, знавшаго, что всякія свои радости, веселье, горе, она тотчасъ сообщала ему, для него теперь—видѣть, что она не хотѣла замѣчать его состоянія, что она не хотѣла ни слова сказать о себѣ—означало многое. Онъ видѣлъ, что глубина ея души, всегда прежде открытая предъ нимъ, была закрыта отъ него»...

Здѣсь противорѣчіе не словъ, какое часто бываетъ, а въ самой сущности дѣла. На основаніи только-что приведеннаго мѣста мы съ полнымъ правомъ заключаемъ, что душевный міръ Анны для Каренина былъ вовсе не terra incognita, не заколдованное царство, куда онъ не проникалъ ни мыслью, ни чувствомъ, и гдѣ все было ему чуждо, невѣдомо, непонятно. Нѣтъ, онъ хорошо зналъ свою жену, она была съ нимъ вполнѣ откровенна, она дѣлилась съ нимъ всѣми своими радостями и печалями, ему была открыта «глубина ея души». Какъ же примирить съ этимъ то, что сказано въ главѣ VIII-ой: «Онъ впервые живо представилъ себѣ ея личную жизнь, ея мысли, ея желанія?...» Да вѣдь оказывается, онъ отлично зналъ все это. Личная жизнь Анны, по свидѣтельству главы VIII-ой, это—«та пучина, куда ему страшно было заглянуть»; теперь, въ главѣ IX-ой, мы узна-

емъ, что «глубина души» Анны всегда «была открыта предъ нимъ»...

«Истина», по всей вѣроятности, скрывается посрединѣ между этими крайностями: Каренинъ хорошо зналъ характеръ жены, складъ ея ума, уровень ея образованія, ея вкусы, привычки, слабости и т. д., но едва ли онъ, всецѣло погруженный въ служебную дѣятельность, могъ проникать въ глубину ея души, и, конечно, онъ и не подозрѣвалъ, что въ этой глубинѣ таились сдержанныя, дремлющія до поры до времени силы страстной женской натуры, жаждущей любви и счастья.

III.

Переходимъ къ XXVI-ой главѣ той же II-ой части.

Каренинъ еще не знаетъ объ измѣнѣ жены, онъ еще не имѣетъ «не только доказательствъ, но и подозрѣній», и тѣмъ не менѣе «въ глубинѣ души онъ уже зналъ несомнѣнно, что онъ былъ обманутый мужъ, и былъ отъ этого глубоко несчастливъ». Послѣ неудавшагося объясненія съ Анной онъ замкнулся въ себѣ и установилъ тѣ холодныя отношенія къ ней, психологія которыхъ весьма удачно намѣчена слѣдующими чертами: «Ты не хотѣла объясниться со мной,—какъ будто говорилъ онъ, мысленно обращаясь къ ней,—тѣмъ хуже для тебя. Теперь уже ты будешь просить меня, а я не стану объясняться. Тѣмъ хуже для тебя,—говорилъ онъ мысленно, какъ человѣкъ, который бы тщетно попытался потушить пожаръ, разсердился бы на свои тщетныя усилія и сказалъ бы: такъ на же тебѣ! такъ сгоришь за это.».—Мнѣ кажется, это очень удачно угадано и представляется вполнѣ естественнымъ для человѣка, отъ природы не ревниваго, не пылающаго страстной любовью къ женѣ, наконецъ, для человѣка, важнѣйшіе жизненные интересы котораго не въ семьѣ, а внѣ ея, въ служебной дѣятельности. Этотъ человѣкъ обиженъ, оскорбленъ, встревоженъ, видитъ свое безсиліе предотвратить бѣду, и ему ничего не остается больше, какъ замкнуться въ себѣ, затаить въ душѣ свое горе и—молчать. Къ этому, разумѣется, примѣшиваются и чувства досады, озлобленія, оскорбленнаго самолюбія,—и мотивъ «такъ на же тебѣ, такъ сгоришь за это!» совершенно понятенъ. Но вотъ что не понятно: непосредственно вслѣдъ за приведенными словами Толстой говоритъ: «Онъ, этотъ умный и тонкій въ слу-

жебныхъ дѣлахъ человѣкъ, не понималъ всего безумія такого отношенія къ женѣ». При чемъ тутъ умъ и тонкость въ служебныхъ дѣлахъ? И почему данное отношеніе Каренина къ женѣ нужно считать безуміемъ? Развѣ всякое другое хоть сколько-нибудь помогло бы ему въ данномъ случаѣ? Развѣ, при иной тактикѣ возможно предположить благопріятный исходъ для мужа, который сталъ физически и всячески противенъ женѣ, отдавшейся другому? Вспомнимъ, что разсматриваемая глава относится къ тому времени, когда любовь Анны и Вронскаго была въ своемъ апогеѣ, и когда въ душѣ Анны возникло непреодолимое, нестерпимое чувство отвращенія къ мужу. Но, быть можетъ, если бы Каренинъ прибѣгъ къ бурнымъ сценамъ ревности и являлъ бы зрѣлище полнаго отчаянія, обнаруживалъ рѣшимость, цѣною чего бы то ни было, не уступать жены другому,—то это польстило бы женскому тщеславію Анны и вызвало бы въ ней какія-нибудь чувства, благопріятныя для мужа, напримѣръ, чисто женское чувство какъ-бы благодарности за столь пылкую и самоотверженную любовь, или, можетъ быть, чувство жалости [1]). Но, безъ всякаго сомнѣнія, это ничуть не помогло бы дѣлу. Смѣшонъ былъ бы Аннѣ этотъ сановникъ въ роли Отелло, и въ лучшемъ случаѣ она бы бросила его безъ тѣхъ чувствъ стихійной злобы и пристрастной ненависти, какія взяли верхъ въ душѣ Анны въ виду кажущагося спокойствія Каренина и его хлопотъ о соблюденіи приличій.

Въ той же главѣ дано слѣдующее поясненіе, почему Каренинъ не понимаетъ всего «безумія» вышеуказаннаго отношенія къ женѣ: «Онъ не понималъ этого потому, что ему было слишкомъ страшно понять свое настоящее положеніе, и онъ въ душѣ своей закрылъ, заперъ и запечаталъ тотъ ящикъ, въ которомъ у него находились его чувства къ семьѣ, т. е. къ женѣ и сыну...»

Онъ сталъ холоденъ даже къ сыну... Онъ, далѣе, «ничего не хотѣлъ думать о поведеніи и чувствахъ своей жены и, дѣйствительно, онъ объ этомъ ничего не думалъ...» — Послѣднее (что онъ дѣйствительно не думалъ) представ-

---

[1]) Вспомнимъ слова или мысли Анны въ главѣ XXVIII-ой (той же II-ой части): «...что же онъ чувствуетъ, если можетъ такъ спокойно говорить? Убей онъ меня, убей онъ Вронскаго, я бы уважала его. Но нѣтъ: ему нужны только ложь и приличіе».

ляется психологически мало вѣроятнымъ: онъ могъ перестать ломать голову надъ вопросомъ: что дѣлать, какъ выйти изъ бѣды, но вообще не думать о ней едва ли онъ могъ; вѣдь онъ продолжалъ живо чувствовать свое несчастіе, а это чувство должно было непремѣнно вызывать въ сознаніи соотвѣтственныя мысли; онъ могъ стараться отгонять ихъ, но, конечно, онѣ возвращались. Важнѣйшимъ средствомъ отгонять ихъ было усиленное занятіе служебными дѣлами. Онъ говорилъ, что никогда у него не было столько дѣла, какъ теперь, «но онъ не сознавалъ того, что самъ выдумывалъ себѣ въ нынѣшнемъ году дѣла, что это было одно изъ средствъ не открывать того ящика, гдѣ лежали чувства къ женѣ и семьѣ и мысли о нихъ, и которыя дѣлались тѣмъ страшнѣе, чѣмъ дольше они тамъ лежали». Все это мѣсто было бы въ психологическомъ отношеніи безупречно, если бы усилія Каренина «не думать», забыться въ водоворотѣ текущихъ дѣлъ были представлены какъ тщетныя. Затаенное горе, подавленныя скорбныя мысли, глубокое невысказанное, нераздѣленное чувство обиды должны были давить на сознаніе, на мысль тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе они были затаены, чѣмъ глубже запрятаны, чѣмъ менѣе высказаны.

Теперь у насъ на очереди одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ анализѣ и построеніи Каренина, именно глава XIII-я III-й части. Послѣ извѣстной сцены на скачкахъ и признанія Анны въ невѣрности Каренинъ, обдумывая свое положеніе и тщательно взвѣшивая разныя соображенія pro и contra того или иного выхода (дуэль, разводъ), приходитъ къ заключенію, что наилучшимъ исходомъ было бы сохраненіе statu quo, т. е. продолженіе, хотя бы только внѣшнее, прежней семейной жизни, при условіи, разумѣется, чтобы Анна отказалась отъ любовника, соблюдала всѣ правила свѣтскихъ приличій, и чтобы эпизодъ съ Вронскимъ былъ забытъ, не получивъ огласки. Такимъ исходомъ, какъ ему казалось, достигалось бы то, чѣмъ онъ всего больше дорожилъ: сохраненіе заведеннаго порядка жизни; съ тѣмъ вмѣстѣ онъ избавлялся отъ опасности стать притчей во языцѣхъ, мишенью для нападокъ враговъ; всякій другой исходъ (въ особенности разводъ) послужилъ бы поводомъ «для клеветы и униженія его высокаго положенія въ свѣтѣ». Остановившись на этомъ рѣшеніи, онъ почти успокоился, и, «обдумывая дальнѣйшія подробности», онъ «не видѣлъ даже, почему его отношенія къ женѣ не могли оставаться такія же почти, какъ и прежде».

«Да, пройдетъ время, все устрояющее время, и отношенія возстановятся прежнія,—думаетъ онъ,—т. е. возстановятся въ такой степени, что я не буду чувствовать разстройства въ теченіи своей жизни. Она (Анна) должна быть несчастлива, но я не виноватъ, и потому не могу быть несчастливъ.» Такой оборотъ приняли мысли Каренина, конечно, потому, что это человѣкъ, весь смыслъ жизни и всѣ захватывающіе интересы котораго—внѣ семьи, въ его служебной дѣятельности и карьерѣ; семья же для него—только часть обстановки, и настоящихъ человѣческихъ чувствъ мужа, отца, семьянина—у него нѣтъ. Ему и въ голову не приходитъ, что женѣ будетъ нестерпимо-тошно жить съ нимъ, что ихъ жизнь будетъ ложна, фальшива и несчастлива для обоихъ... Но построяя Каренина въ этомъ духѣ, Толстой, конечно, чувствовалъ, что это выходитъ ужъ слишкомъ деревянный человѣкъ, и что ограничиться такой слишкомъ упрощенной психологіей нельзя. Оттуда—попытка найти у Каренина тайныя, для него самаго неясныя или совсѣмъ не сознаваемыя имъ душевныя движенія, которыя внушаютъ ему данное рѣшеніе, независимо отъ вышеприведенныхъ сознательныхъ соображеній. Это, во первыхъ, чувство озлобленія противъ жены и желаніе мести: «...въ душѣ Алексѣя Александровича, несмотря на полное, теперь, какъ ему казалось, презрительное равнодушіе къ женѣ, оставалось въ отношеніе къ ней одно чувство—нежеланіе того, чтобъ она безпрепятственно могла соединиться съ Вронскимъ, чтобы преступленіе ея было для нея выгодно. Одна мысль это такъ раздражала Алексѣя Александровича, что, только представивъ себѣ это, онъ замычалъ отъ внутренней боли...» И далѣе: чувство ревности, которымъ онъ мучился раньше, до признанія Анны, теперь «замѣнилось другимъ,—желаніемъ, чтобъ она не только не торжествовала, но получила возмездіе за свое преступленіе. Онъ не признавалъ этого чувства, но въ глубинѣ души ему хотѣлось, чтобъ она пострадала за нарушеніе его спокойствія и чести». Вотъ, стало быть, одинъ изъ скрытыхъ мотивовъ, заставившихъ Каренина отвергнуть все, что «бросало его жену въ объятія любовника», т. е. разводъ, какъ формальный, такъ и не формальный. Дуэль отвергается на основаніи разныхъ соображеній: Каренинъ въ принципѣ противъ этого варварскаго обычая, да и друзья его не допустятъ, «чтобы жизнь государственнаго человѣка, нужнаго Россіи, подвергалась опасности». Все это доводы

достаточно сильные, но и тутъ, помимо ихъ и сильнѣе ихъ, дѣйствовалъ скрытый мотивъ: Каренинъ смертельно боялся всякаго оружія, и одна мысль о пистолетѣ, направленномъ на него, повергала его въ страхъ и трепетъ. Толстой не говоритъ намъ, что Каренинъ былъ малодушный трусъ и боялся смерти. Онъ говоритъ только о трусости передъ оружіемъ, въ особенности огнестрѣльнымъ. Это, мнѣ кажется, лучшее мѣсто въ разсматриваемой главѣ, и не даромъ Толстой съ нѣкоторой обстоятельностью изображаетъ это чувство спеціальнаго страха. Наблюденіе, безспорно, вѣрное: люди боятся не столько самой смерти, сколько тѣхъ или иныхъ способовъ лишиться жизни. Есть люди, совсѣмъ не боящіеся умереть, но содрогающіеся при одной мысли о возможности, напримѣръ, утонуть. Для другихъ перспектива быть убитымъ пулею ничуть не страшна, но въ то же время они не могутъ безъ ужаса представить себя съ перерѣзаннымъ горломъ. Что Каренинъ могъ быть «трусомъ всякаго оружія» (если можно такъ выразиться),—это весьма похоже на правду, хотя строго типичнымъ признано быть не можетъ.

Итакъ, помимо всякихъ стремленій къ соблюденію приличій, къ устраненію огласки и скандала, къ удержанію прежняго «теченія жизни» и т. д., мотивы злобы и мести, мотивъ боязни оружія сами по себѣ были достаточны для того, чтобы Каренинъ отказался отъ мысли о разводѣ и дуэли и остановился на извѣстномъ намъ рѣшеніи. Эти мотивы и то стремленіе къ сохраненію statu quo дѣйствовали въ одномъ и томъ же направленіи. Все вмѣстѣ построено весьма искусно, но мы, читая эту главу, не находимъ въ себѣ той непоколебимой увѣренности, что иначе и не могло быть, къ которой пріучилъ насъ Толстой анализомъ своихъ лучшихъ созданій. Мы могли бы ожидать здѣсь изображенія того глубокаго потрясенія, какое несомнѣнно долженъ былъ испытать Каренинъ, когда услышалъ изъ устъ Анны роковое признаніе. Мы не считаемъ счастливой находкой то сравненіе, къ которому прибѣгаетъ въ этомъ случаѣ Толстой. Онъ говоритъ, что, услышавъ признаніе Анны, Каренинъ «испытывалъ чувство человѣка, выдернувшаго долго болѣвшій зубъ. Послѣ страшной боли и ощущенія чего-то огромнаго больше самой головы, вытягиваемаго изъ челюсти, больной вдругъ, не вѣря еще своему счастью, чувствуетъ, что не существуетъ болѣе того, что такъ долго отравляло его жизнь». Теперь, послѣ признанія, «боль прошла», и—«онъ чувствовалъ, что можетъ опять

жить и думать не объ одной женѣ» [1]). Сравненіе представляется неподходящимъ и, какъ таковое, даетъ ложное освѣщеніе дѣлу. Страшной боли, сколько мы знаемъ, не было до признанія: было только гнетущее чувство неизвѣстности, и облегченіе, какое могло явиться послѣ выясненія истины, было только то относительное, больше кажущееся, чѣмъ дѣйствительное, облегченіе, которое обыкновенно ощущается, когда мы, такъ или иначе, хотя бы къ худшему, выходимъ изъ томительной неизвѣстности. Теперь положеніе выяснилось, и всѣ догадки, подозрѣнія, сомнѣнія отпали, все это бремя неудобоносимое снято съ души, и потому чувствуется нѣкоторое облегченіе. Но, въ сущности дѣла, это облегченіе того же рода, какое испытываетъ человѣкъ, находящійся подъ страхомъ смертнаго приговора и томящійся долго въ неизвѣстности, выйдетъ ли помилованіе, или нѣтъ; наконецъ онъ узнаетъ, что помилованіе не дано, и ему предстоитъ умереть. Выходъ изъ томленія неизвѣстности вызываетъ въ душѣ нѣкоторую иллюзію облегченія; но эта иллюзія сейчасъ же тонетъ въ новомъ душевномъ страданіи, въ ужасѣ и страшной тоскѣ безнадежности. Нельзя тутъ прибѣгать къ сравненію съ зубной болью...

Надъ человѣкомъ разразилась бѣда—изъ числа тѣхъ, что переворачиваютъ всю жизнь. Муки сомнѣній, муки ожиданія и слабой надежды прошли, но ударъ ошеломилъ его самой своей несомнѣнностью,—и долго не можетъ человѣкъ придти въ себя, примириться съ фактомъ, и способенъ только машинально исполнять обряды жизни и обязанности своей профессіи. Такъ должно было случиться и съ Каренинымъ. Онъ могъ бы предаться тѣмъ размышленіямъ, которыя изложены въ разсмотрѣнной главѣ, только по прошествіи нѣкотораго времени,—Толстой же, самъ введенный въ заблужденіе невольно подвернувшимся неудачнымъ сравненіемъ съ выдернутымъ зубомъ, заставляетъ Каренина предаваться всѣмъ этимъ размышленіямъ и соображеніямъ pro и contra развода, дуэли и т. д. тутъ же, въ каретѣ, въ которой онъ услышалъ признаніе Анны, и въ которой, высадивъ жену на дачѣ, онъ возвращается въ Петербургъ. А вернувшись, онъ пишетъ Аннѣ извѣстное письмо, гдѣ увѣдомляетъ ее о своемъ рѣшеніи и потомъ, стряхнувъ съ себя всѣ душевныя тягости,

---

[1]) Значитъ, раньше онъ о ней все-таки думалъ, вопреки утвержденіямъ главы XXVI-й II-части.

какъ ни въ чемъ не бывало, принимается за дѣла. Все это изложено въ слѣдующей главѣ, XIV-й, гдѣ отмѣтимъ нѣкоторыя черты, представляющіяся намъ психологически невѣрными.

Покончивъ съ письмомъ, Каренинъ сперва, по заведенному порядку, принялся было за чтеніе книги объ евгюбическихъ надписяхъ. Но тутъ взглядъ его упалъ на портретъ Анны, висѣвшій надъ кресломъ. «Поглядѣвъ на портретъ съ минуту, Алексѣй Александровичъ вздрогнулъ такъ, что губы затряслись и произвели звукъ «брр», и отвернулся. Онъ попробовалъ читать, но онъ смотрѣлъ на книгу и думалъ о другомъ». О чемъ? О женѣ, объ ея измѣнѣ, о своемъ положеніи, о своемъ горѣ? Ничуть не бывало: «онъ думалъ не о женѣ, но объ одномъ возникшемъ въ послѣднее время усложненіи въ его государственной дѣятельности, которое въ это время составляло главный интересъ его службы. Онъ чувствовалъ, что онъ глубже, чѣмъ когда-нибудь, вникалъ теперь въ это усложненіе, и что въ головѣ его нарождалась — онъ безъ самообольщенія могъ сказать — капитальная мысль, долженствующая распутать все это дѣло...» И вотъ онъ «погружается въ чтеніе вытребованнаго имъ сложнаго дѣла, относящагося до предстоящагося усложенія». Слѣдуетъ изложеніе самого дѣла, очень злое... Каренинъ весь ушелъ въ захватывающіе интересы служебной игры, — онъ нашелъ свой ходъ и уже видитъ свое торжество,—онъ даетъ противникамъ шахъ и матъ... «Краска оживленія покрыла лицо Алексѣя Александровича, когда онъ быстро писалъ себѣ конспектъ этихъ мыслей». Покончивъ съ этимъ, онъ, по заведенной привычкѣ, почиталъ книгу; потомъ легъ спать и когда, «лежа въ постели, вспомнилъ о событіи съ женою, оно ему представилось уже совсѣмъ не въ такомъ мрачномъ видѣ». Все это—психологически неправдоподобно, въ той хронологической послѣдовательности, въ какой это представлено. Каренинъ, какъ мы его до сихъ поръ знаемъ, а еще лучше узнаемъ изъ дальнѣйшаго, вовсе не такой деревянный или не такой легкомысленно-жизнерадостный человѣкъ, чтобы онъ могъ такъ скоро и такъ легко сбросить съ души всю тяготу чувствъ обманутаго мужа, все горе разрушенной семейной жизни и беззаботно предаться излюбленной игрѣ. Эта игра могла бы дѣйствительно его утѣшить впослѣдствіи, но въ данное время, ошеломленный страшнымъ ударомъ, онъ, конечно, не былъ въ силахъ вести игру, да еще вникать въ головоломное «дѣло» «глубже, чѣмъ когда-нибудь».

IV.

Въ дальнѣйшихъ сценахъ (объясненіе съ Анной въ гл. XXIII-ей той же III-ей части, другое объясненіе въ IV-ой главѣ IV части и сцена у адвоката въ слѣдующей главѣ, V-й) душевное состояніе Каренина представлено въ слѣдующемъ видѣ.

Чувство ревности, конечно, не могло исчезнуть потому только, что было найдено «рѣшеніе» вопроса, тѣмъ болѣе, что это рѣшеніе было лишь кажущимся. Въ сущности вопросъ оставался открытымъ. Мало того: онъ даже еще больше запутался вслѣдствіе нерѣшительности Анны, потерявшей голову больше всѣхъ; а вскорѣ обнаружилось и другое осложненіе—беременность. Все это вновь расшевелило въ Каренинѣ муки ревности. Имъ овладѣло и, можно сказать, ослѣпило его дикое чувство злобы, когда онъ замѣтилъ, что Анна продолжаетъ видаться съ Вронскимъ, когда, далѣе, онъ однажды встрѣтилъ послѣдняго въ своемъ домѣ, наконецъ, когда Анна призналась ему, что ей предстоитъ родить. Это чувство дикаго озлобленія заставляетъ Каренина, всегда столь тактичнаго и корректнаго, говорить Аннѣ слова слишкомъ грубыя, потомъ разыграть слишкомъ дикую сцену, гдѣ онъ отнимаетъ у Анны портфель съ ея перепискою. Все это въ порядкѣ вещей, разъ дано то извращеніе человѣческой натуры и то умопомраченіе, которыя неизбѣжно являются слѣдствіемъ ревности, чувствъ обманутаго, оскорбленнаго мужа. Намъ только кажется, что въ сценѣ съ портфелемъ Каренинъ слишкомъ ужъ вульгаренъ и грубо-золъ. Въ связи съ этимъ, въ гл. VIII-ой (IV-ой части) намъ представляется излишнимъ его письмо къ адвокату съ приложеніемъ трехъ записокъ Вронскаго къ Аннѣ и равно замѣчаніе Толстого, что «Каренинъ съ тѣхъ поръ, какъ онъ перевелъ это дѣло жизни въ дѣло бумажное, все больше и больше привыкалъ къ своему намѣренію (развестись съ женой) и видѣлъ теперь ясно возможность его исполненія». Самая мысль о разводѣ, которую раньше онъ такъ рѣшительно отвергъ, явилась теперь какъ результатъ все того же озлобленія и желанія отомстить. На это указано въ главѣ IV-ой (IV-ой части). Большую роль играла тутъ, весьма естественная въ данномъ случаѣ, неразумная подозрительность обманутаго мужа: Каренинъ забралъ себѣ въ голову, будто Анна и Вронскій замышляютъ нѣкій комплотъ противъ него, будто Анна ничего лучшаго не желаетъ, какъ пользоваться по-прежнему

положеніемъ жены сановника и продолжать обманывать его. На эту подозрительность Каренина указано и въ дальнѣйшемъ. Повторяю, все это въ порядкѣ вещей, но только переходъ къ такому крайнему озлобленію послѣ того относительнаго успокоенія, о которомъ была рѣчь выше, намъ представляется нѣсколько искусственнымъ. Какъ бы то ни было, но въ общемъ развитіи психологіи Каренина это чувство озлобленія безусловно-необходимо: безъ этого мотива была бы психологически невозможна та реакція, то обратное душевное движеніе въ сторону прощенія и самоотверженія, которое возникло въ Каренинѣ у постели умирающей Анны. И вотъ Толстой въ рядѣ сценъ рисуетъ намъ все усиливающійся процессъ ожесточенія, очерствѣнія души Каренина, доходящаго до глухой ненависти къ Аннѣ, до желанія смерти ея (гл. XVII-ая IV-ой части). Душевная реакція противъ этого ожесточенія, необычайная сила которой объясняется исключительностью обстоятельствъ и обстановки, въ существѣ дѣла, была вызвана естественнымъ протестомъ самой натуры Каренина, натуры доброй, деликатной, жалостливой и чувствительной. Здѣсь нужно вспомнить одно мѣсто въ главѣ XIII-ой (III-ей части), которое мы, разбирая эту главу, пропустили, потому что не знали, что дѣлать съ нимъ при анализѣ душевнаго состоянія Каренина, изображеннаго въ указанной главѣ. Это мѣсто гласитъ: «Никто, кромѣ самыхъ близкихъ людей къ Алексѣю Александровичу, не зналъ, что этотъ съ виду самый холодный и разсудительный человѣкъ имѣлъ одну, противорѣчившую общему складу его характера, слабость: Алексѣй Александровичъ не могъ равнодушно слышать и видѣть слезы ребенка или женщины. Видъ слезъ приводилъ его въ растерянное состояніе, и онъ терялъ совершенно способность соображенія...» Толстой утилизируетъ эту черту, въ той же главѣ, только для поясненія того, какъ реагировалъ Каренинъ на признаніе Анны. Когда она «закрывъ лицо руками, заплакала, Алексѣй Александровичъ, несмотря на вызванную въ немъ злобу къ ней, почувствовалъ въ то же время приливъ того душевнаго разстройства, которое на него всегда производили слезы». Чтобы не поддаться этому разстройству, которое не соотвѣтствовало бы положенію, «онъ старался удержать въ себѣ всякое проявленіе жизни и потому не шевелился и не смотрѣлъ на нее (на Анну). Отъ этого-то и происходило то странное выраженіе мертвенности на его лицѣ, которое такъ поразило Анну». Вотъ и все. Для послѣдующихъ

сценъ эта черта не нужна, и Толстой о ней не вспоминаетъ вплоть до тѣхъ главъ, гдѣ изображено обратное движеніе чувствъ Каренина отъ злобы и ожесточенія къ состраданію, душевному размягченію и прощенію, т. е. до главъ XVII-ой, XIX-ой и XX-ой IV-ой части. Здѣсь эта черта опять выплываетъ, здѣсь она нужна, но при этомъ мы, вспоминая ея формулировку въ главѣ XIII-ой (III-ей части), чувствуемъ нѣкоторую неудовлетворенность этой формулировкою. На основаніи послѣдней можно подумать, что это просто та внѣшняя чувствительность, которая нисколько не свидѣтельствуетъ о настоящей добротѣ души, о подлинной сострадательности. Да вѣдь такъ и представлена эта черта въ указанномъ мѣстѣ—какъ «слабость», къ тому же противорѣчащая «общему складу характера» Каренина. А вотъ теперь оказывается, что Каренинъ въ самомъ дѣлѣ, по основному складу своей натуры,—человѣкъ весьма способный къ глубокому сочувствію, къ истинному состраданію...

Вызванный (изъ Москвы) телеграммою Анны, гласившею: «Умираю, прошу, умоляю пріѣхать, умру съ прощеніемъ спокойнѣе», Каренинъ пріѣхалъ въ Петербургъ съ тѣмъ взволнованнымъ и страннымъ настроеніемъ, въ которомъ сквозь злыя чувства недовѣрія (онъ заподозрилъ обманъ или какую-то уловку), подозрительности, ожесточенія пробивалось новое чувство какого-то облегченія, какой-то неясной надежды. Это чувство внушалось возможностью смерти Анны, въ силу чего открывался бы неожиданный и наилучшій для него выходъ изъ тяжелаго положенія. Онъ желалъ смерти Анны, но (и въ этомъ сказывается первый протестъ его доброй души) не хотѣлъ, не смѣлъ, стыдился признаться въ этомъ самому себѣ. Давленіе злыхъ чувствъ достигло высшаго предѣла, когда онъ убѣдился, что въ самомъ дѣлѣ Анна при смерти, и близокъ часъ его освобожденія. Гордіевъ узелъ запутаннаго положенія будетъ разрубленъ смертью виновнаго лица,— и все разрѣшится, его жизнь войдетъ въ нормальную колею...

Въ такомъ замораживающемъ душу, замкнуто-эгоистическомъ настроеніи подходилъ Каренинъ къ дверямъ комнаты, гдѣ умирала Анна. Здѣсь онъ увидѣлъ убитаго горемъ и стыдомъ, плачущаго Вронскаго. И онъ сейчасъ же ощутилъ «приливъ того душевнаго разстройства, которое производилъ въ немъ видъ страданій другихъ людей... [1]). Когда онъ вошелъ въ комнату

[1]) Вотъ уже маленькая поправка къ вышеприведенному мѣсту главы XIII-ой III-ей ч., гдѣ говорится только о дѣйствіи на Каренина слезъ ребенка или женщины.

Анны, когда онъ ее увидѣлъ и услышалъ ея быструю, отчетливую бредовую рѣчь,—онъ уже не могъ бороться съ охватившимъ его «душевнымъ разстройствомъ». И вотъ тутъ-то онъ «вдругъ почувствовалъ, что то, что онъ считалъ душевнымъ разстройствомъ, было, напротивъ, блаженное состояніе души, давшее ему вдругъ новое, никогда не испытанное имъ счастье». Теперь уже не было гнета холодно-эгоистическихъ чувствъ, которыя замораживали его душу, они исчезли, и «радостное чувство любви и прощенія къ врагамъ наполняло его душу...»

Такое душевное умиленіе можетъ, конечно, посѣтить всякаго, даже очень черстваго человѣка, при исключительныхъ обстоятельствахъ, при потрясающей обстановкѣ, какъ въ данномъ случаѣ, и по большей части это—минутный подъемъ духа, за которымъ неизбѣжно слѣдуетъ пониженіе, когда ужъ не будетъ исключительной обстановки, и жизнь войдетъ въ обычную норму. Но у Каренина это высокое и рѣдкое просвѣтлѣніе души оказалось гораздо сильнѣе и устойчивѣе. Онъ умилился, пожалѣлъ и простилъ не только въ эту минуту,—онъ дѣйствительно отбросилъ ярмо эгоистическихъ чувствъ и всецѣло отдался во власть состраданія и самоотверженнаго прощенія. И онъ не лгалъ, не преувеличивалъ, когда говорилъ Вронскому:... «Я увидѣлъ ее и простилъ. И счастье прощенія открыло мнѣ мою обязанность. Я простилъ совершенно...»—Вронскій «не понималъ чувствъ Алексѣя Александровича. Но онъ чувствовалъ, что это было что-то высшее и даже недоступное ему въ его міровоззрѣніи».— Итакъ, это не былъ мимолетный порывъ, преходящее слѣдствіе слабости нервовъ, внушеніе той чувствительности Каренина, о которой была рѣчь выше. Радикальное измѣненіе всего настроенія и чувствъ Каренина вытекало изъ основъ его душевной организаціи, въ которой лежали нетронутыми, не упражняемыми, но и не заглушенными сокровища добрыхъ, сострадательныхъ, великодушныхъ чувствъ. Дальнѣйшее, какъ извѣстно, подтверждаетъ этотъ взглядъ. Въ главѣ XIX-ой читаемъ, что Каренинъ «до этого дня свиданія съ умирающею женою не зналъ своего сердца. Онъ у постели больной жены въ первый разъ отдался тому чувству умиленнаго состраданія, которое въ немъ вызывали страданія другихъ людей, и котораго онъ прежде стыдился, какъ вредной слабости; и жалость къ ней, и раскаяніе въ томъ, что онъ желалъ ея смерти, и, главное, самая радость прощенія сдѣлали то, что онъ вдругъ почувствовалъ не только уто-

леніе своихъ страданій, но и душевное спокойствіе, которыхъ онъ никогда прежде не испытывалъ». И далѣе мы узнаемъ, что онъ простилъ и Вронскому, что онъ и его пожалѣлъ, а «къ новорожденной дѣвочкѣ (дочери Вронскаго) онъ испыталъ какое-то особенное чувство—не только жалости, но и нѣжности». Слѣдуетъ (въ той же главѣ XIX-ой) описаніе его заботъ и хлопотъ о малюткѣ.

Читая эти страницы, изображающія душевную перемѣну, происшедшую въ Каренинѣ, мы не можемъ отдѣлаться отъ чего-то такого, что мѣшаетъ намъ прочувствовать ее надлежащимъ образомъ, откликнуться собственными душевными движеніями на душевныя движенія Каренина. Толстой, въ отношеніи другихъ лицъ, зачастую заставляетъ насъ отликаться, какъ напр., въ сценѣ свиданія Анны съ сыномъ или въ сценѣ объясненія Левина и Кити у Облонскихъ. Но здѣсь, въ указанныхъ главахъ (XVII-й, XIX-й и XX-ой IV-й части), мы только присутствуемъ и слушаемъ, что говоритъ намъ авторъ, слѣдимъ съ заинтересованнымъ вниманіемъ за его разсказомъ и анализомъ, но въ это время въ нашей душѣ не обнаруживается достаточно явственнаго отклика и трепетанія созвучныхъ струнъ. А между тѣмъ мы чувствуемъ, что выборъ душевныхъ мотивовъ сдѣланъ весьма удачно, что ихъ психологическая послѣдовательность—отъ ожесточенія къ умиленію и прощенію—глубоко вѣрна. Мало того: намъ нравится то, что новое настроеніе Каренина оказывается не минутнымъ, что оно глубоко захватило его душу. Мы хорошо понимаемъ мысль Толстого, что если это настроеніе и не удержалось потомъ, то въ томъ виноваты сила вещей, вліяніе среды, вмѣшательство постороннихъ лицъ. Это развито въ рядѣ сценъ, съ Анною, княгинею Тверскою, графинею Лидіей Ивановной, Облонскимъ. Все это мы понимаемъ и всему этому сочувствуемъ, но остаемся относительно-холодными и не находимъ въ себѣ непроизвольнаго, внезапнаго душевнаго отклика. Почему это такъ?

Мнѣ кажется, тщетно будемъ мы искать во всѣхъ этихъ мѣстахъ романа, написанныхъ съ обычнымъ мастерствомъ, какого-либо изъяна въ рисункѣ, расхолаживающихъ длиннотъ, недочетовъ въ психологическомъ анализѣ (они были въ предшествующихъ, вышеразсмотрѣнныхъ главахъ). Единственную причину, почему мы остаемся относительно-холодны и безучастны, нужно искать въ общемъ замыслѣ и во всемъ построеніи фигуры Ка-

ренина,—въ томъ, что онъ вышелъ не законченнымъ художественнымъ типомъ, а, въ значительной мѣрѣ, апріорнымъ и искусственнымъ созданіемъ беллетристики. Мы видимъ, какъ Толстой его строитъ, какъ собираетъ его изъ различныхъ чертъ,—и не можемъ заставить себя относиться къ нему, какъ къ живому человѣку. Мы не можемъ отдѣлаться отъ впечатлѣнія, что образъ Каренина—только предлогъ показать всю тщету той жизни и дѣятельности, представителемъ которой онъ является. Того, что̀ называется художественною правдою, въ Каренинѣ весьма немного, гораздо болѣе въ немъ того, что̀ можно назвать беллетристическимъ правдоподобіемъ. Но это правдоподобіе только мѣшаетъ художественной правдѣ быть полной и захватывающей.

V.

Съ большимъ правдоподобіемъ, кромѣ нѣкоторыхъ пунктовъ, построены дальнѣйшіе моменты въ исторіи Каренина.

Это, во-первыхъ, растерянность и упадокъ душевныхъ силъ Каренина, послѣ того какъ онъ убѣдился, что новая жизнь, основанная на прощеніи и самоотверженіи, рушилась подобно прежней. Онъ увидалъ что не можетъ вернуть любовь жены, что Анна по-прежнему тяготится его присутствіемъ, и жизнь въ его домѣ для нея невыносимо-тяжела. Этотъ моментъ описанъ въ началѣ главы XXI-ой V-ой части. Когда, наконецъ, Анна покинула его домъ, онъ, оставшись одинокимъ, «въ первый разъ понялъ ясно свое положеніе и ужаснулся ему» (ib.). То, что̀ происходило въ его душѣ въ это время, указано слѣдующими словами (той же главы): «Онъ не могъ теперь никакъ примирить свое недавнее прощеніе, свое умиленіе, свою любовь къ больной женѣ и чужому ребенку съ тѣмъ, что теперь было, т. е. съ тѣмъ, что, какъ бы въ награду за все это, онъ теперь очутился одинъ, опозоренный, осмѣянный, никому не нужный и всѣми презираемый».

Второй моментъ, это—вліяніе графини Лидіи Ивановны и постепенное обращеніе Каренина къ мистическому ученію, которое раньше онъ не одобрялъ. Это мотивировано полнымъ одиночествомъ Каренина, тѣмъ, что онъ ни въ комъ не находилъ нравственной поддержки. Онъ нашелъ теперь такую поддержку въ искренно-расположенной къ нему и платонически-влюбленной въ него графинѣ, убѣжденной послѣдовательницѣ

великосвѣтской секты, учившей, что обладающій полнотой вѣры не можетъ уже грѣшить и «испытываетъ здѣсь, на землѣ, уже полное спасеніе» (гл. XXII-ая V-ой части). Несмотря на беллетристическое правдоподобіе, съ какимъ все это проведено, намъ всетаки нѣсколько трудно представить себѣ Каренина, какъ мы его до сихъ поръ знали, адептомъ этого мистическаго ученія. Не всякій можетъ даже при обстоятельствахъ, наиболѣе предрасполагающихъ къ тому, сдѣлаться въ одинъ прекрасный день мистикомъ, увѣровать въ мнимое «спасеніе» и въ ясновидѣніе такихъ очевидныхъ шарлатановъ, какъ Landau. Для этого нужно имѣть извѣстныя предрасположенія въ складѣ ума, въ организаціи чувствующей сферы, а такихъ предрасположеній, очевидно, у Каренина вовсе не было. Повидимому, самъ Толстой сознавалъ или чувствовалъ, что, помимо всѣхъ мотивовъ и вліяній, какіе могли направить Каренина въ сторону мистицизма, необходимо указать въ самомъ складѣ его ума такую особенность, которая давала бы дѣлу болѣе прочное психологическое обоснованіе. Оттуда слѣдующее соображеніе, которое нельзя признать удачнымъ: «Алексѣй Александровичъ (а равно и Лидія Ивановна, и другіе мистики)... былъ вовсе лишенъ глубины воображенія, той душевной способности, благодаря которой представленія, вызываемыя воображеніемъ, становятся такъ дѣйствительны, что требуютъ соотвѣтствія съ другими представленіями и съ дѣйствительностью. Онъ не видѣлъ ничего невозможнаго и несообразнаго въ представленіи о томъ, что смерть, существующая для невѣрующихъ, для него не существуетъ, и что, такъ какъ онъ обладаетъ полнѣйшею вѣрою, судьею мѣры которой онъ самъ, то и грѣха уже нѣтъ въ его душѣ, и онъ испытываетъ здѣсь, на землѣ, уже полное спасеніе» (гл. XXII). Недостатокъ, который Толстой называетъ здѣсь отсутствіемъ глубины воображенія, правильнѣе было бы назвать недостаткомъ или непослѣдовательностью логическаго мышленія. Такую непослѣдовательность, вызываемую, напр. воздѣйствіемъ сильнаго чувства на мысль, могутъ проявлять и умы, отличающіеся большою глубиною воображенія, большой яркостью представленій. Но какъ бы мы ни назвали этотъ недостатокъ мышленія,— отсутствіемъ-ли глубины воображенія, или непослѣдовательностью логики,—во всякомъ случаѣ этотъ недостатокъ для даннаго вопроса (о мистицизмѣ Каренина) существеннаго значенія не имѣетъ. Каренинъ, не будучи нисколько предрасположенъ къ мистицизму

по самой натурѣ своей, могъ, хотя бы временно, примкнуть къ мистической сектѣ въ силу той перемѣны, какая должна была произойти, при данныхъ обстоятельствахъ, въ складѣ его религіозности. Алексѣй Александровичъ, съ его положительнымъ и суховатымъ умомъ дѣлового человѣка, до сихъ поръ держался строгой ортодоксальности и смотрѣлъ на религію исключительно съ государственной точки зрѣнія. На это указано въ той же главѣ XXII-ой, и это очень для него типично. Всякія уклоненія отъ догмы, всякія «новыя толкованія» онъ считалъ вредными уже потому, что это «открывало двери спору и анализу». И съ тѣмъ вмѣстѣ, онъ, человѣкъ несомнѣнно религіозный, не вѣдалъ религіи «сердца», религіозности, какъ дѣла совѣсти и какъ вопроса интимныхъ, душевныхъ потребностей человѣка. Онъ и не нуждался въ ней. Но теперь насталъ моментъ, когда въ немъ живо сказалась потребность имѣть такую религію. Въ подобныхъ случаяхъ зачастую наблюдается, что люди, ощутившіе эту потребность, склонны искать удовлетворенія ей не въ тѣхъ формахъ религіозности, въ которыхъ они выросли и съ которыми сроднились, а въ какихъ-нибудь другихъ, какія представляются имъ наиболѣе говорящими ихъ настроенію. Каренинъ, конечно, не могъ бы перейти, напр., въ католицизмъ, но онъ могъ сдѣлать попытку найти религіозное утѣшеніе въ какомъ-нибудь новомъ ученіи, имѣющемъ уже своихъ адептовъ въ высшемъ обществѣ и не считающемся зловреднымъ. И, конечно, всего проще было ему примкнуть къ тому модному ученію, восторженной послѣдовательницею котораго была графиня Лидія Ивановна, единственный человѣкъ, принимавшій участіе въ его горѣ. Но это было бы еще понятнѣе и возможнѣе въ томъ случаѣ, если бы Каренинъ хорошо сознавалъ, что его карьера, какъ государственнаго человѣка, кончена, и ему предстоитъ остаться не у дѣлъ. Въ главѣ XXIV-ой (той же V-ой части) Толстой говоритъ, что «почти въ одно и то же время, когда ушла жена отъ Алексѣя Александровича, съ нимъ случилось и самое горькое для служащаго человѣка событіе—прекращеніе восходящаго служебнаго движенія». Но вмѣстѣ съ тѣмъ, Толстой заставляетъ Каренина не сознавать этого и воображать, что, напротивъ, теперь, болѣе чѣмъ когда-либо, онъ нуженъ и его дѣятельность цѣнится еще болѣе прежняго. Въ дѣйствительности же, какъ говоритъ Толстой, онъ уже «былъ человѣкомъ, который весь вышелъ, и отъ котораго ничего болѣе не ждутъ». Находясь въ

такомъ—странномъ для опытнаго и искушеннаго въ дѣлахъ и служебныхъ отношеніяхъ сановника — заблужденіи, впрочемъ, отчасти объясняемомъ общимъ упадкомъ его душевныхъ силъ, Каренинъ принимается за писаніе многочисленныхъ докладныхъ записокъ «по всѣмъ отраслямъ управленія». Онъ придаетъ этому занятію огромное значеніе, и, если это такъ, то мы ожидали бы, что онъ скорѣе здѣсь, чѣмъ въ мистицизмѣ, найдетъ искомое утѣшеніе и прибѣжище. «Алексѣй Александровичъ (читаемъ въ той же главѣ XXIV-й) не только не замѣчалъ своего безнадежнаго положенія въ служебномъ мірѣ и не только не огорчался имъ, но больше, чѣмъ когда-нибудь, былъ доволенъ своей дѣятельностью». Если примемъ это, то обращеніе Каренина къ мистицизму представится намъ излишнимъ, психологически ненужнымъ. Передъ нами два исхода, изъ которыхъ одинъ, скажемъ, не исключаетъ другого, но дѣлаетъ его ненужнымъ, подрываетъ его значеніе. Мы затрудняемся отдать предпочтеніе одному передъ другимъ: каждый изъ нихъ (принимая въ соображеніе натуру Каренина, насколько мы ее понимаемъ) представляетъ свои неудобства, на которыя мы и указали выше.

Творчество Толстого, какъ это достаточно извѣстно, рѣзко отмѣчено (даже въ сравненіи съ творчествомъ другихъ нашихъ великихъ художниковъ) глубиною и ясностью психологическаго изслѣдованія натуръ и характеровъ. Но въ этомъ отношеніи образъ Каренина представляется исключеніемъ. Онъ вызываетъ сомнѣнія и недоразумѣнія.

Задуманный типъ русскаго государственнаго человѣка не удался Толстому: натура и весь духовный складъ бюрократа настолько чужды Толстому, что онъ не могъ иначе отнестись къ нимъ, какъ сатирически. Но нашъ великій художникъ — по существу своего генія—не сатирикъ,—и изъ Каренина не вышелъ настоящій сатирическій образъ. Этому противорѣчило также и столь характерное для Толстого, какъ художника, стремленіе въ создаваемомъ образѣ найти, пожалѣть и полюбить человѣка. И вотъ онъ открываетъ въ Каренинѣ цѣлое сокровище высокихъ душевныхъ задатковъ и заставляетъ его проявлять чувства столь чистыя, столь самоотверженныя и прекрасныя, къ какимъ, повидимому, неспособно никакое другое лицо романа. И при всемъ томъ и самъ художникъ, и мы, вслѣдъ за нимъ, остаемся холодны къ Каренину. И онъ, и мы только дѣлаемъ безплодныя усилія пожалѣть, полюбить, оцѣнить его.

Искусство ищетъ человѣка. И если въ построеніи Каренина есть элементы художественности, то они заключены здѣсь именно въ этомъ исканіи человѣка въ Каренинѣ. Читая романъ, мы чувствуемъ, что тутъ происходятъ эти поиски, но задача художника не только искать человѣка, но и найти его. Въ образѣ Каренина человѣкъ художественно не найденъ.

ГЛАВА XI.

Душевная драма Левина и переходъ Толстого отъ „наблюдательнаго" творчества къ „экспериментальному".

I.

Левинымъ завершается рядъ субъективныхъ въ тѣсномъ смыслѣ, «автобіографическихъ» образовъ, созданныхъ Толстымъ въ теченіе его художественной дѣятельности отъ начала 50-хъ годовъ до половины 70-хъ, отъ «Дѣтства» до послѣднихъ главъ «Анны Карениной».

Въ этихъ главахъ, описывающихъ душевный кризисъ, пережитый Левинымъ, мы имѣемъ родъ авторской исповѣди, въ которой отмѣченъ весьма важный моментъ въ умственной и моральной жизни Толстого. Его послѣдующая дѣятельность выяснила значеніе этого момента, и въ ея свѣтѣ фигура Левина получаетъ особое значеніе, какого иначе она не имѣла бы.

Присмотримся нѣсколько ближе къ этому лицу, какимъ оно является въ послѣднихъ главахъ романа, и постараемся уяснить себѣ характеръ душевнаго кризиса, о которомъ здѣсь идетъ дѣло. Левинъ, какъ извѣстно,—человѣкъ особенный, не подводимый ни подъ какой шаблонъ, — человѣкъ съ оригинальнымъ складомъ ума, ищущій своего пути въ жизни и стремящійся выработать цѣльное, законченное міросозерцаніе, которое давало бы ему отвѣты на такъ-называемые «проклятые вопросы» и въ то же время служило бы ему нравственнымъ руководительствомъ въ жизни.

Левинъ-Толстой принадлежитъ къ числу тѣхъ, довольно-рѣдкихъ натуръ, которыя отмѣчены призваніемъ къ моральному творчеству. Натуры этого рода характеризуются между прочимъ тѣмъ, что для нихъ интересы теоретической мысли отступаютъ на второй планъ, и такъ-называемая «истина», научная и

философская, утрачиваютъ свою самоцѣнность. На первый планъ выдвигается у нихъ «истина» моральная, опредѣленія которой они ищутъ. Они ищутъ также и другого, безъ чего — въ ихъ глазахъ—моральная истина, какъ бы сама по себѣ она ни была высока и ни казалась убѣдительною и самодовлѣющею, не имѣетъ достаточно силы и власти надъ умами и сердцами людей. Это другое — религіозная санкція. Левинъ — натура не только моральная, съ ясно-выраженнымъ стремленіемъ къ моральному творчеству, но и религіозная, испытывающая настоятельную душевную потребность—вѣровать и исповѣдовать.—

Онъ, повидимому, живо интересуется философскими вопросами и хорошо знакомъ съ философскою литературою.—«Для чего онъ цѣлый годъ все читаетъ философіи какія-то?»—думала Кити (часть VIII, гл. VII).—Онъ «перечиталъ и вновь прочелъ и Платона, и Спинозу, и Канта, и Шеллинга, и Гегеля, и Шопенгауера, тѣхъ философовъ, которые не матеріалистически объясняли жизнь» (ч. VIII, гл. IX). Знаетъ онъ и тѣхъ, которые «объясняли жизнь матеріалистически». Знакомы ему также и богословскія сочиненія Хомякова (гл. IX)...Но вся эта эрудиція, столь рѣдкая въ томъ кругу, къ которому принадлежитъ Левинъ, является для него почти ненужнымъ балластомъ,—и онъ даже спѣшитъ выбросить его за бортъ своей душевной жизни... Очевидно, Левинъ, по складу ума, совсѣмъ не «философъ», не мыслитель въ современномъ значеніи этого слова. Но это не значитъ, что онъ не въ силахъ понять Канта или Гегеля. Онъ понимаетъ ихъ, повидимому, съ достаточною ясностью. Онъ только разочаровался въ философіи, какъ и въ наукѣ: ему стало ясно, что на его вопросы философія и наука не дадутъ отвѣтовъ, что это—совсѣмъ не та инстанція, къ которой слѣдуетъ ему обратиться въ его моральныхъ запросахъ и религіозныхъ исканіяхъ...

Съ другой стороны, онъ не принадлежитъ и къ тѣмъ религіознымъ натурамъ, которыя ищутъ знаменій и чудесъ. Онъ также—не мистикъ, а равно нѣтъ въ немъ ничего узко-сектантскаго,—и въ религіозной исторіи человѣчества его интересуетъ не обрядовая сторона, даже не вопросы вѣроисповѣдные, а—то вѣчное, незыблемое, абсолютное, которое онъ усматриваетъ въ самомъ фактѣ—религіозности человѣчества и въ категорическомъ императивѣ совѣсти. Онъ—изъ числа тѣхъ религіозныхъ натуръ, которыя, не ища знаменій и чудесъ, ищутъ абсолютной, всече-

ловѣческой религіозной догмы, какъ аксіомы, не нуждающейся ни въ какомъ оправданіи, стоящей неизмѣримо выше всякой философіи, всякой науки. Поэтому, ему антипатиченъ недогматическій характеръ науки, ему, такъ сказать, не по нраву относительность и ограниченность научнаго знанія и разноголосица философскихъ системъ. Онъ, кажется, угадалъ и то, что сама философія давно уже идетъ въ направленіи критицизма и—вслѣдъ за Кантомъ—вступаетъ въ новую эпоху—философской критики и психологическаго изслѣдованія своего собственнаго орудія—разума человѣческаго. Великій гносеологическій вопросъ «что̀ есть истина?», ничего общаго не имѣющій съ циническимъ вопросомъ Пилата, повидимому, противенъ Левину почти въ той же мѣрѣ, какъ и этотъ послѣдній вопросъ. Левинъ не спрашиваетъ: что есть истина, какъ результатъ познавательной дѣятельности разума? Онъ знаетъ, что эта «истина» относительна и является только продуктомъ работы того же разума, показателемъ достигнутыхъ имъ успѣховъ, симптомомъ даннаго состоянія познавательныхъ силъ мысли человѣческой. Левина не интересуетъ и не привлекаетъ картина многовѣковой дѣятельности разума, плетущаго паутину своей мысли, и ему кажется, что разумъ давно уже запутался въ этой паутинѣ. И онъ ставитъ вопросъ иначе: что̀ гласитъ истина? Ему представляется несомнѣннымъ, что какая-то высшая истина существуетъ объективно,—и вотъ только нужно узнать, что̀ именно гласитъ она. Вопросъ и его постановка—совсѣмъ не научныя и даже—при современномъ состояніи мысли—не философскія. Это не вопросъ теоретическаго знанія, это вопросъ (употребляя терминъ Канта) «практическаго разума» или (употребляя выраженіе Левина)—вопросъ «жизни».

И, по своему, Левинъ правъ: вѣдь мораль въ ея statu quo и ея творчествѣ, а равно и поиски религіозной санкціи, это—вопросъ и дѣло жизни, а не «чистаго разума».—Только напрасно Левинъ такъ легко и пренебрежительно относится къ «чистому разуму», который, правда, на «проклятые вопросы» не отвѣчаетъ, но всетаки даетъ нѣкоторыя указанія, какъ слѣдовало бы ставить ихъ, при какой постановкѣ, при какомъ освѣщеніи они могли бы занять свое мѣсто въ ряду великихъ проблеммъ эпохи, столь важнымъ отличіемъ которой служатъ подвиги научной мысли, успѣхи техники, разитіе философской критики.

II.

Левинъ ищетъ откровеній абсолютной истины и требуетъ прямыхъ отвѣтовъ на «проклятые вопросы», въ ряду которыхъ важнѣе всѣхъ другихъ представляется ему вопросъ о жизни и смерти. Это для него основной вопросъ, въ которомъ скрыты корни моральнаго и религіознаго сознанія.—Года два или три послѣ окончанія «Анны Карениной» Толстой въ набросѣ «Первыя воспоминанія» (1878 г., «изъ неизданныхъ автобіографическихъ замѣтокъ») указываетъ на скудость того, что̀ сохранилось въ его памяти отъ первыхъ лѣтъ его жизни. Описавъ два «впечатлѣнія», онъ говоритъ: «Странно [1]) и страшно [1]) подумать, что отъ рожденія моего и до трехъ лѣтъ, въ то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли отъ груди, когда я сталъ ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искалъ въ своей памяти, я не могу найти ни однихъ впечатлѣній, кромѣ этихъ двухъ. Когда же я начался? Когда я началъ жить [1])? И почему мнѣ радостно представлять себя тогда, а бывало страшно, какъ и теперь страшно многимъ, представлять себя тогда, когда я опять вступлю въ то состояніе смерти, отъ котораго не будетъ воспоминаній, выразимыхъ словами? [1]) Развѣ я не жилъ тогда, когда учился смотрѣть, слушать, понимать, говорить, когда спалъ, сосалъ грудь и цѣловалъ грудь и смѣялся и радовалъ мою мать? Я жилъ и блаженно жилъ. Развѣ не тогда я пріобрѣталъ все то, чѣмъ я теперь живу, и пріобрѣталъ такъ много, такъ быстро, что во всю остальную жизнь я не пріобрѣлъ и одной сотой того? Отъ пятилѣтняго ребенка до меня только шагъ. Отъ новорожденнаго до пятилѣтняго страшное разстояніе. Отъ зародыша до новорожденнаго—пучина.. А отъ несуществованія до зародыша отдѣляетъ уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство, и время, и причина суть формы мышленія, и что сущность жизни внѣ этихъ формъ, но вся жизнь наша есть большее и большее подчиненіе себя этимъ формамъ и потомъ опять освобожденіе отъ нихъ.» [2]) («Сочиненія

---

[1]) Курсивъ мой.

графа Л. Н. Толстого». Москва. 1895 г. Дополненіе къ XII части, стр. 4—5.)—Эти строки въ высокой степени любопытны: въ нихъ ярко отразилась столь характерная для натуръ религіозныхъ и моральныхъ духовная жажда—познать тайну жизни и тайну смерти. Этою жаждою и былъ томимъ Левинъ-Толстой въ разсматриваемый періодъ, и здѣсь, въ маломъ масштабѣ, повторилось то, что въ огромномъ всемірно-историческомъ масштабѣ обнаруживается во всей религіозной жизни и моральной страдѣ человѣчества: мораль, дѣло жизни по преимуществу, именно жизни соціальной и человѣческой, приводила къ метафизической «тайнѣ жизни» и на этомъ пути встрѣчалась съ религіей, которая, въ качествѣ ученія о «тайнѣ смерти», должна была давать верховную санкцію моральному дѣлу жизни... Переживая это и упрочиваясь на этой точкѣ духовнаго зрѣнія, Левинъ-Толстой является человѣкомъ прошлаго, хотя, можетъ быть, очень и очень передовымъ, но не человѣкомъ будущаго, не піонеромъ той грядущей морали, которую провидѣлъ геніальный Гюйо, когда развивалъ свою глубокую мысль о «морали безъ санкціи и обязательности» (morale sans sanction ni obligation),..

Ища санкціи, Левинъ переживалъ мучительную душевную драму. Въ главѣ VIII-ой мы узнаемъ, что «онъ ужаснулся не столько смерти, сколько жизни безъ малѣйшаго знанія о томъ, откуда, для чего, зачѣмъ и что онъ такое [1])...»—Не возражайте ему, что вѣдь это вопросы біологіи, психологіи, этики, наконецъ исторіи и соціологіи. Онъ отвѣтитъ вамъ, что въ этихъ наукахъ и ихъ философіи это вопросы мысли, а не жизни.—Разумъ изслѣдуетъ и терпѣливо ждетъ результатовъ изслѣдованій, не предрѣшая отвѣтовъ на поставленные вопросы, и охотно пріемлетъ какой-угодно отвѣтъ, хотя бы отрицательный и безотрадный, лишь бы онъ былъ научно доказанъ и философски обоснованъ. «Жизнь» не ждетъ и требуетъ отвѣта сейчасъ, и при томъ—отвѣта благопріятнаго, утѣшительнаго. Въ противномъ случаѣ, т. е. когда отвѣта нѣтъ, или онъ безотраденъ, «жизнь» впадаетъ въ уныніе и омрачается призракомъ смерти.—Вотъ послушаемъ дальше, что говоритъ Толстой о Левинѣ: «Организмъ, разрушеніе его, неистребимость матеріи, законъ сохраненія силы, развитіе—были тѣ слова, которыя за-

---

[1]) Курсивъ мой.

мѣнили ему прежнюю вѣру. Слова эти и связанныя съ ними понятія были очень хороши для умственныхъ цѣлей; но для жизни они ничего не давали [1]), и Левинъ вдругъ почувствовалъ себя въ положеніи человѣка, который промѣнялъ бы теплую шубу на кисейную одежду и который въ первый разъ на морозѣ несомнѣнно, не разсужденіями, а всѣмъ существомъ своимъ убѣдился бы, что онъ все равно что голый, и что онъ неминуемо долженъ мучительно погибнуть». (Ч. VIII, гл. VIII).—Мало того: онъ уже склоненъ отрицать свои прежнія «убѣжденія»—какъ нѣчто такое, что не только не даетъ истиннаго знанія, но и мѣшаетъ добиваться его. «Онъ смутно чувствовалъ, что то, что онъ называлъ своими убѣжденіями, было не только незнаніе, но что это былъ такой складъ мысли, при которомъ невозможно было знаніе того, что ему нужно было» [1]) (гл. VIII).—

И ему нѣтъ другого выхода, какъ отказаться отъ этого «склада мысли» и искать другого источника «знанія». Первое дается ему легко, потому-что такъ называемое «научное міросозерцаніе», несмотря на большую начитанность и незаурядную вдумчивость, не имѣло прочныхъ корней въ его умѣ, частью въ силу природныхъ свойствъ его ума, частью по недостатку раціональной научно-философской культуры мысли. Такъ или иначе, но научное міросозерцаніе не отвѣчало требованіямъ его мысли и было безсильно успокоить тревогу его совѣсти.—Гораздо труднѣе было другое: найти иной источникъ «знанія», которымъ могла быть только религія. Наука и философія не дали ему искомыхъ отвѣтовъ, но они нарушили непосредственность и наивность религіознаго чувства. Вернуться къ религіозности, вновь увѣровать, добиться той непоколебимой убѣжденности, какая свойственна натурамъ непосредственнымъ,—это задача, тѣмъ болѣе трудная для Левина, что онъ, по складу ума и по натурѣ, совсѣмъ не мистикъ, какъ и Толстой. Онъ—натура религіозная, но не мистическая, и ему приходится добиваться вѣры труднымъ путемъ сомнѣній, исканій, размышленія, изученія. Онъ это и дѣлаетъ,—и Толстой довольно обстоятельно описываетъ намъ весь этотъ процессъ и всю его мучительность. «Онъ (Левинъ) былъ въ мучительномъ разладѣ съ самимъ собою и напрягалъ всѣ душевныя силы, чтобы выйти изъ него» (гл. VIII).—

---

[1]) Курсивъ мой.

Разочаровавшись въ философіи, а потомъ и въ богословской системѣ Хомякова, онъ «былъ не свой человѣкъ и пережилъ ужасныя минуты» (гл. IX). Въ такія минуты жизнь казалась ему ничтожною, даже—зломъ, которое можетъ быть устранено только—смертью.—«Безъ знанія того, что я такое и зачѣмъ я здѣсь,—нельзя жить. А знать я этого не могу, слѣдовательно нельзя жить, говорилъ себѣ Левинъ» (гл. IX). Онъ былъ близокъ къ отчаянію и даже къ самоубійству (IX). —

Можно пожалѣть, что Толстой не далъ себѣ труда художественно воспроизвести эту душевную драму Левина. Онъ только говоритъ о ней, излагаетъ ходъ мыслей Левина, указываетъ на угнетенное и тревожное состояніе его духа,—и мы читаемъ соотвѣтственныя страницы безъ того захватывающаго интереса, который обычно вызывается въ насъ художественнымъ мастерствомъ и психологическимъ анализомъ Толстого. Мы остаемся холодны и равнодушны ко всѣмъ мученіямъ и исканіямъ Левина. Его душевная—религіозная—драма привлекаетъ къ себѣ наше вниманіе только какъ отзвукъ той, которую пережилъ самъ Толстой на поворотѣ своей дѣятельности. Съ этой стороны, и только съ этой, получаетъ интересъ то, что разсказано въ главахъ X-ой и XI-ой. Здѣсь Левинъ находитъ наконецъ выходъ изъ душевнаго кризиса. Его осѣнила такая мысль: я—невѣрующій, но живу и поступаю такъ, какъ будто я—вѣрующій, во мнѣ говоритъ и направляетъ мою волю какой-то внутренній голосъ, безошибочно опредѣляющій, что хорошо и что дурно. Наблюденія надъ другими показываютъ, что и у нихъ есть тотъже «императивъ», и что выведенный наукою законъ борьбы за существованіе вовсе не такъ всемогущъ, какъ кажется,—сплошь и рядомъ человѣкъ подчиняется не ему, а инымъ побужденіямъ или велѣніямъ, которыхъ наука объяснить не можетъ. Итакъ, повидимому, въ человѣкѣ есть (человѣку имманентно, говоря философскимъ языкомъ) то самое, что Левинъ добивается постичь разумомъ.—«Когда Левинъ думалъ о томъ, что онъ такое, и для чего онъ живетъ, онъ не находилъ отвѣта и приходилъ въ отчаяніе; но когда онъ переставалъ спрашивать себя объ этомъ, онъ какъ-будто зналъ,—и что онъ такое, и для чего онъ живетъ, потому-что твердо и опредѣленно дѣйствовалъ и жилъ [1])...» (гл. X). Это иллюстрируется

[1]) Курсивъ мой.

рядомъ, какъ мнѣ кажется, неубѣдительныхъ примѣровъ въ родѣ напр. слѣдующихъ: «Онъ зналъ, что нанимать рабочихъ надо было какъ можно дешевле; но брать въ кабалу ихъ, давая впередъ деньги, дешевле, чѣмъ они стоятъ, не надо было, хотя это и было очень выгодно. Продавать въ безкормицу мужикамъ солому можно было, хотя и жалко было ихъ; но постоялый дворъ и питейный, хотя они и доставляли доходъ, надо было уничтожить... Петру, платившему ростовщику 10 процентовъ въ мѣсяцъ, нужно было дать взаймы, чтобы выкупить его; но нельзя было спустить и отсрочить оброкъ мужикамъ неплательщикамъ...» и т. д.

Изъ такихъ примѣровъ выводится не то, что изъ нихъ слѣдуетъ. Слѣдуетъ же изъ нихъ только то, что Левинъ—хорошій человѣкъ и отличный хозяинъ, что онъ свои выгоды соблюдаетъ, но не прижимистъ, не кулакъ, не эксплуататоръ... Но Левинъ выводитъ гораздо больше: «Разсужденія приводили его въ сомнѣнія и мѣшали ему видѣть, что должно и что не должно. Когда же онъ не думалъ, а жилъ, онъ не переставая чувствовалъ въ душѣ своей присутствіе непогрѣшимаго судьи, рѣшавшаго, который изъ двухъ возможныхъ поступковъ лучше и который хуже; и, какъ-только онъ поступалъ не такъ, какъ надо, онъ тотчасъ же чувствовалъ это» (X).

И вотъ когда онъ однажды услышалъ аналогичное сужденіе мужика Ѳедора,—сомнѣнія разсѣялись окончательно. Этотъ Ѳедоръ говоритъ объ одномъ мужикѣ, что онъ—«правдивый старикъ,—для души живетъ,—Бога помнитъ» (въ то время какъ другой «только для нужды своей живетъ, только брюхо набиваетъ»).—«Какъ Бога помнитъ? Какъ для души живетъ?—почти вскрикнулъ Левинъ.—Извѣстно, какъ, по правдѣ, по Божью. Вѣдь люди разные. Вотъ хоть васъ взять, тоже не обидите человѣка...»—Эти простыя слова имѣли для Левина рѣшающее значеніе. «Да, да, прощай!—проговорилъ онъ, задыхаясь отъ волненія... При словахъ мужика о томъ, что Ѳоканычъ живетъ для души, по правдѣ, по Божью, неясныя, но значительныя мысли толпою какъ-будто вырвались откуда-то изъ-заперти и, всѣ стремясь къ одной цѣли, закружились въ его головѣ, ослѣпляя его своимъ свѣтомъ» (гл. XI).—

Въ слѣдующей главѣ XII-ой разсказано, какія это были мысли, и какою логическою цѣпью привели онѣ Левина къ выходу изъ душевнаго кризиса.—«Слова, сказанныя мужикомъ,

произвели въ его душѣ дѣйствіе электрической искры, вдругъ преобразившей и сплотившей въ одно цѣлый рой разрозненныхъ, безсильныхъ отдѣльныхъ мыслей, никогда не перестававшихъ занимать его...»—

Дѣйствіе этой «электрической искры» выразилось ярче всего въ слѣдующемъ: «Ѳедоръ говоритъ, что Кирилловъ—дворникъ живетъ для брюха. Это понятно и разумно. Мы всѣ, какъ разумныя существа, не можемъ иначе жить, какъ для брюха. И вдругъ тотъ-же Ѳедоръ говоритъ, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога, и я съ намека понимаю его!..»

Это разсужденіе поражаетъ своей несостоятельностью... Мы здѣсь не полемизируемъ съ Левинымъ, но всетаки позволимъ себѣ указать на слѣдующее. Законъ борьбы за существованіе выведенъ разумомъ, научною дѣятельностью мысли, но самый фактъ этой борьбы—не продуктъ разума и всего менѣе можетъ быть назвать «разумнымъ», какъ и животный эгоизмъ. Это явленія именно «неразумныя», ирраціональныя и, несомнѣнно, предшествовали появленію на земномъ шарѣ самыхъ раннихъ проблесковъ разума человѣческаго. Этическія нормы, издревле ограничивавшія или смягчавшія борьбу за существованіе и различныя проявленія животнаго эгоизма, возникли также изъ ирраціональныхъ началъ (между прочимъ, изъ явленій симбіоза), но развивались при несомнѣнномъ участьи разума... Но вернемся къ Левину.

«Я ничего не открылъ»—размышляетъ онъ—«я только узналъ то, что я знаю. Я понялъ ту силу, которая не въ одномъ прошедшемъ—дала мнѣ жизнь, но теперь даетъ мнѣ жизнь. Я освободился отъ обмана, я узналъ хозяина» (гл. XII).

Радостное чувство наполнило его душу, и, предаваясь ему, продолжая размышлять на ту же тему, онъ «логически» приходитъ къ выводу, гласящему такъ: «Разумъ открылъ борьбу за существованіе, и законъ, требующій того, чтобы душить всѣхъ, мѣшающихъ удовлетворенію моихъ желаній. Это выводъ разума. А любить другого не могъ открыть разумъ, потому что это не разумно»...

Дальнѣйшій ходъ разсужденія приводитъ его, въ главѣ XIII-ой, къ заключенію: «да, то, что я знаю, я знаю не разумомъ, а это дано мнѣ, открыто мнѣ, и я знаю это сердцемъ, вѣрою въ то главное, что исповѣдуетъ церковь».

Такъ Левинъ, натура религіозная по самому укладу своему, освободился, наконецъ, отъ тяготившихъ его путъ невѣрія или

религіознаго индифферентизма и достигъ того душевнаго подъема, на которомъ для него стало возможнымъ моральное самоопредѣленіе и моральное творчество. Въ религіи нашелъ онъ искомую санкцію.

Кризисъ окончился. Несказанная радость, которую я назвалъ бы мистическою, еслибы въ Левинѣ замѣчались хоть малѣйшіе слѣды мистицизма, охватила и потрясла его.—«Неужели это вѣра?—подумалъ онъ, боясь вѣрить своему счастью. Боже мой, благодарю Тебя!—проговорилъ онъ, проглатывая поднимавшіяся рыданія и вытирая обѣими руками слезы, которыми полны были его глаза» (гл. XIII).

Передъ нимъ открылся новый путь... Куда прійдетъ онъ на этомъ пути?

III.

Мы изучаемъ въ этой книгѣ Толстого только какъ художника. Поэтому, поставленный нами вопросъ, въ примѣненіи къ Толстому, долженъ быть формулированъ такъ: какъ преобразовалось художественное творчество Толстого на томъ новомъ пути моральнаго творчества и религіозныхъ исканій, на который онъ выступилъ въ второй половинѣ 70-хъ годовъ?

Нашъ отвѣтъ гласитъ: его художественное творчество преобразовалось изъ «наблюдательнаго» въ «экспериментальное» [1]).

До тѣхъ поръ Толстой былъ по преимуществу художникъ—наблюдатель. Примѣсь того, что я называю «экспе-

---

[1]) Эти два понятія (творчество наблюдательное и творчество экспериментальное) я старался установить въ статьѣ о Чеховѣ («Вопросы психологіи творчества»), въ книжкѣ о Гоголѣ и въ статьѣ о наблюдательномъ и экспериментальномъ методѣ въ искусствѣ («Вѣстн. воспитанія», 1903 г.).—Недавно А. Г. Горнфельдъ (въ статьѣ «Экспериментальное искусство», «Русс. богатство» 1904, № 7) подвергъ мою теорію обстоятельной критикѣ и пришелъ къ отрицательному выводу, въ силу котораго предложенное мною понятіе «эксперимента» въ искусствѣ представляется несостоятельнымъ. Сходясь съ А. Г. Горнфельдомъ почти по всѣмъ важнѣйшимъ вопросамъ искусства, я однако на этотъ разъ принципіально расхожусь съ моимъ глубокоуважаемымъ и даровитымъ оппонентомъ. Предложенное имъ понятіе «стилизаціи» я считаю непригоднымъ и упорствую на своемъ понятіи «эксперимента». Возраженіе на статью А. Г. Горнфельда я надѣюсь представить вскорѣ вниманію читателей, интересующихся вопросами теоріи искусства.

риментомъ» въ искусствѣ, была сведена у него къ почти ничтожному минимуму. Большинство созданныхъ имъ характеровъ, типовъ, картинъ рисуетъ жизнь въ ея разнообразіи, въ ея разносторонности, ея полнотѣ. Мы не видимъ здѣсь того нарочитаго подбора извѣстныхъ чертъ и того особаго освѣщенія, въ силу которыхъ получается одностороннее, рѣзкое, неполное воспроизведеніе жизни, усиливающее ея краски, выдѣляющее то, что въ дѣйствительности не выдѣляется или же выдѣляется лишь въ рѣдкихъ случаяхъ.

Главныя орудія эксперимента въ искуствѣ это—юморъ, смѣхъ, сарказмъ, слезы, скорбь, мучительное реагированіе на пошлую сторону жизни, негодованіе. Излишне доказывать, какъ мало всего этого было у Толстого въ первую половину его дѣятельности. Ни въ «Дѣтствѣ», «Отрочествѣ», «Юности» и другихъ раннихъ повѣстяхъ, ни въ великой эпопеѣ «Войны и Мира» нѣтъ ни скорби, ни смѣха, ни негодованія; юморъ и сарказмъ, пожалуй, найдутся кое-гдѣ, но лишь въ незначительныхъ дозахъ; во всякомъ случаѣ они настолько слабы, что не могли преобразовать наблюдательное отношеніе къ дѣйствительности въ экспериментальное. Въ «Аннѣ Карениной» уже больше и юмора (напр. въ изображеніи Облонскаго) и, пожалуй, сарказма (въ изображеніи Каренина, а также въ нѣкоторыхъ, такъ сказать, «выходкахъ» Левина). При всемъ томъ «Анна Каренина» остается произведеніемъ наблюдательнымъ, но можно сказать, что оно, нѣкоторыми сторонами своими, намѣчаетъ переходъ Толстого отъ творчества наблюдательнаго къ экспериментальному.

Но если Толстой такъ долго былъ почти исключительно художникомъ—наблюдателемъ, то это еще не значитъ, что въ его умѣ и дарованіи не было никакихъ задатковъ для творчества экспериментальнаго. Эти задатки, несомнѣнно, были у него, но, такъ сказать, находились въ потенціальномъ состояніи. Это была сила связанная. Ее освободили моральныя и религіозныя стремленія Толстого.

Да припомнитъ читатель то, что было сказано въ первой главѣ этой книги: въ противуположность Тургеневу, Толстой никогда не былъ спокойнымъ созерцателемъ жизни, безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей,—это былъ всегда умъ ищущій и мятущійся... Эта сторона его ума и натуры уже сказалась въ раннихъ повѣстяхъ (въ особенности въ «Юности» и въ «Казакахъ»), что въ своемъ мѣстѣ мы и отмѣтили,—по-

томъ въ «Войнѣ и Мирѣ»—частью исканіями Пьера Безухова, а еще болѣе—созданіемъ оригинальной философіи исторіи и извѣстнаго воззрѣнія на войны и событія Наполеоновской эпохи, наконецъ—въ «Аннѣ Карениной»—фигурою Левина и общимъ моральнымъ (даже морализирующимъ) направленіемъ романа. Въ теченіе всей этой эпохи, отъ начала 50-хъ годовъ до половины 70-хъ, мы наблюдаемъ у Толстого крайне любопытное сочетаніе внутренней тревоги съ художническимъ—истинно—эпическимъ—спокойствіемъ. Для психолога здѣсь открывается заманчивая проблемма, изучать которую теперь мы не беремся. Я ограничиваюсь указаніемъ на фактъ: какъ натура, умъ и моральная личность, Толстой никогда не былъ безстрастнымъ наблюдателемъ людей и вещей, спокойнымъ созерцателемъ жизни; но какъ художникъ, онъ отличается необыкновенною уравновѣшенностью и почти всегда находитъ для своихъ тревожныхъ наблюденій и страстныхъ исканій эпически—спокойную форму художественнаго выраженія. И въ своихъ, какъ субъективныхъ, такъ и объективныхъ образахъ и картинахъ онъ остается художникомъ—наблюдателемъ (а не экспериментаторомъ) въ теченіе всей первой половины своей литературной дѣятельности,—пока, наконецъ, великая тревога его души не приняла такихъ размѣровъ и формъ, которые уже не мирились съ пріемами наблюдательнаго искусства и требовали иныхъ.

Переживъ кризисъ возвращенія отъ невѣрія къ вѣрѣ, описанный въ послѣднихъ главахъ «Анны Карениной», Толстой не могъ, конечно, на этомъ остановиться и успокоиться. Онъ продолжаетъ напряженно искать, размышлять, изучать,—обращается даже къ первоисточникамъ (еврейскій текстъ Библіи, греческій—Евангелія), знакомится съ религіозными ученіями востока (буддизмъ и др.) и наконецъ вырабатываетъ свое собственное вѣроученіе и свою догму морали.

Отнынѣ онъ—уже не только художникъ и моралистъ, онъ также — проповѣдникъ, обращающійся «съ горячимъ словомъ убѣжденья» ко всему человѣчеству и глубоко вѣрящій въ настоятельность и спасительность своей проповѣди, своего ученія о любви къ ближнему, о воздержаніи, о непротивленіи злу и т. д. Онъ выступаетъ сперва съ исповѣдью, кается въ своихъ «грѣхахъ», осуждаетъ свою прежнюю жизнь и дѣятельность, потомъ пишетъ рядъ трактатовъ и статей на религіозныя и мо-

ральныя темы и вмѣстѣ съ тѣмъ вновь обращается къ художественному творчеству, которое теперь не будетъ, да и не можетъ быть наблюдательнымъ. Съ психологическою необходимостью оно станетъ экспериментальнымъ: явленія жизни будутъ даны здѣсь въ особомъ освѣщеніи, какое нужно для того, чтобы художественное произведеніе стало проповѣдью новыхъ идей Толстого.

И на этотъ разъ мы опять стоимъ передъ психологическою проблеммою, аналогичною той, на которую мы указали выше. Но только тамъ тревога исканій сочеталась съ художническимъ спокойствіемъ изображенія, а здѣсь, наоборотъ, спокойствіе и ясность духа, достигнутыя Толстымъ, когда онъ рѣшилъ для себя всѣ волновавшіе его вопросы религіознаго и нравственнаго порядка, сочетаются съ порывистою и страстною манерою художественнаго письма. Въ «Смерти Ивана Ильича», въ «Крейцеровой сонатѣ» нѣтъ уже былой уравновѣшенности эпически—спокойнаго художника, нѣтъ прежней обстоятельности изображенія и полноты психологическаго анализа. Толстой здѣсь уже не Гомеръ и Шекспиръ, онъ—обличитель, аскетъ, проповѣдникъ, и страстнымъ призывомъ, гнѣвомъ, сарказмомъ, негодованіемъ, презрѣніемъ, ужасомъ передъ бездною зла и нравственной тьмы полны эти яркіе, эти сильные, потрясающіе «эксперименты», озаглавленные «Власть тьмы», «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова Соната», «Воскресеніе».

Здѣсь проповѣдникъ евангельской любви является художникомъ весьма далекимъ отъ снисхожденія къ человѣческимъ слабостямъ. Онъ нетерпимъ, неумолимъ, безпощаденъ. Онъ изрекаетъ грозный, безжалостный приговоръ всей цивилизаціи со всѣми ея неправдами, всей нашей бѣдной, грѣховной природѣ человѣческой, всей нашей жизни съ ея условностями, пустотой и пустяками.

Самыя, если позволено такъ выразиться, «свирѣпыя» произведенія Толстого въ этомъ родѣ - это, конечно, «Смерть Ивана Ильича» и «Крейцерова Соната». Ими ярко отмѣченъ аскетическій фазисъ въ развитіи морали Толстого и въ его художественныхъ опытахъ, руководимыхъ догмою этой морали. Послѣ «Крейцеровой Сонаты», около половины 90-хъ годовъ, замѣчается нѣкоторое смягченіе суроваго аскетизма, проповѣдуемаго Толстымъ, и занимавшія тогда Толстого идеи «непротивленія» и «недѣланія», какъ будто, приводили къ нѣкоторой умѣренности

отрицанія, къ нѣкоторой терпимости. Разсказъ «Хозяинъ и работникъ» былъ выраженіемъ этого настроенія художника-моралиста. Вскорѣ послѣ того «моральное» отрицаніе Толстого получаетъ нѣсколько иную, болѣе раціональную постановку, что и отразилось въ «Воскресеніи», гдѣ въ то же время подведены итоги той (выражаясь современнымъ терминомъ) «переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей», которую предпринялъ Толстой послѣ «Анны Карениной».

ГЛАВА XII.

Краткій обзоръ важнѣйшихъ художественныхъ экспериментовъ Толстого.

I.

Минуя нравоучительныя сказки и легенды («Чѣмъ люди живы», «Гдѣ любовь, тамъ и Богъ» и др.), имѣющія несомнѣнную художественную цѣнность, но все-таки занимающія въ творчествѣ Толстого второстепенное мѣсто, обратимся къ разсмотрѣнію важнѣйшихъ его произведеній, въ которыхъ мы съ поразительною ясностью видимъ, какъ окрасилась и какъ омрачилась картина жизни человѣческой, — лишь только художникъ подошелъ къ ней съ мѣриломъ евангельскаго идеала и суровымъ критеріемъ аскетической морали.

Начнемъ съ «Власти тьмы». Не лишено значенія то, что сюжетъ драмы взятъ изъ народной жизни, а также и то, что онъ представляетъ собою, такъ сказать, случай изъ уголовной хроники. Какъ извѣстно, новая религіозно-нравственная точка зрѣнія, съ которой Толстой сталъ смотрѣть на Божій міръ, была установлена имъ не только путемъ книжнымъ, т. е. изученіемъ Евангелія, буддизма и т. д., но и путемъ живого общенія съ народомъ, близкаго ознакомленія съ крестьянскимъ міровоззрѣніемъ вообще, сектантскимъ въ частности. Мужикъ, т. е. крестьянинъ-земледѣлецъ, всегда представлялся Толстому какъ-бы прирожденнымъ носителемъ «истины», если и не чисто-евангельской, то близкой къ ней. Вспомнимъ Каратаева. «Обращенію» Левина, какъ мы знаемъ, былъ данъ рѣшительный толчекъ простодушными словами мужика Ѳедора. Кромѣ того, какъ оказывается, для Левина имѣетъ огромное значеніе тотъ фактъ, что «вѣритъ» «девяносто девять сотыхъ русскаго народа,—весь тотъ народъ, жизнь котораго внушала ему наибольшее уваженіе...» («Анна

Каренина», ч. VIII, гл. VIII).—Этотъ какъ бы «культъ» народа, народнаго духа и это давнишнее уваженіе, которое внушала Толстому жизнь земледѣльческаго класса, вполнѣ гармонировали съ давнишнимъ отрицательнымъ отношеніемъ Толстого къ городской цивилизаціи, къ искусственной, праздной и ненормальной жизни образованнаго общества.—Съ этой стороны Толстой, какъ художникъ и моралистъ, является своеобразнымъ «народникомъ».

При всемъ томъ онъ всегда былъ далекъ отъ идеализаціи народа и народной жизни. Послѣдовательный реалистъ въ искусствѣ, онъ изображаетъ народные типы и складъ крестьянской жизни такъ, какими они являются въ дѣйствительности. Если его «культъ» крестьянства, какъ земледѣльческаго класса, представляется намъ разновидностью «общественнаго романтизма», то въ его художественныхъ произведеніяхъ изъ народной жизни мы не найдемъ ничего романтическаго, какъ равно и—сентиментальнаго.

Когда онъ перешелъ отъ наблюденія къ эксперименту, это противорѣчіе должно было значительно усилиться. Толстой—проповѣдникъ и моралистъ еще больше возненавидѣлъ городскую жизнь и «ложную» цивилизацію и тѣмъ рѣзче сталъ выставлять на видъ «здоровыя» основы деревенской, крестьянской жизни. Его «общественный романтизмъ» получилъ теперь вполнѣ категорическую форму и опору въ тѣхъ религіозныхъ понятіяхъ, которыя у него сложились въ это время. Но вмѣстѣ съ тѣмъ трезвое, реалистическое, чуждое идеализаціи отношеніе къ мужику и крестьянской жизни обнаружилось въ его художественныхъ экспериментахъ еще отчетливѣе, чѣмъ въ его художественныхъ наблюденіяхъ. Моралистъ-проповѣдникъ, отдающій рѣшительное предпочтеніе деревнѣ передъ городомъ, мужику передъ такъ-называемымъ образованнымъ обществомъ, тѣмъ строже относится къ этому самому мужику, когда видитъ, что онъ тянетъ къ городу и усваиваетъ привычки и пороки «правящихъ классовъ». Но помимо этой «порчи» народная жизнь сама по себѣ, въ ея исконныхъ формахъ, представится въ чертахъ крайне-отрицательныхъ, если мы подойдемъ къ ней съ критеріемъ евангельской любви и аскетической морали. Это и есть точка зрѣнія Толстого,—на этомъ и построенъ весь «опытъ». И въ результатѣ получается картина власти тьмы,—тьмы не въ смыслѣ отсутствія просвѣщенія, школы, книги, а въ смыслѣ моральномъ:

это картина жестокихъ нравовъ, душевнаго извращенія, нравственнаго уродства. Любопытно, что настоящими нравственными уродами, напоминающими Ломброзовскаго «прирожденнаго преступника», являются въ пьесѣ женщины, именно Матрена, Анисья и Акулина. Мущины несравненно выше ихъ въ нравственномъ отношеніи. Не говоря уже объ Акимѣ, представителѣ стародавней крестьянской морали, близкой, по мысли Толстого, къ морали евангельской, — ни Петръ, ни пьяница Митричъ, ни самъ Никита не могутъ быть названы натурами нравственно-извращенными. Никита совершаетъ безнравственныя и преступныя дѣянія, но, какъ извѣстно, онъ грѣшитъ и падаетъ подъ вліяніемъ страстей и по слабости характера, а вовсе не потому, чтобы у него не было нравственныхъ чувствъ и совѣсти. Его, не обинуясь, можно назвать натурой нравственною, но только—изъ числа тѣхъ, у которыхъ слаба задерживающая воля, а аппарать совѣсти устроенъ такъ, что ея голосъ становится внятнымъ человѣку не тогда, когда впервые является соблазнъ, но тогда, когда человѣкъ уже соблазнился и нравственно палъ. Тѣмъ ужаснѣе у такихъ натуръ муки совѣсти, и тѣмъ неизбѣжнѣе для нихъ либо самоубійство, либо покаяніе и жажда кары и искупленія грѣха. Никита — яркій представитель этого психологическаго типа—кающагося грѣшника, истерзаннаго запоздалыми муками совѣсти. Изъ числа женщинъ выдѣляется, какъ типъ положительный, Марина, но для насъ остается не совсѣмъ яснымъ ея нравственный укладъ: что́ она такое, въ самомъ-ли дѣлѣ она—натура съ сильно выраженными нравственными задатками, или просто доброе, незлобивое, безобидное и пассивное существо, какихъ много.

Для Толстого, какъ моралиста, характерно въ этомъ его «опытѣ» то, что пьеса направлена противъ страстей и слабостей человѣческихъ, что въ ней показано, какъ подъ ихъ вліяніемъ извращается нравственное чувство и заглушается голосъ совѣсти. Это—«исторія одного преступленія», воспроизведенная моралистомъ, который подошелъ къ своей задачѣ съ предвзятою мыслью—показать, какъ, въ какой бытовой обстановкѣ, подъ какими вліяніями развивается деморализація, душевное извращеніе и преступность въ современной русской деревнѣ, гдѣ еще держатся кое-какія традиціи добрыхъ нравовъ и еще есть Акимы, въ простотѣ душевной хранящіе и законъ любви къ ближнему, и живое чувство справедливости, жалости и нравственной

отвѣтственности, вмѣстѣ съ наивною, но крѣпкою вѣрою въ Бога, который съ высоты небесъ зорко слѣдитъ за поведеніемъ людей и рано или поздно воздастъ «коемуждо по дѣломъ его».

Во всякомъ міркѣ или уголкѣ человѣческомъ есть своя уголовная хроника, и если мы подойдемъ къ этому уголку или мірку со стороны этой послѣдней, то получимъ картину, напоминающую то, что я называю экспериментомъ въ искусствѣ. Но смыслъ этой картины будетъ весьма различенъ, смотря по тому, на какой точкѣ зрѣнія стоимъ мы сами, съ какими мыслями и цѣлями мы ее разсматриваемъ. Возможны, напр., точки зрѣнія, мысли и цѣли 1) моралиста вообще, 2) моралиста религіознаго и аскета въ частности, 3) психолога, 4) психіатра, 5) криминалиста, 6) соціолога и т. д. и т. д. Если вы стоите на второй изъ указанныхъ точекъ зрѣнія, т. е. если вы адептъ и проповѣдникъ аскетической морали на религіозной почвѣ, то, навѣрное, вы главнымъ образомъ обратите ваше вниманіе и ваше негодованіе на грѣхи и преступленія плоти, на любострастіе, на прелюбодѣяніе, а слѣдовательно—на женщину. «Cherchez la femme», скажите вы,—и обрушитесь съ вашими обвиненіями прежде всего на представительницъ прекраснаго, но коварнаго пола, — какъ это дѣлали аскеты и моралисты всѣхъ временъ. Женщина — исчадье ада и сосудъ всякаго соблазна и зла—это старая, очень старая формула, которую мы найдемъ и въ старой Руси, и въ Индіи, и въ Европѣ среднихъ вѣковъ, и гдѣ угодно. И пора бы уже бросить ее,—пора бы моралистамъ придумать что нибудь поновѣе... Гнету старыхъ формулъ подчиняются даже геніи, когда они начинаютъ «архаизировать». Любопытно, что Толстой, какъ только онъ упрочился на своей религіозно-моральной точкѣ зрѣнія, такъ сейчасъ-же и началъ писать о женщинахъ, о бракѣ, то рекомендуя дамамъ сперва «отрожаться», а потомъ уже учиться и приниматься за разныя дѣла, то совсѣмъ запрещая имъ рожать и проповѣдуя бракъ—фиктивный. Какъ и въ другихъ отношеніяхъ, такъ и въ этомъ, романъ «Анна Каренина» былъ переходною ступенью въ развитіи идей Толстого,—и не даромъ этотъ романъ морализируетъ главнымъ образомъ по вопросу объ адюльтерѣ, и ему предпосланъ эпиграфъ: «Мнѣ отмщеніе, и Азъ воздамъ».—Но тамъ этотъ эпиграфъ не былъ оправданъ: Анна Каренина бросилась подъ поѣздъ не по произволенію Божію, а въ силу слѣпой женской ревности... Эпиграфъ лучше подходилъ бы къ «Власти тьмы», гдѣ жестокія муки совѣсти, переживаемыя

Никитой, его всенародное покаяніе и его жажда искупить свой грѣхъ наказаніемъ, дѣйствительно, могутъ, съ точки зрѣнія религіознаго моралиста, быть поняты и представлены какъ вердиктъ верховнаго нравственнаго закона, исходящій отъ Промысла.

Въ знаменитомъ романѣ моралистъ-аскетъ, такъ сказать, забѣгаетъ впередъ, но великій художникъ-наблюдатель еще не даетъ ему ходу и рисуетъ женщинъ не по вышеуказанной традиціонной формулѣ аскетовъ, а такъ, какъ онѣ являются въ дѣйствительности, съ женскими слабостями и недостатками, но и съ положительными качествами. И сама героиня, Анна Каренина, представлена вовсе не сосудомъ грѣха и соблазна, а, напротивъ, очень хорошею женщиною, все несчастье которой проистекло отъ неудачнаго брака, отъ неудовлетворенной потребности любви. При этомъ отнюдь не подчеркнута чувственная сторона любви. Художникъ относится отрицательно къ нарушенію супружеской вѣрности, но онъ ее мотивируетъ, почти извиняетъ, выдвигая впередъ моральную и поэтическую сторону любви и цѣломудренно заслоняя ея чувственную сторону, хотя онъ и не отрицаетъ ея наличности.

Когда моралистъ-аскетъ взялъ верхъ, и когда, вмѣстѣ съ тѣмъ, художникъ—наблюдатель превратился въ экспериментатора, тогда и женщины явились козлищемъ отпущенія, и чувственная сторона любви выступила на первый планъ. Такъ это во «Власти тьмы»—и вовсе не потому, что сюжетъ взятъ изъ народной жизни, гдѣ чувственности во всякомъ случаѣ не больше, чѣмъ въ высшихъ классахъ общества, а потому только, что художникъ сталъ моралистомъ аскетическаго пошиба.

На этомъ пути онъ вскорѣ пойдетъ еще дальше и дойдетъ до нѣкоторыхъ Геркулесовыхъ столбовъ — въ «Крейцеровой Сонатѣ», гдѣ онъ ополчится противъ — продолженія рода человѣческаго.

Но сперва онъ направитъ свои эксперименты въ другую сторону.

Онъ обратитъ свое негодованіе на совсѣмъ ужъ беззащитнаго передъ аскерической моралью средняго человѣка изъ общества,—того шаблонно-мыслящаго и по заведенному порядку живущаго человѣка, который учится въ гимназіяхъ, университетахъ, лицеяхъ, поступаетъ на службу, грѣшитъ съ модистками и дамами полусвѣта, потомъ женится, плодитъ дѣтей, такихъ же среднихъ и тусклыхъ, какъ и онъ, дѣлаетъ карьеру, ищетъ

протекціи, безконечно — счастливъ, когда получитъ лучшее мѣсто, повышеніе, съ приличнымъ окладомъ и соотвѣтственнымъ чиномъ, а потомъ вдругъ возьметъ, да и умретъ не во-время, не выполнивъ до конца своего предназначенія... И вотъ онъ лежитъ на столѣ, спокойный и строгій мертвецъ, и великая тайна смерти бросаетъ на всю эту жизнь зловѣщій свѣтъ или зловѣщій мракъ,—и художнику-экспериментатору желательно посмотрѣть, какъ озаряется или какъ омрачается эта жалкая и мелкая, въ его глазахъ, жизнь грозною и величавою тайной смерти.

Здѣсь опять—великій вопросъ жизни и смерти, вокругъ котораго вращаются помыслы религіознаго моралиста, тотъ самый вопросъ, съ котораго и началъ нѣкогда Левинъ, когда выступалъ на путь религіозныхъ и моральныхъ исканій..

II.

Чѣмъ собственно провинился Иванъ Ильичъ передъ моралью Толстого? Его грѣхи столь же многочисленны, сколько и «ужасны...» Уже въ юности, «въ правовѣдѣніи онъ былъ тѣмъ, чѣмъ онъ былъ впослѣдствіи, всю свою жизнь: человѣкомъ способнымъ, весело добродушнымъ и общительнымъ, но строго исполняющимъ то, что онъ считалъ своимъ долгомъ; долгомъ же онъ своимъ считалъ все то, что считалось таковымъ наивысше поставленными людьми. Онъ не былъ заискивающимъ ни мальчикомъ, ни потомъ взрослымъ человѣкомъ, но у него съ самыхъ молодыхъ лѣтъ было то, что онъ, какъ муха въ свѣту, тянулся къ наивысше поставленнымъ въ свѣтѣ людямъ, усвоивалъ себѣ ихъ пріемы, ихъ взгляды на жизнь и съ ними устанавливалъ дружескія отношенія [1]). (Глава II). — Потомъ, когда Иванъ Ильичъ служилъ въ провинціи чиновникомъ особыхъ порученій, этотъ «порокъ» принялъ форму подслуживанія начальнику и даже женѣ начальника (гл. II). Впрочемъ, этотъ карьеризмъ не переходилъ границъ общепринятой добропорядочности, какъ и другія прегрѣшенія молодости, въ родѣ того что у Ивана Ильича «была связь съ одной изъ дамъ, навязавшейся щеголеватому правовѣду,—была и модистка, были и попойки съ пріѣзжими флигель-адъютантами, и поѣздка въ дальнюю улицу

[1]) Курсивъ мой.

послѣ ужина...» Но «все это не могло быть называемо дурными словами», ибо «все происходило съ чистыми руками, въ чистыхъ рубашкахъ, съ французскими словами и, главное, въ самомъ высшемъ обществѣ, слѣдовательно, съ одобреніемъ высоко стоящихъ людей» (гл. II).

Виновенъ еще Иванъ Ильичъ въ томъ, что онъ не стоикъ, а эпикуреецъ: его идеалъ—жизнь легкая, приличная и пріятная. Съ этой же точки зрѣнія смотритъ онъ и на семейную жизнь. Бракъ съ Прасковьей Ѳедоровной казался ему вполнѣ отвѣчающимъ его «программѣ».—«Сказать, что Иванъ Ильичъ женился потому, онъ полюбилъ свою невѣсту и нашелъ въ ней сочувствіе своимъ взглядамъ на жизнь, было бы также несправедливо, какъ и сказать то, что онъ женился потому, что люди его общества одобрили эту партію. Иванъ Ильичъ женился по обоимъ соображеніямъ: онъ дѣлалъ пріятное для себя, пріобрѣтая такую жену, и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлалъ то, что наивысше поставленные люди считали правильнымъ. — И Иванъ Ильичъ женился...» (Гл. II).

Виновенъ еще Иванъ Ильичъ въ томъ, что ко всему на свѣтѣ, въ томъ числѣ къ службѣ и даже къ своей семейной жизни, относится какъ-то формально, можно бы сказать—«бюрократически». Такъ, еще въ бытность его чиновникомъ особыхъ порученій и, позже, судебнымъ слѣдователемъ, онъ «очень быстро усвоилъ пріемъ отстраненія отъ себя всѣхъ обстоятельствъ, не касающихся службы, и облеченія всякаго самаго сложнаго дѣла въ такую форму, при которой бы дѣло только внѣшнимъ образомъ отражалось на бумагѣ, и при которой исключалось совершенно его личное воззрѣніе и, главное, соблюдалась бы вся требуемая формальность (гл. II). — Такъ-же точно и въ семейной жизни Иванъ Ильичъ находитъ наиболѣе удобнымъ и приличнымъ держаться той-же системы,—соблюдать всѣ общепринятыя «формальности» семейнаго обихода, не участвуя въ интимной жизни семьи. Онъ въ семьѣ—«чиновникъ». Впрочемъ, онъ сталъ такимъ не сразу, а черезъ годъ послѣ женидьбы, когда обнаружился душевный разладъ между супругами, и Прасковья Ѳедоровна усвоила себѣ «тактику» вѣчныхъ попрековъ, ворчанія и грубыхъ выходокъ. Тогда Иванъ Ильичъ «понялъ, что супружеская жизнь, представляя нѣкоторыя удобства въ жизни, въ сущности есть очень сложное и тяжелое дѣло, по отношенію котораго, для того, чтобы исполнить свой долгъ, т. е. вести при-

личную, одобряемую обществомъ жизнь, нужно выработать опредѣленное отношеніе, какъ и къ службѣ. И такое опредѣленное отношеніе къ супружеской жизни выработалъ себѣ Иванъ Ильичъ. Онъ требовалъ отъ семейной жизни только тѣхъ удобствъ домашняго обѣда, хозяйки, постели, которыя она могла дать ему, и, главное, того приличія внѣшнихъ формъ, которыя опредѣлялись общественнымъ мнѣніемъ». (Гл, II).—Семейная жизнь доставляла ему огорченія и непріятности и противорѣчила его «идеалу легкой, пріятной и приличной жизни». И вотъ онъ душевно отчуждается отъ семьи, признаетъ это отчужденіе — дѣломъ нормальнымъ и даже «цѣлью своей жизни».— «Цѣль его состояла въ томъ, чтобы все больше и больше освобождать себя отъ этихъ непріятностей и придать имъ характеръ безвредности и приличія...» (Гл. II). Онъ достигаетъ этого тѣмъ, что какъ можно меньше проводитъ времени въ семьѣ, и еще тѣмъ, что «обезпечиваетъ свое положеніе присутствіемъ постороннихъ лицъ».—Непріютно, холодно и пусто въ его семьѣ,—и онъ ищетъ себѣ «душевнаго пристанища» на службѣ, въ своей общественной дѣятельности. Въ немъ все больше развивается честолюбіе... Но и здѣсь онъ оказывается столь-же несостоятельнымъ какъ и въ семейной жизни,—и здѣсь онъ опять—«виновенъ».

Виновенъ онъ въ томъ, что не способенъ внести, такъ сказать, «духъ живъ» въ свою общественную дѣятельность, что не имѣетъ никакого призванія къ дѣлу, а только—выучку, сноровку и служебную аккуратность,—и лишь исполняетъ обрядъ службы, чтобы 20-го числа получать жалованіе и дослужиться до повышенія и высшаго оклада. Однимъ словомъ, онъ виноватъ въ томъ, что онъ — человѣкъ служебной рутины и карьеры. Когда ему не повезло на службѣ, и онъ рѣшилъ искать другого мѣста,—онъ поѣхалъ въ Петербургъ «за однимъ: выпросить мѣсто въ пять тысячъ жалованія. Онъ уже не держался никакого министерства, направленія или рода дѣятельности. Ему нужно только было мѣсто,—мѣсто съ пятью тысячами, по администраціи, по банкамъ, по желѣзнымъ дорогамъ, по учрежденіямъ Императрицы Маріи, даже таможни—но непремѣнно пять тысячъ, и непремѣнно выйти изъ министерства, гдѣ не умѣли оцѣнить его» (гл. III).

Если собрать воедино всѣ эти пункты обвиненія, да еще присоединить къ нимъ всѣ тѣ мелкія черточки, которыя такъ искусно группируетъ и оттѣняетъ Толстой, чтобы выставить какъ

можно ярче душевную пустоту и пошлость Ивана Ильича, то получимъ выводъ, гласящій такъ: Иванъ Ильичъ привлекается къ моральному суду за то, что онъ—средній, шаблонный человѣкъ, безъ «искры Божьей». Моральное слѣдствіе, такъ художественно произведенное Толстымъ, выяснило, что настоящей любви къ дѣлу у подсудимаго нѣтъ, настоящихъ семейныхъ чувствъ нѣтъ, — какъ гражданинъ, какъ общественная величина онъ—нуль, выработанныхъ собственнымъ умомъ и опытомъ убѣжденій у него не имѣется,—какъ нравственная личность, онъ—ничтожество,—въ результатѣ выходитъ нуль душевнаго содержанія. За эту душевную «бѣдность да бѣдность» онъ и подлежитъ смерти, и тяжкій процессъ умиранія будетъ для него въ родѣ нравственной казни и въ то же время — искупленіемъ. Умирая онъ постепенно прійдетъ къ сознанію пустоты, пошлости и безобразія жизни, имъ прожитой, пойметъ свое ничтожество и почувствуетъ весь ужасъ своего душевнаго одиночества. И онъ умретъ — преображенный и просвѣтленный сознаніемъ, «что жизнь его была не то, что надо» (гл. XII), что, въ самомъ дѣлѣ, жизнь его была—«самая простая и обыкновенная» и вмѣстѣ съ тѣмъ—«самая ужасная» (гл. II).

Открыть и показать это «самое ужасное» въ «самой простой и обыкновенной жизни» и было цѣлью художественнаго эксперимента, проведеннаго съ необыкновеннымъ мастерствомъ. Это, можетъ быть, самый удачный изъ художественныхъ экспериментовъ Толстого.

Но это «ужасное», обнаруженное Толстымъ въ жизни Ивана Ильича, можетъ явиться въ весьма различномъ освѣщеніи, смотря потому, на какой точкѣ зрѣнія стоитъ читатель. Можно воспользоваться результатами художественнаго опыта Толстого, не раздѣляя моральной догмы художника и не предъявляя Иванамъ Ильичамъ тѣхъ суровыхъ требованій, съ которыми обращается къ нимъ Толстой. Для него Иванъ Ильичъ—настоящій нравственный уродъ, котораго «выпрямляетъ» только смерть. Для насъ эта исключительная точка зрѣнія не обязательна. Такихъ, какъ Иванъ Ильичъ, мы встрѣчаемъ въ жизни чуть не на каждомъ шагу и вовсе не считаемъ ихъ уродами. Да и въ самомъ дѣлѣ: Иванъ Ильичъ—человѣкъ не дурной, не злой, честный, неподкупный и т. д. Хотя большинство этихъ опредѣленій—отрицательны, т. е. указываетъ не столько на присутствіе хорошаго, сколько на отсутствіе дурного, но всетаки

въ общемъ они даютъ намъ характеристику весьма порядочнаго человѣка. Зная, что Иванъ Ильичъ, еще въ дореформенное время, когда онъ служилъ чиновникомъ особыхъ порученій, заявилъ себя человѣкомъ, котораго нельзя подкупить, что потомъ, въ должности слѣдователя или прокурора, онъ не злоупотреблялъ властью и даже старался смягчить ея проявленія и т. д.,—мы имѣемъ всѣ основанія отнести Ивана Ильича къ числу такъ называемыхъ «хорошихъ людей». И этимъ хорошимъ людямъ имя—легіонъ. И думается намъ, что для слѣдствія и суда надъ этимъ легіономъ съ точки зрѣнія высокихъ религіозно-моральныхъ требованій, какія предъявляетъ Толстой, нѣтъ достаточныхъ основаній. Я оспариваю, въ данномъ случаѣ, «подсудность» и выборъ «инстанціи». Толстой хочетъ, чтобы всякій такой Иванъ Ильичъ былъ непремѣнно развитою морально-религіозною личностью, подымающеюся надъ даннымъ уровнемъ шаблонныхъ понятій, чтобы этотъ средній, душевно—ничтожный человѣкъ являлся дѣятелемъ жизни, критически относящимся (и при томъ съ точки зрѣнія высшей морали) къ установленнымъ формамъ, нравамъ, условнымъ приличіямъ, чтобы, наконецъ, онъ не былъ мелкимъ эгоистомъ и не смотрѣлъ на жизнь, какъ на пріятное и приличное препровожденіе времени, а видѣлъ ея смыслъ и цѣнность въ служеніи нѣкоторому высшему идеалу. Толстой слишкомъ много требуетъ... Отъ Ивановъ Ильичей можно требовать только одного: чтобы они не опускались, морально и граждански, ниже средняго уровня и не мѣшали жить и дѣйствовать тѣмъ, которые подымаются выше его. Если они удовлетворяютъ этому скромному, минимальному требованію, мы скажемъ имъ: живите себѣ на здоровье! Плодитесь и множьтесь!.. Очень прискорбно, конечно, что вы не способны смотрѣть на общество, какъ на созидающееся зданіе, въ которомъ каждый долженъ быть работникомъ въ мѣру своихъ силъ и гражданскаго разумѣнія,—и для васъ оно—давно-готовый домъ, вѣками сооруженный и не требующій перестройки, и вы съ легкимъ сердцемъ водворяетесь туда, не заботясь о томъ, чтобы провѣтрить спертую атмосферу, и даже еще увеличивая ее затхлость... Но все это вамъ отпустится, если вы не препятствуете другимъ вентилировать зданіе, и если сами почувствуете нѣкоторое удовольствіе отъ притока свѣжаго воздуха. Для догмы и практики высокой морали вы не годитесь, но, можетъ быть, вы окажетесь способными привыкнуть дышать свѣжимъ воздухомъ...

III.

Описывая семейный разладъ, вѣчныя ссоры и переканія Ивана Ильича съ женою, указывая на то, что «ссоры каждую минуту готовы были разгораться», Толстой даетъ обращикъ ненормальной семейной жизни, когда нѣтъ настоящей любви между супругами, а есть только чувственное влеченіе, по удовлетвореніи котораго еще пуще разгорается взаимная вражда, явно принимающая характеръ органическаго отвращенія другъ къ другу. «Оставались (въ промежуткахъ распри) только тѣ рѣдкіе періоды влюбленности, которые находили на супруговъ, но продолжались не долго. Это были островки, на которые они приставали на время, но потомъ опять пускались въ море затаенной вражды, выражавшейся въ отчужденіи другъ отъ друга» (гл. II).—Это послужитъ отправною точкою для другого художественнаго «эксперимента», гдѣ будетъ ребромъ поставленъ мудренный вопросъ этики половыхъ отношеній вообще и спеціально—въ бракѣ. Адептъ аскетической морали, Толстой прійдетъ къ рискованному выводу, что половыя отношенія, все равно какъ внѣ брака, такъ и въ бракѣ, противорѣчатъ этической природѣ человѣка, и послѣдній, какъ существо моральное, долженъ отъ нихъ воздерживаться. Что послѣдовательное проведеніе этого принципа грозило бы прекращеніемъ рода человѣческаго, это не смущаетъ моралиста: для него «нравственный законъ» выше человѣчества и долженъ восторжествовать хотя бы цѣною гибели человѣчества,—точка зрѣнія, съ которою никогда не примирится это самое человѣчество, и которую, конечно, отвергнетъ и опровергнетъ наука и критическая философія, эти лучшіе друзья человѣчества и надежные союзники его—въ его стремленіяхъ къ счастью, равенству, справедливости и высшей—раціональной—морали «безъ санкціи» и «безъ обязательности»...

Новый экспериментъ, озаглавленный «Крейцерова соната», былъ проведенъ съ необычайнымъ художественнымъ мастерствомъ, и его результаты вылились въ форму, отмѣченную исключительною силою выраженія.

Я не могу дать здѣсь ни критическаго анализа «Крейцеровой сонаты», ни психологическаго разбора фигуры Позднышева и другихъ лицъ, ни наконецъ—критики основной идеи или оцѣнки вывода, къ которому пришелъ художникъ—моралистъ: вопросъ, имъ поставленный, принадлежитъ къ числу тѣхъ, о которыхъ

слѣдуетъ говорить много, обстоятельно и доказательно, или—ничего не говорить.—Я позволю себѣ только отмѣтить одну черту, относящуюся къ самой «постановкѣ опыта».

Разсказъ ведется отъ лица героя—Позднышева. Этотъ печальный герой является также выразителемъ моральной идеи Толстого. Онъ проповѣдуетъ ученіе послѣдняго по данному вопросу,—ученіе, въ справедливости и спасительности котораго онъ, Позднышевъ, убѣдился горькимъ опытомъ. Грѣшникъ и убійца, онъ выступаетъ въ роли «творца» и проповѣдника новой морали... Это, во всякомъ случаѣ, любопытно и, отчасти, согласуется съ тѣмъ, что̀ говоритъ намъ многовѣковая исторія нравственныхъ понятій и нормъ.—Мораль творили не только праведники, но и грѣшники.

Безконечно-разнообразны психологическіе пути, которыми, творя мораль, шли и праведники, и грѣшники. И зачастую, идя различными путями, они приходили къ одному и тому же результату,—къ созданію опредѣленныхъ нравственныхъ идеаловъ, къ выработкѣ извѣстной моральной догмы. Въ числѣ этихъ путей есть одинъ, особливо—любопытный, хотя, кажется,—не особливо-важный, это—именно тотъ, которымъ идетъ Позднышевъ,—путь крайняго негодованія и внутренняго возмущенія, граничащаго съ психозомъ, путь своеобразнаго цинизма и ожесточеннаго надругательства надо всѣмъ тѣмъ, въ чемъ, правильно или неправильно, грѣшникъ-моралистъ видитъ главную причину грѣха и зла вообще, своего личнаго паденія въ частности. Нельзя отрицать здѣсь присутствія того, что̀ выражается поговоркой: «съ больной головы на здоровую». Нельзя не видѣть здѣсь и тѣхъ логическихъ скачковъ и несообразностей, какія вообще являются неизбѣжными спутниками воспаленной мысли, одержимой страстью. Аскетическая проповѣдь воздержанія въ устахъ Позднышева—это какой-то дикій вопль и циническій бредъ маніака, видящаго соблазнъ и грѣхъ тамъ, гдѣ ихъ и въ поминѣ нѣтъ

Семейная жизнь Позднышева напоминаетъ семейную жизнь Ивана Ильича: какъ тамъ, такъ и здѣсь—вѣчная распря, взаимное отчужденіе и ожесточеніе, сплошной раздоръ, прерываемый кратковременными періодами «влюбленности». Между этими двумя состояніями: хронической злобы, взаимнаго ожесточенія съ одной стороны и краткими періодами («островками») «влюбленности» съ другой—устанавливается (и, повидимому, безъ достаточнаго основанія) тѣсная причинная связь: «...періоды злобы возникали

во мнѣ (разсказываетъ Позднышевъ) совершенно правильно и равномѣрно, соотвѣтственно періодамъ того, что мы называли любовью. Періодъ любви, періодъ злобы; энергическій періодъ любви,—длинный періодъ злобы, болѣе слабое проявленіе любви,—короткій періодъ злобы. Тогда мы не понимали, что эта любовь и злоба были тоже самое животное чувство, только съ разныхъ концовъ». (Гл. XVII.)—Позднышевъ возводитъ этотъ частный случай въ законъ. Онъ увѣренъ, будто то же самое повторяется во всѣхъ семьяхъ. Онъ утверждаетъ, что половая страсть для человѣка—«неестественна» (гл. XI) и съ психологической необходимостью должна приводить къ душевному огрубенію, ожесточенію, ненависти...

Позднышевъ, въ своихъ страстныхъ и желчныхъ обличеніяхъ, не щадитъ себя. Все время онъ кается, исповѣдуется, казнитъ себя... Но, присматриваясь ближе, мы легко, замѣтимъ, что въ этомъ отношеніи онъ представляетъ собою одну изъ самыхъ антипатичныхъ разновидностей кающагося грѣшника—моралиста. Онъ казнитъ себя за тотъ «грѣхъ», который у него оказывается общимъ со всѣмъ родомъ человѣческимъ. Въ своемъ лицѣ онъ казнитъ человѣчество. О своемъ-же личномъ «грѣхѣ», который и былъ не только непосредственною, но и главнѣйшею причиною его преступленія, онъ умалчиваетъ. Этотъ его «грѣхъ» или вѣрнѣе, моральный дефектъ состоитъ въ томъ, что онъ—человѣкъ злой, мелко-эгоистичный, слишкомъ подавленный гнетомъ своего маленькаго «я» и соотвѣтственно этому слишкомъ доступный дурману дрянной мужской ревности. Онъ убилъ жену изъ-за ревности, и при томъ ревности дикой, самолюбивой и злобной, сводящейся, въ концѣ концовъ, все къ тому же культу своего «я» и къ той-же душевной жесткости и грубости натуры, которыя сквозятъ во всѣхъ рѣчахъ Позднышева и такъ ярко сказались въ его семейной жизни съ ея трагическимъ финаломъ. И если ужъ ему подобаетъ, послѣ этого ужаснаго опыта жизни, «творить мораль», учить добродѣтели насъ грѣшныхъ и все человѣчество, погрязшее въ плотскомъ грѣхѣ, то, думается намъ, онъ долженъ былъ бы прежде всего ополчиться на истинно-безнравственную страсть ревности и на столь-же безнравственное сожитіе супруговъ, другъ друга ненавидящихъ. Предметомъ своихъ глубокихъ размышленій, живыхъ негодованій и страстныхъ обличеній ему слѣдовало бы избрать вопросы психологіи и этики брака, какъ юридическаго института, вопросы супружеской и

вообще семейной любви, а вовсе не мудренную до безнадежности біологическую и физіологическую проблемму половыхъ отношеній, рѣшить которую безсильна какая бы то ни было мораль, и ужъ навѣрное не разрѣшитъ мораль, творимая грѣшниками...

«Крейцерова соната» представляется мнѣ художественнымъ экспериментомъ, любопытнымъ во многихъ отношеніяхъ и прежде всего—какъ образщикъ блестящаго по исполненію эксперимента, превосходно иллюстрирующаго исходную мысль автора и въ то же время обнаруживающаго несостоятельность и, еще больше, негуманность аскетической морали, по крайней мѣрѣ въ томъ ея видѣ, въ какомъ является она у Толстого. Это произошло именно благодаря той «постановкѣ опыта», о которой я только-что говорилъ. Позднышевъ, какъ человѣкъ, какъ натура, явно недобрая, негуманная, производитъ на насъ впечатлѣніе отталкивающее. И это впечатлѣніе по неволѣ переносится и на ту мораль, которую онъ проповѣдуетъ. Въ морали, можетъ быть, больше, чѣмъ гдѣ-либо, c'est le ton qui fait la musique. А «тонъ» у Позднышева—циничный, дикій, изступленный, почти человѣконенавистническій... «Послѣсловіемъ»—уже отъ своего имени—Толстой какъ будто хотѣлъ исправить это впечатлѣніе... Но было уже поздно: Позднышевъ не уничтожается «Послѣсловіемъ», которое безсильно обезвредить его... Позднышевъ—художественный образъ, а художественное «слово» Толстого—всегда «со властью», какой не имѣетъ его «моральная въ тѣсномъ смыслѣ» проповѣдь...

IV.

Другое дѣло—та его проповѣдь, которую можно назвать «моральною въ широкомъ смыслѣ» и для которой иллюстраціею послужило «Воскресеніе», художественный экспериментъ смѣшаннаго характера: поэтъ выступаетъ здѣсь не только моралистомъ-аскетомъ, но и сатирикомъ. «Воскресеніе»—произведеніе на добрую половину сатирическое, мѣстами переходящее въ памфлетъ, и сама моральная догма Толстого представляется здѣсь болѣе широкою, болѣе эластическою, я готовъ сказать: болѣе гуманною, сравнительно съ тѣмъ, какою являлась она раньше.

Нехлюдовъ—также «грѣшникъ», который кается и творитъ мораль. Но онъ—не Позднышевъ. Если послѣдній способенъ вну-

шить намъ только отвращеніе, невольно распространяющееся и на его «мораль», то Нехлюдовъ, напротивъ, есть несомнѣнно тотъ «хорошій человѣкъ», который, по слову Гете, «въ своемъ темномъ стремленіи сознаетъ или находитъ правильный путь»,— добавимъ отъ себя: свой правильный путь, необязательный для насъ. Его путь—не нашъ, но все наше сочувствіе на его сторонѣ. Его душевныя страданія, его исканія такъ привлекательны, такъ человѣчны, порою—такъ обаятельны, что мы, не раздѣляя всѣхъ его взглядовъ и его сужденій, не колеблясь, причисляемъ его къ истиннымъ друзьямъ человѣчества, призваннымъ «творить мораль». И онъ ее творитъ...

Если Позднышевъ не имѣлъ права говорить отъ имени Толстого, то Нехлюдовъ, несомнѣнно, имѣетъ это право.

Толстой придалъ ему нѣкоторыя—симпатичнѣйшія—стороны своей сложной натуры и ввѣрилъ ему пропаганду своихъ идей, въ ихъ послѣднемъ фазисѣ, когда онѣ, все расширяясь и углубляясь, становятся одной изъ великихъ—освободительныхъ—силъ времени.

Уже въ раннихъ произведеніяхъ Толстого, въ «Утрѣ помѣщика» и въ «Юности», мы встрѣчаемъ лицо Дмитрія Нехлюдова, въ которомъ, какъ извѣстно, воспроизведенъ былъ опредѣленный моментъ въ духовной жизни Толстого. Это одна изъ субъективныхъ въ тѣсномъ смыслѣ, «автобіографическихъ» фигуръ, на что мы и указали въ своемъ мѣстѣ (см. гл. I, III и IV).— На склонѣ своей дѣятельности, приступая къ «постановкѣ» грандіознаго художественнаго опыта, озаглавленнаго «Воскресеніе», Толстой вспомнилъ Дмитрія Нехлюдова и избралъ это старое имя для новаго героя, воспроизводящаго идеи и стремленія Толстого 90-хъ годовъ [1]). Николай Иртеньевъ, воплощеніе юнаго и молодого Толстого, называетъ Нехлюдова «чуднымъ Дмитріемъ»,—и этотъ «чудный Дмитрій» является для Иртеньева какъ-бы «развивателемъ» и руководителемъ въ жизни. Нехлюдовъ 50-хъ годовъ—это та сторона сложной натуры Толстого, въ которой по преимуществу сосредоточены задатки высокой моральной личности, тѣ импульсы, которые рано или поздно приведутъ къ «переоцѣнкѣ всѣхъ цѣнностей», къ нравственному

[1]) Что выборъ стараго имени не былъ случайностью и имѣетъ свое значеніе, это, мнѣ кажется, подтверждается тѣмъ, что въ одномъ мѣстѣ вспоминается и имя—Николая Иртеньева, какъ друга Нехлюдова (ч. II, гл. XXIX).

перевоспитанію человѣка, къ его внутреннему «воскресенію». Отъ Иртеньева, Оленина, Левина Нехлюдовъ всегда отличался большею уравновѣшенностью или раціональностью души, въ немъ нѣтъ или мало той, если можно такъ выразиться, умственной необузданности и душевнаго своенравія, какими въ той или иной мѣрѣ характеризуются другія художественныя воплощенія натуры Толстого. Эта особенность Нехлюдова оказалась весьма подходящею для «постановки» того опыта, который данъ въ «Воскресеніи».

Въ немъ также нѣтъ той душевной путаницы и смуты, сквозь которую пришлось съ такимъ трудомъ пробиваться къ свѣту Иртеньеву, Оленину, Левину. Душевный міръ Нехлюдова прозраченъ и открытъ передъ нами: мы, и безъ прямого свидѣтельства Толстого, могли бы, прочитавъ романъ, сказать о немъ: «Въ Нехлюдовѣ, какъ и во всѣхъ людяхъ, было два человѣка. Одинъ, духовный, ищущій блага себѣ только такого, которое было бы благомъ и другимъ людямъ, и другой—животный человѣкъ, ищущій блага только себѣ, и для этого блага готовый пожертвовать благами всего міра «(ч. I, гл. XIV)».—И вмѣстѣ съ тѣмъ, уже въ первыхъ главахъ романа намъ становится вполнѣ яснымъ, что этотъ второй, животный, человѣкъ въ Нехлюдовѣ лишь временно можетъ взять верхъ надъ первымъ, духовнымъ,—что это временное торжество животнаго человѣка, представляющееся, въ отношеніи многихъ, явленіемъ нормальнымъ, должно быть признано, для Нехлюдова, явленіемъ ненормальнымъ, извращеніемъ его настоящей натуры, «сумасшествіемъ эгоизма», по прекрасному выраженію Толстого.—Настоящая же натура Нехлюдова опредѣляется тѣмъ, что онъ—«одинъ изъ тѣхъ людей, для которыхъ жертва во имя нравственныхъ требованій составляетъ высшее духовное наслажденіе» (ч. I, гл. XII).

Нехлюдовъ не «мудрствуетъ» и не «мудритъ», какъ это дѣлали, въ свое время, Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ. Онъ просто—«честный, самоотверженный юноша, готовый отдать себя на всякое честное дѣло...» (ч. I, гл. XIII). Онъ—натура столь-же моральная, какъ и его литературные предшественники (Иртеньевъ, Оленинъ, Левинъ и Нехлюдовъ «Юности» и «Утра помѣщика), но, какъ умъ, онъ въ противоположность имъ, въ особенности тремъ первымъ, не склоненъ къ напряженному и головоломному морализированію и философствованію. Правда, «Міръ Божій представлялся ему тайной, которую онъ радостно и восторженно

старался разгадывать... и ему нужно и важно было общеніе съ природой и съ людьми, жившими, мыслившими и чувствовавшими до него (философами, поэтами)» (ч. I, гл. XIII), но все это еще не дѣлаетъ изъ него «самобытнаго философа» въ духѣ Ник. Иртеньева или Левина и, въ существѣ дѣла, имѣетъ тотъ-же психологическій смыслъ, какъ и то, что «женщина представлялась» ему «таинственнымъ и прелестнымъ,—именно этой таинственностью прелестнымъ существомъ» (ч. I, гл. XIII). И то, и другое было проявленіемъ господства въ немъ духовнаго человѣка надъ животнымъ,—прямымъ выраженіемъ его здоровой, доброй, возвышенной души, какою она и оставалась въ счастливое время свѣтлой юности, когда Нехлюдовъ писалъ студенческое сочиненіе «О землевладѣніи», отдалъ крестьянамъ землю, доставшуюся ему по наслѣдству отъ отца (гл. XII), и «любилъ Катюшу, какъ любятъ невинные люди, и его любовь была главной защитой отъ паденія и для него, и для нея...» (гл. XII.)

Подавленіе этого высокаго и чистаго уклада души страстями и усвоенными понятіями, всѣмъ, что Толстой превосходно опредѣляетъ—какъ «сумасшествіе эгоизма», было временнымъ, и только нужно было первое сильное, отрезвляющее впечатлѣніе, чтобы Нехлюдовъ освободился отъ гнета «животнаго человѣка». Извѣстно, съ какою быстротою и силою совершилось это перерожденіе или «воскресеніе» подъ живымъ воздѣйствіемъ пробудившейся совѣсти. Кризисъ выздоровленія отъ «сумасшествія эгоизма» изображенъ въ главѣ XXVIII-ой (I-ой части). Жизнь, которую велъ Нехлюдовъ, стала противна ему до отвращенія, и чарующе—властно заговорили въ немъ воспоминанія юности... «На него пахнуло этой свѣжестью, молодостью, полнотою жизни, и ему стало мучительно грустно».—И Толстой проводитъ параллель между тѣмъ прежнимъ, чистымъ, идеалистически-настроеннѣмъ Нехлюдовымъ и теперешнимъ, загрязненнымъ, опошлившимся, опустившимся: «Различіе между нимъ, какимъ онъ былъ тогда и какимъ онъ былъ теперь,—было огромно... Тогда онъ былъ бодрый, свободный человѣкъ, передъ которымъ раскрывались безконечныя возможности, теперь онъ чувствовалъ себя со всѣхъ сторонъ пойманнымъ въ тенетахъ глупой, пустой, безцѣльной, ничтожной жизни... Онъ вспомнилъ, какъ онъ когда-то гордился своей прямотой, какъ ставилъ себѣ когда-то правиломъ всегда говорить правду и, дѣйствительно, былъ правдивъ, и какъ онъ теперь былъ весь во лжи,—въ самой страшной лжи,

признаваемой всѣми людьми, окружающими его, правдой». (ч. I, гл. XXVIII.)

Живое сознаніе этого контраста и настойчивый призывъ совѣсти (послѣ осужденія Масловой) указали Нехлюдову путь къ нравственному возрожденію. Въ ряду тѣхъ душевныхъ силъ, совмѣстнымъ дѣйствіемъ которыхъ былъ выработанъ его новый моральный укладъ, особенное вниманіе обращаетъ на себя чувство жалости и состраданія, являющееся въ глазахъ Нехлюдова чуть-ли не высшею добродѣтелью. Много разъ испытываетъ онъ это чувство, а когда не испытываетъ,—сожалѣетъ о томъ, что его нѣтъ, старается вызвать его въ себѣ, и вообще смотритъ на это душевное движеніе, какъ на высшее моральное начало, которому подобаетъ власть и господство въ душевномъ мірѣ человѣка и въ отношеніяхъ человѣка къ другимъ людямъ. Мнѣ кажется, это было новымъ шагомъ въ развитіи моральныхъ ученій и стремленій Толстого, сблизившимъ эти ученія и стремленія съ передовыми идеями и движеніями вѣка. До этого «шага», мораль Толстого, узко или строго-аскетическая, была, можно сказать, «безжалостна». Суровая, слишкомъ требовательная и непреклонно прямолинейная, она проповѣдовала любовь къ людямъ, но не знала жалости къ нимъ. Теперь, въ этомъ новомъ фазисѣ, она проникнута живымъ чувствомъ состраданія къ бѣдному, грѣшному, слабому, заблуждающемуся человѣку и уже не казнить его всѣми ужасами «Власти тьмы», жестокой смертью Ивана Ильича, страшными призраками и разоблаченіями «Крейцеровой сонаты». И если вдуматься, съ этой точки зрѣнія, «Воскресеніе» окажется почти «опроверженіемъ» и «Смерти Ивана Ильича», и, въ особенности, «Крейцеровой сонаты»... А вѣдь предпосылки—тѣ-же, догма—та-же, санкція—та-же самая...

Яркимъ выраженіемъ этого поворота Толстого въ сторону жалости могутъ служить мысли Нехлюдова въ главѣ XXXVIII-ой II-ой части: «Все дѣло въ томъ, что люди думаютъ, что есть положенія, въ которыхъ можно обращаться съ человѣкомъ безъ любви, а такихъ положеній нѣтъ. Съ вещами можно обращаться безъ любви... Правда, что человѣкъ не можетъ заставить себя любить, какъ онъ можетъ заставить себя работать; но изъ этого не слѣдуетъ, что можно обращаться съ людьми безъ любви, особенно если чего-нибудь требуешь отъ нихъ. Не чувствуешь любви, сиди смирно—занимайся собой, вещами, чѣмъ хо-

чешь, но только не людьми...» Эти замѣчательныя слова будутъ еще яснѣе, если слово «любовь» (кстати сказать, очень растяжимое и вообще неудобное, какъ терминъ) мы поставимъ слово «жалость». И это будетъ не только перемѣна выраженія, но и нѣсколько иная постановка практической задачи: нельзя заставить себя любить человѣка, намъ антипатичнаго, противнаго, но можно вызвать въ себѣ чувство жалости къ нему — за то самое, что онъ антипатиченъ и противенъ. И Нехлюдовъ, можно сказать, «упражняется» въ этомъ вызываніи въ себѣ чувства жалости, и я склоненъ такого рода «упражненіямъ» приписывать гораздо больше моральнаго значенія, чѣмъ самымъ краснорѣчивымъ моральнымъ проповѣдямъ и самымъ грознымъ обличеніямъ. — Теперь прочтемъ слѣдующее мѣсто изъ главы V-ой III-ей части: «Онъ (Нехлюдовъ) испытывалъ теперь (по пути въ Сибирь) къ ней (Масловой) чувство, никогда не испытанное имъ прежде...„ Это, оказывается, было «простое чувство жалости и умиленія». «О чемъ бы онъ ни думалъ теперь, что бы ни дѣлалъ, общее настроеніе его было это чувство жалости и умиленія, не только къ ней, но ко всѣмъ людямъ [1]). — Это чувство какъ-будто раскрыло въ душѣ Нехлюдова потокъ любви, не находившій прежде исхода, а теперь направлявшійся на всѣхъ людей, съ которыми онъ встрѣчался...»—

Морали, основанной на чувствѣ жалости, слѣдуетъ, мнѣ кажется, отдать рѣшительное предпочтеніе передъ той, которая основана на суровой догмѣ «воздержанія», аскетизма.

Мораль, основанная на жалости, на состраданіи, не ищетъ догмы и не нуждается въ санкціи. Одинъ изъ новыхъ и высшихъ продуктовъ нравственной эволюціи человѣчества, она, повидимому, имѣетъ всѣ шансы стать моралью будущаго. Она призвана смягчать рѣзкія формы соціальной борьбы. Она содѣйствуетъ установленію взаимнаго пониманія и сочувствія между народами, расами, классами, партіями.

Она хороша еще тѣмъ, что, подобно наукѣ, никакихъ отвѣтовъ на «проклятые вопросы» не даетъ и не претендуетъ разъ на всегда объяснить людямъ—въ чемъ счастье, что такое «высшее благо, доступное человѣчеству» и какъ устроить Царствіе Божіе на землѣ. Она — не догматична и не теократична.

[1]) Курсивъ мой.

Съ этимъ Нехлюдовъ, какъ и Толстой, помириться не могутъ. Выдвигая впередъ чувство жалости, они въ своихъ моральныхъ исканіяхъ не могутъ остановиться на этомъ и, устремляясь дальше, не замѣчаютъ, что возвращаются назадъ. То, что мы читаемъ въ послѣдней главѣ романа, есть, по моему, шагъ назадъ. Впрочемъ это не имѣетъ большого значенія... Оставляя въ сторонѣ Нехлюдова, мы имѣемъ право сказать о самомъ Л. Н. Толстомъ, что великій писатель земли Русской, послѣ «Воскресенія» (1899), не вернулся къ прежнему фазису, характеризуемому безплоднымъ аскетизмомъ «Крейцеровой Сонаты» и теоріей «недѣланія». Онъ съумѣлъ согласовать свои моральныя стремленія, свое ученіе съ жгучими запросами историческаго момента,—и мы теперь имѣемъ въ его лицѣ не только геніальнаго художника и оригинальнаго мыслителя—моралиста, но и—великаго историческаго дѣятеля.

Д. Н. Овсянико-Куликовскій.

СОБРАНІЕ СОЧИНЕНІЙ.

ТОМЪ IV.

ПУШКИНЪ.

ИЗД-Т-ВА „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА“ И КНИГОИЗД. „ПРОМЕТЕЙ“, СПБ. 1909 Г.

PG 3410
O78
1905

Типографія т-ва „Общественная Польза", СПБ., Бол. Подъяческая, 39.

СОДЕРЖАНІЕ.

стр.

I. (Постановка вопроса) 1
II. „Драматическіе опыты". Психологія злыхъ страстей.
1. „Моцартъ и Сальери" 2
2. „Скупой рыцарь" 16
3. „Каменный гость" 19
4. „Пиръ во время чумы" 24
III. Лиризмъ „драматическихъ опытовъ" 28
IV. Лирическія стихотворенія 1830 года 41
V. Художественныя „мистификаціи" Пушкина 55
VI. Творчество Пушкина въ началѣ 30-хъ гг.
1. Поэтическіе итоги. Худож. ликвид. прошлаго 60
2. „Мѣдный всадникъ" 64
VII. „Евгеній Онѣгинъ".
1. (Постановка вопроса) 85
2. Характеръ и типъ Онѣгина 86
3. Субъективная лирика въ „Евг. Онѣгинѣ" . . 93
4. Объективная лирика въ „Евг. Онѣгинѣ" Татьяна 103
5. Объективная лирика въ Евг. Онѣгинъ . . . 110
VIII. „Натуральная" лирика Пушкина 113
IX. Искусственная лирика Пушкина 123
X. Лирическое творчество Пушкина по его собственнымъ показаніямъ.
1. Импровизація 139
2. Чарскій—Пушкинъ 156
3. „Отщепенство" Пушкина 160
XI. „Отрѣшенность" отъ жизни—какъ важнѣйшая психологическая пружина творчества Пушкина.
1. „Въ уединеніи мой своенравный геній." . . 170
2. „И забываю міръ"... 176
3. „Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ" 189
XII. Историческая интуиція Пушкина 195
Заключеніе 213

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ этой книгѣ я не имѣлъ въ виду разсмотрѣть дѣятельность Пушкина въ послѣдовательномъ хронологическомъ порядкѣ. Моя задача была задачею не историко-литературною, а психологическою: это—опытъ психологическаго изученія тѣхъ сторонъ пушкинскаго творчества, которыя представляются мнѣ важнѣйшими, а именно *лиризма* и *реализма*.

Пушкинъ-лирикъ выступаетъ здѣсь на первый планъ,—какъ это было и въ дѣйствительности.

Меня занималъ здѣсь и теоретическій вопросъ—о существѣ лирики и о ея принципіальномъ отличіи отъ поэзіи образной. Мое воззрѣніе, значительно расходящееся съ общепринятымъ понятіемъ о лиризмѣ, изложено и обосновано здѣсь лишь отрывочно. Болѣе обстоятельное развитіе его читатель найдетъ въ моей статьѣ «Лирика, какъ особый видъ творчества» (въ сборникѣ «Вопросы теоріи и психологіи творчества», Харьковъ» 1909, подъ ред. Б. А. Лезина).

I.

Къ концу 20-хъ годовъ блистательно оправдалось то, что говорилъ Пушкинъ о себѣ въ 1825 году въ письмѣ къ Раевскому: «Я чувствую, что душа моя совсѣмъ развернулась—я могу творить».

Онъ создалъ рядъ истинно-великихъ произведеній, какъ въ области художественнаго (образнаго) творчества, такъ въ сферѣ лирики,—и эти творенія были вкладомъ въ міровую литературу, гдѣ они останутся навсегда.

Для изученія психологіи пушкинскаго творчества они представляютъ исключительный интересъ: въ нихъ ярче и полнѣе, чѣмъ въ болѣе раннихъ произведеніяхъ, проявились коренныя черты генія Пушкина, и прежде всего—его поэтическая *объективность*, а вмѣстѣ съ нею и основная черта самой натуры Пушкина, служившая психологическимъ основаніемъ этой объективности. Трудно подобрать терминъ для сжатаго опредѣленія этой черты,—приходится прибѣгнуть къ описательному и отрицательному выраженію: это было *отсутствіе эгоцентризма натуры*.

Подъ «*эгоцентризмомъ*» я понимаю такой укладъ натуры, при которомъ человѣкъ въ своей душевной жизни, въ своемъ самочувствіи, въ своихъ помыслахъ и отношеніяхъ къ окружающему исходитъ по преимуществу *отъ себя*, какъ отъ нѣкотораго центра: это для него самый удобный пунктъ, откуда онъ хорошо и далеко видитъ. И онъ говоритъ: я и общество, я и отечество, я и человѣчество, я и міръ. Мнѣ уже приходилось писать объ эгоцентрическихъ натурахъ, и я старался, между прочимъ, выяснить различіе между эгоцентризмомъ и эгоизмомъ,—надѣюсь, мнѣ удалось показать, что это явленія совершенно различныя [1]).

[1]) См. томъ первый „Сочиненій“ („Гоголь“, гл. III) и книжку о Толстомъ („Л. Н. Толстой. Къ 80-лѣтію великаго писателя“. 1908, стр. 130 и слѣд.).

Пушкинъ былъ натурою съ ясно выраженнымъ *не-эго-центрическимъ укладомъ.* Для него самымъ удобнымъ пунктомъ созерцаній былъ тотъ, гдѣ устранено давленіе личнаго «я», гдѣ непримѣнима формула «я и все прочее», и человѣку открывается радостная возможность забыть о себѣ и какъ бы раствориться въ окружающемъ мірѣ. Если онъ одаренъ творческимъ даромъ,—онъ потонетъ въ своемъ произведеніи.

Надѣюсь, нижеслѣдующая попытка заглянуть въ психологію пушкинскаго творчества поможетъ уяснить это явленіе, это «преодолѣніе» личнаго «я» или, иначе, это «расширеніе» личнаго «я»—на весь міръ.

Мы начнемъ анализомъ произведеній, относящихся къ осени 1830-го, которую Пушкинъ провелъ въ Болдинѣ. Здѣсь онъ пережилъ необычайный даже для него подъемъ творческой силы, о чемъ онъ самъ говоритъ въ письмѣ къ Плетневу (9 дек. 1830, изъ Москвы): «...я въ Болдинѣ писалъ, какъ давно ужь не писалъ. Вотъ что я привезъ сюда: двѣ послѣднія главы «Онѣгина»..., повѣсть, написанную октавами (стиховъ 700)..., нѣсколько драматическихъ сценъ или маленькихъ трагедій, именно: «Скупой Рыцарь», «Моцартъ и Сальери», «Пиръ во время чумы» и «Донъ-Жуанъ». Сверхъ того, написалъ около 30 мелкихъ стихотвореній. Хорошо? Еще не все:... написалъ я прозою пять повѣстей»...

II.

«Драматическіе опыты». Психологія злыхъ страстей.

1.

«Моцартъ и Сальери».

«Моцартъ и Сальери», вмѣстѣ съ другими «драматическими опытами» Пушкина, справедливо причисляется къ совершеннѣйшимъ созданіямъ его генія. Трудно представить себѣ художественное произведеніе, которое было бы, при меньшемъ размѣрѣ, богаче содержаніемъ. Художественная экономія мысли доведена здѣсь до послѣднихъ предѣловъ. Но

сжатость формы (то, что А. А. Потебня называлъ «сгущеніемъ мысли въ словѣ») ничуть не вредитъ ясности содержанія: все богатство его легко и отчетливо развертывается въ сознаніи читателя. Это не ребусъ, который еще нужно разгадать. Моральная мысль произведенія обнаруживается сама собою. Психологія зависти, какъ страсти, исчерпана въ монологахъ и репликахъ Сальери, а изображеніе и истолкованіе натуры генія въ лицѣ Моцарта должно быть признано однимъ изъ самыхъ удивительныхъ, истинно-геніальныхъ откровеній Пушкина.

Единственный недочетъ, который можно уловить въ пьесѣ, состоитъ въ возможности одного недоразумѣнія, не предотвращеннаго Пушкинымъ. Читателю можетъ прійти въ голову, будто самъ Пушкинъ раздѣляетъ мнѣніе Сальери, что Моцартъ, какъ геній,—«гуляка праздный», что его геніальность избавляетъ его отъ необходимости работать, совершенствоваться, и его творчество обходится ему даромъ, являясь исключительно плодомъ какого-то «наитія», какого-то непонятнаго, чудеснаго «вдохновенія». Собственно говоря, вся совокупность впечатлѣній, оставляемыхъ въ насъ фигурою Моцарта, вовсе не уполномочиваетъ насъ такъ думать, но, съ другой стороны, въ пьесѣ нѣтъ указаній, которыя бы опровергали мнѣніе Сальери. А между тѣмъ оно совершенно ложно: *геніальность* есть особый типъ *умственнаго труда*, а не праздности, *и геніи—всегда труженники*. Пушкинъ долженъ былъ знать это по собственному опыту.

Но обратимся къ вопросу о натурѣ генія, о его психологіи, какъ она представлена Пушкинымъ въ лицѣ Моцарта и какою она рисуется намъ въ лицѣ самого Пушкина.

Психологія генія—Моцарта построена путемъ ея противопоставленія натурѣ Сальери,—это—антитеза генія и таланта. Въ основу антитезы положенъ психологическій анализъ зависти, омрачившей душу Сальери. Изумительно художественное мастерство, съ какимъ проведенъ этотъ психологическій анализъ.

Вспомнимъ: психологія зависти, зарожденіе и быстрое развитіе этого остраго и мучительнаго чувства, его отраженіе въ сознаніи, упорная работа мысли надъ нимъ, результатъ этой работы—софизмы, которыми завистникъ хочетъ оправдать себя въ своихъ собственныхъ глазахъ, затѣмъ переходъ

сквернаго, мелкаго чувства въ могущественную страсть, которая омрачаетъ разумъ и порабощаетъ волю, откуда уже одинъ шагъ до преступленія,—все это въ монологахъ и репликахъ Сальери изображено и раскрыто такъ, что лучшаго, болѣе полнаго изображенія и истолкованія нельзя и представить себѣ. Вспомнимъ еще: все это темное, сложное, лукавое и преступное, что̀ зарождается, растетъ и копошится въ душѣ Сальери, освѣщено тихимъ свѣтомъ, отраженнымъ отъ натуры Моцарта, этой воплощенной простоты и безхитростности, этой души ребенка, души генія, въ которой нѣтъ и тѣни мелкихъ чувствъ,—ни зависти, ни подозрительности, ни злобы, нѣтъ даже самомнѣнія, кичливости, тщеславія.

Вотъ тутъ-то и выдвигается вопросъ: насколько *такая* натура характерна, типична *для генія*?

Этотъ вопросъ поставилъ и отвѣтилъ на него уже Бѣлинскій.—«Въ лицѣ Моцарта»—писалъ онъ—«Пушкинъ представилъ типъ непосредственной геніальности, которая проявляетъ себя безъ усилія, безъ разсчета на успѣхъ, нисколько не подозрѣвая своего величія. Нельзя сказать, чтобы всѣ геніи были таковы...» (*Сочиненія Бѣлинскаго*, т. VIII, статья «О сочиненіяхъ Пушкина», гл. XI). По мысли Бѣлинскаго, это—обобщеніе не всѣхъ геніевъ, а только извѣстной ихъ разновидности, представителемъ которой и былъ Моцартъ, въ лицѣ котораго Пушкинъ «исторически удачно выбралъ безпечнаго художника, «гуляку празднаго»...» (тамъ же).

Мы скажемъ такъ: конечно, не всѣ геніи таковы, но есть какое-то психологическое сродство между натурою такого рода и геніальностью въ области высшаго творчества, подобно тому какъ есть сродство между, напр., великодушіемъ натуры и огромною физическою силою. Силача-великана, Геркулеса, Илью Муромца, мы обыкновенно представляемъ себѣ великодушнымъ, незлобивымъ, безхитростнымъ. Не всѣ они таковы, но эти черты такъ *идутъ* къ нимъ, такъ имъ «къ лицу». Натура Моцарта, какъ изобразилъ ее Пушкинъ, въ высокой степени *подходитъ* къ генію, она—«къ лицу» ему. И если нужно представить идеально-типичный образъ генія, то необходимо надѣлить его именно такой, а не иной натурой. Въ образѣ пушкинскаго Моцарта эта натура дана въ ея крайнемъ, ея идеальномъ выраженіи, въ какомъ въ дѣйствительности она, можетъ быть, очень рѣдко встрѣчается. Но

большее или меньшее приближеніе къ этому идеалу, нѣкоторыя его черты, его задатки, безспорно, найдутся у многихъ геніальныхъ людей.

Изученіе явленія, называемаго «геніальностью», представляетъ высокій психологическій интересъ. Нѣсколько мыслей по этому вопросу я предложилъ въ книгѣ о Гоголѣ [1]). Здѣсь, въ дополненіе къ нимъ и имѣя въ виду не Гоголя, а Пушкина, я предложу слѣдующія соображенія.

Геніальность, стягивая бо́льшую часть душевныхъ силъ и интересовъ человѣка въ сферу чистой мысли и высшаго творчества, оставляетъ слишкомъ мало энергіи для повседневнаго, мелочного расхода души, для обыденныхъ чувствъ и страстей. Это частный случай болѣе общаго явленія, которое можно формулировать такъ: высшая жизнь духа, отвлеченные интересы мысли и творчества, развивая *энергію ума и интеллектуальныхъ чувствъ и эмоцій*, суживаютъ районы обыденныхъ, «житейскихъ» интересовъ, со всѣмъ аппаратомъ сопутствующихъ имъ чувствъ, эмоцій, страстей. Человѣкъ, который «весь ушелъ» въ науку (все равно,—теоретическую или прикладную), въ философію, въ искусство, является eo ipso человѣкомъ—въ извѣстной мѣрѣ—«не отъ міра сего» и становится менѣе воспріимчивымъ къ воздѣйствіямъ окружающей среды, къ разнообразнымъ возбужденіямъ повседневной жизни и реагируетъ на ея радости, горести, очарованія, разочарованія не столь интенсивно, не столь отзывчиво, какъ реагируютъ на нихъ люди, всецѣло погруженные въ житейскую сутолоку или захваченные жизненной борьбой. Но человѣческая психика сложна и противорѣчива, въ ней сплошь и рядомъ совмѣщаются самыя вопіющіе, казалось бы, непримиримые контрасты,—и вотъ мы видимъ людей, у которыхъ высшіе интересы мысли и творчества легко совмѣщаются съ мелкимъ, повседневнымъ расходомъ души,—мыслителей, ученыхъ, художниковъ, поэтовъ, далеко не чуждыхъ житейскихъ дрязгъ, страстей и страстишекъ... Разумѣется, не свободны отъ этого расхода души и настоящіе геніи. Но геніальность вноситъ и сюда извѣстныя отличія. Тѣ противорѣчія и контрасты, которые наша психика такъ легко совмѣщаетъ, становятся, при геніальности человѣка, поистинѣ вопіющими и обнаруживаются во всей своей непримиримости.

---

[1]) Томъ I настоящаго изданія, гл. VIII.

Тенденція высшихъ интересовъ мысли и творчества ограничивать расходъ души и противодѣйствовать страстямъ, при геніальности человѣка, усиливается и становится гораздо дѣйствительнѣе, чѣмъ въ другихъ случаяхъ. Въ результатѣ получается картина душевной жизни, не подходящая подъ общее правило, подъ норму. Эта картина, въ зависимости отъ индивидуальныхъ особенностей геніальнаго человѣка, разнообразится до безконечности. У Гете она была одна, у Гоголя совсѣмъ другая, у Гейне—опять другая и т. д. Насъ интересуетъ здѣсь та, которая представлена фигурою Моцарта въ изображеніи Пушкина и въ которой мы усматриваемъ черты, наблюдаемыя у самого Пушкина.

Моцартъ—bon enfant, «добрый малый», «непосредственная натура», человѣкъ, простодушно и наивно живущій,—и со стороны кажется, будто онъ и творитъ шутя, между дѣломъ и бездѣльемъ, не мудрствуя, не «священнодѣйствуя». Онъ сознаетъ себя «геніемъ», но это сознаніе не играетъ большой роли въ его внутреннемъ мірѣ; онъ какъ бы едва замѣчаетъ свою геніальность и не эксплоатируетъ ея преимуществъ. Онъ охотно зачисляетъ въ ряды геніевъ и Сальери, зачислитъ и многихъ другихъ, не выдѣляя себя изъ ихъ уровня, не превознося себя надъ другими. Тутъ невольно вспоминается Пушкинъ, который такъ щедро раздавалъ титулъ «поэта» и «генія» (напр., Дельвигу, Козлову), который въ «Марѳѣ Посадницѣ» Погодина усмотрѣлъ нѣчто шекспировское... Все это — отъ «щедрости» и добродушія генія, а вовсе не отъ недостатка критической проницательности, которой у Пушкина было не меньше, чѣмъ у Бѣлинскаго.

Геній этого, скажемъ,—«моцартовскаго»—типа совсѣмъ не боится повседневной сутолоки и мелькающихъ впечатлѣній жизни; онъ охотно и радостно, какъ ребенокъ, живетъ минутой; онъ безпеченъ и шаловливъ. Это происходитъ не оттого, чтобы сутолока и пошлость жизни имѣли большую власть надъ нимъ и затягивали его въ тину «мелкихъ помысловъ, мелкихъ страстей» [1]), а наоборотъ—именно оттого, что жизнь не имѣетъ власти надъ нимъ, что онъ свободенъ отъ гнета ея внушеній, и онъ инстинктивно чувствуетъ, что ему ничего не стоитъ столкнуть съ себя всѣ ея путы и уйти въ свой внутренній міръ. Здѣсь невольно вспоминается пушкинское:

[1]) Стихъ Некрасова.

Пока не требуетъ поэта
Къ священной жертвѣ Аполлонъ,
Въ заботахъ суетнаго свѣта
Онъ малодушно погруженъ,—
Молчитъ его святая лира,
Душа вкушаетъ хладный сонъ,—
И межъ дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ.
Но лишь божественный глаголъ
До слуха чуткаго коснется,—
Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ...

Читайте письма Пушкина: это—сама жизнь со всѣми ея мелочными заботами, ея преходящими минутами, ея сумасбродствомъ, ея дрязгами и брызгами тины и грязи, ея свѣтомъ и тѣнью, взрывами смѣха и всякимъ вздоромъ,—и поэтъ плаваетъ и окунается въ ней, какъ въ своей родной стихіи; но читайте внимательнѣе,—и вы поймете, что онъ въ одно и то же время и близокъ къ этой стихіи и далекъ отъ нея, что онъ такъ непринужденно и свободно вращается въ ней именно потому, что, въ сущности, она не имѣетъ власти надъ нимъ, и онъ скорѣе играетъ жизнью, «балуется», чѣмъ живетъ ею—съ серьезностью обывателя, съ солидностью муравья. Вчитайтесь еще внимательнѣе въ эти письма генія, и вы убѣдитесь, что этотъ жизнерадостный и легко живущій человѣкъ, собственно говоря, не умѣетъ жить, какъ умѣетъ самый заурядный обыватель,—что его огромныя дарованія для его собственнаго житейскаго благополучія пропадаютъ даромъ, что они ушли на какое-то другое дѣло. Ни въ узко-обывательскомъ смыслѣ, ни въ болѣе широкомъ смыслѣ—культурной дѣятельности, ни, наконецъ, въ сферѣ общественнаго и политическаго развитія, онъ не является «дѣлателемъ жизни», — на всѣхъ этихъ поприщахъ онъ скорѣе обнаруживается—какъ «дѣлатель промаховъ, ошибокъ и наивностей». А жизнь онъ любитъ,—какъ ребенокъ, и, уподобляясь ребенку, подражающему взрослымъ, берется за всевозможныя дѣла жизни и—портитъ ихъ. Вкусъ къ жизни и любопытство у него—огромные, но искусства жить и «дѣлать жизнь» у него нѣтъ.

У него нѣтъ этого дара,—потому что геніальность лишила

его способности быть хорошимъ соціальнымъ животнымъ, испортила въ немъ обывателя, общественнаго дѣятеля, гражданина. Ибо, надѣливъ его великимъ и рѣдкимъ даромъ *внутренней свободы*, она отняла у него вкусъ и способность къ соціальной дисциплинѣ, къ общественной нивеллировкѣ, къ подчиненію и командованію. Мало того: геніальность и ею обусловленная внутренняя свобода, иногда безсильныя парализовать мелкія страсти и разныя человѣческія слабости, дѣйствуетъ парализующимъ образомъ на большія—соціальныя—страсти, на честолюбіе, властолюбіе и фанатизмъ.

Говоря такъ, я долженъ напомнить читателю, что дѣло идетъ о геніяхъ мысли и творчества—поэтическаго, философскаго, научнаго, но отнюдь не о геніяхъ практическаго дѣла, не о реформаторахъ, не о религіозныхъ дѣятеляхъ. Здѣсь, въ этихъ сферахъ *жизненной*, практической дѣятельности, геніальность осложняется чертами, какихъ нѣтъ у геніевъ отвлеченной мысли и художественнаго творчества.

Имѣя въ виду только этихъ послѣднихъ, изучая ихъ интимную жизнь, ихъ психологію, мы находимъ многочисленныя подтвержденія нашему тезису, что этимъ натурамъ чужды большія соціальныя страсти, и несвойственъ фанатизмъ идей, между тѣмъ какъ мелкія страсти и, такъ сказать, «пародіи» на соціальныя страсти наблюдаются у нихъ нерѣдко. Такъ, напр., Гете очень дорожилъ своимъ положеніемъ при Веймарскомъ дворѣ, и ему было не чуждо тщеславіе вельможи; Пушкинъ дорожилъ своимъ положеніемъ «въ свѣтѣ» и очень обидѣлся, когда его пожаловали камеръ-юнкерствомъ; Гоголь мечталъ о какомъ-то «поприщѣ» на государственной службѣ и переживалъ муки неудовлетвореннаго честолюбія; Викторъ Гюго былъ тщеславенъ; извѣстны политическія увлеченія Шиллера, Гейне, В. Гюго, Мицкевича, Пушкина (въ молодости),—увлеченія, которыя имъ самимъ казались «политическими страстями», а въ дѣйствительности сбивались скорѣе на психическую фикцію этихъ страстей...

Въ лицѣ Моцарта представлена натура, которой чужды не только настоящія соціальныя страсти, крупныя или мелкія, но даже и ихъ психическія фикціи, ихъ подобія, Моцартъ свободенъ отъ нихъ, какъ Спиноза. Повидимому, онъ только по наслышкѣ знаетъ, что такое честолюбіе, славолюбіе, властолюбіе; самъ же онъ не переживалъ этихъ душевныхъ состоя-

ній,—и не только въ формѣ страстей, но даже и въ видѣ обыкновенныхъ чувствъ или настроеній. Таковъ ли былъ Моцартъ въ дѣйствительности, это уже другой вопросъ, за рѣшеніемъ котораго нужно обратиться къ его біографамъ. Для насъ важно лишь то, что таковымъ задумалъ и изобразилъ его Пушкинъ. Столь же важно для насъ и то, что, по мысли Пушкина, эта свобода отъ страстей ставится въ связь съ фактомъ геніальности Моцарта: это характерная и типичная особенность геніевъ; и если не всѣ геніи обладаютъ ею, то это—какъ бы исключеніе, только подтверждающее правило, это—уклоненіе отъ нормы. Если взять или вообразить натуру генія въ ея чистомъ, неискаженномъ видѣ, въ ея идеальномъ выраженіи, то и получится та полнота душевной свободы отъ страстей вообще, соціальныхъ въ особенности, которую мы видимъ въ Спинозѣ и въ пушкинскомъ Моцартѣ.

Таковъ замыселъ, геніально осуществленный Пушкинымъ въ разсматриваемомъ «драматическомъ опытѣ».

Онъ осуществленъ пріемомъ противопоставленія Моцарта, какъ геніальной натуры, характеру Сальери, который—не геній, а только талантъ и, за вычетомъ спеціальныхъ дарованій и того, что называется «призваніемъ», является «обыкновеннымъ смертнымъ», подверженнымъ, какъ всѣ мы грѣшные, гнету большихъ и малыхъ страстей. Безстрастность Моцарта, безоблачность его души, его простодушіе, безпечность, отсутствіе всякой подозрительности и той душевной озабоченности или напряженности, которая вызывается присутствіемъ въ душѣ властной мысли или властнаго чувства,—все это представляетъ рѣзкій контрастъ душевному укладу Сальери, порабощенному сложнымъ и могучимъ чувствомъ и властною идеею, способною привести человѣка къ помѣшательству или къ преступленію.

Это чувство—*зависть*, а идея—та, что Моцартъ сталъ ему, Сальери, поперекъ дороги, и всѣ усилія, всѣ труды, вся жизнь его, направленные къ одной цѣли, разбились, свелись на нѣтъ въ тотъ моментъ, когда, казалось, цѣль уже почти достигнута,—и виновникомъ этого крушенія славы, столь дорого купленной, является Моцартъ, «гуляка праздный», который пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ, и эта побѣда досталась ему безъ всякихъ усилій и стараній. Сальери говоритъ:

— ...Я завидую; глубоко,
Мучительно завидую. О небо!
Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній—не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ, усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?.. О Моцартъ, Моцартъ!

Чувство, съ которымъ мы имѣетъ тутъ дѣло, принадлежитъ къ числу «*соціальныхъ въ тѣсномъ смыслѣ*» [1]). *Это—зависть на почвѣ профессіональнаго соперничества* (jalousie de métier), хорошо знакомая весьма и весьма многимъ, преимущественно лицамъ опредѣленной профессіи и надѣленнымъ соотвѣтственнымъ ей талантомъ: актерамъ, пѣвцамъ, художникамъ, ученымъ, литераторамъ,—вообще разныхъ спеціальностей мастерамъ, не исключая сапожниковъ. Это—чувство по преимуществу «трудовое», «цеховое»,—и одна изъ его рѣзкихъ особенностей состоитъ въ томъ, что его, такъ сказать, районъ ограничивается рамками извѣстной профессіи: актеръ завидуетъ актеру, ученый—ученому, беллетристъ—беллетристу, ювелиръ—ювелиру и т. д. Это—норма; случаи же, когда человѣкъ завидуетъ вообще чужому успѣху, безъ различія профессій, представляютъ собою явленіе анормальное, патологическое; это уже—завистники по призванію и—по извращенію натуры. Сальери, который говоритъ о себѣ: «я нынѣ завистникъ», не принадлежитъ къ числу этихъ болѣзненныхъ натуръ: онъ не способенъ завидовать славѣ, напр., Гете, Шиллера, Канта, Руссо и т. д.,—онъ завидуетъ только Моцарту, представителю той же профессіи, къ которой онъ самъ принадлежитъ, — сотоварищу и сопернику по музыкальному творчеству. Мало того: Сальери, по натурѣ своей, вовсе и не предрасположенъ къ завистничеству; всю жизнь, вплоть до появленія Моцарта, онъ былъ свободенъ отъ этого чувства.—«Нѣтъ! Никогда я зависти не зналъ!»—говоритъ онъ,

---

[1]) Всѣ чувства, какъ всѣ вообще явленія и функціи человѣческой психики, соціальны, потому что человѣкъ искони—животное соціальное. Въ обширномъ смыслѣ соціальны и такія чувства, какъ напр. половое. Но мы различаемъ особую группу „чувствъ соціальныхъ въ тѣсномъ смыслѣ“, куда относятся напр. властолюбіе, честолюбіе, чувство патріотизма, альтруизма и мн. др.

и мы ему вѣримъ, потому что въ итогѣ онъ рисуется намъ, какъ человѣкъ искренній,—правдивый и прямой. Онъ не завидовалъ ни Глюку, ни Пиччини,—онъ зналъ себѣ цѣну и вѣрилъ въ свою звѣзду. Онъ не сомнѣвался въ томъ, что, обладая выдающимся музыкальнымъ дарованіемъ, огромною трудоспособностью, терпѣніемъ и выдержкой, онъ свое возьметъ и достигнетъ общаго признанія и славы. Онъ—не мелкій завистникъ; онъ не будетъ завидовать по-пусту,—потому только, что вотъ сейчасъ апплодируютъ не ему, а Глюку. Онъ слишкомъ гордъ для этого:

Кто скажетъ, чтобъ Сальери гордый былъ
Когда-нибудь завистникомъ презрѣннымъ,
Змѣей, людьми растоптанною, вживѣ
Песокъ и пыль грызущею безсильно?
Никто!..

Но этотъ сильный и гордый человѣкъ принадлежитъ къ числу тѣхъ натуръ, которымъ безусловно необходимо общее признаніе, и которыя, помимо того, не удовлетворяясь справедливою оцѣнкою ихъ заслугъ, жаждутъ *славы*. Это магическое слово дѣйствуетъ на нихъ такъ, какъ на Макбетовъ и Наполеоновъ—слова: *власть* и *корона*. Пока слава еще далека, и человѣкъ сознаетъ, что ему предстоитъ много поработать для достиженія ея,—онъ спокоенъ, онъ терпѣливо ждетъ... Но когда, наконецъ, онъ приходитъ къ убѣжденію, что уже заслужилъ ее, когда она готова ему «улыбнуться», тогда имъ овладѣваетъ лихорадочное нетерпѣніе,—онъ теряетъ самообладаніе и готовъ на рискованный шагъ, чтобы ускорить вожделѣнный моментъ «апоѳеоза». И если, какъ-разъ въ этотъ моментъ невзначай подвернется другой «избранникъ», который вдругъ затмитъ всѣ труды его и похититъ его славу, то тутъ и разыгрывается та глубокая душевная драма, которая изображена Пушкинымъ въ «драматическомъ опытѣ» «Моцартъ и Сальери».

Нельзя представить себѣ, чтобы такую драму могъ пережить Моцартъ. Явись другой геній, который бы затмилъ его славу,—чувство зависти и не шевельнулось бы въ его душѣ. Онъ привѣтствовалъ бы новое свѣтило, какъ Пушкинъ привѣтствовалъ Гоголя. Онъ обрадовался бы его появленію. Ибо

его душа, открытая для добрыхъ чувствъ, замкнута для недобрыхъ. Его геній «несовмѣстимъ съ злодѣйствомъ»—даже въ помыслахъ. Ему чужды не только большія, захватывающія страсти, вообще несвойственныя геніямъ, но и мелкія, неглубокія, преходящія, которыя нерѣдко наблюдаются у нихъ. Таковъ былъ и Пушкинъ: какъ человѣка и какъ гражданина, его можно упрекнуть во многомъ, или, лучше сказать, можно указать въ его жизни на поступки, подлежащіе отрицательной этической оцѣнкѣ. Но самый строгій и придирчивый моралистъ не найдетъ въ его душѣ ни мелкой, ни крупной зависти, какъ и другихъ чувствъ и душевныхъ движеній столь же отрицательнаго качества (напр. злорадства, злопамятности, неблагодарности, коварства и т. д.). Ему случалось увлекаться, ошибаться и «падать», но мы не видимъ у него никакихъ задатковъ того, что можно назвать «душевнымъ мошенничествомъ», какъ равно и того, что подводится подъ понятіе потенціальной, скрытой психической преступности. Образчики того и другого мы находимъ у Сальери, какъ онъ задуманъ и изображенъ Пушкинымъ.

«Душевное мошенничество» Сальери наглядно сказалось въ тѣхъ *софизмахъ*, которыми онъ усиливается оправдать передъ самимъ собою свое злое чувство, свою зависть и ужасный умыселъ убійства. Онъ хочетъ увѣрить себя, будто онъ «избранъ» самою судьбою, чтобы «остановить» Моцарта—для блага всѣхъ прочихъ «жрецовъ и служителей музыки», иначе всѣ они погибнутъ. Его преступленіе превращается такимъ образомъ въ родъ самоотверженнаго подвига. Этотъ «подвигъ» онъ призванъ совершить не только для спасенія себя и другихъ «жрецовъ и служителей музыки», но и для спасенія самой музыки,—для того, чтобы обезпечить дальнѣйшее преуспѣяніе этого высокаго искусства, которому онъ фанатически служитъ: дѣло въ томъ, что Моцартъ—именно своею геніальностью—только портитъ это искусство, мѣшаетъ ему развиваться и идти дальше правильною, размѣренною поступью прогресса.

Что̀ пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ:
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ...

Это—не только софизмы изворотливаго ума: это—продуктъ душевнаго мошенничества, результатъ ослѣпленія мысли злымъ чувствомъ, извращенія ума скверною страстью.

Что̀ пользы въ немъ? Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!
Такъ улетай же! Чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Какъ могъ Сальери, человѣкъ честный, искренній, прямой, дойти до этихъ геркулесовыхъ столбовъ внутренняго, душевнаго плутовства? Какъ могъ его сильный, ясный умъ подчиниться этой нелѣпой «логикѣ» чувствъ?

За отвѣтами не далеко ходить. Сальери, по самой натурѣ своей, принадлежитъ къ числу тѣхъ *рабовъ* излюбленной идеи, которыхъ называютъ «*фанатиками*».

Всю жизнь свою онъ посвятилъ любимому искусству и служилъ ему съ тѣмъ фанатизмомъ, съ какимъ сектантъ служитъ своему Богу и проповѣдуетъ свою религію, съ какимъ политическій фанатикъ преслѣдуетъ свою идею, точно онъ на привязи у нея, и готовъ жертвовать собою и другими для ея осуществленія. Это—психологическая «картина» болѣзни, которую мы въ правѣ назвать болѣзнью одноидейности и внутреннимъ рабствомъ. Все разнообразіе человѣческихъ интересовъ и стремленій—для такой натуры—исчезаетъ,—вся душевная жизнь стягивается къ одному пункту; за предѣлами излюбленнаго дѣла или властной идеи человѣкъ ничего не хочетъ видѣть, не хочетъ знать; перспектива человѣчества не видна ему; куда ни взглянетъ онъ, всюду его взоръ упирается въ непроницаемыя стѣны, которыми его идея, его дѣло отгорожены отъ всего остального міра. Сальери (въ изображеніи Пушкина), «жрецъ музыки», отгороженъ отъ міра гранями своей профессіи, какъ сектантъ отрѣзанъ отъ «невѣрныхъ», какъ политическій фанатикъ—отъ всѣхъ, не раздѣляющихъ его «идеологіи» и «программы».

Фанатизмъ Сальери принадлежитъ къ одному изъ худшихъ его видовъ, — къ *профессіональному:* человѣкъ порабощенъ не отвлеченной идеей, не идеаломъ, напр. религіознымъ, моральнымъ, политическимъ, а своей профессіей, избран-

нымъ занятіемъ и мыслью о своихъ успѣхахъ на этомъ поприщѣ. Такъ, иной ученый спеціалистъ воображаетъ, что его, иногда очень узкая, спеціальность есть лучшая изо всѣхъ наукъ, а онъ въ ней—первый человѣкъ; есть художники, которые влюблены въ свою художническую спеціальность и такъ тѣсно сливаютъ ее съ своею личностью, что это чувство любви къ своему дѣлу превращается въ самовлюбленіе; встрѣчаются такія натуры и среди литераторовъ, артистовъ, ремесленниковъ, да и всюду. Въ особенности подвержены ему *новаторы*, дѣйствительные и мнимые, выступающіе въ томъ или другомъ дѣлѣ съ новою мыслью, съ какимъ-либо усовершенствованіемъ, открытіемъ, изобрѣтеніемъ, дѣйствительнымъ или воображаемымъ. Не признать, не оцѣнить этого «новаго слова» значитъ нанести человѣку, «фанатику своей профессіи», величайшее, незабываемое оскорбленіе...

На этой почвѣ возникаютъ нерѣдко настоящіе психозы, но всего чаще наблюдается здѣсь тотъ родъ душевнаго извращенія, котораго симптомами служатъ болѣзненное самолюбіе, самомнѣніе, обостренное соревнованіе, раздражительная зависть, подозрительное, злобное, недоброжелательное отношеніе къ сотоварищамъ по профессіи, а потомъ и вообще къ людямъ, кромѣ «почитателей» и «поклонниковъ».

Само собою разумѣется, эти скверные симптомы, смотря по человѣку, выражаются весьма различно, то усиливаясь, то смягчаясь. Пушкинъ, который у самого Пугачева нашелъ нѣчто человѣчески-благородное, изобразилъ въ лицѣ Сальери одну изъ смягченныхъ и облагороженныхъ формъ профессіональнаго фанатизма. Сальери не производитъ отталкивающаго впечатлѣнія: онъ не жалокъ, не смѣшонъ, не противенъ; онъ скорѣе вызываетъ въ насъ чувство состраданія, смѣшанное съ уваженіемъ; нельзя презирать его; онъ—мученикъ, онъ—несчастный человѣкъ, онъ—жертва своей горькой участи, и психологія его зависти и исторія его преступленія—настоящая и глубокая драма.

Какъ пришелъ Пушкинъ къ созданію образа этой суровой, мрачной и по-своему сильной натуры? Изъ своего личнаго внутренняго опыта онъ въ этомъ случаѣ ничего не могъ почерпнуть. Это созданіе съ начала и до конца и во всѣхъ деталяхъ *объективное*. О профессіональномъ фанатизмѣ, о зависти, о самомнѣніи, о повышенномъ самолюбіи, обо всемъ, что воплощено въ Сальери, Пушкинъ, подобно Мо-

царту, зналъ лишь по наслышкѣ, да по наблюденію надъ другими людьми. Геніальный художникъ-психологъ, равносильный Шекспиру, онъ угадалъ, прозрѣлъ и построилъ фигуру Сальери—силою художественной интуиціи, какъ Шекспиръ угадалъ и создалъ своихъ Ричардовъ, Макбета, Лира, не имѣя въ своемъ душевномъ обиходѣ ровно ничего, хотя бы отдаленно, напоминающаго эти натуры.

Сохранилась замѣтка Пушкина, относящаяся къ сюжету «Моцарта и Сальери»: «Въ первое представленіе Донъ-Жуана, въ то время, когда весь театръ безмолвно упивался гармоніей Моцарта, раздался свистъ; всѣ обратились съ изумленіемъ и негодованіемъ, а знаменитый Сальери вышелъ изъ залы въ бѣшенствѣ, снѣдаемый завистью.—Сальери умеръ лѣтъ 8 тому назадъ [1]). Нѣкоторые нѣмецкіе журналы говорили, что на одрѣ смерти признался онъ, будто бы, въ ужасномъ преступленіи, въ отравленіи великаго Моцарта.—Завистникъ, который могъ освистать Донъ-Жуана, могъ отравить его творца».

Эти строки драгоцѣнны. Изъ нихъ, между прочимъ, можно заключить, что толчкомъ, направившимъ мысль Пушкина на тему о зависти, послужилъ фактъ (или преданіе?) о томъ, какъ нѣкогда Сальери освисталъ «Донъ-Жуана». Этотъ поступокъ показался Пушкину столь чудовищнымъ, что онъ, не колеблясь, отнесъ чувство, подъ вліяніемъ котораго былъ совершенъ поступокъ, къ числу самыхъ ужасныхъ, самыхъ пагубныхъ страстей, способныхъ довести человѣка до преступленія. Оттуда—мысль раскрыть психологію этого преступленія, показать, какъ зависть, дошедшая до степени страсти, постепенно отравляетъ душу, подтачиваетъ нравственное чувство, омрачаетъ сознаніе и, наконецъ, превращаетъ хорошаго человѣка въ преступника, въ злодѣя. Другое замѣчаніе Пушкина, какъ предполагаютъ, относящееся къ тому же времени и гласящее, что «зависть—сестра соревнованія—стало быть, изъ хорошаго роду», только подтверждаетъ точку зрѣнія Пушкина: Сальери—хорошій, благородный, правдивый человѣкъ,—онъ вовсе не завистникъ по натурѣ, онъ только сталъ жертвою зависти, которая незамѣтно внѣдрилась въ душу рядомъ съ соревнованіемъ, съ которымъ нерѣдко самъ субъектъ ее смѣ-

---

[1]) Сальери умеръ 7-го мая 1825 г.; слѣдовательно, замѣтка относится къ 1833 г.

шиваетъ, такъ какъ она сродни этому благородному чувству. Не отличая ихъ, человѣкъ легко поддается внушеніямъ зависти; а когда онъ наконецъ замѣтитъ и пойметъ, что онъ уже не соревнуетъ, а *завидуетъ*, тогда онъ спохватится и вступитъ въ борьбу съ этимъ злымъ чувствомъ. Борется съ нимъ и Сальери; онъ долго «противится» его внушеніямъ. Смотря по обстоятелствамъ, исходъ борьбы можетъ быть разный. Пушкинъ хотѣлъ показать всю зловѣщую силу этой злой страсти и взялъ тотъ крайній случай, когда борьба кончается паденіемъ и преступленіемъ. Онъ сперва такъ и озаглавилъ этотъ «опытъ»: «*Зависть*».

2.

«Скупой рыцарь».

Если въ психологію Сальери Пушкинъ не внесъ—да и не могъ внести ничего своего, субъективнаго, потому что чувство зависти, именно *профессіональной* (если не всякой) было чуждо натурѣ нашего великаго поэта, то и въ «Скупомъ рыцарѣ» мы ничего лично-пушкинскаго не находимъ, хотя и были попытки видѣть въ этомъ «драматическомъ опытѣ» отголоски нѣкоторыхъ личныхъ переживаній,— указывали на скупость отца поэта, приводили жалобы сына на нее въ его письмахъ 20-хъ годовъ, было даже высказано мнѣніе, будто и самъ поэтъ въ зрѣломъ возрастѣ обнаруживалъ признаки скупости. Все это болѣе чѣмъ сомнительно. А если обратимся къ самому «драматическому» опыту и вникнемъ въ психологію Скупого, то и убѣдимся, что сюда Пушкинъ не внесъ и не могъ внести ничего личнаго.

Дѣло въ томъ, что скупость сведена здѣсь къ *жаждѣ власти, господства надъ людьми* и къ убѣжденію, *что богатство есть вѣрнѣйшее средство достиженія этой цѣли*. Баронъ, прежде всего, *честолюбецъ*, а потомъ уже скупецъ, превратившійся наконецъ въ скрягу. Пушкинъ хотѣлъ играть роль «въ свѣтѣ» и, пожалуй, оказывать извѣстное вліяніе при дворѣ, но это «честолюбіе» его безконечно далеко отъ той страсти, рабомъ которой является баронъ. А кромѣ того въ «драматическомъ

опытѣ» показано многое, чего совсѣмъ не было, даже въ видѣ намека, въ психологіи и въ жизни поэта.

И прежде всего тамъ показано, какъ напряженное, поглощающее всего человѣка *стремленіе къ цѣли* переходитъ *въ фанатическую любовь къ средству*, которое въ концѣ концовъ заслоняетъ собою самую цѣль. Пушкинъ отнюдь не принадлежалъ ни къ типу людей, направляющихъ всю жизнь свою къ опредѣленной цѣли, ни вообще къ типу тѣхъ, которые способны стать рабами какой-либо идеи или какого-либо стремленія.

Но въ раскрытіи психологіи этого типа Пушкинъ проявилъ такую—истинно-шекспировкую—проницательность, что всѣ тѣ, которые не уяснили себѣ психологической возможности чисто-объективнаго творчества, невольно склонны искать въ натурѣ поэта какихъ-либо чертъ, могущихъ, по ихъ мнѣнію, дать ключъ къ тайнѣ созданія этого геніальнаго произведенія. Мы скажемъ, что въ томъ-то и сила генія, что онъ не нуждается въ указаніяхъ личнаго опыта; по крайней мѣрѣ таковъ именно былъ геній Шекспира и Пушкина,—геній объективнаго творчества. Можно указать и на то, что, вообще, объективное творчество—не рѣдкость, и есть много художниковъ, отнюдь не геніальныхъ, которые создаютъ типы и характеры, исходя не изъ личнаго, субъективнаго опыта, а изъ данныхъ объективнаго наблюденія.

Но обратимся къ «Скупому рыцарю».

Весь душевный процессъ—превращенія барона въ скупца—можно сказать, *изслѣдованъ* Пушкинымъ во всѣхъ его тайникахъ; раскрытъ его *патологическій* характеръ; объяснено важное въ психологіи человѣка явленіе, состоящее въ томъ, что *одно сознаніе возможности обладать желаемымъ способно замѣнить собою самый фактъ обладанія;* ясно очерчена *роль воображенія* въ этомъ процессѣ. И все это, съ исчерпывающей полнотой психологическаго анализа, съ изумительной проницательностью діагноза, съ необычайной ясностью и силою выраженія, сдѣлано въ знаменитомъ монологѣ барона на пространствѣ всего 118 стиховъ! Здѣсь геніальна уже одна художественная лаконичность.

Размѣры этой геніальности станутъ для насъ яснѣе, если мы обратимъ вниманіе еще на то, что вѣдь тутъ художественно изслѣдована не одна только скупость, но и другія страстныя

состоянія души, по своей природѣ аналогичныя скупости. Діагнозъ, поставленный поэтомъ, и результаты, къ которымъ онъ пришелъ, таковы, что сохраняютъ свою силу и въ отношеніи другихъ страстей того же порядка. Такъ, напр., человѣкъ, преслѣдующій (и совершенно искренно) цѣли служенія общему благу, пользѣ государства, прогрессу отечества и т. п., стремится, скажемъ, прежде всего *къ власти*, понимаемой имъ какъ средство, которое дастъ ему возможность осуществить свою высшую цѣль. Тутъ происходитъ *подстановка* одной цѣли (ближайшей, власти) на мѣсто другой (отдаленной, общаго блага и пр.). Эта подстановка, если продолжится долго, способна повлечь за собою перенесеніе страстнаго отношенія человѣка отъ главной цѣли на второстепенную, на цѣль—средство: человѣкъ начинаетъ *влюбляться* въ самую власть и самъ не замѣчаетъ, какъ становится жертвою страсти честолюбія и властолюбія. Въ сущности, онъ уже хочетъ власти—для власти. Но процессъ можетъ пойти еще дальше. Вѣдь власть не дается даромъ,—ее нужно пріобрѣсти, напр. заслугами, интригами, деньгами и т. д. И вотъ опять—подстановка ближайшихъ цѣлей и перенесеніе на нихъ или одну изъ нихъ помысловъ и страстнаго чувства. Въ концѣ концовъ, достигнувъ одной изъ ближайшихъ цѣлей, которая въ началѣ была средствомъ для достиженія другихъ очередныхъ цѣлей, напр. дослужившись до большого чина и большого оклада, человѣкъ на этомъ и успокаивается, превратившись изъ фанатика (если онъ былъ таковымъ) общественнаго блага въ фанатика чина, оклада и почета. И ему порою кажется, что онъ обладаетъ властью, что ему стоитъ только захотѣть, и онъ явится во всеоружіи власти. На самомъ же дѣлѣ онъ уже и *не хочетъ ея*,—ему достаточно «сего сознанія», какъ говоритъ скупой баронъ у Пушкина.

Отдѣльные стихи и выраженія въ монологѣ Скупого должны быть признаны классическими формулами для опредѣленія этихъ сложныхъ и темныхъ душевныхъ движеній. Таковы, напр.:

Что не подвластно мнѣ? Какъ нѣкій демонъ,
Отселѣ править міромъ я могу;
Лишь захочу—воздвигнутся чертоги;
Въ великолѣпные мои сады
Сбѣгутся нимфы рѣзвою толпою;
И музы дань свою мнѣ принесутъ,
И вольный геній мнѣ поработится...

Это—«формула» для игры воображенія, направленнаго на отдаленную цѣль—*могущество*; но намъ ясно, что отношеніе скупца (или одержимаго иною страстью) къ этой цѣли—чисто платоническое. Говоря психологически, это уже не цѣль, а развѣ только «идеалъ», который на то и идеалъ, чтобы не быть достигнутымъ, чтобы о немъ только грезить.

Мнѣ все послушно, я же—ничему;
Я выше всѣхъ желаній; я спокоенъ;
Я знаю мощь свою; съ меня довольно
Сего сознанья...

Превосходная «формула», опредѣляющая ту *иллюзію*, въ силу которой скупецъ (или иной «одержимый») не замѣчаетъ, что онъ вовсе не повелитель предмета своей страсти (въ данномъ случаѣ—богатства), а рабъ этой страсти и только «сторожевой песъ» ея предмета. Онъ—настоящій мономанъ (хотя бы и не въ точномъ психіатрическомъ смыслѣ слова). Страсть убила въ немъ всѣ другія желанія, искалѣчила его душу. Это искалѣченіе или опустошеніе души ошибочно принимается имъ за нѣкій подъемъ духа, который будто бы воспарилъ выше всякихъ желаній и слабостей человѣческихъ, точно онъ, скупой,—великій мудрецъ, а не психопатъ. Эта иллюзія и служитъ причиною того, что человѣкъ считаетъ себя вполнѣ удовлетвореннымъ однимъ лишь *сознаніемъ достижимости желаній*, самое же достиженіе ихъ ему не нужно...

Изъ всего сказаннаго явствуетъ, что страсть скупости, какъ она изображена и истолкована Пушкинымъ, принадлежитъ къ числу *соціальныхъ страстей*—на-ряду съ властолюбіемъ, честолюбіемъ и т. п.

3.

„Каменный гость".

Здѣсь воспроизведена другая страсть,—та сложная и темная страсть, которою бываютъ одержимы мужчины, и происхожденіе которой теряется въ глубокой доисторической древности. Ея источникъ—въ тѣхъ отдаленныхъ временахъ, когда впервые стали вырабатываться, путемъ конкурренціи и подбора, тѣ физическіе и психическіе признаки, въ силу которыхъ муж-

типа является «хищникомъ любви», покорителемъ женскихъ сердецъ, кумиромъ женщинъ. Важнѣйшія изъ психическихъ свойствъ «донъ-жуановскаго» типа, это, съ одной стороны,— смѣлость, наглость, настойчивость, съ другой—способность «героя» самому увлекаться и готовность затрачивать на любовныя предпріятія всѣ свои душевныя силы—умъ, краснорѣчіе, находчивость и т. д.; не послѣднее мѣсто въ ряду этихъ качествъ занимаетъ такъ-называемое «рыцарство» натуры,—очень условное «благородство» характера.

Мужчина, щедро надѣленный этими качествами и не лишенный внѣшней красоты или, по крайней мѣрѣ, привлекательности, легко можетъ стать *рабомъ любовной страсти*, стать жертвою своего рода «маніи»—одерживать побѣды надъ женскими сердцами, «похищать любовь».

Эта специфическая страсть имѣетъ свою психологію, во многомъ отличную отъ психологіи другихъ страстей. Одна изъ ея особенностей состоитъ въ томъ, что тутъ нѣтъ отдаленной, такъ сказать, «идеальной» цѣли, какъ у скупца — могущество, власть надъ людьми; здѣсь нѣтъ того «платоническаго» отношенія къ цѣли, которое столь часто наблюдается въ психологіи другихъ, преимущественно соціальныхъ, страстей. Хищнику любви не довольно одного сознанія достижимости цѣли: ему необходимо самое достиженіе, безъ чего онъ будетъ считать игру проигранною. Съ этой стороны разсматриваемая страсть, имѣющая физіологическое основаніе, роднится съ такими физіологическими страстями, какъ обжорство, гастрономія, пьянство. Но, при всемъ томъ, цѣль стремленій «хищника любви», т. е. обладаніе женщиной, сама по себѣ не представляетъ для него всей своей заманчивости, если ея достиженіе слишкомъ легко, если оно не сопряжено съ затрудненіями, препятствіями, борьбой. «Донъ-Жуана» въ высокой степени увлекаетъ и занимаетъ сама *борьба* изъ-за женщины, сама *охота* на женщину. Тутъ ясно сказывается дѣйствіе особаго *инстинкта*,—отдаленнаго и перерожденнаго наслѣдія зоологической борьбы самцовъ и человѣческой—доисторической—борьбы половъ. Съ этой стороны «донъ-жуанство» входитъ въ группу тѣхъ страстей, въ основѣ которыхъ лежитъ какой-либо *инстинктъ*, унаслѣдованный отъ первобытной древности; такова напр. страсть *охотника* и страсть *бродяжничества*. Вышеразсмотрѣнныя страсти,—зависть, ску-

пость, властолюбіе и др., — въ эту группу не войдутъ; если въ ихъ психологіи и найдутся слѣды дѣйствія того или иного инстинкта, то все-таки ихъ нельзя разсматривать, какъ пробужденный инстинктъ, превратившійся въ страсть.

Въ психологіи «донъ-жуанства», какъ страсти, весьма видную роль играютъ *эстетическія* и *артистическія наклонности*, какъ это замѣчается и въ нѣкоторыхъ другихъ страстяхъ, основанныхъ на инстинктѣ, напр., въ *охотничьей*. Ища борьбы, стремясь къ своей цѣли такъ, чтобы попутно упражнялись «донъ-жуанскія» качества, человѣкъ, одержимый этою страстью любовнаго хищничества, становится спеціалистомъ «науки страсти нѣжной», виртуозомъ любви, гастрономомъ любовныхъ ощущеній. Въ немъ развиваются вкусы и таланты артиста въ веденіи любовной интриги, онъ является превосходнымъ актеромъ, отлично входящимъ въ свою роль, онъ овладѣваетъ «паѳосомъ» любовной «поэзіи», выступаетъ вдохновеннымъ «импровизаторомъ любовной пѣсни».

Для всего этого въ «Каменномъ гостѣ» даны исчерпывающія художественныя выраженія.

Вотъ, напр., «формула» любовной «гастрономіи»:

. . . . . Бѣдная Инеза!
Ея ужь нѣтъ! Какъ я любилъ ее!
. . . . . .
. . . . . Странную пріятность
Я находилъ въ ея печальномъ взорѣ
И помертвѣлыхъ губкахъ. Это странно.
. . . . . .
. . . . . Мало было
Въ ней истинно-прекраснаго. Глаза,
Одни глаза, да взглядъ... такого взгляда
Ужь никогда я не встрѣчалъ! А голосъ
У ней былъ тихъ и слабъ, какъ у больной...

Въ сценѣ III-ей (у памятника командора) хищникъ является настоящимъ артистомъ любовной интриги и поэтомъ любви.

Напр.:

Мнѣ, мнѣ молиться съ вами, Донна Анна!
Я не достоинъ участи такой.

Я не дерзну порочными устами
Мольбу святую вашу повторять;
Я только издали съ благоговѣньемъ
Смотрю на васъ, когда, склонившись тихо,
Вы кудри черныя, на мраморъ блѣдный
Разсыплете—и мнится мнѣ, что тайно
Гробницу эту ангелъ посѣтилъ!
Въ смущенномъ сердцѣ я не обрѣтаю
Тогда моленій. Я дивлюсь безмолвно
И думаю: счастливъ, чей хладный мраморъ
Согрѣтъ ея дыханіемъ небеснымъ
И окропленъ любви ея слезами...

Переодѣтый монахомъ хищникъ не только отлично играетъ свою роль, осторожно подходя къ любовнымъ изліяніямъ, но даже возвышается до паѳоса, до высокой поэзіи, — и *въ эту минуту* самъ вѣритъ тому, что говоритъ.

Сцена IV-ая — классическое изображеніе всѣхъ, вѣками испытанныхъ, пріемовъ и уловокъ хищниковъ любви. Тутъ и возбужденіе женскаго любопытства, и краснорѣчивыя увѣренія, будто онъ, никогда никого не любившій настоящей любовью, только теперь позналъ ее, и, наконецъ, замѣчательный по своей смѣлости, обезоруживающій недовѣріе жертвы аргументъ:

Когда бъ я васъ обманывать хотѣлъ,
Признался ль я, сказалъ бы я то имя,
Котораго не можете вы слышать?
Гдѣ жъ видны тутъ обдуманность, коварство?

Можно смѣло сказать: въ четырехъ небольшихъ сценахъ «Каменнаго гостя» явленіе мужского хищничества въ любви изображено и психологически объяснено исчерпывающимъ образомъ (разумѣется, въ смыслѣ *художественнаго* истолкованія). Но этого мало: въ пьесѣ дана не только *психологія* «донъ-жуанства», но и его *этика*. Основанія для справедливаго приговора надъ хищникомъ любви указаны весьма отчетливо: Донъ-Жуана нельзя трактовать какъ «злодѣя» или человѣка безнравственнаго: онъ — самъ нѣкоторымъ образомъ жертва своихъ «талантовъ». Какъ художественное дарованіе предопредѣляетъ карьеру художника, научный складъ ума—

дѣятельность ученаго, такъ и вышеуказанные качества и «таланты» Донъ-Жуана заранѣе опредѣляютъ его отношенія къ женщинамъ (предполагая, конечно, отсутствіе условій, парализующихъ это хищничество). Донъ-Жуанъ не виноватъ, что родился хищникомъ любви, что въ немъ скрытый мужской инстинктъ этого хищничества превратился въ страсть. Въ этомъ смыслѣ онъ невмѣняемъ. Помимо этого, смягчающимъ его вину обстоятельствомъ служитъ то, что, собственно говоря, женщины сами такъ и норовятъ попасть въ его сѣти. Онѣ любятъ мужское хищничество и охотно избираютъ роль жертвы. Натура и типъ Донъ-Жуана остались бы невыясненными, въ частности же не были бы даны необходимыя предпосылки для правильнаго нравственнаго сужденія о немъ, если бы Пушкинъ не изобразилъ, рядомъ съ нимъ, двухъ женскихъ характеровъ, Лауру и Донну-Анну. Обѣ онѣ—типичныя представительницы той *женственности*, которая однимъ фактомъ своего существованія въ извѣстной мѣрѣ оправдываетъ донъжуанство и обезоруживаетъ слишкомъ суровый приговоръ надъ нимъ. Оба явленія—*мужское хищничество въ любви* и *крайнее развитіе женственности*, со всѣми ея «чарами», соблазнами и слабостями — совершенно параллельны и соотносительны; они другъ друга обусловливаютъ, и ихъ корни одинаково уходятъ въ глубокую доисторическую древность...

Итакъ, данныя Пушкинымъ основанія для нравственнаго приговора надъ хищникомъ любви клонятся отчасти въ пользу послѣдняго. Но изъ этого отнюдь не слѣдуетъ, что онъ долженъ остаться безнаказаннымъ. Виноватъ ли или нѣтъ хищникъ въ своемъ хищничествѣ,—все равно *хищничество должно быть осуждено и покарано*. Пушкинъ, слѣдуя легендѣ, вводитъ карающій элементъ въ образѣ статуи командора. Хищникъ погибаетъ. Въ нашей критической литературѣ были высказаны сужденія pro и contra этого пріема. Не осуждая его безусловно, я присоединяюсь къ тѣмъ, которые находили его недостаточнымъ. Бѣлинскій писалъ: «Самымъ естественнымъ наказаніемъ Донъ-Жуану могла бы быть истинная страсть къ женщинѣ, которая или не раздѣляла бы этой страсти, или сдѣлалась ея жертвою». Еще болѣе дѣйствительною карою были бы нравственныя мученія отъ угрызеній совѣсти, чувство жалости къ жертвамъ и горькое сознаніе, что настоящей любви и счастья онъ, Донъ-Жуанъ, не зналъ. Если появленіе

статуи и провалъ въ преисподнюю символизируютъ эту кару, то это выходитъ именно только *символъ идеи возмездія*, а не психологическое раскрытіе самого возмездія, что̀ собственно и было бы нужно.

4.

„Пиръ во время чумы".

Любопытное дополненіе къ этому художественному анализу страстей, геніально произведенному въ трехъ «драматическихъ опытахъ» («Моцартъ и Сальери», «Скупой рыцарь», «Каменный гость»), находимъ въ четвертомъ — «Пиръ во время чумы», который представляетъ собою, какъ извѣстно, довольно точный переводъ 4-ой сцены I-го акта трагедіи Вильсона «The city of the plague» («Чумный городъ», 1816 г.). — Здѣсь Пушкинъ, по выраженію Мольера, нашелъ и взялъ «свое добро». — «Если пьеса Вильсона» — писалъ Бѣлинскій — «такъ же хороша, какъ переведенный изъ нея Пушкинымъ отрывокъ, то нельзя не согласиться, что этотъ Вильсонъ написалъ великое произведеніе . . .» — Теперь мы знаемъ, что подлинникъ — вовсе не великое произведеніе; черты геніальнаго творчества въ переведенномъ отрывкѣ принадлежатъ Пушкину.

На первый взглядъ можетъ показаться, что въ этомъ 4-мъ «опытѣ» изображено нѣчто діаметрально противуположное тому, что̀ дано въ первыхъ трехъ. *Тамъ* были выведены натуры, одержимыя могучею хроническою страстью, которая порабощаетъ душу въ теченіе извѣстнаго періода, какъ у Сальери, или даже на всю жизнь, какъ у скупого и у Донъ-Жуана. *Здѣсь* мы не видимъ картины столь затяжныхъ страстей, да и вообще нѣтъ воспроизведенія какой-либо изъ нихъ, — и веселая компанія, пирующая среди разгара смерти, представляется скорѣе сборищемъ людей, свободныхъ отъ страстей; передъ лицомъ смерти они сбросили съ души весь житейскій грузъ заботъ, стремленій, идей и даже обыденной морали; если кому-либо изъ нихъ раньше не были чужды, напр., честолюбивые планы и мечты, онъ теперь ихъ оставилъ; скупой пересталъ быть скупымъ; если между ними былъ «хищникъ

любви», — ему теперь не до хищничества, не до упражненій въ любовномъ «искусствѣ». Все брошено, все забыто...

Но присмотритесь внимательнѣе къ этимъ пирующимъ господамъ, которые кажутся «свободными» отъ всѣхъ жизненныхъ обязательствъ и всѣхъ страстей, — и вы легко замѣтите, что это также — «одержимые», что они, не меньше Сальери или Скупого, — рабы какой-то роковой идеи, какого-то властнаго чувства, обнаруживающагося—какъ страсть. Разница только въ характерѣ и содержаніи идеи и въ психологическомъ укладѣ страсти.

Идея, поработившая ихъ душу, сводится къ «нигилистическому» отрицанію всѣхъ благъ и цѣнностей жизни — въ виду близкой и неминуемой смерти, — и къ преодолѣнію страха смерти разнузданіемъ животныхъ инстинктовъ, смѣлымъ, дерзкимъ разгуломъ чувственности. Въ составъ «идеи» входитъ и идеализація такого «аморализма». Въ знаменитой пѣснѣ предсѣдателя указаны психологическія основанія послѣдняго, — этого цинизма, преодолѣвающаго ужасы смерти и страхъ загробныхъ возмездій, — и тамъ же сдѣлана попытка чего-то въ родѣ этическаго оправданія этой идеи, по существу антиэтической. Вспомнимъ:

Есть упоеніе въ бою,
И бездны мрачной на краю,
И въ разъяренномъ океанѣ
Средь грозныхъ волнъ и бурной тьмы,
И въ аравійскомъ ураганѣ,
И въ дуновеніи чумы!
Все, все, что гибелью грозитъ,
Для сердца смертнаго таитъ
Неизъяснимы наслажденья,
Безсмертья, можетъ быть, залогъ!
И счастливъ тотъ, кто средь волненья
Ихъ обрѣтать и вѣдать могъ.
И такъ — хвала тебѣ, чума!
Намъ не страшна могилы тьма,
Насъ не страшитъ твое призванье!
Бокалы пѣнимъ дружно мы
И дѣвы-розы пьемъ дыханье, —
Быть можетъ, — полное чумы!

Вотъ «идея»: человѣкъ мнитъ себя «героемъ», преодолѣвшимъ цѣпкую привязанность къ жизни и весь ужасъ смерти; онъ не боится и религіозныхъ устрашеній, — онъ глухъ къ увѣщаніямъ священника; ему кажется, что онъ поднялся выше всего, чѣмъ люди такъ дорожатъ, и находится «по ту сторону добра и зла человѣческаго». На мигъ воспоминанія объ умершей женѣ, которую онъ любилъ истинною любовью, смутили его настроеніе, но онъ спѣшитъ отогнать этотъ призракъ. Однако мы чувствуемъ, что не такъ-то легко сдѣлать это, что оборвать всѣ связи съ лучшими сторонами жизни, умертвить всѣ воспоминанія нельзя: по уходѣ священника «пиръ продолжается», но «предсѣдатель остается погруженный въ глубокую задумчивость»...

И мы понимаемъ, что та «идея», которую предсѣдатель такъ поэтически выразилъ въ своей пѣснѣ, не принадлежитъ къ числу идей освобождающихъ: она является симптомомъ не освобожденія души, *а ея опустошенія*, которое приводитъ къ ея *порабощенію* власти низменныхъ инстинктовъ и животныхъ страстей.

Присмотримся ближе къ этимъ пирующимъ господамъ: всего меньше похожи они на философовъ-эпикурейцевъ, свободныхъ отъ всѣхъ предразсудковъ и страховъ. Вы помните этихъ мудрецовъ древности, проповѣдовавшихъ высшее, облагороженное наслажденіе и умиравшихъ съ спокойной совѣстью и блаженною улыбкою? У Майкова («Три смерти») философъ Люцій, заказавъ предсмертный пиръ, говоритъ:

...И на колѣняхъ дѣвы милой
Я съ напряженной жизни силой
Въ послѣдній разъ упьюсь душой
Дыханьемъ травъ и моремъ спящимъ
И солнцемъ, въ волны заходящимъ,
И Лиды ясной красотой...
Когда жъ пресыщусь до избытка,
Она смертельнаго напитка,
Умильно улыбаясь, мнѣ,
Сама не зная, дастъ въ винѣ.
И я умру, шутя, чуть слышно,
Какъ истый, мудрый сибаритъ,
Который трапезою пышной

Насытивъ тонкій аппетитъ,
Средь ароматовъ мирно спитъ...

Совсѣмъ не то — пиршество нашихъ джентльменовъ: оно скорѣе напоминаетъ оргію взбунтовавшихся рабовъ. Тутъ нѣтъ ни утонченнаго эпикурейскаго наслажденія, ни ясности духа, ни покоя совѣсти, ни свободы отъ страстей, ни даже настоящей свободы отъ страха смерти. «Жалобная» пѣсенка «задумчивой» Мери бросаетъ на картину обманчиваго веселья скорбную тѣнь и шевелитъ заглушенныя воспоминанія и поздніе сожалѣнія. Луиза, протестующая противъ этого настроенія во имя веселья и цинизма, приходитъ въ ужасъ при видѣ телѣги, нагруженной трупами, и падаетъ въ обморокъ; это даетъ предсѣдателю поводъ бросить мимоходомъ мѣткое слово:

... Нѣжнаго слабѣй жестокій
И страхъ живетъ въ душѣ, страстьми томимой.

Молодой человѣкъ, одинъ изъ пирующихъ, требуетъ «буйную вакхическую пѣснь, рожденную за чашею кипящей», — но такой пѣсни нѣтъ, — вмѣсто нея предсѣдатель поетъ свою мрачную пѣсню, рожденную не «чашею кипящей», а храбростью отчаянія, — гимнъ чумѣ, въ которомъ нѣтъ ничего «вакхическаго». Протестуя противъ смерти во имя остатка жизни, какой еще есть у нихъ послѣ опустошенія ихъ душъ, онъ славитъ чуму, — и скорбныя тѣни зловѣще сгущаются надъ картиною вымученнаго веселья. И, наконецъ, отказываясь слѣдовать за священникомъ, предсѣдатель вынужденъ сознаться, что онъ остается здѣсь не по доброй волѣ:— есть нѣчто, принуждающее его предаваться мрачной оргіи. Онъ говоритъ:

... Я здѣсь удержанъ
Отчаяніемъ, воспоминаніемъ страшнымъ,
Сознаньемъ беззаконья моего,
И ужасомъ той мертвой пустоты,
Которую въ моемъ дому встрѣчаю,
И новостью сихъ бѣшеныхъ веселій,

И благодатнымъ ядомъ этой чаши,
И ласками (прости меня Господь!)
Погибшаго, но милаго созданья...

Пирующіе, которыхъ привели сюда и удерживаютъ здѣсь приблизительно тѣ же мотивы, о чемъ не трудно догадаться (предсѣдатель отчасти говоритъ и за всю компанію), одержимы *страстью;* но это—страсть *не хроническая*, какъ у Сальери, скупого барона и Донъ-Жуана, а *острая*: это—«напряженная сила жизни» въ ея худшихъ и низшихъ сторонахъ, и это не освобождаетъ, а порабощаетъ душу. Въ сравненіи съ этими пирующими господами даже скупой баронъ кажется свободнѣе: въ немъ животныя инстинкты и низшія страсти убиты властною страстью, хотя и скверною. Хроническія страсти, въ особенности соціальныя, даже скверныя, имѣютъ тенденцію парализовать животныя инстинкты, — тѣмъ болѣе обнаруживаютъ ее благородныя страсти. Порабощая душу чему-то высшему или хотя бы только чему-то отличному отъ животныхъ страстей, они освобождаютъ душу отъ этихъ послѣднихъ. Устраненіе высшихъ страстей, благородныхъ и неблагородныхъ, очищаетъ мѣсто для низшихъ. Изъ огня человѣкъ попадаетъ въ полымя. Настоящая же свобода, психологическая и нравственная, достигается устраненіемъ всякихъ страстей, какъ низшихъ, такъ и высшихъ, какъ скверныхъ, въ родѣ скупости или властолюбія, такъ и благородныхъ, въ родѣ честолюбія или политическаго, религіознаго и всяческаго фанатизма.

Вотъ тотъ выводъ, который мы получаемъ, изучая всѣ 4 «драматическіе опыта» Пушкина, гдѣ дана геніальная художественная критика страстей, равносильная ихъ философской критикѣ, данной въ философіи Спинозы.

III.

Лиризмъ „драматическихъ опытовъ“.

До сихъ поръ мы разсматривали «драматическіе опыты» только со стороны замысла, содержанія и психологическаго

анализа страстей. Теперь намъ нужно обратить вниманіе на *лирическую сторону* этихъ геніальныхъ произведеній.

По праву, они могутъ быть названы «*лирическими драмами.* Всѣ четыре опыта проникнуты высокимъ лиризмомъ, который составляетъ ихъ неотъемлемую принадлежность. Этимъ я не хочу сказать, будто тамъ что̀ ни стихъ—то и лирика. Нѣтъ, есть мѣста, діалоги и цѣлыя сцены, гдѣ лирики нѣтъ и гдѣ она была бы неумѣстна. Незачѣмъ перечислять эти мѣста: взамѣнъ того, мы остановимся на тѣхъ, гдѣ есть лиризмъ, скрытый или явный, и откуда онъ, такъ сказать, простираетъ свою власть на все произведеніе. Нашей задачей будетъ не просто отмѣтить эти «лирическія мѣста», а показать, *какой порядокъ мыслей и чувствъ является здѣсь объектомъ лирическаго творчества, что̀ именно получается въ результатѣ этого творчества, и какое воздѣйствіе оказываютъ эти лирическіе итоги на цѣлое произведеніе, на его идею, на образы, на весь его поэтическій укладъ.*

Въ «Моцартѣ и Сальери» предметомъ лирической обработки являются: 1) порядокъ представленій и чувствъ, относящихся къ музыкѣ, къ ея воздѣйствію на психику, къ ея обаянію, и 2) нѣкоторыя черты изъ душевной драмы Сальери.

Первый монологъ Сальери («Всѣ говорятъ: нѣтъ правды на землѣ»...), взятый въ цѣломъ, не можетъ быть названъ «лирическимъ мѣстомъ», но въ немъ чувствуется возможность лиризма, присутствіе скрытой лирики, которая вотъ-вотъ пробьется наружу.

Нѣсколько словъ о томъ, что̀ именно понимаю я подъ «*лирикою*», будутъ здѣсь не лишними — во избѣжаніе недоразумѣній, такъ какъ этотъ терминъ принадлежитъ къ числу крайне неопредѣленныхъ и сбивчивыхъ [1]).

Всѣмъ намъ, по собственному опыту, хорошо знакомъ тотъ фактъ, что весьма разнообразные процессы мысли и чувства, переживаемые нами, зачастую сопровождаются *эмоціями*— въ точномъ психологическомъ смыслѣ этого термина [2]). Эмоціи

---

[1]) Попытку раскрыть природу лирики и установить точное понятіе о ней я сдѣлалъ въ статьѣ „Лирика, какъ особый видъ творчества“ („Вопросы теоріи и психологіи творчества“, подъ редакц. Б. А. Лезина, 1909 г., ч. II, вып. II).

[2]) *Эмоція* есть результатъ воздѣйствія какого-либо фактора (чаще всего—*представленія*) на нервы сосудодвигательной системы, не подчиненной

въ свою очередь отражаются въ чувствующей сферѣ души различными чувствами и настроеніями. По характеру этихъ чувствъ и настроеній мы различаемъ виды эмоцій, каковы эмоціи *радости*, *гнѣва*, *страха*, *стыда*, *умиленія* и т. д. Такъ вотъ ото всѣхъ этихъ видовъ слѣдуетъ отличать *особый видъ*, для котораго нельзя придумать лучшаго названія, какъ— *эмоція лирическая*. Она возникаетъ подъ воздѣйствіемъ *ритмическаго* сочетанія и движенія душевныхъ моментовъ, въ частности тогда, когда этотъ ритмъ становится *гармоническимъ*: *Тотъ видъ творчества, вся суть и цѣль котораго сводится къ созданію гармоническаго ритма душевныхъ движеній, мы и называемъ «лирическимъ»*. Высшаго и полнаго выраженія онъ достигаетъ въ *музыкѣ*, гдѣ лирическая эмоція осуществляется силою воздѣйствія музыкальной гармоніи и мелодіи. Въ такъ называемой «*лирической поэзіи*» соотвѣтственная эмоція производится силою гармоніи представленій (какъ мыслей, такъ и чувствъ) въ ихъ ритмическомъ сочетаніи съ гармоніей и мелодіей языка, упорядоченными чаще всего въ *стихѣ* (нерѣдко и въ прозаической рѣчи). Есть и другія формы лирическаго творчества, гдѣ лирическая эмоція осуществляется дѣйствіемъ не слуховыхъ (звуковыхъ) впечатлѣній, а *зрительныхъ*, т. е. гармоническимъ сочетаніемъ линій, плоскостей, формъ, красокъ, свѣта и тѣни. Это — лирика архитектуры, пластики и живописи. Безъ сомнѣнія, каждая форма или разновидность лирическаго творчества имѣетъ свои психологическія отличія. Мы не можемъ входить здѣсь въ ихъ разсмотрѣніе. Лишь попутно мы отмѣтимъ нѣкоторыя черты изъ природы «словесной лирики» (т. е. «лирической поэзіи»), съ которой собственно мы и имѣемъ дѣло въ этой книгѣ, посвященной одному изъ міровыхъ геніевъ лиризма.

Еще одно поясненіе. Нерѣдко смѣшиваютъ лирическую эмоцію съ нѣкоторыми другими, чаще всего — съ любовною, съ эмоціею умиленія, съ художественною (которою сопровождается воспріятіе художественныхъ образовъ), съ религіозною (молитвенною и религіозно-созерцательною), съ эмоціями, сопровождающими процессъ философскаго раздумья, и др. Не-

---

нашей волѣ; это воздѣйствіе выражается такими симптомами, какъ учащенное сердцебіеніе, поблѣднѣніе и, наоборотъ, покраснѣніе лица, появленіе слезъ и др. Въ зависимости отъ характера возбудителя эти явленія сразу же отражаются въ чувствующей сферѣ тѣмъ или инымъ чувствомъ, напр. страхомъ, радостью, стыдомъ и т. д.

обходимо остерегаться такого смѣшенія,—иначе можетъ притупиться наша воспріимчивость къ лирическимъ эмоціямъ. Вотъ напр. страница, которая по самому содержанію своему заставила насъ умилиться, растрогала, а кромѣ того произвела сильное впечатлѣніе художественности воспроизведенныхъ образовъ (возьмемъ хотя бы сцену свиданія Анны Карениной съ сыномъ). Здѣсь—большой соблазнъ принять настроеніе и эмоцію, вызванныя въ насъ такою страницею, за лирическія. А между тѣмъ ничего по существу лирическаго тутъ нѣтъ,— и вовсе не потому, что это написано прозой, а не стихами. Стихотворная форма внесла бы сюда, конечно, свою ритмичность и могла бы вызвать лирическую эмоцію; но эта эмоція была бы незначительна и вытекала бы исключительно изъ внѣшней, словесной, формы, а не была бы результатомъ лирической переработки самаго содержанія. Но если бы измѣненія словесной формы въ данномъ случаѣ привели къ переработкѣ содержанія—въ томъ смыслѣ, что тѣ же представленія и чувства расположились бы ритмически и слились въ «психическую мелодію», то въ результатѣ, кромѣ специфическихъ эмоцій, вызванныхъ трогательностью сцены и художественностью образовъ, получилась бы по существу отличная отъ нихъ, чисто-лирическая эмоція.

Смѣшеніе, о которомъ идетъ рѣчь, всего легче возникаетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда мы имѣемъ дѣло съ порядкомъ мыслей, чувствъ, настроеній и специфическихъ эмоцій, легко поддающихся лирической обработкѣ, представляющихъ весьма благодарную тему для лирическаго творчества. Легіонъ посредственныхъ поэтовъ-лириковъ безъ конца варіируютъ эти темы и—не безъ успѣха. Такова въ особенности вѣковѣчная тема любви со всею гаммою любовныхъ ощущеній. Но есть много другого рода чувствъ, идей, настроеній, эмоцій, которыя для лирической обработки представляютъ большія трудности. Только поэты огромной силы справляются съ этой задачей. Такъ, Гейне переплавлялъ въ чистое золото лирики насмѣшку, иронію, сарказмъ, — даже публицистику. Для Пушкина, какъ поэта-лирика, кажется, не существовало ничего ни въ природѣ, ни въ жизни человѣческой, чему онъ не могъ бы дать лирической обработки. Лирическій геній Пушкина былъ всеобъемлющій и всепроникающій.

И вотъ, въ «Моцартѣ и Сальери» онъ взялъ для лири-

ческой обработки чувство, упорно ей сопротивляющееся: *зависть*.

Читая первый монологъ Сальери, гдѣ онъ просто разсказываетъ, какъ онъ стремился къ совершенству въ своемъ искусствѣ, почти достигъ славы и никому не завидовалъ, какъ наконецъ зародилось въ его душѣ мучительное чувство зависти, когда на своемъ пути онъ встрѣтилъ Моцарта, — читая это, вы уже предчувствуете возможность огромнаго лирическаго подъема, который осуществится потомъ, когда поэтъ соберетъ и расположитъ въ гармоническомъ порядкѣ отдѣльные душевные моменты. Взяты первыя ноты, пожалуй, взятъ аккордъ, который сулитъ мелодію,—и вы уже настроены такъ, что ждете этой мелодіи. Ожидая ея, вы не замѣчаете тѣхъ пріемовъ, помощію которыхъ виртуозъ лирики уже настраиваетъ вашу душу на лирическій ладъ и подготовляетъ почву для лирической эмоціи. Но обратите вниманіе на содержаніе и построеніе монолога и постарайтесь разобраться въ общемъ впечатлѣніи, которое онъ произвелъ на васъ.

Передъ вами не исторія мелкаго чувства, не разсказъ завистливой бездарности, а исповѣдь даровитаго человѣка, вопль сильной и глубокой души, и само чувство зависти взято здѣсь—какъ могучая и роковая страсть. Оно идеализировано и представлено такъ, что изъ поля вашего умственнаго зрѣнія устранено все, что̀ могло бы, такъ сказать, «профанировать» это чувство и помѣшать его лирическому выраженію; вы не ощущаете ни обидной для Сальери жалости, ни презрѣнія къ нему; онъ внушаетъ вамъ чувство уваженія и удивленія; онъ—лицо трагическое,—и вскорѣ вы убѣждаетесь, что это впечатлѣніе было нужно не только для постановки психологическаго вопроса и для цѣлей художественной разработки сюжета, но и для того, чтобы создать ритмическій моментъ, «взять тонъ»; вы, не воспринимая монолога—какъ лирическаго цѣлаго, однако чувствуете, что онъ долженъ получить лирическое значеніе, занять свое мѣсто, какъ элементъ, какъ аккордъ въ «симфоніи», озаглавленной «Моцартъ и Сальери».

Еще немножко вниманія,—и вы (позволю себѣ такъ выразиться) поймаете волшебника-поэта на одной «лирической уловкѣ». Его—лирическая—задача была значительно облегчена тѣмъ счастливымъ случаемъ, что для психологической разработки проблемы зависти онъ взялъ не ученаго, не литератора,

не политическаго дѣятеля и даже не художника, а музыканта-композитора, творца лирики. Очевидно, что къ числу чувствъ и эмоцій, особливо доступныхъ лирической обработкѣ, принадлежатъ сами же лирическія чувства и эмоціи — со всѣмъ аппаратомъ сопутствующихъ имъ представленій и понятій. Лирика родитъ лирику. Музыкальная лирика родитъ «словесную»; «словесная» — музыкальную.

Какъ частный случай, сюда относится пріемъ — подготовлять лирическое настроеніе представленіями или образами, символизирующими музыкальную гармонію и мелодію, воспоминаніемъ о ихъ лирическомъ дѣйствіи, намекомъ на эмоцію, которую онѣ вызывали и могутъ вызвать. Вотъ именно этого рода музыкальныя представленія, образы, воспоминанія и намеки поэтъ и внесъ въ „драматическій опытъ“ о зависти, расположивъ ихъ такъ, чтобы читателю не бросалась въ глаза преднамѣренность такого пріема, и чтобы они, дѣлая свое дѣло, входили составнымъ элементомъ въ общую лирическую композицію цѣлаго. Ихъ роль въ этой композиціи будетъ яснѣе, если мы выдѣлимъ ихъ и прислушаемся къ ихъ голосу. Онъ слышится уже въ первомъ монологѣ Сальери, — въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ говорится о „нѣгѣ творческой мечты“, о „восторгѣ и слезахъ вдохновенія“, о томъ, какъ „великій Глюкъ явился и открылъ намъ новы тайны, глубокія, плѣнительныя тайны“. Въ сценѣ, слѣдующей за монологомъ, Моцартъ, садясь играть новую вещь, предпосылаетъ ей поясненіе:

Представь себѣ... Кого бы?
Ну, хоть меня — немного помоложе, —
Влюбленнаго — не слишкомъ, а слегка;
Съ красоткой, или съ другомъ, — хоть съ тобою:
Я веселъ... Вдругъ, видѣнье гробовое,
Незапный мракъ иль что-нибудь такое...
Ну, слушай же. (*Играетъ*).

Дана „музыкальная идея“. Ея осуществленіе въ музыкальныхъ звукахъ вызываетъ у Сальери крикъ восторга:

Какая глубина!
Какая смѣлость и какая стройность!

И, по уходѣ Моцарта, въ монологѣ, которымъ оканчивается первая сцена, онъ характеризуетъ музыкальный геній Моцарта крылатыми словами, гдѣ психологическая грань, отдѣляющая лирику музыки отъ лирики поэзіи, почти исчезаетъ:

Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько принесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!..

Во второй сценѣ, когда Моцартъ играетъ „Requiem", Сальери *плачетъ*. Онъ плачетъ, прежде всего, потому, что только-что бросилъ ядъ въ стаканъ Моцарта, и это—слезы не раскаянія, а — облегченія души, выхода изъ тяжелаго, долго подготовлявшагося кризиса; но онъ плачетъ также и слезами лирическаго умиленія и восторга. Онъ говоритъ:

Эти слезы
Впервые лью: и больно, и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы...
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Музыкальныя представленія о „пѣсняхъ райскихъ", „звукахъ, наполняющихъ душу", о „безкрылыхъ желаніяхъ",— обо всѣхъ чарахъ музыки нечувствительно превращаютъ психологическій анализъ зависти и художественную характеристику натуры генія въ лирическую «симфонію», гдѣ мрачный призракъ страсти, фатально приводящей къ преступленію, представляется какъ-бы элементомъ «музыкальной фразы», которому отвѣчаетъ его ритмическая антитеза—свѣтлое явленіе Моцарта, дѣтская наивность и чарующая простота генія; эта художественная антитеза образовъ стала антитезою *лирическою*; образовалась «мелодія», поющая о свѣтломъ веселіи, о безпечной радости и о «видѣніи гробовомъ», о «внезапномъ мракѣ». «Мелодія» подготовлялась первымъ монологомъ, гдѣ сгущался мракъ души, одержимой страстью. Этотъ мракъ, съ появленіемъ Моцарта на сцену, пронизывался спокойными лучами тихой радости, перемежался веселымъ

смѣхомъ и шутками генія («божество мое проголодалось»), но было что-то грустное и трогательное въ этихъ жизнерадостныхъ звукахъ; и они были прерваны «видѣніемъ гробовымъ», сгущеніемъ мрака въ душѣ Сальери, призракомъ «чернаго человѣка», похоронными звуками «Requiem»'а. Вы получили не только то, что̀ даютъ образы и ихъ психологическій анализъ, *но и лирическую эмоцію*, близкую къ музыкальной, эмоцію, въ которой распустился анализъ и потонули образы.

Если въ «Моцартѣ и Сальери» лиризмъ разлитъ по всей пьесѣ, то въ «Скупомъ рыцарѣ» онъ весь сконцентрированъ въ монологѣ барона. Въ этомъ удивительномъ монологѣ не только данъ психологическій анализъ страсти скупости, но, кромѣ того, обнаружена — «*поэзія*» *скупости*; баронъ является пѣвцомъ этой, весьма «непоэтической», страсти; его монологъ—гимнъ скупости, и это—гимнъ *лирическій*.

Подобно зависти, и скупость принадлежитъ къ числу тѣхъ душевныхъ явленій, которыя упорно сопротивляются лирической обработкѣ. Здѣсь въ распоряженіи поэта не было и того *музыкальнаго* подспорья, которое онъ нашелъ въ самомъ сюжетѣ «Моцарта и Сальери». И ему пришлось, не ища лирическихъ мотивовъ по сторонамъ, взять скверную страсть, какъ она есть, и углубиться въ анализъ «прозаической» души скряги, въ надеждѣ докопаться до какого-то родника лирики! И докопался!

Весь монологъ *лиричeнъ* съ начала до конца. Это—удивительная ритмическая композиція, въ которой сочетались гармоническіе элементы и проведена своего рода «музыкальная» мелодія. Она подготовлялась постепенно подборомъ ублажающихъ душу скряги ощущеній при посѣщеніи подвала и созерцаніи грудъ золота; она росла по мѣрѣ того, какъ въ его сознаніи вырисовывались излюбленныя представленія могущества, власти, возможности проявить свою мощь и всѣхъ и все поработить ей; мелодія питалась и своего рода моральнымъ сознаніемъ *самообладанія*, жертвъ, принесенныхъ на алтарь «бога», которому служитъ скупецъ,—преступленій и жестокостей, которыя онъ совершилъ, чтобы не измѣнить своему «идеалу», своей завѣтной и властной идеѣ. На эту сторону, т. е. на извращеніе нравственнаго чувства и сознанія, на это «мошенничество совѣсти», мы сейчасъ обра-

тили вниманіе: это вопросъ не только этики, но и лирики. А сейчасъ, возстановивъ въ памяти этотъ ростъ мелодіи, прослушаемъ ея звуки, — то мѣсто, гдѣ она, наконецъ, выразилась полностью:

Вотъ мое блаженство! (*Всыпаетъ деньги*).
Ступайте, полно вамъ по свѣту рыскать,
Служа страстямъ и нуждамъ человѣка.
Усните здѣсь сномъ силы и покоя,
Какъ боги спятъ въ глубокихъ небесахъ!..
Хочу себѣ сегодня пиръ устроить:
Зажгу свѣчу предъ каждымъ сундукомъ,
И всѣ ихъ отопру, и стану самъ
Средь нихъ глядѣть на блещущія груды.
Я царствую! Какой волшебный блескъ!
Послушна мнѣ, сильна моя держава;
Въ ней счастіе, въ ней честь моя и слава!
Я царствую!..

Что здѣсь дано? Что здѣсь выражено? — Здѣсь дано не только чувство скупца, блаженство, которое онъ испытываетъ, созерцая свои сокровища, но — и *лирика* этого чувства, этого блаженства, — *натуральная лирика извращенной души скряги*.

Тотъ, кому можетъ показаться парадоксальнымъ это утвержденіе (что существуетъ *натуральная* лирика скупости), пусть начнетъ перечислять тѣ явленія, которыя искони и во всѣ эпохи отбрасывали въ душѣ человѣческой снопы натуральнаго лирическаго свѣта, или, говоря проще, вызывали *лирическую эмоцію*, которая тутъ же, непосредственно, или потомъ, средствами поэтическаго и музыкальнаго творчества, находила себѣ выраженіе въ словѣ, въ пѣснѣ, въ музыкѣ и т. д. Начнемъ перечислять: любовь, ревность, военное ремесло, патріотизмъ, гражданскіе мотивы, религія вообще, молитва въ частности, смерть, похороны, поминки, свадьба, земледѣліе, скотоводство, сборъ винограда, времена года, семейная жизнь, счастье, несчастье, работа (есть лирика плотниковъ, пахарей, ткачей, сапожниковъ и т. д.), торговля, промыслы, бродяжничество, разбой (разбойничьи пѣсни), каторга (пѣсни каторжанъ), бунтъ, революція, реакція... Всего

не перечислить. Отъ временъ незапамятныхъ и до нашихъ дней *натуральная* и потомъ и *искусственная лирика* сопровождаетъ человѣчество на всѣхъ путяхъ его всемірно-исторической жизни.

Въ основѣ *искусственной лирики*, т. е. *лирическаго творчества*, на всѣхъ ступеняхъ его развитія, лежитъ *натуральный лиризмъ* человѣческой души, который мы опредѣлимъ такъ: *это—исконное стремленіе человѣка, ставшее инстинктомъ, искать ритмическаго (по преимуществу звукового) выраженія различныхъ эмоцій, въ силу чего онѣ претворяются въ лирическія или же къ нимъ присоединяется лирическая эмоція.* Человѣку грустно,—онъ поетъ; ему весело—онъ поетъ; любовь, гнѣвъ, ревность, злоба, чувства мести, жалости, обиды и т. д. и т. д., все это завершается звуковымъ ритмомъ рѣчи или пѣсни и превращается въ лирику. «Отъ избытка сердца уста глаголятъ» и—*глаголятъ ритмически, слѣдов., лирически.* Происхожденіе этого натуральнаго, психологическаго лиризма утопаетъ въ глубочайшей древности, когда человѣческій языкъ былъ органомъ не мысли, а чувствъ, эмоцій и аффектовъ, и служилъ не для общенія, *а для ритмическаго выраженія душевныхъ движеній.* Иначе говоря, первобытный языкъ исполнялъ ту функцію, которую потомъ взяли на себя, изъ него же возникшія, пѣсня, музыка и такъ называемая «лирическая поэзія».

Изъ сказаннаго явствуетъ, что человѣческая психика стала «лиричною» задолго до возникновенія многихъ страстей, порожденныхъ культурнымъ развитіемъ, въ томъ числѣ и скупости. Психологическій лиризмъ превратился въ «психологическую форму»,—родъ «категоріи», заранѣе уготованной для воспріятія всего, что̀ создаетъ цивилизація,—идей, страстей,—всего добра и зла человѣческаго. Одни изъ этихъ элементовъ или продуктовъ развитія поддаются лирическому воспріятію легче, другіе—труднѣе. Это зависитъ отъ ихъ психологической природы. Къ числу самыхъ неподатливыхъ принадлежатъ такія чувства, какъ зависть, страхъ, гнѣвъ, когда они даны въ формѣ сильныхъ эмоцій и переходятъ въ аффектъ. Но они становятся доступны лирическому воспріятію (для самого субъекта) въ ихъ болѣе «спокойномъ» состояніи, — въ формѣ затяжныхъ, «хроническихъ» страстей. Противорѣчіе выраженій («спокойное» состояніе и «страсть»)—лишь кажущееся, чисто-словес-

ное: продолжительная страсть, поработившая душу, вытравляетъ изъ нея многое, что̀ противорѣчитъ этой страсти, пріучаетъ душу къ послушанію, къ безпрекословному повиновенію властной идеѣ,—къ дисциплинѣ. Правда, это—дисциплина не человѣка свободнаго, а раба. Но это не мѣшаетъ обнаруженію въ ней своеобразныхъ *этическихъ* чертъ, какими нельзя не признать *самообладаніе*, *подавленіе низшихъ*, *животныхъ инстинктовъ*, *самоотреченіе* и т. п. И вотъ тутъ-то и открывается доступъ лирикѣ (сперва натуральной, а за нею и искусственной) въ нѣдра души, одержимой хроническою страстью. Еще легче лирикѣ проникнуть туда въ тѣхъ случаяхъ, когда возникаетъ конфликтъ между велѣніями господствующей страсти и требованіями совѣсти, когда послѣдняя протестуетъ и мучитъ человѣка, раба страсти, и, наконецъ, когда на этой почвѣ устанавливается компромиссъ между страстью и совѣстью, и послѣдняя фальшивитъ и лжетъ, какъ взбунтовавшійся и усмиренный рабъ. Между этого рода процессами и натуральной лирикою души есть внутреннее, психологическое сродство, возникшее, по всей вѣроятности, въ глубокой древности и коренящееся въ той первобытной *стадности*, при которой не было ни индивидуальной лирики, ни личной морали, и гдѣ онѣ одинаково были групповыми, «хоровыми», при чемъ все этическое, какъ и все соціальное, разъ оно становилось эмоціей или аффектомъ (конечно, коллективными), получало необходимое выраженіе въ ритмическихъ звукахъ рѣчи и, слѣдов., разрѣшалось лирическою эмоціею.—Какъ бы то ни было, но человѣкъ ужь такъ устроенъ, что вышеуказанныя явленія, — власть хронической страсти, душевная дисциплина, рабство совѣсти, ея возмущеніе и масса чувствъ, эмоцій, мыслей, оттуда вытекающихъ, обнаруживаютъ какое-то прирожденное, инстинктивное тяготѣніе къ «натуральной лирикѣ», ищутъ лирическаго выраженія, стремятся разрѣшиться лирическою эмоціею, которая сулитъ усталой или возмущенной совѣсти обманчивый покой и манитъ порабощенную душу миражемъ свободы.

Вотъ послушаемъ скупого барона:

Кто знаетъ, сколько горькихъ воздержаній,
Обузданныхъ страстей, тяжелыхъ думъ,
Дневныхъ заботъ, ночей безсонныхъ мнѣ

Все это стоило? Иль скажетъ сынъ,
Что сердце у меня обросло мохомъ,
Что я не зналъ желаній, что меня
И совѣсть никогда не грызла, совѣсть,
Незванный гость, докучный собесѣдникъ,
Заимодавецъ грубый, эта вѣдьма,
Отъ коей меркнетъ мѣсяцъ и могилы
Смущаются и мертвыхъ высылаютъ?..
Нѣтъ, выстрадай сперва себѣ богатство,
А тамъ посмотримъ, станетъ ли несчастный
То расточать, что̀ кровью пріобрѣлъ.
О, если бъ могъ отъ взоровъ недостойныхъ
Я скрыть подвалъ! О, если бъ изъ могилы
Прійти я могъ, сторожевою тѣнью
Сидѣть на сундукѣ и отъ живыхъ
Сокровища мои хранить, какъ нынѣ!..

Тутъ, какъ и во всемъ монологѣ, двойной лиризмъ: 1) *натуральный лиризмъ души скупого* и 2) *«искусственный», творческій лиризмъ Пушкина.*

Съ начала до конца монологъ представляетъ рядъ душевныхъ моментовъ, переживаемыхъ скупымъ при созерцаніи сокровищъ, и каждый изъ нихъ, кромѣ выраженныхъ мыслей и чувствъ, даетъ и лирическую эмоцію—не нашу съ вами и не пушкинскую, а ту, которая принадлежитъ самому скупому барону. Мы только имѣемъ возможность понять психологію этого натуральнаго лиризма скупости. Но когда мы беремъ весь монологъ въ цѣломъ, то эти моменты превращаются въ «картину болѣзни» души одержимаго данною страстью, а лирическія эмоціи барона сливаются въ «мелодію», которая, помимо воли барона и по произволенію поэта, поетъ чудную пѣсню свободы,—свободы духа отъ цѣпей страсти.

Натуральная лирика, свойственная всякой душѣ человѣческой, рѣдко освобождаетъ: она обыкновенно только убаюкиваетъ и успокаиваетъ душу. Освобождаетъ ее лирика великихъ поэтовъ, творцовъ «гармоніи», которые умѣютъ пробуждать «въ насъ, чадахъ праха», «безкрылыя желанія». Эти «безкрылыя желанія» отнюдь не безплодны: дѣйствіе высшей лирики (въ поэзіи и въ музыкѣ) на нашу душу сводится къ гармоническому упорядоченію душевныхъ элементовъ, къ со-

биранію и сосредоточенію психической энергіи, тратящейся по мелочамъ въ обыденной жизни, среди ея заботъ и дрязъ. Высшая лирика уноситъ насъ высоко надъ житейскою юдолью, а съ этой высоты человѣкъ виденъ и понятенъ гораздо лучше, чѣмъ внизу и вблизи. Съ этой высоты лирическаго подъема, гдѣ царитъ гармонія, хорошо видно то, чего мы не замѣчаемъ внизу, какъ лѣса за деревьями, — *человѣчество*. Высшая лирика, по существу, *гуманна*. Безъ проповѣдей, безъ всякой «морали», одною силою душевнаго упорядоченія и подъема, она освобождаетъ душу отъ всякаго рабства, отъ гнета мелкихъ чувствъ и большихъ страстей. Пусть это освобожденіе лишь — счастливая минута, мечта и сонъ, но изъ такихъ «чудныхъ мгновеній» въ концѣ концовъ образуются большія цѣнности накопленной и сконцентрированной энергіи, безъ которыхъ человѣчество едва-ли могло бы обойтись въ своемъ всемірно-историческомъ развитіи, которое требуетъ затраты огромнаго «капитала» психическихъ силъ.

Лирика «Каменнаго гостя» это—лирика любви, именно мужской хищнической любви и частью лирика природы [1]). Оставляя въ сторонѣ эту послѣднюю и имѣя въ виду только первую, мы скажемъ, что и здѣсь нужно различать между *натуральною любовною лирикою самого Донъ Жуана и лиризмомъ цѣлаго, принадлежащимъ Пушкину*. Натуральная лирика мужской хищной любви есть явленіе чрезвычайно древнее, можно сказать—архаическое и біо-психологическое. Это — лирика самца, основанная на психологіи контрастовъ (антитезы) вторичныхъ половыхъ признаковъ. Вѣками культурнаго развитія и не безъ замѣтнаго вліянія искусственной любовной лирики всѣхъ временъ она осложнилась и облагородилась. Въ «Каменномъ гостѣ» это уже не столько лирика самца, сколько лиризмъ любовнаго спорта и любовной «гастрономіи». Теперь вспомнимъ, что задача Пушкина вовсе не сводилась къ тому, чтобы показать искусство г.г. донъ-жуановъ въ импровизированіи любовныхъ пѣсенъ; поэтъ имѣлъ въ виду прежде всего психологію и этику хищнической муж-

---

[1]) Въ знаменитомъ мѣстѣ, гдѣ Лаура говоритъ:

Прійди—открой балконъ. Какъ небо тихо!
Недвижимъ теплый воздухъ: ночь лимономъ
И лавромъ пахнетъ; яркая луна,
Блеститъ на синевѣ густой и темной...

ской любви, какъ страсти. Натуральная любовная лирика Донъ-Жуана входитъ, какъ элементъ, какъ матеріалъ, въ психологическій анализъ и художественную картину, данную поэтомъ. Въ этомъ—подчиненномъ—положеніи и въ этихъ рамкахъ она перестаетъ быть только натуральною и нечувствительно превращается въ лирику высшаго порядка, — изъ лирики Донъ-Жуана въ лирику Пушкина.

Подводя итогъ всему сказанному о лиризмѣ этихъ трехъ «драматическихъ опытовъ», мы скажемъ, что здѣсь *аморализмъ натуральной лирики страстей переработанъ творчествомъ высшаго порядка и изъ горнила этого творчества вышелъ— этическимъ.*

Лиризмъ четвертаго «опыта» довершаетъ эту переработку: здѣсь аморализмъ натуральной лирики разнузданныхъ страстей и циническаго презрѣнія къ смерти, можно сказать, убитъ этическою идеею цѣлаго.

Во всѣхъ четырехъ опытахъ поэтъ никакой «морали» не читаетъ, и даже не хочетъ быть моралистомъ. Онъ рисуетъ характеры, раскрываетъ психологію страстей, создаетъ психологическіе типы, равносильные шекспировскимъ, и, подобно Шекспиру, воспроизводитъ и натуральную лирику души человѣческой, преимущественно лирику страстей. А въ результатѣ получается тотъ подъемъ духа, та высь поэтическихъ созерцаній, которые психологически совпадаютъ съ моральнымъ освобожденіемъ отъ гнета страстей и съ философскимъ покоемъ духа или, по крайцей мѣрѣ, стремленіемъ къ нему.

На этой огромной высотѣ и находилось въ разсматриваемое время лирическое творчество Пушкина, выразившееся въ рядѣ пьесъ, обзору которыхъ мы посвящаемъ слѣдующую главу.

IV.

Лирическія стихотворенія 1830 года.

Они довольно разнообразны по сюжетамъ и по настроенію; между ними есть вещи, написанныя по случайному поводу и выражающія мелькнувшую мысль или набѣжавшее чувство.

Различно и ихъ поэтическое достоинство. Насъ интересуютъ здѣсь тѣ изъ нихъ, которыя представляютъ собою родъ исповѣданія, выражая интимныя чувства и завѣтныя мысли поэта. И вотъ мы видимъ, что они объединяются въ особую группу, которую можно охарактеризовать такъ: *это лирическіе и нелирическіе итоги душевнаго стремленія къ внутренней свободѣ.*

Сюда прежде всего относится великолѣпный сонетъ *„Поэту“*, смыслъ котораго вовсе не сводится къ высокомѣрному презрѣнію къ «толпѣ». Поэтъ лишь отстаиваетъ здѣсь свое право на «самоопредѣленіе», свою внутреннюю свободу вообще и свободу творчества въ частности:

Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ...

Высокій лиризмъ стихотворенія чувствуется непосредственно, и передать его «своими словами»—нельзя. Но можно вникнуть въ его психологію и раскрыть его родники въ душѣ поэта. Съ этою цѣлью прочтемъ другое стихотвореніе, написанное вскорѣ послѣ сонета и, очевидно, внушенное тѣмъ же порядкомъ мыслей и чувствъ, но—*совсѣмъ не лирическое.* Это—*«Отвѣтъ анониму»*:

О, кто бы ни былъ ты, чье ласковое пѣнье
Привѣтствуетъ мое къ блаженству возрожденье,
Чья скрытая рука мнѣ крѣпко руку жметъ,
Указываетъ путь и посохъ подаетъ!
О, кто бы ни былъ ты: старикъ ли вдохновенный,
Иль юности моей товарищъ отдаленный,
Иль отрокъ, музами таинственно хранимъ,
Иль пола кроткаго стыдливый херувимъ,—
Благодарю тебя душою умиленной.
Вниманья слабаго предметъ уединенный,
Къ доброжелательству досель я не привыкъ—
И страненъ мнѣ его привѣтливый языкъ.
Смѣшонъ, участія кто требуетъ у свѣта!
Холодная толпа взираетъ на поэта,
Какъ на заѣзжаго фигляра: если онъ
Глубоко выразитъ сердечный, тяжкій стонъ,

И выстраданный стихъ, пронзительно-унылый,
Ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой,
Она въ ладони бьетъ и хвалитъ, иль порой
Неблагосклонною киваетъ головой.
Постигнетъ ли пѣвца незапное волненье,
Утрата скорбная, изгнанье, заточенье,—
«Тѣмъ лучше», говорятъ любители искусствъ:
«Тѣмъ лучше! Наберетъ онъ новыхъ думъ и чувствъ
И намъ ихъ передастъ».—Но счастіе поэта
Межъ ними не найдетъ сердечнаго привѣта,
Когда боязненно безмолвствуетъ оно.

Это стихотвореніе, въ которомъ нѣтъ ничего лирическаго и нѣтъ даже образной поэзіи, было написано по случайному поводу: въ отвѣтъ на анонимное посланіе въ стихахъ, которымъ И. А. Гульяновъ привѣтствовалъ поэта при извѣстіи о его предстоящей женитьбѣ на Гончаровой. Иногда *проза* открываетъ намъ закулисную сторону творчества поэта, если онъ— такой *искренній человѣкъ*, какъ Пушкинъ. Нигдѣ Пушкинъ не выразился съ такою непосредственностью, какъ въ своихъ письмахъ; рядомъ съ письмами въ этомъ отношеніи нужно поставить и его «прозаическія» стихотворенія, къ числу которыхъ принадлежитъ и приведенное, гдѣ все сплошная проза, кромѣ одного мѣста, гдѣ слышится отзвукъ «натуральной» лирики Пушкина («и выстраданный стихъ, пронзительно-унылый, ударитъ по сердцамъ съ невѣдомою силой»). Стихи Гульянова, очень плохіе и очень искренніе, выразили въ вычурной формѣ доброе и гуманное чувство, которое въ данную минуту было особенно дорого Пушкину. Гульяновъ отъ души привѣтствовалъ женитьбу Пушкина, радовался его счастью, предвидѣлъ связанное съ этимъ личнымъ счастьемъ наступленіе новой эры въ творчествѣ Пушкина и, обращаясь къ «музамъ», «пѣлъ»:

Уймите духъ вашъ сокрушенный,
О музы! Другъ вашъ вожделѣнный
Небеснымъ пламенемъ горитъ.
Источникъ новыхъ откровеній
Залогомъ будетъ вдохновеній—
И снова геній воспаритъ!

Въ этомъ и состояло «ласковое пѣніе», которое такъ тронуло поэта. Въ то время, какъ другіе, при вѣсти о бракѣ Пушкина, «неблагосклонною кивали головой», предвидя отъ этого брака ущербъ для творчества поэта, нашелся нѣкій анонимъ, который порадовался личному счастью поэта и выразилъ увѣренность, что вмѣстѣ съ его счастьемъ откроется и новая эра его творчества. Пушкинъ принадлежалъ къ числу тѣхъ непосредственныхъ и изящно-чувствующихъ натуръ, которыхъ нельзя плѣнить похвалами и рукоплесканіями, но чрезвычайно легко очаровать и «взять» простымъ, добрымъ словомъ участья, душевной лаской. Восторженное поклоненіе ему, какъ поэту, при равнодушіи или холодности къ нему, какъ человѣку, отзывалось въ его душѣ холодомъ и болью. Притязанія публики («свѣта», «толпы»), чтобы поэтъ принадлежалъ лишь ей, жилъ и творилъ для нея, безучастное отношеніе къ личнымъ его невзгодамъ, отношеніе къ нему, какъ къ «заѣзжему фигляру»,— возмущали и ожесточали душу Пушкина—какъ родъ грубаго насилія, какъ выраженіе душевной жесткости, какъ доказательство, что дѣйствительно нельзя «требовать участья у свѣта», что «толпа» (т. е. все та же публика, все тотъ же «свѣтъ»)— въ самомъ дѣлѣ—холодна и бездушна. Мысли на эту тему и горькія чувства, съ ними связанныя, въ данное время (конца 20-хъ и начала 30-хъ годовъ) все чаще и настойчивѣе бередили душу поэта, осложняясь сознаніемъ, что теперь его «душа раскрылась» для настоящаго высокаго творчества (что̀ онъ чувствовалъ уже въ 1825 году),—творчества, которое едва-ли будетъ понято и оцѣнено. Въ особенности живо чувствовалъ онъ это—какъ лирикъ: здѣсь онъ бралъ «ноты», недоступныя для слуха «толпы»,—онъ подымался на ту высь лирическихъ вдохновеній и высшей гармоніи духа, гдѣ исчезаетъ *психологическое* различіе между поэтическимъ и музыкальнымъ творчествомъ. Онъ принесетъ оттуда «нѣсколько пѣсенъ райскихъ», способныхъ «возмутить въ насъ, чадахъ праха, безкрылое желаніе», но осужденныхъ въ концѣ концовъ остаться безъ отклика, ибо для отклика на нихъ нужна тонкость слуха и чуткость души, нуженъ даръ—«чувствовать силу гармоніи»— удѣлъ избранныхъ. «Толпа» не скажетъ поэту то, что Сальери говоритъ Моцарту:

. . . . Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

И поэту невольно прійдутъ въ голову мысли, которыя высказываетъ Моцартъ въ отвѣтъ на эту просьбу Сальери:

Когда бы всѣ такъ чувствовали силу
Гармоніи! Но нѣтъ: тогда бъ не могъ
И міръ существовать; никто бъ не сталъ
Заботиться о нуждахъ низкой жизни!
Всѣ предались бы вольному искусству!..

На высотахъ лирическаго творчества, какъ и всякаго другого, чувствуется отчужденность отъ жизни съ ея текущими злобами дня, ея дѣлами и дѣлишками, ея вѣчною озабоченностью, и творцу высокихъ лирическихъ эмоцій приходится переживать рядъ своеобразныхъ ощущеній: то ему кажется, что люди жизни должны презирать его, какъ «счастливца празднаго», что «толпа» глумится надъ нимъ, «плюя на алтарь и въ дѣтской рѣзвости колебля его треножникъ», — то онъ упрочивается въ горделивомъ самочувствіи и въ сознаніи мощи своего творческаго генія, то онъ ревниво оберегаетъ свое право на свободу творчества, на которое, можетъ быть, сейчасъ никто и не посягаетъ, то картина жизни, внизу разстилающаяся, дразнитъ и манитъ его, и онъ вперяетъ любопытный взоръ въ эту тину большихъ и малыхъ страстей, въ эту юдоль радостей и скорбей человѣческихъ, и—создаетъ то, что̀ являютъ намъ «драматическіе опыты» Пушкина, то, наконецъ, имъ овладѣваетъ неудержимый порывъ броситься внизъ головой въ море жизни и, радостно почувствовавъ себя простымъ смертнымъ, зайти въ трактиръ и весело посмѣяться надъ игрою слѣпого музыканта, или, совсѣмъ «опростившись», вынырнуть какимъ-нибудь Иваномъ Петровичемъ и написать «Повѣсти Бѣлкина» и «Лѣтопись села Горохина».

Но въ ряду этихъ настроеній, ощутительнѣе всего то, которое вызывается сознаніемъ достигнутой свободы духа,—спокойствіемъ творчества, умиротворящей гармоніей поэтическихъ созерцаній.

Вникните въ психологическій строй высокаго лиризма поэтическихъ чувствъ и думъ, воплощенныхъ въ разсматриваемыхъ стихотвореніяхъ 30-го года въ особенности въ сонетахъ. Это—*лиризмъ покоя*, это—*лирическая безмятежность духа, равносильная философской*, это—*остановленная гармонія*,

которая, подобно окаменѣлой гармоніи архитектурныхъ формъ, кажется застывшею въ самой структурѣ стиха.

Въ сонетѣ «Поэту» еще есть движеніе, порывъ, страсть,— есть признаки душевной тревоги, и есть—«выстраданный стихъ, пронзительно-унылый», хотя бы первый же:

Поэтъ! не дорожи любовію народной!

Но возьмите два другіе сонета: «Мадонна» и «Суровый Дантъ не презиралъ сонета»: какая законченная, какая отдохновенная «архитектурность» лирики, какая тишина души, какой поэтическій покой! Прочтемъ:

Не множествомъ картинъ старинныхъ мастеровъ .
Украсить я всегда желалъ свою обитель,
Чтобъ суевѣрно имъ дивился посѣтитель,
Внимая важному сужденью знатоковъ.
Въ простомъ углу моемъ, средь медленныхъ трудовъ,
Одной картины я желалъ быть вѣчно зритель,
Одной: чтобъ на меня съ холста, какъ съ облаковъ,
Пречистая и нашъ божественный Спаситель—
Она съ величіемъ, Онъ съ разумомъ въ очахъ—
Взирали, кроткіе, во славѣ и лучахъ,
Одни, безъ ангеловъ, подъ пальмою Сіона.—
Исполнились мои желанія. Творецъ
Тебя мнѣ ниспослалъ, тебя, моя Мадонна,
Чистѣйшей прелести чистѣйшій образецъ!

Это—одинъ изъ самыхъ яркихъ образцовъ того процесса, на который выше мы неоднократно указывали,—процесса превращенія натуральной лирики человѣка въ высшее лирическое творчество поэта. «Натуральная» лирика человѣка, А. С. Пушкина, въ данномъ случаѣ, какъ это извѣстно, вытекала изъ того обстоятельства, что Александръ Сергѣичъ былъ влюбленъ въ Наталью Николаевну Гончарову, сдѣлалъ предложеніе, получилъ согласіе и блаженствовалъ.

«Мадонна», которую «Творецъ послалъ» поэту, это—его невѣста, Н. Н. Гончарова, которой онъ писалъ тогда же (30 іюля 1830 г.): «Дамы спрашиваютъ у меня вашъ портретъ и не прощаютъ мнѣ того, что у меня его нѣтъ. Я утѣшаю себя, проводя цѣлые часы передъ бѣлокурой Мадонной, похожей на васъ какъ двѣ капли воды; я купилъ бы ее, если бы она не стоила 40.000 р.».

Эти справки, обнаруживая въ основѣ сонета «натуральный лиризмъ» влюбленнаго человѣка, шаблонный лиризмъ жениха, боготворящаго свою невѣсту, показываютъ вмѣстѣ съ тѣмъ, съ какою силою полета Пушкинъ подымался надъ этими низами поэзіи на ту высь высшаго лирическаго творчества, откуда уже не видать ни влюбленнаго жениха, называющаго свою невѣсту Мадонной, ни этой барышни, будто бы похожей на Мадонну, и гдѣ все обыденное, житейское, «натурально-лирическое», въ чемъ всегда есть доля пошлости, исчезаетъ въ величавыхъ аккордахъ гимна, въ неземныхъ звукахъ «райской пѣсни». Сонетъ «Мадонна» принадлежитъ къ числу тѣхъ созданій высшей лирики, пониманію которыхъ раскрытіе ихъ источника не помогаетъ, а скорѣе мѣшаетъ.

«Натуральный лиризмъ» Пушкина въ разсматриваемое время (лѣто и въ особенности осень 1830 года, проведенная въ Болдинѣ) питался, между прочимъ, и воспоминаніями о прошломъ, о былыхъ радостяхъ, о пережитыхъ очарованіяхъ и разочарованіяхъ, о давно-угасшей любви. Воскресали тѣни минувшаго,—образы женщинъ, которыми нѣкогда увлекался поэтъ (Амалія Ризничъ и др.). Эти воспоминанія, переработанныя высшимъ лирическимъ творчествомъ, претворились не въ архитектурную гармонію сонетовъ, а въ музыкальную мелодію трехъ «пѣсенъ райскихъ»: «*Разставаніе*» («Въ послѣдній разъ твой образъ милый—Дерзаю мысленно ласкать»...), «*Заклинаніе*» («О, если правда, что въ ночи»...) и «*Для береговъ отчизны дальной*».

Несравненный лиризмъ этихъ пьесъ сводится къ психологической гармоничности настроенія, къ мелодіи «душевнаго мотива», къ музыкальности формы. Чувства, такъ ярко выраженныя въ этихъ трехъ стихотвореніяхъ, взяты не въ ихъ натуральномъ видѣ, а въ какомъ-то иномъ—высшемъ—выраженіи, въ какомъ они не являются въ дѣйствительности; это—даже не чувства, а поэтическое ихъ обобщеніе, здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ ними, а съ лирикою воспоминаній о нихъ. Поэтъ, когда писалъ эти пьесы, былъ влюбленъ въ Н. Н. Гончарову, а о Ризничъ и другихъ, кѣмъ когда-то онъ увлекался, давно забылъ, т. е. чувство къ нимъ давно угасло въ его душѣ. Теперь онъ вспоминаетъ о немъ, возстановляя рядъ представленій, относящихся къ одному, именно заключительному, моменту этихъ давнишнихъ любовныхъ исторій,—къ моменту

разлуки. Силою воображенія поэтъ возсоздаетъ три картины разлуки: одну, гдѣ чувство спокойно и разсудительно («Разставаніе»), другую, гдѣ оно бурно и пламенно, гдѣ поэтъ вызываетъ тѣнь милой («Заклинаніе»), и третью, гдѣ удивительно схвачены муки разставанія и гдѣ поэтъ не хочетъ признать разлуку вѣчною и ждетъ свиданія за гробомъ («Для береговъ отчизны дальной»...). Всѣ три момента имѣютъ свою прирожденную лирику, которая можетъ сохраняться въ душѣ долго послѣ того, какъ угасли всѣ чувства, съ ними нѣкогда связанныя. За 4 года передъ тѣмъ, какъ были написаны эти пьесы, т. е. въ 1825 г., узнавъ о смерти Ризничъ, Пушкинъ написалъ элегію «Подъ небомъ голубымъ страны своей родной»..., заканчивающуюся такъ:

Гдѣ муки, гдѣ любовь? Увы! въ душѣ моей
Для бѣдной, легковѣрной тѣни,
Для сладкой памяти невозвратимыхъ дней
Не нахожу ни слезъ, ни пени.

Вспомнимъ еще стихи (изъ той-же элегіи):

Изъ равнодушныхъ устъ я слышалъ смерти вѣсть
И равнодушно ей внималъ я...

Это—выраженіе подлиннаго душевнаго состоянія,—забвенія былой любви и полнаго равнодушія къ предмету прежней страсти. Не могла, конечно, вдругъ возродиться эта любовь черезъ 4 года, когда поэтъ былъ влюбленъ въ Н. Н. Гончарову...

И такъ, въ разсматриваемыхъ стихотвореніяхъ 1830 года мы не можемъ видѣть выраженія подлинныхъ чувствъ, живыми выхваченныхъ изъ души. Ихъ не было въ душѣ поэта. И онъ воспроизвелъ не ихъ, *а ихъ фикціи*. Это обстоятельство, быть можетъ, иногда неблагопріятное для выраженія *натуральнаго* лиризма, болѣе или менѣе прикрѣпленнаго къ живому чувству, въ высокой степени содѣйствовало высшему лирическому творчеству, которое у Пушкина расцвѣтало преимущественно тогда, когда его душа была свободна отъ гнета живыхъ чувствъ и страстей. Онъ самъ указалъ на это:

Прошла любовь—явилась муза,
И прояснился темный умъ;
Свободенъ, вновь ищу союза
Волшебныхъ звуковъ, чувствъ и думъ...

Оттуда и тотъ, на первый взглядъ, парадоксальный фактъ, что геніальныя лирическія созданія Пушкина 1830 года, за вычетомъ «Мадонны», не имѣютъ никакого отношенія къ живому тогда чувству любви къ Н. Н. Гончаровой, а воспроизводятъ былыя чувства или, точнѣе, фикціи чувствъ, давно и основательно забытыхъ. Можно думать также, что и въ своемъ живомъ состояніи эти чувства мало походили на ту ихъ фикцію, какая дана въ трехъ «пѣсняхъ райскихъ», въ особенности же—въ послѣдней.

Выраженіе «фикціи чувствъ» или «фиктивныя (воображаемыя) чувства» я беру для обозначенія процесса, который играетъ огромную роль какъ въ образномъ творчествѣ, такъ и въ лирическомъ. Но этотъ процессъ былъ бы немыслимъ, если бы въ нашей психикѣ, помимо всякаго творчества, не существовали и не играли видной роли «фиктивныя чувства», напр., фиктивный страхъ, воображаемая радость, такой же гнѣвъ, такая же жалость и т. д. О фиктивныхъ чувствахъ, какъ объ особомъ порядкѣ явленій, принадлежащихъ къ чувствующей сферѣ души, мы можемъ составить себѣ наглядное и точное представленіе, наблюдая ихъ *на сценѣ*. Творчество актера сводится именно къ умѣнію *переживать и выражать воображаемыя чувства*. Когда артистъ, играя Отелло, воспроизводитъ чувство ревности съ такимъ мастерствомъ, что зрителямъ кажется, будто онъ *въ самомъ дѣлѣ ревнуетъ*, переживая всю гамму чувствъ и эмоцій, сюда относящихся, то это только—*иллюзія*: артистъ переживаетъ не подлинную, не настоящую, не свою собственную ревность, а ея *фикцію*. Было бы ошибкою—сказать, что эта фикція есть чистое *представленіе*, *образъ* даннаго чувства, явленіе исключительно умственнаго порядка и не получаетъ никакого отраженія въ чувствующей сферѣ. Нѣтъ, оно несомнѣнно отлагается здѣсь—особымъ чувствомъ того же порядка, но это чувство, напр., ревности, страха, гнѣва и т. д., своимъ психологическимъ характеромъ замѣтно отличается отъ подлиннаго чувства, отъ настоящаго гнѣва, страха, ревности и т. д. Артистъ ставитъ себя мысленно въ положеніе изображаемаго лица, проникаетъ въ его душу и, силою симпатическаго воображенія, заставляетъ себя *сочувствовать* всему, что переживаетъ это лицо, онъ *переживаетъ самъ рядъ чувствъ, созвучныхъ чувствамъ этого лица*. Вотъ именно фиктивный гнѣвъ есть сочувствіе чужому гнѣву, фиктивная

ревность—аналогія настоящей, основанная на ея пониманіи, фиктивная радость—созвучіе подлинной и т. д.

Сценическое искусство есть самое жизненное изо всѣхъ искусствъ, и граница между актеромъ и человѣкомъ едва уловима. Всѣмъ намъ приходится въ нашей жизни переживать и воспроизводить множество фиктивныхъ чувствъ, которыми мы отвѣчаемъ на подлинныя чувства другихъ людей. Когда, искренно сочувствуя чужому горю, мы однако не можемъ раздѣлять его, тогда мы переживаемъ и выражаемъ его фикцію. Извѣстна «заразительность» чувствъ и эмоцій: оттуда—тотъ фактъ, что намъ нерѣдко приходится испытывать не настоящія, не «свои» чувства, а отраженія чужихъ. Эти отраженія и являются фикціями чувствъ и при томъ—фикціями различной силы: отъ мнимости чувства черезъ рядъ ступеней болѣе яркаго отраженія до подлиннаго, «своего», чувства, которое уже не фикція. Такъ напр. подъ вліяніемъ чужого *негодованія* можно почувствовать слабое подобіе его, испытать мнимое негодованіе, а потомъ пережить рядъ его фикцій и кончить уже настоящимъ, «неподдѣльнымъ» негодованіемъ.

Фиктивныя чувства играютъ большую роль не только въ психологическихъ отношеніяхъ человѣка къ человѣку, но и въ отношеніяхъ человѣка къ самому себѣ, къ своему собственному внутреннему міру, въ особенности къ своему прошлому. Нѣкогда человѣкъ пережилъ, напр., страстную любовь; давно прошла и быльемъ поросла эта любовь; вспоминая ее, человѣкъ переживаетъ рядъ чувствъ, которыя въ отношеніи къ подлинной любви, давно забытой, являются лишь ея аналогіями, ея фикціями. Эти фикціи чувства онъ можетъ переживать съ большею или меньшею силою, что́, помимо случайныхъ причинъ, зависитъ отъ силы памяти, симпатическаго воображенія и того «творчества», безъ котораго нельзя возсоздавать свое прошлое и переживать его тѣни и фикціи.

Еще одно, важное для насъ, замѣчаніе: Фиктивныя чувства иногда могутъ быть *сильнѣе настоящихъ, отличаться большею эмоціональностью и выражаться ярче ихъ*. Эта сила и яркость фикцій чувствъ, завися отъ весьма различныхъ причинъ, между прочимъ, находится въ зависимости отъ вмѣшательства въ данный процессъ *лирическихъ эмоцій*. Есть натуры, которыя, переживая фикцію чужого или своего пережитаго чувства, *настраиваются лирически*, и къ эмоціи, связанной съ самимъ

чувствомъ, какъ таковымъ, присоединяется у нихъ особая эмоція, вытекающая изъ гармонической «гаммы» ощущеній, возникающихъ въ процессѣ переживанія и воспроизведенія данныхъ душевныхъ состояній. Человѣкъ можетъ напр. заплакать слезами умиленія, вспоминая трогательную сцену, въ которой самъ онъ и не участвовалъ, или просто воображая, сочиняя ее; тутъ дѣйствуетъ, кромѣ натуральной эмоціи даннаго чувства, еще и лирическая эмоція, вызванная процессомъ созданія и переживанія его фикціи. Подлинныя чувства сравнительно — рѣдко настраиваютъ человѣка лирически: лирика гораздо легче расцвѣтаетъ въ душѣ, когда на смѣну подлиннаго чувства пришла его фикція, съ которою человѣку легче справляться, чѣмъ съ подлиннымъ чувствомъ, и которую онъ воленъ «разрабатывать» и направлять по своему усмотрѣнію,—очищать, идеализировать, усиливать и всѣмъ этимъ—бередить душу, настраивать ее на такой или иной ладъ и, между прочимъ,—лирически.

Теперь мы можемъ вернуться къ лирикѣ Пушкина, достигшей къ 1830 году высшей ступени творчества.

Предметомъ ея были не подлинныя и не «свои» чувства, *а фикціи чужихъ и своихъ чувствъ*. Изъ глубины души, гдѣ эти фикціи воспроизводились, ключемъ била лирика наивысшаго полета. Есть только одно, въ самомъ дѣлѣ лирическое, стихотвореніе (этого года), гдѣ очевидно живьемъ и моментально схвачено «свое», лично пережитое—не какъ фикція. И это «свое» оказывается просто-на-просто—*безсонницей*. Вотъ этотъ перлъ лирики:

Мнѣ не спится, нѣтъ огня:
Всюду мракъ и сонъ докучный;
Ходъ часовъ лишь однозвучный
Раздается близъ меня.
Парки бабье лепетанье,
Спящей ночи трепетанье,
Жизни мышья бѣготня—
Что тревожишь ты меня?
Что ты значишь, скучный шопотъ?
Укоризна или ропотъ
Мной утраченнаго дня?
Отъ меня чего ты хочешь?
Ты зовешь или пророчишь?

*

Я понять тебя хочу,
Темный твой языкъ учу...

Это—«моментальный снимокъ» съ подлинныхъ ощущеній и это—такая геніальная лирика, что мы, зная о выдающейся роли фиктивныхъ чувствъ въ лирическомъ творчествѣ Пушкина, невольно спрашиваемъ: не замѣшаны ли и тутъ какія-либо фикціи? Разумѣется, замѣшаны. «Безсонница»,—не чувство, а такое раздраженное состояніе мозга, при которомъ съ особливою легкостью возникаютъ всевозможныя и «невозможныя» фикціи и мыслей, и чувствъ, и настроеній. Поскольку здѣсь воспроизведено это состояніе, постольку это—снимокъ съ подлинной дѣйствительности переживанія. Но положительное содержаніе этихъ переживаній — фиктивно, что мастерски выражено въ формѣ вопросовъ. Укоризна? Ропотъ? Зовъ? Пророчество? Богъ вѣсть! Оно какъ будто и укоризна, и ропотъ, и зовъ, и пророчество, а въ сущности—только фикціи этихъ мыслей, чувствъ и настроеній, и при томъ фикціи сонныя, непроясненныя, не ясный голосъ, а «докучный шопотъ» душевныхъ состояній... Это—какъ бы фикціи фикцій, мнимыя психическія величины.

Въ трехъ пьесахъ, воспроизводящихъ воспоминанія о былой любви («Разставаніе», «Заклинаніе», «Для береговъ отчизны дальной...»), фиктивность чувствъ, какъ мы видѣли выше, несомнѣнна. Отмѣтимъ яркую эмоціональность этихъ—несуществующихъ—чувствъ. И вмѣстѣ съ тѣмъ обратимъ вниманіе на то, что высокій лиризмъ данныхъ пьесъ, очевидно, зависитъ отъ того, что лирическая эмоція овладѣла здѣсь не самимъ чувствомъ (все равно,—въ натурѣ или въ видѣ фикціи), а его эмоціями. Ихъ три: въ «Разставаніи» она очень слаба,—здѣсь выражено спокойное чувство; въ которомъ эмоціональная сторона почти затушевана; въ «Заклинаніи» дана сильная эмоція, почти аффектъ,—тотъ, который заставляетъ человѣка, безумствуя, вызывать тѣнь любимой женщины; въ послѣднемъ же стихотвореніи («Для береговъ...») эта эмоція просвѣтлена и одухотворена чаяніемъ загробнаго свиданія. Такъ вотъ, во всѣхъ трехъ пьесахъ объектомъ лирической обработки явились именно эти эмоціи любви, а не просто данныя чувства или ихъ фикціи. Эти-то эмоціи, и при томъ осложненныя лирическою, поэтъ теперь пережилъ—такъ, какъ актеры переживаютъ на сценѣ лю-

бовныя эмоціи «героевъ», ими изображаемыхъ, а равно и всякія другія эмоціи, часто въ дѣйствительности имъ недоступныя.

Къ тому же времени относится и превосходное, блещущее мрачнымъ лиризмомъ стихотвореніе «*Стамбулъ гяуры нынче славятъ*», о которомъ Бѣлинскій выразился, что оно «какъ будто написано туркомъ нашего времени». Мотивы, взятые въ стихотвореніи, Пушкинъ, само собой разумѣется, никогда не переживалъ лично, а только подслушалъ и подмѣтилъ во время путешествія въ Эрзерумъ. Чувства мусульманскаго фанатизма и ригоризма могли отразиться въ душѣ Пушкина лишь въ видѣ фикцій, и при томъ такихъ, которыя граничатъ съ мнимостью чувства. Это—представленія чужихъ чувствъ, вызывающія соотвѣтственную эмоцію, которая и подвергнута лирической обработкѣ, а самого чувства нѣтъ, не было и не могло быть. Здѣсь, какъ и въ другихъ вещахъ, гдѣ Пушкинъ, по общепринятому выраженію, «перевоплощается», роль фикцій въ его лирикѣ выступаетъ съ особливою отчетливостью. Двѣ серенады («Я здѣсь, Инезилья...» и «Предъ испанкой благородной...»), гдѣ Пушкинъ обернулся испанцемъ, относятся къ «Каменному гостю», но не вошли сюда—за ненадобностью. Лиризмъ этихъ пьесокъ не высокаго качества; это, повидимому, только «проба голоса», родъ лирическаго камертона. То же самое нужно сказать о пѣсенкѣ «Пью за здравіе Мери».

Подведемъ итогъ.

Играя фикціями чувствъ, своихъ и чужихъ, какъ геніальный актеръ, перевоплощающійся сегодня въ Лира, завтра въ Гамлета, потомъ въ Чацкаго и т. д., Пушкинъ—лирикъ, въ разсматриваемую эпоху, живо ощутилъ то, къ чему исподволь стремилась его душа уже давно: *свободу, радостную свободу отъ гнета чувствъ, страстей и всякаго житейскаго дрязга.* Пусть эта свобода не была совершившимся фактомъ въ его жизни, въ его отношеніяхъ къ свѣту, ко двору и т. д.,—*она осуществлялась въ глубинѣ его духа и затѣмъ проявлялась въ творчествѣ.* Прямой путь къ психической свободѣ это именно—превращеніе настоящихъ чувствъ въ ихъ фикціи и страстей въ величины мнимыя. При такомъ превращеніи душа свободна отъ гнета чувствъ и страстей, но человѣкъ понимаетъ ихъ, владѣетъ ихъ «языкомъ», ихъ эмоціональнымъ выраженіемъ. Это—свобода познанія, а не блаженнаго невѣдѣнія. Уму, не отуманенному страстями, не засоренному хламомъ чувствъ,

но владѣющему ихъ фикціями, доступно и понятно многое человѣческое, далеко выходящее за предѣлы его личнаго опыта. Пушкинъ блистательно доказалъ это геніальнымъ художественнымъ изображеніемъ и высокою лирикою такихъ страстей, какъ зависть, скупость и мужское хищничество, которыхъ у него лично никогда не было. А то, что когда-то было, лично пережитой опытъ жизни, теперь превратилось въ фикціи, въ тѣни прошлаго, которыя на его поэтическомъ экранѣ, озаренныя волшебнымъ свѣтомъ его лирики, получили идеальное выраженіе, какого не имѣли въ свое время, въ живомъ состояніи.

Въ этомъ свободномъ творчествѣ Протея лирики отлагалось одно несомнѣнное живое чувство—*душевной свободы*, которое сказалось въ самомъ пошибѣ его творчества, а прямо выражено въ сонетѣ «Поэту». Вникая въ природу этого чувства, мы легко замѣтимъ его «отрицательный» характеръ: оно—результатъ и симптомъ освобожденія души отъ гнета другихъ чувствъ и всего, что засоряетъ душу и затемняетъ мысль. Мы не назовемъ его чувствомъ фиктивнымъ,—оно—и подлинное, «настоящее», но по самой своей природѣ, оно изо всѣхъ подлинныхъ чувствъ ближе всего подходитъ къ фиктивнымъ.

Для творчества оно драгоцѣнно. Оно обезпечиваетъ его свободу и его «спокойствіе». Оно даетъ возможность поэту быть полнымъ хозяиномъ своихъ вдохновеній и — «идти дорогою свободной, куда влечетъ его свободный умъ».

Внутренняя свобода духа открываетъ доступъ къ душѣ художника самымъ разнобразнымъ идеямъ, замысламъ, созерцаніямъ и умственнымъ интересамъ. Въ этомъ огромномъ мірѣ поэтъ распоряжается и вращается съ непринужденностью и кажущейся непосредственностью того идеальнаго Моцарта, котораго онъ такъ проникновенно воспроизвелъ. Къ чему ни прикоснется, какую тему ни возьметъ,—уже готовы творческіе образы и уже звучатъ лирическія струны его души. Съ эѳирныхъ высотъ чистѣйшихъ лирическихъ вдохновеній онъ легко и радостно сойдетъ внизъ и погрузится въ гущу жизни, ибо его свободному уму ничто человѣческое не чуждо, и свободная дорога его творчества ведетъ и на небо и на землю. Сюда, на землю, онъ принесетъ то же самое спокойствіе созерцаній и ту же простоту и свободу души, къ которымъ онъ привыкъ на высотахъ лиризма. Какъ тамъ онъ ничего не «сочинялъ», такъ ничего не будетъ «сочинять» и здѣсь. Какъ тамъ въ его

созданіяхъ не было ничего вымученнаго, такъ не будетъ этого и здѣсь. Тамъ онъ былъ «Моцартъ», — здѣсь онъ обернется Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ.

V.

Художественныя «мистификаціи» Пушкина.

Среди могучаго разгула творчества, которымъ ознаменовались лѣто и осень 1830 года, бросается въ глаза между прочимъ одна черта, необыкновенно-привлекательная, живо напоминающая все того же «Моцарта»: Пушкинъ «игралъ» и «рѣзвился», какъ ребенокъ, и какая-то сила неудержимо влекла его къ шуткѣ, къ поэтическому маскараду, къ мистификаціи, къ разнаго рода игривымъ выходкамъ. Написавъ «Скупого рыцаря», онъ присочинилъ коварный подзаголовокъ: «Сцены изъ Ченстоновой трагикомедіи The caveteous Knight», доставивъ этой шуткой много хлопотъ послѣдующимъ изслѣдователямъ, въ особенности П. В. Анненкову. Перерыли словари, наводили справки въ библіотекахъ, тревожили англійскихъ ученыхъ, пока наконецъ не выяснилось, что никакого Ченстона не существовало. «Для окончательнаго объясненія дѣла», говоритъ Анненковъ, «мы сносились посредствомъ одного изъ нашихъ знакомыхъ съ издателями «Athaenaeum» въ Англіи, прося у нихъ свѣдѣній о загадочномъ Ченстонѣ»..., — и получился отвѣтъ: «Вашъ великій поэтъ подшутилъ надъ своей публикой, сославшись на небывалаго въ Англіи писателя»...— «Домикъ въ Коломнѣ», несомнѣнно,—шутка, но очень художественная,— по выраженію Бѣлинскаго, «игрушка, сдѣланная рукою великаго мастера». Въ ней есть и примѣсь мистификаціи: поэтъ скрылъ свое имя (см. строфы XVIII и XIX) съ коварною цѣлью—позабавиться отзывами и догадками критиковъ. Легкій юморъ, которымъ проникнута эта «шутка», и «легкость» самаго ея содержанія представляютъ видимо-преднамѣренный контрастъ съ тяжелою, важною формою—десяти—и одиннадцатисложныхъ октавъ. Вспомнимъ и заключительную строфу (LIV):

Вотъ вамъ мораль: по мнѣнью моему,
Кухарку даромъ нанимать опасно;
Кто-жъ родился мущиною, тому
Радиться въ юбку странно и напрасно:
Когда-нибудь придется же ему
Брить бороду себѣ, что несогласно
Съ природой дамской... Больше ничего
Не выжмешь изъ разсказа моего.

Критика (кромѣ отзыва Бѣлинскаго и Гоголя въ частномъ письмѣ) увидѣла здѣсь паденіе таланта Пушкина, между тѣмъ какъ эта вещица свидѣтельствуетъ только о необыкновенной виртуозности этого таланта. Теперь прочтемъ слѣдующую— вовсе не лирическую, но не сомнѣнно—художественную пьесу, озаглавленную (въ рукописи) «*Шалость*», а въ печатномъ— посмертномъ—изданіи «Капризъ»:

Румяный критикъ мой, насмѣшникъ толстопузый,
Готовый вѣкъ трунить надъ нашей томной музой,
Поди-ка ты сюда, присядь-ка ты со мной,
Попробуй, сладимъ ли съ проклятою хандрой.
Что-жъ ты нахмурился? Нельзя-ли блажь оставить
И пѣсенкою насъ веселой позабавить?
Смотри, какой здѣсь видъ: избушекъ рядъ убогій,
За ними черноземъ, равнины скатъ отлогій,
Надъ ними сѣрыхъ тучъ густая полоса.
Гдѣ-жъ нивы свѣтлыя? Гдѣ темные лѣса?
Гдѣ рѣчка? На дворѣ у низкаго забора
Два бѣдныхъ деревца стоятъ въ отраду взора,
Два только деревца, и то изъ нихъ одно
Дождливой осенью совсѣмъ обнажено,
А листья на другомъ размокли и, желтѣя,
Чтобъ лужу засорить, ждутъ перваго Борея,
И только. На дворѣ живой собаки нѣтъ.
Вотъ, правда, мужичекъ; за нимъ двѣ бабы вслѣдъ.
Безъ шапки онъ; несетъ подъ мышкой гробъ ребенка
И кличетъ издали лѣниваго попенка,
Чтобъ тотъ отца позвалъ, да церковь отворилъ:
Скорѣй, ждать некогда, давно бъ ужь схоронилъ!

Кто такой этотъ «румяный критикъ», «насмѣшникъ толстопузый»? что собственно хотѣлъ сказать Пушкинъ этой художественною картинкою, достойной Чехова? И почему это— «шалость»? Среди замысловъ «драматическихъ опытовъ», среди высокихъ лирическихъ вдохновеній,—поэта, видимо, тянуло къ сѣренькой прозѣ русской дѣйствительности, къ тусклымъ тонамъ сѣверной природы, къ нашей деревенской «бѣдности да бѣдности». И когда онъ обращается сюда, онъ дѣлаетъ видъ, что это—прихоть, художническій капризъ, шалость. Или въ самомъ дѣлѣ это еще не были серьезные художественные замыслы, а это было только какъ бы заигрываніе съ русской дѣйствительностью,—проба пера и кисти, и въ результатѣ выходила художественная шутка въ родѣ «Домика въ Коломнѣ» или загадка—въ родѣ «Лѣтописи села Горохина»? Какъ-бы то ни было, «Шалость» приходится отнести къ числу «мистификацій» Пушкина. Замѣтимъ еще, что стихотвореніе не есть отрывокъ, это—законченное цѣлое, подъ которымъ проставлена и дата («1 октября 1830. Болдино»).

Элементъ шутки и мистификаціи сильнѣе всего выразился въ повѣстяхъ Бѣлкина и въ «Лѣтописи села Горохина». Предисловіе къ повѣстямъ («Отъ издателя»)—настоящій маскарадъ. Загримировавшись простодушнымъ Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ, поэтъ въ пяти приписанныхъ послѣднему повѣстяхъ является первоклассным актеромъ, превосходно выдерживающимъ свою роль; все, о чемъ идетъ рѣчь въ повѣстяхъ, разсказано такъ, какъ долженъ былъ разсказать Бѣлкинъ, а не Пушкинъ, все пропущено сквозь душу Бѣлкина и разсматривается съ его точки зрѣнія. Это сдѣлано такъ просто, что вы нигдѣ не поймаете Пушкина, не замѣтите грима. Гримировка такъ удачна, что понять и оцѣнить повѣсти, какъ художественныя произведенія, можно не иначе, какъ только забывъ о Пушкинѣ и памятуя исключительно о Бѣлкинѣ, какъ авторѣ. Всѣ ошибки критиковъ въ оцѣнкѣ этихъ простодушныхъ разсказовъ тѣмъ и объясняются, что критики упускали изъ-виду сложный—«мистификаторскій»—процессъ творчества: Пушкинъ не только создалъ характеръ и типъ Бѣлкина, но и обернулся Иваномъ Петровичемъ Бѣлкинымъ. Когда это случилось,—уже не было Пушкина, а былъ Бѣлкинъ, который и написалъ эти повѣсти въ простотѣ души своей. И если что осталось въ нихъ пушкинскаго, то это только манера письма:

художественная опредѣлительность и точность языка и сжатость изложенія, чуждаго длинноть и амплификацій. Если, забывъ о Бѣлкинѣ, судить о повѣстяхъ по существу, со стороны содержанія, характеровъ, нравовъ и т. д., то придется сказать, что это—не серьезныя художественныя произведенія Пушкина, а его—художническія шалости. Если имѣть въ виду Бѣлкина, то повѣсти получаютъ свой смыслъ—какъ выраженіе понятій Бѣлкина,—онѣ рисуютъ *его*, они — созданіе *его* простого и здраваго ума,—и главный интересъ, какой онѣ могутъ представить, будетъ зависѣть отъ того, насколько интересенъ самъ Бѣлкинъ—какъ типъ, какъ натура и складъ ума. Центръ тяжести переносится отъ самыхъ повѣстей къ личности Бѣлкина. Но тутъ-то и ждутъ читателя и критика самыя коварныя трудности. Если мы начнемъ *серьезно* разбирать типъ Бѣлкина, усматривая въ немъ большой художественный замыселъ, то рискуемъ попасть въ просакъ. И тутъ Пушкинъ подшутилъ. Спустившись съ облаковъ на землю и окунувшись въ самую гущу русскаго быта, онъ создалъ характерную фигуру добраго помѣщика, хорошаго русскаго человѣка, не мудрствующаго, но умнаго, и, внесши сюда замѣтную дозу лукаво-простодушной ироніи, предоставилъ читателямъ и критикамъ ломать голову и догадываться о намѣреніяхъ автора, о замыслѣ, объ идеѣ произведенія,—и такъ и кажется, что, если бы Пушкинъ могъ прочитать все, что потомъ было писано о Бѣлкинѣ, онъ расхохотался бы своимъ веселымъ, звонкимъ смѣхомъ и сказалъ бы: господа, я пошутилъ, и никакого «замысла», никакой «идеи» у меня не было, а было только одно «намѣреніе»—позабавиться и попробовать свое перо въ этомъ родѣ...

Генію, столь высоко поднявшемуся надъ дѣйствительностью въ своихъ лирическихъ пареніяхъ, пріятно окунуться въ жизнь, въ простую повседневную жизнь, и почувствовать себя простымъ смертнымъ,—и онъ начинаетъ разсказывать анекдоты и разныя занимательныя «исторіи»; поэту, который «не дорожитъ любовію народной», ужасно хочется очутиться среди этого народа; отъ восторговъ высшаго творчества его тянетъ къ блаженству—почувствовать себя обывателемъ, простымъ смертнымъ, Иваномъ Петровичемъ, сыномъ покойнаго секундъ-майора Петра Ивановича Бѣлкина, который былъ женатъ на дѣвицѣ Пелагеѣ Гавриловнѣ изъ дому Трафилиныхъ. И если можно—и при томъ съ большимъ успѣхомъ—орудовать фик-

ціями страстей Сальери, Скупого, Донъ-Жуана и т. д., то почему нельзя войти въ несложный міръ души и жизни Ивана Петровича? Терминъ «перевоплощеніе» слишкомъ громкій для этого дѣла; поэтъ не «перевоплощается» въ Ивана Петровича, а только поддѣлывается подъ него и—лицедѣйствуетъ. И для «творчества», въ результатѣ котораго явились повѣсти Бѣлкина, съ великолѣпнымъ предисловіемъ—«отъ издателя», и «Лѣтопись села Горохина», всего лучше подходило бы выраженіе: «художническое лицедѣйство».

Что такое «Лѣтопись села Горохина»?—Сатира, предвосхитившая замыселъ «Исторіи одного города» Щедрина? Съ одной стороны какъ-будто оно такъ и есть, а съ другой стороны—какъ-будто ничего подобнаго и въ поминѣ не было. Можно привести рядъ доводовъ pro и contra. Выходитъ какая-то лукавая шутка, мистификація. *Страховъ* видѣлъ въ этой «Лѣтописи» пародію на «Исторію государства Россійскаго» Карамзина... Это опровергнуто, но, вѣдь, въ самомъ дѣлѣ, кто хочетъ это видѣть,—можетъ увидѣть... Вѣдь, Страховъ не только «видѣлъ» это, но и подтверждалъ цитатами.—*Бѣлинскій* «увидѣлъ» въ «Лѣтописи только» шутку—острую, милую и забавную, въ которой, впрочемъ, есть и серьезныя вещи, какъ напр. прибытіе въ село Горохино управителя и картина его управленія»...—*Аполлонъ Григорьевъ* полагалъ, что «эта лѣтопись—тончайшая и вмѣстѣ добродушно-поэтическая насмѣшка надъ цѣлою вѣковою полосою нашего развитія, надъ всею нашею поверхностною образованностью, изъ которой мы вынесли взглядъ, совершенно неприложимый къ явленіямъ окружающей насъ дѣйствительности»... и т. д.—Очевидно «Лѣтопись»—загадочна, и если правъ Бѣлинскій, назвавшій ее «шуткою», то намъ остается только добавить, что это—и шутка не только «милая и забавная», но и «коварная». Изо всѣхъ отзывовъ, какіе намъ извѣстны, единственно правильнымъ представляется намъ отзывъ *Н. О. Лернера*, одного изъ лучшихъ въ настоящее время знатоковъ Пушкина.—«Простой и необразованный Бѣлкинъ»—говоритъ Н. О. Лернеръ—«такъ полюбился Пушкину, что поэтъ не устоялъ предъ искушеніемъ попробовать взглянуть на исторію очами Бѣлкина». Охарактеризовавъ исторіографическую манеру Бѣлкина, Лернеръ продолжаетъ: «Историкъ не простой комментаторъ, не сухой архивный изслѣдователь, но художникъ, мыслитель и

моралистъ. Онъ очевидно подражаетъ Карамзину. Все-же «Исторія» вовсе не пародія ни на Карамзина, ни на Полевого и, судя по ея добродушному тону, не историческая сатира. Это просто—шутка, умная, добрая шутка, но въ ней, какъ замѣтилъ Бѣлинскій, «есть и серьезныя вещи»... Отношеніе Бѣлкина къ повѣствованію не лишено ироніи человѣка, сознающаго свое превосходство надъ изображаемой средою, но Пушкинъ съ нимъ не смѣшиваетъ себя; поэтъ стоитъ немного въ сторонѣ и глядитъ и на историка, и на изучаемую имъ жизнь съ благодушнымъ юморомъ. Художественнымъ методомъ Пушкина воспользовался Салтыковъ въ «Исторіи одного города», но воспользовался какъ яркій сатирикъ, вложивъ въ свой разсказъ глубокую душевную боль».—(«Исторія русской литературы XIX-го вѣка», изд. Т-ва «Міръ», вып. V-ый, статья Н. О. Лернера «Проза Пушкина», стр. 393—394).

VI.

Творчество Пушкина въ началѣ 30-хъ г.г.

1.

Поэтическіе итоги. Художественная ликвидація прошлаго.

Произведенія Пушкина, относящіяся къ началу 30-хъ г.г. (1831—1833), принадлежатъ къ той же полосѣ творчества, которую мы разсмотрѣли выше. Передъ нами великій *объективный* поэтъ, *лирикъ-созерцатель*, *художникъ-мыслитель*. На этой огромной высотѣ творчества онъ достигаетъ полноты поэтическаго самосознанія; ему становятся ясны пути его собственнаго развитія; онъ сводитъ теперь послѣдніе счеты съ прошлымъ, ищетъ поэтическихъ итоговъ всему, что накоплялось въ душѣ въ теченіе многихъ лѣтъ, доводитъ до конца замыслы прежняго времени и—этою художественною ликвидаціею прошлаго расчищаетъ пути дальнѣйшаго творчества.

Въ 1831 г. ликвидированъ «Евгеній Онѣгинъ». Въ по-

слѣднихъ строфахъ романа поэтъ прощается съ своимъ любимымъ дѣтищемъ, съ своимъ многолѣтнимъ завѣтнымъ и задушевнымъ трудомъ. Этому великому творенію мы посвятимъ ниже особую главу. Здѣсь насъ интересуетъ только—прощаніе, итогъ, ликвидація. Вспомнимъ:

Прости-жъ и ты, мой спутникъ странный,
И ты, мой вѣрный идеалъ,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни въ буряхъ свѣта,
Бесѣду сладкую друзей.
Промчалось много, много дней
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снѣ
Явилися впервые мнѣ—
И даль свободнаго романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще не ясно различалъ.
Но тѣ, которымъ въ дружной встрѣчѣ
Я строфы первыя читалъ...
Иныхъ ужь нѣтъ, а тѣ далече,
Какъ Сади нѣкогда сказалъ.
Безъ нихъ Онѣгинъ дорисованъ.
А та, съ которой образованъ
Татьяны милой идеалъ...
О, много, много рокъ отъялъ!
Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полнаго вина,
Кто не дочелъ ея романа
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,
Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ... (VIII, L—LI).

Съ окончаніемъ труда были связаны воспоминанія о прошломъ, поэтъ грустно прощается съ его тѣнями. Это—элегія столь же захватывающая, какъ и та, какую представляетъ очередная памятка лицейской годовщины («19 октября» 1831 г.), гдѣ, между прочимъ, поэтъ оплакиваетъ недавнюю кончину Дельвига, одного изъ лучшихъ друзей своихъ.

И, мнится, очередь за мной...
Зоветъ меня мой Дельвигъ милый,
Товарищъ юности живой,
Товарищъ юности унылой...

Среди поэтическихъ похоронъ и поминокъ чуднымъ аккордомъ звучитъ другое, высоко-лирическое и вмѣстѣ высокоморальное, прощаніе съ прошлымъ, гдѣ сказалась та ликвидація эгоизма въ любви, о которой говоритъ Гете (въ «Dichtung und Wahrheit»): «Быть несвоекорыстнымъ во всемъ, быть наиболѣе безкорыстнымъ въ любви и дружбѣ,—въ этомъ состояло мое величайшее наслажденіе,—это было мое правило,—я изощрялся въ этомъ, такъ что позднѣйшее дерзновенное изреченіе: «если я тебя люблю, то какое тебѣ дѣло до этого?»—было высказано мною вполнѣ отъ души».—Пушкинъ всегда былъ безкорыстенъ въ дружбѣ... Не берусь судить, насколько былъ онъ безкорыстенъ въ любви. Но теперь, въ расцвѣтѣ творчества, при той внутренней свободѣ, какой достигъ онъ, какъ поэтъ, и къ которой стремился (можетъ быть, не всегда съ успѣхомъ)—какъ человѣкъ,—онъ въ вопросахъ любви въ самомъ дѣлѣ возвысился до высокаго «безкорыстія», что̀ и выразилъ онъ въ чудномъ стихотвореніи (1832), которое, по выраженію Бѣлинскаго, «отзывается чѣмъ-то благоуханно-святымъ въ испытанномъ, но не побѣжденномъ жизнью поэтѣ»:

Нѣтъ, нѣтъ, не долженъ я, не смѣю, не могу
Волненіямъ любви безумно предаваться!
Спокойствіе мое я строго берегу
И сердцу не даю пылать и забываться.
Нѣтъ, полно мнѣ любить! Но почему жъ порой
Не погружуся я въ минутное мечтанье,
Когда нечаянно пройдетъ передо мной
Младое, чистое, небесное созданье?
Пройдетъ и скроется!... Ужель не можно мнѣ

. . . . . .

Глазами слѣдовать за ней, и въ тишинѣ
Благословлять ее на радость и на счастье,
И сердцемъ ей желать всѣ блага жизни сей:
Веселья, миръ души, безпечные досуги,
Все... даже счастіе того, кто избранъ ей,
Кто милой дѣвѣ дастъ названіе супруги?

Выраженіе «спокойствіе мое я строго берегу» не слѣдуетъ понимать въ эгоистическомъ смыслѣ. Дѣло идетъ о «внутренней свободѣ», которою теперь такъ дорожилъ Пушкинъ—и какъ поэтъ, и какъ человѣкъ. Это «спокойствіе» вполнѣ совмѣстимо съ тѣмъ, что можно назвать фикціею въ любви,—любовью поэтической и человѣчной, безъ личныхъ притязаній. Поэзія и гуманность сливаются здѣсь воедино, и это единое есть лучшій даръ души, въ силу котораго человѣкъ становится высоко-моральною личностью, а поэтъ возвышается до той *отзывчивости* или *многозвучности* поэтическаго «эхо», которая выражена въ стихотвореніи:

Реветъ ли звѣрь въ лѣсу глухомъ,
Трубитъ ли рогъ, гремитъ ли громъ,
Поетъ ли дѣва за холмомъ,—
На всякій звукъ
Свой откликъ въ воздухѣ пустомъ
Родишь ты вдругъ.
Ты внемлешь грохоту громовъ
И гласу бури и валовъ
И крику сельскихъ пастуховъ—
И шлешь отвѣтъ;
Тебѣ жъ нѣтъ отзыва... Таковъ
И ты, поэтъ!
(«Эхо» 1831).

Казалось бы, если поэтъ откликается, какъ эхо, *на все*, то «отзывъ» не можетъ не воспослѣдовать... Пушкинъ въ данную эпоху, дѣйствительно, откликался, если не на все, то на многое, въ томъ числѣ и кое-что такое, которое могло бы обойтись и безъ его риѳмованнаго отклика («Клеветникамъ Россіи» 1831 г., «Бородинская годовщина» 1831 г.). Въ драматизированной поэмѣ Майкова «Три смерти» философъ-эпикуреецъ Люцій говоритъ поэту Лукану:

. . . . . Вы всѣ на колоколъ похожи,
Въ который можетъ зазвонить
На площади любой прохожій...

Высшая поэтическая объективность, способность «откликаться на все», уподобляющая поэта механическому, бездушному «эхо», имѣетъ свою отрицательную сторону. Пушкинъ въ разсматриваемую эпоху явилъ въ своемъ творчествѣ обѣ стороны: и положительную, и отрицательную. Но онъ находился тогда на перепутьи, на великомъ поворотномъ пунктѣ, когда ликвидировалось прошлое и подводились его итоги, когда свободу творчества и высшую — гуманную—объективность отношеній и созерцаній онъ сравнивалъ съ безстрастными, безпечальными откликами бездушнаго «эхо», и когда ему казалось, что поэту нѣтъ «отзыва», потому что «толпа» его не понимаетъ, не можетъ вникнуть въ глубину его переживаній и оцѣнить широту его поэтическаго воззрѣнія... Это—временная аберрація мысли и чувства, которою обычно у великихъ поэтовъ сопровождается расцвѣтъ ихъ творчества, иллюзія самосознанія и самочувствія, возникающая какъ продуктъ броженія мысли и чувства.

Этого рода иллюзіи, въ томъ или другомъ видѣ, могутъ также войти въ общую сумму «итога», а ровно и ликвидируются въ процессѣ творчества, гдѣ даны послѣдніе итоги чувствъ, думъ и замысловъ, въ разное время возникавшихъ въ душѣ поэта.

Образцомъ такого заключительнаго творчества, въ которомъ геніально объединены въ одномъ художественномъ сплавѣ элементы весьма различнаго происхожденія и слиты въ стройную симфонію разнообразныя мелодіи, нѣкогда звучавшія въ душѣ поэта, является «Мѣдный Всадникъ», одно изъ тѣхъ произведеній, въ которыхъ геній Пушкина проявился съ исключительною силою.

2.

„Мѣдный Всадникъ“.

Литературная исторія «Мѣднаго Всадника» достаточно извѣстна. Вотъ тѣ membra disjecta, тѣ элементы, на которые распадается эта «Петербургская повѣсть», если заглянуть въ исторію ея созданія:

1) Впечатлѣніе, произведенное на Пушкина наводненіемъ 7-го ноября 1824 года, и матеріалъ воспоминаній и разска-

зовъ, относящихся къ этому событію. Пушкинъ не былъ очевидцемъ наводненія (онъ жилъ тогда въ Михайловскомъ), но, какъ извѣстно, онъ проявилъ живой интересъ къ этому бѣдствію. Оно сильно поразило его воображеніе. Между прочимъ, не лишне отмѣтить здѣсь то состраданіе и участіе къ потерпѣвшимъ, которыя обнаружилъ поэтъ: онъ поручилъ брату Льву помочь пострадавшимъ изъ выручки отъ продажи «Евг. Онѣгина».

2) Картина Петербурга и мысли о немъ, какъ о новой столицѣ, какъ о «твореніи Петра»; весьма вѣроятно, что аналогичныя мысли въ статьѣ Батюшкова «Прогулка въ Академію художествъ» (1814 г.) послужили толчкомъ, направившимъ вниманіе поэта въ эту сторону. Нѣкоторыя мѣста въ «Мѣдномъ Всадникѣ» представляются какъ бы переложеніемъ въ стихи фразъ Батюшкова (см. «Сочиненія К. Н. Батюшкова», изд. 1887 г., стр. 238 и сл.).

3) Отъ мыслей о Петербургѣ недалеко до мыслей о его основателѣ. Мощная фигура Петра выступаетъ на авансцену творческой работы. Этотъ образъ, грозный, величавый и загадочный, не впервые возникалъ въ воображеніи Пушкина. Петръ въ «Полтавѣ» и посвященные ему «Стансы» были поэтическими прецедентами образа Петра въ «Мѣдномъ Всадникѣ». Мало того: Пушкинъ уже работалъ надъ исторіей Петра, собиралъ и разбиралъ документы и другіе матеріалы,— и большой запасъ размышленій и своеобразныхъ, иногда противорѣчивыхъ, чувствъ, стносящихся къ личности великаго преобразователя и къ разнымъ сторонамъ его дѣятельности, уже давно былъ въ распоряженіи Пушкина.

4) Разсказъ графа Віельгорскаго, откуда взятъ самый образъ *Мѣднаго Всадника*, покидающаго свой пьедесталъ и скачущаго по улицамъ Петербурга [1]).

---

[1]) „Въ 1812 г., когда опасность французскаго вторженія грозила и Петербургу, Государь Александръ Павловичъ предложилъ, вмѣстѣ съ другими драгоцѣнностями столицы, вывезти и статую Петра В. Въ то время къ кн. А. Н. Голицыну, какъ извѣстно, отличавшемуся мистическимъ настроеніемъ, хаживалъ нѣкто майоръ Батуринъ. Онъ разсказалъ князю, что видитъ одинъ и тотъ же сонъ: будто стоитъ онъ на Сенатской площади, смотритъ на памятникъ Петра В. и видитъ, что ликъ его поворачивается; потомъ онъ съѣзжаетъ со своей скалы и направляется по улицѣ къ Каменному острову, гдѣ жилъ тогда Императоръ. Батуринъ, влекомый какою-то силою, спѣшитъ за нимъ и слышитъ топотъ мѣдныхъ копытъ по мостовой. Всадникъ въѣзжаетъ на дворъ Каменноостровскаго дворца, откуда навстрѣчу ему выходитъ Императоръ, задумчивый и озабоченный.

5) Одно личное воспоминаніе поэта, связанное все съ тѣмъ же *Мѣднымъ Всадникомъ*, поэтически-трогательное воспоминаніе о томъ, какъ два молодыхъ человѣка, прикрывшись однимъ плащемъ и держась за руки, стояли передъ памятникомъ Петра и тихо бесѣдовали. Воспроизводящіе эту сцену стихи *Мицкевича* найдены въ черновыхъ бумагахъ Пушкина, относящихся къ «Мѣдному Всаднику» (См. напр. «Сочиненія А. С. Пушкина», изд. Литерат. Фонда, подъ редакц. П. О. Морозова, 1887, т. III, стр. 573).

6) Мысли на тему о «потомкахъ униженныхъ родовъ» и замыселъ поэмы, героемъ которой является такой обездоленный «потомокъ». «Родословная моего героя», написанная одновременно съ работой надъ «Мѣднымъ Всадникомъ», была первымъ наброскомъ этой «сатирической поэмы.» Поэма осталась едва начатой, но ея герой, *Евгеній Езерскій*, былъ перенесенъ въ «петербургскую повѣсть»—«Мѣдный Всадникъ».

И вотъ, въ октябрѣ 1833 г. всѣ эти разрозненные и разновременные элементы слились въ стройное цѣлое, объединенное идеей противопоставленія *личнаго* начала *государственному*, личной жизни и скромныхъ идеаловъ маленькаго героя, мечтающаго о тихомъ счастьѣ съ любимой женщиной вдали отъ свѣта,—могучей, почти стихійной, разрушающей и созидающей дѣятельности гиганта, величайшаго героя Русской Исторіи, идущаго на проломъ къ осуществленію историческаго дѣла, которое разсчитано на вѣка.

Съ одной стороны передъ нами бѣдный чиновникъ, хотя и знатнаго рода, но чуждый какихъ бы то ни было честолюбивыхъ стремленій. Это совсѣмъ маленькій и скромный человѣкъ, но однако не безъ своей гордости. Онъ хотѣлъ бы добиться «независимости и чести». Не лишне отмѣтить, что при послѣдней отдѣлкѣ «Мѣднаго Всадника» Пушкинъ значительно измѣнилъ то мѣсто (въ началѣ первой части), гдѣ Евгеній предается думамъ и мечтамъ о себѣ, о своей будущности, о Парашѣ. Въ первоначальной редакціи герой выходитъ здѣсь

„Молодой человѣкъ! До чего ты довелъ мою Россію!"—говоритъ ему Петръ В.: „но пока я на мѣстѣ,—моему городу нечего опасаться". Затѣмъ всадникъ поворачиваетъ коня, и снова раздается тяжеловѣсное скаканіе. Пораженный разсказомъ Батурина, кн. Голицынъ передалъ объ этомъ снѣ Государю, и когда многія государственныя сокровища и цѣлыя учрежденія были вывезены внутрь Россіи, статуя Петра В. была оставлена въ покоѣ" (См. „Сочиненія А. С. Пушкина", изд. Поливанова, 1904, т. II, стр. 323—324).

совсѣмъ ужь маленькимъ человѣкомъ съ очень узкимъ, мѣщанскимъ кругозоромъ и чиновническою приниженностью. Онъ размечтался о своей возлюбленной, Парашѣ, и думаетъ: почему бы ему не жениться на ней?

А почему-жъ? Зачѣмъ же нѣтъ?
Я не богатъ, въ томъ нѣтъ сомнѣнья,
И у Параши нѣтъ имѣнья.
Ну, что-жъ? Какое дѣло намъ!
Ужели только богачамъ
Жениться можно?

Въ послѣдующей обработкѣ эти стихи были выпущены. Здѣсь герой размышляетъ о томъ,

Что врядъ еще черезъ два года
Онъ чинъ получитъ, что рѣка
Все прибывала, что погода
Не унималась, что едва-ль
Мостовъ не сымутъ, что, конечно,
Парашѣ будетъ очень жаль...
Тутъ онъ разнѣжился сердечно
И размечтался, какъ поэтъ.
«Жениться? Что-жъ? Зачѣмъ-же нѣтъ?
И въ самомъ дѣлѣ? Я устрою
Себѣ смиренный уголокъ,
И въ немъ Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшокъ,
Да самъ большой... чего мнѣ болѣ?
Не будемъ прихотей мы знать;
По воскресеньямъ лѣтомъ въ полѣ
Съ Парашей буду я гулять;
Мѣстечко выпрошу; Парашѣ
Препоручу хозяйство наше
И воспитаніе ребятъ...
И станемъ жить, и такъ до гроба
Рука съ рукой пойдемъ мы оба,
И внуки насъ похоронятъ».

Но въ окончательной редакціи *все это мѣсто* выпущено, и размышленія и мечты Евгенія сведены къ слѣдующему *минимуму*:

О чемъ же думалъ онъ? О томъ,
Что былъ онъ бѣденъ, что трудомъ
Онъ долженъ былъ себѣ доставить
И независимость, и честь;
Что могъ-бы Богъ ему прибавить
Ума и денегъ; что вѣдь есть
Такіе праздные счастливцы,
Ума недальнаго лѣнивцы,
Которымъ жизнь куда легка!
Что служитъ онъ всего два года;
Онъ также думалъ, что погода
Не унималась; что рѣка
Все прибывала; что едва-ли
Съ Невы мостовъ уже не сняли,
И что съ Парашей будетъ онъ
Дня на два, на три разлученъ.
Такъ онъ мечталъ...

Смыслъ этихъ передѣлокъ ясенъ. Въ окончательной формѣ нѣтъ ни подчеркиванія бѣдности, ни упоминанія о чинѣ, который можетъ получить «мечтатель» черезъ два года, ни его соображеній о томъ, что онъ «мѣстечко выпроситъ», ни наконецъ всей идиллической картины мѣщанскаго счастья: все это показалось Пушкину *излишнимъ*. И въ самомъ дѣлѣ, не было надобности чрезмѣрно умалять героя, и безъ того столь маленькаго, а картина идиллическаго счастья въ шалашѣ съ милою могла бы произвести въ цѣломъ, при сопоставленіи съ картиною наводненія, смывшаго эти мечты, и въ виду фигуры Всадника, поднявшаго «Россію на дыбы», невыгодное впечатлѣніе преднамѣренной сентиментальности, приторности и даже, пожалуй, внесла бы сюда долю смѣшного.—Антитеза *личнаго* и *общаго*, *частнаго* и *государственнаго*, антитеза *задачъ и цѣлей личности* съ одной стороны и *дѣла историческаго* съ другой получитъ глубокій смыслъ лишь тогда, когда ея противуположные термины въ нѣкоторой степени будутъ уравновѣшены: стихійному, безпощадному, грозному величію историческаго процесса, воплощеннаго въ лицѣ великаго человѣка, должно противупоставить человѣческое достоинство и нравственное право личности—всѣхъ и каждаго—на жизнь, счастье и развитіе. *Этотъ* личный элементъ, какъ бы ничтоженъ онъ

ни былъ въ дѣйствительности, преображается въ искусствѣ въ своего рода *силу*: апоѳеозу историческаго дѣятеля, который правъ, потому что побѣдитель, поэтической санкціи историческаго процесса противустоитъ, ихъ уравновѣшивая, апоѳеозъ личности человѣческой, поэтическая санкція ея человѣческаго достоинства, ея нравственныхъ правъ. И мнѣ кажется, Пушкинъ, создавая «Мѣднаго Всадника», живо почувствовалъ поэтическую необходимость этого второго апоѳеоза. И вотъ онъ старается *повысить* героя, — выбрасываетъ вышеприведенное мѣсто, доводитъ до минимума изображеніе «духовной нищеты» Евгенія. Передъ нами человѣкъ смирный, скромный, непритязательный, но все-таки это не рабъ, не жалкое ничтожество. Въ роковую минуту глубокаго душевнаго потрясенія, въ припадкѣ отчаянія, онъ можетъ возвыситься до яркой и сильной личности, способной, хоть на мигъ, почувствовать *свое право* и бросить въ лицо Мѣдному Всаднику смѣлыя слова протеста...

Евгеній вздрогнулъ. *Прояснились*
Въ немъ страшно мысли. Онъ узналъ
И мѣсто, гдѣ потокъ игралъ,
Гдѣ волны хищныя толпились,
Бунтуя злобно вкругъ него.
И львовъ, и площадь, и того,
Кто неподвижно возвышался
Во мракѣ мѣдною главой,
Того, чьей волей роковой
Надъ моремъ городъ основался...
Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!
А въ семъ конѣ какой огонь!
Куда ты мчишься, гордый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?
О, мощный властелинъ судьбы!
Не такъ ли ты надъ самой бездной,
На высотѣ, уздой желѣзной
Россію вздернулъ на дыбы?
Кругомъ подножія кумира
Безумецъ бѣдный обошелъ
И взоры дикіе навелъ

На ликъ державца полуміра.
Стѣснилась грудь его. Чело
Къ рѣшеткѣ хладной прилегло,
Глаза подернулись туманомъ,
По сердцу пламень пробѣжалъ,
Вскипѣла кровь: онъ мрачно сталъ
Предъ горделивымъ истуканомъ—
И зубы стиснувъ, пальцы сжавъ,
Какъ обуянный силой черной:
«Добро, строитель чудотворный!»
Шепнулъ онъ, злобно задрожавъ,
«Ужо тебѣ!»—

Есть одно свидѣтельство (*кн. П. П. Вяземскаго*, въ статьѣ «А. С. Пушкинъ по документамъ Остафьевскаго архива», помѣщенной въ изданіи «Русскаго Архива» «Къ біографіи Пушкина», 1885 г., II),—будто-бы здѣсь выпущенъ большой монологъ стиховъ въ 30 или 40, гдѣ безумецъ жестоко поносилъ Петра и гдѣ «слишкомъ энергично звучала ненависть къ европейской цивилизаціи». Это извѣстіе ничѣмъ не подтвердилось, но такой монологъ, повидимому, былъ бы возможенъ: онъ находился бы въ согласіи съ мыслью Пушкина—поднять личность маленькаго героя до высоты политическаго протеста, хотя бы и безумнаго,—того протеста, какой проявляли въ петровское время всѣ стоявшіе за старину, а потомъ, заднимъ числомъ, славянофилы. Но и безъ монолога, который, по словамъ кн. П. П. Вяземскаго, производилъ «потрясающее впечатлѣніе», мы хорошо понимаемъ, что герой, доведенный до отчаянія, до безумія, возвышается до психологической возможности протеста противъ Петра, его реформъ, его историческаго дѣла.

Тутъ возникаетъ вопросъ: раздѣлялъ ли этотъ протестъ, хотя бы въ извѣстной мѣрѣ, самъ Пушкинъ?

Покойный *А. Н. Пыпинъ* высказалъ мнѣніе, что къ 30-мъ годамъ взглядъ Пушкина на Петра значительно измѣнился, и что «отраженіе новаго, враждебнаго Петру, взгляда, повидимому, должно было найти мѣсто въ «Мѣдномъ Всадникѣ»; но Пушкинъ какъ-будто не выработалъ достаточно теоретическихъ основаній противъ прежнихъ возвеличеній Петра, чтобы замѣнить ихъ новымъ отрицательнымъ взглядомъ въ поэтическомъ произведеніи». («Характеристики литературныхъ мнѣній»,

1890 г., стр. 83).—Намъ кажется, что въ «Мѣдномъ Всадникѣ» отнюдь нельзя усматривать слѣдовъ отрицательнаго отношенія поэта къ Петру. Напротивъ, «петербургская повѣсть» есть своего рода *апоѳеозъ* Петра. Такое впечатлѣніе вынесъ, какъ извѣстно, еще Бѣлинскій, который писалъ: «Да, эта поэма—апоѳеоза Петра Вел., самая смѣлая, самая грандіозная, какая могла только прійти въ голову поэту, вполнѣ достойному быть пѣвцомъ великаго преобразователя Россіи...»—И если даже будемъ имѣть въ виду апокрифическій «монологъ» Евгенія, то, какъ бы «энергично» ни «звучала» тамъ «ненависть къ европейской цивилизаціи»,—это ничуть не нарушаетъ апоѳеоза, и поэма не можетъ быть разсматриваема—какъ выраженіе «новыхъ, враждебныхъ Петру *воззрѣній*» Пушкина, хотя бы уже потому, что враждебное отношеніе къ Петру приписано здѣсь *сумасшедшему*. Къ тому же позволительно сомнѣваться въ томъ, чтобы «новыя воззрѣнія» Пушкина на Петра были въ самомъ дѣлѣ такъ «враждебны» послѣднему, какъ это казалось А. Н. Пыпину. Вотъ что̀ говорилъ Пушкинъ о Петрѣ *Далю въ сентябрѣ 1833 года* (т. е. за мѣсяцъ до написанія «Мѣднаго Всадника»): «я еще не могъ доселѣ постичь и обнять вдругъ умомъ этого исполина: онъ слишкомъ огроменъ для насъ близорукихъ, и мы стоимъ еще къ нему близко—надо отодвинуться на два вѣка,—но постигаю его чувствомъ; чѣмъ болѣе его изучаю, тѣмъ болѣе изумленіе и подобострастіе лишаютъ меня средствъ мыслить и судить свободно...»—Даль замѣчаетъ при этомъ, что Пушкинъ «воспламенился въ полномъ смыслѣ слова, коснувшись Петра Вел., и говорилъ, что непремѣнно, кромѣ дѣеписанія объ немъ, *создастъ и художественное въ память его произведеніе*». (*Л. Н. Майковъ*, «Пушкинъ. Біографическіе матеріалы и историко-литературные очерки», 1899, стр. 419).—Въ приведенныхъ словахъ Пушкина видно нѣкоторое преувеличеніе: во взглядахъ поэта на Петра ни тогда, ни раньше не было никакого «подобострастія». Ясный, трезвый умъ Пушкина и вмѣстѣ высокая гуманность его натуры всегда, даже въ пору наибольшаго увлеченія Петромъ, внушали поэту нѣкоторое критическое и отчасти отрицательное отношеніе къ преобразователю, именно къ темнымъ чертамъ его характера, къ кровавой сторонѣ реформы. Оттуда извѣстныя выраженія Пушкина, что Петръ—это—Робеспьеръ и Наполеонъ вмѣстѣ, что

иные указы его точно писаны кнутомъ и т. д.—Но какъ бы далеко ни шелъ Пушкинъ въ этомъ «отрицаніи», не можетъ быть ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что тутъ не было ничего ни реакціоннаго, ни славянофильскаго: во всей дѣятельности Пушкина нельзя найти ни малѣйшаго уклона въ сторону отрицанія началъ европейской цивилизаціи, — отрицанія необходимости для Россіи усвоить ихъ. Пушкинъ ясно понималъ безусловную историческую неизбѣжность реформы Петра. Протестъ противъ нея казался Пушкину возможнымъ только съ узкой, чисто-личной точки зрѣнія, со стороны *жертвъ* реформы. Въ «Мѣдномъ Всадникѣ» протестъ героя такъ и мотивированъ.

Пушкинъ могъ понимать возможность подобнаго протеста, предъявленнаго въ минуту отчаянія, какъ крикъ душевной боли. Онъ могъ также сочувствовать—не самому протесту, а протестующему, поскольку послѣдній, съ своей точки зрѣнія, оказывался правымъ, какъ невинная жертва реформы. Наконецъ, если въ протестѣ такъ или иначе сказывалось *пробужденіе личности*, если тутъ обнаруживался, хотя бы лишь минутный и безплодный, подъемъ душевныхъ силъ человѣка, поэтъ долженъ былъ отнестись къ этому явленію съ гуманнымъ состраданіемъ, съ поэтическимъ сочувствіемъ. Мало того: не находя такого «явленія» въ дѣйствительности, онъ готовъ былъ художественно изобрѣсти его,—и изобрѣлъ какой-нибудь мѣсяцъ спустя послѣ восторженнаго панегирика Петру, высказаннаго имъ Далю. Моментъ, записанный Далемъ, можетъ быть, и былъ тѣмъ моментомъ, когда въ геніальной головѣ поэта совершился мгновенный синтезъ разрозненныхъ и разновременныхъ впечатлѣній, воспоминаній, мыслей, легшій въ основу «Мѣднаго Всадника». Когда поэтъ, «коснувшись Петра В., воспламенился въ полномъ смыслѣ слова» и тутъ же заговорилъ о поэтическомъ воспроизведеніи Петра,—это былъ, думается намъ, мигъ творчества, мигъ перваго прозябанія вдохновеннаго замысла.

Но возвратимся къ предполагаемому «протесту» противъ реформы Петра, будто-бы роднящему идею «Мѣднаго Всадника» съ славянофильской точкою зрѣнія. Вспомнимъ здѣсь, что наше старое славяфильство, при всей своей несостоятельности, какъ доктрины, имѣло и свои хорошія стороны, въ числѣ которыхъ чуть-ли не важнѣйшею было стремленіе къ выработкѣ человѣческаго достоинства на Руси и утвержденію въ сознаніи

нравственныхъ правъ личности, «естественныхъ» правъ мысли и совѣсти. Идеализируя допетровскую Русь, славянофилы обвиняли Петра въ деспотизмѣ, въ перенесеніи къ намъ началъ полицейско-бюрократической государственности, будто-бы чуждыхъ нашему національному духу, и указывали на многочисленныя и напрасныя жертвы насильственныхъ реформъ, на бѣдствія, причиненныя народу властными капризами Петра, въ томъ числѣ и основаніемъ Петербурга на финскихъ болотахъ и перенесеніемъ туда столицы. Такъ вотъ, содержаніе «Мѣднаго Всадника» представляется какъ бы иллюстраціей къ этой славянофильской точкѣ зрѣнія, и можно подумать, что поэтъ, явно симпатизируя Евгенію, осуждаетъ Петра и его роковую дѣятельность, лишь маскируя это отрицаніе указаніемъ на историческую необходимость реформы и удивленіемъ передъ геніемъ и мощью Петра. Но стоитъ только вспомнить, что, съ высоты того же идеала—достоинства и правъ личности, свободы мысли и совѣсти, осуждали деспотизмъ Петра и темныя стороны его дѣятельности не только славянофилы, но и западники,—и станетъ ясно, что исторія Евгенія скорѣе иллюстрируетъ эту *западническую критику* дѣятельности Петра, чѣмъ *огульное славянофильское отрицаніе* его историческаго дѣла. И если бы, скажемъ, «Мѣдный Всадникъ» былъ написанъ не въ 1833 году, а напр. въ половинѣ 40-хъ, когда окончательно выяснилось принципіальное разногласіе между Славянофильствомъ и западничествомъ, то поэму, по праву, можно было бы понять—какъ блестящій и очень злой *отвѣтъ* на узкую доктрину славянофиловъ, на ихъ мечты и утопіи.

Славянофилы отрицали Петербургъ и весь «петербургскій періодъ», который они считали историческою ошибкою, можетъ быть, неизбѣжною, но тѣмъ болѣе прискорбною,—«Мѣдный Всадникъ» это—гимнъ Петербургу (а слѣдов. и «петербургскому періоду»), и, словно въ отвѣтъ К. Аксакову, Хомякову, Кирѣевскимъ, поэтъ восклицаетъ:

Красуйся, градъ Петровъ, и стой
Неколебимо, какъ Россія!

Славянофилы унижали Петра и сводили на нѣтъ всю его великую дѣятельность—реформатора и просвѣтителя Россіи,

—и вотъ, какъ бы въ отвѣтъ на это, Пушкинъ пишетъ высокопоэтическій панегирикъ Петру и возвеличиваетъ его историческое дѣло, во-первыхъ, въ знаменитомъ «вступленіи», во-вторыхъ—въ истинно-монументальномъ изображеніи Мѣднаго Всадника:

Ужасенъ онъ въ окрестной мглѣ!
Какая дума на челѣ!
Какая сила въ немъ сокрыта!..

Славянофилы возвеличивали Москву, идеализировали «московскій періодъ» и смотрѣли на перенесеніе столицы въ Петербургъ, какъ на родъ національнаго несчастья и даже позора,—Пушкинъ видитъ въ этомъ историческую необходимость, нѣчто вполнѣ нормальное, не подлежащее ни отрицанію, ни оплакиванію:

И передъ младшею столицей
Главой склонилася Москва,
Какъ передъ новою царицей
Порфироносная вдова.

«Мѣдный Всадникъ» есть поэтическое признаніе дѣла Петра дѣломъ благимъ и правымъ и поэтическое отрицаніе возможности и желательности возврата къ допетровской старинѣ.

Но присмотримся ближе къ тому, что́ въ поэмѣ представляется «протестомъ» противъ отрицательныхъ сторонъ личности и дѣятельности Петра и что́ можетъ быть понято — какъ оправданіе законнаго ропота противъ деспотизма, насильственной ломки и жестокости въ дѣятельности Петра. Это приводитъ насъ къ разсмотрѣнію такъ-называемыхъ «*аристократическихъ*» тенденцій Пушкина. Извѣстна «слабость» великаго поэта къ «родословному древу», къ традиціямъ знатныхъ родовъ, униженіе которыхъ казалось ему историческою несправедливостью. Я не буду входить здѣсь въ разборъ различныхъ взглядовъ, какіе высказывались по этому поводу, и ограничусь выраженіемъ своего. Я думаю, что «аристократическія тенденціи» Пушкина значительно преувеличивались. Это была у Пушкина скорѣе всего именно «слабость», *черта классовой психологіи*, а вовсе не дѣло убѣжденія, не параграфъ «политической программы». Не будемъ забывать, что

Пушкинъ, какъ и кн. Вяземскій, и многія другія лица его среды, его круга, былъ, по рожденію и воспитанію, по унаслѣдованнымъ инстинктамъ, *аристократъ* и *баринъ* въ русскомъ смыслѣ,—*въ смыслѣ того классоваго психологическаго типа*, психологію котораго впослѣдствіи раскрылъ до мелочей другой представитель этого типа—Л. Н. Толстой. Черты, сюда относящіяся, образуютъ одну изъ *психическихъ формъ* личности, въ которой человѣкъ такъ же неповиненъ, какъ и въ другой, болѣе широкой, формѣ—*національной*. Ни та, ни другая, *оставаясь формами*, отнюдь не обязываютъ человѣка загромождать *положительное содержаніе* своей души сословными и національными тенденціями и предразсудками. Отъ такихъ тенденцій и предразсудковъ Пушкинъ, сравнительно со многими другими, былъ достаточно *свободенъ*, въ особенности если принять во вниманіе условія времени, воспитанія, среды и т. д. Тѣмъ не менѣе, приходится признать, что иные «формальные элементы»—классовой и національной психологіи, проникая въ сознаніе, вызывали у Пушкина извѣстную работу мысли и игру чувствъ, откуда у него съ одной стороны—высота и ясность русскаго національнаго самосознанія (почти такія, какъ у Бѣлинскаго), а съ другой—«аристократическіе» помыслы и «геральдическія слабости». Эти помыслы и слабости были подогрѣты нахальствомъ Булгариныхъ и другихъ подобныхъ, а также питались историческими интересами Пушкина, изученіемъ Русской Исторіи. Историческая любознательность поэта часто переплеталась съ интересомъ къ предкамъ, къ фамильнымъ преданіямъ, а затѣмъ вообще къ роли и судьбамъ стариннаго боярства. Но именно изученіе прошлаго и привело Пушкина къ убѣжденію, что у насъ не было феодализма, что роль стараго боярства уже давно сыграна, что его политическое значеніе подорвали еще Іоанны [1]).—На смѣну старинной аристократіи пришла новая, «случайная». Не идеализируя старой, Пушкинъ очень не

---

[1]) „Какое время силы нашего боярства?—Во время удѣловъ, когда удѣльные князья сами сдѣлались боярами.—Когда пало боярство?—При Іоаннахъ, которые къ одному мѣстничеству не дерзнули прикоснуться...“ (Программа третьей статьи объ „Исторіи русск. народа“ Полевого.)—Уничтоженіе мѣстничества было, по мнѣнію Пушкина, въ одно и то же время и завершеніемъ давнишняго паденія боярства, и началомъ—уже „революціоннаго“ движенія „сверху“: „Съ Ѳеодора и Петра начинается революція въ Россіи, которая продолжается и до сего дня...“ (ibid.).

жалуетъ новую, всѣхъ этихъ «выскочекъ» и авантюристовъ XVIII-го вѣка и ихъ потомковъ въ XIX-мъ. Когда заходила рѣчь о нихъ, поэтъ не могъ удержаться отъ соблазна—вспомнить, въ пику имъ, *своихъ* предковъ, старинный и заслуженный родъ бояръ Пушкиныхъ:

Не торговалъ мой дѣдъ блинами,
Въ князья не прыгалъ изъ хохловъ,
Не пѣлъ на клиросѣ съ дьячками,
Не ваксилъ царскихъ сапоговъ и т. д.

На этомъ пунктѣ и возникали у Пушкина нѣкоторыя недоразумѣнія по данному вопросу, нѣкоторыя странности во взглядахъ и сужденіяхъ. Онъ утверждалъ, что потомки старыхъ родовъ, захудавъ, перешли въ среднее состояніе (это случалось, но это не вѣрно—какъ правило), а наверху остались будто бы почти исключительно представители «случайной» аристократіи (въ дѣйствительности, на-ряду съ послѣдними, оставались тамъ и представители старой знати, въ томъ числѣ и фамиліи «Рюриковичей»—князья Долгорукіе, Вяземскіе, Шаховскіе).—И вотъ, рисуя себѣ такую (далеко не отвѣчавшую дѣйствительности) картину, Пушкинъ негодовалъ на тѣхъ журналистовъ, которые нападали на старую аристократію, низкопоклонствуя передъ новой. Это негодованіе иногда могло быть излишнимъ, но во всякомъ случаѣ Пушкинъ отнюдь не доходилъ до родовой спеси и аристократической исключительности (обратимъ также вниманіе на спокойный тонъ его замѣтокъ и игривый, фельетонный характеръ его стиховъ на эту тему) [1].—Вспомнимъ хотя бы извѣстное мѣсто изъ «Романа въ письмахъ» («Образованный французъ или англичанинъ»...), гдѣ ясно и точно выразилось то, что можно назвать «классовымъ самочувствіемъ» Пушкина, и гдѣ говорится о томъ,

[1]) Въ извѣстномъ „Разговорѣ" читаемъ: „Позволяется и нужно нападать на пороки и слабости каждаго сословія, но смѣяться надъ сословіемъ потому только, что оно такое сословіе, а не другое,—нехорошо и не позволительно. И на кого журналисты наши нападаютъ? Вѣдь не на новое дворянство, получившее свое начало при императорѣ Петрѣ I и императрицахъ и по большей части составляющее нашу знать истинную, богатую, могущественную аристократію. Pas si bête! Наши журналисты передъ этимъ дворянствомъ вѣжливы до крайности; они нападаютъ именно на старинное дворянство, которое ...составляетъ у насъ родъ средняго состоянія"... и т. д.

что «личное достоинство» выше «знатности рода», и «имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родословныя».

Изъ этихъ справокъ мы имѣемъ право заключить, что «аристократическія тенденціи» Пушкина были очень умѣренны, что онѣ не доходили до родовой спеси и не превращались въ смѣшной предразсудокъ «бѣлой кости». Это было только чувство уваженія къ предкамъ, которое Пушкинъ считалъ вполнѣ законнымъ, но которое осложнялось у него нѣкоторыми инстинктивными «замашками» «барина».

Вотъ именно въ такомъ видѣ этотъ элементъ—«*барства*» великаго поэта и долженъ былъ войти въ замыселъ «Мѣднаго Всадника», именно въ составъ «*протеста*» противъ извѣстныхъ сторонъ дѣятельности Петра,—протеста, выражаемаго героемъ «повѣсти», Евгеніемъ Езерскимъ, униженнымъ и обездоленнымъ потомкомъ знатнаго боярскаго рода. Но, какъ мы знаемъ, въ самой поэмѣ этотъ барскій протестъ не получилъ сколько-нибудь яснаго выраженія. Если вѣрить въ существованіе того монолога, о которомъ говоритъ кн. П. П. Вяземскій, то можно предположить, что именно здѣсь и были выражены обезумѣвшимъ героемъ упреки Петру за униженіе старыхъ боярскихъ родовъ. Но «монолога» нѣтъ, и, вѣроятно, никогда и не было. Взамѣнъ того мы имѣемъ «Родословную моего героя», входившую въ составъ замысла «Мѣднаго Всадника». Здѣсь-то, послѣ «историческихъ справокъ» о древнемъ родѣ Езерскихъ, восходящемъ къ варягамъ, поэтъ шутливо и благодушно высказываетъ то, что́ мы назвали его «слабостью», въ слѣдующихъ стихахъ:

Кто-бъ ни былъ вашъ родоначальникъ,—
Мстиславъ, князь Курбскій, иль Ермакъ,
Или Митюшка цѣловальникъ,—
Вамъ все равно. Конечно, такъ:
Вы презираете отцами,
Ихъ славой, честію, правами,—
Великодушно и умно
Вы отреклись отъ нихъ давно,
Прямого просвѣщенья ради,
Гордясь (какъ общей пользы другъ)
Красою *собственныхъ заслугъ*,

Звѣздой двоюроднаго дяди,
Иль приглашеніемъ на балъ
Туда, гдѣ дѣдъ вашъ не бывалъ.
Я самъ, хоть въ книжкахъ и словесно,
Собратья надо мной трунятъ,
Я мѣщанинъ, какъ вамъ извѣстно,
И въ этомъ смыслѣ демократъ.
Но каюсь: новый Ходаковскій,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
О толстобрюхой старинѣ.
Мнѣ жаль, что нашей славы звуки
Уже намъ чужды; что спроста
Изъ баръ мы лѣземъ въ tiers-état...

. . . . . .

Мнѣ жаль, что тѣхъ родовъ боярскихъ,
Блѣднѣетъ блескъ и никнетъ духъ;
Мнѣ жаль, что нѣтъ князей Пожарскихъ,
Что о другихъ пропалъ и слухъ;
Что ихъ поноситъ и Фигляринъ;
Что русскій вѣтренный бояринъ
Считаетъ грамоты царей
За пыльный сборъ календарей;
Что въ нашемъ теремѣ забытомъ
Растетъ пустынная трава;
Что геральдическаго льва
Демократическимъ копытомъ
Теперь лягаетъ и оселъ:
Духъ вѣка вотъ куда зашелъ!

Это—чуть ли не самое яркое выраженіе «аристократическихъ тенденцій» Пушкина,—да и здѣсь онѣ разрѣшаются меланхолическимъ вздохомъ и шуткой. И весьма знаменательно то, что «Родословная» такъ и осталась отрывкомъ и не вошла въ композицію «Мѣднаго Всадника». Пушкинъ, повидимому, отказался отъ мысли внести въ «повѣсть» критику дѣятельности Петра съ точки зрѣнія обиженнаго и захудалаго потомка нѣкогда могущественныхъ предковъ. Поэтъ рѣшилъ не осложнять поэму выраженіемъ своихъ «аристократическихъ» чувствъ,—и онъ, такъ сказать, подавилъ эти «вздохи» и вмѣ-

стѣ съ тѣмъ устранилъ всю эту легкую полемику, умѣстную въ «Родословной», но не приличествующую такой поэмѣ, какъ «Мѣдный Всадникъ». И, съ этой точки зрѣнія, я рѣшительно протестую противъ утвержденія покойнаго *В. Д. Спасовича*, будто «и чиновникъ и Езерскій суть двойники самого Пушкина» («Пушкинъ и Мицкевичъ у памятника Петра Великаго», *Сочиненія В. Д. Спасовича*, т. II, стр. 251). Пушкинъ могъ быть грѣшенъ во многомъ, но ужь въ донкихотствѣ былъ рѣшительно неповиненъ. Въ томъ-то и глубокій смыслъ «Мѣднаго Всадника», что протестъ Евгенія представленъ какъ *донкихотство*, какъ вспышка тронувшагося, обезумѣвшаго человѣка.

Но въ поэмѣ есть, кромѣ всего указаннаго, еще въ высокой степени цѣнные элементы. Это, во-первыхъ, гуманное отношеніе къ безумцу, глубоко-человѣчное чувство жалости и состраданія. Евгеній по праву можетъ быть причисленъ къ литературнымъ родоначальникамъ «униженныхъ и оскорбленныхъ». Поэтъ вступается за бѣдняка и безумца. Осуждая его съ исторической точки зрѣнія (т. е. показывая все безсмысліе и донкихотство его «протеста»), онъ его оправдываетъ съ точки зрѣнія психологической и гуманной. Въ поэмѣ нигдѣ это не сказано, не выражено отъ лица автора, но это *разлито* по всѣ поэмѣ,— и читатель невольно откликается на это чувство, которое у поэта входило въ самый замыселъ поэмы.—Другой элементъ это—тотъ порядокъ мыслей и чувствъ, который связывался съ воспоминаніями о *Мицкевичѣ*, въ частности о томъ знаменательномъ эпизодѣ, который увѣковѣченъ въ извѣстныхъ стихахъ польскаго поэта. Это было, по всей вѣроятности, въ 1828 г. Пушкинъ и Мицкевичъ однажды стояли у памятника Петра, рука въ руку, прикрывшись однимъ плащемъ, тихо бесѣдуя. Спустя 4 года Мицкевичъ воспроизвелъ эту сцену такъ:

Z wieczora na dżczu stali dwaj młodzieńce
Pod jednym płaszczem, wziąwszy się za ręce:
Ieden—ów pielgrzym, przybyłec z zachodu,
Nieznana carskiej ofiara przemecy;
Drugy był wieszczem ruskiego narodu,
Sławny pieśniami na całej północy.
Znali się z sobą nie długo, lecz wiele,

I od dniu kilku już są przyjaciele.
Ich dusze, wyższe nad ziemne przeszkody,
Iako dwie Alpôw spokrewnione skały:
Choć je na wieki rozerwał nurt wody,
Ledwe szum słyszą swej nieprzyjaciołki,
Chyląc ku sobie podniebnie werzchołki...

Вотъ прозаическій переводъ *кн. П. А. Вяземскаго*:

„Однажды вечеромъ два юноши укрывались отъ дождя, рука въ руку, подъ однимъ плащемъ. Одинъ изъ нихъ былъ паломникъ, пришедшій съ запада, другой—поэтъ русскаго народа, славный пѣснями своими на всемъ сѣверѣ. Знали они другъ друга съ недавняго времени, но знали коротко, и было уже нѣсколько дней, что были они друзьями. Ихъ души, возносясь надъ всѣми земными препятствіями, походили на двѣ Альпійскія скалы—двойчатки, которыя, хотя силою потока и раздѣлены на вѣки, но преклоняются другъ къ другу своими смѣлыми вершинами, внимая ропоту враждебной волны". (Статья кн. П. А. Вяземскаго „Мицкевичъ о Пушкинѣ» въ «Русск. Архивѣ» 1873 г., перепечатанная въ вышецитированномъ изданіи «Къ біографіи Пушкина", стр. 157).

Главный интересъ стихотворенія Мицкевича—въ слѣдующей за тѣмъ тирадѣ, вложенной въ уста Пушкина.

Piełgrzym coś dumal nad Piotra kolosem,
A wieszcz rossyjski tak rzekł cichym głosem...
т. е.: Паломникъ что-то думалъ надъ монументомъ Петра,
А русскій поэтъ сказалъ тихимъ голосомъ такъ...

Слѣдуетъ рѣчь, о которой кн. П. А. Вяземскій замѣтилъ: „...поэтъ приписываетъ Пушкину слова, которыхъ онъ, безъ сомнѣнія, не говорилъ; но это—поэтическая и политическая вольность; ни дивиться ей, ни жаловаться на нее нельзя" (тамъ же).—Сущность рѣчи сводится къ противупоставленію Петру Марка Аврелія. И мы думаемъ, что бесѣда двухъ поэтовъ, въ самомъ дѣлѣ, могла коснуться этой темы, что̀ явствуетъ изъ свѣдѣній, приведенныхъ въ статьѣ В. Д. Спасовича,—о томъ, что въ свое время творцу памятника, Фальконету, предъявлялось требованіе—«дать Петру ту же посадку, какая у Марка Аврелія на памятникѣ послѣдняго на Капитоліи, близъ церкви

Ara Coeli“ („Сочин. В. Д. Спасовича“, II, 241), а Фальконетъ „объяснялъ въ 1768 году императрицѣ, что статуя Марка Аврелія прилична Марку Аврелію, а статуя другого лица должна быть прилична другому“ (тамъ же, 242).—Нѣтъ ничего проще, какъ допустить, что это обстоятельство, конечно, извѣстное Пушкину, могло послужить поводомъ—заговорить на тему, если можно такъ выразиться, *идеи* Марка Аврелія, противупоставляемой *идеѣ* Петра. Но согласимся, что эта антитеза пришла въ голову не Пушкину, а Мицкевичу. Это не мѣняетъ сущности дѣла: говорилъ-ли Пушкинъ,—Мицкевичъ слушалъ и сочувствовалъ,—говорилъ ли Мицкевичъ,—Пушкинъ слушалъ и сочувствовалъ; это не былъ споръ, это была задушевная бесѣда,—альпійскія высоты поэзіи и гуманности склонялись одна за другой,—души поэтовъ въ эту минуту были охвачены однимъ и тѣмъ же чувствомъ...

В. Д. Спасовичъ (въ указанной статьѣ, стр. 242—243) замѣчаетъ: «Настоящій западникъ и истый латинянинъ, Мицкевичъ рѣшительно преклонялся предъ Маркомъ Авреліемъ, въ томъ видѣ, въ какомъ онъ представленъ въ статуѣ,—т. е., предъ кроткимъ правителемъ и миротворцемъ, возвращающимся на Капитолій по усмиреніи внѣшнихъ враговъ».—Я не вижу, почему нужно быть «настоящимъ западникомъ и истымъ латиняниномъ», чтобы преклоняться передъ идеаломъ государя-миротворца и гуманиста. Это—идеалъ общечеловѣческій, и Пушкину онъ, безъ сомнѣнія, не былъ чуждъ. Но другое заключеніе Спасовича, что Пушкинъ, не видавшій статуи Марка Аврелія, не могъ изобразить ее такъ обстоятельно, какъ это сдѣлано въ стихахъ Мицкевича, заслуживаетъ полнаго вниманія. Вотъ это изображеніе въ переводѣ Спасовича:

«Прекрасенъ ликъ его, кроткій и благородный, на лицѣ сіяетъ мысль о благѣ государства. Руку одну онъ тихо поднялъ, какъ будто бы хотѣлъ благословить толпы своихъ подданныхъ. Другою рукою, опущенною на бразды, онъ укрощаетъ порывъ своего коня. Чувствуешь, что много народу стояло на пути, и что народъ кричалъ: возвращается отецъ нашъ, Кесарь.—Кесарь желаетъ тихо проѣхать между толпящимися и всѣхъ пожаловать отеческимъ поклономъ. Конь ощетинилъ гриву, мечетъ огонь изъ глазъ, но сознаетъ, что везетъ любимѣйшаго гостя,—что везетъ отца милліоновъ дѣтей,—и самъ сдерживаетъ свою прыть и живость. Дѣтямъ дано подойти

къ отцу, глядѣть на него. Конь идетъ мѣрно, шагомъ, по ровному пути,—угадываетъ, что онъ идетъ въ безсмертіе».

Въ противуположность этому, памятникъ Петра представленъ такъ:

«Царь Петръ попустилъ бразды лошади. Видно, летѣлъ онъ, топча все на пути. Сразу вскочилъ онъ на самый край скалы. Бѣшеный конь уже приподнялъ копыта,—царемъ не удерживаемый, конь скрежещетъ, кусая удила. Чувствуешь, что онъ полетитъ и разобьется въ дребезги...» (Тамъ-же, 243).

Мы безусловно соглашаемся съ тѣмъ, что̀ говоритъ (стр. 246) Спасовичъ по поводу этихъ послѣднихъ стиховъ и окончанія отрывка: «едва-ли Пушкинъ могъ произнести нѣчто подобное. Мицкевичъ сравнилъ скачущаго, но не падающаго со скалы всадника—съ замерзшимъ горнымъ водопадомъ, повисшимъ надъ бездною... Не могъ допустить русскій патріотъ, что этотъ конь разлетится въ дребезги; что весь каскадъ растаетъ; что весь періодъ реформъ Петра долженъ быть признанъ недѣйствительнымъ, не бывшимъ, долженъ быть вычеркнутъ изъ исторіи».—Заключеніе автора таково: «Такимъ образомъ, слова, будто бы пушкинскія, въ произведеніи Мицкевича суть только выраженіе собственныхъ убѣжденій Мицкевича, и только вслѣдствіе licentia poëtica вложены въ уста Пушкина» (стр. 247).

Разъясненіе всѣхъ обстоятельствъ, относящихся къ этому эпизоду изъ жизни и творчества двухъ великихъ поэтовъ, составляетъ безспорную заслугу В. Д. Спасовича. Послѣ сдѣланныхъ имъ указаній, нельзя уже сомнѣваться въ томъ, что мысли Мицкевича, выраженныя въ разсматриваемомъ отрывкѣ, встрѣтили со стороны Пушкина сочувствіе, *именно въ той ихъ части, которая относится къ Марку Аврелію.* Какъ извѣстно, Пушкинъ, въ примѣчаніяхъ къ «Мѣдному Всаднику», критикуетъ сдѣланное Мицкевичемъ описаніе наводненія 1824 г. въ отрывкѣ «Oleszkiewicz», — но онъ нигдѣ не отрицаетъ «прямо приписанныхъ ему Мицкевичемъ взглядовъ (пословица говоритъ: qui tacet, consentire videtur [1])»,—замѣчаетъ Спасовичъ (стр. 243—244).—Намъ дѣло представляется въ слѣдующемъ видѣ:

Съ тѣмъ, что̀ говоритъ Мицкевичъ о Маркѣ Авреліи, Пушкинъ—думается намъ—былъ безусловно согласенъ: эти мысли

[1]) Молчаніе—знакъ согласія.

и чувства были столько же *его*, сколько и Мицкевича. На эту тему и бесѣдовали они у памятника, и въ одномъ и томъ же высокомъ, гуманномъ чувствѣ, въ одномъ и томъ же идеалѣ сливались ихъ души.

Съ тѣмъ, что̀ говоритъ Мицкевичъ о Петрѣ, Пушкинъ не могъ быть согласенъ,—*и онъ не молчалъ: онъ отвѣтилъ на это—«Мѣднымъ Всадникомъ»*.

Выше мы замѣтили, что, если бы поэма была написана позже, ее можно было бы принять за отвѣтъ славянофиламъ, за поэтическое опроверженіе враждебной Петру докрины. Теперь мы скажемъ: «Мѣдный Всадникъ», разсматриваемый какъ апоѳеозъ Петра, *есть отвѣтъ Мицкевичу—на ту часть его стихотворенія, которая относится къ Петру, и гдѣ памятникъ сравнивается съ замерзшимъ водопадомъ.*

Русскій поэтъ не предвидитъ, что конь низринется въ бездну,—что рухнетъ дѣло Петра... Онъ только устремляетъ испытующій взоръ въ даль временъ и вопрошаетъ:

Куда ты мчишься, быстрый конь,
И гдѣ опустишь ты копыта?

Для русскаго поэта признаніе и апоѳеозъ Петра не означаютъ отреченія отъ идеала, воплощеннаго въ памятникѣ Марка Аврелія. И хотя это имя не упомянуто ни разу въ поэмѣ Пушкина, оно, думается намъ, всплывало въ сознаніи поэта, внушенное воспоминаніями о бесѣдѣ у памятника, освѣженными стихотвореніемъ Мицкевича. Но внести въ поэму образъ Марка Аврелія, противопоставить его Петру Пушкинъ не могъ—по той простой причинѣ, что это не шло бы къ дѣлу и придало бы поэмѣ оттѣнокъ морально-дидактическій, не входившій въ замыселъ и планъ произведенія. Достаточно было построить апоѳеозъ Петра такъ, чтобы по всей поэмѣ разлилась тоска по иному идеалу, чтобъ сердце читателя сжалось чувствомъ состраданія къ жертвамъ стихійнаго историческаго процесса, чтобы мысль о человѣкѣ, о его правахъ на жизнь и счастье зашевелилась въ головѣ читателя. Это и было достигнуто мастерски проведенною антитезою личнаго и общаго, частнаго и государственнаго.

Вопреки утвержденію Спасовича (тамъ же, стр. 285—286), будто «Мѣдный Всадникъ»—не апоѳеозъ, а замаскиро-

*

ванное (ради цензуры) *осужденіе* Петра (не его реформъ, конечно, а. его деспотизма), мы продолжаемъ, вслѣдъ за Бѣлинскимъ, видѣть здѣсь несомнѣнный поэтическій апоѳеозъ великаго царя-преобразователя, его генія, его мощи, — со всѣмъ величіемъ этого генія и со всѣмъ ужасомъ этой всесокрушительной мощи. Но это — апоѳеозъ не безъ «критики» [1]). Во всякомъ случаѣ, это — не слѣпой, фанатическій культъ Петра и не идеализація его, какъ человѣка. Поэтъ признаетъ дѣло Петра дѣломъ исторической необходимости и великаго государственнаго генія. Сила генія и сила вещей сливаются воедино. Проклинать эту стихійную силу поэтъ предоставляетъ обезумѣвшему страдальцу, а себѣ оставляетъ право — жалѣть этого страдальца, сочувствовать всѣмъ жертвамъ переворота *по человѣчеству* и вмѣстѣ съ тѣмъ, содрогаясь, удивляться зиждительной мощи генія и понимать его великое всемірно-историческое призваніе. Это удивленіе и пониманіе, эта жалость и сочувствіе и вмѣстѣ родъ нравственнаго отвращенія при мысли о массѣ бѣдствій, причиненныхъ всесокрушающею историческою силою, которая, созидая, топчетъ и губитъ, — все это вихремъ закружилось въ сознаніи поэта, подхваченное и объединенное однимъ порывомъ вдохновенія, и вылилось въ полныхъ силы и движенія, монументальныхъ стихахъ «Мѣднаго Всадника».

---

[1]) Вспомнимъ замѣчанія Пушкина (въ выпискахъ и набросках, относящихся къ задуманной „Исторіи Петра Великаго"): „1715 г.—Петръ опять издалъ одинъ изъ своихъ жестокихъ указовъ: онъ повелѣлъ приготовлять юфть по новымъ способамъ, по обыкновенію своему угрожая за ослушаніе кнутомъ и каторгою... 1722 г.—Петръ былъ гнѣвенъ. Дворяне не явились на смотръ. Издалъ указъ, превосходящій варварствомъ всѣ прежніе... Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые—нерѣдко жестокіе, своенравные и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или, по крайней мѣрѣ, для будущаго; вторые — вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика..."

VII.

«Евгеній Онѣгинъ».

1.

Въ предыдущихъ главахъ я старался охарактеризовать поэзію Пушкина въ ея апогеѣ,—въ эпоху, когда душа поэта раскрылась для высшаго творчества, когда русскій національный поэтъ сталъ міровымъ геніемъ.

Разсмотрѣнныя произведенія (драматическіе опыты, лирическія пьесы 30-го года, «Мѣдный Всадникъ») не только обнаружили всю мощь творческаго генія Пушкина, но и выяснили самый характеръ или типъ пушкинскаго творчества: они свидѣтельствуютъ о томъ, что Пушкинъ былъ геній *объективнаго* типа,—въ своемъ творчествѣ онъ, за рѣдкими исключеніями, исходилъ *не отъ себя.* Субъективные элементы мы нашли только въ образѣ Моцарта и въ нѣкоторыхъ лирическихъ пьесахъ.

Но къ тому же времени относится окончаніе «Евгенія Онѣгина», произведенія, въ которомъ, какъ извѣстно, субъективныхъ элементовъ довольно много. «Евгеній Онѣгинъ» — наиболѣе *личное* изо всѣхъ произведеній Пушкина. Поэтъ внесъ туда не мало результатовъ своего собственнаго внутренняго опыта. Правда, себя самого онъ не выводитъ на сцену, но онъ зачастую говоритъ о себѣ и, такъ сказать, присутствуетъ въ романѣ, если не въ видѣ дѣйствующаго лица, то въ качествѣ автора. Какъ бы то ни было, но здѣсь мы имѣемъ дѣло не только съ Онѣгинымъ, Татьяной, Ленскимъ и другими, но и съ самимъ Пушкинымъ, который не перестаетъ обращаться къ себѣ на всемъ протяженіи романа,—и романъ въ значительной степени является *исповѣдью* поэта.

Наша задача, въ данномъ случаѣ, сводится къ тому, чтобы разграничить *объективное* и *субъективное* въ «Евгеніи Онѣгинѣ» и дать посильную оцѣнку тому и другому,—какъ по существу, такъ и со стороны ихъ значенія въ композиціи романа и въ развитіи его замысла.

Особенное вниманіе придется намъ обратить на *лирику*, которой проникнутъ романъ. Именно, въ такъ называемыхъ «лирическихъ мѣстахъ» и слѣдуетъ по преимуществу искать *субъективныхъ элементовъ*, какіе участвовали въ созданіи этого геніальнаго произведенія. Выдѣляя ихъ, мы тѣмъ самымъ разграничимъ *субъективную лирику* отъ *объективной*, и убѣдимся въ томъ, что эта послѣдняя (объективная) играетъ въ романѣ огромную роль, превышающую значеніе лирики субъективной.

Въ итогѣ мы получаемъ выводъ, что, несмотря на обиліе субъективныхъ элементовъ въ лиризмѣ «Евгенія Онѣгина», этотъ романъ, какъ со стороны образовъ, такъ и въ его лирикѣ, долженъ быть признанъ произведеніемъ *по преимуществу объективнаго творчества*, въ которомъ лишь участвовали нѣкоторые элементы субъективнаго, такъ сказать, въ видѣ «подспорья».

2.

Характеръ и типъ Онѣгина.

Передъ нами *художественное обобщеніе* большой цѣнности. Эта цѣнность давно ужь выяснена. Намъ не нужно входить здѣсь во всѣ подробности вопроса объ Онѣгинѣ, какъ типѣ «людей 20-хъ годовъ» и какъ художественномъ «родоначальникѣ» послѣдующихъ типовъ—людей 30-хъ и 40-хъ годовъ (*Печоринъ*, *Бельтовъ*, *Рудинъ*, *Лаврецкій* и др.,—рядъ, завершающійся *Обломовымъ*) [1]. Мы только постараемся выяснить *объективный* характеръ этого образа, въ которомъ однако есть и нѣкоторая *субъективная примѣсь*. Выдѣлить эту послѣднюю не трудно.

Образъ взятъ изъ той же среды, къ которой принадлежалъ самъ Пушкинъ,—и субъективнымъ слѣдуетъ признать въ Онѣгинѣ лишь то, что принадлежитъ не лично ему, какъ характеру, какъ уму, натурѣ, а—времени и средѣ. Анало-

[1]) Этотъ рядъ отъ *Чацкаго* и *Онѣгина* до *Обломова* разсмотрѣнъ въ первой части моей „*Исторіи русской интеллигенціи*“ (томъ VII-ой настоящаго „Собранія сочиненій“). Сжатую характеристику Онѣгина я сдѣлалъ также въ статьѣ о Пушкинѣ, помѣщенной въ 5-мъ выпускѣ „Исторіи русск. литературы XIX-го вѣка“, изд. Изд. Т-ва „Міръ“.

гичныя черты времени и среды наблюдались у многихъ, въ томъ числѣ и у Пушкина, и послѣдній, воспроизводя ихъ, могъ черпать не только изъ запаса объективныхъ наблюденій, но также изъ личнаго, субъективнаго опыта. Сюда относятся прежде всего *черты классовой и сословной психологіи.*— Присмотритесь къ этому типичному молодому человѣку изъ великосвѣтскаго круга, къ его манерѣ чувствовать, относиться къ людямъ, къ жизни, прислушайтесь къ тону, въ какомъ написаны двѣ первыя главы (гдѣ ярче, чѣмъ въ дальнѣйшихъ, выставлена классовая психологическая складка Онѣгина),—и вы уловите эту специфически-великосвѣтскую повадку, какой не найдемъ ни у Рудина, ни у Лаврецкаго, ни у Бельтова. Не видать ея даже у Чацкаго, человѣка того же круга и тѣхъ же 20-хъ годовъ. Зато позже мы найдемъ ее у Печорина, какъ и у самого Лермонтова. Она же была довольно ярко выражена у Пушкина, въ особенности въ юности и молодости. Нашъ великій поэтъ со стороны классовой психологіи былъ типичный русскій «баринъ», типичный представитель великосвѣтской среды. Читатель понимаетъ, что дѣло идетъ не о взглядахъ, убѣжденіяхъ, нравственныхъ понятіяхъ и т. д., а только о тѣхъ мелочахъ душевнаго обихода, о тѣхъ привычкахъ и повадкахъ, по которымъ мы безошибочно узнаемъ, къ какому классу принадлежитъ человѣкъ по рожденію и воспитанію. Одни изъ этихъ навыковъ могутъ быть хороши, другіе—не хороши, третьи—безразличны, но всѣ они, вмѣстѣ взятые, сами по себѣ отнюдь не опредѣляютъ ни моральной, ни общественной, ни умственной цѣнности человѣка, ни того или иного направленія его идей.

Черты классовой психологіи въ Онѣгинѣ изображены Пушкинымъ съ оттѣнкомъ легкой сатиры. Вспомнимъ:

Онъ по-французски совершенно
Могъ изъясняться и писалъ,
Легко мазурку танцовалъ
И кланялся непринужденно.
Чего жъ вамъ больше? Свѣтъ рѣшилъ,
Что онъ уменъ и очень милъ.

Въ такомъ тонѣ легкой, безобидной сатиры, я бы сказалъ,—въ юмористическомъ тонѣ фельетона и написано большинство строфъ первой главы. Здѣсь чувствуется насмѣшка

надъ бытомъ и нравами своего же круга, надъ тѣмъ, что поэтъ зналъ и лично переживалъ съ дѣтства. Въ устахъ посторонняго,—человѣка изъ другой среды—насмѣшка звучала бы иначе, сбиваясь на сатиру, внушенную классовыми антипатіями.

Вся первая глава написана такъ, какъ будто поэтъ разсчитывалъ преимущественно на читателей изъ великосвѣтскаго круга, мало заботясь о томъ, какое впечатлѣніе произведетъ на широкую публику, на читателей изъ другой среды этотъ небрежно-барскій тонъ разсказа,—эта манера живой, остроумной causerie. Въ послѣдующихъ главахъ этотъ тонъ идетъ на убыль, и авторъ изъ великосвѣтскаго разсказчика быстро превращается въ русскаго поэта.

Поскольку въ построеніи образа Онѣгина, какимъ онъ является въ первой главѣ (и частью во второй), участвуютъ барскія интонаціи въ голосѣ разсказчика, постольку образъ долженъ быть признанъ продуктомъ субъективнаго творчества; эта примѣсь, вредя автору, не вредитъ Онѣгину, какъ образу, ибо, по самому замыслу, Онѣгинъ является представителемъ не всего молодого поколѣнія 20-хъ годовъ, а лишь извѣстной части его, именно *великосвѣтской*, подобно тому, какъ позже Печоринъ явился представителемъ не всего молодого поколѣнія 30-хъ годовъ, а только извѣстной разновидности будирующихъ и «безпокойныхъ» людей изъ великосвѣтскаго круга, какимъ былъ самъ Лермонтовъ [1]). Но существенная разница въ построеніи Онѣгина и Печорина въ томъ, что субъективные элементы творчества въ первомъ *почти* исчерпываются чертами барской психологіи, между тѣмъ какъ второй и по натурѣ, по складу ума, по индивидуальнымъ качествамъ воспроизводитъ личность автора. По Печорину можно судить о Лермонтовѣ, какъ человѣкѣ; по Онѣгину же судить о Пушкинѣ нельзя, подъ опасеніемъ впасть въ грубѣйшія ошибки.

Я сказалъ, что чертами барской психологіи *почти* исчерпываются субъективные элементы въ построеніи Онѣгина. Они исчерпывались бы не почти, а вполнѣ, если бы Пушкинъ, говоря о *байронизмѣ* Онѣгина, не внесъ и сюда нѣкоторыхъ чертъ изъ своего личнаго опыта байроническихъ увлеченій. Эти черты сводятся къ тому, что въ строфахъ XLV—L первой

---

[1]) Между прочимъ, и съ этой стороны оправдывается выраженіе Бѣлинскаго, что «Печоринъ есть Онѣгинъ нашего времени» (т. е 30-хъ г.г.).

главы, гдѣ поэтъ говоритъ о байроническомъ настроеніи своего героя и параллельно—о своемъ собственномъ, слышится отзвукъ личныхъ переживаній Пушкина,—воспроизведенныхъ въ извѣстномъ стихотвореніи «*Демонъ*», гдѣ отразилось байроническое настроеніе поэта, а также и вліяніе на него *Александра Раевскаго*, образъ котораго несомнѣнно вспоминался Пушкину, когда онъ рисовалъ Онѣгина, по крайней мѣрѣ—Онѣгина двухъ первыхъ главъ.

За вычетомъ указанныхъ чертъ (барской психологіи и байронизма), образъ Онѣгина долженъ быть признанъ продуктомъ *объективнаго* творчества. Въ немъ нѣтъ ничего *лично-пушкинскаго*. Онъ—не исповѣданіе поэта, а художественное обобщеніе натуръ и умовъ, имѣвшихъ очень мало общаго съ личностью Пушкина.

Онѣгинъ—типичный хорошій русскій человѣкъ 20-хъ годовъ, одушевленный лучшими чувствами и намѣреніями, но рѣшительно неспособный къ планомѣрной дѣятельности и не умѣющій найти свое мѣсто и дѣло въ жизни. Онъ—родоначальникъ нашихъ «*лишнихъ людей*», которые потомъ, въ 30-хъ и 40-хъ годахъ, стали появляться въ разныхъ слояхъ образованнаго общества, но всего чаще—въ средѣ дворянской. Впослѣдствіи Гончаровъ и Добролюбовъ показали, что въ психологіи этихъ людей видное мѣсто принадлежало разнымъ формамъ русской *обломовщины*. Этотъ діагнозъ былъ, можно сказать, геніально предугаданъ *Веневитиновымъ*, который въ слѣдующихъ умныхъ и мѣткихъ словахъ далъ исчерпывающую характеристику Онѣгина, какъ характера: « . . . Онѣгинъ уже испытанъ жизнью; но опытъ поселилъ въ немъ не страсть мучительную, не ѣдкую и дѣятельную досаду, а скуку, наружное безстрастіе, свойственное русской холодности (мы не говоримъ: русской лѣни). Для такого характера все рѣшаютъ обстоятельства. Если они пробудятъ въ Онѣгинѣ сильныя чувства, мы не удивимся: онъ способенъ быть минутнымъ энтузіастомъ и повиноваться порывамъ души. Если жизнь его будетъ безъ приключеній, онъ проживетъ спокойно, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво».

Если о Лермонтовѣ можно сказать, что онъ—тотъ же Печоринъ, только одаренный поэтическимъ геніемъ, то сказать о Пушкинѣ, что онъ—Онѣгинъ, осложненный пушкинскимъ геніемъ, рѣшительно нельзя. Лермонтовъ и Печоринъ нахо-

дятся, такъ сказать, въ одной плоскости; Пушкинъ и Онѣгинъ размѣстились на разныхъ плоскостяхъ. Это—величины несоизмѣримыя. Ихъ несоизмѣримость, затушеванная въ первой главѣ общностью классовой психологіи и байроническихъ увлеченій, уже чувствуется во второй главѣ и съ каждымъ шагомъ впередъ выясняется все очевиднѣе, и, дочитавъ романъ до конца, мы ясно видимъ глубокое, психологическое различіе между авторомъ и его героемъ. Мы видимъ, какъ разошлись ихъ пути: одинъ затерялся въ жизни и скоро вынырнетъ, обернувшись Печоринымъ, потомъ Бельтовымъ, Рудинымъ и т. д., другого, какъ поэта, мы находимъ на огромной высотѣ творчества, а какъ человѣка—завязшимъ въ вязкой трясинѣ «свѣта», откуда онъ живымъ не вылѣзетъ. Онѣгины, благодаря присущей имъ «русской холодности» и—въ придачу «русской лѣни», сторонятся отъ жизни;—она ихъ не захватываетъ, а потому они не вязнутъ въ ея тинѣ. Выраженіе Веневитинова объ Онѣгинѣ: «онъ проживетъ *спокойно*, разсуждая умно, а дѣйствуя лѣниво» требуетъ лишь небольшой оговорки или поправки. А именно: слово «спокойно» не означаетъ здѣсь внутренняго удовлетворенія, душевнаго мира, оно лишь указываетъ на отсутствіе захватывающихъ общественныхъ (въ обширномъ смыслѣ) связей и обусловленныхъ ими обязательствъ, заботъ, тревогъ, волненій. Онѣгинъ не женится, не займется хозяйствомъ въ деревнѣ, не будетъ служить по выборамъ, не поступитъ на государственную службу, не сдѣлается ни литераторомъ, ни вообще человѣкомъ «свободныхъ профессій», ни войдетъ въ тайное общество. Онъ человѣкъ безъ дѣла, онъ—лишній. Его удѣлъ—скука и тоска одиночества. Ему осталось единственное «дѣло»: мыкаться по свѣту и «разсуждать умно», что онъ и дѣлаетъ. И можно предвидѣть, что «дѣйствуя» все лѣнивѣе, онъ будетъ «разсуждать» все умнѣе и умнѣе, и изъ этихъ «разсужденій» со временемъ, по мѣрѣ того, какъ типъ Онѣгина будетъ проходить черезъ рядъ дальнѣйшихъ метаморфозъ (Печоринъ, Бельтовъ, Рудинъ и т. д.), выработаются цѣлыя міросозерцанія, стройныя идеологіи, которыя *въ умственной жизни* страны сыграютъ крупную роль, а въ ея *дѣйствительной жизни*, въ тинѣ ея затяжной «эволюціи»—быта, учрежденій, нравовъ—окажутся «*лишними*», какъ чувствовали себя лишними ихъ авторы, всѣ эти умноразсуждающіе и лѣниво-дѣйствующіе господа, мыслящіе люди

эпохи 20—50-хъ годовъ. Оттуда, между прочимъ,—отъ времени до времени—порывъ къ «примиренію съ дѣйствительностью», всегда оканчивавшемуся неудачею.

Съ геніальною прозорливостью Пушкинъ намѣтилъ основныя черты типа и предсказалъ его эволюцію [1]).

Вотъ и сопоставимъ съ этою типично-русскою натурою натуру самого Пушкина съ его «африканскою кровью»,—Пушкина, у котораго совсѣмъ не было ни русской холодности, ни русской лѣни.

Живой, какъ ртуть, впечатлительный и горячій, какъ истый «сынъ юга», точно онъ въ самомъ дѣлѣ родился «подъ небомъ Африки своей», Пушкинъ «торопился» не только «жить и чувствовать», но и *дѣйствовать*. И, пожалуй, приходится сожалѣть, что онъ не умѣлъ «дѣйствовать лѣниво». Онъ дѣйствовалъ слишкомъ прытко, точно какой-то бѣсъ дразнилъ и манилъ его—браться за все и во все вмѣшиваться,—отъ придворныхъ интригъ до журнальныхъ дрязгъ. Въ началѣ 20-хъ годовъ ему ужасно хочется быть «заговорщикомъ», и тайны декабристовъ не даютъ ему спать. Въ Кишиневѣ и въ Одессѣ онъ будируетъ, ссорится съ начальствомъ, дерется на дуэли, ведетъ свѣтскую разсѣянную жизнь. Живо интересуетъ его и цыганскій таборъ, и возстаніе грековъ. Въ Михайловскомъ онъ томится отъ «бездѣйствія», пишетъ ненужныя прошенія и чудныя письма, брызжущія умомъ и заразительной жизнерадостностью. Въ 1826 году ведетъ «хитрую политику» съ Николаемъ Павловичемъ. Въ Петербургѣ впутывается въ великосвѣтскія интриги, ссорится съ министрами, затѣваетъ журналъ и газету, полемизируетъ съ Булгаринымъ и др., вступаетъ въ компромиссъ съ Гречемъ, будируетъ, шалитъ. Онъ и поэтъ, и историкъ, и критикъ, и публицистъ. Не можетъ держать языкъ за зубами и пишетъ то гимны, то эпиграммы.

Въ ряду нашихъ великихъ писателей едва-ли найдется другой столь «безпокойный» человѣкъ, какъ Пушкинъ, развѣ только —Лермонтовъ. Но у Лермонтова эта сторона соединялась съ задатками «трибуна», съ способностью къ пламенному негодованію и протесту. Пушкинъ былъ «безпокойный» и неугомонный человѣкъ просто потому, что, одаренный натурою не

[1]) Нужно имѣть въ виду, въ этомъ случаѣ, кромѣ текста романа, также отрывки изъ путешествія и дневника Онѣгина.

по-русски живою, онъ былъ рѣшительно неспособенъ сидѣть сложа руки. Въ немъ не было ничего «обломовскаго».

Въ заключеніе этой параллели между Пушкинымъ и Онѣгинымъ, выясняющей коренное различіе между ними, упомянемъ о томъ, что Пушкинъ приписываетъ Онѣгину нѣкоторыя свои мысли, подобно тому, какъ Базаровъ и Потугинъ высказываютъ извѣстныя мысли Тургенева. Это обстоятельство нельзя отнести за счетъ субъективныхъ элементовъ творчества. Высказывая мысли Тургенева, Базаровъ и Потугинъ, какъ натуры, характеры и типы, остаются полною противоположностью Тургеневу. То же самое мы скажемъ и объ Онѣгинѣ. Въ своемъ дневникѣ и замѣткахъ онъ выражаетъ личныя мысли Пушкина; если угодно, и въ самомъ складѣ его ума можно найти черты, свойственныя уму Пушкина: трезвость, здравый смыслъ... Но все это ничуть не умаляетъ глубокаго психологическаго различія между Пушкинымъ и Онѣгинымъ и не увеличиваетъ числа субъективныхъ элементовъ, какіе участвовали въ построеніи послѣдняго.

Онѣгинъ, за вычетомъ немногихъ вышеуказанныхъ чертъ (великосвѣтской психологіи и байроническихъ увлеченій), долженъ быть признанъ продуктомъ строго-объективнаго творчества. Въ созданіи этого типа блестяще проявилась основная черта творческаго генія Пушкина: объективность художника-наблюдателя, у котораго самонаблюденіе стоитъ на второмъ планѣ, а на первый выступаетъ живой интересъ къ другимъ людямъ, къ натурамъ, отличнымъ отъ натуры самого поэта, къ явленіямъ окружающей жизни. У Пушкина эта черта, безъ сомнѣнія, находилась въ психологической связи съ его натурою—«безпокойнаго человѣка», съ его «вкусомъ къ жизни» и любопытствомъ—все знать, все видѣть, во все вмѣшиваться. И въ его творчествѣ, какъ въ его жизни, есть что-то «геніально-дѣтское»: любопытство и живость ребенка, который широко-раскрытыми, наивными глазами смотритъ на божій міръ, гдѣ ему все интересно, все улыбается; онъ жадно поглощаетъ впечатлѣнія, и самъ не замѣчаетъ, какъ изъ нихъ въ его сознаніи творится міръ. Позже всѣхъ прочихъ явленій замѣтитъ онъ себя самого. И, замѣтивъ, опять широко раскроетъ глаза и взглянетъ на себя со стороны, какъ на что-то постороннее, объективное. И намъ опять вспоминается Моцартъ, геній-ребенокъ, не замѣчающій своей собственной геніальности.

Художникъ этого типа долго не видитъ себя и, если видитъ, то урывками, частично,—и мало интересуется собою. Это не мѣшаетъ ему быть человѣкомъ вдумчивымъ, «удерживать вниманіе долгихъ думъ». Это не мѣшаетъ ему также отъ времени до времени заглядывать въ свой внутренній міръ, каяться, исповѣдываться. Но только это самоуглубленіе похоже у него на раздумье угомонившагося ребенка, который незамѣтно отъ такого раздумья переходитъ къ глубокомысленному разсматриванію какой-нибудь игрушки, вообще чего-нибудь внѣшняго, «объективнаго». Субъективное раздумье, самоуглубленіе прекращается вдругъ, само собою, а чаще разрѣшается слезами или смѣхомъ,—и ребенокъ уже забылъ о себѣ, пересталъ интересоваться своимъ «внутреннимъ міромъ». Я хочу сказать, что вѣчное копаніе въ своей душѣ и способность постоянно видѣть и изображать самого себя, чѣмъ характеризуются художники *эгоцентрическаго уклада* (Гете, Лермонтовъ, Л. Н. Толстой, Достоевскій),—несвойственны художникамъ *пушкинскаго типа*, у которыхъ мы находимъ только *натуральный эгоцентризмъ возраста* (а не натуры). Ребенокъ также эгоцентриченъ, но это именно эгоцентризмъ возраста, усиливающійся въ юности и проходящій въ зрѣлыхъ лѣтахъ. Настоящія эгоцентрическія натуры, это—тѣ, у которыхъ эгоцентризмъ съ годами не проходитъ, а усиливается. У Пушкина, именно въ раннее время его творчества, замѣтенъ только натуральный и преходящій эгоцентризмъ юности.

Какъ натура неэгоцентрическая и какъ художникъ объективнаго склада,—Пушкинъ въ своемъ образномъ творчествѣ—исходитъ не «отъ себя». Но какъ лирикъ, онъ зачастую обращался *къ себѣ*. Субъективныхъ элементовъ творчества нужно искать въ его лирикѣ.

3

Субъективная лирика въ „Евг. Онѣгинѣ“.

Романъ проникнутъ лиризмомъ—разнаго характера и достоинства. И прежде всего мы довольно ясно различаемъ здѣсь съ одной стороны *лирики субъективную*, а съ другой—*объективную*. Рисуя Онѣгина, Пушкинъ то-и-дѣло обращается къ себѣ, къ своимъ личнымъ воспоминаніямъ и пережива-

ніямъ. Такія обращенія къ своему внутреннему міру дѣлаются и по другимъ поводамъ. Иногда поэтъ просто не можетъ удержаться, чтобы не выразить своего настроенія въ данную минуту. Поскольку эти личныя изліянія получаютъ лирическую форму, постольку мы имѣемъ здѣсь образцы *субъективной лирики* Пушкина.

Присмотримся къ ея характеру и содержанію.

Въ первой главѣ, которую Пушкинъ (въ письмѣ къ А. А. Бестужеву) назвалъ «быстрымъ введеніемъ», лиризмъ столь же «быстръ» и, по своему содержанію, примыкаетъ къ лирической поэзіи Пушкина 1822 — 1825 гг. Тутъ находимъ и мотивы легкой эротической поэзіи, которою шалилъ Пушкинъ въ эти годы, и болѣе серьезныя ноты байроническихъ настроеній, и наконецъ—*и это самое субъективное*—завѣтную мечту Пушкина—„бѣжать“ за границу и именно куда-нибудь на югъ, — въ Африку, въ Италію. Сюда относятся строфы XLIX и L:

Адріатическія волны,
О, Брента! Нѣтъ, увижу васъ,
И вдохновенья снова полный,
Услышу вашъ волшебный гласъ... и т. д.
. . . . . .
Придетъ-ли часъ моей свободы?
Пора, пора—взываю къ ней;
Брожу надъ моремъ, жду погоды,
Маню вѣтрила кораблей.
Подъ ризой бурь, съ волнами споря,
По вольному распутью моря
Когда жъ начну я вольный бѣгъ?
Пора покинуть скучный брегъ
Мнѣ непріязненной стихіи,
И средь полуденныхъ зыбей,
Подъ небомъ Африки моей,
Вздыхать о сумрачной Россіи,
Гдѣ я страдалъ, гдѣ я любилъ,
Гдѣ сердце я похоронилъ.

Годомъ позже (1824) этотъ мотивъ прозвучалъ въ великолѣпномъ стихотвореніи „Къ Морю“, гдѣ поэтъ говоритъ:

Моей души предѣлъ желанный!
Какъ часто по брегамъ твоимъ
Бродилъ я тихій и туманный,
Завѣтнымъ умысломъ томимъ...

Этотъ «завѣтный умыселъ»—«бѣгство»—такъ и не осуществился:

Не удалось на вѣкъ оставить
Мнѣ скучный неподвижный брегъ,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтамъ твоимъ направить
Мой поэтическій побѣгъ...

Если возьмемъ съ одной стороны лирическія строфы первой главы «Евг. Онѣгина», а съ другой отдѣльныя лирическія пьесы Пушкина, написанныя на тѣ же темы (и относящіяся къ той же эпохѣ), то замѣтимъ нѣкоторую разницу: въ романѣ къ лиризму настроенія присоединяется капля яда—шутки, иронии, и въ результатѣ получается родъ «иронической лирики», отчасти напоминающей поэзію Гейне. Этой примѣси нѣтъ только въ вышеуказанныхъ строфахъ (XLIX, L), гдѣ лирически прозвучалъ «завѣтный умыселъ» поэта. За то все «байроническое» отравлено ироніей, какъ и эротическіе мотивы. Байроническія настроенія самого Пушкина здѣсь, можно сказать, сведены на нѣтъ,—отъ нихъ осталось лишь воспоминаніе, уже почти не поддающееся лирической обработкѣ. Сюда относятся строфы XLV и XLVI. Въ послѣдней тронуты душевныя струны, трепетаніе которыхъ могло бы легко претвориться въ лирику байроническаго «демонизма» или, по крайней мѣрѣ, байронической рефлексіи:

Кто жилъ и мыслилъ, тотъ не можетъ
Въ душѣ не презирать людей;
Кто чувствовалъ, того тревожитъ
Призракъ невозвратимыхъ дней:
Тому ужь нѣтъ очарованій,
Того змія воспоминаній,
Того раскаянье грызетъ...

Это—еще не лирика, но уже приступъ къ ней,—и она,

казалось бы, вотъ-вотъ взыграетъ; но слѣдующіе два стиха убиваютъ ее наповалъ:

Все это часто придаетъ
Большую прелесть разговору.

Въ байроническихъ пьесахъ Пушкина, изъ которыхъ важнѣйшею признается «Демонъ» (1823), нѣтъ этой отравы; тамъ лиризмъ настроенія ничѣмъ не нарушается. Извѣстно, что черновые наброски нѣкоторыхъ мѣстъ «Демона» совпадаютъ съ черновыми набросками XLV-ой строфы первой главы «Евг. Онѣгина». Мотивы байроническаго разочарованія, скептицизма и «демонизма», которые у Пушкина были подражательными и напускными (что не мѣшало имъ выливаться въ форму подлинной лирической поэзіи), отнесены въ романѣ на счетъ Онѣгина, а для Пушкина они лишь воспоминаніе, для котораго поэтъ уже не находитъ подходящей лирической формы.

Зато подлинныя душевныя движенія и настроенія, которыя поэтъ переживалъ тогда, выливаются у него безусловно лирически, какъ, напр., «завѣтный умыселъ» о бѣгствѣ въ строфахъ XLIX и L, а также и тѣ признанія, какія мы находимъ въ предпослѣдней (LIX) строфѣ первой главы романа:

Прошла любовь, явилась муза,
И прояснился темный умъ.
Свободенъ, вновь ищу союза
Волшебныхъ звуковъ, чувствъ и думъ;
Пишу, и сердце не тоскуетъ,
Перо, забывшись, не рисуетъ
Близь неоконченныхъ стиховъ
Ни женскихъ ножекъ, ни головъ;
Погасшій пепелъ ужь не вспыхнетъ;
Я все грущу; но слезъ ужь нѣтъ,
И скоро, скоро бури слѣдъ
Въ душѣ моей совсѣмъ утихнетъ...

И эту задушевную лирику нисколько не портитъ шутливое заключеніе строфы:

Тогда-то я начну писать
Поэму пѣсенъ въ двадцать пять.

Итакъ, судя по первой главѣ, субъективная лирика въ романѣ есть *лирика личныхъ воспоминаній и тѣхъ настроеній, какія въ данную минуту, во время работы надъ романомъ, переживалъ поэтъ.*

Такъ это и въ дальнѣйшемъ.

Лирическое выраженіе личныхъ настроеній мы находимъ въ концѣ нѣкоторыхъ главъ. Только-что я указалъ на таковое въ концѣ первой. Вотъ другое—въ послѣднихъ трехъ строфахъ второй (XXXVIII, XXXIX, XL):

Увы, на жизненныхъ браздахъ
Мгновенной жатвой, поколѣнья,
По тайной волѣ Провидѣнья,
Восходятъ, зрѣютъ и падутъ;
Другія имъ во слѣдъ идутъ... и т. д.

. . . . . .

Для призраковъ закрылъ я вѣжды,
Но отдаленныя надежды
Тревожатъ сердце иногда:
Безъ непримѣтнаго слѣда
Мнѣ было бъ грустно міръ оставить.
Живу, пишу не для похвалъ;
Но я бы, кажется, желалъ
Печальный жребій свой прославить,
Чтобъ обо мнѣ, какъ вѣрный другъ,
Напомнилъ хоть единый звукъ.
И чье-нибудь онъ сердце тронетъ,
И, сохраненная судьбой,
Быть можетъ, въ Летѣ не потонетъ
Строфа, слагаемая мной;
Быть можетъ (лестная надежда!),
Укажетъ будущій невѣжда
На мой прославленный портретъ
И молвитъ: то-то былъ поэтъ!
Пріими жъ мое благодаренье,
Поклонникъ мирныхъ Аонидъ,
О ты, чья память сохранитъ
Мои летучія творенья,
Чья благосклонная рука
Потреплетъ лавры старика!

Это — несомнѣнная лирика, и эти строки — драгоцѣнны: онѣ—изъ числа тѣхъ, которыя открываютъ намъ доступъ въ душу великаго поэта и «простого» человѣка.

Минуя главы III—V, гдѣ нѣтъ заключительныхъ аккордовъ субъективной лирики, переходимъ въ поискахъ за нею прямо къ VI-ой, гдѣ въ послѣднихъ строфахъ (XLV—XLVII) находимъ знаменитое прощаніе съ юностью:

Такъ полдень мой насталъ, и нужно
Мнѣ въ томъ сознаться, вижу я.
Но такъ и быть: простимся дружно,
О юность легкая моя!
Благодарю за наслажденья,
За грусть, за милыя мученья,
За шумъ, за бури, за пиры,
За всѣ, за всѣ твои дары... и т. д.

Поэтъ призываетъ «вдохновеніе», выражая желаніе, чтобы оно не покидало его и впредь, почаще прилетало и не дало остыть его душѣ,—

Ожесточиться, очерствѣть
И наконецъ окаменѣть
Въ мертвящемъ упоеньи свѣта,
Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ... и т. д.

Послѣдняя (VIII-ая) глава романа оканчивается задушевнымъ прощаніемъ поэта съ его произведеніемъ:

Прости жъ и ты, мой спутникъ странный,
И ты, мой вѣрный идеалъ,
И ты, живой и постоянный,
Хоть малый трудъ. Я съ вами зналъ
Все, что завидно для поэта:
Забвенье жизни въ буряхъ свѣта,
Бесѣду сладкую друзей...
Промчалось много, много дней,
Съ тѣхъ поръ, какъ юная Татьяна
И съ ней Онѣгинъ въ смутномъ снѣ

Явилися впервые мнѣ—
И даль свободнаго романа
Я сквозь магическій кристаллъ
Еще неясно различалъ.

И тутъ повѣяло тѣнями прошлаго... Поэтъ вспомнилъ тѣхъ, кому нѣкогда онъ читалъ первыя строфы романа... «Иныхъ ужь нѣтъ, а тѣ—далече»... Это—друзья его юности, декабристы... Между ними были лица съ онѣгинскими чертами. «Безъ нихъ» пришлось поэту «дорисовывать» Онѣгина. Вспоминаетъ поэтъ и «ту», «съ которой образованъ Татьяны милый идеалъ»... Но не хочетъ поэтъ бередить душевныя раны и ограничивается вздохомъ: «О, много, много рокъ отъялъ!..»—и кончаетъ горькою сентенціею:

Блаженъ, кто праздникъ жизни рано
Оставилъ, не допивъ до дна
Бокала полнаго вина,
Кто не дочелъ ея романа
И вдругъ умѣлъ разстаться съ нимъ,
Какъ я съ Онѣгинымъ моимъ.

Эти лирическія мѣста (въ главахъ I, II, VI и VIII), къ которымъ можно было бы присоединить отдѣльные стихи изъ другихъ главъ, дополняются начальными строфами VIII-ой главы, гдѣ поэтъ (строфы I—V) даетъ поэтическую исторію своего творчества—отъ временъ лицейскихъ до созданія образа Татьяны, и все вмѣстѣ образуетъ особый—замкнутый—циклъ задушевной субъективной лирики Пушкина, гдѣ воспроизведены не душевныя фикціи и не чужія мысли и чувства, а подлинныя, свои собственныя переживанія, живьемъ схваченныя и мгновенно превращенныя въ лирическія эмоціи.

Это не столько лирическое творчество, сколько *натуральная лирика души*—явленіе, психологія котораго знакома каждому изъ насъ, «простыхъ смертныхъ»: воспоминаніе, раздумье, созерцательное настроеніе, получая структуру психологическаго ритма, вызываютъ гармоническое сочетаніе душевныхъ моментовъ и становятся «лирическими».

И не только по типу, но и по содержанію, субъективная лирика Пушкина приближается къ натуральной лирикѣ, свойственной каждому изъ насъ, простыхъ смертныхъ. Это—лирика

возраста, физическаго и душевнаго роста, лирика воспоминаній, раздумья о прошломъ, о будущемъ. И если отнять все, что относится тутъ къ творчеству Пушкина (въ особенности строфы I—V главы VIII-ой), то выйдетъ просто натуральная, психологическая лирика, вспыхивающая на поворотахъ жизни, при переходѣ отъ дѣтства къ юности, отъ молодости къ зрѣлому возрасту,—*лирика общечеловѣческая и обывательская.*

И она идетъ отъ сердца къ сердцу... Передъ нами не поэтъ, который «творитъ» и «поетъ»,—передъ нами простой человѣкъ, очень «душевный» и очень искренній, который вдругъ вспомнилъ, что ему скоро 30 лѣтъ, что молодость прошла—и по этому случаю загрустилъ, какъ это случается съ каждымъ изъ насъ, и тутъ же умилился душой, задумался, какъ задумываемся и умиляемся и мы,—и вдругъ заговорилъ простымъ, разговорнымъ языкомъ и такъ задушевно, такъ проникновенно, что сразу тронулъ тайныя струны нашей души,—и мы вмѣстѣ съ нимъ переживаемъ эту натуральную, его и нашу, лирику обыкновенной души человѣческой.

Но онъ—художникъ, онъ—поэтъ. Онъ создалъ типъ Онѣгина, онъ воспроизвелъ «Татьяны милой идеалъ» и многое другое; у него есть «Муза», которой у насъ нѣтъ и въ поминѣ,—и онъ разсказываетъ исторію этой Музы,—всѣ ея превращенія, отъ лицейскихъ шалостей до того момента, когда она вдругъ обернулась «барышней уѣздной»

Съ печальной думою въ очахъ,
Съ французской книжкою въ рукахъ...

Онъ—не то, что мы, простые смертные... Но однако; къ удивленію нашему, это обстоятельство не только не удаляетъ его отъ насъ, но скорѣе еще больше сближаетъ, роднитъ насъ съ нимъ. Какъ только онъ началъ:

Въ тѣ дни, когда въ садахъ лицея
Я безмятежно процвѣталъ...—

мы встрепенулись и еще ближе подсѣли къ нему. И намъ кажется, что вся эта исторія творчества, которую онъ излагаетъ, такъ близка намъ, такъ понятна и проста, точно мы сами въ ней какъ-то участвовали или почему-то сроднились съ ней. И если «Муза» была у него, а не у насъ, то это—

случайность, которая не проводитъ рѣзкой грани между нами и имъ. Нельзя всѣмъ «творить»; ему выпалъ этотъ жребій,— и онъ «творилъ» за насъ всѣхъ. И разсказываетъ онъ объ этомъ своемъ творчествѣ все тѣмъ же задушевнымъ тономъ и тѣмъ же простымъ языкомъ, которые устраняютъ всякую возможность взаимнаго непониманія или отчужденія. Вспомнимъ: исторія творчества или «Музы» разсказана такъ, что мы, волей-неволей, переживаемъ рядъ *лирическихъ подъемовъ*, нѣкогда пережитыхъ поэтомъ и знаменующихъ собою извѣстные моменты его жизни и творчества. Вотъ одинъ:

Моя студенческая келья
Вдругъ озарилась: Муза въ ней
Открыла пиръ младыхъ затѣй...

Вотъ другой:

. . . . . .
Я Музу рѣзвую привелъ
На шумъ пировъ и буйныхъ споровъ...

Вотъ еще:

Она Ленорой при лунѣ
Со мной скакала на конѣ!
Какъ часто по брегамъ Тавриды
Она меня во мглѣ ночной
Водила слушать шумъ морской...

Потомъ:

. . . . . .
Въ глуши Молдавіи печальной
Она смиренные шатры
Племенъ бродящихъ посѣщала...

Все это лирика юности, пировъ, романтики, чувства природы, лирика Кавказа, Крыма, степей,—все это—общедоступно, это—наше собственное достояніе или, точнѣе, представлено—какъ наше достояніе.

И когда, наконецъ, мы слышимъ, что—

Вдругъ измѣнилось все кругомъ,—
И вотъ она въ саду моемъ
Явилась барышней уѣздной...

—тогда мы окончательно чувствуемъ себя, среди этой поэзіи, въ своей стихіи, и—распоряжаемся тамъ, вмѣстѣ съ поэтомъ,—какъ у себя дома. Мы съ нимъ—земляки и пріятели; онъ—совсѣмъ нашъ, и мы его понимаемъ съ полуслова. Его воспоминанія—наши; его раздумье—наше. Да и самъ онъ раньше уже заявилъ, что «*купается въ одномъ омутѣ*» *вмѣстѣ съ нами*:

Среди бездушныхъ гордецовъ,
Среди блистательныхъ глупцовъ,
Среди лукавыхъ, малодушныхъ,
Шальныхъ, балованныхъ дѣтей,
Злодѣевъ и смѣшныхъ и скучныхъ,
Тупыхъ, привязчивыхъ судей,
Среди кокетокъ богомольныхъ,
Среди холопьевъ добровольныхъ... и т. д.

Эту тираду, эту бутаду, или нѣчто въ этомъ родѣ могли бы произнести и мы грѣшные, купающіеся въ томъ же омутѣ.

Субъективная и натуральная лирика Пушкина занимаетъ весьма видное мѣсто въ композиціи романа. Конечно, и безъ нея типы Онѣгина, Ленскаго, Татьяны останутся тѣми же, какими мы ихъ знаемъ, и романъ сохранитъ свой смыслъ и свое художественное значеніе. Но однако же, если сдѣлаемъ опытъ устранить эти лирическія мѣста, то окажется, что вмѣстѣ съ ними мы удалили одно необыкновенно-привлекательное лицо, выступающее въ романѣ,—лицо Пушкина. Картина русской жизни осталась бы, какъ она есть, но въ ней недоставало бы обаянія самой личности Пушкина,—того очарованія, которымъ такъ сильны письма поэта. Элементъ субъективной лирики сближаетъ объективный романъ съ письмами Пушкина и, подобно имъ, даетъ намъ отрадную возможность подойти ближе къ этому обаятельному человѣку, одаренному геніемъ Шекспира и простотою обыкновеннаго смертнаго.

Итакъ: субъективная лирика Пушкина въ «Евг. Онѣгинѣ» является лишнимъ свидѣтельствомъ объ отсутствіи эгоцентризма въ натурѣ Пушкина: ею онъ не замыкается въ себѣ, а приближается къ намъ, раскрывая намъ свою душу. Это—натуральная лирика экспансивнаго человѣка.

4.

Объективная лирика въ „Евгеніи Онѣгинѣ“. Татьяна.

Если субъективную лирику можно удалить изъ романа, не нарушая его художественнаго значенія, то съ объективною лирикою, которой въ немъ не мало, сдѣлать этого нельзя: пострадаютъ самые образы,—они будутъ говорить намъ уже *не то и не такъ, что́ и какъ они говорятъ.*

Какъ въ «драматическихъ опытахъ», такъ и здѣсь многое создано не только средствами образнаго искусства, но и силою лирическаго творчества. Такъ созданъ прежде всего образъ *Татьяны.* Все, что́ поэтъ говоритъ о ней, и то, что́ она сама переживаетъ, претворено въ лирику, и эту лирику, конечно, нельзя назвать субъективною: она «поетъ» намъ не о Пушкинѣ, а о Татьянѣ и является неотъемлемою принадлежностью самого образа этой «барышни уѣздной».

Попробуйте удалить лиризмъ «сна» Татьяны, ея «письма» къ Онѣгину, ея отповѣди ему въ VIII-ой главѣ,—и вы убѣдитесь, что самому образу будетъ нанесенъ непоправимый ущербъ.

Суть дѣла здѣсь не въ томъ, что поэтъ обработалъ лирически отдѣльныя мѣста, напр. «письмо» Татьяны, а въ томъ, что онъ подслушалъ *натуральную лирику* молодой души, первой любви, лирику, присущую тѣмъ женскимъ натурамъ, художественнымъ обобщеніемъ и истолкованіемъ которыхъ служитъ образъ Татьяны,—и вотъ именно *эту-то естественную, психологическую лирику женской души* подвергъ дальнѣйшей лирической обработкѣ—силою всѣхъ лирическихъ чаръ, какія были въ его распоряженіи. И вышло вотъ что́: эти чары или, скажемъ проще, пріемы лирическаго творчества пошли цѣликомъ на усиленіе натуральнаго лиризма Татьяны,—они служатъ лишь способомъ обнаружить, *выявить* этотъ лиризмъ.

Прослѣдимъ, какъ это сдѣлано.

Сперва Пушкинъ какъ-будто скупится и приберегаетъ лирическіе эффекты для дальнѣйшаго. Въ главѣ II-ой, гдѣ впервые рѣчь идетъ о Татьянѣ, Пушкинъ довольно подробно распространяется о ея характерѣ,—о ея «задумчивости», «дикости», мечтательности и т. д. (гл. II, строфы XXV—XXIX), и здѣсь нѣтъ

ни лирики, ни даже образной въ собственномъ смыслѣ поэзіи: это просто—разсказъ,—почти прозаическій, лишь слегка пересыпанный образными элементами.—Замѣтимъ кстати, что вообще въ «Евг. Онѣгинѣ» не мало *прозы*, и это придаетъ своеобразную прелесть этому великому произведенію, изобилующему всѣми сокровищами образной художественности и лирики, но не стѣсненному ими, не закованному въ броню поэтическихъ формъ, отъ которыхъ поэтъ, гдѣ нужно, переходитъ къ прозѣ. Это придаетъ «*свободному* роману» еще больше свободы, т. е. простоты, непринужденности и естественности.

Итакъ, о Татьянѣ Пушкинъ заговорилъ на первый разъ *почти прозаически*. Въ III-ей главѣ, продолжая рѣчь о Татьянѣ, поэтъ сперва удерживаетъ тотъ же прозаическій пошибъ въ строфахъ VII—X, гдѣ говорится о томъ, какъ подготовлялось у Татьяны чувство любви къ Онѣгину; затѣмъ слѣдуетъ совсѣмъ прозаическій отрывокъ, родъ разсужденія, въ строфахъ XI—XII и «проектъ» будущаго бытового романа (строфы XIII—XIV), послѣ чего поэтъ возвращается къ Татьянѣ (строфа XV), и здѣсь уже проза смѣняется поэзіей и чуются первыя вѣянія натуральной лирики женской души...

Тоска любви Татьяну гонитъ,
И въ садъ идетъ она грустить,
И вдругъ недвижны очи клонитъ,
И лѣнь ей далѣе ступить... и т. д.
. . . . . .
Настанетъ ночь; луна обходитъ
Дозоромъ дальный сводъ небесъ,
И соловей во мглѣ древесъ
Напѣвы звучные заводитъ,
Татьяна въ темнотѣ не спитъ
И тихо съ няней говоритъ... (XVI)

Слѣдуютъ великолѣпныя строфы—разговоръ Тани съ нянюшкой, признаніе Тани, ея затѣя—написать письмо Онѣгину (XVII—XXI). Мы здѣсь въ области настоящей поэзіи, продолжающейся, послѣ прозаическаго перерыва въ строфахъ XXII—XXX, великолѣпнымъ письмомъ Татьяны (стр. XXXI), разговоромъ съ няней (XXXIII—XXXV) и заключительными стро-

фами главы, воспроизводящими волненіе Тани послѣ посылки письма и въ ожиданіи пріѣзда Онѣгина.

Прочтемъ это мѣсто:

И между тѣмъ душа въ ней ныла,
И слезъ былъ полонъ томный взоръ.
Вдругъ топотъ! кровь ея застыла.
Вотъ ближе! скачутъ... и на дворъ.
Евгеній!—«Ахъ!»—и легче тѣни
Татьяна прыгъ въ другія сѣни,
Съ крыльца на дворъ, и прямо въ садъ,
Летитъ, летитъ; взглянуть назадъ
Не смѣетъ; мигомъ обѣжала
Куртины, мостики, лужокъ,
Аллею къ озеру, лѣсокъ,
Кусты, сирень переломала,
По цвѣтникамъ летя къ ручью,
И задыхаясь на скамью (XXXVIII)
Упала... «Здѣсь онъ! здѣсь Евгеній!
О Боже! что подумалъ онъ!»... (XXXIX).

Слѣдуетъ пѣсня дѣвушекъ, сбирающихъ ягоды и поющихъ «по наказу», который тутъ же поясняется:

Наказъ, основанный на томъ,
Чтобъ барской ягоды тайкомъ
Уста лукавыя не ѣли
И пѣньемъ были заняты...

Строфа XL говоритъ, какъ Татьяна тщетно старалась преодолѣть свое волненіе, а въ послѣдней строфѣ XLI набросана «нѣмая сцена»—встрѣчи съ Онѣгинымъ:

Но наконецъ она вздохнула
И встала со скамьи своей;
Пошла, но только повернула
Въ аллею,—прямо передъ ней,
Блистая взорами, Евгеній
Стоитъ, подобно грозной тѣни,
И, какъ огнемъ обожжена,
Остановилася она...

Здѣсь нѣтъ лирики; здѣсь все—рисунокъ, живопись, пластика, движеніе,—средства образнаго искусства, которыми выявляется психологія влюбленной дѣвушки. Но поскольку обнаруживается эта психологія, постольку просится наружу и натуральный лиризмъ, ей присущій и уже однажды прозвучавшій въ «письмѣ». Мы ждемъ его дальнѣйшаго проявленія. Судя по предыдущему, поэтъ едва-ли «воспоетъ» Татьяну, едва-ли напишетъ лирическія строфы, превращающія ея натуральный лиризмъ въ нѣчто другое, отъ него отличное. Въ главѣ V-ой онъ опять говоритъ о ней смѣшанной рѣчью—наполовину прозаической, наполовину поэтической: это строфы IV—X (о суевѣріи Татьяны, о гаданіи и пр.). Вы помните, какъ оканчивается этотъ простой разсказъ:

Съ Татьяной намъ не ворожить...
Татьяна поясокъ шелковый
Сняла, раздѣлась и въ постель
Легла. Надъ нею вьется Лель,
А подъ подушкою пуховой
Дѣвичье зеркало лежитъ:
Утихло все. Татьяна спитъ. (X).

Тутъ мы невольно настораживаемся....

И снится чудный сонъ Татьянѣ,—

—читаемъ дальше, и въ строфахъ XI—XXI находимъ чарующую поэзію русской сказки и дѣвичьяго сна,—и скоро замѣчаемъ, что это не только мастерская живопись, блещущая изумительною техникою поэтическаго «кинематографа», но что, кромѣ того, это—своеобразная лирика—русской сказки, дѣвичьихъ сновидѣній, наивной души,—и Богъ вѣсть, гдѣ она тамъ прячется, эта лирика,—въ самомъ ли стихѣ, въ его гармоніи, или въ сочетаніи образовъ, въ гармоническомъ построеніи цѣлаго, но—какъ-бы то ни было—она чувствуется, она звучитъ,—и все мѣсто (XI—XXI) мы невольно воспринимаемъ почти такъ же *лирически*, какъ воспринимаемъ извѣстной прологъ къ Руслану и Людмилѣ, написанный въ 1828 г.: «У лукоморья дубъ зеленый...»

Въ VII-ой главѣ опять прозаическая рѣчь о Татьянѣ,—простой разсказъ о томъ, какъ, послѣ отъѣзда Онѣгина, она стала посѣщать его домъ и читать его книги и понемногу стала «яснѣе понимать» Онѣгина (XV—XXV).

Въ той же VII-ой главѣ дѣйствіе переносится въ Москву, и мы читаемъ легкій, художественно- юмористическій набросокъ о бабушкахъ, тетушкахъ, подругахъ Тани, «архивныхъ юношахъ» и мимоходомъ замѣчаемъ, что Татьяна душевно выросла, что это уже не тотъ ребенокъ, котораго мы знали раньше; чтеніе книгъ Онѣгина, повидимому, пошло ей впрокъ, —остальное довершили пережитый опытъ, незаурядный природный умъ и глубина натуры. Ни о незаурядномъ умѣ, ни о глубинѣ натуры Татьяны Пушкинъ ничего не говоритъ, но устраиваетъ такъ, что мы неизбѣжно приходимъ къ такому взгляду на героиню романа.

Этотъ взглядъ упрочивается у насъ, когда въ главѣ VIII-ой мы встрѣчаемъ Татьяну уже замужнею женщиною и слышимъ ея отповѣдь влюбленному Онѣгину. Здѣсь—въ формѣ чудной пушкинской лирики она обнаруживаетъ высокій строй своей натуры и «вѣчно-женственный» лиризмъ своей души:

Онѣгинъ, помните ль тотъ часъ,
Когда въ саду, въ аллеѣ, насъ
Судьба свела, и такъ смиренно
Урокъ вашъ выслушала я?
Сегодня очередь моя.
Онѣгинъ, я тогда моложе,
Я лучше, кажется, была,
И я любила васъ... И что же?
Что въ сердцѣ вашемъ я нашла?
Какой отвѣтъ? Одну суровость.
Не правда ль,—вамъ была не новость
Смиренной дѣвочки любовь?
И нынче—Боже!—стонетъ кровь,
Какъ только вспомню взглядъ холодный
И эту проповѣдь... Но васъ
Я не виню: въ тотъ страшный часъ
Вы поступили благородно,
Вы были правы предо мной:
Я благодарна всей душой...
Тогда—не правда ли?—въ пустынѣ,
Вдали отъ суетной молвы,
Я вамъ не нравилась... Что жъ нынѣ
Меня преслѣдуете вы?

Зачѣмъ у васъ я на примѣтѣ?
Не потому-ль, что въ высшемъ свѣтѣ
Теперь являться я должна,
Что я богата и знатна,
Что мужъ въ сраженьяхъ изувѣченъ,
Что насъ за то ласкаетъ дворъ?
Не потому-ль, что мой позоръ
Теперь бы всѣми былъ замѣченъ,
И могъ бы въ обществѣ принесть
Вамъ соблазнительную честь?...
Я плачу... Если вашей Тани
Вы не забыли до сихъ поръ,
То знайте: колкость вашей брани,
Холодный, строгій разговоръ,
Когда бъ въ моей лишь было власти,
Я предпочла бъ обидной страсти
И этимъ письмамъ й слезамъ,
Къ моимъ младенческимъ мечтамъ
Тогда имѣли вы хоть жалость,
Хоть уваженіе къ лѣтамъ...
А нынче! Что къ моимъ ногамъ
Васъ привело? Какая малость!
Какъ съ вашимъ сердцемъ и умомъ
Быть чувства мелкаго рабомъ!
А мнѣ, Онѣгинъ, пышность эта,
Постылой жизни мишура,
Мои успѣхи въ вихрѣ свѣта,
Мой модный домъ и вечера,
Что въ нихъ? Сейчасъ отдать я рада
Всю эту ветошь маскарада,
Весь этотъ блескъ, и шумъ, и чадъ
За полку книгъ, за дикій садъ,
За наше бѣдное жилище,
За тѣ мѣста, гдѣ въ первый разъ,
Онѣгинъ, видѣла я васъ,
Да за смиренное кладбище,
Гдѣ нынче крестъ и тѣнь вѣтвей
Надъ бѣдной нянею моей... (XLII—XLVI).

Я нарочно выписалъ почти всю «отповѣдь». Ее нельзя читать безъ глубокаго волненія и неизъяснимаго очарованія. Это волненіе и очарованіе, конечно, не что иное, какъ *лирическая эмоція* огромной силы. Какими средствами она осуществляется?

Она осуществляется не только тѣмъ, что прямо сказано въ отповѣди, но и намеками на прошлое, намъ знакомое: образъ прежней Тани пришелъ и сталъ передъ нами,—быстро переживаемъ мы вмѣстѣ съ нею всю исторію ея души и слышатся намъ отдаленные отвуки лиризма ея письма, ея сна, ея дѣвичьей души. Мы моментально измѣряемъ психическое разстояніе между Татьяной—дѣвочкой, уѣздной барышней, и Татьяной—женщиной, и намъ открывается тайна роста ея души, тайна раскрытія глубины этой идеальной женской натуры, тайна расцвѣта и обнаруженія скрытыхъ душевныхъ силъ. И то, что̀ сказано въ отповѣди, подводитъ итогъ душевному развитію Татьяны, а въ этомъ итогѣ все, ею пережитое, сливается въ гармонію созвучій—чувствъ, воспоминаній, раздумья и нравственныхъ рѣшеній. Выходитъ чарующая психическая мелодія души—не Пушкина, не нашей, а Татьяны: мы съ Пушкинымъ только прислушиваемся къ этой мелодіи, и она чаруетъ насъ—какъ музыка, какъ натуральная музыка чудной женской души.

Теперь обратимъ вниманіе на форму. Эта форма—простой, разговорный языкъ—въ стихахъ, доведенныхъ до того совершенства, при которомъ скрадывается грань между стихомъ и прозой.

Натуральная—психологическая—лирика Татьяны не наряжена здѣсь ни въ какой нарядъ «искусственной» поэтической лирики; никакихъ нѣтъ здѣсь «хитростей піитическихъ», никакихъ литературныхъ ухищреній. Магъ и волшебникъ поэзіи и литературныхъ дѣлъ мастеръ отбросилъ всю бутафорію лирической композиціи. Онъ только прикоснулся волшебнымъ смычкомъ къ тайнымъ струнамъ чудной женской души,—и зазвучала мелодія, которая, минуя традиціонныя формы поэтической лирики, всѣ эти «элегіи», «романсы», «сонеты», «пѣсни», просится прямо—въ музыку. Отъ натуральнаго лиризма души человѣческой до музыкальнаго разстояніе ближе, чѣмъ кажется...

Души человѣческія раскрываются для взаимнаго пониманія

лучше и скорѣе всего путемъ *эмоцій*; кромѣ обыкновенныхъ эмоцій всякаго рода (любви, грусти, радости, гнѣва, страха, стыда и т. д.) душа человѣческая, даже самая заурядная, имѣетъ запасъ и особыхъ *лирическихъ* эмоцій, сопутствующихъ человѣку на всѣхъ путяхъ его жизни и очень пригодныхъ для раскрытія души, для обнаруженія ея секретовъ (есть дѣтскія, юношескія лирическія эмоціи, есть лирическія эмоціи переходнаго возраста, въ особенности—половой зрѣлости, есть таковыя же зрѣлаго возраста, есть и старческія,—человѣкъ *лиричень* отъ временъ первобытныхъ, и вся исторія человѣчества сопровождается пѣсней, лирической поэзіей, музыкой и танцами). Пушкинъ, въ ряду великихъ поэтовъ, былъ какъ разъ тотъ, въ душѣ котораго всегда бодрствовали и были наготовѣ лирическія эмоціи—*на всѣ случаи души и жизни, своей и чужой*; обладатель лирическихъ эмоцій всѣхъ сортовъ, онъ былъ поэтому величайшій мастеръ—открывать души человѣческія, подбирая къ нимъ «лирическіе ключи»; такъ, онъ лирически открылъ тайну завистливой души Сальери, психологію скупости барона и т. д. Теперь онъ подобралъ лирическій ключъ къ душѣ Татьяны.

И этимъ ключемъ онъ открылъ душу не только Татьяны Дмитріевны Лариной, но и душу русской идеализированной женщины вообще. Ибо Татьяна—не только индивидуальность, но и крупное художественное обобщеніе, истинная предшественница знаменитыхъ тургеневскихъ женщинъ, — образъ «пророческій» не меньше Онѣгина.

5.

Объективная лирика въ «Евг. Онѣгинѣ».—Ленскій.

Лирически воспроизведенъ и Ленскій. Но необходимо отмѣтить, что, кромѣ лирики, тутъ участвовалъ и юморъ,—и получилось удивительное лирико-юмористическое изображеніе, благодаря которому типъ и натура Ленскаго выступаютъ съ полною опредѣленностью. О Ленскомъ не можетъ быть двухъ мнѣній. Славный юноша, добрый малый, шаблонный русскій интеллигентъ 20-хъ годовъ, восторженный адептъ идеологіи своего времени и, конечно, «романтикъ» (романтизмъ въ его

„русской редакціи“ былъ тогда въ модѣ),—онъ является типичнымъ представителемъ той части русской молодежи (всѣхъ эпохъ), которая характеризуется, прежде всего, *эмоціональностью и воспріимчивостью слабаго ума и, засимъ, легкостью перехода, съ годами, отъ крайнихъ увлеченій, отъ восторженности и превыспренности къ самой безнадежной и невылазной пошлости.*

Характеризуя Ленскаго, Пушкинъ поддѣлывается подъ его тонъ и манеру и пишетъ *лирическія* строфы VII—X главы II-ой, въ которыхъ скрыта капля яда—ироніи:

Отъ хладнаго разврата свѣта,
Еще увянуть не успѣвъ,
Его душа была согрѣта
Привѣтомъ друга, лаской дѣвъ и т. д.
. . . . . .
Онъ вѣрилъ, что душа родная
Соединиться съ нимъ должна,
Что, безотрадно изнывая,
Его вседневно ждетъ она и т. д.
. . . . . .
Онъ пѣлъ любовь, любви послушный,
И пѣснь его была ясна,
Какъ мысли дѣвы простодушной,
Какъ сонъ младенца, какъ луна
Въ пустыняхъ неба безмятежныхъ,
Богиня тайнъ и вздоховъ нѣжныхъ.
Онъ пѣлъ разлуку и печаль,
И нѣчто, и туманну даль,
И романтическія розы;
Онъ пѣлъ тѣ дальнія страны,
Гдѣ долго въ лоно тишины
Лились его живыя слезы...

И наконецъ:

Онъ пѣлъ поблеклой жизни цвѣтъ
Безъ малаго въ осьмнадцать лѣтъ.

Это—несомнѣнная и чудная лирика, но только—не Пушкина, а Ленскаго и ему подобныхъ, лирика ихъ 18-ти лѣт-

ней восторженности и сентиментальности. Иначе говоря, у Пушкина это — одинъ изъ образцовъ его *объективной лирики*. Другой образецъ это — стихи Ленскаго въ главѣ VI-ой:

Куда, куда вы удалились,
Весны моей златые дни? и т. д. (XXI—XXII).

Опять — чудная лирика... Пушкинъ подсмѣивается надъ нею, говоря:

Такъ онъ писалъ *темно* и *вяло*
(Что романтизмомъ мы зовемъ,
Хоть романтизма тутъ нимало
Не вижу я; да что намъ въ томъ?)... (XXIII).

И въ самомъ дѣлѣ: что намъ въ томъ! Романтизмъ ли это, сентиментализмъ ли, или что угодно другое, столь же «темное» и «вялое», — все равно это — поэзія и именно — лирическая, это — лирика 18-лѣтней души русскаго «романтика» той эпохи — «съ душою прямо геттингенской» и съ черными кудрями до плечъ. Пушкинъ только подслушалъ эту полунатуральную, полуискусственную лирику возраста и эпохи и далъ ей чудное выраженіе, — а потомъ самъ же и смѣется.

Извѣстно, что Пушкинъ предполагалъ дать «образцы» поэзіи Ленскаго, и въ черновыхъ тетрадяхъ сохранились относящіеся сюда отрывки и наброски, въ которыхъ взяты мотивы, интересовавшіе и самого Пушкина. Рисуя Ленскаго, Пушкинъ бралъ свое же лирическое добро и пробовалъ переплавить его такъ, чтобы оно вышло — упражненіями «поэта» Владиміра Ленскаго, человѣка сомнительнаго призванія и ума... Эту «игру» Пушкинъ оставилъ, увидѣвъ, что этого не нужно — для построенія типа Ленскаго, что достаточно будетъ — охарактеризовать *лирически* душевное броженіе молодого энтузіаста и довершить дѣло — юморомъ, котораго блестки вкрапливаются то тамъ, то сямъ. И, наконецъ, въ VI-ой главѣ все это увѣнчивается двумя гармонирующими по контрасту аккордами — лирическимъ (строфа XXXVII) и юмористическимъ (строфа XXXVIII):

Быть можетъ, онъ для блага міра,
Иль хоть для славы былъ рожденъ;
Его умолкнувшая лира
Гремучій, непрерывный звонъ
Въ вѣкахъ поднять могла. Поэта,
Быть можетъ, на ступеняхъ свѣта
Ждала высокая ступень.
Его страдальческая тѣнь,
Быть можетъ, унесла съ собою
Святую тайну, и для насъ
Погибъ животворящій гласъ,
И за могильною чертою
Къ ней не домчится гимнъ временъ,
Благословеніе племенъ. (XXXVII).
А можетъ быть и то: поэта
Обыкновенный ждалъ удѣлъ.
Прошли бы юношества лѣта:
Въ немъ пылъ души бы охладѣлъ.
Во многомъ онъ бы измѣнился,
Разстался бъ съ музами, женился;
Въ деревнѣ, счастливъ и рогатъ,
Носилъ бы стеганый халатъ;
Узналъ бы жизнь на самомъ дѣлѣ,
Подагру бъ въ сорокъ лѣтъ имѣлъ;
Пилъ, ѣлъ, скучалъ, толстѣлъ, хирѣлъ
И, наконецъ, въ своей постели
Скончался бъ посреди дѣтей,
Плаксивыхъ бабъ и лѣкарей. (XXXVIII).

VIII.

„Натуральная“ лирика Пушкина.

1.

Между *субъективною* и *объективною* лирикою Пушкина (напр. въ „Евг. Онѣгинѣ“) есть несомнѣнное родство: и та, и другая есть *лирика психологическая* и *«натуральная»*,—

лирика души человѣческой, русскихъ характеровъ, русской жизни. Разница между ними только въ томъ, что одна (субъективная) есть «натуральная» лирика самого Пушкина, а другая (объективная) «натуральная» лирика Татьяны, Ленскаго, частью другихъ лицъ, только воспроизведенныя лирическими средствами, какими располагалъ Пушкинъ.

И обѣ необыкновенно ясны, просты, доступны всякой душѣ человѣческой, въ особенности же — русской. Это — не тѣ высшаго порядка лирическія композиціи, какія создаются для «знатоковъ», для немногихъ, способныхъ ихъ понимать и цѣнить. Въ «Евг. Онѣгинѣ» Пушкинъ-лирикъ спустился съ неба на землю, и лирическія движенія его души, какъ тѣ, въ которыхъ выразились его личныя чувства, мысли и настроенія, такъ и тѣ, которыя воспроизводятъ психологію выведенныхъ лицъ, въ полномъ согласіи съ реалистическимъ характеромъ романа, являются отраженіемъ обыденной человѣческой лирики, развивающейся въ самой гущѣ жизни. Выше я сказалъ, что у Пушкина былъ неисчерпаемый запасъ лирическихъ эмоцій — *на всѣ случаи жизни и души человѣческой*. Къ этому я прибавлю, что съ половины 20-хъ годовъ, когда расцвѣлъ и окончательно обнаружился *реалистическій* геній Пушкина, какъ художника, соотвѣтственно этому и его лирическое творчество стало развиваться по преимуществу въ направленіи реалистическомъ, и тутъ открылось ему огромное поприще. Поэтъ словно прислушивается ко всѣмъ голосамъ, ко всякому шуму и шороху жизни и почти вездѣ улавливаетъ мотивы натуральной, психологической лирики души человѣческой, находя для нихъ созвучный откликъ въ своей душѣ.

Повидимому, *этого рода лиризмъ, близкій къ натуральному и нерѣдко совпадающій съ нимъ*, былъ свойственъ натурѣ Пушкина въ большей мѣрѣ, чѣмъ другой, «искусственный», въ которомъ болѣе или менѣе значительную роль играютъ литературные пріемы лирическаго творчества. Какъ извѣстно, и въ этомъ послѣднемъ родѣ Пушкинъ былъ великій мастеръ, но природная лирическая эмоціональность его души, въ полномъ согласіи съ живостью и экспансивностью его натуры, а также — съ рѣдкою искренностью его ума и чувства, приводила къ тому, что любое впечатлѣніе, чувство, наблюденіе, раздумье подымали въ немъ лирическую эмоцію

и выливались въ словесную лирическую форму прежде, чѣмъ онъ успѣвалъ заняться ихъ искусственною обработкою. Безъ *нѣкоторой* обработки дѣло не обходилось, конечно, и здѣсь, но въ большинствѣ случаевъ это была только внѣшняя обработка — *стиха, литературной формы,* лишь слегка (и то не всегда) затрогивавшая данный лирическій мотивъ по существу.

Итакъ, я предлагаю различать: 1) *натуральную лирику*, 2) *искусственную* и 3) *рядъ переходныхъ ступеней между ними.*

Лирику «Евг. Онѣгина» я отношу частью къ первой рубрикѣ, частью къ третьей. Къ первой принадлежитъ все субъективное въ лирикѣ романа и многое объективное (напр. въ изображеніи характера и душевныхъ состояній Татьяны). Къ третьей я отнесу «сонъ Татьяны», гдѣ уже видны пріемы искусственной лирики: это — чудная лирическая композиція, родъ «поппури» — изъ сказочныхъ мотивовъ. Но въ этой композиціи такъ мало искусственности и такъ много простоты и непосредственности, что ея лиризмъ кажется намъ очень близкимъ къ тому наивному лиризму, какой переживаетъ ребенокъ, слушающій сказку. Пушкинъ, большой ребенокъ, сохранилъ этотъ сортъ дѣтски-лирической воспріимчивости къ фантастикѣ сказокъ до конца жизни. Въ Михайловскомъ (1824—1826 гг.) онъ слушалъ сказки Арины Родіоновны, образъ которой онъ такъ трогательно увѣковѣчилъ въ «Евг. Онѣгинѣ» (нянюшка Тани) и въ отрывкѣ (1827 г.), который принадлежитъ къ образцамъ *натуральной* Пушкинской лирики:

Подруга дней моихъ суровыхъ,
Голубка дряхлая моя!
Одна въ глуши лѣсовъ сосновыхъ
Давно, давно ты ждешь меня.
Ты подъ окномъ своей свѣтлицы
Горюешь, будто на часахъ,
И медлятъ поминутно спицы
Въ твоихъ наморщенныхъ рукахъ.
Глядишь въ забытыя ворота
На черный отдаленный путь:

*

Тоска, предчувствія, забота,
Тѣснятъ твою всечасно грудь... [1])

Укажемъ на другіе образцы, какъ натуральной лирики Пушкина, такъ и той, которая занимаетъ середину между натуральной и искусственной, приближаясь то къ той, то къ другой грани. *Искусственной* же лирики Пушкина мы посвятимъ слѣдующую главу.

Вотъ стихотвореніе, въ которомъ, по осужденіи декабристовъ, Пушкинъ выразилъ одно дорогое для него воспоминаніе—о пріѣздѣ къ нему, въ Михайловское (зимою 1825 г.) *Ив. Ив. Пущина.* Объ этомъ посѣщеніи подробно говоритъ самъ Пущинъ въ своихъ позднѣйшихъ «Запискахъ»: дѣло было позднимъ вечеромъ, и Пушкинъ былъ уже въ постели; но, услышавъ колокольчикъ, онъ выскочилъ на крыльцо въ одной рубашкѣ, не обращая вниманія на жестокій морозъ, и бросился обнимать и цѣловать Пущина, который въ тяжелой шубѣ, запушенной снѣгомъ, вылѣзалъ изъ кибитки; гость въ своихъ объятіяхъ внесъ поэта въ комнату. Годъ спустя Пушкинъ посвятилъ сосланному другу трогательное стихотвореніе:

Мой первый другъ, мой другъ безцѣнный!
И я судьбу благословилъ,
Когда мой дворъ уединенный,
Печальнымъ снѣгомъ занесенный
Твой колокольчикъ огласилъ.
Молю святое Провидѣнье,
Да голосъ мой душѣ твоей
Даруетъ то же утѣшенье,
Да озаритъ онъ заточенье,
Лучемъ лицейскихъ ясныхъ дней!..

Къ натуральной лирикѣ принадлежитъ, конечно, и «Цвѣтокъ» (1828):

---

[1]) Этотъ набросокъ былъ написанъ по полученіи письма отъ Арины Родіоновны, гдѣ старушка звала своего питомца въ Михайловское и выражала свою любовь къ нему: „ ... Вы у меня безпрестанно въ сердцѣ и на умѣ, и только когда засну, забуду Васъ. Пріѣзжай, мой ангелъ, къ намъ въ Михайловское — всѣхъ лошадей на дорогу выставлю. Я Васъ буду ожидать и молить Бога, чтобы онъ далъ намъ свидѣться"...

Цвѣтокъ изсохшій, безуханный,
Забытый въ книгѣ вижу я,—
И вотъ уже мечтою странной
Душа наполнилась моя.
Гдѣ цвѣлъ? Когда? Какой весною
И долго ль цвѣлъ? И сорванъ кѣмъ?
Чужой, знакомой ли рукою?
И положенъ сюда зачѣмъ?
На память нѣжнаго ль свиданья,
Или разлуки роковой,
Иль одинокаго гулянья
Въ тиши полей, въ тѣни лѣсной?
И живъ ли тотъ, и та жива ли?
И нынче гдѣ ихъ уголокъ?
Или уже они увяли,
Какъ сей невѣдомый цвѣтокъ?

Это простодушное стихотвореніе принадлежитъ къ числу драгоцѣннѣйшихъ лирическихъ откровеній Пушкина. Выше я упомянулъ о томъ, что наши души раскрываются для взаимнаго пониманія лучше всего *эмоціями*—вообще и *лирическими* въ особенности. И умъ, и чувство слишкомъ часто лгутъ,—эмоціи, съ ихъ психофизическимъ механизмомъ, никогда не лгутъ. Сколько бы человѣкъ ни говорилъ вамъ на ту тему, напр., что ему стыдно,—вы не можете быть увѣрены, что онъ не «выдумываетъ» — намѣренно или невольно; но если онъ *покраснѣлъ*, то эта эмоція стыда сразу убѣждаетъ васъ въ подлинности даннаго переживанія. Лирическія же эмоціи отличаются тою особенностью, что въ нихъ всегда есть доля симпатіи, созвучія съ душевными состояніями другихъ людей. Это сближаетъ ихъ съ эмоціями состраданія, жалости, радости, любви. Вы глубже и гуманнѣе почувствуете, напр., чужое горе, если откликнетесь на него не только эмоціею состраданія, но и лирически. Лирику чужого горя, чужой печали, радости, счастья и т. д. мы понимаемъ лучше, чѣмъ тѣ же переживанія въ ихъ нелирическомъ выраженіи.

Стихотвореніе «Цвѣтокъ» обнаруживаетъ удивительную *лирическую чуткость* Пушкина. Я готовъ назвать эту чуткость лиризма, который у него былъ всегда на сторожѣ, всегда въ ожиданіи,—«*лирическою любознательностью*» и усматриваю

психологическое родство между нею и пытливостью ума Пушкина съ одной строны и живостью, экспансивностью его натуры съ другой. Извѣстна широта и разнообразіе его умственныхъ интересовъ, отзывчивость его мысли; извѣстны богатство и тонкость его чувствующей сферы. Но этотъ огромный капиталъ его души не далъ бы тѣхъ изумительныхъ результатовъ творчества, какіе онъ далъ, если бы обѣ сферы—ума и чувства—не были у него тѣсно связаны психическою скрѣпою *лирической эмоціональности*. Любое впечатлѣніе, представленіе, любая мысль вызывала у него эмоцію, но эта эмоція сразу превращалась въ лирическую, а поэтому результатъ эмоціи—чувство становилось лирическимъ и, какъ таковое, приводило къ глубоко-сочувственному, высоко-гуманному отношенію къ тому, что составляло въ данный моментъ содержаніе возникшей мысли и возбужденнаго чувства. Вотъ засохшій цвѣтокъ въ книгѣ. Кто-нибудь, когда-нибудь положилъ его туда. Кто онъ или кто она? И мысль уже заинтересовалась, уже заработала въ этомъ направленіи,—и уже, подъ импульсомъ этихъ представленій (эмоціи, какъ извѣстно, возникаютъ именно подъ воздѣйствіемъ представленій на психомоторные центры сосудодвигательной системы) явилась эмоція—сочувственной грусти, и эта эмоція сразу становится лирической, а душа раскрылась для гуманнаго пониманія другой души, для широкихъ человѣческихъ сочувствій.

Къ циклу произведеній, выражающихъ натуральную лирику души Пушкина, принадлежитъ рядъ стихотвореній, посвященныхъ лицейской годовщинѣ (19 октября). Разсмотримъ ихъ.

Первое было написано въ ссылкѣ, въ Михайловскомъ (1825 г.). Пушкину не пришлось участвовать въ очередномъ торжествѣ. И онъ шлетъ друзьямъ задушевное посланіе, элегію, гдѣ выразились подлинныя переживанія поэта:

Роняетъ лѣсъ багряный свой уборъ;
Сребритъ морозъ увянувшее поле и т. д.

. . . . . .

Пылай каминъ въ моей пустынной кельѣ...

. . . . . .

. . . . . .

Я пью одинъ, и на брегахъ Невы
Меня друзья сегодня именуютъ...

Поэтъ вспоминаетъ, между прочимъ, и столь радостное для него посѣщеніе друзей, въ особенности пріѣздъ Пущина:

И нынѣ здѣсь, въ забытой сей глуши,
Въ обители пустынныхъ вьюгъ и хлада,
Мнѣ сладкая готовилась отрада:
Троихъ изъ васъ, друзей моей души,
Здѣсь обнялъ я. Поэта домъ опальный,
О Пущинъ мой, ты первый посѣтилъ;
Ты усладилъ изгнанья день печальный,
Ты въ день его лицея превратилъ!

Задушевною лирикою дышитъ мѣсто, посвященное Кюхельбекеру:

. . . . юность намъ совѣтуетъ лукаво,
И шумныя насъ радуютъ мечты...
Опомнимся—но поздно! и уныло
Глядимъ назадъ, слѣдовъ не видя тамъ.
Скажи, Вильгельмъ, не то ль и съ нами было,
Мой братъ родной по музѣ, по судьбамъ?
Пора, пора! Душевныхъ нашихъ мукъ
Не стоитъ міръ. Оставимъ заблужденья!
Сокроемъ жизнь подъ сѣнь уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый другъ!
Прійди, огнемъ волшебнаго разсказа
Сердечныя преданья оживи,—
Поговоримъ о бурныхъ дняхъ Кавказа,
О Шиллерѣ, о славѣ, о любви...

Чувство дружбы и товарищества было необыкновенно живо и страстно у Пушкина. Воспоминанія о товарищахъ по лицею и по молодымъ увлеченіямъ вызывали у него всегда сильныя лирическія эмоціи, не меньше тѣхъ, какія вызывались образами женщинъ, которыми въ разное время увлекался влюбчивый поэтъ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ въ стихотвореніяхъ, посвященныхъ лицейской годовщинѣ, отъ перваго (1825) до послѣдняго (1836) звучатъ отголоски политическихъ увлеченій Пушкина. Достаточно выяснено, что его политически-оппозиціонное настроеніе не было настроеніемъ «заговорщика» или

«героя»: оно было лишь выраженіемъ вполнѣ понятнаго и психологически - необходимаго для лучшихъ русскихъ людей, къ числу которыхъ принадлежалъ Пушкинъ, отвращенія отъ дикостей въ родѣ аракчеевщины, отъ гнета, исторически создавшагося у насъ, а также оно было выраженіемъ чаяній, безъ которыхъ цвѣтъ русской интеллигенціи не могъ и не можетъ обойтись. И все скрѣплялось цементомъ дружбы,—лирикою дружбы со многими дѣятелями революціоннаго движенія 20-хъ годовъ и лицами, къ нему такъ или иначе примыкавшими, не принадлежа къ самой организаціи тайнаго общества. Тутъ были Пущинъ, Рылѣевъ, А. А. Бестужевъ, Кюхельбекеръ, В. Ѳ. Раевскій, даже Пестель, съ которымъ Пушкинъ былъ знакомъ въ Кишеневѣ, а также не участвовавшія въ заговорѣ, но оппозиціонно-настроенныя лица (въ родѣ Онѣгина)—Александръ Раевскій (да и вся семья генерала Раевскаго, одного изъ героевъ 1812-го года). Если бы Пушкинъ не былъ водворенъ въ Михайловскомъ и могъ явиться къ 14-му декабря въ Петербургъ,—безъ всякаго сомнѣнья, онъ очутился бы на Сенатской площади — *просто* по настроенію, по дружбѣ, по живости темперамента, по присущему ему «рыцарскому» благородству характера, да еще, въ добавокъ—*по любопытству*.

Слѣдующая по времени «годовщина 19 октября» относится къ 1827 году. За эти два года (1825—1827) произошли крупныя событія: возстаніе 14-го декабря 1825 г., арестъ декабристовъ, судъ надъ ними, рѣзкая перемѣна въ общественномъ настроеніи. Въ личной жизни Пушкина также произошли важныя перемѣны: ему разрѣшили покинуть Михайловское и жить въ столицѣ; императоръ Николай Павловичъ обласкалъ опальнаго поэта и приблизилъ къ себѣ, и это возбудило у Пушкина надежды на возможность перемѣны къ лучшему во внутренней политикѣ; оппозиціонное настроеніе поэта быстро пошло на убыль; онъ не измѣнилъ свободолюбивымъ идеаламъ своей молодости,—отлетѣли только несбыточныя мечты, разсѣялись иллюзіи и потухъ революціонный жаръ, который у него лично былъ въ значительной степени заемнымъ и «фиктивнымъ». Это не мѣшало Пушкину свято хранить память сосланныхъ друзей: онъ не забылъ ихъ и въ очередной «годовщинѣ 19 октября»:

Богъ помочь вамъ, друзья мои,
И въ буряхъ, и въ житейскомъ горѣ,

Въ краю чужомъ, въ пустынномъ морѣ
И въ мрачныхъ пропастяхъ земли!

Позже онъ посылаетъ имъ въ Сибирь извѣстное стихотвореніе:

Во глубинѣ сибирскихъ рудъ
Храните гордое молчанье!
Не пропадетъ вашъ скорбный трудъ... и т. д.

Большою задушевностью запечатлѣны двѣ остальныя «годовщины» 19 октября (1831 и 1836 гг.): это—элегіи, проникнутыя лирикою воспоминаній—личныхъ и историческихъ, скорбью о понесенныхъ утратахъ (въ «годовщинѣ 19 октября 1831» поэтъ оплакиваетъ смерть Дельвига), грустью при взглядѣ назадъ, на прожитую жизнь, на ушедшую молодость:

Была пора: нашъ праздникъ молодой
Сіялъ, шумѣлъ и розами вѣнчался,
И съ пѣснями бокаловъ звонъ мѣшался,
И тѣсною сидѣли мы толпой.
Тогда, душой безпечные невѣжды,
Мы жили всѣ и легче и смѣлѣй;
Мы пили всѣ за здравіе надежды
И юности и всѣхъ ея затѣй.
Теперь не то: разгульный праздникъ нашъ,
Съ приходомъ лѣтъ, какъ мы, перебѣсился;
Онъ присмирѣлъ утихъ, остепенился;
Сталъ глуше звонъ его заздравныхъ чашъ;
Межъ нами рѣчь не такъ игриво льется;
Просторнѣе, грустнѣе мы сидимъ;
И рѣже смѣхъ средь пѣсенъ раздается;
И чаще мы вздыхаемъ и молчимъ... («19 окт. 1836»),

Эти строфы принадлежатъ къ числу лучшихъ созданій *натуральной лирики* Пушкина. Неподдѣльною грустью вѣетъ отъ этихъ простыхъ словъ, и глубоко проникаетъ въ сердце «выстраданный стихъ, пронзительно-унылый», когда вспомнимъ, что это стихотвореніе принадлежитъ къ числу послѣднихъ, прощальныхъ, предсмертныхъ стихотвореній Пушкина...

Къ отдѣлу *натуральной лирики* мы относимъ такія вещи, какъ «*Воспоминаніе*» («Когда для смертнаго умолкнетъ шумный день»..., 1828 г.), «*Не пой, красавица, при мнѣ ты пѣсенъ Грузіи печальной*»... 1828), *Предчувствіе* («Снова тучи надо мною»... 1828), «*Сожженное письмо*» (1825), «*Желаніе славы*» (1825), «*Безумныхъ лѣтъ угасшее веселье*»... (1830) и др.

На границѣ между натуральной и искусственной лирикою стоятъ: «*Я помню чудное мгновенье*» («Къ А. П. Кернъ», 1825), «*Я васъ любилъ*»... (1829), «*Для береговъ отчизны дальной*»... (1830) и нѣк. др.

Переходъ отъ *натуральной* лирики къ *искусственной* совершается незамѣтно. Стоитъ только поэту задержать лирическую эмоцію, натурально возникшую, и начать разрабатывать связанныя съ нею мысли и чувства, и вотъ уже появляются въ творческомъ процессѣ отдѣльныя черты, дальнѣйшее развитіе которыхъ можетъ превратить натуральную лирику въ искусственную.

Собственно говоря, всякое словесное выраженіе психологическаго лиризма, хотя бы самое наивное и совершенно-непроизвольное, уже заключаетъ въ себѣ нѣкоторую долю искусственности. Орудуя *словами*, мы по неволѣ вносимъ въ нашу лирическую эмоцію новые элементы, придаемъ ей то или иное направленіе, осмысливаемъ ее—значеніями и образами словъ. Процессъ осложняется. Отъ непроизвольной утилизаціи словъ до выбора между ними — одинъ шагъ. А разъ является выборъ,—съ тѣмъ вмѣстѣ вступаетъ въ свои права то, что мы называемъ «искусственностью» въ лирическомъ процессѣ.

Далѣе: слово можетъ подсказать какую-нибудь *идею*, и человѣкъ, заинтересовавшись ею, уже сознательно и намѣренно направитъ лирическую эмоцію въ опредѣленную сторону. Не слѣдуетъ думать, что лирическія эмоціи есть нѣчто независящее отъ воли человѣка: ихъ можно искусственно вызывать, усиливать, ослаблять, направлять, «обрабатывать»,— и существуетъ *техника* лирическаго творчества—въ словесной лирикѣ, въ музыкѣ, въ лирическихъ отдѣлахъ живописи. Различая понятія *натуральнаго* и *искусственнаго лиризма*, я имѣю въ виду лишь степень участія техники и сознательнаго вмѣшательства человѣка въ психологическій процессъ лирической эмоціи. Если роль техники не велика и если

субъектъ воздерживается отъ замѣтнаго вмѣшательства въ процессъ, то результатъ послѣдняго покажется намъ столь мало искусственнымъ, что мы можемъ—условно—назвать его «лирикою натуральною». Если будетъ наоборотъ, то въ результатѣ получится «лирика искусственная". И та, и другая можетъ быть продуктомъ, какъ низшаго, такъ и высшаго творчества.

«Натуральная лирика» болѣе или менѣе *приближается къ импровизаціи.* Искусственная лирика въ большей или меньшей мѣрѣ *удаляется отъ импровизаціи.* Этому вопросу мы посвятимъ нѣсколько посильныхъ соображеній въ дальнѣйшемъ, гдѣ будетъ рѣчь о томъ, какъ понималъ и изображалъ самъ Пушкинъ процессъ своего творчества.

Здѣсь же у насъ на очереди разсмотрѣніе образцовъ «искусственной лирики» Пушкина. Постараемся уяснить себѣ, какъ и благодаря чему натуральная лирика Пушкина превращалась въ искусственную. Какую роль играли здѣсь мастерство языка и техника стиха? Были ли въ лирическомъ укладѣ Пушкина особые элементы, способствовавшіе этому превращенію? Можетъ быть, въ складѣ его ума было нѣчто, особливо благопріятное созданію высокихъ произведеній искусственной лирики?

Какъ бы то ни было, но онъ ихъ создалъ,—и такія вещи, какъ, напр., «Пророкъ» и «Анчаръ», по праву, занимаютъ одно изъ первыхъ мѣстъ въ міровой лирической поэзіи.

IX.

Искусственная лирика Пушкина.

Прочтемъ сперва знаменитое стихотвореніе «*Пророкъ*»:

Духовной жаждою томимъ,
Въ пустынѣ мрачной я влачился,
И шестикрылый серафимъ
На перепутьи мнѣ явился.
Перстами легкими, какъ сонъ,
Моихъ зѣницъ коснулся онъ,—

Отверзлись вѣщія зѣницы,
Какъ у испуганной орлицы.
Моихъ ушей коснулся онъ,—
И ихъ наполнилъ шумъ и звонъ.
И внялъ я неба содроганье,
И горній ангеловъ полетъ,
И гадъ морскихъ подводный ходъ,
И дольней розы прозябанье.
И онъ къ устамъ моимъ приникъ,
И вырвалъ грѣшный мой языкъ,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змѣи
Въ уста замерзшія мои
Вложилъ десницею кровавой.
И онъ мнѣ грудь разсѣкъ мечемъ,
И сердце трепетное вынулъ,
И угль, пылающій огнемъ,
Во грудь отверстую водвинулъ.
Какъ трупъ, въ пустынѣ я лежалъ,
И Бога гласъ ко мнѣ воззвалъ:
Возстань, пророкъ, и виждь и внемли,
Исполнись волею Моей,
И, обходя моря и земли,
Глаголомъ жги сердца людей!

Объ этомъ перлѣ міровой лирики было писано много... Обиліе толкованій и ихъ разногласіе сами по себѣ уже свидѣтельствуютъ о томъ, что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ произведеніемъ искусственной, а не натуральной лирики, которая обычно не вызываетъ споровъ и противорѣчивыхъ объясненій. Но достаточно обратить вниманіе на техническое мастерство языка, чтобы убѣдиться въ принадлежности этого произведенія къ искусственной лирикѣ, очень далекой отъ *импровизаціоннаго* характера, какимъ обычно отличается лирика натуральная. Намѣренный подборъ архаизмовъ («*виждь*», «жало мудрыя змѣи»), выдержанный библейскій колоритъ и тонъ, изысканная сила и сжатость выраженія,—все это говоритъ намъ о кропотливой технической работѣ, которая, въ свою очередь, подчинялась чему-то другому, какому-то замыслу, какой-то идеѣ.

Исходнымъ пунктомъ замысла послужила VI-ая глава книги пророка Исаіи. Совершенно справедливо утверждаетъ проф. Н. Ѳ. Сумцовъ (которому принадлежитъ самый обстоятельный разборъ «Пророка») [1]), что «стихотвореніе нельзя назвать передѣлкою этой главы», и что «Пушкинъ не воспользовался всѣмъ содержаніемъ VI главы, взялъ только часть его и обработалъ его по своему». (*Изслѣдованія о Пушкинѣ*», стр. 8).

Библейскій разсказъ послужилъ Пушкину только импульсомъ къ самостоятельному творчеству. *И это творчество было лирическимъ, съ начала до конца.* Лиризмъ скрывался уже въ исходномъ пунктѣ, въ замыслѣ: образъ человѣка, томимаго духовною жаждою и, послѣ чудеснаго духовнаго перерожденія, превращающагося въ пророка, который призванъ «глаголомъ жечь сердца людей»,—этотъ образъ, при первомъ же появленіи въ сознаніи, не могъ не вызвать у Пушкина сильной лирической эмоціи. Ибо это образъ—*ритмическій*: ритмичность дана въ антитезѣ представленій о духовномъ существѣ будущаго пророка до перерожденія и представленій о его духовномъ существѣ послѣ перерожденія. Человѣкъ былъ духовно слѣпъ и глухъ, теперь онъ сталъ ясновидящимъ и чуткимъ; онъ былъ грѣшенъ и суетенъ, теперь онъ—идеалъ нравственной чистоты и носитель высокаго строя души, недоступнаго простымъ смертнымъ. Это—радикальное и всестороннее преобразованіе души, родъ психической революціи, послѣ которой человѣкъ становится неузнаваемымъ. Возможны ли такія чудесныя превращенія, это—другой вопросъ. Пушкинъ, повидимому, допускалъ ихъ возможность, исходя изъ наблюденій надъ противорѣчіями и двойственностью натуры человѣческой и замѣчая, какъ, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, дурныя и пошлыя стороны души вдругъ исчезаютъ или скрываются, и человѣкъ представляется намъ умственно и нравственно преображеннымъ, хотя бы лишь на время. Это выражено, между прочимъ, въ стихотвореніи «Поэтъ»: поэтъ въ обычное время такой же простой смертный, какъ и всѣ мы, и даже—

Среди дѣтей ничтожныхъ міра,
Быть можетъ, всѣхъ ничтожнѣй онъ...

[1]) „Изслѣдованія о Пушкинѣ“ въ „Харьк. Унив. сборникѣ въ память А. С. Пушкина“ (Харьковъ, 1900 г.).

Но лишь только «божественный глаголъ коснется его чуткаго слуха»,—его душа мгновенно преображается:

Душа поэта встрепенется,
Какъ пробудившійся орелъ...

То, что выражено въ стихотвореніи «Поэтъ», гдѣ дѣло идетъ лишь о вліяніи «поэтическаго вдохновенія» на душу человѣка, представляется частнымъ случаемъ въ отношеніи къ тому, что говоритъ намъ «Пророкъ» гдѣ представлено полное, всестороннее, радикальное перерожденіе человѣка, граничащее съ чудомъ,—и, повидимому, не временное, а уже—на всю жизнь. Мы скажемъ такъ: въ «Пророкѣ» объединены и обобщены всевозможные случаи временнаго и частичнаго перерожденія, или иначе: идея душевнаго переворота, послѣ котораго человѣкъ становится лучше, выше, чище, доведена въ «Пророкѣ» до крайняго предѣла, близкаго не то къ чуду, не то къ утопіи. Переводя этотъ ходъ мысли на языкъ терминовъ, относящихся къ лирикѣ, мы получаемъ слѣдующее:

Лирическія эмоціи, какія всегда возникали у Пушкина, когда его мысль останавливалась на вопросѣ о двойственности человѣческой натуры, о борьбѣ хорошихъ ея сторонъ съ дурными, о благотворномъ вліяніи «вдохновенія», мгновенно вырывающаго поэта изъ тины пошлости, о покаянномъ голосѣ совѣсти, способномъ превратить грѣшника въ святого, и т. д.,—*эти лирическія эмоціи теперь слились въ одну, необычайно сильную, граничащую съ «лирическимъ аффектомъ»*, стимуломъ которому послужило то, что Пушкинъ прочиталъ въ VI-ой главѣ книги пророка Исаіи. Мнѣ кажется, есть доля правды въ сообщеніи Смирновой.—что Пушкинъ говорилъ ей: «... я прочелъ отрывокъ, который перефразировалъ въ «Пророкѣ»; онъ меня внезапно поразилъ; *онъ меня преслѣдовалъ нѣсколько дней*, и разъ ночью я написалъ свое стихотвореніе; я всталъ, чтобы написать его; мнѣ кажется, что стихи эти я видѣлъ во снѣ... [1])—Это признаніе намекаетъ на что-то близкое къ поэтическому *аффекту*. Къ такой же душевной картинѣ приходимъ мы, отправляясь отъ самаго текста стихотворенія: эти изумительные стихи родились подъ воздѣйствіемъ не простой лирической эмоціи,—ихъ продиктовала исключи-

[1]) Записки Смирновой, т. 1, стр. 266—267.

тельно—сильная эмоція, близкая къ аффекту. Это не исключаетъ, разумѣется, послѣдующей кропотливой работы надъ ними. И не только не исключаетъ, но даже требуетъ ея. Безъ всякаго сомнѣнія, яркія и жгучія слова, брошенныя на бумагу въ состояніи «аффекта», были весьма далеки отъ того текста, который явился въ результатѣ вдумчивой и тщательной технической обработки. И кропотливость, скажемъ, мастерская виртуозность этой обработки находится въ прямомъ отношеніи къ силѣ аффекта: чѣмъ аффектъ сильнѣе, тѣмъ тщательнѣе должна быть отдѣлка произведенія. Безъ отдѣлки можетъ обойтись или ограничиться незначительной обработкой лишь та импровизація, которая была выраженіемъ «обыкновенныхъ», такъ сказать, «умѣренныхъ» лирическихъ эмоцій, далекихъ отъ степени аффекта. Необходимымъ условіемъ импровизаціи являются самообладаніе, контроль сознанія, неусыпное и сосредоточенное вниманіе къ процессу мысли-рѣчи. При аффектѣ все это невозможно.

Изъ предыдущихъ соображеній, между прочимъ, вытекаетъ мысль, что *однимъ изъ психологическихъ условій возникновенія искусственной лирики является замѣна, въ началѣ творческаго процесса, лирической эмоціи лирическимъ аффектомъ.*

Уже много разъ указывалъ я на то, что лирическія эмоціи—это нормальная принадлежность всякой души человѣческой, что всѣ мы переживаемъ лирическія движенія и настроенія. Оттуда, между прочимъ—общедоступность и популярность большинства продуктовъ лирическаго творчества. какъ въ поэзіи, такъ и въ музыкѣ. Вотъ именно о *лирическомъ аффектѣ и его продуктахъ этого сказать нельзя: лирическій аффектъ*—явленіе рѣдкое, свойственное исключительнымъ натурамъ,—лирикамъ по призванію, да и то, вѣроятно, не всѣмъ. Но тутъ необходима оговорка—во избѣжаніе недоразумѣнія, которое само собою напрашивается. Дѣло въ томъ, что всѣмъ намъ, простымъ смертнымъ, доступна одна изъ формъ лирическаго аффекта: это—тотъ аффектъ, который овладѣваетъ публикою, когда она бѣшено апплодируетъ артисту-лирику, кричитъ, бросаетъ цвѣты, платки и шляпы. Но не трудно видѣть, что это—вовсе не тотъ лирическій аффектъ, который разрѣшается лирическимъ творчествомъ: особенность этой формы въ томъ, что здѣсь лирическая эмо-

ція, дойдя до степени аффекта, переходитъ въ другой аффектъ—уже совсѣмъ не лирическій, въ аффектъ восторга, выражающійся нестройнымъ шумомъ, криками и т. д. Другое отличіе состоитъ въ томъ, что это—*аффектъ коллективный, аффектъ толпы*, а не индивидуальный, какимъ по существу дѣла является лирическій аффектъ поэта или музыканта, разрѣшающійся творческимъ актомъ, которымъ онъ и ликвидируется, не переходя ни въ какой другой аффектъ.

Этотъ творческій лирическій аффектъ представляетъ собою явленіе рѣдкое и исключительное—у самихъ же призванныхъ лириковъ. Въ огромномъ большинствѣ случаевъ они творятъ подъ ферулою лирическихъ эмоцій, не переходящихъ въ аффектъ. Мало того: лирическій аффектъ, какъ и всякій аффектъ (напр. гнѣва, страха, любви, горя и т. д.), отзывается чѣмъ-то болѣзненнымъ,—это—родъ припадка, и, съ этой стороны, онъ представляется условіемъ, не благопріятствующимъ творчеству, которое требуетъ, прежде всего, душевнаго спокойствія и свободы—отъ аффектовъ. Въ изступленномъ состояніи нельзя творить; но аффектъ, взбудораживая душу, можетъ иногда вырвать изъ ея глубины такіе мысли и звуки, какихъ она, при другомъ состояніи, не способна обрѣтать. Въ психологическомъ смыслѣ такое изступленное, взбудораженное состояніе души можно назвать, въ отличіе отъ ея натуральнаго состоянія,—«*искусственнымъ*»,—и творчество, являющееся его результатомъ, мы въ правѣ назвать также «*искусственнымъ*»,—во-первыхъ, въ томъ же психологическомъ смыслѣ, во-вторыхъ, и въ иномъ значеніи этого термина,—разумѣя ту *искусственную* (литературную, стихотворную, музыкальную и т. д.) обработку, которой, по необходимости, требуетъ замыселъ, рожденный при ненормальныхъ условіяхъ аффекта.

Закончу указаніемъ еще на одну сторону въ этомъ аффектированномъ творчествѣ, на мой взглядъ, очень важную и любопытную.

Лирическій—творческій—аффектъ есть явленіе не только рѣдкое и ненормальное, но и *глубоко-архаическое*. Наблюдая лирику въ ея различныхъ формахъ (лирическая поэзія, пѣсня, музыка, танцы), мы замѣчаемъ, что участіе аффекта растетъ въ направленіи къ прошлому и умаляется въ направленіи къ настоящему. Классическая и неклассическая древ-

ность представляла поэта-лирика въ видѣ какого-то иступленнаго, не владѣющаго собою, «одержимаго» высшею силою «чародѣя», откуда и миѳъ о «вдохновеніи». Первобытная лирика была хоровою пѣснью, сопровождавшеюся мимикою и танцами,—и, конечно, это была арена не «лирическихъ эмоцій», а «лирическихъ аффектовъ», чрезвычайно-острыхъ, доходившихъ до изступленія,—въ родѣ «радѣній» нашихъ хлыстовъ. И не трудно установить положеніе, что лирическія эмоціи, путемъ долгаго развитія, возникли изъ лирическихъ аффектовъ, а не наоборотъ. Эмоція есть перерожденный, ослабленный, обузданный аффектъ. То, что у цивилизованнаго человѣка проявляется, какъ эмоція, у дикаря выражается аффектомъ.

И вотъ, разъ мы признаемъ, что лирическій аффектъ есть явленіе отживающее, архаическое, пережитокъ старины, то вмѣстѣ съ тѣмъ объяснится и тенденція этого аффекта вызывать наружу тѣни прошлаго, идеи архаическаго характера, миѳы и фантастику пережитыхъ эпохъ.

Мы это и видимъ въ стихотвореніи «Пророкъ».

Искусственную лирику этого типа можно назвать «архаизирующею». У Пушкина, въ данномъ случаѣ, идея духовнаго перерожденія дана въ одной изъ ея архаическихъ, миѳообразныхъ формъ. Поэтъ создаетъ миѳъ, но только ни онъ самъ, ни мы уже не можемъ относиться къ этому миѳу съ тою непосредственностью и вѣрою, съ какою воспринимались миѳы древности. Образы, его выражающіе, превратились въ *символы*. «Пророкъ» Пушкина—одно изъ геніальнѣйшихъ твореній новой идейно-символической лирики.

Теперь обратимся къ стихотворенію «*Анчаръ*» (1828):

Въ пустынѣ чахлой и скупой,
На почвѣ, зноемъ раскаленной,
Анчаръ, какъ грозный часовой,
Стоитъ одинъ во всей вселенной.
Природа жаждущихъ степей
Его въ день гнѣва породила
И зелень мертвую вѣтвей,
И корни ядомъ напоила.
Ядъ каплетъ сквозь его кору,
Къ полудню растопясь отъ зною,

И застываетъ ввечеру
Густой, прозрачною смолою.
Къ нему и птица не летитъ,
И тигръ нейдетъ; лишь вихорь черный
На древо смерти набѣжитъ—
И мчится прочь, уже тлетворный.
И если туча оросить,
Блуждая, листъ его дремучій,
Съ его вѣтвей ужъ ядовитъ
Стекаетъ дождь въ песокъ горючій.
Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ,—
И тотъ послушно въ путь потекъ
И къ утру возвратился съ ядомъ.
Принесъ онъ смертную смолу,
Да вѣтвь съ увядшими листами—
И потъ по блѣдному челу
Струился хладными ручьями;
Принесъ—и ослабѣлъ, и легъ
Подъ сводомъ шалаша, на лыки,
И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки.
А царь тѣмъ ядомъ напиталъ
Свои послушливыя стрѣлы,
И съ ними гибель разослалъ
Къ сосѣдямъ въ чуждые предѣлы.

Случалось ли вамъ испытывать острую душевную боль при мысли о неисчислимыхъ жестокостяхъ, которыми переполнена многовѣковая исторія человѣчества? Знакомо ли вамъ скорбное раздумье объ ужасахъ деспотизма, рабовладѣльчества, рабства и всѣхъ видовъ гнета *человѣка надъ человѣкомъ?* Приходилъ ли вамъ въ голову недоумѣнный вопросъ о томъ, по какому праву *человѣкъ* можетъ послать *человѣка* на смерть? По какому «закону» *человѣкъ* становится рабскимъ орудіемъ для другого человѣка? И не овладѣвало ли вами «безкрылое желаніе»,—чтобы человѣкъ для человѣка пересталъ быть *средствомъ* и превратился въ *цѣль?* Не случалось ли вамъ также, размышляя въ этомъ направленіи, переходить отъ мысли о грубыхъ формахъ гнета, о физическомъ насиліи къ мысли объ

утонченныхъ формахъ—порабощенія души человѣка волѣ и прихоти другого человѣка,—о гнетѣ и рабствѣ въ семьѣ, въ школѣ, въ любви,—вообще въ междучеловѣческихъ отношеніяхъ?

Теперь представьте себѣ, что, переживъ эти острыя чувства нравственнаго возмущенія, негодованія и продумавъ эти скорбныя мысли о попраніи человѣческаго достоинства, вы поднялись на нѣкоторую высоту созерцанія, на которой данный порядокъ чувствъ и мыслей переходитъ изъ остраго состоянія въ хроническое, теряя остроту и жгучесть, но зато выигрывая въ глубинѣ и сдержанной силѣ. Это уже не эмоціи и аффекты моралиста, публициста, «трибуна», а спокойная и неизлѣчимая міровая скорбь мудреца, друга человѣчества. Вы скажете, пожалуй, что это вамъ, простому смертному, недоступно, что «покой» высшей человѣческой скорби есть привилегія такихъ исключительныхъ натуръ, какъ напр. Спиноза. Вы ошибаетесь: вы только не замѣтили—за недосугомъ—*такихъ минутъ*, вами пережитыхъ, вы въ разсѣяніи жизни забыли о нихъ. Если бы это—человѣческое, по преимуществу человѣческое—было чуждо намъ, мы не могли быть понять ни Спинозу, ни—стихотворенія Пушкина «Анчаръ».

Да и самъ Пушкинъ не былъ «мудрецомъ» и «созерцателемъ» въ родѣ Спинозы. Правда, онъ былъ великій поэтъ и геніальный человѣкъ, но, вѣдь, это еще не значитъ, чтобы была ему по плечу тяжелая ноша углубленной міровой скорби. Но онъ порою возвышался до нея.

И я скажу вамъ, что если ему былъ доступенъ такой душевный подъемъ, то этимъ онъ былъ обязанъ преимущественно *лирической силѣ* своей души. Если это такъ, то и мы можемъ рискнуть послѣдовать за нимъ на ту же высоту.

Картина порабощенія человѣка человѣкомъ и всѣхъ ужасовъ, съ нею связанныхъ, съ одной стороны, и идеалъ свободы и гуманности, провозглашающій, что человѣкъ человѣку—цѣль, а не средство,—съ другой—образуютъ сложную антитезу, въ которой гармонически ритмуютъ цѣлые ряды представленій, мыслей, чувствъ. Тутъ живой и неоскудѣвающій источникъ лирики—моральной, «гражданской», «философской», лирики различной окраски. Возможна напр. и такая форма:

Среди цвѣтущихъ нивъ и горъ
Другъ человѣчества печально замѣчаетъ

*

Вездѣ невѣжества губительный позоръ.
Не видя слезъ, не внемля стона,
На пагубу людей избранное судьбой
Здѣсь барство дикое, безъ чувства, безъ закона,
Присвоило себѣ насильственной лозой
И трудъ, и собственность, и время земледѣльца.
Склонясь на чуждый плугъ, покорствуя бичамъ,
Здѣсь рабство тощее влачится по браздамъ
Неумолимаго владѣльца... («Деревня», 1819).

Этотъ стихотворный протестъ противъ крѣпостного права принадлежитъ къ тому же порядку мыслей и чувствъ, который подводится подъ вышеуказанную антитезу. Стихотвореніе «Деревня» не блещетъ лиризмомъ и скорѣе сбивается на стихотворное упражненіе на публицистическую тему, но насъ интересуетъ здѣсь самое содержаніе идей и чувствъ. Еще больше интересуютъ насъ проскальзывающія здѣсь ноты неподдѣльной скорби, оскорбленной гуманности, негодованія,—а также—не лишенныя лирическаго оживленія заключительные стихи:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

Повторяю: разныя могутъ быть выраженія мыслей и чувствъ, подводимыхъ подъ антитезу, сжатою формулою которой является противупоставленіе *рабства свободѣ*, понимая подъ «рабствомъ» всѣ виды узаконеннаго и неузаконеннаго порабощенія *человѣка человѣку*, а подъ «свободою»—всѣ виды освобожденія личности, какъ внѣшняго, правового, такъ и внутренняго,—моральнаго и психическаго.

Въ стихотвореніи «Къ морю» (1824), гдѣ поэтъ отзывается на смерть Наполеона и Байрона, проскальзываетъ мотивъ «гражданской скорби», близкій къ мотиву «міровой»:

Міръ опустѣлъ... Теперь куда же
Меня бъ ты вынесъ, океанъ?
Судьба людей повсюду та же:
Гдѣ капля блага, тамъ на стражѣ
Иль самовластье, иль тиранъ...

Возможенъ также—въ томъ же порядкѣ гуманныхъ, освободительныхъ идей и чувствъ—и тотъ поворотъ въ сторону крайней горечи настроенія, близкаго къ аффекту, какой съ необычайной силой выраженія сказался въ зломъ стихотвореніи:

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды;
Рукою чистой и безвинной
Въ порабощенныя бразды
Бросалъ живительное сѣмя;
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды...
Паситесь, мирные народы,
Васъ не пробудитъ чести кличъ!
Къ чему стадамъ дары свободы?
Ихъ должно рѣзать или стричь;
Наслѣдство ихъ изъ рода въ роды
Ярмо съ гремушками да бичъ... (1823).

Можно идти очень далеко, отправляясь отъ чувства состраданія къ страдающему человѣчеству, и доходить до глубочайшаго возмущенія, даже до отвращенія,—и здѣсь неисчерпаемый источникъ лирическихъ эмоцій, способныхъ стать аффектами. Но есть и иной исходъ: подымаясь все выше и выше надъ юдолью человѣческой жизни и глубоко затаивая боль души, можно накопить огромный запасъ человѣческой скорби и развить великую силу лиризма, съ нею связаннаго. Въ немъ будутъ собраны отзвуки всѣхъ страданій человѣческихъ, — и въ такомъ обобщенномъ и сгущенномъ видѣ всечеловѣческая скорбь ищетъ исхода не въ бурныхъ аккордахъ лирики негодованія, не въ вопляхъ отчаянія, а въ спокойномъ, на видъ холодномъ выраженіи, близкомъ къ уравновѣшенному философскому созерцанію. Внѣшне спокойная и простая форма выраженія своимъ контрастомъ съ глубиною затаеннаго чувства развиваетъ лирическую эмоцію огромной силы. Но эту эмоцію нельзя ощутить непосредственно, какъ ощущаются эмоціи натуральнаго лиризма; до нея нужно подняться; для ея воспріятія требуется своего рода «тренировка» души, привычка къ горькому раздумью и къ «затаиванью», къ накопленію его результатовъ,—цѣлой гаммы глубокихъ человѣческихъ сочувствій

со всѣми сопутствующими имъ лирическими отголосками. Въ этомъ смыслѣ лирику человѣческой и міровой скорби я и называю «искусственною».

Таковъ и «Анчаръ» Пушкина.

Вчитайтесь въ эти простыя слова... Вникните въ спокойный тонъ пьесы... Вамъ, пожалуй, покажется, что это совсѣмъ не лирика. Но обратите вниманіе: слова не такъ просты, какъ кажутся,—они, въ своемъ родѣ, «изысканы»,—они найдены—какъ сжатое и точное выраженіе очень сложныхъ и многообразныхъ явленій, они обобщаютъ, они символизируютъ, и подъ ихъ внѣшнимъ спокойствіемъ что-то прячется, что-то чувствуется. Это прячется, но чувствуется всечеловѣческая скорбь, неисчерпаемая—какъ океанъ бѣдствій человѣческихъ.

Первые пять куплетовъ—точно параграфъ изъ баснословной средневѣковой ботаники—о деревѣ Antiaris или Upas, растущемъ на островѣ Явѣ. Но вчитайтесь въ это «описаніе»,—и вы отмѣтите его зловѣщій тонъ и его символическій характеръ. Образъ становится символомъ бездны зла — уже отнюдь не баснословнаго, но ужаснаго своею стихійностью, своею предопредѣленностью,—зла, отъ вѣка присущаго міру. А когда потомъ вы читаете:

Но человѣка человѣкъ
Послалъ къ Анчару властнымъ взглядомъ...,—

вы уже ясно чувствуете, какъ о твердыню суровыхъ словъ бьются волны скорби, готовой разразиться воплемъ, но какъ онѣ, укрощенныя желѣзною бронею стиха, возвращаются назадъ, въ глубину души, чтобы потомъ опять прихлынуть въ стихахъ:

И умеръ бѣдный рабъ у ногъ
Непобѣдимаго владыки,—

и опять отхлынуть въ глубь...

Отъ человѣческой скорби недалеко и до того пессимизма, который подводится подъ библейскую формулу: «суета суетъ и всяческая суета». Ощущеніе этого пессимизма и его лирики не было чуждо Пушкину, одному изъ самыхъ жизнерадостныхъ поэтовъ міра. И онъ нашелъ для него исчерпывающее лириче-

ское выраженіе въ стихотвореніи *„Три ключа“* (1827), которое Шопенгауэръ могъ бы взять эпиграфомъ къ своему творенію:

Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа:
Ключъ юности, ключъ быстрый и мятежный,
Кипитъ, бѣжитъ, сверкая и журча;
Кастальскій ключъ волною вдохновенья
Въ степи мірской изгнанниковъ поитъ;
Послѣдній ключъ, холодный ключъ забвенья,—
Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ...

И здѣсь—спокойствіе глубокаго чувства и его высокаго лиризма. Затаенная грусть слышится уже въ первомъ стихѣ, «пронзительно-уныломъ»,—въ этомъ образѣ «степи мірской, печальной и безбрежной»...

Вспомнимъ нашего Пушкина съ его живостью и жизненнымъ любопытствомъ ребенка, съ его «моцартовскою» непосредственностью, съ его радостью, что онъ существуетъ и смотритъ на божій міръ,—вспомнимъ этого человѣка,—и намъ представится воочію вопіющая несовмѣстимость пессимизма въ духѣ Шопенгауэра съ такою натурою. Уже это одно заставляетъ насъ усомниться въ принадлежности лирики стихотворенія «Три ключа» къ натуральному лиризму Пушкина. Но у нашего великаго поэта были огромныя силы искусственнаго лиризма, которыми онъ возвышался до всеобъемлющаго пониманія, до всемірныхъ сочувствій. Онъ постигалъ и возможность безотраднаго пессимизма. Оглядывая міръ и жизнь человѣческую съ огромной высоты поэтическихъ созерцаній, онъ отрѣшался отъ своей природной и непреодолимой жизнерадостности, и живо представлялъ себѣ, какъ, съ точки зрѣнія пессимическихъ идей и настроеній, этотъ богатый міръ, сверкающій всѣми красками жизни, звучащій всѣми ея голосами, превращается въ «мірскую степь, унылую и безбрежную»,—въ пустыню бытія, гдѣ всуе томятся люди, обольщаемые приманками жизни,—иллюзіями и обманчивыми миражами юности, волшебными обманами поэзіи, и обрѣтаютъ наконецъ подлинное утоленіе «жара сердца» только въ «холодномъ ключѣ забвенія», въ небытіи, въ Нирванѣ...

Пушкинъ умѣлъ понять *это*, для него, въ существѣ дѣла, «непонятное». На мигъ онъ могъ стать не только Спинозою, но и Шопенгауэромъ... Но обратите вниманіе, сколько скорби скрыто въ послѣднемъ стихѣ:

Онъ слаще всѣхъ жаръ сердца утолитъ...

Это—скорбь прирожденнаго оптимиста, возвысившагося до пессимистическихъ настроеній.

Въ заключеніе отмѣтимъ одну черту, играющую важную роль въ лиризмѣ всѣхъ трехъ пьесъ («Пророкъ», «Анчаръ», «Три ключа»). Это—лирика тѣхъ эмоцій, какія возникаютъ у насъ при созерцаніи унылыхъ и огромныхъ картинъ природы,—степи, выжженной солнцемъ, песковъ пустыни, теряющихся въ безконечной дали... Вспомнимъ:

1) Духовной жаждою томимъ,
Въ *пустынѣ мрачной* я влачился...
2) Въ *пустынѣ чахлой и скупой*,
На почвѣ, зноемъ раскаленной...
3) *Въ степи мірской, печальной и безбрежной*...

Это унылое зрѣлище въ высокой степени *лирично*, въ особенности когда оно становится символомъ—пустыни бытія, безбрежной степи юдоли человѣческой. Оттуда—высокій лиризмъ тѣхъ произведеній живописи, въ которыхъ дано зрѣлище степи, пустыни.

Съ этимъ унылымъ зрѣлищемъ, съ лиризмомъ его созерцанія гармонируетъ, по закону контраста, мотивъ «духовной жажды»,—представленіе о вѣчно-кипящей желаніями и стремленіями души человѣческой, - все равно, будетъ ли это «духовная жажда» пророка, который хотѣлъ бы «глаголомъ жечь сердца людей», или—неизсякаемая, неистребимая въ человѣчествѣ жажда свободы и человѣчности («Анчаръ»), или, наконецъ,—жажда жизни, ея радостей и обмановъ («Три ключа»).

И вотъ могучія волны лирическаго ритма: стихія, то мрачная и зловѣщая, то печальная и унылая,—стихія «равнодушная», безучастная, часто враждебная человѣку,—и человѣкъ, въ ней потерянный, удрученный всѣми скорбями бытія, всѣми ужасами безчеловѣчности, присущими стихіи и отъ нея унаслѣдованными самимъ человѣчествомъ...

Къ разсмотрѣннымъ произведеніямъ искусственной лирики Пушкина присоединимъ еще одно—«*Ангелъ*» (1827):

Въ дверяхъ эдема Ангелъ нѣжный
Главой поникшею сіялъ,
А демонъ мрачный и мятежный
Надъ адской бездною леталъ.
Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья
На духа чистаго взиралъ
И жаръ невольный умиленья
Впервые смутно познавалъ.
Прости, онъ рекъ, тебя я видѣлъ,
И ты недаромъ мнѣ сіялъ:
Не все я въ мірѣ ненавидѣлъ,
Не все я въ мірѣ презиралъ.

Здѣсь демонъ—не духъ зла, а духъ отрицанія и сомнѣнія,—символическій образъ, которымъ любили играть и Гете, и Байронъ, и Пушкинъ, и Лермонтовъ, и многіе другіе. По своему, онъ—другъ добра и правды, онъ—добрый геній человѣчества. Онъ ненавидитъ и призираетъ все, что подлежитъ ненависти и презрѣнію. Конечно, ненависть и презрѣніе—чувства не добрыя и опасныя: они могутъ завести далеко и превратиться въ пагубную привычку огуломъ отрицать все, чего человѣкъ не понимаетъ и не цѣнитъ; ихъ рискованно предоставлять самимъ себѣ,—они нуждаются въ высшемъ регуляторѣ, въ идеалѣ, который и направляетъ ихъ куда слѣдуетъ. Ангелъ символизируетъ этотъ высшій идеалъ или, по крайней мѣрѣ, указываетъ на то направленіе, въ которомъ слѣдуетъ искать его. Демонъ—не адептъ, не служитель этого идеала, но онъ, очарованный «сіяніемъ» ангела, инстинктивно останавливаетъ разрушительную силу своего отрицанія тамъ, гдѣ является ему это «сіяніе»—любви, кротости, всепрощенія. Изъ дружнаго и раціонально-направленнаго дѣйствія этихъ двухъ началъ, олицетворенныхъ—одно въ демонѣ, другое—въ ангелѣ, созидается благо и счастье человѣчества, вырабатываются высшія цѣнности всемірнаго, человѣческаго развитія...

Эти сложныя и искусственныя идеи новаго времени сочетались въ гармоническомъ ритмѣ и слились въ чудную мелодію, въ одну изъ тѣхъ «пѣсенъ райскихъ», которыя поды-

маютъ насъ на огромную высоту лирическихъ созерцаній. На этой высотѣ мы—уже не «смутно», а ясно—ощущаемъ чарующую прелесть «невольнаго умиленія» и познаемъ благую мощь того «сіянія» добра и любви, подъ воздѣйствіемъ котораго мы, ожесточенные злыми, хотя и справедливыми, чувствами, радостно признаемъ, что есть нѣчто, чего нельзя ненавидѣть и что не подлежитъ презрѣнію...

Четырьмя разсмотрѣнными стихотвореніями, конечно, не ограничивается «искусственная» лирика Пушкина. Мы остановились на нихъ, какъ на образцахъ, по которымъ мы могли выяснить предлагаемое понятіе «искусственности» въ лирикѣ, и которыя показываютъ намъ, какой широты поэтическихъ идей и какой глубины захвата достигалъ лирическій геній Пушкина. И между прочимъ мы видимъ здѣсь, что Пушкинъ, силою высшаго—«искусственнаго»—лирическаго творчества, создавалъ въ себѣ самомъ порядокъ чувствъ и идей, находившихся въ психологическомъ противорѣчіи съ укладомъ его ума и натуры и несогласующихся съ характеромъ натуральнаго лиризма его души. Сюда относится прежде всего пессимизмъ стихотворенія «Три ключа» и зловѣщая «жестокость» «Анчара». Да и идея «Пророка», поскольку она сводится къ страстному желанію «глаголомъ жечь сердца людей», именно «глаголомъ» *обличительной проповѣди*, представляется намъ, такъ сказать, не «натуральною», не «лично-пушкинскою» идеею: это—идея «байроновская», «лермонтовская», «некрасовская», но не «пушкинская». Можно только сказать, что въ 1826-мъ году, когда былъ написанъ «Пророкъ», Пушкинъ былъ подъ властью идеи «обличенія», ему страстно хотѣлось владѣть такимъ «глаголомъ», внушенію котораго подчинился бы самъ императоръ Николай Павловичъ. И, въ этомъ смыслѣ, «Пророкъ» представляется развитіемъ мотива, выраженнаго еще въ 1819 году:

Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?

(«Деревня»).

«Пророкомъ» Пушкинъ какъ бы признаетъ, что этого «грознаго дара» у него нѣтъ, но что онъ мучительно жаждетъ имѣть его,—и что къ этому-то по преимуществу и сводит-

лась—въ данный моментъ (1826)—«духовная жажда», которою онъ былъ «томимъ». Здѣсь у мѣста вспомнить апокрифическое четверостишье, которымъ будто бы оканчивался «Пророкъ»:

Возстань, пророкъ, пророкъ Россіи!
Позорной ризой облекись,
Иди и съ вервіемъ на выѣ
Къ царю россійскому явись!

Принадлежитъ ли это четверостишье Пушкину, или нѣтъ [1]),—оно удачно вскрываетъ то чувство и ту идею, подъ властью которыхъ Пушкинъ, послѣ суда надъ декабристами, написалъ «Пророка».

X.

Лирическое творчество Пушкина по его собственнымъ показаніямъ.

1.

Импровизація.

Вопросъ лирической импровизаціи, какъ и другіе вопросы поэтическаго творчества, очень занималъ Пушкина. Ему случалось не разъ импровизировать,—правда, большею частью, «легкіе», альбомные стихи, «мадригалы» и т. п. Но въ ряду его выдающихся произведеній, блещущихъ высокимъ лиризмомъ, найдется не мало вещей, первоначальный текстъ которыхъ былъ «импровизированъ»,—вылился сразу въ законченной ритмической формѣ, которая потомъ подвергалась только частичному улучшенію. Объ этомъ свидѣтельствуютъ

---

[1]) См. объ этомъ въ вышецитированномъ изслѣдованіи пр. Н. Ѳ. Сумцова.

извѣстныя мѣста въ «*Разговоръ поэта съ книгопродавцемъ*» (1824) и въ стихотвор. «*Осень*» (1830).

Въ «Разговорѣ» читаемъ:

Какой-то демонъ обладалъ
Моими играми, досугомъ;
За мной повсюду онъ леталъ,
Мнѣ звуки дивные шепталъ,
И тяжкимъ пламеннымъ недугомъ
Была полна моя глава;
Въ ней грезы чудныя рождались;
Въ размѣры стройныя стекались
Мои послушныя слова
И звонкой риѳмой замыкались...

Нельзя не видѣть здѣсь лирическаго воспроизведенія *лирическихъ* (а не иныхъ) *эмоцій*, какія переживалъ поэтъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь довольно ясно указано на *импровизаціонный характеръ* результата этихъ эмоцій,—ритма ихъ словеснаго выраженія, со всею его стройностью и даже риѳмою.

Въ стихотв. «Осень» Пушкинъ говоритъ еще опредѣленнѣе:

И мысли въ головѣ волнуются въ отвагѣ,
И риѳмы легкія навстрѣчу имъ бѣгутъ,
И пальцы просятся къ перу, перо—къ бумагѣ,
Минута, и стихи свободно потекутъ...

Объясненія *лирической импровизаціи* нужно искать въ псифизическомъ и психическомъ «механизмѣ» лирическихъ эмоцій.

Каждому изъ насъ извѣстно по личному опыту, что лирическое настроеніе, возникшее въ силу тѣхъ или иныхъ мыслей и чувствъ (чаще всего—не самихъ чувствъ, а ихъ представленій), стремится выразиться въ звукахъ голоса, и что эти звуки, подчиняясь психическому ритму настроенія, сами собою становятся ритмическими: мы въ этихъ случаяхъ инстинктивно напѣваемъ подходящій къ настроенію мотивъ, или невольно вспоминается намъ подходящее стихотвореніе, или, наконецъ, наша рѣчь получаетъ ритмическое строеніе, и

мы, такъ или иначе, «импровизируемъ»—хотя бы прозою; но эта проза въ такихъ случаяхъ всегда ритмична или, по крайней мѣрѣ, проявляетъ тенденцію къ обнаруженію своихъ ритмическихъ свойствъ. Лирики по дарованію и призванію отличаются отъ насъ тѣмъ, что 1) у нихъ лирическія настроенія возникаютъ гораздо чаще и отличаются несравненно большею силою, и 2) что этотъ психическій ритмъ съ исключительною настойчивостью ищетъ себѣ созвучнаго выраженія поэтическими средствами языка или средствами музыкальной гармоніи. Затѣмъ происходитъ слѣдующее: первый же «аккордъ»,—все равно, будетъ ли это ритмически-упорядоченная фраза въ прозѣ, будетъ ли это стихъ, или «музыкальная фраза», уже, такъ сказать, подливаетъ масла въ огонь,—усиливаетъ эмоцію, которая, не довольствуясь этимъ первымъ «аккордомъ», ищетъ второго и третьяго, созвучныхъ первому,—и каждый новый аккордъ усиливаетъ лирическую эмоцію, которая все ростетъ и ширится, создавая все новые «аккорды»,—пока ея энергія не изсякнетъ. Эти «аккорды» идутъ, какъ волны,—словно одинъ тянетъ за собою другой, и тутъ, между прочимъ, сказывается дѣйствіе подражательности: каждый новый аккордъ подражаетъ предыдущимъ, принимая ихъ ритмъ и темпъ. Всѣмъ намъ по опыту знакомы аналогичные факты, когда, напр., подъ воздѣйствіемъ какой-либо эмоціи (гнѣва, страха, радости, стыда и т. д.), мы произносимъ фразу, издаемъ восклицаніе, крикъ, вздохъ или дѣлаемъ тотъ или иной жестъ и, вслѣдъ затѣмъ, неудержимо, непроизвольно, стремимся повторять ихъ—пока эмоція не исчерпается, при чемъ всѣ эти фразы, крики, вздохи, жесты, различаясь только силою, уподобляются другъ другу по характеру, по типу, по темпу. Если записать тираду, произнесенную подъ вліяніемъ сильной эмоціи или аффекта, напр., гнѣва, то окажется, что вся она состоитъ изъ одинаковыхъ, по существу и по формѣ, фразъ, изъ которыхъ каждая построена по образцу предыдущей. «Отъ избытка сердца уста глаголятъ»—и глаголятъ «самоподражательно». Если этотъ «избытокъ» сердца есть избытокъ *лирическій*, то уста глаголятъ *ритмически*, отражая ритмическій строй «думъ и чувствъ».

Такъ вотъ, всѣ эти и подобныя явленія *эмоціональной рѣчи*, все равно, какова бы ни была проявившаяся въ ней

эмоція, объединяются подъ общимъ понятіемъ *«импровизаціи.*

Разгнѣванный начальникъ, распекающій подчиненнаго, въ этомъ смыслѣ «импровизируетъ» свою рѣчь. Жалобы и стоны человѣка, удрученнаго горемъ,—«импровизація». Изъявленіе радости, восторга и т. д.—«импровизація». Суровыя слова негодованія—«импровизація». Равнымъ образомъ, «импровизаціею» является и непроизвольное выраженіе въ словѣ, въ звукѣ и тѣхъ эмоцій, которыя мы называемъ «лирическими».

Еще отмѣтимъ слѣдующее. Подъ общее понятіе «импровизаціи» подводятся и тѣ случаи, когда самый текстъ рѣчи принадлежитъ не данному субъекту, который говоритъ отъ «избытка» эмоціи, а другому лицу: все равно, этотъ текстъ въ данную минуту явился непроизвольнымъ выраженіемъ эмоціи говорящаго. Положимъ, кто-нибудь, послѣ трагической смерти Пушкина, излилъ свою скорбь и свое негодованіе, не найдя сейчасъ своихъ словъ, стихами Лермонтова:

Погибъ поэтъ, невольникъ чести... и т. д.

Онъ въ психологическомъ смыслѣ «импровизировалъ» эти стихи Лермонтова, какъ импровизировалъ ихъ, но уже въ спеціальномъ, узкомъ смыслѣ,—самъ Лермонтовъ.

Актеръ, переживая на сценѣ фиктивныя эмоціи, въ психологическомъ смыслѣ «импровизируетъ» ихъ — словами текста пьесы.

Ораторъ или лекторъ, приготовившіе заранѣе текстъ рѣчи или лекціи, могутъ либо прочитать или воспроизвести наизусть этотъ текстъ, не внося сюда элемента импровизаціи, либо они могутъ внести сюда бо́льшую или меньшую долю импровизаціи; въ послѣднемъ случаѣ импровизація не значитъ непремѣнно отступленіе отъ заготовленнаго текста; все равно, будутъ ли сдѣланы отступленія или нѣтъ, импровизація явится результатомъ того, что говорящій пережилъ заново эмоціи, связанныя съ содержаніемъ рѣчи или лекціи, и произнесенный текстъ явился ихъ прямымъ выраженіемъ.

Обращаясь теперь къ интересующему насъ вопросу о лирической импровизаціи, укажемъ на то обстоятельство, что въ ея механизмѣ видную роль играетъ особый порядокъ эмоцій, которыя, въ отличіе отъ другихъ, назовемъ *«словес-*

ными», *«лингвистическими»*. Это — тѣ, которыя связаны съ самою функціей рѣчи. Вамъ случалось, конечно, не разъ испытывать пріятное волненіе, когда вамъ удавалось вдругъ найти точное и яркое выраженіе вашей мысли, когда невзначай подвернулось мѣткое слово. Иногда этого рода эмоціи выражаются весьма опредѣленно, — въ особенности у лицъ не «рѣчистыхъ». Когда обычно-молчаливый человѣкъ вдругъ разговорится,—онъ даже покраснѣетъ отъ волненія, — и это будетъ эмоція, порожденная не содержаніемъ рѣчи, а только тѣмъ фактомъ, что это содержаніе выразилось въ словѣ. Такія «словесныя эмоціи» возникаютъ, между прочимъ, тогда, когда, изучая иностранный языкъ, мы уже начинаемъ говорить на немъ, не подыскивая словъ, не безпокоясь о прегрѣшеніяхъ противъ грамматики. Это — эмоція своеобразной радости *„выраженія“*, — «возможности выраженія».

Такъ вотъ эти-то «словесныя эмоціи» играютъ видную роль, какъ вообще во всякомъ словесномъ творчествѣ, такъ въ особенности—въ лирическомъ. Въ этомъ послѣднемъ онѣ незамѣтно сливаются съ самой лирическою эмоціей, растворяясь въ ней, усиливая ее. Тутъ эмоціонально дѣйствуетъ не простой фактъ — обрѣтенія слова, но болѣе сложное явленіе — нахожденія и соблюденія ритма рѣчи — подборомъ словъ, которыя, выражая то, что нужно, въ то же время созидаютъ ритмическую ткань рѣчи и идутъ на усиленіе лирической эмоціи.

У лирическихъ поэтовъ, съ ихъ чуткостью къ ритму языка и умѣніемъ виртуозно владѣть имъ, «словесныя эмоціи» достигаютъ большой силы и нерѣдко являются отправнымъ пунктомъ всего процесса творчества. Случайно взятый ритмъ отрывочной фразы служитъ «каммертономъ» и уже настраиваетъ поэта на соотвѣтственный ладъ. Бываетъ часто такъ, что не размѣръ стиха подбирается къ уже намѣченному порядку «думъ и чувствъ», лирически настраивающихъ поэта, а подвернувшійся стихъ, случайно пришедшій въ голову, вызываетъ броженіе «чувствъ и думъ» и создаетъ лирическую эмоцію. Въ такомъ случаѣ, въ роли «импровизаціи» является не этотъ стихъ (онъ только—«каммертонъ»), а данный порядокъ «чувствъ и думъ»,—а уже вслѣдъ за ними и въ

процессѣ ихъ дальнѣйшаго лирическаго движенія будутъ импровизированы дальнѣйшіе стихи.

Отъ чего бы ни исходилъ импульсъ, — отъ блеснувшей мысли, впечатлѣнія, воспоминанія, или отъ ритмической фразы, стиха, своего или чужого, случайно пришедшаго въ голову, отъ музыкальнаго мотива и т. д.,—во всякомъ случаѣ въ лирическомъ процессѣ элементъ импровизаціи играетъ первостепенную роль, и весь процессъ творчества носитъ импровизаціонный характеръ. Поэтъ импровизируетъ самому себѣ, съ перомъ ли въ рукахъ или безъ него, — импровизируетъ и съ самаго начала и потомъ, когда обрабатываетъ стихотвореніе, ибо въ этой обработкѣ продолжаютъ участвовать лирическія эмоціи, находящія свое выраженіе въ обрѣтеніи новыхъ словъ, взамѣнъ зачеркнутыхъ прежнихъ. И, зачастую новое слово, проставленное сверху, надъ зачеркнутымъ, является болѣе непосредственнымъ, «импровизаціоннымъ» продуктомъ лирической эмоціи, чѣмъ то, которое устранено.

Въ отношеніи къ этой *импровизаціи* (въ обширномъ смыслѣ) *импровизація въ тѣсномъ смыслѣ* является частнымъ случаемъ.

Главная особенность *импровизатора въ тѣсномъ смыслѣ* сводится къ исключительно-быстрой и легкой возбудимости лирической эмоціи и къ умѣнію управлять ею. Такое умѣніе можно пріобрѣсти практикою, упражненіемъ. Равнымъ образомъ, поэту-импровизатору приходится отучаться отъ привычки творить за письменнымъ столомъ, съ перомъ въ рукахъ; ему нужно усвоить другую привычку—справляться съ ритмомъ языка и всѣми подробностями стихосложенія—«въ умѣ»,—какъ есть искусники, рѣшающіе «въ умѣ» сложныя математическія задачи.

Яркій примѣръ импровизаторскаго таланта, или, скажемъ лучше,—*искусства*, могъ быть извѣстенъ Пушкину. Этимъ талантомъ или искусствомъ въ высокой степени обладалъ *Мицкевичъ*. Извѣстны разсказы о его изумительныхъ, граничащихъ съ чудеснымъ, импровизаціяхъ, съ которыми онъ выступалъ въ обществѣ еще въ 20-хъ годахъ. Ему задавали тему. Онъ удалялся въ другую комнату, гдѣ оставался нѣсколько минутъ, погруженный въ глубокую, сосредоточенную думу. Настроившись такимъ образомъ, онъ выходилъ къ

собравшемуся обществу, блѣдный и трепещущій. И чудные стихи вылетали изъ устъ его. Онъ импровизировалъ большія вещи,—поэмы и трагедіи (изъ польской исторіи). Современники разсказываютъ, что это было какое-то очарованіе; поэтъ-импровизаторъ овладѣвалъ аудиторіей, какъ овладѣваютъ ею величайшіе музыканты-виртуозы. И все это богатство лирики, образовъ, красокъ, стиха, рождалось тутъ же, моментально: «въ размѣры стройные стекались» его «послушныя слова и звонкой риѳмой замыкались»...

Я не знаю, случалось ли Пушкину присутствовать на импровизаціяхъ Мицкевича; но едва-ли можно сомнѣваться въ томъ, что этотъ исключительный даръ польскаго поэта былъ извѣстенъ ему.

По личному опыту, Пушкинъ зналъ, какъ много импровизаціонныхъ элементовъ въ лирическомъ творчествѣ, — и въ вышеприведенныхъ мѣстахъ изъ «Разговора поэта съ книгопродавцемъ» и стихотворенія «Осень» онъ свое собственное творчество изображаетъ именно съ этой стороны — какъ импровизаціонное. Но ему казалось страннымъ, непостижимымъ,—какъ можетъ поэтъ говорить съ такою легкостью *на заданную тему* безъ предварительныхъ долгихъ размышленій, безъ подготовительной работы и — къ тому же—*на людяхъ*. Эта загадка, видимо, очень занимала Пушкина, и, наконецъ, въ 1835 году, онъ далъ ей художественную постановку—въ «Египетскихъ ночахъ».

Вспомнимъ сперва то мѣсто (въ гл. II), гдѣ *Чарскій* (онъ же самъ Пушкинъ), для предварительнаго испытанія, задаетъ тему заѣзжему импровизатору-итальянцу.

«Импровизаторъ взялъ со стѣны гитару и сталъ передъ Чарскимъ, перебирая струны костлявыми пальцами и ожидая его заказа. — «Вотъ вамъ тема», — сказалъ ему Чарскій: — *„поэтъ самъ избираетъ предметы для своихъ пѣсенъ; толпа не имѣетъ права управлять его вдохновеніемъ“*.— Глаза итальянца засверкали; онъ взялъ нѣсколько аккордовъ, гордо поднялъ голову, и пылкіе стихи—выраженіе мгновеннаго чувства — стройно излетали изъ устъ его... — Итальянецъ умолкъ... Чарскій молчалъ, изумленный и растроганный.— «Ну, что?» — спросилъ импровизаторъ. Чарскій схватилъ его руку и пожалъ ее крѣпко.— «Что?» — спросилъ импровизаторъ, — «каково?» — «Удивительно!» — отвѣчалъ поэтъ.—«Какъ!

чужая мысль чуть коснулась вашего слуха и уже стала вашей собственностью, какъ будто вы съ нею носились, лелѣяли, развивали ее безпрестанно. Итакъ, для васъ не существуетъ ни труда, ни охлажденія, *ни этого безпокойства, которое предшествуетъ вдохновенію?* [1]) Удивительно, удивительно!...» — Импровизаторъ отвѣчалъ: «Всякій талантъ неизъяснимъ. Какимъ образомъ ваятель въ кускѣ каррарскаго мрамора видитъ скрытаго Юпитера и выводитъ его на свѣтъ рѣзцомъ и молотомъ, раздробляя его оболочку? Почему мысль изъ головы поэта выходитъ уже вооруженная четырьмя риѳмами, размѣренная стройными, однообразными стопами? Никто, кромѣ самого импровизатора, не можетъ понять эту быстроту впечатлѣній, эту тѣсную связь между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждой внѣшней волею; тщетно я самъ хотѣлъ бы это объяснить»...

Центральнымъ вопросомъ является здѣсь вопросъ о «быстротѣ впечатлѣній» и о «тѣсной связи между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждой внѣшнею волею», какъ выражается итальянецъ.

Не трудно видѣть, что самому Пушкину, хотя онъ и не былъ импровизаторомъ въ тѣсномъ смыслѣ, подобно Мицкевичу, эти явленія были хорошо знакомы. Онъ неоднократно наблюдалъ въ себѣ самомъ то, что такъ поразило его въ импровизаціи итальянца. «Быстрота впечатлѣній», т. е., говоря иначе, *необычайная возбудимость творческой работы воображенія вообще и лирической эмоціи въ особенности*,—это коренная, бьющая въ глаза черта Пушкина, какъ поэта и лирика. Можно сказать смѣло: ничто не пропадало для него, на все отзывался онъ—то творческою мыслью, то лирическою эмоціею. Трудно найти поэта, болѣе отзывчиваго, чѣмъ Пушкинъ. И поразительна именно «быстрота его впечатлѣній», изумительна сила и легкость, съ какими возбуждались его лирическія эмоціи.— Другой сторонѣ дѣла, именно «тѣсной связи между собственнымъ вдохновеніемъ и чуждою внѣшней волею», Пушкину также не подобало бы удивляться. Эта «связь», лишь въ другихъ формахъ, была хорошо извѣстна ему, какъ извѣстна она всѣмъ поэтамъ и художникамъ. Весьма и весьма многія произведенія искусства, въ томъ числѣ и величайшія, исполня-

---

[1]) Курсивъ мой

лись и исполняются *по прямому заказу*, при чемъ обычно опредѣляется и *самая тема*. Такъ это въ архитектурѣ, въ скульптурѣ и въ живописи—сплошь и рядомъ; весьма часто видимъ это и въ музыкѣ. Вспомнимъ хотя-бы того же Моцарта, который говоритъ у Пушкина:

. . . . Кликнули меня,—
Я вышелъ. Человѣкъ, одѣтый въ черномъ,
Учтиво поклонившись, заказалъ
Мнѣ Requiem и скрылся. Сѣлъ я тотчасъ
И сталъ писать...

Передъ тѣмъ онъ «игралъ на полу съ своимъ мальчишкою»,—и, очевидно, мысли его были весьма далеки отъ темы Requiem'а... Тѣмъ не менѣе, заказъ полученъ, и композиторъ сейчасъ же, повинуясь «чуждой внѣшней волѣ», подчиняетъ ей «собственное вдохновеніе»...—«Толпа не имѣетъ права управлять вдохновеніями поэта» — и тѣмъ не менѣе «управляетъ» ими въ той или иной мѣрѣ, прямо или косвенно. Это положеніе станетъ очевиднымъ, если мы, вмѣсто выраженія «толпа», возьмемъ какое-нибудь другое, въ родѣ: «духъ времени», «очередныя задачи времени», «литературные вкусы публики», «требованія или внушенія господствующаго класса» и т. п.—выраженія, которыя, въ конечномъ счетѣ, подразумѣваютъ все ту же *толпу*, *публику*, *общественную среду*, являющуюся органомъ или представителемъ всѣхъ этихъ требованій, внушеній, очередныхъ идей, литературныхъ вкусовъ и запросовъ, которымъ такъ или иначе поэтъ удовлетворяетъ,—долженъ удовлетворять, если не желаетъ остаться безъ публики, безъ читателей и безъ гонорара. Въ психологическомъ смыслѣ, это—своего рода «*заказъ*». И есть длинный рядъ переходныхъ ступеней между такимъ—«психологическимъ»—«заказомъ» и заказомъ въ собственномъ смыслѣ, — все равно за плату или безъ нея. Одною изъ этихъ переходныхъ ступеней являются, напр., всѣ стихотворенія Пушкина, написанныя имъ ко дню годовщины Лицея («19 октября»).—Не буду входить въ разборъ вопроса, къ какой переходной ступени отъ «психологическаго заказа» къ прямому слѣдуетъ отнести такія вещи, какъ «Клеветникамъ Россіи» и «Бородинская годовщина»...

Протестъ Пушкина противъ «права толпы» или кого-

бы то ни было «управлять вдохновеніями поэта», выраженный въ стихотвореніяхъ «Поэтъ и Чернь» и «Поэту» (сонетъ), былъ, въ сущности, протестомъ противъ злоупотребленія этимъ «правомъ» и поэтическою защитою принципа свободы творчества.

Итакъ, Пушкину не слѣдовало бы удивляться тому факту, что между «собственными вдохновеніями поэта и чуждою внѣшнею волею» существуетъ какая-то «связь»; но эта связь казалась ему загадочною въ томъ ея рѣзкомъ и быстромъ проявленіи, которое наблюдается въ импровизаціяхъ по прямому заказу. Тутъ дѣло представлялось такъ, какъ будто заказчикъ и публика гипнотизируютъ импровизатора. Прочтемъ заключительныя строки третьей главы «Египетскихъ ночей», изображающія тайну мгновеннаго вдохновенія импровизатора. Тема выбрана («Клеопатра и ея любовники»), и Чарскій поясняетъ: «Тема предложена мною. Я имѣлъ въ виду показаніе Аврелія Виктора, который пишетъ, будто бы Клеопатра назначила смерть цѣною своей любви, и что нашлись обожатели, которыхъ такое условіе не испугало и не отвратило... Мнѣ кажется, однако, что предметъ немного затруднителенъ... Не выберете ли вы другого?..»—Но уже импровизаторъ чувствовалъ приближеніе бога... Онъ далъ знакъ музыкантамъ играть. *Лицо его страшно поблѣднѣло*; *онъ затрепеталъ, какъ въ лихорадкѣ*; *глаза его засверкали чуднымъ огнемъ* [1]); онъ приподнялъ рукою черные свои волосы, *отеръ платкомъ высокое чело, покрытое каплями пота...* [1]) и вдругъ шагнулъ впередъ, сложилъ крестомъ руки на грудь... музыканты умолкли... импровизація началась...

Мы знаемъ эту чудную импровизацію:

Чертогъ сіялъ. Гремѣли хоромъ и т. д.

Конечный выводъ, который навязывается намъ по прочтеніи этихъ отрывковъ, сводится къ тому, что, очевидно, «*богу*» *лирическаго вдохновенія* безразлично,—выбралъ ли поэтъ тему самъ, по собственному вкусу, или она была дана ему «чуждою внѣшнею волею»: какъ въ томъ, такъ и въ другомъ случаѣ поэтъ-лирикъ творитъ «*по вдохновенію*», т. е. *подъ властью лирическихъ эмоцій*. Кромѣ того, напрашивается и

---

[1]) Курсивъ мой.

другое соображеніе: повидимому, второй случай, т. е. когда тема или идея дана извнѣ, когда поэтъ стоитъ лицомъ къ лицу (въ буквальномъ, а равно и въ переносномъ смыслѣ) съ публикою, напряженно ждущею плодовъ его вдохновенія,— особливо-благопріятенъ для этого послѣдняго. Поэтъ скорѣе и сильнѣе «вдохновляется», когда онъ чувствуетъ свою связь съ публикою, съ «толпою», средою. Всего скорѣе и сильнѣе является «вдохновеніе» именно у импровизаторовъ, выступающихъ предъ публикою, сочувственное настроеніе которой передается имъ въ формѣ нервнаго возбужденія, очевидно, благопріятствующаго появленію и проявленію лирической эмоціи. Конечно, итальянецъ, съ одинаковымъ успѣхомъ импровизирующій, какъ передъ публикою, такъ и передъ единственнымъ слушателемъ—Чарскимъ, могъ бы импровизировать и наединѣ для собственнаго удовольствія; но тѣмъ не менѣе мы чувствуемъ, что наличность публики гарантируетъ ему удачу «вдохновенія», что, въ самомъ дѣлѣ, есть какое-то «таинственное» воздѣйствіе, исходящее отъ «толпы» на поэта и потомъ, въ иномъ, преображенномъ видѣ, возвращающееся отъ поэта къ толпѣ.

Ключи этой загадкѣ нужно искать *въ археологіи лиризма*. Я уже упоминалъ о томъ, что на раннихъ ступеняхъ развитія лиризмъ былъ групповымъ, коллективнымъ, а не индивидуальнымъ: лирическія эмоціи, при томъ столь сильныя, что мы, не колеблясь, можемъ назвать ихъ *аффектами*, были достояніемъ не личности, а массы, толпы—поющей, жестикулирующей и танцующей. Изъ этого «хора» личность, переживающая свою—индивидуальную—лирическую эмоцію, выдѣлялась постепенно, вѣками; въ теченіе долгаго времени роль отдѣльнаго лица была лишь ролью «запѣвалы»; отдѣльный голосъ выдѣлялся на мигъ, чтобы сейчасъ же потонуть въ хорѣ. Наши хороводныя пѣсни съ запѣвалой, поющимъ лишь первые стихи, являются позднимъ, архаизирующимъ, пережиткомъ отдаленной старины, свидѣтельствуя о живучести коллективнаго лиризма. Но этотъ послѣдній даетъ себя чувствовать и въ другихъ формахъ, не столь архаическихъ,—въ формахъ перерожденныхъ, въ ряду которыхъ насъ интересуютъ здѣсь двѣ: 1) *участіе наличной публики въ лирическомъ „вдохновеніи“ импровизатора* и 2) *значеніе читающей публики для лирическаго поэта*.

Первобытный коллективный лиризмъ («хоръ») развивался

въ двухъ противоположныхъ направленіяхъ: 1) въ направленіи усовершенствованія ритмическихъ силъ лирики и слѣдов. прогрессивной эволюціи самихъ лирическихъ эмоцій,—и эту нить мы можемъ прослѣдить отъ древнѣйшихъ, доступныхъ изученію, формъ хоровой пѣсни до современныхъ хоровыхъ партій въ операхъ и симфонической музыкѣ; 2) въ направленіи *убыли активности «хора»*; его «партіи» все сокращались,—между тѣмъ какъ «партія» солиста, прежняго «запѣвалы», увеличивалась,—хоръ шелъ на убыль, ограничиваясь, напр., подхватываніемъ и повтореніемъ послѣдняго куплета пѣсни или ея послѣдняго стиха; онъ шелъ на убыль также и въ томъ смыслѣ, что превращался въ аккомпаниментъ индивидуальной пѣсни; наконецъ, онъ совсѣмъ умолкалъ. *Умолкнувшій хоръ—это и есть публика.*

Въ психическомъ мірѣ ничто не пропадаетъ безслѣдно, не исчезаетъ безъ остатка. Мы наблюдаемъ здѣсь лишь переходъ изъ одной формы въ другую, прогрессъ и регрессъ, превращеніе активнаго въ пассивное, дѣйствующихъ величинъ въ потенціальныя и обратно. Психологическія отношенія хора къ выдѣлившемуся изъ него пѣвцу въ измѣненномъ видѣ сохранились въ тѣхъ «таинственныхъ» связяхъ, которыхъ наличность еще чувствуется во вліяніи аудиторіи на лирика-импровизатора (а равно и пѣвца, декламатора и т. д.) и также, но съ меньшею ясностью, въ значеніи читающей публики для лирическаго поэта.

Публика уже однимъ фактомъ своего присутствія и своего настороженнаго вниманія настраиваетъ импровизатора, какъ нѣкогда пѣвецъ, предшественникъ поэта, настраивался лирически подъ вліяніемъ хора, откуда онъ выдѣлился. Лирическія эмоціи этого пѣвца были коллективнаго происхожденія и отпечатокъ коллективности ясно сказывался въ теченіе долгихъ вѣковъ въ томъ фактѣ, что пѣвцы и поэты древности пѣли, декламировали и импровизировали не въ уединеніи, не въ тиши кабинета, а всегда на людяхъ, передъ слушателями, передъ толпою, войскомъ и т. д. Среда, «публика» давала имъ готовыя темы: они пѣли или слагали стихи лишь о томъ, что интересовало эту публику. Чѣмъ дальше въ глубь древности, тѣмъ «публика» все больше уподобляется «хору». Согласіе мыслей, чувствъ, настроеній древняго пѣвца или поэта съ мыслями, чувствами и настроеніями «публики» было прямымъ

наслѣдіемъ былого сліянія отдѣльныхъ голосовъ въ хорѣ, поглощенія пѣвца хоромъ и поэтому-то и являлось необходимымъ условіемъ для самой возможности «вдохновенія», т. е. возникновенія у пѣвца и поэта ихъ лирическихъ эмоцій. И тутъ мы легко различаемъ прогрессивную градацію: 1) пѣвецъ или поэтъ нуждается въ присутствіи публики, онъ можетъ творить только на людяхъ, и 2) онъ уже настолько сталъ личностью, что можетъ «вдохновляться» и въ одиночествѣ и самъ выбираетъ свои сюжеты, но ему все-таки необходимо мыслить и чувствовать ту среду, для которой онъ творитъ, и согласовать свое «вдохновеніе» съ ея «волею», которая для него вовсе не является «чуждою» и «внѣшнею». Онъ самъ—частица этой среды или, по крайней мѣрѣ, стоитъ близко къ ней, раздѣляя ея понятія и идеалы.

Оттуда, между прочимъ, и тотъ характеръ шаблонности и пошлости, который присущъ лирикѣ всѣхъ временъ въ большей мѣрѣ, чѣмъ другимъ видамъ творчества. Нигдѣ нѣтъ столько банальнаго, заѣзженнаго, заиграннаго, какъ именно въ лирикѣ, которую, съ этой точки зрѣнія, я назвалъ (въ другомъ мѣстѣ) вѣчною шарманкою человѣчества, съ удручающею монотонностью наигрывающею все тѣ же, до тошноты пріѣвшіеся мотивы. Въ лирикѣ быть оригинальнымъ гораздо труднѣе, чѣмъ въ другихъ областяхъ творчества: для этого нуженъ геній или, по крайней мѣрѣ, исключительно сильный лирическій талантъ.

Еще одно замѣчаніе. Въ другихъ областяхъ творчества подражаніе, искусно сдѣланное, все-таки называется подражаніемъ, плагіатъ—плагіатомъ,—и только въ лирикѣ «перепѣвы», которымъ нѣтъ числа и не предвидится конца, сходятъ за «самостоятельное творчество»,—да и въ самомъ дѣлѣ могутъ претендовать на таковое, разъ поэтъ пережилъ *свою* лирическую эмоцію и выразилъ ее *своими* стихами, съ *своей* риѳмой, не переписанными буквально изъ книги другого поэта. Не велика цѣнность такого «творчества», но для изслѣдователя оно представляетъ немалый интересъ—какъ своеобразный пережитокъ архаической—*хоровой*—лирики.

Лирика, какъ творчество *эмоціональное*, имѣетъ свои «законы» и свою «этику», и для нея не указъ—«законы» и «этика» другихъ видовъ творчества.

Изъ этихъ указаній на пережитки и слѣды коллективнаго характера лирики вытекаетъ роковая дилемма для лириковъ

новаго времени: чѣмъ ближе стоитъ поэтъ-лирикъ къ своей средѣ, къ публикѣ—по понятіямъ, идеаламъ, уровню умственнаго и нравственнаго развитія,—тѣмъ для него, съ одной стороны, лучше, а съ другой—хуже.

Ему это лучше—въ смыслѣ общенія съ «хоромъ» идей, чувствъ, настроеній, составляющихъ содержаніе психической жизни данной среды въ данное время, ибо отъ этого общенія исходятъ импульсы, легко возбуждающіе лирическія эмоціи поэта: онъ скорѣе и лучше «вдохновляется». Когда эта близость становится «физическою», т. е. поэтъ видитъ предъ собою публику, ему сочувствующую, тогда его лирическія эмоціи возбуждаются съ исключительною силою,—и онъ можетъ стать импровизаторомъ. Такой случай и показанъ въ «Египетскихъ ночахъ».

Здѣсь возможно недоразумѣніе,—но его нетрудно устранить. Скажутъ: импровизаторъ—заѣзжій итальянецъ, а общество, собравшееся его послушать, — русское, петербургское. Что между ними общаго?

Но обратимъ вниманіе: это общество изображено — какъ пошлое, и такъ же представленъ итальянецъ. Это—«заѣзжій фигляръ», невысоко плавающій, хотя и доступный «вдохновенію»; а, кромѣ того, мы имѣемъ здѣсь дѣло съ великосвѣтскою средою того времени,—съ людьми, съ дѣтства воспитанными на иностранныхъ языкахъ и литературахъ; для этой публики французскій романъ былъ болѣе «своимъ», «національнымъ», чѣмъ поэма Пушкина, и импровизаціи итальянца были доступнѣе ей, чѣмъ стихи Пушкина, которыхъ она не понимала.

Психологическая близость итальянца къ его великосвѣтской петербургской аудиторіи несомнѣнна.

Противоположная, *неблагопріятная* для поэта-лирика, сторона разсматриваемаго явленія, т. е. болѣе или менѣе тѣснаго психологическаго сближенія поэта-лирика съ его средою, его публикою, состоитъ въ томъ, что на почвѣ этого сближенія легко возникаютъ вліянія, ограничивающія свободу творчества и препятствующія поэту подняться выше среды. Вольно или невольно поэтъ будетъ подчиняться вкусамъ публики,—и это не замедлитъ наложить на его творчество нѣкоторую печать пошлости. И если дѣло зайдетъ въ этомъ направленіи слишкомъ далеко, то поэту грозитъ участь, ко-

торой такъ боялся Пушкинъ, — уподобиться «заѣзжему фигляру», «поющему» по требованію публики и заранѣе отказавшемуся отъ своихъ правъ на свободу «вдохновенія».

Но отказаться отъ свободы „вдохновенія“ не значитъ отказаться отъ „вдохновеній“ вообще. Это только—отреченіе отъ *индивидуальности* въ творчествѣ,—предпочтеніе *„хорового начала“* въ лирикѣ *началу личному*,—и, несомнѣнно, это—*регрессъ и рецидивъ, противорѣчащіе общей тенденціи всякаго творчества къ индивидуализаціи.*

Въ лирикѣ въ противуположность тому, что мы наблюдаемъ въ другихъ видахъ творчества (въ наукѣ, философіи, техникѣ, во всѣхъ областяхъ образнаго творчества), процессъ индивидуализаціи сильно запоздалъ. Онъ сталъ обнаруживаться съ нѣкоторою опредѣленностью лишь въ эпоху Возрожденія, и только съ XVII и XVIII вѣковъ мы знаемъ строго-индивидуальное лирическое творчество (въ музыкѣ и поэзіи), сбрасывающее съ себя путы „хорового начала“, созидающее новыя, дотолѣ невѣдомыя, формы лиризма,—часто вопреки вкусамъ и привычкамъ общества, публики.

Успѣхи индивидуализма въ этой области, гдѣ труднѣе, чѣмъ гдѣ-либо, быть оригинальнымъ и выступать съ *„новыми* и *своими* словами“, не могли не повліять на *лирическое самосознаніе* самихъ творцовъ лиризма, и мы видимъ, какъ они стараются уяснить себѣ и урегулировать свои отношенія къ обществу, къ средѣ, къ публикѣ, какъ они отстаиваютъ свое право на полную свободу творчества, наконецъ какъ въ этомъ направленіи они идутъ дальше, чѣмъ слѣдуетъ, становясь необыкновенно подозрительными при малѣйшемъ поползновеніи со стороны публики—предъявить имъ свои, хотя бы и очень умѣренныя и вполнѣ законныя требованія. Оттуда эти ноты презрѣнія къ „толпѣ“, эти претензіи на высокій титулъ „поэта милостью Божьею“, какъ выражался Гейне,—титулъ, вовсе не оправдываемый ни психологіею, ни исторіею лирическаго творчества.

Извѣстно, до какой степени былъ ревнивъ Пушкинъ къ своимъ правамъ на свободу творчества. Самое яркое и крайнее выраженіе этой излишней ревности онъ далъ въ пресловутомъ стихотвореніи „Чернь“ (1828), гдѣ „чернь“ совершенно-резонно говоритъ поэту:

Нѣтъ, если ты небесъ избранникъ,
Свой даръ, божественный посланникъ,
Во благо намъ употребляй:
Сердца собратьевъ исправляй и т. д.

А поэтъ грубо и неблагодарно отвѣчаетъ:

Подите прочь!..

Но повторяю, подъ такими крайностями, подъ такимъ жесткимъ выраженіемъ отпора притязаніямъ „толпы", скрывается вполнѣ законное и въ высокой степени благотворное стремленіе къ отстаиванію правъ и преимуществъ *индивидуальнаго творчества.* Это—одно изъ отраженій въ сознаніи поэта тѣхъ противорѣчій, которыя вытекаютъ изъ самого существа лиризма, гдѣ „хоровое начало" неистребимо и только переходитъ изъ одной формы въ другую, отъ полнаго господства къ относительному или ограниченному вліянію на личность и творчество поэта.

Эти соображенія приводятъ насъ къ выводу, что съ успѣхами индивидуализма въ лирическомъ творчествѣ способность къ импровизаціи въ тѣсномъ смыслѣ должна итти на убыль: случаи болѣе или менѣе полнаго единенія поэта съ публикою становятся все рѣже. Поэтъ слишкомъ индивидуаленъ, да и публика уже слагается изъ весьма разнородныхъ элементовъ. При такихъ условіяхъ лишь въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ установиться та могущественная связь поэта съ его аудиторіей, которая способна превратить его въ импровизатора. Къ числу такихъ рѣдкихъ случаевъ принадлежали импровизаціи Мицкевича: великій поэтъ, одинъ изъ величайшихъ творцовъ индивидуальнаго лиризма, сближался идейно и морально съ избранною польскою публикою, раздѣлялъ ея національныя, религіозныя, политическія тенденціи,—и темы, какія ему задавали, вполнѣ подходили къ его личному настроенію и отвѣчали его симпатіямъ. Онъ имѣлъ возможность, рѣдкую для другихъ поэтовъ, упражнять импровизаторскую способность, и отъ импровизаціи въ обширномъ смыслѣ, присущей лирическому творчеству, переходить къ настоящей, къ импровизаціи въ тѣсномъ смыслѣ,—на людяхъ.

Это, стало быть, одно изъ тѣхъ „исключеній", которыми только подтверждается „правило". А это „правило" гласитъ,

что импровизація въ тѣсномъ смыслѣ, являясь однимъ изъ пережитковъ былого господства „хорового начала“ въ лирикѣ, идетъ на убыль, уступая мѣсто иному укладу лирическаго творчества,—укладу индивидуалистическому, въ силу котораго не только фактическое присутствіе публики, но даже мысль о томъ, что она существуетъ, дѣйствуетъ на поэта удручающимъ образомъ; поэтъ вдохновляется наединѣ, вдали отъ общества; онъ даже склоненъ бѣжать, въ минуту „вдохновенія“,

На берега пустынныхъ волнъ,
Въ широкошумныя дубровы...

Чаще всего, разумѣется, онъ просто сидитъ въ своемъ кабинетѣ, за письменнымъ столомъ, съ перомъ въ рукѣ,—и это уединеніе не менѣе дѣйствительно, чѣмъ бѣгство „на берега пустынныхъ волнъ“ и т. д. Суть дѣла въ томъ, чтобы сосредоточиться въ себѣ, замкнуться въ своемъ индивидуальномъ внутреннемъ мірѣ, изъять себя изъ сферы общественно-психологическихъ связей и отношеній, освободиться отъ гнета заботъ, тревогъ, обязательствъ и всѣхъ мелочей, связанныхъ съ жизнью въ обществѣ. Вспомнимъ:

. . . . . въ камелькѣ забытомъ
Огонь опять горитъ; то яркій свѣтъ ліетъ,
То тлѣетъ медленно; а я надъ нимъ читаю,
Иль думы долгія въ душѣ моей питаю.
И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
И пробуждается поэзія во мнѣ,
Душа стѣсняется лирическимъ волненьемъ,
Трепещетъ, и звучитъ, и ищетъ, какъ во снѣ,
Излиться наконецъ свободнымъ проявленьемъ...

Это „свободное проявленіе“ и будетъ тою „лирическою импровизаціею“ съ перомъ въ рукѣ, о которой мы говорили выше. Въ приведенныхъ стихахъ съ изумительною точностью изображена психологія индивидуалистическаго творчества вообще, творчества индивидуальныхъ, отрѣшенныхъ отъ „міра“ лирическихъ эмоцій въ частности.

И эта картина сразу переноситъ насъ на высшую сту-

пень, какой достигло лирическое творчество въ своемъ долгомъ прогрессивномъ развитіи—отъ пѣвца и поэта, вдохновлявшихся только на людяхъ, передъ толпою, до современнаго поэта-лирика, черпающаго вдохновеніе въ глубинѣ своей души при непремѣнномъ условіи уединенія, психологическаго отрѣшенія отъ міра, хотя бы только частичнаго и кратковременнаго. Прогрессивная эволюція приводитъ здѣсь, какъ и въ другихъ областяхъ, къ *радикальному* преобразованію явленія, доводя его до полной противуположности тому, чѣмъ оно было въ началѣ, въ исходномъ пунктѣ развитія. Но какъ всегда бываетъ, это радикальное преобразованіе не чуждо пережитковъ прошлаго и разнаго рода компромиссовъ. Великій поэтъ новаго времени, какъ бы онъ ни назывался: Гете, Шиллеръ, Байронъ, Мицкевичъ, Пушкинъ, Гейне, достигнувъ высшей ступени лирическаго творчества, именно творчества „уединеннаго", отрѣшеннаго отъ міра, строго-индивидуалистическаго, однако, нѣтъ—нѣтъ, да и обнаружитъ свою связь съ этимъ міромъ и невольное подчиненіе внушеніямъ, отъ него исходящимъ. То онъ вдругъ явитъ изумительный примѣръ рецидивизма въ лирическомъ творчествѣ, обнаруживъ рѣдкій даръ импровизотора, какъ обнаружилъ это Мицкевичъ; то онъ, мнившій себя отрѣшеннымъ отъ міра, вдругъ окажется адептомъ, если не рабомъ, очень „мірскихъ" предразсудковъ и даже внесетъ эти предразсудки въ репертуаръ своего творчества, или, по крайней мѣрѣ, такъ или иначе они свяжутся съ этимъ послѣднимъ. Это мы видимъ у Пушкина,—и онъ самъ исповѣдался въ этомъ на любопытныхъ страницахъ „Египетскихъ ночей" и отрывка „несмотря на великія преимущества"... Въ „Египетскихъ ночахъ" онъ вывелъ себя самого въ лицѣ *Чарскаго*, въ отрывкѣ онъ подразумѣваетъ себя подъ своимъ „пріятелемъ". Присмотримся ближе къ этой исповѣди великаго поэта.

2.

Чарскій—Пушкинъ.

Прочтемъ: «Чарскій употреблялъ всѣ старанія, чтобы сгладить съ себя... несносное прозвище»—стихотворца, поэта.

Онъ избѣгалъ общества своей братьи—литераторовъ и предпочиталъ имъ свѣтскихъ людей, даже самыхъ пустыхъ; но это не помогало ему. Разговоръ его былъ самый пошлый и никогда не касался литературы. Въ своей одеждѣ онъ всегда наблюдалъ самую послѣднюю моду съ робостью и суевѣріемъ молодого москвича, въ первый разъ отъ роду пріѣхавшаго въ Петербургъ. Въ кабинетѣ его, убранномъ, какъ дамская спальня, ничто не напоминало писателя: книги не валялись по столамъ и подъ столами; диванъ не былъ обрызганъ чернилами; не было того безпорядка, который обличаетъ присутствіе музы и отсутствіе метлы и щетки. Чарскій былъ въ отчаяніи, если кто-нибудь изъ свѣтскихъ его друзей заставалъ его съ перомъ въ рукахъ. Трудно повѣрить, до какихъ мелочей могъ доходить человѣкъ, одаренный, впрочемъ, талантомъ и душою. Онъ прикидывался то страстнымъ охотникомъ до лошадей, то отчаянымъ игрокомъ, то самымъ тонкимъ гастрономомъ, хотя никакъ не могъ различить горской породы отъ арабской, никогда не помнилъ козырей и втайнѣ предпочиталъ печеный картофель всевозможнымъ изобрѣтеніямъ французской кухни. Онъ велъ жизнь самую разсѣянную: торчалъ на всѣхъ балахъ, объѣдался на всѣхъ дипломатическихъ обѣдахъ и былъ на всякомъ званномъ вечерѣ такъ же неизбѣжимъ, какъ Резановское мороженое. Однако жъ онъ былъ поэтъ, и страсть его была неодолима. Когда находила на него такая *дрянь* (такъ онъ называлъ вдохновеніе), Чарскій запирался въ своемъ кабинетѣ...» и т. д.—(Глава I.).

Не трудно видѣть, что всѣ эти усилія Чарскаго казаться свѣтскимъ человѣкомъ, ничѣмъ не выдѣляться изъ уровня среды, къ которой онъ принадлежитъ по рожденію и воспитанію, весьма краснорѣчиво свидѣтельствуютъ о томъ, что между нимъ и этою средою—глубокая пропасть. Онъ, въ сущности, отщепенецъ и живетъ своимъ внутреннимъ міромъ, который онъ тщательно оберегаетъ отъ вторженія туда кого-бы то ни было. Но съ особливою настойчивостью охраняетъ онъ этотъ внутреній міръ отъ взоровъ своихъ свѣтскихъ пріятелей, потому что эти господа меньше, чѣмъ кто-либо, способны понять и оцѣнить тѣ умственные интересы, которыми живетъ Чарскій,—и для нихъ его мысли, его поэтическіе замыслы, его стихи и проза—смѣшное чудачество, не принятое въ «хорошемъ обществѣ» и приравнивающее его къ

той литературной братьи, которую онъ такъ презираетъ и отъ которой онъ хотѣлъ бы отгородить себя. По всему видно, что Чарскій презираетъ одинаково и ту, и другую среду и, принадлежа къ первой по своему общественному положенію, по унаслѣдованнымъ привычкамъ, по усвоеннымъ предразсудкамъ, остается умственно и морально столь же далекимъ отъ нея, какъ и отъ «литературной братьи».—Однако, кромѣ этихъ двухъ круговъ, есть еще читающая публика, слагающаяся изъ весьма разнообразныхъ элементовъ, въ томъ числѣ изъ лицъ, способныхъ раздѣлять умственные интересы поэта и оцѣнить по достоинству его произведенія. Казалось бы, здѣсь онъ могъ бы встрѣтить сочувствіе и найти нравственную поддержку. Но оказывается, что у него непреодолимое отвращеніе къ этой публикѣ, которая представляется ему безнадежно пошлою и, кромѣ того, назойливою и грубо-требовательною — какъ та «чернь»—въ извѣстномъ стихотвореніи. Его возмущаетъ то, что «публика смотритъ» на поэта «какъ на свою собственность; по ея мнѣнію, онъ рожденъ для ея *пользы* и *удовольствія* [1])...» Чарскаго нельзя подкупить дешевою популярностью. Похвалы и любопытство публики раздражаютъ его. Онъ не выноситъ, когда его спрашиваютъ: «Не привезли ли вы намъ чего-нибудь новенькаго?» Онъ не можетъ отдѣлаться отъ подозрѣнія, что всѣ эти «первые встрѣчные», которые обнаруживаютъ такой интересъ къ его произведеніямъ, въ сущности столь же мало способны понять и оцѣнить ихъ, какъ и его свѣтскіе друзья.

Правъ ли или нѣтъ Чарскій въ своемъ огульномъ презрѣніи и къ свѣтскому обществу, и къ литературной средѣ, и къ читающей публикѣ, это—другой вопросъ. Для насъ въ данную минуту важно было только установить фактъ *духовнаго отщепенства Чарскаго, человѣка «съ талантомъ и душой», отъ современнаго ему общества, отъ всѣхъ слоевъ.* Болѣе одинокаго человѣка трудно вообразить.

Въ лицѣ отщепенца Чарскаго Пушкинъ изобразилъ самого себя, свое собственное отщепенство. Тутъ невольно вспоминаются въ горькую минуту вырвавшіяся у него выраженія въ письмахъ, въ родѣ: «я съ головы до ногъ презираю свое отечество...» (27 мая 1826 г., къ Вяземскому), или

---

[1]) Курсивъ Пушкина.

«чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ...» (письмо къ женѣ, 1836 г.).

Въ отрывкѣ «Несмотря на великія преимущества...», представляющемъ собою лишь варіантъ первый главы «Египетскихъ ночей», Пушкинъ еще яснѣе и рѣзче обнаруживаетъ свое тождество съ героемъ, который здѣсь выступаетъ въ видѣ «пріятеля» поэта. Мы находимъ здѣсь черты явно автобіографическія, какъ напр. то, что вдохновеніе посѣщало героя «всегда осенью». Конечно, тутъ есть нѣкоторое уклоненіе: Пушкинъ творилъ не только осенью, а и во всѣ времена года; но, дѣйствительно, по его собственному признанію (напр. въ стихотв. «Осень») именно осенью его творчество развивало исключительную силу.—Другая черта, также личнопушкинская, относится къ «аристократическимъ предразсудкамъ» великаго поэта, который говоритъ здѣсь объ этомъ съ оттѣнкомъ легкой насмѣшки надъ этою «слабостью»: «Пріятель мой происходилъ отъ одного изъ древнѣйшихъ дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣмъ и тщеславился съ всевозможнымъ добродушіемъ. Онъ столько же дорожилъ тремя строчками лѣтописца, въ коихъ упомянуто было о предкѣ его, какъ модный камеръ-юнкеръ тремя звѣздами двоюроднаго дяди...» и т. д.—Наконецъ, не лишена субъективныхъ элементовъ и сдѣланная здѣсь характеристика «общества братьи-литераторовъ», объясняющая, почему герой такъ не любитъ этой среды: «Онъ, кромѣ весьма немногихъ, находилъ въ нихъ слишкомъ много притязаній, у однихъ на колкость ума, у другихъ на пылкость воображенія, у третьихъ на чувствительность, у четвертыхъ на меланхолію, на разочарованность, на глубокомысліе, на филантропію, на мизантропію, иронію и проч. Иные казались ему скучными по своей глупости; другіе несносными по своему тону; третьи гадкими по своей подлости; четвертые опасными по своему двойному ремеслу [1])...»

Отмѣтимъ еще, что въ отрывкѣ Пушкинъ не распространяется объ усиліяхъ героя казаться свѣтскимъ человѣкомъ и ограничивается краткимъ сообщеніемъ, что онъ обществу литераторовъ «предпочиталъ общество женщинъ и свѣтскихъ людей, которые, видя его ежедневно, переставали съ нимъ чиниться и избавляли его отъ разговоровъ о литературѣ и

[1]) Очевидно, намекъ на Булгарина и Греча, совмѣщавшихъ литературную профессію съ отношеніями къ 3-му отдѣленію.

отъ извѣстнаго вопроса: не написали ли вы чего-нибудь новенькаго»?..

Есть еще нѣкоторыя отличія между отрывкомъ и первой главою «Египетскихъ ночей». Такъ, въ послѣдней Чарскій представленъ человѣкомъ со средствами, независимымъ; въ отрывкѣ «пріятель» поэта—бѣденъ, «какъ почти и все наше старинное дворянство»...—Это, какъ извѣстно, излюбленная тема Пушкина, которую онъ развивалъ и въ «Родословной моего героя», и въ «Мѣдномъ Всадникѣ», и въ прозаическихъ замѣткахъ.—Любопытно и не лишено значенія также и двукратное указаніе (въ отрывкѣ), что герой—простой человѣкъ, добрый малый. «Мой пріятель былъ самый простой и обыкновенный человѣкъ, хотя и стихотворецъ...»,—онъ «былъ человѣкъ круглый, un homme tout rond, какъ говорятъ французы, homo quadratus—человѣкъ четыреугольный, по выраженію латинскому,—по-нашему, очень хорошій человѣкъ...».

Такимъ образомъ, герой отрывка оказывается болѣе точнымъ снимкомъ съ оригинала—Пушкина, чѣмъ Чарскій. Въ отрывкѣ отщепенство поэта отъ свѣтскаго круга смягчено, наоборотъ, усилены черты, мотивирующія рознь между нимъ и литературною средою, наконецъ, отмѣчена коренная черта натуры Пушкина, обозначенная выраженіями: «простой и обыкновенный человѣкъ», «человѣкъ круглый», «хорошій человѣкъ». Изъ-за этихъ выраженій выглядываетъ хорошо знакомое намъ лицо «Пушкина-Моцарта»—простое и доброе,—безъ претензій на глубокомысліе, на чувствительность, на филантропію, на мизантропію и т. д.,—обликъ совсѣмъ «простого смертнаго», раздѣляющаго нѣкоторые предразсудки среды и времени и живущаго просто, безъ педантизма, безъ жеманства, безъ захватывающихъ страстей въ родѣ честолюбія или славолюбія, безъ помысловъ о своей геніальности, о своемъ призваніи. Чарскій и его двойникъ въ отрывкѣ это—тотъ же «Моцартъ», только сознавшій свое отщепенство.

3.

«Отщепенство» Пушкина.

Психологическое и моральное отщепенство составляетъ характерную черту Пушкина и занимаетъ видное мѣсто въ пси-

хологіи его творчества. Стремленіе оградить свой внутренній міръ отъ нескромныхъ взоровъ, замкнуться въ немъ, уйти отъ общества, хотя бы только въ психологическомъ смыслѣ, наконецъ—бѣжать въ буквальномъ смыслѣ куда-нибудь подальше отъ людей,—это стремленіе обнаруживается въ жизни и поэзіи Пушкина уже въ 20-хъ годахъ, а въ 30-хъ, все болѣе обостряясь, получаетъ рѣзкое, иногда крайнее выраженіе въ письмахъ и въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ. Сюда относится, между прочимъ, пьеса, озаглавленная «Изъ VI Пиндемонте» (1836), но, какъ дознано, вполнѣ оригинальная:

Не дорого цѣню я громкія права,
Отъ коихъ не одна кружится голова.
Я не ропщу о томъ, что отказали боги
Мнѣ въ сладкой участи оспаривать налоги,
Или мѣшать царямъ другъ съ другомъ воевать;
И мало горя мнѣ,—свободно ли печать
Морочитъ олуховъ, иль чуткая цензура
Въ журнальныхъ замыслахъ стѣсняетъ балагура.
Все это, видите ль, «слова», «слова», «слова»!
Иныя, лучшія мнѣ дороги права,
Иная, лучшая потребна мнѣ свобода...
Зависѣть отъ властей, зависѣтъ отъ народа,—
Не все ли намъ равно? Богъ съ ними!.. Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье, вотъ права!..

Это—одно изъ тѣхъ «коварныхъ» стихотвореній Пушкина, которыя даютъ поводъ къ недоразумѣніямъ и могутъ привести къ совершенно-неправильнымъ выводамъ. Оно требуетъ поясненій. Прежде всего замѣчу, что въ немъ нѣтъ ни лирики, ни образной поэзіи: это—проза въ стихахъ, и я привелъ его только въ качествѣ любопытнаго документа, свидѣтельствующаго о крайнемъ обостреніи тѣхъ чувствъ, которыя вхо-

дили въ психологію «отщепенства» Пушкина. Эти чувства приводили къ настроенію и мыслямъ, находившимся въ явномъ противорѣчіи съ воззрѣніями Пушкина. Достаточно извѣстно, что Пушкинъ не былъ политическимъ и общественнымъ индифферентистомъ, что вопросы политики, какъ внутренней, такъ и внѣшней живо интересовали его,—а все, что касалось Россіи, ея гражданскаго развитія, ея просвѣщенія, ея національной чести, составляло предметъ его неусыпныхъ думъ, къ которому онъ относился съ глубокимъ участьемъ и—порою—страстностью истиннаго патріота. Индифферентизмъ и «аполитизмъ» приведеннаго стихотворенія опровергаются многочисленными свидѣтельствами самого Пушкина—и въ стихахъ, и въ прозѣ,—да и всею его литературною дѣятельностью и даже жизнью.—Пьеса «Изъ VI Пиндемонте» написана была въ іюлѣ 1836 года, а въ августѣ того же года, въ стихотвореніи «*Памятникъ*», одномъ изъ самыхъ задушевныхъ произведеній натуральной лирики Пушкина, онъ выразилъ чувства и мысли, исключающія самую возможность индифферентизма или «аполитизма». Здѣсь, между прочимъ, онъ говоритъ:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу [1])
И милость къ падшимъ призывалъ...

Пушкинъ былъ «поэтъ—гражданинъ» не только въ юности, когда онъ писалъ такія вещи, какъ «Деревня» и «Кинжалъ», и когда въ стихотвореніи, посвященномъ Чаадаеву, онъ говорилъ:

Чадаевъ, вѣрь: взойдетъ она,
Заря плѣнительнаго счастья,
Россія вспрянетъ ото сна,
И на обломкахъ самовластья
Напишетъ наши имена!

Съ годами революціонный пылъ прошелъ, и, повинуясь силѣ вещей, отпали политическія иллюзіи, но отсюда до индифферентизма или аполитизма еще очень далеко. Какъ поэтъ-

---

[1]) Варіантъ; что *вслѣдъ Радищеву* возславилъ я свободу.

гражданинъ, Пушкинъ продолжалъ, только въ другой формѣ и въ другой политической перспективѣ, ратовать за свободу. Онъ уже не вѣрилъ, да и не могъ вѣрить въ скорое паденіе «самовластья»; онъ понялъ, что главная реформа, безъ которой Россія не можетъ двинуться впередъ, именно *освобожденіе крестьянъ*, составляетъ очередную задачу времени, рѣшить которую призвана самодержавная власть. Еще въ началѣ 20-хъ годовъ онъ высказалъ глубоко-вѣрную мысль, что въ Россіи «политическая свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ» [1].— Послѣдующія событія укрѣпили его въ этомъ убѣжденіи. До конца жизни Пушкинъ остался убѣжденнымъ сторонникомъ идеи упраздненія крѣпостного права, какъ реформы, за которою съ необходимостью должны будутъ послѣдовать и другія, которыя и приведутъ къ политической свободѣ. Можно упрекать Пушкина въ излишнемъ оптимизмѣ и въ томъ, что на первыхъ порахъ онъ, какъ и многіе (въ томъ числѣ и Бѣлинскій), не почувствовалъ и не оцѣнилъ по достоинству зловѣщаго характера реакціи 30-хъ годовъ, чреватой гибельными послѣдствіями для нашего развитія,—и продолжалъ «смотрѣть впередъ безъ боязни въ надеждѣ славы и добра», въ то время, какъ было отчего прійти въ отчаяніе. Но это легко объясняется иллюзіями «политическаго зрѣнія» и неизбѣжными ошибками политической мысли,—и это не мѣшало Пушкину оставаться до конца «поэтомъ-гражданиномъ». Къ тому же въ половинѣ 30-хъ годовъ намѣчался поворотъ въ его взглядахъ и настроеніи: поэтъ начиналъ понимать зловѣщій смыслъ реакціи и становился въ оппозицію къ ней. Есть намеки на это въ его письмахъ, напримѣръ, въ одномъ изъ писемъ 1836 года (къ женѣ, изъ Москвы) онъ говоритъ: «Брюловъ сейчасъ ѣдетъ отъ меня въ Петербургъ, скрѣпя сердце; боится климата и неволи. Я стараюсь его утѣшить и ободрить; а между тѣмъ у меня самого душа въ пятки уходитъ, какъ вспомню, что я журналистъ. Будучи еще порядочнымъ человѣкомъ [2]), я получалъ уже полицейскіе выговоры... Что же теперь со мною будетъ? Мордвиновъ будетъ на меня смотрѣть, какъ на Ѳаддея Булгарина и Николая Полевого, какъ на шпіона; чортъ до-

---

[1]) „Замѣтки о русской исторіи XVIII вѣка“, относящіяся къ 1821—1822 гг.

[2]) Т. е. когда онъ еще не былъ издателемъ „Современника“.

*

гадалъ меня родиться въ Россіи съ душою и талантомъ. Весело—нечего сказать!»

Индифферентизмъ и «аполитизмъ» стихотворенія «Изъ VI Пиндемонте» нужно понимать какъ симптомъ этого поворота въ сторону отъ оптимизма къ пессимизму, отъ относительнаго примиренія съ порядкомъ вещей къ оппозиціи ему. Психологическій и моральный смыслъ этого симптома, всего яснѣе выразившійся въ словахъ: «для власти, для ливреи не гнуть ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи»,—тотъ же, какой скрывается за восклицаніемъ: «чортъ догадалъ меня родиться въ Россіи съ душой и талантомъ!»—Ссора съ реакціею и переходъ къ оппозиціи входили у Пушкина составною частью, и при томъ весьма важною, въ психологическій составъ его «отщепенства». Разочарованный и негодующій, а кромѣ того и лично-оскорбленный притѣсненіями и обидными придирками гр. Бенкендорфа, гонимый реакціонною кликою, поэтъ, въ минуту горькаго раздумья, впадаетъ въ обманчивый «аполитизмъ», утверждая, что все равно—зависѣть ли отъ властей или отъ народа и что политическія права не имѣютъ никакого значенія для личнаго блага и счастья, для внутренняго міра человѣка. Великую ошибку сдѣлалъ бы тотъ, кто принялъ бы эти слова за подлинное выраженіе идей Пушкина и усмотрѣлъ бы въ нихъ нѣчто родственное, напр., аполитизму Л. Н. Толстого, хотя бы только въ той его формѣ, въ какой онъ проглядываетъ уже въ «Войнѣ и Мирѣ», а потомъ—яснѣе—въ «Аннѣ Карениной». Нѣтъ! Гамлетовское «слова, слова, слова», относимое здѣсь Пушкинымъ къ идеѣ о «правахъ», о свободѣ слова и печати, съ бо̀льшимъ правомъ мы можемъ отнести къ самимъ этимъ изъявленіямъ поэта, проникнутымъ обманчивою видимостью политическаго индифферентизма. То, что̀ говоритъ Пушкинъ въ первой половинѣ стихотворенія, именно—только «слова, слова, слова»—въ томъ смыслѣ, что выражаютъ не подлинныя убѣжденія поэта, а только его настроеніе. Пройдетъ это настроеніе, и—обманчивость «словъ» обнаружится воочію. Но зато вторая половина, гдѣ выраженъ страстный порывъ—порвать всѣ связи съ обществомъ и жить своимъ внутреннимъ міромъ, предаваясь «восторгамъ умиленья» передъ созданіями искусства, наслаждаясь красотами природы и по своей прихоти «скитаясь здѣсь и тамъ»—дышитъ неподдѣльною психологическою правдою: это

уже не «слова», а точное выраженіе того, что̀ въ самомъ дѣлѣ переживалъ и къ чему всею душою стремился Пушкинъ въ то время: порвать съ обществомъ и правительствомъ, бѣжать, уединиться, странствовать по свѣту, жить «для себя» и—для творчества...

Нѣтъ сомнѣнія: если бы это желаніе осуществилось, Пушкинъ создалъ бы много новыхъ великихъ произведеній. Уединеніе, свобода отъ общественныхъ связей, удаленіе отъ гнетущихъ впечатлѣній и воздѣйствій тогдашней русской дѣйствительности, бѣгство, скитанія, «отщепенство»,—все это нужно было Пушкину именно *какъ поэту*. «Счастье» и «права», о которыхъ онъ говоритъ во второй части стихотворенія, это—*счастье творчества* и *права на его свободу, какъ внѣшнюю, такъ и внутреннюю*,—на неприкосновенность святыни внутренняго міра,—на своего рода психологическое, моральное и идейное «habeas corpus». Вотъ что̀ скрывается подъ словами:

Никому
Отчета не давать; себѣ лишь самому
Служить и угождать...

Жестоко ошибся бы тотъ, кто понялъ бы эти слова, какъ выраженіе эгоизма и аморализма. Равнымъ образомъ, было бы ошибкою усматривать узко-эстетическія стремленія въ словахъ:

По прихоти своей скитаться здѣсь и тамъ,
Дивясь божественнымъ природы красотамъ,
И предъ созданьями искусствъ и вдохновенья
Безмолвно утопать въ восторгахъ умиленья—
Вотъ счастье, вотъ права!

Само собою разумѣется, «эстетическія впечатлѣнія», какихъ русская природа, жизнь и «культура» давали слишкомъ мало, составляли насущную потребность для Пушкина,—и если бы ему удалось вырваться за границу и на волю, онъ предался бы имъ съ восторгомъ, съ упоеніемъ. Но отсюда еще далеко до безплоднаго и безпечальнаго эстетизма, до самодовлѣющаго «гастрономическаго» смакованія эстетическихъ впечатлѣній,—занятія въ высокой степени безсмысленнаго. И

Пушкинъ, для котораго даже скудныя впечатлѣнія русской природы и жизни являлись стимуломъ могучаго творчества, былъ органически неспособенъ воспринимать эстетическія впечатлѣнія «гастрономически», какъ это дѣлаютъ «эстеты»; онъ воспринималъ ихъ *творчески*...

Подводя итогъ всему, сказанному о стихотв. «Изъ VI Пиндемонте», мы скажемъ, что, вопреки прямому и обманчивому смыслу выраженій, въ немъ нѣтъ свидѣтельства ни о политическомъ индифферентизмѣ или «аполитизмѣ» Пушкина, ни объ эгоизмѣ или «аморализмѣ», ни, наконецъ, объ «эстетизмѣ» великаго поэта. Оно должно быть понимаемо, какъ утрированное, гиперболическое и горькое выраженіе *той душевной и моральной «тошноты»*, до которой довели Пушкина условія русской жизни вообще и его личныя обстоятельства и отношенія (ко двору, къ Бенкендорфу, цензурѣ и т. д.)—въ частности. Эта «тошнота» была, въ свою очередь, элементомъ общаго — психологическаго — «отщепенства» Пушкина,—элементомъ, замѣтно осложнявшимъ психологію этого «отщепенства».

Насъ интересуетъ здѣсь именно эта *психологія въ ея, такъ сказать, чистомъ видѣ* и при томъ не столько сама по себѣ, сколько *какъ база лирическаго творчества Пушкина*. Поэтому намъ придется мысленно устранить изъ психологическаго состава пушкинскаго отщепенства элементы, осложняющіе и затемняющіе его истинную природу, въ родѣ вышеуказаннаго,—и тогда передъ нами очертится она съ тою отчетливостью, которая позволитъ намъ углубить и обобщить результаты нашихъ посильныхъ изысканій—по психологіи пушкинскаго творчества.

Здѣсь же, въ заключеніе того, что до сихъ поръ мы говорили объ «отщепенствѣ» Пушкина, я укажу на слѣдующее: это «отщепенство» было, если можно такъ выразиться, «платоническимъ»,—оно представляло собою родъ «психологической фикціи», и мы его относимъ къ разряду «фиктивныхъ» и даже «мнимыхъ» психическихъ величинъ. Выяснить и обосновать это и составитъ одну изъ задачъ слѣдующей главы. А пока я только попрошу читателя вообразить, что въ самомъ дѣлѣ Пушкинъ вырвался изъ тисковъ русской дѣйствительности и уѣхалъ за границу,—путешествуетъ по Европѣ, наслаждаясь красотами природы, подолгу, подобно Гоголю,

живетъ въ Италіи, упиваясь «созданьями искусствъ и вдохновенья» и самъ предаваясь восторгамъ творчества...

При этомъ, величайшее наслажденіе испытываетъ онъ отъ ощущенія свободы,—отъ сознанія, что ему не нужно никому давать «отчетовъ», ни императору Николаю Павловичу, ни графу Бенкендорфу, и не нужно гнуть «ни совѣсти, ни помысловъ, ни шеи». Такъ вотъ и спросимъ себя: долго ли выдержалъ бы поэтъ это блаженство? Могъ ли бы онъ, подобно Гоголю, на многіе годы замкнуться въ своемъ внутреннемъ мірѣ и жить одинокимъ художникомъ, поэтомъ-отшельникомъ? Не потянуло ли бы его, и при томъ очень скоро, назадъ, домой, къ русской жизни, къ русской неволѣ? Не ощутилъ ли бы онъ, по прошествіи нѣкотораго времени, мучительной жажды русскихъ впечатлѣній, тоски по сѣренькимъ тонамъ русской природы и жизни, страстнаго желанія окунуться въ ея тину? Способенъ ли былъ Пушкинъ къ хроническому, чисто-гоголевскому «созерцанію Руси изъ прекраснаго далёка»?

На всѣ эти вопросы я отвѣчаю отрицательно.

Живой, впечатлительный, экспансивный, отзывчивый, жизнерадостный Пушкинъ, разумѣется, съ головою окунулся бы въ заграничную жизнь—съ тѣмъ, чтобы очень скоро вынырнуть оттуда и почувствовать, что безъ живыхъ общественныхъ и національныхъ связей онъ не можетъ обойтись—и какъ человѣкъ, и какъ поэтъ, и что для него эти связи возможны только въ Россіи.

Въ противуположность Гоголю, Пушкинъ представляетъ намъ образецъ натуры, рѣшительно не способной надолго замкнуться въ себѣ и жить по преимуществу интересами своего внутренняго міра, вопросами и задачами своего субъективнаго сознанія. Геній по преимуществу объективный и натура открытая, неэгоцентрическая, онъ нуждался, какъ въ хлѣбѣ насущномъ, въ живыхъ впечатлѣніяхъ и подлинныхъ связяхъ съ окружающею жизнью и — порою «завидовалъ» наивности и непосредственности не только «Моцарта», но и Ивана Петровича Бѣлкина. Много непосредственности и, пожалуй, не мало и наивности было и у него самого,—и онъ умѣлъ жить *просто*, не мудрствуя, отдаваясь живому мгновенію и окунаясь въ волны жизни, хотя бы и мутныя. Но ему все-таки было далеко до ребяческой наивности и простоты «Моцарта», какъ и до обывательской непосредственности Бѣлкина. Достичь этого

«идеала» ему мѣшалъ, прежде всего, его огромный умъ, изумительно-ясный и проницательный: нельзя съ такимъ умомъ безпечально и привольно плавать въ волнахъ жизни,—въ особенности русской жизни того времени. Но былъ и другой «балластъ», препятствовавшій такому плаванію: *исключительная сила лиризма, какъ натуральнаго, такъ и искусственнаго.*

Малая доза легкаго лиризма, какой въ той или иной мѣрѣ присущъ всякой душѣ человѣческой, не мѣшаетъ плавать въ житейскомъ морѣ или болотѣ, напротивъ—даже помогаетъ. Но при замѣтномъ увеличеніи этой дозы и при соотвѣтственномъ измѣненіи *качества* лиризма, а также при переходѣ отъ натуральнаго лиризма къ искусственному—обнаруживаются неудобства и трудности для «пловца», которому избытокъ лирическихъ эмоцій мѣшаетъ уподобиться рыбѣ и плавать съ настоящею, рыбьею непосредственностью и легкостью. Ибо избытокъ лиризма, уже переходящаго въ родъ «творчества», содѣйствуетъ болѣе яркому проявленію *индивидуальности* человѣка, а чѣмъ индивидуальнѣе смертный, тѣмъ труднѣе ему—быть рыбою. А когда сила лиризма достигаетъ той мощи, какую мы видимъ у призванныхъ творцовъ лиризма, когда она доходитъ до пушкинской высоты, тогда не можетъ быть и рѣчи о нетронутой непосредственности въ жизни, о бездумномъ и безпечномъ, не отравленномъ лирическою рефлексіею существованіи.

Можно провести любопытную аналогію между *умомъ* и *лирическою одаренностью.*

Немножко ума, а въ особенности запасъ здраваго смысла не мѣшаетъ, а помогаетъ—жить, какъ всѣ живутъ, быть хорошимъ обывателемъ. Представьте постепенное увеличеніе дозы ума и улучшеніе его качества,—представьте себѣ его превращеніе изъ обывательскаго въ творческій, приводящее къ значительной *индивидуализаціи* человѣка,—и вотъ вы уже видите, что такой человѣкъ танцуетъ танецъ жизни не такъ механически, какъ другіе. У него является рефлексія, гибельная для механизма движеній; на него нападаетъ раздумье, нарушающее нормальное теченіе жизни. И получается картина, совершенно аналогичная той, которую являетъ душа человѣка, обладающаго значительнымъ запасомъ незаурядныхъ лирическихъ эмоцій.

А когда обѣ картины совмѣщаются въ одномъ и томъ же субъектѣ, когда сила ума и его высокія качества даны вмѣстѣ съ силою и высокими качествами лиризма, тогда становится ясно, что этотъ человѣкъ, столь обремененный, не можетъ уподобиться ни Ивану Петровичу Бѣлкину, ни даже «Моцарту», какъ онъ представленъ у Пушкина.—

И вотъ, мы видимъ, какъ черезъ всю жизнь и все творчество Пушкина проходитъ стихійная психологическая тяга къ жизни, къ дѣйствительности, къ сліянію съ міромъ наивно-живущихъ людей, непосредственныхъ натуръ, и какъ этой тягѣ ставится преграда и дается отпоръ со стороны великаго ума и высокаго лиризма Пушкина. И «Моцартъ», и Бѣлкинъ остаются недостижимымъ для него «идеаломъ», но—«идеаломъ», который сродни его душѣ и для приближенія къ которому въ его натурѣ есть несомнѣнныя данныя, есть возможности. Но лишь только онъ стремится къ нему приблизиться, эти возможности превращаются въ невозможности,—и ему остается только любоваться натурами этого рода, что́ онъ и сдѣлалъ въ драматическомъ опытѣ «Моцартъ и Сальери“ и въ изображеніи натуры и типа Бѣлкина.

Скажемъ такъ: у Пушкина не было и не могло быть законченной непосредственности Бѣлкина и «Моцарта», но были ея психологическіе задатки, и при томъ настолько значительные и живучіе, что Пушкинъ всю жизнь не переставалъ ощущать ихъ воздѣйствія, и его всегда тянуло къ людямъ, къ жизни,—въ ея водоворотъ, ея омутъ. Это была реальная психологическая основа натуры Пушкина,—залогъ его жизнедѣятельности, его психической уравновѣшенности, его рѣдкаго душевнаго здоровья. Если еще вспомнимъ о симпатическихъ сторонахъ его характера,—о его добротѣ, благожелательности, благородствѣ, вообще о преобладаніи у него добрыхъ чувствъ надъ дурными, то получимъ завидную картину того нормальнаго и счастливаго уклада психики, въ силу котораго человѣкъ, живя легко и радостно, распространяетъ вокругъ себя радость жизни,—живетъ и другимъ помогаетъ жить.

Хорошая, но не чрезмѣрная доза ума, умѣренный запасъ лирическихъ эмоцій, скромный талантъ усиливаютъ эту картину и дѣлаютъ человѣка еще болѣе приспособленнымъ къ уравновѣшенной жизни, къ изощренію соціальныхъ инстинктовъ, къ гармоническому сплетенію своей жизни съ жизнью другихъ.

У Пушкина соціальное равновѣсіе было нарушено—его геніальностью. Необходимымъ слѣдствіемъ этого нарушенія явился порядокъ чувствъ и настроеній, противорѣчившихъ основному укладу его натуры, навѣянныхъ внушеніями его огромнаго ума, его неизсякаемаго и высокаго лиризма, его исключительно-сильнаго художественнаго дарованія, его генія. О нихъ можно по праву сказать, что они были—и *его и не его*. Какъ не вытекающія изъ основнаго уклада его натуры, они были—*не его* чувства и настроенія, и въ этомъ смыслѣ ихъ можно назвать *ирреальными*, не «подлинными». Я ихъ называю «фиктивными». Такова была, напр., его «мизантропія», которую стоитъ только сопоставить съ мизантропіею Гоголя, чтобы убидиться въ ея *фиктивности*. Таково же было и его «отщепенство».

XI.

«Отрѣшенность» отъ жизни—какъ важнѣйшая психологическая пружина творчества Пушкина.

1.

„Въ уединеніи мой своенравный геній...“

Уже въ раннихъ произведеніяхъ Пушкина нерѣдно слышатся поэтическія и непоэтическія заявленія на тему о прелести *уединенія*. Ничего нѣтъ горькаго или мизантропическаго въ этомъ стремленіи уединиться, отрѣшиться отъ общества и погрузиться въ свой внутренній міръ. Изъ сутолоки жизни, очень для него завлекательной, поэта тянуло къ тишинѣ сосредоточенныхъ думъ, къ усидчивой кабинетной работѣ,—и это уединеніе доставляло ему великую *интеллектуальную* радость, *которая быстро превращалась въ лирическую эмоцію*, въ поэзію одинокаго умственнаго труда.

Въ извѣстномъ посланіи къ Чаадаеву (1821) онъ говоритъ:

Оставя шумный кругъ безумцевъ молодыхъ,
Въ изгнаніи моемъ я не жалѣлъ о нихъ;

Вздохнувъ, оставилъ я другія заблужденья,
Враговъ моихъ предалъ проклятію забвенья,
И сѣти разорвавъ, гдѣ бился я въ плѣну,
Для сердца новую вкушаю тишину.
Въ уединеніи мой своенравный геній
Позналъ и тихій трудъ, и жажду размышленій.
Владѣю днемъ моимъ; съ порядкомъ дружёнъ умъ;
Учусь удерживать вниманье долгихъ думъ;
Ищу вознаградить въ объятіяхъ свободы
Мятежной младости утраченные годы
И въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ...

Все это—совершенная правда, несмотря на то, что, какъ извѣстно, Пушкинъ велъ тогда (въ Кишиневѣ) разсѣянную жизнь, вращаясь въ мѣстномъ обществѣ, ухаживая за кишиневскими дамами, проказничалъ, а также не переставалъ интересоваться политикою, поддерживая связи съ членами тайнаго общества. Онъ жилъ полною жизнью, съ жаднымъ любопытствомъ относясь къ самымъ различнымъ вещамъ: къ нравамъ мѣстнаго общества, къ быту цыганъ, къ греческому возстанію... Но все это не мѣшало ему порою уединяться, какъ для поэтическаго творчества, такъ и просто для того, чтобы читать, учиться, размышлять. Послѣднее особенно любопытно: тутъ впервые пробудилась и властно заявила о себѣ коренная черта ума Пушкина—*широкая, разносторонняя любознательность.* Съ годами эта черта усиливалась, и Пушкинъ всю жизнь не переставалъ *учиться.* Радости познанія были доступны ему не менѣе радостей творчества. Его огромный, ясный, здоровый умъ требовалъ пищи, упражненія, и Пушкинъ неуклонно расширялъ, повинуясь требованіямъ ума, сферу своихъ умственныхъ интересовъ. Онъ былъ превосходный *читатель,*— качество драгоцѣнное, въ особенности для писателя...

Чтеніе доставляло Пушкину много наслажденій, но не было забавою: оно было *школою мысли,* и наслажденія, имъ доставляемыя, были *радостями умственнаго развитія.*— При всемъ разнообразіи и кажущейся безсистемности чтенія, оно у Пушкина было, безспорно, упорядоченнымъ умственнымъ трудомъ, воспитывавшимъ природную силу его мысли, пріучавшимъ его къ *умственной дисциплинѣ.* Въ ряду нашихъ писателей Пушкинъ выдѣляется не только силою и про-

ницательностью ума, но и его воспитанностью въ духѣ послѣдовательнаго, раціональнаго мышленія. Въ сочиненіяхъ и письмахъ Пушкина нѣтъ тѣхъ уклоновъ или аберрацій мысли, какіе нерѣдко встрѣчаются у нашихъ писателей, въ томъ числѣ и великихъ. Вспомнимъ Гоголя, Достоевскаго, Л. Н. Толстого... Пушкинъ могъ ошибаться, но онъ не открылъ ни одной давно открытой Америки, не выдумалъ ни одной «самобытной»... «истины», недоступной западно-европейской логикѣ, не изумилъ міра чудачествомъ мысли и странностями сужденія. Взамѣнъ того, онъ высказалъ множество глубокихъ и оригинальныхъ мыслей, поражающихъ ясностью и простотою, строгою сдержанностью и осмотрительностью ума,—качествами, которыя въ старыхъ культурныхъ странахъ встрѣчаются нерѣдко, воспитанныя многовѣковою школою (между прочимъ, и схоластическою) и богатою научною и философскою литературою; у насъ же эта дисциплина ума—рѣдкость...

Пушкинъ достигъ ея самъ, самоучкою, благодаря особливо-счастливымъ природнымъ качествамъ своего ума, — его ясности и уравновѣшенности. Но отчасти помогло ему и воспитаніе (съ дѣтства) на французской литературѣ XVIII-го вѣка, въ созданіи которой участвовали первостепенные умы, соединявшіе съ французскою ясностью и логичностью превосходную дрессировку старой классической школы.

Любопытно отмѣтить у Пушкина черту, которую можно назвать «культомъ ума». Въ его сочиненіяхъ и письмахъ зачастую встрѣчаются выходки противъ ограниченности и глупости, которыя были Пушкину нестерпимы,—онѣ, если можно такъ выразиться, оскорбляли его «интеллектуальную совѣсть». Этотъ «культъ ума», между прочимъ, привелъ его къ одной ошибкѣ: къ несправедливому осужденію Чацкаго, въ которомъ онъ заподозрѣлъ недостатокъ ума. Слава не вскружила ему голову не только потому, что у него не было страсти славолюбія, но еще и потому, что ея сладкій ядъ обезвреживался сильнымъ противоядіемъ—сознаніемъ той роли, какую всегда играютъ въ распространеніи славы ограниченные и глупые люди:

Что̀ слава? Шопотъ ли чтеца?
Гоненье ль низкаго невѣжды?
Иль восхищеніе глупца?
(«Разговоръ поэта съ книгопродавцемъ»).

Блаженъ, кто въ отдаленной сѣни,
Вдали взыскательныхъ невѣждъ,
Дни дѣлитъ межъ трудовъ и лѣни,
Воспоминаній и надеждъ;
Кому судьба друзей послала,
Кто скрытъ, по милости Творца,
Отъ усыпителя глупца,
Отъ пробудителя нахала. («Уединеніе», 1822).—
. . . . . .
Услышишь судъ глупца...
(«Поэту»).

Въ отрывкѣ «Несмотря на великія преимущества» Пушкинъ, перечисляя «невыгоды и непріятности», неразлучныя съ профессіей поэта, говоритъ: «Но, кажется, что́ можетъ сравниться съ несчастьемъ, для него неизбѣжнымъ—разумѣемъ сужденія глупцовъ?»

Уже одно это должно было дѣйствовать охлаждающимъ образомъ на присущую Пушкину «соціальную тягу», на его неусыпное стремленіе къ людямъ, къ живымъ и тѣснымъ общественнымъ связямъ. Первымъ запротестовалъ у него умъ, отпугнутый обиліемъ глупости въ общественной средѣ,—и это-то и было исходнымъ пунктомъ его «отщепенства». Мы лучше поймемъ значеніе этого момента, если примемъ въ соображеніе не только силу и дисциплину ума Пушкина, но и его высоту: это былъ умъ геніальнаго человѣка, способный къ глубокому проникновенію въ существо вопросовъ, его интересовавшихъ, и къ высокому подъему, откуда видны широкіе горизонты жизни и мысли.

Иначе говоря, въ умѣ Пушкина совмѣщались, уравновѣшивая другъ друга, двѣ силы мысли: *аналитическая* (*критическая*) и *синтетическая* (*творческая*).

Для характеристики первой достаточно вспомнить его критическіе отзывы (въ статьяхъ и письмахъ) о различныхъ произведеніяхъ литературы, характеристики писателей и его мысли по теоріи драмы. По справедливому замѣчанію Пыпина, литературные взгляды Пушкина, сложившіеся въ періодъ 1820—1826 гг., «составляли историческій фактъ», т. е. были для своего времени и новы, и плодотворны. «Не всегда»—говоритъ Пыпинъ—«они были въ свое время высказаны въ

печати; большею частью они стали извѣстны уже позднѣе, даже только къ нашему времени [1]), когда собрана почти вся переписка Пушкина; но если они—въ томъ составѣ, какъ мы знаемъ ихъ теперь—не имѣли непосредственнаго дѣйствія въ свое время, то въ ближайшемъ кругу были извѣстны *и во всякомъ случаѣ составляютъ фактъ историческаго сознанія, важный для объясненія его дальнѣйшаго развитія. Въ этихъ взглядахъ Пушкина найдется многое, что установляла впослѣдствіи критика Бѣлинскаго»* [2]) («Исторія русской литературы», т. IV, стр. 351).

Въ критическихъ отзывахъ Пушкина и въ его разсужденіяхъ по различнымъ вопросамъ виденъ умъ, который никогда не теряется въ подробностяхъ, не отвлекается въ сторону отъ главной цѣли, умѣетъ сразу поймать зерно вопроса, овладѣть существомъ дѣла; это—умъ, необыкновенно-приспособленный къ образованію *правильныхъ новыхъ понятій* о вещахъ спорныхъ, еще не изслѣдованныхъ,—умъ новатора, пролагающаго новые пути мысли.

Переходъ отъ анализа къ синтезу, т. е. къ созданію *обобщеній* (въ видѣ ли *понятій* или въ формѣ *образовъ*,—это все равно), совершался у Пушкина съ быстротою и неожиданностью, составляющими привилегію геніевъ.

Какъ призванный художникъ, Пушкинъ въ огромномъ большинствѣ случаевъ отливалъ результаты своихъ обобщеній въ форму *образовъ*, которые и слѣдуетъ имѣть въ виду, когда рѣчь идетъ о синтетической силѣ его ума. Важнѣйшими изъ нихъ и измѣряется эта сила. Разбирая бытовые типы *Онѣгина*, *Татьяны*, *Ленскаго*, психологическіе типы *Скупого*, *Сальери*, *Моцарта*, *Донъ-Жуана*, историческія фигуры въ родѣ *Пимена*, Пугачева (въ «Капитанской дочкѣ»), Петра В. и др.,—мы видимъ, какъ много затрачено творческой обобщающей силы на созданіе этихъ образовъ, объединяющихъ множество фактовъ и дающихъ имъ художественное истолкованіе. Для оцѣнки и измѣренія силы творчества, выразившейся въ созданіи этихъ образовъ, нужно считаться также съ тѣмъ обстоятельствомъ, что большинство изъ нихъ въ свое время было «новымъ словомъ», художественнымъ починомъ въ областяхъ творчества, подлежавшихъ дальнѣйшей разра-

---

[1]) Писано въ 80-хъ г.г.
[2]) Курсивъ мой.

боткѣ. Нужно имѣть въ виду эту дальнѣйшую разработку, цѣнность ея результатовъ: эта цѣнность служитъ мѣриломъ творческой силы, потраченной на первоначальное творчество. Это можно выразить такъ: геніальность мысли, создавшей впервые извѣстные художественные типы, впослѣдствіи разработанные дальше и, можетъ быть, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ глубже другими поэтами, лучше всего опредѣляется именно художественнымъ значеніемъ послѣдующихъ созданій того же порядка. Геніальность Пушкина, какъ творца типовъ Онѣгина и Татьяны, измѣряется художественною цѣнностью образовъ Печорина, Рудина, Лаврецкаго, Болконскаго, Безухова и т. д. и всею галлереею соотвѣтственныхъ женскихъ типовъ у Тургенева, Гончарова, Толстого и др. Если, положимъ, явится новый великій художникъ и довершитъ этотъ порядокъ типовъ созданіемъ новыхъ образовъ—еще выше, еще глубже, что̀ создали Лермонтовъ, Тургеневъ, Толстой, Гончаровъ, то тѣмъ самымъ и Онѣгинъ съ Татьяною, и само творчество Пушкина подымутся *въ нашей оцѣнкѣ* еще ступенью выше. Почему это такъ? Потому, что умственная творческая сила, проявленная художникомъ въ созданіи первыхъ обобщеній извѣстнаго порядка, была духовнымъ капиталомъ, процентами съ котораго воспользовались послѣдующія поколѣнія художниковъ; для нихъ она послужила стимуломъ творчества—и на добрую половину облегчила ихъ трудъ. Оттуда и тотъ фактъ, что послѣдующіе художники сравнительно—меньшей силы творческаго дара могутъ создавать образы, по своему художественному значенію не уступающіе созданіямъ ихъ геніальнаго предшественника. Подобныя же явленія сплошь и рядомъ наблюдаются и въ исторіи научной и философской мысли. Цѣнность научной или философской идеи и геніальность ея творца лучше всего опредѣляются и, какъ умственная сила, въ извѣстномъ смыслѣ *измѣряются* значеніемъ и плодотворностью послѣдующихъ работъ и открытій. Сила ученаго творчества *Дарвина* измѣряется великимъ значеніемъ всей ученой литературы *дарвинизма*. Геній *Канта* прямо пропорціоналенъ его вліянію на новую философію и науку,—онъ измѣряется *кантіанствомъ* со всѣми его развѣтвленіями. Великія заслуги *Гельмгольца* по установленію закона сохраненія энергіи привели, между прочимъ, къ зачисленію въ ряды научныхъ геніевъ скромнаго провинціальнаго врача—*Роберта*

Майера. Геній *Лавуазье* не переставалъ расти и растетъ вмѣстѣ съ успѣхами химіи.

Иными словами, творческая сила генія-новатора измѣряется значеніемъ и плодотворностью основанной имъ «*школы*». Съ этой точки зрѣнія, творческая сила Пушкина должна быть признана колоссальною: основанная имъ «школа»—*вся русская художественная литература* и *русская лирическая поэзія.*

Возвращаясь къ нашей темѣ, т. е. къ психологіи пушкинскаго «отщепенства», мы скажемъ такъ: его «отщепенство» было, въ существѣ дѣла, *естественнымъ, психологически-необходимымъ «отщепенствомъ» генія, именно генія художественной мысли.*

2.

„И забываю міръ...“

Въ психологію генія, будь онъ ученый, философъ, техникъ—изобрѣтатель, или, наконецъ, художникъ, входитъ особая способность «задумчивости», въ силу которой геній, «*забывая міръ*», творитъ «свой міръ»—мысли.

И забываю міръ, и въ сладкой тишинѣ
Я сладко усыпленъ моимъ воображеньемъ,
И пробуждается поэзія во мнѣ...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
И тутъ ко мнѣ идетъ незримый рой гостей,
Знакомцы давніе, плоды мечты моей.
(«Осень», X).

За этой строфой слѣдовала строфа (XI), вычеркнутая Пушкинымъ, но для насъ, въ данномъ случаѣ, не лишенная интереса: въ ней поэтъ перечислялъ разныхъ «гостей»,—созданія его фантазіи:

Стальные рыцари, угрюмые султаны,
Монахи, карлики, арапскіе цари,

Гречанки съ четками, корсары, богдыханы,
Испанцы въ епанчахъ, жиды, богатыри,
Царевны плѣнныя, графини, великаны,
И вы, любимицы златой моей зари—
Вы, барышни мои, съ открытыми плечами,
Съ висками гладкими и томными очами.

И плывутъ эти образы, чередуясь какъ на экранѣ волшебнаго фонаря; Богъ вѣсть откуда вынырнулъ «стальной рыцарь», потомъ «султанъ», потомъ «монахъ» и т. д.,—наростаетъ толпа видѣній;—лица самыя разнообразныя, выходцы съ того свѣта, представители различныхъ эпохъ и странъ, тѣснятся, толкая другъ друга, мѣшая или помогая другъ другу, образуя пеструю толпу или странное общество, костюмированное по обычаю разныхъ національностей и модѣ разныхъ эпохъ,—отъ стального рыцаря до русскихъ барышень «съ гладкими висками», какъ причесывались въ двадцатыхъ годахъ. Это—не тѣни символической поэзіи, не обнаженные скелеты, не раздѣтыя души, а равно и не души, наряженныя въ условный, небывалый костюмъ, не «стилизованныя» абстракціи,—это—живые люди, выступающіе въ своемъ настоящемъ—историческомъ, этнографическомъ, національномъ, бытовомъ—обличьи и костюмировкѣ, согласной съ дѣйствительностью—вплоть до «гладкихъ висковъ» барышень. Нѣтъ сомнѣнія: поэтъ, которому являлись такія «видѣнія», былъ *художникъ-реалистъ*, которому дороги и любопытны живыя черты дѣйствительности, и важна, какъ говорилъ Тургеневъ, «правда человѣческой физіономіи», хотя бы только внѣшняя: отъ внѣшней онъ доберется и до внутренней. Для художника-реалиста внѣшнее обличье образа чрезвычайно-важно: если оно правильно и жизненно, то это служитъ ему ручательствомъ, что «видѣніе» вообще правдиво, что оно не склонно лгать и выдастъ и свою внутреннюю правду—психологическую, историческую, бытовую, національную. Художникъ-реалистъ, не меньше ученаго-реалиста, знаетъ, какъ легко впасть въ вольныя и невольныя заблужденія и къ какому мошенничеству ума и шулерству мысли можно прійти, если пренебречь *внѣшнимъ* обличьемъ явленій. Оттуда—«культъ внѣшности» и вниманіе къ реальному обнаруженію явленій, свойственные одинаково *настоящимъ* художникамъ и *настоящимъ* уче-

нымъ, въ отличіе отъ... фантазеровъ и «сочинителей» въ искусствѣ и въ наукѣ. Конечно, можно увлечься изученіемъ внѣшности и забыть о внутренней сути явленія, но это будетъ либо «наивный реализмъ», либо злоупотребленіе реализмомъ.

Реализмъ Пушкина, какъ художника, окрѣпъ и обозначился около половины 20-хъ годовъ, когда онъ работалъ надъ первыми главами «Евг. Онѣгина» (1823—1825), и съ этого времени великій поэтъ является художникомъ строго-реалистическимъ и кладетъ основаніе великой русской реально-художественной литературѣ. Вершины художественнаго реализма онъ достигаетъ, кромѣ «Евг. Онѣгина», въ своей прозаической беллетристикѣ,—въ «Арапѣ Петра В.», въ «Капитанской дочкѣ» и нѣк. другихъ вещахъ. Законченный реализмъ этихъ геніальныхъ произведеній, гдѣ изъ-подъ малѣйшей черты «внѣшности» образовъ тутъ же обнаруживается и ихъ внутренняя «суть» и «правда», достаточно извѣстенъ и не требуетъ доказательствъ.

Для насъ-же, въ данную минуту, важенъ другой вопросъ: поскольку этотъ реализмъ творчества содѣйствовалъ развитію пушкинскаго «отщепенства»?

Реальное творчество, имѣющее цѣлью правдивое изображеніе дѣйствительности и художественное обобщеніе ея явленій, безусловно требуетъ отъ художника нѣкотораго удаленія и отрѣшенія отъ этой самой дѣйствительности. Тутъ различаются двѣ стороны. Одна—та самая, въ силу которой мы, чтобы получить должное впечатлѣніе отъ картины или статуи, отступаемъ на нѣсколько шаговъ; нельзя получить художественнаго впечатлѣнія отъ картины или статуи, если подойти къ ней вплотную и уткнуться въ нее носомъ. Произведеніе художника-реалиста возникаетъ — какъ послѣдній итогъ цѣлаго ряда художественныхъ созерцаній дѣйствительности. Для художника тѣ явленія жизни, которыя онъ хочетъ воспроизвести,—не только сырой матеріалъ, но уже—«картина», хотя и въ натуральномъ видѣ, и, чтобы хорошо видѣть и художественно воспринимать ее, ему нужно—«отступить», удалиться отъ нея. Художникъ-реалистъ никогда не добьется правды изображенія и правильныхъ обобщеній, если будетъ исходить отъ непосредственныхъ воспріятій: онъ долженъ сперва превратить эти воспріятія въ представленія, въ воспоми-

нанія. Реальное искусство есть творческая дѣятельность *воображенія*: воображенію не будетъ простора и возможности работать, если изображаемое явленіе торчитъ передъ глазами. Наличность явленія, давая возможность снять съ него точную копію, мѣшаетъ его художественной переработкѣ. Наилучшимъ условіемъ для реальнаго художественнаго творчества слѣдуетъ признать такую «позицію» художника, которая даетъ ему возможность, накопивъ запасъ непосредственныхъ наблюденій, «удалиться» отъ объектовъ, подлежащихъ художественному изображенію и познанію. Само собой разумѣется, это «удаленіе» нужно понимать въ психологическомъ смыслѣ, и оно можетъ и не быть фактическимъ, физическимъ. Нѣтъ надобности художнику, изображающему петербургскіе типы, уѣзжать въ провинцію: онъ можетъ изображать ихъ, оставаясь въ Петербургѣ. Но, конечно, фактическое удаленіе весьма благопріятствуетъ психологическому, создавая для него подходящія—естественныя—условія. Гоголь изображалъ Малороссію, живя въ Петербургѣ, и созерцалъ Русь изъ Рима. Тургеневъ работалъ большею частью за границей...

Но что особенно-важно и благотворно для реально-художественнаго творчества, такъ это—*удаленіе отъ изображаемаго объекта во времени*. Оно входитъ, какъ необходимый элементъ, въ самое понятіе о «психологическомъ удаленіи»: разъ художникъ имѣетъ дѣло не съ непосредственными впечатлѣніями, а съ воспоминаніями,—это значитъ, что онъ удалился отъ объектовъ во времени. Но отъ этого «удаленія во времени», психологически-необходимаго во всякомъ актѣ мысли, мы отличаемъ «фактическое удаленіе во времени», состоящее въ томъ, что объектъ принадлежитъ прошлому, и художникъ, хорошо зная этотъ объектъ по личнымъ ли воспоминаніямъ, или по разсказамъ другихъ, по преданію, по книжнымъ источникамъ, не имѣетъ фактической возможности непосредственно наблюдать его. И вотъ мы видимъ, что именно *при такомъ* условіи, *при такой «позиціи»* художника реальное художественное творчество *впервые* и обнаружилось, достигнувъ въ этой «ретроспективной» области значительной высоты развитія, какой оно долго не достигало въ другихъ областяхъ, допускавшихъ возможность непосредственнаго наблюденія. Я имѣю въ виду, во-первыхъ, старый эпосъ съ его несомнѣннымъ, хотя и наивнымъ, художественнымъ реализмомъ

*

(особливо яркимъ въ гомеровскомъ эпосѣ), а, во-вторыхъ, сравнительно—раннее развитіе *историческаго романа*, упредившаго развитіе бытового. Мы видимъ, что въ то время, какъ романтическіе и сентиментальные романы и повѣсти съ сюжетами изъ дѣйствительной, современной жизни заключали въ себѣ лишь слабые элементы реализма очень сомнительнаго достоинства, Вальтеръ-Скоттъ въ историческомъ романѣ далъ образцы высоко-художественнаго реализма.

Пушкинъ, еще до окончанія «Евгенія Онѣгина», обнаружилъ художественный реализмъ высшаго качества въ «*Арапъ Петра В.*» (1827).

Все вышеизложенное поясняетъ *одну сторону* того «удаленія» отъ объекта, которое является необходимымъ условіемъ успѣшности реально-художественнаго творчества. Здѣсь еще нѣтъ элементовъ «отщепенства», а есть только его психологическая подготовка; это лишь—необходимое условіе творчества; но оно въ то же время является и первымъ шагомъ въ направленіи, въ которомъ, идя дальше, художникъ можетъ прійти и къ отщепенству.

Этому въ высокой степени содѣйствуетъ другая сторона разсматриваемаго процесса, которую мы назовемъ не просто «удаленіемъ», а—«*отрѣшеніемъ*» *художника отъ сферы явленій, какую онъ избралъ объектомъ своего творчества.*

Если этой стороны нѣтъ, и художникъ всецѣло,—идейно и морально—сливается съ изображаемою имъ средою и жизнью, то его реализмъ, при всемъ совершенствѣ пріемовъ изображенія, останется на ступени *наивнаго реализма*, который могъ быть на высотѣ своего призванія въ эпохи наивнаго міросозерцанія и глубокаго сна критической мысли, но который рѣшительно не годится для новаго времени (съ эпохи Возрожденія), будучи безсиленъ отвѣчать на многочисленные идейные и моральные запросы передовой части человѣчества. Въ задачу художественнаго реализма входитъ не только правдивое изображеніе вещей, но *и ихъ оцѣнка* съ точки зрѣнія прогрессирующаго самосознанія и развивающейся человѣчности. Такая оцѣнка вовсе не предполагаетъ требованія, чтобы художникъ во всѣхъ отношеніяхъ стоялъ выше своего времени и, по понятіямъ, убѣжденіямъ и моральнымъ качествамъ, принадлежалъ къ лучшей, передовой части человѣчества. Это желательно, это—огромное преимущество, но требовать этого нельзя. Требуется

лишь одно: чтобы художникъ былъ человѣкъ, которому ничто человѣческое не чуждо, который способенъ, хотя бы только во время творчества, возвыситься *до гуманнаго отношенія къ людямъ, до искренняго—человѣчнаго—сочувствія всякому человѣческому горю и всякой радости, до справедливости и безпристрастія при оцѣнкѣ дѣйствій и ихъ мотивовъ.* Нетрудно видѣть, что все это является органическою принадлежностью все того же *реализма* въ искусствѣ, ибо безъ соблюденія указаннаго требованія картина жизни и человѣческихъ отношеній окажется неправильною, фальшивою, не воспроизводящею правду вещей, ихъ психологическую и моральную перспективу. Выйдетъ рисунокъ на одной плоскости, безъ соблюденія пропорцій.

Вотъ именно для соблюденія «пропорцій», для надлежащаго освѣщенія явленій, художнику-реалисту необходимо въ извѣстной мѣрѣ «отрѣшиться» отъ изображаемой жизни, взглянуть на нее, если не съ высоты, то по крайней мѣрѣ со стороны, а не рисовать ее, сидя въ самой гущѣ жизни. Ставъ поодаль, художникъ имѣетъ возможность взглянуть на нравы, отношенія, понятія, предразсудки, страсти и т. д. изображаемой среды—не какъ на свои, а какъ на чужіе, и этимъ создается возможность освѣщенія и оцѣнки ихъ съ гуманной точки зрѣнія.—Всего легче и проще достигается это въ тѣхъ случаяхъ, когда художникъ избираетъ предметомъ творчества не современную жизнь, а историческое прошлое, котораго понятія, идеалы, нравы ему настолько чужды, что онъ можетъ отнестись къ нимъ—какъ постороннiй, какъ «отрѣшенный» отъ нихъ. Это—другая причина, почему именно въ области исторической беллетристики истинный художественный реализмъ восторжествовалъ раньше, чѣмъ въ беллестристикѣ, посвященной изображенію современной поэту дѣйствительности.

Обращаясь къ Пушкину, я укажу прежде всего на тотъ фактъ, что у него «отрѣшеніе отъ изображаемой жизни» сказалось съ большою опредѣленностью уже въ первой половинѣ 20-хъ годовъ и шло все усиливаясь по мѣрѣ того, какъ онъ переходилъ отъ романтическаго творчества къ реальному. Высшей степени оно достигло въ послѣднихъ главахъ «Евг. Онѣгина», въ исторической беллетристикѣ, въ «драматическихъ опытахъ».

Прослѣдимъ этотъ процессъ въ его важнѣйшихъ стадіяхъ.

Въ началѣ 20-хъ годовъ Пушкинъ отдавалъ свою дань модному тогда *байронизму*. Въ этой—«байронической»—формѣ отщепенство, очень радикальное на словахъ, было, на самомъ дѣлѣ, очень поверхностнымъ. Байроническая отрѣшенность отъ жизни и среды не имѣла глубокихъ корней въ душѣ и походила на тотъ психологическій романтизмъ, который свойственъ юности и благополучно проходитъ въ какіе-нибудь два—три года. У нашихъ молодыхъ байронистовъ 20-хъ годовъ мы видимъ совмѣщеніе естественнаго романтизма возраста съ искусственнымъ, напускнымъ байронизмомъ. Для художника-реалиста этотъ родъ отрѣшенности въ лучшемъ случаѣ не нуженъ, а по большей части замѣтно вредитъ ему, направляя его мысль по ложному пути и задерживая въ немъ развитіе подлинной —психологической—отрѣшенности, которая, какъ и всякое глубокое чувство, не нуждается въ декламаціи.

Пушкинъ быстро прошелъ этотъ фазисъ, отдѣлавшись отъ напускного байронизма ранними поэмами и нѣсколькими лирическими стихотвореніями. При этомъ нужно отмѣтить, что въ самый разгаръ своихъ байроническихъ увлеченій и настроеній онъ чувствовалъ ихъ фальшь и уже догадывался, что они не способны овладѣть имъ надолго и сдѣлаться прочною пружиною его творчества.

«*Кавказскій Плѣнникъ*» (1821 г.)—*самая наивная* изъ романтическихъ поэмъ Пушкина, и, написавъ ее, Пушкинъ сейчасъ же понялъ, что разочарованность героя, которую онъ воспроизвелъ превосходными стихами, не заслуживала столь серьезнаго отношенія,—въ письмѣ къ Горчакову (того же 1821 года) онъ говорилъ: «я въ немъ хотѣлъ изобразить это равнодушіе къ жизни и ея наслажденіямъ, эту преждевременную старость души, которыя сдѣлались отличительными чертами молодежи XIX вѣка...» Если это такъ, то, очевидно, героя поэмы слѣдовало бы воспроизвести реалистически и cum grano salis, въ родѣ того, какъ изображенъ Ленскій, а не романтически,—въ особенности не слѣдовало «воспѣвать» разочарованность героя такъ, какъ она «воспѣта» въ знаменитой тирадѣ:

Въ Россію дальній путь ведетъ,
Въ страну, гдѣ пламенную младость
Онъ гордо началъ, безъ заботъ и т. д.

Романтическій и байроническій періодъ въ творчествѣ Пушкина, открывшійся «*Кавказскимъ Плѣнникомъ*», завершился «*Цыганами*» (1824 г.), поэмою, которую причисляютъ къ числу безсмертныхъ созданій Пушкина. Она, дѣйствительно, великолѣпна—въ своемъ родѣ, со всѣми условностями романтическаго изображенія того, «чего не бываетъ». Она очень годится для декламаціи. Въ особенности хорошо декламировать слова Алеко:

....Когда бъ ты знала,
Когда бы ты воображала
Неволю душныхъ городовъ!
Тамъ люди въ кучахъ, за оградой
Не дышатъ утренней прохладой,
Ни вешнимъ запахомъ луговъ;
Любви стыдятся, мысли гонятъ,
Торгуютъ волею своей,
Главы передъ идолами клонятъ,
И просятъ денегъ да цѣпей!..

Къ чести Пушкина нужно сказать, что это декламируетъ не онъ, а Алеко, и что къ этому разочарованному герою и совершенному эгоисту поэтъ относится отрицательно, изрекая ему, устами старика цыгана, суровый приговоръ.

По исполненію, «Цыганы»—самая романтическая изъ поэмъ Пушкина. Въ «Кавказ. Плѣнникѣ», въ «Бахчисарайскомъ Фонтанѣ», въ «Братьяхъ разбойникахъ» есть реальныя черты, хотя и представленныя романтически,—въ «Цыганахъ»—все романтично, все условно. И тѣмъ не менѣе, «Цыганами» заключился романтическій періодъ Пушкина: это—«поэтическое прощаніе» съ романтизмомъ, и въ то же время это—*моральное осужденіе* той байронической формы отщепенства, которая здѣсь представлена въ лицѣ Алеко. Въ другомъ мѣстѣ я назвалъ «Цыганъ» романтическою поэмою, написанною поэтомъ-реалистомъ. Въ ту пору Пушкинъ уже рѣшительно переходилъ отъ романтизма къ реализму: первыя двѣ главы «Евг. Онѣгина» были уже написаны, и поэтъ работалъ надъ третьей. Ужъ это одно заставляетъ насъ быть на-сторожѣ и не соблазняться тѣмъ, что самъ Пушкинъ еще недавно раздѣлялъ байроническія и «демоническія» настроенія героя, что этотъ герой

названъ «Алеко» (т. е. Александромъ), и, наконецъ, что самъ Пушкинъ однажды присталъ къ цыганскому табору. Несмотря на все это, Алеко—не Пушкинъ, и то байроническое отщепенство, которое представлено въ лицѣ Алеко, уже не было отщепенствомъ Пушкина. Въ «Цыганахъ» онъ осудилъ его—съ моральной и гуманной точки зрѣнія, воздержавшись отъ другой формы осужденія,—отъ насмѣшки, которую онъ приберегъ для «Онѣгина».

Первая стадія «отщепенства» Пушкина, — отщепенства внѣшняго, «байроническаго», заканчивалась въ 1823—1824 гг., и первыя главы «Евг. Онѣгина», относящіяся къ этому времени, можно разсматривать какъ переходную ступень къ другой, болѣе глубокой по существу и смягченной по внѣшности, формѣ, которую мы назовемъ уже не «отщепенствомъ» разочарованнаго эгоиста, пресыщеннаго жизнью или преждевременно состарившагося душою, а—«отрѣшенностью» художника-реалиста, который, любя жизнь и людей, глубоко интересуясь ими, не разрывая связей съ жизнью, умѣетъ, однако, смотрѣть на нее со стороны и съ высоты.

Романтическія и байроническія осложненія отпали,—вмѣстѣ съ ними спала съ глазъ повязка, и поэтъ увидѣлъ и почувствовалъ подлинную жизнь. Ему открылось новое поприще—*художественнаго познанія жизни*. Отнынѣ онъ будетъ изучать ее, присматриваться къ ней, и найдетъ здѣсь много человѣчески-интереснаго,—неисчерпаемый источникъ «ума холодныхъ наблюденій и сердца горестныхъ замѣтъ». И ему станетъ ясно, что для успѣшности этого познанія жизни нужно одно: какъ можно меньше выдумывать, сочинять и—перестать декламировать. Его отношенія къ дѣйствительности все больше будутъ походить на отношенія ученаго естествоиспытателя къ природѣ. Онъ сдѣлается наблюдателемъ и создастъ себѣ «лабораторію» художническихъ наблюденій и опытовъ. И вскорѣ въ этой «лабораторіи» реалистическаго творчества онъ достигнетъ той высоты созерцаній, на которой ему уже незачѣмъ говорить объ «ума холодныхъ наблюденіяхъ и сердца горестныхъ замѣтахъ», а достаточно ихъ имѣть, и остается только — рисовать жизнь такою, какою она представляется ему съ этой высоты. На этой ступени поэтъ переходитъ къ третьей стадіи «отрѣшенности» — къ тому *спокойствію творчества*, которое нерѣдко вводитъ насъ въ заблужденіе, заставляя думать, будто

душа поэта—только зеркало, пассивно отражающее жизнь и міръ; личность поэта намъ не видна, и намъ кажется, что онъ творитъ какъ-то непроизвольно, бездушно, безстрастно. Въ дѣйствительности, здѣсь совершаются могучіе процессы обобщающей мысли, здѣсь поэтъ переживаетъ въ сгущенномъ видѣ огромную сумму человѣческихъ переживаній, здѣсь скопляются сокровища идей и скорбей; это уже не просто «ума холодныя наблюденія и горестныя замѣты сердца», это—нѣчто гораздо большее, но все это богатство мысли и чувства скрыто подъ высшею *объективностью* творчества, которая, въ сферѣ искусства, является психологическимъ гомологомъ философскаго спокойствія, опредѣляемаго изреченіемъ Спинозы: «не плакать, не смѣяться, а понимать».

Пушкинъ достигъ этой стадіи «отрѣшенности» къ концу 20-хъ годовъ, и однимъ изъ геніальныхъ созданій его, гдѣ сказалась высшая объективность его творчества, былъ отрывокъ «*Галубъ*» (1829—1833). Читая «Галуба», мы живо чувствуемъ разстояніе, отдѣляющее эту вещь отъ романтическихъ поэмъ Пушкина. Тутъ нѣтъ и тѣни романтической идеализаціи «нравовъ горцевъ», нѣтъ и той условности, съ какой представлены «природы бѣдные сыны»—цыгане съ ихъ якобы натуральною правдою отношеній и небывалою гуманностью морали. Жестокіе нравы и дикія понятія горцевъ, обычай кровной мести, все это представлено здѣсь—какъ несомнѣнное и глубокое варварство. Но *какъ* это сдѣлано? Старикъ Галубъ, вѣрный представитель стараго варварства и дикихъ понятій, говоритъ такъ, что мы живо чувствуемъ его правоту. Онъ защищаетъ свою варварскую правду, святыню вѣрованій и понятій, завѣщанныхъ вѣками,—мораль, освященную религіей. Прислушайтесь къ его страстной рѣчи, клокочущей негодованіемъ: это говоритъ человѣкъ, который субъективно – правъ и сознаетъ свою правоту. Но стоитъ только обратить вниманіе на отрывистыя, почти робкія реплики сына, отступника отъ священнѣйшихъ завѣтовъ варварской морали, чтобы понять, какъ безповоротно осуждена самимъ ходомъ вещей эта архаическая «правда» со всею системою понятій, на которыхъ она основана, и какъ глубоко неправъ старикъ Галубъ, отстаивающій старое безчеловѣчное, когда уже есть новое человѣчное. Пока послѣдняго не было, старая варварская правда оставалась правдою. Теперь, передъ лицомъ но-

ваго завѣта—любви, состраданія, прощенія, она уже—величайшая неправда, и человѣкъ, ее защищающій, при всей своей субъективной правотѣ, является преступникомъ предъ человѣчествомъ. И чѣмъ онъ убѣжденнѣе, чѣмъ онъ искреннѣе, тѣмъ онъ преступнѣе.

Такова глубокая идея отрывка. Но какъ она «проведена»? Она вовсе не «проведена»: *она осуществляется*. Поэтъ стоитъ на огромной высотѣ общечеловѣческихъ, историческихъ созерцаній, и оттуда онъ видитъ ходъ вещей, движеніе человѣчества—отъ варварства къ человѣчности. И онъ спокоенъ—какъ мыслитель, у котораго слезы, смѣхъ и негодованіе давно перешли въ «пониманіе», какъ соціологъ, который, изучая, напримѣръ, каннибализмъ, подавляетъ въ себѣ чувство отвращенія и негодованія или, лучше сказать, оставляетъ это чувство для себя, а въ своей ученой работѣ изслѣдуетъ всѣ эти ужасающія звѣрства съ объективностью и спокойствіемъ натуралиста.

На этой высотѣ, гдѣ царитъ *спокойствіе* творческой мысли, художникъ, мыслитель и ученый, преслѣдуя цѣль объективнаго познанія вещей, вмѣстѣ съ тѣмъ добываютъ для человѣчества и другое благо, тѣсно связанное съ познаніемъ,—неоцѣненное благо *справедливости*.

«Галубъ» — твореніе, прежде всего, *глубоко справедливое*.

Поэтъ заставилъ насъ почувствовать и понять субъективную правоту Галуба; онъ далъ намъ возможность быть справедливыми въ сужденіи о немъ и въ самомъ осужденіи его. Давъ намъ эту возможность, онъ вмѣстѣ съ тѣмъ помогъ намъ въ трудномъ дѣлѣ—развитія въ насъ *гуманности*.

Тѣмъ же характеромъ справедливости и гуманности запечатлѣны и «драматическіе опыты» Пушкина, творенія, созданныя на той же высотѣ объективныхъ созерцаній и принадлежащія къ той же стадіи «отрѣшенности». На этой стадіи процессъ художественнаго творчества, по своей психологіи и по своей этикѣ, очень близко подходитъ къ процессу научнаго и философскаго познанія.

Здѣсь съ особенною ясностью обнаруживается его истинная природа—какъ *процесса познавательнаго, равносильнаго и равноправнаго научно-философскому*. И между прочимъ тутъ, на этой высотѣ обобщающихъ образовъ искусства и обобщаю-

щихъ отвлеченій науки и философіи, отчетливо выступаетъ одна черта, въ которой родство процессовъ художественнаго и научно-философскаго переходитъ въ тождество; это—пунктъ, на которомъ ихъ пути перекрещиваются, чтобы потомъ опять разойтись. Эту черту можно назвать *«творческою наблюдательностью»*. Она упражняется и развивается въ процессѣ изученія, изслѣдованія, познаванія, все равно какого—философскаго, научнаго или художественнаго. Человѣкъ пріучается *наблюдать*,—привычка, вообще говоря, довольно рѣдкая. Въ практикѣ жизни она не находитъ достаточнаго поприща: за дѣломъ и бездѣльемъ намъ нѣкогда наблюдать, — надо жить или дѣлать видъ, что живешь; а кромѣ того, наблюденіе предполагаетъ запасъ готовыхъ общихъ идей, какъ категорій, въ которыхъ укладываются факты и гдѣ они находятъ себѣ предварительное обобщеніе или, по крайней мѣрѣ, классификацію. Человѣку, не отрѣшенному отъ жизни и поглощенному ея сутолокою, не до «классификаціи фактовъ», кромѣ, конечно, той, которая имѣетъ практическое значеніе. По общему правилу (есть, разумѣется, много исключеній), человѣкъ жизни—не наблюдатель.

Даръ наблюдательности есть способность интересоваться фактомъ независимо отъ его практическаго значенія. Для призваннаго наблюдателя иной ничтожный фактъ, не играющій никакой роли въ дѣйствительной жизни, или, можетъ быть, уже не существующій, т. е. принадлежащій прошлому, можетъ представлять огромный интересъ—какъ матеріалъ и элементъ познанія, способный пролить свѣтъ на вопросы, интересующіе наблюдателя. Оттуда—вниманіе и зоркость наблюдателей, оттуда и ихъ бережное, почти любовное отношеніе къ фактамъ, оттуда и ихъ умѣніе обращаться съ ними, группировать ихъ въ стройную систему, классификаціонную или иную, или въ художественную картину, гдѣ они находятъ себѣ истолкованіе и обнаруживаютъ свой смыслъ.

Призванный художникъ, не меньше ученаго, является *усерднымъ собирателемъ фактовъ, наблюдателемъ*. Но для этого ему необходима та отрѣшенность отъ жизни, при которой онъ освобождается отъ власти ея сутолоки, ея дѣловитости, ея разсѣянія. На извѣстной ступени отрѣшенности, при наличности, конечно, соотвѣтственнаго таланта, у художника развивается вкусъ и даръ наблюдательности, приближающіе его

къ типу ученаго натуралиста. Онъ собираетъ и крупные, и мелкіе факты, обрабатываетъ ихъ, «классифицируетъ» и слагаетъ изъ нихъ своего рода «систему»,—картину жизни, быта, эпохи, типы людей, психологію характеровъ.

Читайте беллетристическую прозу Пушкина, въ особенности такія вещи, какъ «Арапъ Петра Великаго», «Капитанская дочка», «Пиковая дама», — и вы поймете, что̀ такое высшее художественное творчество, реализмъ котораго есть гомологъ реализма научнаго, и гдѣ наблюдательность поэта совпадаетъ съ наблюдательностью натуралиста, а художественная точность равносильна точности заправскаго ученаго. Тутъ бросаются въ глаза и другія черты сходства: бережное отношеніе къ факту, безпристрастіе, объективность, стремленіе къ доказательности, къ убѣдительности, осмотрительность. устраненіе противорѣчій, соблюденіе «правилъ» художественной логики, строгость метода.

Обратите вниманіе на самый языкъ и слогъ прозы Пушкина: это образецъ сжатости, точности, ясности, опредѣленности,—образецъ *научнаго языка*, которому могъ бы позавидовать заправскій ученый.

Знаменательно также *отсутствіе лиризма* въ художественной прозѣ Пушкина. Можетъ быть, это объясняется тѣмъ, что для лирики Пушкинъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи лучшее орудіе,—великолѣпный, гибкій, виртуозный стихъ, и когда являлись у него лирическія вдохновенія, — они естественно (направляясь въ «сторону наименьшаго сопротивленія») выливались стихами. Свободная отъ лирики, сдержанная, спокойная, точная проза Пушкина являлась наилучшимъ органомъ его чисто-образнаго, наблюдательнаго творчества, столь близкаго къ научному, и давала результатамъ этого художественнаго творчества самое подходящее, «адэкватное» выраженіе.

На этой высотѣ творчества, какъ научно-философскаго, такъ и художественнаго, личность—ученаго, мыслителя, поэта—скрывается отъ нашихъ взоровъ: мы его не видимъ, и не онъ говоритъ, а говорятъ факты, имъ собранные, изслѣдованные, обработанные и сгруппированные. Въ «Арапѣ Петра Великаго» Пушкинъ перенесъ насъ въ эпоху Петра, а самъ куда-то исчезъ.

На этой почвѣ возможны «мистификаціи», въ родѣ той,

какую продѣлалъ Пушкинъ въ повѣстяхъ Бѣлкина и въ «Исторіи села Горохина»: отъ высшаго безпристрастія и объективности до попытки сліянія съ міромъ изображаемыхъ явленій— уже не далеко. Взглянуть на вещи не своими, а чужими глазами, разсуждать не своею логикою, а логикою И. П. Бѣлкина, это—уже крайность, родъ фокуса, мысль о которомъ могла прійти въ голову только *объективному* художнику, наблюдателю, исчезающему за наблюдаемыми явленіями.

3.

**„Ты царь: живи одинъ. Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ“...**

Эти стихи служатъ превосходною формулою для обозначенія тѣхъ духовныхъ благъ, какихъ достигаетъ поэтъ на пути «*психологической отрѣшенности*» отъ «общества», понимаемаго въ обширномъ смыслѣ—соціальной среды со всѣми ея подраздѣленіями, учрежденіями, нравами, понятіями и такъ-называемымъ «духомъ времени». У поэта, въ особенности художника-реалиста эта «отрѣшенность» никогда не бываетъ полною: иначе онъ лишился бы возможности творить, ибо образное искусство, какъ и лирика, есть дѣятельность *индивидуально-соціальная*, и она глохнетъ и увядаетъ при крайнемъ индивидуализмѣ, когда обрывается живая связь человѣка съ обществомъ. Дѣло идетъ не о полномъ и подлинномъ отщепенствѣ, а только о его фикціи или объ отщепенствѣ мнимомъ, которое сводится къ тому, что мы называемъ «психическою отрѣшенностью». Эта отрѣшенность можетъ быть болѣе и менѣе сложною или разностороннею; она можетъ выражаться идейнымъ и моральнымъ разладомъ поэта съ его средою; въ ней могутъ быть элементы общественнаго или политическаго протеста и т. д. Примѣръ наиболѣе полной и разносторонней отрѣшенности являютъ намъ такіе поэты, какъ Байронъ, Леопарди, Гейне. Но существо дѣла—не въ этихъ осложненіяхъ, не въ этой разнородности и полнотѣ, а въ томъ, что, *являясь ярко-выраженною индивидуальностью, поэтъ не можетъ мыслить и чувствовать— какъ «всѣ», по шаблону, и тяготится этимъ шаблономъ,*

каковъ бы онъ ни былъ, хорошій или дурной, прогрессивный или консервативный. Если индивидуальность поэта выражена не ярко, если онъ не геній, а просто—талантъ, то шаблонъ не стѣсняетъ его, а скорѣе помогаетъ его творчеству, результаты котораго легко могутъ пріобрѣсти огромную, но скоропреходящую популярность. Но если это—геній и слѣдов. ярко-выраженная личность и новаторъ, то шаблонъ, каковъ бы онъ ни былъ, ему нестерпимъ, какъ давленіе чужой и, что̀ хуже всего, коллективной воли, стремящейся не только ограничить свободу его творчества, но и переиначить его манеру чувствовать и видѣть, его способъ реагировать на впечатлѣнія, самую психологію его мысли и чувства.

И вотъ, отстаивая свое право—быть и оставаться самимъ собою, геній фатально приходитъ къ психологической отрѣшенности, цѣною которой онъ покупаетъ великое благо—внутренней свободы вообще, свободы творчества въ частности, рискуя, въ силу того, остаться непонятымъ и душевно-одинокимъ. Оттуда и этотъ порывъ, почти крикъ души, вовсе не горделивый, а только скорбный:

Поэтъ, не дорожи любовію народной!
Восторговъ и похвалъ пройдетъ минутный шумъ,—
Услышишь судъ глупца и смѣхъ толпы холодной...

Но *право* «оставаться самимъ собою» и не подчиняться шаблону, какъ и всякое право, предполагаетъ извѣстныя *обязанности*, и *свобода творчества*, какъ и всякая свобода, требуетъ *дисциплины*.

Обязанности сводятся къ строгому отношенію къ самому себѣ, къ своей работѣ:

. . . . . Ты самъ свой высшій судъ,
Всѣхъ строже оцѣнить умѣешь ты свой трудъ.
Ты имъ доволенъ ли, взыскательный художникъ?

Это, въ существѣ дѣла,—требованіе художнической *честности*. Поэтъ—лучшій судья своихъ произведеній въ томъ смыслѣ, что только онъ можетъ знать, явилось ли произведеніе болѣе или менѣе полнымъ выраженіемъ его замысла, его вдохновеній, или нѣтъ, было-ли оно «выношено», продумано, «выстрадано», или нѣтъ. Въ оцѣнкѣ достоинствъ и недостат-

ковъ своего произведенія поэтъ можетъ ошибаться, что̀ бывало нерѣдко. И тутъ, какъ и въ разъясненіи смысла и значенія произведенія, самъ поэтъ—вовсе не «высшій судъ»... Есть другія инстанціи — раціональная критика, приговоръ знатоковъ, судъ потомства. «Высшій судъ» поэта—это только *голосъ его совѣсти*, который говоритъ: да, я выразилъ то, что̀ переживалъ, думалъ, чувствовалъ—я *правдиво* выразился въ своемъ произведеніи, и потому я имъ доволенъ: оно поэтически-искренно.

Вотъ именно къ этой-то *искренности* прежде всего и обязываетъ право—быть самимъ собою, не слѣдовать шаблону. Соблюденіемъ даннаго требованія предотвращаются возможныя злоупотребленія этимъ правомъ. За ними не далеко ходить. Кому неизвѣстны случаи, когда поэтъ выступаетъ съ произведеніями, блещущими многими достоинствами содержанія и формы, но не являющимися подлиннымъ, искреннимъ выраженіемъ его души,—когда онъ говоритъ не то, что̀ думаетъ, и выражаетъ чувства, которыхъ онъ не пережилъ—даже въ видѣ фикціи. Кому неизвѣстно, что литературный талантъ легко совращаетъ поэта отъ настоящаго творчества къ болѣе или менѣе искусному, а иногда и великолѣпному сочинительству? Всѣ истинные поэты переживаютъ «муки творчества» и знаютъ, что въ составъ этихъ «мукъ» входитъ и борьба съ соблазномъ сочинительства, съ ложью слова, съ реторикою чувства, мысли и ихъ выраженія, съ коварною легкостью художественныхъ эффектовъ, съ всѣми кунстштюками и выдумками, накопившимися за вѣка литературнаго развитія и всегда находящимися въ распоряженіи такихъ мастеровъ «литературнаго дѣла», какими въ большинствѣ случаевъ и являются поэты. Сочинительство и творчество перемѣшиваются самымъ причудливымъ образомъ—почти во всякомъ сочинительствѣ есть доля творчества, и почти во всякомъ творчествѣ найдутся элементы сочинительства, хотя бы скрытые. Тургеневъ имѣлъ неосторожность сказать (въ одномъ письмѣ), что отъ литературы Золя, Додэ, Гонкуровъ «воняетъ литературою»: онъ забылъ, что его собственное творчество отдаетъ тѣмъ же запахомъ. Въ ряду нашихъ великихъ художниковъ есть только одинъ, произведенія котораго (всѣ безъ исключенія) были плодомъ творчества, свободнаго отъ всякой примѣси сочинительства,—творчества, въ которомъ «литературное мастерство»

не участвовало: это—*Л. Н. Толстой*, и въ этомъ одно изъ его правъ на исключительное мѣсто въ міровой поэзіи.

Само по себѣ литературное сочинительство—не грѣхъ, и въ міровой литературѣ найдется не мало замѣчательныхъ произведеній этого рода, сыгравшихъ крупную роль въ умственномъ и моральномъ развитіи человѣчества. Можно сказать и такъ: сочинительство—отличный суррогатъ творчества. Для писателей, лишенныхъ творческаго дара, оно неизбѣжно; зачастую оно даетъ хорошіе результаты. Но для призванныхъ творцовъ въ искусствѣ оно является помѣхою,—какъ соблазнъ подмѣнить творчество его суррогатомъ.

У Пушкина элементъ сочинительства занималъ видное мѣсто въ первомъ періодѣ его литературной дѣятельности (1819—1825) [1]) и ярко выразился въ его поэмахъ (отъ «Руслана и Людмилы» до «Цыганъ»), гдѣ проблески геніальнаго творчества уже видны подъ покровомъ литературнаго мастерства, въ своемъ родѣ геніальнаго. Настоящаго творчества въ этотъ періодъ нужно искать въ *лирикѣ* Пушкина,—какъ въ лиризмѣ отдѣльныхъ стихотвореній, такъ и въ лирическихъ мѣстахъ поэмъ.

По существу своего геніальнаго дарованія, Пушкинъ былъ призванъ, кромѣ лирики, къ великому творчеству въ духѣ художественнаго реализма. Складъ его огромнаго ума былъ строго и послѣдовательно реалистическимъ. Столь-же законченнымъ реализмомъ характеризуется и чувствующая сфера его души: у него реакція чувства на полученныя впечатлѣнія всегда нормальна, правильна; въ этой сферѣ нѣтъ у него той взвинченности или утрированной отзывчивости, какую проявляютъ натуры не столь уравновѣшенныя; его чувства, даже наиболѣе сильныя и бурныя, не являютъ намъ ничего «приподнятаго», ничего «гиперболическаго»,—они, если можно такъ выразиться, находятся въ гармоніи съ дѣйствительностью, съ «обстоятельствами дѣла». Для художника-реалиста реализмъ чувствъ не менѣе важенъ, чѣмъ реализмъ мысли.

Реалистическій геній Пушкина проявился около половины 20-хъ годовъ, и съ тѣхъ поръ въ его творчествѣ элементы сочинительства идутъ на убыль и къ 30-мъ годамъ почти со-

---

[1]) Лицейскій періодъ я здѣсь не принимаю во вниманіе.

всѣмъ исчезаютъ. Этотъ ростъ генія не обошелся безъ сознательныхъ усилій—бороться съ соблазнами сочинительства, которые для Пушкина, великаго мастера литературной формы, виртуоза въ искусствѣ владѣть стихомъ, должны были представлять серьезную опасность. И вотъ мы видимъ, что уже въ половинѣ 20-хъ годовъ онъ овладѣваетъ своимъ талантомъ, контролируетъ его, старается управлять его силами. Работая надъ «Борисомъ Годуновымъ», онъ писалъ Раевскому (въ 1825 г.): «Я пишу и думаю. Большая часть сценъ требуетъ только *разсужденія;* когда же дохожу до сцены, требующей *вдохновенія, то выжидаю или перескакиваю* черезъ нее. *Это способъ работы для меня совершенно новый. Я чувствую, что душа моя совсѣмъ развернулась — я могу творить*» [1]).

«*Разсужденіе*», о которомъ онъ говоритъ здѣсь, конечно,— *не «проза»* это—не процессъ отвлеченной мысли,—вѣдь онъ работалъ надъ трагедіей, а не надъ научнымъ изслѣдованіемъ или философскимъ трактатомъ. Это, очевидно, процессъ художественной (образной) мысли, но только по преимуществу сознательный, не интуитивный, работа творческая, но поставленная подъ неусыпный контроль со стороны раціональныхъ силъ мысли: тутъ и сознательный выборъ чертъ и красокъ, тутъ и взвѣшиваніе всѣхъ обстоятельствъ дѣла, и стараніе соблюсти правдоподобіе, избѣжать противорѣчій, устранить возможные недочеты художественнаго письма или психологическаго анализа. Этого рода творчество, являющееся главнымъ орудіемъ реальнаго искусства, всего ближе подходитъ къ научному и не лишено прозаическихъ элементовъ, т. е. участія безъобразныхъ понятій; но послѣднія играютъ роль подчиненную и вспомогательную,—главная же ткань мысли сплетается изъ образныхъ элементовъ, и въ результатѣ получается не отвлеченное понятіе, а художественный образъ. То, что Пушкинъ назвалъ «разсужденіемъ», было по существу *мышленіемъ образнымъ*, и мы его опредѣлимъ терминомъ: «раціональное и сознательное художественно - реалистическое мышленіе».—

Подъ «*вдохновеніемъ*», конечно, разумѣется *безсознательная художественная интуиція*, но, повидимому, не чистообразная, а сопровождающаяся *лирическою эмоціею*, какъ это часто бывало у Пушкина. И вотъ онъ «выжидаетъ» или

[1]) Курсивъ вездѣ мой.

«перескакиваетъ черезъ сцену», требующую «вдохновенія», — если оно не является. А между тѣмъ ему было бы такъ легко прибѣгнуть тутъ *къ суррогатамъ*: къ поддѣльному или искусственно вызванному «вдохновенію», къ литературному «изображенію", къ реторикѣ красивыхъ словъ, какихъ у него былъ неисчерпаемый запасъ, къ обманчивому переливу и звону стиховъ, ласкающихъ ухо и настраивающихъ душу на тотъ или иной ладъ,—какъ нужно въ данномъ случаѣ. Поэтъ отказывается отъ этихъ фокусовъ. Онъ не хочетъ сочинять; онъ хочетъ творить. И онъ чувствуетъ, что *можетъ творить*: его «душа совсѣмъ развернулась»— для настоящаго творчества. Не трудно видѣть, что она развернулась не только силою естественнаго роста генія, но и благодаря сознательному контролю разума, которому поэтъ подчинилъ свою художественную работу.

Это уже была часть той *дисциплины*, которую требуетъ *свобода творчества*.

Говорю: «часть», потому что этимъ не ограничивается поэтическая дисциплина: она выходитъ за предѣлы художественнаго творчества и простирается на всю психику человѣка.

Тутъ дѣло идетъ не о томъ только, чтобы контролировать свою художественную работу и не подмѣнять творчества сочинительствомъ. Дѣло идетъ и о томъ, чтобы воспитаться въ духѣ пріемовъ, методовъ и нормъ прогрессирующаго мышленія и человѣчнаго чувствованія. Для этого необходимо вѣчно стремиться—«въ просвѣщеніи стать съ вѣкомъ наравнѣ», идти впередъ, слѣдуя завѣту:

На поприщѣ ума нельзя намъ отступать.

Необходимо отрѣзать себѣ всѣ пути назадъ, уничтожить возможность рецидива. Пушкинъ говоритъ «поэту»:

Дорогою свободной
Иди, куда влечетъ тебя свободный умъ,
Усовершенствуя плоды любимыхъ думъ...

Нельзя «совершенствовать» эти «плоды», если поэтъ самъ не идетъ впередъ и самъ не совершенствуется,—какъ умъ и

какъ моральная личность, если онъ остановился или повернулъ назадъ, что̀, къ сожалѣнію, часто бываетъ.

Свобода творчества не значитъ произволъ и только тогда и цѣнна, когда поэтъ совершенствуется, подчиняясь строгой дисциплинѣ ума, чувства, морали,—той дисциплинѣ, которая вѣками вырабатывалась въ передовой части человѣчества и образуетъ его лучшее достояніе, залогъ лучшаго будущаго.

Было бы ошибкою сказать, что у Пушкина эта дисциплина была уже совершившимся фактомъ и осуществилась полностью. Но несомнѣнно, что она была въ психологическомъ родствѣ съ природнымъ укладомъ его ума и натуры, что онъ стремился къ ней сознательно, и она уже проявлялась, если не во всей его жизни и дѣятельности, то, по крайней мѣрѣ, въ его творчествѣ. Здѣсь онъ не отставалъ отъ вѣка, мыслилъ такъ, какъ подобаетъ мыслить человѣку XIX-го столѣтія, его чувства были чувствами не варвара, а высоко-гуманной личности, его идеи и созерцанія были въ согласіи съ лучшими завѣтами благороднѣйшихъ умовъ новаго времени.

XII.

Историческая интуиція Пушкина.

Историческая интуиція Пушкина достаточно извѣстна. Почти всѣ, писавшіе о немъ, сходятся въ оцѣнкѣ этой стороны его творчества,—всѣ, начиная Бѣлинскимъ, признаютъ, что Пушкинъ обладалъ изумительнымъ чутьемъ историческаго прошлаго, умѣлъ улавливать духъ различныхъ эпохъ—отъ временъ античной древности до XVIII-го вѣка включительно. Въ его произведеніяхъ историческаго характера жизнь и люди прошлаго воскресали, производя иллюзію, будто поэтъ—ихъ современникъ и пишетъ съ живой натуры.

Нѣтъ надобности на этомъ настаивать и пояснять это примѣрами. Для насъ важнѣе—присмотрѣться къ тѣмъ пріемамъ, помощью которыхъ Пушкинъ такъ легко и свободно переносился въ минувшее.

Эти пріемы суть слѣдующіе:

*

1) *Образно-лирическіе*: поэтъ улавливаетъ и усваиваетъ себѣ *натуральный лиризмъ* данной эпохи и, воспроизводя его, самъ переносится и насъ переноситъ въ эту эпоху (яркій примѣръ: «Подраженія Корану»);

2) *Пріемы образнаго* (*чисто художественнаго*) *творчества съ участьемъ, какъ подспорья, явной или скрытой лирики историческихъ воспоминаній* (такъ это напр. въ «Полтавѣ» и въ стихотвореніи «Къ вельможѣ»);

3) *Пріемы чисто-образные—безъ слѣдовъ какого бы то ни было лиризма* (напр. «Арапъ Петра В.», «Капитанская дочка»).

Обращаясь къ разсмотрѣнію первой рубрики, укажу сперва на то, что этотъ—лирическій—пріемъ есть частный случай того постиженія чужой души путемъ усвоенія ея натуральной лирики, о которомъ мы говорили выше: человѣческая психика всего лучше раскрывается *эмоціями* вообще, *лирическими* въ частности. Проникновеніе въ психологію, въ интимный міръ людей прошлаго совершается тѣмъ же способомъ: оно было бы либо крайне затруднено, либо совсѣмъ невозможно, если бы мы ничего не знали о ихъ эмоціяхъ, аффектахъ, страстяхъ, и если бы до насъ не дошли продукты ихъ лирическаго творчества.

Каждый изъ насъ по опыту знаетъ, какъ ярко оживаетъ наше личное прошлое, давно, казалось бы, забытое, когда мы вдругъ вспоминаемъ радости и горести дѣтства или слышимъ пѣсню, которую нѣкогда пѣвала намъ мать или няня.

Нѣчто подобное происходитъ и въ области, если можно такъ выразиться, «исторической памяти», или, скажемъ точнѣе, историческихъ изученій. На этомъ-то и основаны несомнѣнныя права *художественной исторіографіи*, которая воспроизводитъ не только событія съ ихъ причинами и слѣдствіями, не только учрежденія, нравы, вѣрованія, умственную жизнь и всю культуру эпохи, но и *эмоціональную жизнь* людей,—ихъ чувства, страсти, аффекты, наконецъ, ихъ натуральную, психологическую лирику.

Но для того, чтобы пользоваться лирикою прошлаго, какъ средствомъ для его познанія, необходимо имѣть въ своемъ распоряженіи запасъ лирическихъ эмоцій—больше того, какимъ обычно располагаетъ средній человѣкъ. При томъ богатствѣ

ихъ, какое мы видимъ у Пушкина, при той изумительной чуткости, какая была свойственна ему, — постиженіе и воспроизведеніе лиризма прошлаго является кратчайшимъ путемъ къ возстановленію этого прошлаго и служитъ психологическимъ основаніемъ того, что̀ принято называть *историческою интуиціею* [1]).

Лирическая интуиція Пушкина съ особенною яркостью проявилась въ «*Подражаніяхъ Корану*», гдѣ звучатъ специфическія мелодіи арабскаго религіознаго лиризма, которыя чуткое ухо Пушкина уловило во французскомъ переводѣ священной книги мусульманъ. Религіозная лирика, въ разныхъ религіяхъ различная, воспринимается труднѣе, чѣмъ другіе виды лирики: чтобы восчувствовать ее и проникнуться ею, нужно войти, такъ сказать, въ курсъ даннаго религіознаго дѣла, постичь духъ данной религіи и, если не стать ея адептомъ, то, по крайней мѣрѣ, на минуту почувствовать себя таковымъ. Тутъ необходима *психологическая фикція* религіозныхъ сочувствій вѣроученію, которому человѣкъ не можетъ сочувствовать,—фикція усвоенія понятій, ему чуждыхъ. Это достигается силою симпатическаго воображенія, въ особенности если оно—творческое, «конструктивное». Во всякомъ случаѣ это—дѣло не изъ легкихъ. Но для поэта-лирика задача упрощается. Стоитъ ему только подслушать и уловить два-три «лирическихъ мотива», составляющихъ характерную особенность данной религіи, — и онъ уже «въ курсѣ дѣла», ему открывается «паѳосъ» этой религіи, ея «душа», ея специфическая поэзія.

Прочтемъ:

Клянусь четой и нечетой,
Клянусь мечемъ и правой битвой,
Клянуся утренней звѣздой,
Клянусь вечернею молитвой:

---

[1]) Всякій *призванный* поэтъ-лирикъ обладаетъ ею въ той или иной мѣрѣ. Различіе—въ силѣ, въ глубинѣ, въ широтѣ историческихъ интуицій; не малую роль играетъ здѣсь и историческое образованіе, а также расовыя и національныя созвучія, — расовый и національный инстинктъ. Однимъ изъ величайшихъ представителей поэтическаго творчества, основаннаго на лирико-исторической интуиціи, былъ Г. Гейне. См. мой этюдъ о немъ въ V-мъ томѣ настоящаго „Собранія сочиненій“.

Нѣтъ, не покинулъ я тебя!
Кого же въ сѣнь успокоенья
Я ввелъ, главу его любя,
И скрылъ отъ зоркаго гоненья?
Не я ль въ день жажды напоилъ
Тебя пустынными водами?
Не я ль языкъ твой одарилъ
Могучей властью надъ умами?
Мужайся жъ, презирай обманъ,
Стезею правды бодро слѣдуй,
Люби сиротъ и мой Коранъ
Дрожащей твари проповѣдуй!

Вы улавливаете «темпъ», «ритмъ» (не только внѣшній, но и внутренній), «мелодію»? Если улавливаете, то вмѣстѣ съ тѣмъ вамъ должно быть ясно, что эта религіозная лирика не можетъ быть названа ни библейской (древне-еврейской), ни христіанской, ни какой-либо иной, кромѣ какъ мусульманской, и при томъ не вообще мусульманской, а спеціально той, которая возникла и звучала въ проповѣди Магомета, въ эпоху возникновенія его религіи.

Вотъ еще:

Земля недвижна. Неба своды,
Творецъ, поддержаны тобой,
Да не падутъ на сушь и воды
И не подавятъ насъ собой.
Зажегъ ты солнце во вселенной,
Да свѣтитъ небу и землѣ,
Какъ ленъ, елеемъ напоенный,
Въ лампадномъ свѣтитъ хрусталѣ.
Творцу молитесь: онъ—могучій;
Онъ правитъ вѣтромъ; въ знойный день
На небо насылаетъ тучи;
Даетъ землѣ древесну сѣнь.
Онъ милосердъ: онъ Магомету
Открылъ сіяющій Коранъ,
Да притечемъ и мы ко свѣту,
И да падетъ съ очей туманъ.

Извѣстно замѣчаніе Пушкина, относящееся къ этому отрывку: «плохая астрономія, зато какая поэзія!»—Очевидно, подъ «поэзіею» здѣсь нужно понимать *лирику*,—лирическій паѳосъ отрывка, ибо никакой иной «поэзіи» тутъ нѣтъ: образы, какіе даны здѣсь, не имѣютъ поэтическаго значенія,—они не являются *иносказаніемъ*,—они—точное и *прямое* (т. е. *прозаическое*) выраженіе архаическихъ понятій (астрономическихъ и физическихъ) и данныхъ религіозныхъ вѣрованій. Это—*проза*, а не *поэзія*, но вмѣстѣ съ тѣмъ это, несомнѣнно, лирика, именно специфическая лирика Корана. Чтобы уловить ея *ритмъ*, нужно проникнуться идеей мусульманскаго монотеизма и идеей религіозной миссіи Магомета. «Нѣтъ бога, кромѣ Бога, и Магометъ—пророкъ его». Это—ритмъ религіозной антитезы: «Богъ и Магометъ». Развитіе этой антитезы приводитъ къ созданію лирическихъ мелодій—въ родѣ тѣхъ, которыя даны въ двухъ приведенныхъ отрывкахъ.

Если для уловленія лирики Корана нужно было имѣть особливо-тонкій «лирическій слухъ», то еще бо̀льшая тонкость и чуткость его требовалась для того, чтобы угадать психологію давно угасшей и не получившей поэтическаго выраженія лирики старорусскаго монаха-лѣтописца. Поэтическая вообще и лирическая въ частности «бѣдность да бѣдность» нашей старой литературы достаточно извѣстна. Покойный А. А. Потебня не разъ указывалъ на это, онъ искалъ причину этого явленія въ аскетическомъ, церковномъ и монашескомъ, направленіи старой русской литературы, въ гоненіяхъ на все языческое, въ томъ, что подавляющее большинство писателей были монахи. «Слово о полку Игоревѣ», единственный поэтическій памятникъ древней Руси, было лишь, по мнѣнію Потебни, счастливымъ исключеніемъ, подтверждающимъ правило [1]).—Присоединяясь въ общемъ къ этому взгляду, я, однако, думаю, что онъ требуетъ нѣкоторой оговорки: въ монастыряхъ, въ тихихъ пу̀стыняхъ должна была

---

[1]) Поэтическими элементами искони изобиловалъ языкъ, но изъ языка они не проникали въ литературу (письменность), которая „лѣтъ 900 была лишена поэзіи“ (А. А. Потебня „Изъ записокъ по теоріи словесности“, стр. 116).—«...На Руси .. въ письменности съ X по XVII ст. включительно нѣтъ ни одного стихотворца; кромѣ „Слова о полку Игоревѣ“ ни одного поэтическаго произведенія, достойнаго этого имени,—между тѣмъ какъ въ нелитературныхъ слояхъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, живая струя поэзіи не прекращалась“ (тамъ же, стр. 120).

возникнуть своя поэзія, именно лирическая, но она не получила обработки, не была закрѣплена въ словѣ и—погибла. Иначе говоря, она оставалась на ступени натуральной психологической лирики и выливалась молитвою, раздумьемъ, созерцаніемъ, покаяніемъ. Это была лирика религіозно - отшельническая. Мы угадываемъ ее по нѣкоторымъ намекамъ, обмолвкамъ въ письменныхъ памятникахъ и по слѣдамъ, ею оставленнымъ въ извѣстныхъ произведеніяхъ устнаго народнаго творчества (въ такъ-назыв. «духовныхъ стихахъ»).

Историческій типъ древнерусскаго лѣтописца - монаха увѣковѣченъ въ искусствѣ *Пименомъ* Пушкина и «*Несторомъ*» Антокольскаго. Эти художественные образы, въ полномъ согласіи съ тѣмъ впечатлѣніемъ, какое мы выносимъ изъ чтенія лѣтописей, рисуютъ намъ этотъ типъ, если можно такъ выразиться, *какъ «эпическій»*, *а не «лирическій»*: передъ нами—повѣствователь, спокойный зритель событій, заносящій въ лѣтопись все, что знаетъ, что помнитъ или что—изъ этого запаса—представляется ему достойнымъ вниманія и закрѣпленія въ письменности,—но мы не находимъ въ немъ признаковъ или слѣдовъ лирическаго подъема, хотя бы только на религіозной почвѣ,—чего-либо, хотя бы отдаленно-напоминающаго западно-европейскаго средневѣкового монаха-поэта, монаха-художника, доступнаго вдохновенію молитвы, лиризму религіозныхъ созерцаній и мистики.

У Пушкина рѣчи Пимена эпичны, а не лиричны,—и это находится въ совершенномъ согласіи съ тѣмъ образомъ лѣтописца, который слагается у насъ, когда мы читаемъ лѣтописи. Конечно, въ лицѣ Пимена этотъ образъ идеализированъ: эпическое умонастроеніе стариннаго лѣтописца доведено до высшаго—почти философскаго—спокойствія,—и онъ уподобляется, если не мудрецу, то, по крайней мѣрѣ, «дьяку, въ приказахъ посѣдѣлому», который

Спокойно зритъ на правыхъ и виновныхъ,
Добру и злу внимая равнодушно,
Не вѣдая ни жалости, ни гнѣва...

Въ дѣйствительности наши старинные монахи-лѣтописцы не достигали такой высоты безстрастности и объективности, граничащихъ съ моральнымъ индифферентизмомъ. Они не были

равнодушны къ добру и злу, какъ они понимали то и другое; нерѣдко уклонялись они и отъ строгаго безпристрастія, не будучи чужды партійныхъ симпатій и антипатій; выступали они и съ изъявленіями своихъ личныхъ мнѣній, съ проповѣдями, обличеніями, филиппиками, при чемъ въ этихъ случаяхъ они моментально переходили отъ простого, иногда не лишеннаго живости и изобразительности изложенія на довольно-хорошемъ русскомъ языкѣ къ реторическимъ упражненіямъ на испорченномъ церковно-славянскомъ. Ни тутъ, ни тамъ нѣтъ ничего лирическаго [1]).

Тѣмъ не менѣе *натуральный лиризмъ* отшельничества,— антитезы монастырскаго уединенія и бурной жизни, кипящей за стѣнами обители, не могъ не возникать въ душѣ лѣтописца: тутъ былъ ритмъ противоположныхъ, но гармонирующихъ между собою чувствъ и думъ, ритмъ рѣзкаго контраста, настраивавшій лирически. Чутьемъ геніальнаго лирика Пушкинъ уловилъ психологическую возможность этой лирики. Пименъ говоритъ:

На старости я сызнова живу;
Минувшее проходитъ предо мною...
Давно ль оно неслось, событій полно,
Волнуяся, какъ море-окіянъ?
Теперь оно безмолвно и спокойно...
Немного лицъ мнѣ память сохранила,
Немного словъ доходитъ до меня,
А прочее погибло невозвратно!
Но близокъ день, лампада догораетъ—
Еще одно, послѣднее сказанье.

Подъ этими спокойными словами, выражающими настроеніе, а не эмоцію, однако, чувствуется психологическая возможность одной эмоціи,—именно лирической, основанной въ данномъ случаѣ на ритмическомъ сочетаніи мыслей и чувствъ, относящихся къ прошлому въ его противоположности настоящему. Это — въ возможности — лирика старческихъ воспоминаній, для осуществленія которой недостаетъ только одного: появленія эмоціи. Думается, что у Пушкина она и явилась, когда онъ

[1]) Единственное, если не ошибаюсь, исключеніе представляетъ отрывокъ какой-то поэмы, попавшій въ такъ назыв. Волынскую лѣтопись (въ Ипатьевскомъ сводѣ).

впервые набрасывалъ сцену въ Чудовомъ монастырѣ: это было одно изъ тѣхъ мѣстъ, которыя, по его выраженію, требовали «вдохновенія», а не «разсужденія»; и вдохновеніе въ данномъ случаѣ, повидимому, было не только художественнымъ, но и лирическимъ. Но поэтъ намѣренно подавилъ лирическую эмоцію, чтобы оставить Пимена Пименомъ, и не внести въ его характерныя рѣчи ничего своего, пушкинскаго. Лиризмъ поэта послужилъ ему только пріемомъ художественнаго познанія. Когда это познаніе, т. е. возсозданіе типичнаго образа лѣтописца-монаха, было достигнуто, тогда лирическій подъемъ поэта, сдѣлавъ свое дѣло, оказался ненужнымъ, и отъ него остался лишь слѣдъ,—намекъ на психологическую возможность лирическихъ настроеній Пимена.

Этотъ намекъ просвѣчиваетъ и въ томъ мѣстѣ, гдѣ Пименъ говоритъ объ Иванѣ Грозномъ и о смертномъ часѣ царя Ѳеодора:

Царь Іоаннъ искалъ успокоенія
Въ подобіи монашескихъ трудовъ...
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
Я видѣлъ здѣсь, вотъ въ этой самой кельѣ,
. . . . . .
. . . . . здѣсь видѣлъ я царя,
Усталаго отъ гнѣвныхъ думъ и казней:
Задумчивъ, тихъ сидѣлъ межъ нами Грозный.
Мы передъ нимъ недвижимо стояли,
И тихо онъ бесѣду съ нами велъ.
Онъ говорилъ игумну и всей братьѣ:
«Отцы мои, желанный день прійдетъ—
Предстану здѣсь, алкающій спасенья;
Ты, Никодимъ, ты, Сергій, ты, Кириллъ,
Вы всѣ—обѣтъ примите мой духовный:
Пріиду къ вамъ, преступникъ окаянный,
И схиму здѣсь честную восприму,
Къ стопамъ твоимъ, святый отецъ, припадши».
Такъ говорилъ державный государь,
И сладко рѣчь изъ устъ его лилася,
И плакалъ онъ. А мы въ слезахъ молились,
Да ниспошлетъ Господь любовь и миръ
Его душѣ, страдающей и бурной...

А сынъ его Ѳеодоръ? На престолѣ
Онъ воздыхалъ о мирномъ житіи
Молчальника...

. . . . . .

И Русь при немъ во славѣ безмятежной
Утѣшилась—а въ часъ его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, царю едину зримый,
Явился мужъ необычайно свѣтелъ,
И началъ съ нимъ бесѣдовать Ѳеодоръ
И называть великимъ патріархомъ...
И всѣ кругомъ объяты были страхомъ,
Уразумѣвъ небесное видѣнье...

Въ этихъ геніальныхъ строкахъ воскресла старая московская Русь въ эпоху послѣднихъ Рюриковичей, наканунѣ смуты. И, если вникнуть въ дѣло, станетъ ясно, что тутъ, подъ эпическимъ покровомъ рѣчи, дрожатъ лирическія струны: былъ своеобразный лиризмъ въ покаяніяхъ Грознаго, въ благочестіи Ѳеодора, который

. . . . . царскіе чертоги
Преобратилъ въ молитвенную келью,—

какъ былъ лиризмъ въ этихъ взаимоотношеніяхъ между возникавшимъ государствомъ съ его жестокими дѣлами съ одной стороны и монастырскими убѣжищами съ ихъ молитвами, видѣніями и чаяніями—съ другой. Антитеза дворца и монастыря, опричника и инока, плахи и кельи, данная самою жизнью, являлась источникомъ натуральнаго лиризма эпохи, который шевелился во множествѣ душъ, но, не находя поэта, способнаго дать ему творческое выраженіе, истрачивался по мелочамъ,—пока совсѣмъ не заглохъ. Такова ужь была судьба старой, допетровской Руси: возникало, шевелилось, намѣчалось многое и—глохло, замирало, истрачивалось—*за отсутствіемъ творчества*. Во всѣхъ сферахъ жизни были задатки развитія,—если можно такъ выразиться, его «сырой матеріалъ», но не было мастера, способнаго обработать этотъ «матеріалъ»,—вплоть до Петра Великаго не было творческаго генія.

Была «натуральная поэзія»—какъ матеріалъ личныхъ переживаній,—но не было ни одного настоящаго поэта, за исклю-

ченіемъ одинокаго автора «Слова о полку Игоревѣ». Безъ сомнѣнія, было много лирическихъ переживаній, какъ въ эпоху удѣловъ, такъ и въ эпоху собиранія Руси, — безъ лиризма настроеній, чувствъ, идей не обходились, конечно, ни бытовая жизнь, ни война, ни религія, ни смута, но этотъ запасъ лиризма въ лучшемъ случаѣ выливался въ форму народной пѣсни, которая пропадала въ шумѣ жизни и въ тишинѣ нашихъ степей; значительно-большая часть лирическихъ эмоцій, какія имѣлись въ обиходѣ жизни, оставалась невыраженною, незакрѣпленною словомъ.

Пушкинъ своимъ чуткимъ лирическимъ слухомъ на разстояніи вѣковъ подслушалъ одинъ изъ заглохшихъ лирическихъ мотивовъ старой Руси и въ рѣчахъ Пимена далъ и намъ возможность почувствовать его и вмѣстѣ съ тѣмъ понять, какъ онъ расплывался и исчезалъ въ эпичности настроенія и въ положительномъ содержаніи тѣхъ чувствъ и идей, съ которыми онъ былъ связанъ: религіозный лиризмъ растворялся въ религіи, бытовой—въ бытѣ, военный—въ войнѣ и т. д.,—для Руси еще не настало тогда время, когда является творческій геній лирики и извлекаетъ ее изъ разныхъ сферъ жизни и даетъ ей самостоятельное выраженіе.

Перехожу къ знаменитому посланію «Къ вельможѣ», какъ образцу произведенія, которое, *не будучи лирическимъ, однако предполагаетъ у поэта рядъ предварительныхъ лирическихъ переживаній особаго рода, именно тѣхъ, которыя могутъ быть названы «лирикою историческихъ воспоминаній»*.

Эти воспоминанія могутъ быть болѣе или менѣе отдаленными, т. е. относиться къ разнымъ эпохамъ. Они основываются на историческомъ изученіи, на знакомствѣ съ литературными и вещественными памятниками, напр. древнегреческими, древнеримскими, средневѣковыми и т. д., на устномъ преданіи, въ томъ числѣ и на классовыхъ и фамильныхъ традиціяхъ. Къ послѣднему роду относятся воспоминанія людей XIX-го вѣка о XVIII-мъ, какія мы находимъ, напр., у Пушкина, у Герцена и др.

Историческимъ воспоминаніямъ всякаго рода, чаще же всего тѣмъ, которыя основаны на классовыхъ и фамильныхъ традиціяхъ и относятся къ сравнительно-близкой эпохѣ, оставившей живые или полустертые слѣды въ настоящемъ, при-

сущъ своеобразный лиризмъ, гдѣ явственнѣе другихъ мотивовъ звучать ноты грустнаго раздумья. Встаютъ призраки угасшей, но еще недавно живой жизни, и изъ сочетанія подавленныхъ звуковъ и поблекшихъ красокъ прошлаго съ громкими голосами и яркими тонами настоящаго слагается гармоническій ритмъ думъ и чувствъ, легко вызывающій лирическую эмоцію большой силы. Та же эмоція возникаетъ въ сферѣ личныхъ воспоминаній, когда мы посѣщаемъ родныя мѣста, гдѣ провели дѣтство и юность,—или, по крайней мѣрѣ, вспоминаемъ эти мѣста, воскрешая въ памяти семейныя преданія. Это—одинъ изъ источниковъ лирической поэзіи, образчикомъ которой можетъ служить, напр., «Старый домъ» Огарева, стихотвореніе, вызывавшее у Герцена (лирика по натурѣ) повышенное лирическое настроеніе.

У Пушкина къ этому роду относится задушевное стихотвореніе «Вновь я посѣтилъ...» (1835), гдѣ онъ воскрешаетъ воспоминанія о «двухъ незамѣтныхъ годахъ», проведенныхъ имъ за 10 лѣтъ передъ тѣмъ въ Михайловскомъ:

Ужь десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ, и много
Перемѣнилось въ жизни для меня,
И самъ, покорный общему закону,
Перемѣнился я. *Но здѣсь опять*
Минувшее меня объемлетъ живо—
И кажется, вчера еще бродилъ
Я въ этихъ рощахъ. Вотъ смиренный домикъ,
Гдѣ жилъ я съ бѣдной нянею моей.
Уже старушки нѣтъ, ужь за стѣною
Не слышу я шаговъ ея тяжелыхъ..... и т. д.

Это—подлинная, «натуральная» лирика личныхъ воспоминаній Пушкина и вмѣстѣ съ тѣмъ, въ простотѣ своей, это—одно изъ величайшихъ созданій міровой лирики.

Для поколѣнія и класса, къ которому принадлежалъ Пушкинъ, воспоминанія о XVIII-мъ вѣкѣ были въ своемъ родѣ «личными» и во всякомъ случаѣ фамильными. Они выходили за предѣлы русскаго XVIII-го вѣка и относились къ политической, культурной и умственной жизни передовыхъ странъ Европы въ эту знаменательную эпоху Вольтера, энциклопедистовъ, Руссо и великой французской революціи. Въ семьѣ

Пушкина сохранялись живые отголоски этой эпохи, а въ обществѣ онъ зачастую встрѣчалъ живыхъ выходцевъ изъ XVIII-го вѣка въ родѣ князя Н. Б. Юсупова, которому и посвящено посланіе «Къ вельможѣ», гдѣ между прочимъ описывается имѣніе Юсупова *Архангельское*—настоящій музей XVIII-го вѣка:

Ступивъ за твой порогъ,
Я вдругъ переношусь во дни Екатерины...

Посланіе, воспроизводящее жизнь Юсупова, т. е. собственно его заграничныя скитанія и впечатлѣнія, полно воспоминаній о XVIII-мъ вѣкѣ. Тутъ и Вольтеръ—«циникъ посѣдѣлый, умовъ и моды вождь пронырливый и смѣлый», тутъ и Дидеротъ—«то чтитель Промысла, то скептикъ, то безбожникъ», тутъ и «веселый Бомарше»... Всѣхъ и все видѣлъ «русскій европеецъ» [1]) Юсуповъ. На его глазахъ прошла великая эпоха—второй половины XVIII-го вѣка, эпоха огромнаго умственнаго движенія и великой революціи:

Ты видѣлъ вихорь бури,
Паденіе всего, союзъ ума и фурій,
Свободой грозною воздвигнутый законъ,
Подъ гильотиною Версаль и Тріанонъ
И мрачнымъ ужасомъ смѣненныя забавы.

Вѣкъ закончился феерическимъ выступленіемъ Наполеона, и, захваченные грандіозными событіями, люди XVIII-го вѣка не замѣтили, какъ

Преобразился міръ при громахъ новой славы,

и какъ все, чѣмъ они еще недавно жили, оказалось прошлымъ:

Давно Ферней умолкъ. Пріятель твой Вольтеръ,
Превратности судебъ разительный примѣръ,
Не успокоившись и въ гробовомъ жилищѣ,
Донынѣ странствуетъ съ кладбища на кладбище;
Баронъ д'Ольбахъ, Морле, Гальяни, Дидеротъ,
Энциклопедіи скептическій причетъ,
И колкій Бомарше, и твой безносый Касти—
Всѣ, всѣ уже прошли. Ихъ мнѣнья, толки, страсти

[1]) Выраженіе Герцена.

Забыты для другихъ. Смотри: вокругъ тебя
Все новое кипитъ, былое истребя.....

Ветеранамъ XVIII-го вѣка, которые не замѣтили, какъ очутились въ XIX-мъ, и не могли отвыкнуть отъ пудренныхъ париковъ и косъ, совершившаяся перемѣна казалась какимъ-то сномъ; они продолжали жить идеями, навыками, впечатлѣніями и воспоминаніями прошлаго:

Одинъ все тотъ же ты....
. . . . . .
. . . . . .
Я слушаю тебя: твой разговоръ свободный
Исполненъ юности....

А молодому поколѣнію это прошлое казалось, если не живучимъ, то въ нѣкоторомъ смыслѣ живымъ, какъ были живы и даже юны душой эти старики, выходцы XVIII-го вѣка, ведущіе «свободный разговоръ» и обо всемъ судящіе съ точки зрѣнія своего времени, храня традицію Вольтера, Руссо, энциклопедистовъ.

Для людей первой половины XIX-го вѣка эпоха Вольтера, энциклопедистовъ, Руссо, великой революціи, наполеоновскихъ войнъ казалась въ одно и то же время и давно прошедшею, и близкою, «родною»,—въ родѣ того, какъ это бываетъ съ воспоминаніями дѣтства и юности, которыя человѣку среднихъ лѣтъ представляются объективно (фактически)—далекими и субъективно (психологически) близкими. Оттуда—особая лирика воспоминаній о XVIII-мъ вѣкѣ, напоминающая лирику личныхъ воспоминаній о дѣтствѣ и юности.

Для насъ, людей второй половины XIX-го вѣка, и для поколѣнія, вступившаго въ сознательную жизнь въ концѣ его или въ началѣ XX-го, вѣкъ Вольтера, энциклопедистовъ и великой революціи есть нѣчто ужь очень прошлое, почти «архаическое». Литература того времени для насъ—историческій памятникъ; ее нужно изучать—почти такъ, какъ нужно изучать памятники эпохи Возрожденія или Реформаціи. Лишь немногія произведенія XVIII-го вѣка пережили свое время и дошли до насъ—какъ вѣчныя, не старѣющія созданія генія: «Фаустъ» Гете (собственно первая часть), стихотворенія Шиллера, фило-

софія Канта и еще, можетъ быть, нѣкоторыя произведенія, способныя вліять непосредственно, помимо ихъ историческаго значенія. Вольтеръ, Руссо, Дидро, Гольбахъ, Ламетри и т. д.,— всѣ потухли.

Для Пушкина и людей его времени и его круга это были еще живыя воспоминанія; это была та литература, на которой они воспитались и которой они были обязаны первыми проблесками сознательности, фундаментомъ своего развитія. Что-то родное, что-то связанное съ впечатлѣніями дѣтства и юности навсегда осталось для Пушкина ассоціированнымъ съ именами Вольтера, Дидро, Руссо и всѣми преданіями *французскаго* XVIII-го вѣка. Съ этими еще живыми преданіями переплетались и отечественныя традиціи—о вѣкѣ Екатерины II, о «екатерининскихъ орлахъ», о своеобразномъ обаяніи блестящей эпохи «Наказа», «великолѣпнаго князя Тавриды», подвиговъ Суворова, одъ Державина и комедій Фонвизина. Этотъ—русскій—XVIII-ый вѣкъ уже въ 20-хъ годахъ XIX-го казался давно отжившимъ, но его преданія были еще живы,— и живѣе всѣхъ были тѣ, которыхъ представителями являлись люди въ родѣ Юсупова—«русскіе европейцы».

Тутъ, конечно, былъ отнюдь не *весь* XVIII-ый вѣкъ: не было ни Гете, ни Канта, ни Робеспьера, ни Дантона,—тутъ были сняты сливки съ французскаго *дореволюціоннаго* XVIII-го вѣка,—сливки съ «просвѣтительной литературы» и изящной жизни салоновъ, съ придачею кое-какихъ впечатлѣній, вынесенныхъ изъ Италіи, изъ Испаніи, частью изъ Англіи. Это былъ русскій дилеттантизмъ вельможи, барски-эпикурейскій эстетизмъ во всемъ—въ философіи, литературѣ, искусствѣ, политикѣ. Въ XVIII-мъ в. у насъ на этой почвѣ и сложился типъ «вольтеріанца», «*русскаго европейца*», который и былъ прямымъ предшественникомъ позднѣйшаго типа «людей 40-хъ годовъ», раздѣлившихся на двѣ враждебныя, но психологически родственныя группы—«западниковъ» и «славянофиловъ». Говоря такъ, я имѣю въ виду не весь «личный составъ» этихъ партій, а только тѣхъ представителей ихъ, которые по своему происхожденію и воспитанію принадлежали къ «аристократіи», т. е. къ высшему дворянско-помѣщичьему слою, какъ, наприм., Герценъ, Огаревъ, Хомяковъ, Кирѣевскіе. Само собой разумѣется, къ разсматриваемому культурно-психологическому типу нельзя отнести разночинцевъ (Бѣлинскій, В. Боткинъ, Пого-

динъ и др.), а также и лицъ, вышедшихъ изъ мелкопомѣстной среды (Аксаковы). Родовыя черты типа «русскихъ европейцевъ», при всѣхъ его измѣненіяхъ во времени, сохранялись довольно стойко, подвергаясь лишь смягченію и облагороженію. Къ нему же, безъ всякаго сомнѣнія, принадлежали Пушкинъ, кн. Вяземскій, кн. В. Одоевскій, образуя какъ бы переходную ступень отъ «русскихъ европейцевъ» XVIII-го вѣка, великолѣпныхъ баръ-вольтеріанцевъ временъ Екатерины, къ московскимъ идеологамъ 30—40-хъ гг. Слѣдя за развитіемъ типа отъ «вельможъ-вольтеріанцевъ» въ родѣ Юсупова до Герцена и Огарева, мы, между прочимъ, наблюдаемъ постепенную убыль живыхъ традицій французскаго XVIII-го вѣка, скажемъ кратко—«вольтеріанства» и всякихъ «галлицизмовъ»—въ прямомъ и переносномъ смыслѣ (въ языкѣ, въ воспитаніи, въ умственномъ обиходѣ). Съ тѣмъ вмѣстѣ шла на убыль и лирика фамильныхъ воспоминаній о XVIII-мъ вѣкѣ. Ея слѣды мы найдемъ у Герцена, но, напр., у Пушкина они были гораздо ярче.

Типъ «русскаго европейца» XVIII-го вѣка, мѣтко охарактеризованный Герценомъ въ выраженіи «умная ненужность», былъ для Пушкина явленіемъ болѣе близкимъ и родственнымъ, чѣмъ для Герцена. Великій поэтъ отнесся къ этому типу съ явной симпатіей,—онъ закрываетъ глаза на его отрицательныя стороны и любуется положительными. И нѣтъ сомнѣнія, что дѣло не обходилось безъ того рода лирики воспоминаній, о которой мы ведемъ рѣчь.

Но въ посланіи «Къ вельможѣ» эта лирика не пошла дальше *настроенія*. Она не получила *эмоціональнаго выраженія*,—и стихотвореніе въ окончательной формѣ оказалось *нелирическимъ*. Такой исходъ, помимо случайныхъ причинъ, отчасти объясняется характеромъ замысла: поэтъ имѣлъ въ виду не столько выраженіе субъективной лирики воспоминаній, сколько художественный портретъ опредѣленнаго лица, возведеннаго въ типъ. А кромѣ того старался дать посланію такую форму, которая напоминала бы стихотворную и литературную манеру XVIII-го вѣка. Въ этомъ смыслѣ стихотвореніе «стилизовано» и переноситъ насъ въ вѣкъ Екатерины, когда лирика едва-едва пробивалась въ литературѣ, и былъ только одинъ несомнѣнный и большой поэтъ-лирикъ—Державинъ.

Отъ этого рода потушенной лирики только одинъ шагъ къ

тому творчеству, въ которомъ совсѣмъ нѣтъ и не было не только лирическихъ эмоцій, но и лирическихъ настроеній. Чтобы сдѣлать этотъ шагъ, Пушкину стоило только перейти отъ стиха къ прозаической рѣчи.

Когда онъ обращался къ прозѣ, въ немъ моментально исчезалъ поэтъ-лирикъ, уступая мѣсто великому *художнику*, великому *поэту образовъ*.

Отличительныя особенности беллетристической прозы Пушкина это — законченный реализмъ, художественность изображенія, простота языка, эпическое спокойствіе разсказа, отсутствіе лиризма, какъ явнаго, такъ и скрытаго. Въ исторической беллетристикѣ, къ которой и относится большинство художественныхъ произведеній Пушкина, написанныхъ прозою, къ указаннымъ особенностямъ присоединяется еще художественная «дальнозоркость» (если можно такъ развиться),—даръ соблюдать историческую перспективу, видѣть живыя краски и слышать подлинные звуки прошлаго.

Есть двѣ крайности въ художественномъ созерцаніи прошлаго: либо оно рисуется поэту—какъ мертвое, и, рисуя его, поэтъ воспроизводитъ силуэты и тѣни давно-угасшей жизни, либо оно, оживая въ воображеніи поэта, получаетъ утрированное выраженіе—слишкомъ яркихъ красокъ, слишкомъ громкихъ звуковъ жизни, какими въ свое время—въ дѣйствительности—эта жизнь не блистала и не звучала.

И то, и другое можетъ имѣть свое художественное значеніе — въ зависимости отъ замысла или идеи произведенія, но обѣ крайности одинаково далеки отъ строгаго реализма изображенія, отъ исторической правды. Что тѣни и силуэты не способны уловить эту правду,—это понятно само собою. Не трудно убѣдиться и въ томъ, что слишкомъ яркія краски и слишкомъ громкіе звуки также не согласны съ правдою дѣйствительности: вѣдь въ подлинной, живой жизни цвѣта и краски, такъ сказать, нейтрализуются,—и устанавливается «средній или общій колоритъ», характерный для эпохи а голоса и звуки заглушаются общимъ гуломъ жизни. Задача художника-реалиста въ томъ и состоитъ, чтобы уловить специфическій королитъ эпохи и подслушать характерный гулъ ея жизни. Для этого нуженъ *особый* даръ исторической интуиціи, *въ составъ котораго не входитъ лирическое отношеніе къ прошлому*. Это послѣднее несомнѣнно участвуетъ въ воспроизве-

деніи прошлаго въ видѣ силуэтовъ и тѣней, образующихъ гармоническую антитезу живой дѣйствительности, которою живетъ поэтъ; здѣсь есть лирическій ритмъ. Равнымъ образомъ, утрированное изображеніе прошлаго въ рѣзкихъ, слишкомъ яркихъ чертахъ заключаетъ въ себѣ гармоническій ритмъ антитезы съ современнымъ поэту «нейтрализованнымъ» колоритомъ,—громкіе голоса прошлаго музыкально сочетаются съ аккомпаниментомъ общаго гула текущей жизни. Такихъ антитезъ, такихъ созвучій, такого ритма нѣтъ въ реалистическомъ изображеніи прошлаго. И художникъ, стремящійся воспроизвести подлинную картину прошлаго, долженъ отрѣшиться отъ настоящаго, отъ субъективной точки зрѣнія человѣка данной, еще живущей, эпохи. Съ тѣмъ вмѣстѣ умолкаютъ въ его душѣ лирическіе звуки—антитезы прошлаго и настоящаго. Онъ созерцаетъ прошлое *не лирически*, а *художественно*. Его занимаютъ подлинныя черты эпохи, типы, характеры, нравы прошлаго, его живой и натуральный обликъ. Это прошлое рисуется ему не какъ зрѣлище, которое онъ созерцаетъ откуда-то издалека. Онъ не пишетъ картину эпохи, а самъ переносится въ эпоху, воображая себя ея современникомъ. И она оживаетъ подъ его перомъ.

У Пушкина этотъ родъ исторической интуиціи основывался не только на присущемъ ему дарѣ художественнаго реализма, но также и на личныхъ особенностяхъ его натуры, именно на его живости, отзывчивости, впечатлительности. Гдѣ люди, тамъ и онъ; гдѣ шумъ, тамъ и онъ шумитъ; онъ не можетъ воздержаться отъ участья въ хорѣ, и его голосъ входитъ составнымъ элементомъ въ общій гулъ жизни. Но онъ—великій художникъ; онъ также человѣкъ, очень интересующійся прошлымъ, человѣкъ съ историческимъ чутьемъ, почти призванный историкъ. И когда онъ обращается къ прошлому, человѣкъ, художникъ и историкъ сливаются въ немъ,—и въ результатѣ выходитъ то, что онъ—въ воображеніи—не можетъ удержаться отъ участья въ жизни данной эпохи, подлежащей художественному воспроизведенію,—онъ затеривается въ толпѣ, онъ *видитъ* лица, какими они были въ свое время, слышитъ ихъ живые голоса,—и общій тонъ, колоритъ, гулъ жизни открываются ему съ тою полнотою, съ какою они доступны только современникамъ. Онъ «видѣлъ» Петра В.—въ натурѣ, какимъ онъ былъ въ дѣйствительности, а не въ томъ видѣ, какъ его ри-

суютъ; онъ подслушалъ разговоръ Петра съ Ибрагимомъ; онъ лично зналъ Гаврилу Аѳанасьевича Ржевскаго; онъ видѣлъ и Пугачева, а съ Гриневымъ онъ пріятель; знавалъ и Швабрина; натуру и характеръ Марьи Ивановны онъ изобразилъ такъ хорошо и правдиво, очевидно, потому, что зналъ эту дѣвушку съ дѣтства и самъ выросъ въ той же средѣ, къ которой она принадлежитъ. Видѣлъ онъ и императрицу Екатерину II... Все видѣлъ онъ собственными глазами и все слышалъ своими ушами и знаетъ эпоху—какъ она была на самомъ дѣлѣ. Оставалось только передать свои впечатлѣнія, разсказать, какъ можно проще, о видѣнномъ и слышанномъ,—вотъ и все «искусство».

Такую именно иллюзію и производятъ «Арапъ Петра В.», «Капитанская дочка», «Пиковая дама»—какъ будто это и не творчество, а «просто» разсказъ безъ претензій на художественность, безъ намѣренія что-то изобразить средствами искусства, что-то воплотить въ образы и «возвести въ перлъ созданія». Простота разсказа сбивается на простодушіе и иной разъ заставляетъ вспомнить Ивана Петровича Бѣлкина. Въ «Капитанской дочкѣ» Пушкинъ «загримировался» Гриневымъ, отъ имени котораго и ведется разсказъ. Пушкинъ только «издалъ» записки Гринева, какъ «издалъ» онъ повѣсти Бѣлкина...

Подводя итогъ, мы скажемъ такъ: историческая интуиція Пушкина была столь значительна и сильна потому, что вытекала изъ основныхъ и важнѣйшихъ силъ его творческаго генія,—изъ *лирической чуткости* и изъ *реалистическаго уклада ума и воображенія.*

ЗАКЛЮЧЕНІЕ.

Геній Пушкина, какъ художественный, такъ и лирическій, тѣснѣйшимъ образомъ связывался у него съ самой натурою, съ его характеромъ, складомъ ума и даже темпераментомъ. Въ этомъ отношеніи, какъ и въ другихъ, душа Пушкина представляетъ картину рѣдкой цѣльности, почти полной согласованности психическихъ элементовъ, — законченнаго синтеза души.

Въ противоположность *угрюмымъ геніямъ*—въ родѣ напр. Гоголя и Шопенгауэра, Пушкинъ, подобно Гете, былъ *геній общительный*, съ ярко выраженной соціальной тягой, и это было въ полномъ согласіи съ его натурою — какъ человѣка, съ его живостью, отзывчивостью, впечатлительностью, непосѣдливостью. Но въ отличіе отъ Гете, который былъ *натурою эгоцентрическою* и, въ соотвѣтствіи съ этимъ, поэтомъ *рѣзко-субъективнымъ*, Пушкинъ является образцомъ натуры, въ которой эгоцентризмъ былъ сведенъ къ минимуму, почти къ нулю, и поэтомъ, *въ творчествѣ котораго объективные элементы рѣшительно преобладали надъ субъективными*. Въ ряду созданныхъ имъ образовъ есть только два несомнѣнно субъективныхъ: Моцартъ и Чарскій.

Между ними есть существенная разница. «Моцартъ» не списанъ Пушкинымъ съ самого себя, а построенъ—какъ противуположность образу Сальери и только *совпалъ съ натурою и геніемъ Пушкина*. Въ Моцартѣ Пушкинъ воспроизвелъ себя безсознательно, непреднамѣренно. Въ этомъ смыслѣ этотъ субъективный образъ не лишенъ объективности: это—психологическій типъ генія,—типъ, подъ который подошелъ и самъ Пушкинъ. И мнѣ думается, что поэтъ, создавая этотъ образъ, отправлялся *не отъ себя*,—по крайней мѣрѣ въ томъ смыслѣ, что образъ явился выраженіемъ *не самосознанія, а только*

самочувствія Пушкина—какъ генія. И, какъ мнѣ кажется, уже post factum, когда образъ былъ созданъ, поэтъ замѣтилъ, къ своему удивленію, свое психологическое родство съ «Моцартомъ». Другое дѣло—Чарскій: это—намѣренный и сознательный снимокъ съ себя самого, автопортретъ. Съ тѣмъ вмѣстѣ это и не типъ, не обобщеніе, и въ творчествѣ Пушкина Чарскій занимаетъ незначительное мѣсто, сохраняя, разумѣется, свое значеніе—какъ автобіографическій документъ.

Лиризмъ Пушкина, чуткій и всеобъемлющій, былъ однимъ изъ выраженій или проявленій его общительной души, его широкихъ человѣческихъ сочувствій. Симпатическое воображеніе, эта основа художественнаго творчества, у Пушкина въ большинствѣ случаевъ оказывалось лирическимъ,—или, говоря точнѣе, дѣятельность симпатическаго воображенія весьма часто сопровождалась у него лирическими эмоціями, оттуда и то сліяніе образовъ съ лирикою, о которомъ мы говорили выше, разбирая драматическіе опыты, «Евг. Онѣгина» и др. произведенія «синкретическаго» характера.

Какъ въ образномъ, такъ и въ лирическомъ творчествѣ Пушкина, помимо всего прочаго, насъ очаровываетъ его рѣдкая поэтическая *искренность*,—черта, которая, безъ сомнѣнія, вытекала изъ аналогичной черты его личнаго характера.

Пушкинъ былъ человѣкъ глубоко-искренній уже въ силу необыкновенной живости и впечатлительности, въ которыхъ было что-то «вѣчно-дѣтское». Пушкинъ до конца жизни оставался большимъ ребенкомъ, которому «новы всѣ впечатлѣнія бытія». И можно сказать, что эти «впечатлѣнія», съ годами, съ расширеніемъ кругозора и ростомъ генія Пушкина, становились для него все «новѣе». Любопытство ребенка перешло въ пытливость художника. Выраженіе: «все волновало нѣжный умъ» примѣнимо и къ Пушкину 30-хъ годовъ: стоитъ только вмѣсто «нѣжный», сказать: «зрѣлый».

Съ годами, «покорный общему закону», Пушкинъ, конечно, во многомъ «измѣнился». Но онъ сохранилъ свѣжесть впечатлѣній, искренность ихъ выраженія, стихійную «радость бытія». Этимъ «вѣчно-дѣтскимъ» по преимуществу и характеризуется его творческій геній,—и здѣсь источникъ безсмертнаго обаянія его художественныхъ созданій и его чарующей лирики.

Книгоиздательство „ПРОМЕТЕЙ“.

Спб., Поварской, 10.

Беллетристика.

стр.

Амфитеатровъ, А. В. Сумерки божковъ. Ч. I. Изданіе 2-е. 1 25
„ „ „ Ч. II 1 50
Амфитеатровъ, А. В. Противъ теченія . . . . . 1 —
Амфитеатровъ, А. В. Антики 1 25
Амфитеатровъ, А. В. Девятидесятники 1 25
„Вершины“. Сборникъ 1 50
Волинъ, Ю. Разсказы. Изд. 3-е . . . . . 1 —
Войничъ. Оводъ. Изд. 4-е. . . . . — 75
Олигеръ, Н. Разсказы. Томъ I. Изд. 2-е . . . . . 1 —
Олигеръ, Н. Разсказы. Томъ III 1 25
Рубакинъ. Дѣдушка-Время. Изд. 2-ое. . . . . — 35
Степнякъ-Кравчинскій. Собраніе сочиненій. Т. I—VI. Цѣна каждаго тома. . . . . 1 —
Ѳедоровъ, А. М. За океанъ. . . . . 1 —

Философія.

Абрамовичъ. Человѣкъ будущаго . . . . . — 50
Базаровъ, В. На два фронта . . . . . 2 —
Нитче. Такъ говорилъ Заратустра 1 25
Руссо, Ж. Ж. О причинахъ неравенства . . . . . — 75
Руссо, Ж. Ж. О вліяніи наукъ на нравы . . . . . — 30
Штирнеръ, Максъ. Единственный и его собственность. Ч. I. 1 25
„ „ „ „ „ „ Ч. II. 2 —
Эльцбахеръ. Сущность анархизма . . . . . — 75

История религіи.

Бороздинъ, А. К. Русское религіозное разномысліе . . . . 1 —
Лютгенау. Естественная и соціальная религія . . . . . 1 —
Мейеръ. Культура и религія . . . . . — 50
Пфлейдереръ. Отто. О религіи и религіяхъ 1 25
Ревиль. Іисусъ Назарянинъ. Ч. I и II. . . . . по 2 —
Ренанъ, Э. Жизнь Іисуса 1 50
Фейербахъ. Сущность христіанства 1 50

Книгоиздательство „ПРОМЕТЕЙ“

Спб., Поварской, 10.

Исторія и теорія русской литературы.

	стр.
Венгеровъ, С. А. Очерки по исторіи русской литературы Т. I	2 50
„ „ „ „ „ „ Т. II	2 —
Вѣтринскій, Ч. Герценъ	3 —
Котляревскій, Н. А. Литературное направленіе Александр. эпохи	1 25
Котляревскій, Н. А. Рылѣевъ	1 25
Овсянико-Куликовскій, Д. Н. Собраніе сочиненій: Т. I. Гоголь.	1 —
Т. II. Тургеневъ	1 25
Т. III. Толстой.	1 25
Т. IV. Пушкинъ	1 —
Т. V. Гейне, Гете, Чеховъ, Герценъ, Михайловскій и Горькій	1 25
Т. VI. Психологія мысли, чувства и творчества . .	1 25
Т. VII. Исторія русской интеллигенціи. Ч. I . . .	1 50
Т. VIII. „ „ „ Ч. II . . .	1 50

ПОПУЛЯРНАЯ БИБЛІОТЕКА.

Рубакинъ, Н, А. Исторія русск. земли кн. I, II и III . . .	— 70
Линдовъ, Г. Великая Французкая революція.	— 50
Вандервельде. Соціализмъ и сельское хозяйство	— 50
Смирновъ. Краткій народный словарь	— 10
Рубакинъ, Н. А. Птичьи гнѣзда (Искусство въ царствѣ животныхъ). Съ 37 рис.	— 50
Рубакинъ, Н. А. Путешественники и переселенцы въ царствѣ животныхъ. Съ 11 рис.	— 25
Рубакинъ, Н. А. Какъ когда и почему появились люди на землѣ. Съ 56 рис.	— 40
Рубакинъ, Н. А. Какъ и когда разные народы научились говорить каждый на своемъ языкѣ.	— 15

Книги разнаго содержанія.

Жидъ, Шарль. Кооперація	1 25
Тотоміанцъ, В. Сельско-хоз. кооперація	2 —
Пестель, П. Русская Правда	1 —
Фламмаріонъ. Невѣдомыя силы природы.	2 —
Проблема воздухоплаванія	— 80

Книги высылаются наложеннымъ платежомъ

Каталогъ безплатно.

КНИГОИЗДАТЕЛЬСТВО и КНИЖНЫЙ СКЛАДЪ
т-ва „ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА“.

СПБ., Большая Подъяческая, 39.

Ахшарумовъ, Д. „Воспоминанія петрашевца“. (Изъ моихъ воспоминаній). Съ вступит. статей Семевскаго. Ц. 1 р. 60 к.

Бельтовъ, За двадцать лѣтъ. Изд. 3-е. Ц. 3 р.

Бѣлинскій, В. Г. Полное собраніе сочиненій въ 12 т. под. ред. и съ примѣч. С. А. Венгерова. Вышли т. I—VIII.

Бунаковъ. Записки. Моя жизнь въ связи съ общерусской жизнью, преимущественно провинціальной. Ц. 1 р. 75 к.

Волжскій. Изъ міра литератур. исканій. Ц. 1 р.

Волынскій, А. Ѳ. М. Достоевскій. Критическія статьи. 2-е изд. Ц. 1 р. 50 к.

Елпатьевскій. Близкія тѣни. Воспоминанія о Михайловскомъ, Гаринѣ, Чеховѣ, Успенскомъ съ портр. Ц. 75 к.

Ладыженскій Исторія русской литературы для школъ и народа. Ц. 40 к.

Никоновъ. Въ стѣнахъ гимназіи. Ц. 1 р. 25 к.

Овсянико-Куликовскій. Гоголь. Ц. 1 р.

„ „ Тургеневъ. Ц. 1 р. 25 к.

„ „ Левъ Толстой, какъ художникъ. Ц. 1 р. 30 к.

„ „ Исторія русской интеллигенціи. Томъ I-й и II-й по 1 р. 50 к.

„ „ Поэзія Генриха Гейне. Ц. 75 к.

„ „ Гейне, Гете, Чеховъ, Герценъ, Михайловскій, Горькій. Ц. 1 р. 25 к.

Общественное движеніе въ Россіи въ началѣ XX вѣка. Подъ редакц. Мартова, Маслова, Потресова, т. I. Ц. 5 р., т. II-й. В. 1-й Ц. 1 р. 50 к.

Радищевъ, А. „Путешествіе изъ Петербурга въ Москву“. Ц. 2 р.

Розенъ, А. баронъ. Записки декабриста. Ц. 3 р.

Стекловъ, Ю. Н. Г. Чернышевскій, его жизнь и дѣятельность (1828—1889 г.). Ц. 2 р.

Соловьевъ, Вл. С. „Письма“ Т. 1 и 2-й подъ редакц. Э. Л. Радлова. Ц. по 2 р. т.

Тургеневъ, Н. Записки изгнанника. Ц. 40 к.

Щеголевъ, П. Первый декабристъ В. Раевскій. Ц. 30 к.

Яновичъ, Л. Изъ воспоминаній о юности, о процессѣ, о Шлиссельбургѣ Ц. 50 к.

Рѣдкинъ. Французско-русскій Словарь съ указ. произношенія. Самый новый и полный изъ существующихъ словарей. Ц. 7 р. 50 к.

Влад. Беренштамъ. Въ огнѣ защиты. Изъ впечатлѣній политическаго защитника. 75 к.

Башкинъ, В. Разсказы. Ц. 1 р.

Бодлэръ. Цвѣты зла. Съ 2-мя портретами и характеристикой автора. Переводъ П. Якубовича-Мельшина. Ц. 1 р.

Аркадій Велскій. Записки педагога. Со вступ. письм. проф. Лесгафта. Ц. 1 р.

Книжный складъ т-ва „Общественная Польза“,
СПБ., Большая Подъяческая, 39.

Отто Вейнингеръ. Г. Ибсенъ и его драма „Перъ Гюнтъ“. Ц. 50 к.
Гаринъ, Н. (Н. Г. Михайловскій). Сказки для дѣтей. Съ мног. иллюстр. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к.
Карменъ. Разсказы. Т. 1-й. Ц. 1 р.
Ладыженскій. Далекіе дни и др. разск. Ц. 1 р.
Минскій. На общественныя темы. 2-е изданіе. Ц. 1 р.
Преміровъ, М. Нѣмыя дали Разсказы. Ц. 1 р 25 к.
Первухинъ. Догорающія лампы. Сборн. разск. Ц. 1 р. 25 к.
Пругавинъ. А. Расколъ вверху. Очерки религіозныхъ исканій въ привилегированной средѣ. Ц. 1 р.
Соловьевъ, Вл. Собраніе сочиненій въ 9 т. Ц. 16 р., въ переплетѣ. 22 р.
А. Федоровъ. Подвигъ. Романъ. Ц. 1 р.
„ Камни. 2-ое изд. Ц. 1 р.
„ Разсказы. Ц. 1 р.
„ Стихотворенія. Ц. 1 р.
А. Франсъ. Избранные разсказы въ перев. Куприна, Бальмонта, Батюшкова и др. Ц. 1 р.
Философія въ систематическомъ изложеніи В. Дильтея, А. Риля, В. Оствальда, В. Вундта, Эббинггауза, Р. Эйкена, Ф. Паульсена, В. Мюнха, Т. Липпса. Перев. со 2-го нѣм. изд. Ц. 3 р.
Чириковъ, Е. Моя книга. Дѣтскіе разсказы съ иллюстрац. Ц. 1 р. 60 к. въ перепл. 1 р. 80 к.
Гюйо, Ж. Безвѣріе будущаго. Съ предисл. проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго. Ц 2 р. 50 к.
Гоголь, Н. Избр. соч. подъ ред. проф. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго съ біограф., напис. В. Н. Ладыженскимъ, и съ портр. Н. В. Гоголя худож. Рѣпина, работы Матэ. Ц. 65 к., въ папкѣ 85 к., въ роск. перепл. 1 р. 30 к.
Гоголь, Н. Дополнительный томъ, состав. съ „Избран. сочиненіями“ полное собр. сочин. Ц. 40 к. Оба тома вмѣстѣ 1 р. въ папкѣ 1 р. 25 к., въ роск. переплетѣ 1 р. 75 к.
Альбомъ Гоголевскихъ типовъ по рисункамъ худ. Боклевскаго съ предисловіемъ Стоюнина. Ц. 75 к.
Добрышинъ. Построеніе общественности. (Задачи современной интеллигенціи. Ч. 2-я) Ц. 50 к.
Ивановъ, Вяч. По звѣздамъ. Статьи и афоризмы. Ц. 2 р.

Складъ выполняетъ заказы на всѣ книги, имѣющіяся въ продажѣ.
Заказы высылаются налож. плат.
Каталоги по требованію безплатно.

Stanford University Libraries
3 6105 124 438 230

PG
3410
Ø78
1905

Stanford University Libraries
Stanford, California

Return this book on or before date due.

MAY 28 '69
JUN 26 '67
SEP 6 '67
OCT 15 '70
JAN - 5 1974